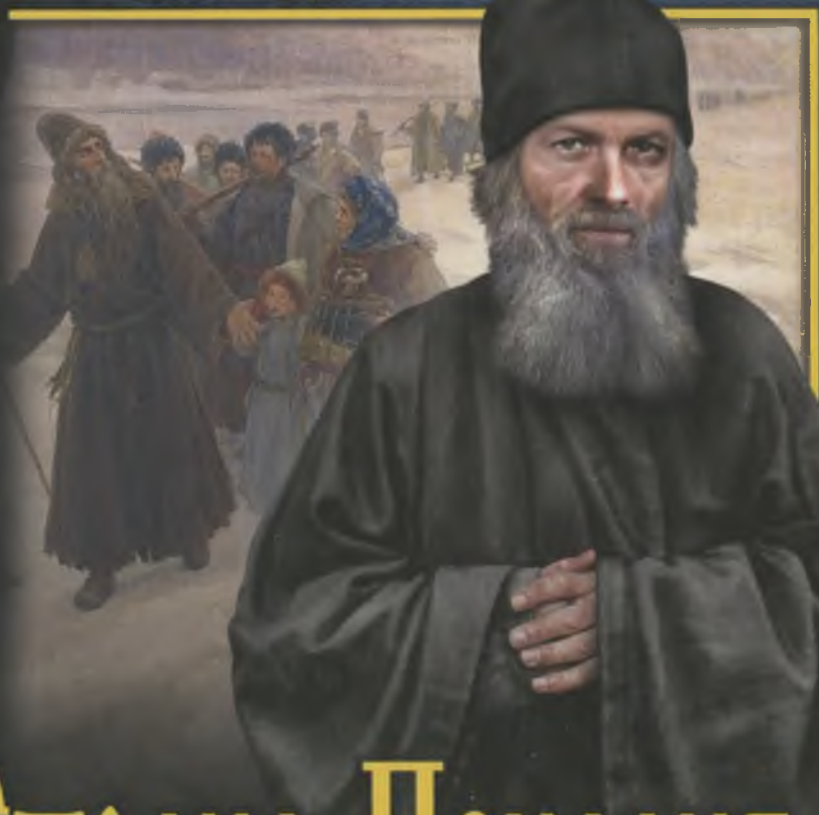


# ВЯЧЕСЛАВ СОФРОНОВ

ЭПЕМИНАДА



## Страна Печалия

# ВЯЧЕСЛАВ СОФРОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

## Страна Печалия

ТОБОЛЬСКОЕ ЖИТИЕ ПРОТОПОПА АВВАКУМА

УДК 821-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)  
С68

**Софронов, В.Ю.**

**С68** Страна Печалия. Тобольское житие протопопа Аввакума : роман / Вячеслав Софронов. — М.: Вече, 2020. — 496 с. — (Сибириада. Собрание сочинений).

ISBN 978-5-4484-2329-1

Знак информационной продукции 12+

...Шестнадцатый век от Рождества Христова перевалил через свою вторую половину. Царь Алексей Михайлович пригласил занять патриарший престол новгородского митрополита Никона. После этого и началась великая сумятица в Российском государстве, в результате которой многие видные пастыри церковные оказались в местах от Москвы весьма отдаленных. Был среди них и страстный проповедник и непримиримый борец с людскими пороками Аввакум Петров...

**УДК 821-311.6**  
**ББК 84(2Рос=Рус)**

ISBN 978-5-4484-2329-1

© Софронов В.Ю., 2020  
© ООО «Издательство «Вече», 2020

Земля же была безвидна и пуста  
и тьма над бездною;  
и Дух Божий носился над водою.

*Быт. 1, 2*

Когда создал Господь землю нашу, то наделил ее радостью и весельем. А Печаль и Скорбь запрятал в чащи лесные среди болот топких, вместе с гадами земными, гнусом до крови чужой охочим и нечистью разной, чтоб никто до них добраться не смог, не указал дорогу к жилищам людским.

И были первые люди, словно дети малые: жили беззаботно и праздно, как птицы небесные.

И славили Бога за благодеяния Его, не заботились о хлебе насущном, не думали о дне завтрашнем.

И не ведали греха, поскольку не имели в душе своей ни коварства, ни злобы, ни иных искушений.

И были они доверчивы и наивны, а потому душой слабы.

И не знали о кознях врага рода людского Дявола.

А он, пользуясь слабостью людской, увлек их обещаниями лживыми о лучшей жизни в краях иных, где всего в достатке и нет людей начальствующих.

И послушались его люди, оставили прародину свою, двинулись на поиски доли лучшей.

И чем дальше уходили они от земли обетованной, тем реже вспоминали о ней. Наконец пришли они в те края, где Господь сокрыл врагов их главных — Печаль и Скорбь...

И вышли две сестры из глуши лесной и поселились рядом с людьми, вошли в дома их.

И отвернулись люди в скорби своей от Бога и стали иным богам молиться.

Каждый своему божеству.

И узнали они тогда беды великие, одолевающие их.

И забыли они за земными заботами, что есть радость.

И не стало среди них былых праздников и веселья.



## ВЯЧЕСЛАВ СОФРОНОВ

Лишь Тоска и Печаль разъедали души их.

И не знали люди, как избавиться от коварных сестер тех, изгнать их прочь.

И призывали богов своих, приносили им жертвы кровавые, но и это не помогало.

И один народ воевал с другим, желая истребить всех и каждого.

И родилось в них Зло и Ненависть, порождающие смерть.

И вели они войну меж собой, не желая жить в мире.

И кто знает, остался бы кто в живых из тех народов, если бы не пришли на земли те иные люди с верой в Бога и воскрешение из мертвых.

И воцарился в пределах тех покой и смирение.

И радость вернулась в души многим, согревая их и лелея.

И так будет до тех пор, пока жива Вера в сердцах людских вместе с другими сестрами своими: Надеждой и Любовью...

Вот только Скорбь и Печаль так и остались жить в тех краях, поджидая людей, веру в Бога утерявших...

## И ЛЕТЕЛ АНГЕЛ ПО НЕБУ СИНЕМУ...

...И летел ангел по небу синему... Выше лесов вековых, гор скалистых, стай птичьих...

Летел он меж облаков курчавых, через тучи мгlistые, распарывая их своими крылами бесшумными, туда, куда одному Богу известно...

Нипочем ему хмарь злая, суховой колючий, непогодь выюжная, ветры буйные, дожди секущие. Не в силах они остановить лёт его, помешать полету дальнему. Нет для ангелов преграды ни на земле, ни в небесах, потому как существа они бестелесные, ни жар, ни холод им не помеха, все одно долетят куда следует.

Любой ангел мог бы, привелись случай, до края самой дальней землицы добратся, будь на то Божья воля. Только ни к чему им из одного конца купола небесного до другого лётать без дела, без особой на то надобности. Да и не дано ему право отлучаться от того, к кому он приставлен, до самого смертного часа того раба Божьего.

Вся жизнь людская ему сверху видна и помыслы людские до капельки известны. И у каждого своя ангельская доля, отпущенная свыше на весь его долгий век. И связка та между ангелом и человеком крепка и нерушима. На всю долгую или короткую жизнь того смертного, пока Господь не призовет его в кущи небесные или туда, куда лучше душе православной не попадать. Потому ангел всегда возле своего подопечного рядышком и не отстает от него далее как на сто сажений. Но при том и дышать в затылок смертному, как согляддай какой, не должен, дабы не быть уязвленным словом неосторожным или рыком яростным, что от иного грешника исходят. И далече отставать от своего присного ангелу тоже никак нельзя, иначе сила молитв его слабнет и не может он направлять сродника своего на путь праведный. Поди уследи тогда за ним, оборони, предостереги, направь мысль его в русло, приличествующее заповедям Христовым, чуть замешкался — и все, не удержать душу от грехопадения.

...Не каждому небесному созданию такое по силам. Они хоть существа и бестелесные, но, как и люди, подвержены разным разностям, искушениям и грехопадению, потому как с людьми живут рядышком в соприкосновении душевном и все грехи земные им знакомы. От мыслей дурных ангел усыхает, чахнет, теряет силу свою, и век его укорачивается. Поди узнай, сколько в наличии сил у ангела твоего, хватит ли их отвратить тебя от геенны огненной. А без того ангелу никак нельзя, поскольку в геенне той, куда греховодники рано ли, поздно ли неминуемо попадут, душа их страдает, хотя через определенный срок и прощена может быть Творцом нашим по милосердию Его великому.

А вот ангел, не уследивший за подопечным своим, вмиг стареет, а потом и вовсе в прах обращается. Вся земля израильская тем песком засеяна, поскольку жили там люди во времена оные без должного почитания Господа, за что и были все, кроме праведников, во ад взяты да наверняка до сей поры там и обитаются. А вот праведники в рай взошли и ангелы, к ним приставленные, возле Божественных Престолов остались, где кущи, вечно зеленеющие, листвою шумят и Серафимы шестикрылые непрерывно Господа славят. Всяк по молитвам своим и делам получил предназначение вечное: кто прощен, а кто пощажен был, не нам, грешным, о том судить.

\* \* \*

...Так вот летел ангел в синеве небесной близехонько от сродника своего по имени Аввакум Петров сын по прозванию Кондратьев. И предстоял им путь неблизкий из стольной Москвы в дальнюю сибирскую сторонку. Не каждый из тех существ способен тот путь преодолеть, не все долетали до черты заповедной, многие из них дорогой гибли от сил сатанинских, супротивников рода людского. Кого же им губить первого, как не ангелов. А без его помощи, без молитвы душевной, человек, что воин без брони ратной.

И звали того ангела Архес, имя древнее и для слуха непривычное. Потому может редко кто звал его по имени, а просто «ангел», и все тут. Так уж повелось испокон века, не задумываться какое имя твой небесный сопроводитель носит. И, опять же, не нам о том гадать, отчего так повелось, а думать боле о чем-то своем, важном и насущном.

Сколько тысяч земных лет прожил Архес, он не знал. Нет у ангелов небесных возраста, как и у Бога не ведется временной подсчет, ибо Он вечен и мир, Им созданный, скончания не имеет. За тот долгий

срок испытал на себе Архес и гнев, и милость Божию. Помнил он, как однажды за малую провинность, потакание слабостям людским, едва не был низвергнут в пучину морскую. Но повезло ему невысказанно, поскольку Господь неожиданно возрадовался неведомо чему-то и по доброте своей извечной простил всех провинившихся, позволил им и дальше служить при тех же должностях, а иных еще и в чине ангельском повысил.

Один из сослуживцев при случайной встрече шепнул Архесу, мол, два непримиримых народа отказались от войны и вражду давнюю, вняв Божьему вразумлению, отринули, принявшись жить в мире и согласии. Нечасто такое случалось, когда бы смертные Господу подобную радость доставляли, а потому ждать второго прощения за нерадение Архес не стал и рьяно боролся за каждую душу грешную, не зная ни сна, ни отдыха в стараниях своих и вскоре стал на хорошем счету у Архистратигов, главных ангельских начальствующих воинов небесных.

Но все одно случился у него прокол немалый, после того как находящийся под его опекой и приглядом человек, носящий апостольское имя Петр. Вот только оказался он в вере неустойчив и быстро, едва посулили ему выгоду немалую, переметнулся из веры христианской в иную. И как только Архес сообщил о том небесному начальству, то был призван наверх для ответа и взыскания вины за очередной недосмотр. Знал, на сей раз спросят с него по полной, и на милость свыше не надеялся. Но и тогда повезло ему, вернулся его подопечный Петр к истинной вере, видать, сулили ему одно, а на деле вышло другое. Корысть, она тоже может добродетелью обернуться, хотя и напасть от нее великая обычно случается.

Узнали о возвращении блудного сына в лоно Святой Церкви и оставили Археса при том же месте и должности. Вновь кара минула его, и долгонечко он иных промахов не допускал, все у него складывалось не хуже, чем у иных собратьев небесных. Успокоился было он, в расслаб вошел, мечтать начал, как бы с кем-то из праведников великих попасть навечно в рай и пребывать там ему с серебряной трубой до скончания времен... Только не суждено было мечтам тем сбыться, и вот теперь он летит не куда-нибудь в землю обетованную, а в страну язычную, злыми духами населенную, в христианской вере нестойкую. Оттуда не то что в рай не попадешь, а как бы при должности своей остаться, от яростных демонов отбиться.

...А началось все с того, что был он приставлен к новорожденному сынку поповскому, нареченному Аввакумом. Юноша тот сызмальства великое прилежание к наукам проявил, молитвы и службу церковную знал не хуже опытного батюшки, а потому пошел по отцовским стопам и после смерти родителя своего воспринял приход им оставленный. А был тот небогатый приходишка в самой что ни на есть глуши мордовской. И хоть жил там народец православный, давненько веру Христову принявший, но, живя в лесу, один день молился Христу, а второй — тележному колесу.

Вот и решил молодой батюшка их дурные привычки искоренить и рьяно взялся за то праведное дело. Да с такой прытью, что прихожане, привыкшие жить по своим порядкам и поверьям, супротив него поднялись, несколько раз из села выгоняли и обратно его лишь по распоряжению самого епископа принимали.

Другой бы смирился, на попятную пошел, но не таков был Петров Аввакум. Не пожелал он в долгу перед прихожанами своими оставаться, а потому сулил им кары великие за языческие их волхования и разные там проступки. Ладно бы только сулил, будя сам безгрешным. Но и за ним, о чем народ доподлинно ведал, водились грешки разные. И наипервейший, что на исповеди девок молодых вопрошал о том, чего лицу духовному знать и вовсе ни к чему. Девки, понятно дело, парням своим или там родительнице, не утерпя, сказывали, там и соседи о том прознали, судачить начали меж собой, и вот вскорости от одного двора к другому полетели великие наветы на батюшку Аввакума. Но самому ему в глаза говорить опасались, поскольку супротив них слова те могли обернуться. Дознается о чем-то там, грехе большом или малом, и на исповеди припечатает епитимью на полгода. И к Святому причастию ни за что не подпустит. А потому помалкивали до поры до времени. Вот так и жили поп и приход в общем непримирении с затаенной обидой, словно с камнем за пазухой.

Другой бы не вытерпел, а Аввакуму все ничего, словно не замечал дурного расположения односельчан. Ходил на службу, как ни в чем не бывало, и проповеди приноровился сказывать, из которых выходило, что вот его Господь направляет на путь истинный, а остальные, суть, все прихожане, словно овцы заблудшие в потемках ходят и с нечистым знают. Кому ж такие речи поповские по нраву будут? Роптал народец сельский, но вслух мало кто отваживался недовольству своему ход дать.

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

Да и мало кто мог выдержать взгляд его бурых с желтизной глубоко посаженных глаз, словно два буравчика человека сверлящие. Уж за этот особенный взгляд особо его не любили и опасались. Так и говорили меж собой: «Глядит так, что внутри ажно жар начинается великий».

Или того чище: «Нет в нем святости должной, а вот бесовское нутро так и проступает явственно...»

Артес, конечно, все эти разговоры слышал, внушал Аввакуму во время молитвы и когда тот почивал вести себя иначе, быть с прихожанами покладистей, не так ретиво напускаться на них, словно необъезженного коня седлает. Но видать, за долгий срок службы своей ангельской растерял он былую силу и внушения его не доходили до Аввакума. Во всяком случае, сам он того не показывал, ни в чем особо не менялся.

Непрост иерей церкви Покрова Пресвятой Богородицы оказался, нежели прочие подопечные Архесовы. И хоть виду не показывал, но ангельские призывы и наставления так ли, иначе ли до него доходили. Стал он частенько к ангелу-покровителю в молитвах, а то и вовсе беседах обращаться. Однако при том выворачивал все на свой лад, наизнанку, на выгодную ему ипостась. Из речей его выходило, будто сам Господь ему знак подает и дальше так жить непререкаемо и никого из советчиков в расчет не брать. А потому продолжал непреклонность свою даже к самым малым грехам прихожан своих. И пуще прежнего увещевал паству свою речами пламенными, грозя и предрекая всему селу беды великие.

Дошли известия о его проповедях неистовых и до ушей самого архиерея. Пригласил тот Аввакума к себе в Нижний Новгород, где имел с ним долгую беседу. И так вдохновился речами его и верой в скорый приход Антихриста, в чем молодой батюшка был известный мастак, словно сам наяву все лицецрел, описывал, что наградил того чином протоиерея, или, как в народе было принято говорить, протопопа. И вернулся Аввакум в родное село с великой гордостью и высоко поднятой головой: вот, мол, вам, верной дорогой иду, господа односельчане, и сворачивать с нее не собираюсь. После чего еще больше стал распятыся во время службы, которую начинал, едва свет яснился и вел до поздних сумерек, надеясь хоть этак пронять прихожан и к Богу приблизить.

И хоть терпеливый народец в тех местах жительствова, но и они терпеж потеряли. Те, что побойчей да побогаче, а потому заковыре-

стее прочих были, зашумели на него, дескать, ноги не держат дальше стоймя стоять, скотина некормленная в стайках ревет ревом зычным, велели ему службу поскорее заканчивать да к причастию всех, кто допущен призывать.

Аввакум речи их поперечные выслушал и заявил о нарушении устава церковного, обещал ворчунов тех отныне вовсе в храм не пускать. Те в крик, пообещали съехать из села, в другой приход податься, где батюшка не так дерзок со своим народом. Аввакум нет, чтоб смолчать, остановиться и миром дело кончить, взъелся в ответ, что дома их и всю скотину геенна огненная огнем небесным испепелит и тогда говоруны те волей-неволей точно по свету пойдут только босы и голы. Те в ответ обещали его самого в одном исподнем вон выгнать и до храма больше никогда не допускать.

Вслед за тем крик среди них начался, мужики первыми повалили вон из храма, а бабы вслед за ними. Так новоиспеченный протопоп и остался при дьяконе, трех певчих и двух глухих старушках сам на амвоне с крестом в руках. А ночью, как на грех, случился великий пожар, и полсела как корова языком слизала. Все и вспомнили слова пророческие Аввакумовы про геенну огненную, мигом виноватого нашли. Вzbунтовался тут весь народец, обложили дом Аввакумов пикетами и обещали не выпускать его, покуда он не покается в содеянном, чтоб потом его к суду привлечь.

...Вот тогда стал Архес денно и ночно нашептывать сроднику своему, чтоб он смирил гордыню свою, поговорил с народцем без обычных вывертов с угрозами и непременными пророчествами, отвел от себя и деток своих малых беду да на колени встал, прилюдно покался. Только тот словно и не слышит, по-своему все воротит: жену в подпол спустил, а сам ухватом вооружился и Псалтырь вслух читает, да так, чтоб до улицы глас его доносился. Народишка от этого еще шипче в раж впал, раззадорился, на себе рубахи напополам рвут, того и гляди на приступ кинутся. А коль русский мужик за ворот рубахи двумя руками ухватился, то лучше не ждать, без того понятно, чем дело обернется. Так бы и раскатали весь дом поповский по бревнышку, если бы не дьячок его сноровистый, отправивший гонца в соседское село с мольбой о помощи. Прибыла оттуда подмога малая как есть вовремя. Отогнали пикеты, колья на них наставя, вывели под руки Аввакума с женой и детками, посадили на телегу и... ну погонять, коней наяривать прямиком через толпу на проезжую дорогу.

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

Дальше уже протопоп сам на Нижний выехал, дождался, когда его владыка соизволил принять, и пал ниц, о защите взыскивая. Тот выслушал речи его горестные, да, недолго думая велел ему собираться и ехать не куда-нибудь, а в саму Москву. Там как раз патриархом избрали земляка их, Никона, а тот бросил клич, дабы всякий желающий послужить ему церковный люд приезжал к патриаршему двору, где для всех работа по силам сыщется.

Так вот и оказался Аввакум при патриархе... Куда ж еще выше того? Сумел и его к себе расположить горячими речами и проповедями. И царю о нем стало известно, в число близких ему людей вошел, целования царской ручки удостоен был. После того и Архесу спокойнее стало, коль его подопечный на этакую высоту взлетел. Наставлял его больше по обязанности, для порядку, чем по необходимости. Решил было, обрел в сроднике своем праведника, а там, глядишь, и до вожденного места в райских кущах и трубы серебряной рукой подать. Навеки покой на небесах обретет, и не придется ему больше земную службу нести, опекать грешников великих, перед небесным начальством за каждый их грех ответ держать.

Ан нет, пришел срок, и Аввакум усомнился в праведности патриаршей, обвинил того во всех смертных грехах, откололся от избранного кружка, с кем вчера еще дружбу водил, лобызался троекратно. Архес опомниться не успел, как вместе с подопечным своим едва под анафему не попал. Принялся, как в ранешние времена, вразумлять упрямого протопопу, нашептывать ему о смирении, страшными карами пугать. Только ничегошеньки не добился. Не пожелал протопоп, в собственную праведность уверовавший, слушать своего ангела, тем самым избрал судьбу изгнанничью, а на поклон к патриарху идти не пожелал. Сам царь за него перед Никоном слово замолвил, уговорил в Сибирь спровадить от греха подальше. В надежде на вразумление. Не он первый, не он последний, кого Сибирь уму-разуму учила, на путь праведный наставляла.

Вот и пришлось Архесу вместо кушей райских отправиться вслед за непокорным протопопом в страну Сибирию, землю языческую, крестом православным наспех освященную, где за каждой тучкой злые демоны скрываются, бросаются на него, норовя на землю грешную обрушить, в места гиблые завлечь...



## Часть первая

# АВВАКУМ НЕПОГРЕШИМЫЙ

В поте лица твоего будешь есть хлеб,  
доколе не возвратишься в землю,  
из которой ты взят;  
ибо прах ты, и в прах возвратишься.

*Быт. 3, 19*

...Шестнадцатый век от Рождества Христова перевалил через свою вторую половину, когда царь Алексей Михайлович пригласил занять патриарший престол митрополита Новгородского Никона. Тот согласился на это далеко не сразу, а заставил царя и ближних бояр слегка поугovarивать его и лишь потом принял главенство над Русской церковью, имея далеко идущие планы сделаться со временем Вселенским Патриархом и перенести свой престол не иначе как в Константинополь. Но для начала он решил привести в соответствие старые богослужебные книги и поменять два перста, используемые русскими людьми при изображении крестного знамения, на три.

Вот после этого и началась великая сумятица в Российском государстве, в результате которой многие видные пастыри церковные оказались в ссылке в местах, от Москвы весьма отдаленных. Были среди них и протопоп столичного Казанского собора Иван Неронов и Стефана Вонифатьев, не так давно пригласившие в Москву страстного проповедника и непримиримого борца с людскими пороками Аввакума Петрова, изгнанного до этого с прежних мест своего служения собственными прихожанами, не желавшими терпеть крутых мер, которыми он приводил их к христианскому смирению. Российская столица, куда издавна стекались непризнанные на родине пророки и провидцы, как и всех прочих, приняла и Аввакума. Служил он недолго в одном из главнейших столичных соборов, Казанском, от-

куда и был взят под стражу новым патриархом и заключен в темницу Спасо-Андроникова монастыря, а затем в сентябре 1653 года направлен в ссылку вместе со всем семейством в далекую Сибирь.

По решению царя местом жительства опального протопопа был определен главный сибирский город Тобольск, шел которому в ту пору всего лишь седьмой десяток лет. Чтоб добраться до него, предстояло проехать две с половиной тысячи верст и в лучшем случае лишь к Рождеству прибыть к месту своего нового жительства. Из-за осенней распутицы процессия их едва тащилась по непролазной грязи через Переяславль-Залесский, Ярославль, Вологду, а от Тотьмы мимо Великого Устюга до Соли Вычегодской водой на барках, а как выпал снег, то в Кайгороде пересели в сани, после чего дорога казалась уже не такой тряской.

Сопровождали их от самой Москвы патриарший пристав Климентий и два верховых казака. Но по дороге к ним присоединялись путники, направляющиеся в Сибирь по той или иной надобности. В результате их обоз тянулся чуть ли не на полверсты и можно было подумать, что то едет знатный вельможа или боярин, а не опальный протопоп в сибирскую ссылку.

Путешествие проходило без особых приключений, но уже к концу первой недели у Аввакума, которому в ту пору шел тридцать третий годочек, от постоянной тряски не на шутку разболелась спина. И он обратился к приставу Климентию с просьбой остановиться хотя бы на день, чтоб немножко отлежаться и дать его больной спине недолгий покой. Но тот даже слушать не захотел, а буркнул что-то насчет того, что ему приказа на остановки дано не было и надобно успеть добраться в Тобольск хотя бы к Рождеству Христову.

Аввакум же в ответ не преминул помянуть патриарха Никона недобрым словом и заявил, что рано или поздно, но в Москву обязательно вернется и тогда выведет недруга своего на чистую воду, объяснив царю-батюшке всю неправду его. Климентий фыркнул и, зло сверкнув глазами на протопопа, лишь подхлестнул лошадей, бормоча себе под нос какие-то лишь ему понятные слова. Патриарший пристав, по его же признанию, вызвался заменить в дальней поездке положенного в таких случаях возницу, надеясь на двойную оплату, и теперь нещадно гнал лошадей, не обращая внимания ни на кочки, ни на ямы, беспрестанно попадающие на разбитой многочисленными обозами и одинокими путниками дороге.

Жену с детьми Аввакум пересадил в теплую кибитку, которую он выторговал с наступлением холодов у татар за смехотворную, по московским меркам, цену. В качестве возчика он нанял крещеного татарина, назвавшегося Сенькой, даже не поинтересовавшегося сколько ему заплатят. Самому же Аввакуму из-за тесноты пришлось перебраться в сани к Климентию, с которым их никак не брал совет, и они постоянно о чем-то спорили и препирались. Была бы рядом Марковна, она бы давно остановила мужа, найдя нужные в таких случаях слова, а без нее он постоянно срывался, считая, что наделен даром убеждения, а потому все его разговоры даже с малознакомыми людьми превращались если не в проповеди, то в нравоучения.

Его бывшие прихожане быстро нащупали слабое место у своего пастыря и частенько кто-либо из них, а то и целой группой дожидались Аввакума после службы и задавали какой-нибудь невинный с виду вопрос о постных днях или любви к ближнему, лишь бы начать разговор. Аввакум охотно отвечал, но, ответив, не успокаивался, а начинал приводить по памяти выдержки из Евангелия, которых знал множество, не замечая, как прихожане тихонько начинали хихикать, перемигиваться друг с дружкой, принимая его чуть ли не за блаженного.

Но он продолжал витийствовать, уносясь мыслями в далекую Палестину, где когда-то жили великие пророки, которым он беспрестанно пытался подражать. Через какое-то время прихожане, хорошо знавшие, что окончание проповеди не скоро дождутся, начинали потихоньку расходиться, и вскоре возле Аввакума не было уже ни единого человека, а он, увлекшись, все продолжал говорить, пока вдруг не замечал отсутствия слушателей и, страшно удивившись, шел домой, еще долго мысленно оставаясь в пустынной стране, давшей миру Спасителя.

Зато жена его, Анастасия Марковна, оказавшаяся раз рядом с ним во время одной из таких бесед и быстро понявшая подвох со стороны лукавых прихожан, немедленно прервала речь мужа и увела его домой, где долго выговаривала ему, чтоб он не увлекался подобными беседами вне храма, а то недолго стать всеобщим посмешищем. На Аввакума внушение ее подействовало, но ненадолго и вскоре он опять готов был вступить в спор с каждым, кто не принимал его мнения. Теперь же, оставшись без жениного пригляда, с глазу на глаз с Климентом, он обрел полную свободу и мог говорить часами. Пристав

далеко не сразу свыкся с этой его привычкой вскоре и поначалу считал того, если не больным, то наверняка блаженным. А потом твердо решил, что самое лучшее — с ним вообще не заговаривать первым. Потому он преимущественно молчал, лишь иногда, увидев что-то необычное в строениях или людях, мимо которых они проезжали, хмыкал, удивленно вертел головой, но Аввакума к разговору не подключал, если тот первым с ним не заговаривал.

\* \* \*

...В вятских краях стали замечаться некоторые изменения в селениях и их жителях. Появилась какая-то пестрота в одежде, другими стали и лица выходящих к дороге поселян. И речь их уже не лилась плавно, как у тех же москвичей, а говорили они все больше скороговоркой, будто сглатывали вылетавшие из уст слова и к каждому добавляли «ся»: подико-ся, скажико-ся, остановико-ся. А то и того смешнее: здравствуйте-ка, возьмите-ка, дайте-ка.

Вятские бабы в длинных, до пят, цветастых платках выходили к деревенским околицам с целой оравой малолетних детей, словно гусыни с выводком осыпанных желтым пухом гусят, спешащих летним утром к затерявшейся в ближнем овраге речке. Дети, бегущие вслед за матерью, одетые кто во что, начиная от длинных вылинявших от долгого употребления отцовских рубаш и кончая порванными во многих местах тулупчиками не по росту. Одежда эта мешала им двигаться, а тем более бежать за матерью, которая, не оглядываясь на орущую и голосащую свиту свою, степенно и без улыбки вышагивала чуть впереди их, неся что-то под мышкой, для чего, собственно, и отправилась в свой недалний поход к проезжей дороге. Путаясь в одежонке и пытаясь при том перегнать один другого, дитяти ее, словно по команде, чуть ли не на каждом шагу поскользывались, спотыкались и падали в мягкий накануне выпавший снег, с ревом вставали, отирали облепленные снежной пылью мордашки и, поскольку рев их и громкие призывы о помощи ни к чему не приводили, и никто не спешил к ним на помощь, бежали дальше, оглашая криками своими окрестности.

Хозяйка же, дойдя до ей одной известного места неподалеку от дороги, степенно озиралась вокруг себя, и уже тихая улыбка озаряла ее посвежевшее от легкого морозца лицо, и она встречала каждого из сынов и дочерей своих, отирала их сопливые мордашки длинным

рукавом льняного сарафана, прижимала к себе, и так они надолго застывали чуть в стороне от дорожной обочины, куда не долетали смешанные со снегом комья еще не застывшей грязи, летящие от мчавшихся мимо лошадиных копыт. И детки, словно почувствовав важность момента, уцепившись за материнский подол, замолкали и широко открытыми в незнакомый мир глазами, чуть приоткрыв рты, с неосознанным интересом глазели на проезжающие мимо ямщицкие подводки и крытые возки, думая о чем-то своем, недоступном для равнодушно глядящих на них путников.

Постояв так чуть и попривыкнув к движению, столь непривычному для размеренной деревенской жизни, женщина вынимала из-за пазухи или из-под одежды небольшой сверток, в котором опытный глаз голодного дорожного человека безошибочно определял кувшинчик с парным молоком, а то и полупрозрачным конопляным маслом, печатный ли пряник, завернутый в кусок тонкой выделки холстины.

Иногда же деревенская непривычная к торгу женщина неумело держала в руке кружевной платок или длинные грубой вязки чулки серого цвета из овечьей шерсти с неистребимым запахом прелой соломы и иным набором сельских ароматов. Но чаще всего проезжающим через вятскую сторону путникам встречались молчаливые с непроницаемыми лицами крестьянки, державшие перед собой глиняные кринки с янтарным медом.

Глядя на подернувшийся сверху тонкой корочкой мед, Аввакум представил, как над ним совсем недавно вился рой хозяйственных пчел, не желавших отдавать людям свой драгоценный наработанный за лето взятки, без которого всему их семейству уготовлена была неминуемая голодная смерть в разоренном дупле.

«Но разве человек способен входить в нужды и заботы бессловесных тварей, спеша поскорее закончить свою больше похожую на воровство работу по изъятию посредством дымокура, а иногда и беспощадного огня запасов, предназначенных вовсе не про его честь», — рассуждал протопоп, пытаясь отыскать Божье провидение во всем, что происходило с ним.

Он никак не мог решить, почему вдруг основы мироустройства сотворены таким образом, что изъятие продуктов труда, а то и самой жизни труженика происходит по желанию и воле более сильного его собрата ли, врага ли, считающего себя вправе пользоваться тем,

к чему сам он ни малейшего отношения не имеет и иметь не желает. Постепенно и те и другие свыкаются с навязанным задолго до их появления на свет неравенством и уже безропотно готовы отдать все, что от них требуют, лишь бы было разрешено им прожить лишний час, день или сколько они сумеют протянуть в ожидании иных, более справедливых, времен.

«Так в чем же справедливость мира сего?» — вопрошал он себя, крестился, не находя ответа, призывал Божьих заступников помочь в разрешении этого непростого вопроса, и ему временами казалось, что ангел, сопровождавший каждый его шаг, тихо подсказывает: «На небе Царство Небесное, а на земле силы дьявольские правят... Не искушай Господа, не задавай вопросов, на которые сам ответ дать не в силах...»

Но Аввакум отмахивался от слов его, считая, будто и сам в силах ответить на все, что вокруг происходит. Ангел же от таких мыслей лишь отстранялся от непослушного подопечного своего и, если бы умел, наверняка обиделся, а то и совсем отступился, предоставив тому полную свободу, но не мог... А потому со вздохом отлетал чуть в сторону, но знал, по первому призыву должен будет вернуться обратно и помочь неразумному разобраться в том, что он сам пока что уразуметь не может. Но чем дальше, все реже Аввакум обращался к нему, питая себя собственными познаниями, вычитанными в Божественном Писании и в долгих спорах с такими же, как он, пастырями.

\* \* \*

Чем дальше они ехали, тем меньше и меньше попадалось им на пути селений и все дешевле становились предлагаемые на продажу продукты. Потому многие путники, не удержавшись, покупали почти за бесценок у стоявших подле дороги крестьянок съестные припасы; порой впрок или для скорого их потребления и при этом вряд ли они думали об устройстве мира и причинах этого, а лишь дивились дешевизне продуктов в сравнении со столичными. И жена Аввакума, Анастасия Марковна, не могла удержаться, чтоб не побаловать деток тем или иным приспешившим к сроку угощением, выпрашивала у мужа мелкую монетку, торопливо совала ее в натруженную ладонь ближайшей женщине и, радостно улыбаясь во время скромного ужина, подкладывала ложку-другую меда деткам в кашу.

И хотя владельцы прихожане, которых Аввакум сумел построить против патриарших новин во время недолгого столичного служения, не поскупились и снабдили пастыря своего в дорогу не только запасом теплой одежды, но и собрали разной провизии, но большинство ее было уничтожено еще в первые недели пути.

Аввакум чуть улыбнулся, вспомнив свои проводы в дорогу. Пришло человек десять, не более, но каждый из них принес какую-нибудь снедь, что, по их разумению, могла пригодиться путникам в дальней дороге. Были там копченые окорока, вяленая рыба, связки сушеных грибов, нанизанные на тесьму баранки. Но когда подъехала груженная доверху телега от княгини Ртищевой и с нее стали сгружать бочонки с квашеной капустой, солеными огурчиками, от аромата которых у всех собравшихся слюнки потекли, а следом показалась вместительная клетка с курами-несушками, и в довершение всего из-под рогожи обиженно заверещал молодой поросенок, то стоящий рядом с телегой Климентий не выдержал и отпустил крепкое словечко. «Вы бы еще корову снарядили стельную, — сказал он сердито, — вам бы самим сесть место найти, а то пешком отправлю...»

Действительно, кроме самого Аввакума с женой и четырьмя детьми для помощи по хозяйству ехала с ними племянница Анастасии Марковны, Маринка, молодая девка, что по причине смерти родителей с малолетства жила в семье протопопа. Все ласково называли ее Марусей, на что она немало не обижалась. И хотя страдала она обычной для ее возраста ленью и желанием подольше поспать, не умела содержать хозяйство в чистоте и порядке, но дети привязались к ней за мягкость и незлобивость и не желали менять ни на кого-то другого.

А деток своих в протопоповой семье почитали, чуть ли не как святых угодников, потакая и многое им прощая. Аввакум, выросший в строгости и под частыми затрещинами скорого на расправу грозного родителя, хорошо помнил детство свое и может потому лишь грозился проучить сыновей за шалости, но ни разочка руку на них не поднял. Первенец, Иван, рос парнем смышленным и рано стал учить азбуку, пробовал выводить куском угля непонятные каракули на приспособленной для того сосновой доске.

Но Аввакум относился к тому из-за вечной занятости своей без особой ревности, полагая, что все должно прийти само и в свое время, когда возникнет в том потребность. К своим девяти годам Иван дорос

отцу до плеча, но был по-мальчишески худ и пока еще слабосилен. А вот нравом пошел в отцовскую породу, любил верховодить, за что часто получал синяки от своих ровесников, не терпящих подобного проявления превосходства от поповского сына. Он с малолетства проявлял необычную привязанность ко всякой животине, постоянно приносил в дом приبلудных щенков, а то и новорожденных слепых котят, из глупого сострадания или по иной причине не утопленных кем-то из соседей.

Правда, отец, понимая, чтоб без кошки котята вряд ли выживут, приказывал отнести их обратно, но Иван прятал их где-то в укромном месте, пытался выхаживать, но через какое-то время становился вдруг тих и задумчив, из чего можно было заключить, что хлопоты его оказались пустыми и бедное животное без должного питания наверняка околело, не перенеся разлуки с матерью. Но проходил срок, и Иван забывал о потере и вновь где-то пропадал с утра и до позднего вечера, чаще всего, подружившись с кем-то из состоящих при хозяйских лошадях конюхов, помогал чистить в стойле, запрягать коней в телегу, чтоб потом попросить из рук своего знакомого вожжи и проехать, гордо помахивая кнутом, мимо собственного дома. Несколько раз он заводил с отцом разговор о покупке коня, но Аввакум лишь отмахивался, считая, что и без этой обузы ему забот и так вполне хватает.

Второй их сын, Прокопий, а все его звали не иначе как Проша, рос ребенком замкнутым и малообщительным. Недавно ему исполнилось пять лет, но редкого когда улыбка освещала его худенькое личико, словно был он на что-то обиженным, чем главным образом и отличался от своего старшего брата, хотя внешне они были очень схожи. Сама Анастасия Марковна объясняла это тем, что до него у них рождались еще двое детей, умершие по разным причинам в недельном возрасте, едва окрещенные, а потому она очень боялась будущих родов, что наверняка и сказалось на Проше.

У многих женщин, потерявших детей в малолетстве, страх за благополучное рождение и судьбу следующего дитяти оставался на всю жизнь, и бороться с этим было бессмысленно. Потому Марковна в случае любой, даже самой незначительной, Прошиной болезни буквально места себе не находила, звала тайно от мужа знакомых знахарок, поила его разными настоями и не давала, как говорится, ветерку дунуть в его сторону. Аввакум же, уповавший главным образом



на молитвенное заступничество, читал в храме акафисты и подолгу у себя дома не вставал с колен перед образами. Когда Прохор начал поправляться, то и отец сам светлел лицом, и жена молодела на глазах, все это время переживавшая не только за сына, но и за мужа, изнуряющего себя дольше обычного постом и молитвенным бдением, буквально валилась с ног от напряжения и усталости.

Но проходил год, за ним другой и в аккурат на день Ивана Купалы у них родилась девочка, нареченная Аграфеной, а по русскому обычаю звали ее Агриппина, или просто Гриппа, Грипушка, Грипочка, Грибочек. Была она светловолоса, но глаза имела карие и кожу более смуглую, чем у братьев. Аввакум часто подшучивал над женой, что это все благодаря ее отцу, бывшему заправским кузнецом, у дочери такой цвет глаз и кожи. «Батюшка твой дюже прокоптился в кузне своей, оно внучке его и передалось». Марковна отшучивалась как могла, радовалась своему малому счастью и ждала, когда из дочери вырастет достойная помощница, чтоб можно было хоть часть забот переложить на нее.

И уже перед самой отправкой в Сибирь Анастасия Марковна благополучно родила третьего сына, нареченного Корнилием. Аввакум в это время находился в заточении в подвалах Спасо-Андроникова монастыря, и даже крестины сына пришлось проводить без него. Верные люди тайно передали ему о том, и он, как зверь в клетке, рвался на волю, проклиная мучителей своих, лишивших его даже одной из самых радостных минут в жизни, присутствия при наречении имени очередному наследнику.

Когда же ему объявили патриаршее решение об отправке в сибирскую ссылку и на несколько дней отпустили пожить дома, то он, не сдерживая радости, летел со всех ног к семье, где первым делом расцеловал жену, дочь, прижал к себе обоих старших сыновей, смущенных столь явным проявлением ласки обычно сдержанного в чувствах отца. А потом, осторожно ступая, подошел к люльке, где спал младшенький, внимательно взгляделся в сморщенное личико и, не решаясь взять того на руки, лишь глубоко вздохнул и тихо спросил, обращаясь к Марковне:

— Как же вы тут без меня останетесь?

Хотя и знал, что она будет возражать ему, противиться, но не ожидал что та столь непреклонно заявит в ответ, твердо глядя ему в глаза:

## СТРАНА ПЕЧАЛИИ

— Не бывать тому. Одни без тебя не останемся. Коль в радости вместе, то в беде и подавно. Не возьмешь с собой, пешком следом отправимся, куда сил хватит. Ты меня знаешь, мое слово нерушимо.

Как же, он знал ее слово. Знал и то, что ни разочка не нарушила супруга решения своего, и в таких случаях спорить с ней было бесполезно. Но попытался все же возразить, пробовал убедить, как трудно им будет с малым дитем на руках, сколь долгая дорога их ждет, какие морозы бывают в Сибири. Но Марковна даже слушать не хотела, а, усадив его за стол, уже накрытый заранее в ожидании мужниного возвращения, отправила детей на улицу, а племянницу Марину зачем-то в амбар и принялась перечислять, что нужно в первую очередь взять с собой из одежды, съестных припасов и куда что укладывать.

Аввакум было решил оставить уговоры до завтра, тем более что усталость после полугодных дней, проведенных в заточении навалилась вдруг на него, и он чуть не заснул прямо за столом. Но когда на другой день проснулся, увидел женины приготовления, пришедших помогать знакомых женщин, то ему вдруг совсем расхотелось говорить на эту тему. Да и понимал он, что права Марковна, поодиночке им еще хуже будет, а вместе, Бог даст, переживут очередное испытание в смирении и молитвах. Так и не удалось ему переубедить жену, а потому выехали вместе, и теперь их заботы были всецело посвящены пригляду за детьми, чтоб были сыты, тепло одеты, не мерзли в пути.

\* \* \*

...Неизвестно как, но о том, что в ссылку везут человека, выступившего против патриарших новшеств, местный народ узнавал задолго до появления в их краях самого Аввакума. И на многих постоянных дворах к нему незаметно пробирались скорбного вида мужички, безошибочно выделяя его из числа других приезжих, и, улучив момент, шептали, что ждут его вечером в местном храме, чтоб отслужить молебен по прежним, дедовским, канонам, а потом и поговорить, как им жить дальше. Никому из них протопоп не отказал и, как только ночевавший обычно рядом с ним Климентий засыпал, осторожно выбирался на улицу, где его уже ждали и отводили к местной церкви. После службы все собирались в трапезной или ином месте и иногда до утра вели долгие беседы о грядущих переменах и как можно им противостоять.

Но не везде Аввакум находил единомышленников, бывало и так, что батюшка, чаще всего из молодых и борзых, несмотря на уговоры прихожан, отказывался служить по старым обрядам и грозил донести своему благочинному или даже епархиальному архиерею. Аввакум, словно только и ждал проявления несогласия, тут же принимался спорить с настоятелем и обличать не только его, но и всех, кто перешел на сторону патриарха Никона, обещая им и отлучение от церкви, и проклятие на весь их род, и вечные муки на том свете после кончины. Встречались батюшки, что твердо стояли на своем, но иные начинали прислушиваться к его речам и доводам и в конце концов принимали Аввакумову точку зрения, обещая и впредь налагать на себя крестное знамение лишь двумя перстами и служить лишь по старым, неуправленным, служебным книгам.

В таких случаях, добившись от вчерашних «никониан», как Аввакум их и называл, признания старинных правил, был он наверху блаженства, ощущая себя истинным борцом за Святую Церковь и весь светился от очередной победы, возвращаясь уже под утро на постоянный двор. Он искренне надеялся, что проповеди его рано ли, поздно ли дойдут до каждого отдаленного уголка огромного Московского государства, и видел в нынешней поездке своей промысел Божий, когда через него Господь сообщал людям православным волю свою. В результате частых ночных отлучек и ночных споров с отступниками от старой веры Аввакум за несколько недель осунулся, высох, глаза его слезились от частого недосыпания, но при том сияли неземным светом, излучая редкой силы убежденность.

Заметил это и Климентий, несколько раз случайно наблюдавший, как опекаемый им опальный протопоп время от времени куда-то исчезал иногда на целую ночь. Но, подумав, решил не обострять отношений с острым на язык батюшкой, к которому относился, несмотря на его опалу, если не с уважением, то с опасением, как любой поселянин относится к жаркому пламени в печи дома своего, служащего для обогрева, но, не приведи господь, способного вырваться вон, и тогда каждый хорошо понимает, какой бедой то грозит.

Сам Климентий происходил из монастырских крестьян, грамоте обучен не был и священнослужителей считал людьми иного сорта, которым открыты тайные знания, сокрытые от простого люда. К тому же тот недостаток, что был в домах у большинства батюшек, не говоря уже о ближних к патриарху служителях, вызывал у него до защемле-

ния во внутренностях тайное чувство зависти и несказанный восторг, стоило Климентию лишь заглянуть к кому-то из них во двор. Приходилось ему бывать и в жилых покоях, где висели в тяжелых серебряных окладах древние иконы, таинственно горели лампадки, сновали старушки-приживалки, до одури пахло ладаном и на обеденном столе не переводился белый хлебушек. Ему, патриаршему приставу, не вылезавшему из дальних поездок по окраинным монастырям, куда он вез то одного, то другого отступника от веры, мечтать о таком достатке даже не приходилось. Потому и власть свою он выказывал на своих ссыльных спутниках, стараясь хоть здесь быть главным, карающей рукой всевластного владыки всея Руси.

Он знал, что простому иерею прислуживали обычно от двух до десятка сердобольных прихожанок, обихаживающих и его самого и деток поповских, метущих двор, таскающих на коромыслах воду в дом и на огородные посевы без всякой за то оплаты, а лишь за одно благословение почитаемого ими батюшки. Нельзя сказать, чтоб все из прихожан отличались схожим подобоострастием к духовным служителям своим. Климентий слышал не раз и украдкой прыскал от смеха, когда собравшиеся на заднем дворе конюхи громким шепотком рассказывали непристойные сценки из жизни хозяев своих, дающих им пропитание и исповедующих по праздничным дням.

Сами же они, конюшные мужики, не желая добиваться через учебу и неимоверное напряжение сил изменения собственной участи, раз и навсегда решили для себя, что такое обустройство мира зависит не от них, а установлено свыше. И коль батюшка грамотен и имеет лучший достаток, то так тому и быть. А им самим возле лошадей и возков и без того живется неплохо. Пусть и не столь сытно, но гораздо вольготнее, нежели сельским жителям, проводящим весь день то в поле, то в иных тяжелых трудах и не всегда уверенных, доживут ли до весны в случае очередного неурожая. Получая ежегодное хлебное жалованье, незаметно приворовывая, хитря и по мелочи обманывая хозяев своих, служащие при людях знатных мужики не только гордились избранностью своей, но во многих вопросах считали себя более сведущими, чем те, кто их содержал. Потому и сыпали за спинами их пошлые шутки и строили кривые рожи, выказывая друг перед дружкой собственное превосходство и ненаказуемость.

Но при всем том почти в каждом из мужиков, служащих в обслуге, жил червь зависти, растущий и заполнявший нутро их год от года.

Ежедневно соприкасаясь если не с богатством, то завидным благополучием хозяев своих, развивалась в них обычная для подобных случаев ревность, доходящая порой до исступления и черной злобы в глазах от повседневного наблюдения за безбедной жизнью тех, у кого находились в услужении. И будь их воля или представился такой случай, без долгих раздумий лишили бы они жизни из-за малой толики любого, кто имел большее, нежели они сами. И лишь страх наказания и извечная трусость, буйным цветом прораставшая со временем в каждом из завистников, не давали им решиться на дурное и завладеть чужим. Может, потому и изливали они зависть через скарденные шуточки, пользуясь непристойными словечками и намеками в адрес тех, кто считал их людьми скромными, безобидными и покладистыми, готовыми всегда услужить, встречающих на крыльце дома при спине согбенной благодетелей своих и суетно спешащих поцеловать пухлую белую ручку того, кто давал им не только пропитание, но и известное положение и достоинство.

Верно, так устроен человек, что не может он весь свой век довольствоваться малым, но заслуженным и до конца дней будет мечтать и надеяться на большее, которое в один прекрасный день неизменно явится ему в виде пусть не тельца золотого, но хотя бы в качестве случайно найденной дорогой вещи или там приблудившегося ничейного коня. А если и такое счастье не привалит за все перенесенные страдания мечтателя того, то при удобной возможности стибрит он незаметно то, что плохо лежит, считая кражу свою не грехом вовсе, а достойным вознаграждением за труды свои и потуги подбострастия, ежедневно и всенародно являемые им, но своевременно неоплаченные провинившимся тем самым хозяином.

Из той самой породы служителей происходил и Климентий, мужичонка неказистый, которого, как говорится, соплей перешибешь, но за свои сорок с небольшим прожитых лет скопил он в себе злобу немалую, которую при первой возможности вымещал на вверяемых ему ссыльных.

Аввакум же, плохо знавший породу эту и не привыкший разгадывать, отчего люди впадают в грех или противление добру, приписывал то искушению их немощных главным врагом людским, а борьбу с ним видел лишь одним-единственным способом, завещанным со времен установления на земле Святой Церкви, заключавшимся в беспрестанной молитве и покаянии.

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

Он неоднократно призывал Климентия отправиться с ним в один из храмов, мимо которых им случилось проезжать множество раз, и там покаяться, получить прощение за грехи, одолевающие патриаршего служителя, на что редко получал вразумительный ответ. Но ни разу еще за дальнюю их дорогу тот не приостановился даже у малой церквушки и внутрь нее не вошел, ссылаясь неизменно на срочность выполнения своего служебного долга. Когда же Аввакум пообещал наложить на того епитимью, то Климентий, не скрывая обуревавшей его злобы и скопившегося раздражения на протопоповы наставления, пригрозил пересадить его в кибитку к семье.

Взаимное их неприятие доходило порой до таких крайностей, что Климентий во всех неприятностях, случавшихся с ними в пути, стал винить протопопа, считая его чуть ли ни центром притяжения всех темных сил за нелюбезные высказывания того в адрес патриарха Никона. Если они поздно приезжали на постоянный двор, где им отводили худшие места, то виноват был непременно Аввакум, отвлекший его своими разговорами. Порвется шлея у лошади, опять же он виноват, что в Москве не попросил у кого надо доброй сбруи. А уж если случалась непогода с ветром и снегом, то тут вина того и совсем была очевидна — зачем, спрашивается, бунтовал, добившись тем самым ссылки в Сибирь, благодаря чему и отправили его, Климентия, в дальнюю дорогу. Аввакум поначалу пытался спорить, доказывать, но потом, убедившись в бесполезности своих доводов и к тому же изрядно подустав, махнул рукой и уже не слушал обычного ворчания пристава, а думал о чем-то своем, доступном лишь ему и никому более... Несколько дней они ехали, почти не общаясь друг с другом, каждый по-своему объясняя сложившуюся ситуацию и понимая, что дружбы меж ними никогда не будет, но каждый считал себя непременно правым, не желая понимать, почему другой не разделяет его убеждений.

И эти мысли его были известны ангелу, звавшемуся древним именем Архес, только не в его силах было предостеречь раба Божьего Аввакума отговорить от ссор с коварным приставом, поскольку тот имел на все происходящее свои думки и менять их никак не желал.

\* \* \*

Проехав Вятскую землю, они вплотную подоברались к Уралу, причем прежде широкая дорога сузилась настолько, что иной раз приходилось пропускать встречные сани, съехав на обочину. Аввакум не

заметил, когда они отстали от прочих путников, следом за которыми ехали довольно долго. Возможно, более опытные возницы сумели как-то оторваться от них, а может, просто свернули где, ища более короткий и удобный путь. И теперь уже несколько дней они ехали в одиночестве: впереди два верховых казака, непрестанно клюющих носами и склоняющихся в полусне к лукам седел, за ними правил Климентий с Аввакумом в сани, а следом, временами отставая на трудных участках пути, тащилась кибитка с Аввакумовым семейством.

Казаки, ехавшие в Сибирь по первому разу, на развилках часто останавливались, поджидали Климентия и спрашивали у него дорогу. Тот не всегда правильно угадывал направление, хотя ранее частенько хвалился, что много раз бывал в Тобольске и дорогу туда знает, как баба свои горшки в печи. Но одно дело — сказать, а другое — исполнить. Уже несколько раз они заезжали в такую глушь, что приходилось затем круто поворачивать обратно под чертыханья казаков, проклинавших все и вся на свете. Молчал лишь нанятый Аввакумом татарин, управлявший кибиткой, которому, казалось, абсолютно все равно, куда ехать, лишь бы кормили и к вечеру отводили теплый угол для ночлега. Потом уже казаки, переставшие верить всезнанию патриаршего пристава, и не ждали его у очередной развилки, а один оставался на месте, другой же скорой рысью проезжал некоторое расстояние, потом возвращался, указывая, какую дорогу лучше выбрать.

...Уральские горы мало чем поразили воображение Аввакума. Они оказались именно такими, какими он их и представлял из рассказов бывалых путников на постоялых дворах: с пологими склонами и лишь далеко в стороне виднелись скалы, уходящие ввысь уступами. Правда, Марковне с грудным сыном пришлось пересест в сани к Климентию, а сыновья с дочкой некоторое время шли пешком, потому как лошади даже на пологом подъеме не могли втащить неуклюжую кибитку. Но вскоре подъем закончился и лошадей приходилось уже сдерживать, чтоб они не разогнались на спуске.

Через день они въехали в густой хвойный лес, который обступил их со всех сторон, и сразу повеяло болотной сыростью, звуки, доносящиеся до них, несли с собой шум колышущихся крон деревьев, скрип могучих стволов, пугавший и без того насторожившихся путников. Казачьи лошади прядали ушами, ступали осторожно, непрерывно

вздрагивали, не желая идти дальше. Казаки нахлестывали их плетками, понукали, а потом, поняв, что так будет быстрее, соскочили на землю и повели их в поводу, пока те не обвыклись и не успокоились окончательно.

— Вот она, Сибирь-матушка, начинается, — неожиданно довольно миролюбиво проговорил Климентий, которому тоже, судя по всему, было не совсем уютно в сумрачном лесу.

Аввакум безошибочно определил, что тот чего-то боится, но не смеет сказать, и спросил наудачу:

— Разбойников тут не бывает?

— Как не быть, полным-полно, самые воровские места, — быстро отозвался тот. — Многих моих товарищей положили, Сибирь — она, одно слово, Сибирь и есть. Весь разбойный люд тут собран...

— Поди, на нас не нападут? — Аввакуму тоже сделалось не по себе, и он принялся читать про себя молитву, моля Бога, чтоб пощадил прежде всего детей его. За себя он почему-то особо не беспокоился, считая, что уготовлен ему долгий жизненный путь и Господь не прервет его здесь, не даст умереть от разбойничьего ножа или кистеня.

Он и не расслышал ответа пристава, который объяснял, что казаки им на то и приданы, чтоб не только за ссыльными приглядывать, но и защищать от лихих людей.

Лес они миновали беспрепятственно, то ли по благополучному стечению обстоятельств, то ли потому, что хваленые разбойники оказались заняты другими, более важными, делами, и вскоре спустились к руслу неширокой извилистой речки, покрытой льдом. Судя по наезженным колеям, по ней прошел уже не один груженный обоз и опасаться за крепость льда не стоило. И далее непрерывной чередой потянулись леса, опоясывавшие речные берега, словно густым частоколом, и казалось, из них смотрит на путников кто-то невидимый, несущий в себе угрозу и смерть.

Вскоре возле устья небольшой речушки Аввакум увидел несколько непонятных сооружений из жердей, укрытых сверху шкурами, берестой и еловым лапником. Из них к нему уходили клубы дыма, из чего можно было заключить, что внутри них, должно быть, находятся люди.

— И кто же здесь живет? — спросил он у Климентия.

— Да кто их знает, — охотно отозвался тот, радуясь в душе, что спутник его более не ведет бесед о спасении души, а переключился



на житейские привычные ему темы, — может, татары, а то остяки или вогулы. Живут себе... Чего им сделается...

— А русские селения будут? — Аввакум представил, что вдруг и ему с семьей придется жить в таком вот шалаше, о чем он раньше даже и не задумывался, как с детьми можно в лютые морозы зимовать в таком хрупком на вид строении.

— Куда ж они денутся, будут. Насмотримся еще.

И действительно, к вечеру они въехали в небольшое село, в глубине которого виднелся посеревший от влаги и стужи деревянный крест на церковной маковке. Большие рубленые из крепкой с красноватым оттенком сосны дома образовывали широкую улочку, которая вела к церкви, а за ней, чуть в стороне располагался постоялый двор с громадными воротами, за которыми находились коновязь и дом для ночлега. Навстречу к ним вышел, видимо, хозяин в длинной до пят одежде из звериных шкур, заканчивающейся наверху чем-то вроде колпака, накинутого на его большую лобастую голову. Он гостеприимно распахнул ворота, и они тут же въехали во двор, а следом за ними и кибитка, управляемая равнодушным ко всему Семеном и припоздавшие чуть казаки.

— Видал, какие одежды тут носят? — спросил Аввакум пристава, указывая на хозяина, уже закрывающего ворота обратно.

— У здешнего народа переняли, говорят, в них любой мороз не страшен, — ответил тот, выбираясь из саней.

— Да уж, — кивнул Аввакум, — и вид-то у него тоже звериный, как и шуба его. Не разбойник, случаем?

— Не бойсь, батюшка, — неожиданно хохотнул Климентий, что с ним случалось довольно редко. Но, видимо, и он, натерпевшись страха, пока ехали через угрюмый и мрачный лес, теперь отошел душой и сердцем и стал обычным русским мужиком, который всегда рад посмеяться над недавними напрасными страхами.

\* \* \*

Пока пристав договаривался о ночлеге и плате за него, Аввакум помог выйти жене, принял Корнилия и пошел с ним в дом. И тут он услышал, как младенец тяжело и судорожно дышит и время от времени глухо, словно маленький старичок, кашляет. Он повернулся к супруге и испуганно спросил:

— Что это с ним?! Неужто заболел? Вчера вроде здоров был, а тут вдруг... Что делать-то станем?

— И старшие тоже нездоровы, продуло в дороге, — ответила она, потупившись.

— Что же молчала раньше? Нужно было остановиться, подлечить их как-то. Сейчас скажу извергу этому, что дальше не поедem, пока детки не выздоровеют, — решительно повернул он обратно, передавая Марковне сверток с малышом.

— Не горячись, — остановила та его. — Подождем до утра, может, Корнеюшке лучше станет. У меня с собой малина сушеная из дома взята, напою отваром, укрою потеплее, подождем...

Аввакум хотел было ответить ей, что непременно сейчас пойдет и все выскажет Климентию, которого как слугу патриарха считал здесь главным своим врагом и усматривал во всех его действиях угрозу не только для себя, но и для жизней их детей, супруги, за которую он был готов биться с любым, не страшась ни угроз, ни самой тяжелой кары. Но, чуть подумав, решил, что Анастасия, как всегда, права, недаром умным человеком сказано: утро вечера мудренее, и, тяжело вздохнув, вошел в дом.

В тот вечер он долго не мог уснуть, слушая, как тяжело дышит, с частыми хрипами, младшенький сынок, покашливают старшие, и во всех этих бедах вновь и вновь обвинял исключительно патриарха Никона. А ведь не так давно они уважительно относились друг к другу и не раз вели долгие беседы, а вот пришел срок, и с недавних пор все поменялось. И патриарх, учинивший церковный передел, покалечивший судьбы тысяч людей, стал для него хуже папы римского, султана турецкого или иного врага веры Христовой. И не для одного Аввакума, а для всех тех, кто отшатнулся от нововведений церковных, перечеркнувших тем самым вековые православные традиции. Именно с него, с Никона, пошла в думах людских такая круговерть, не приведи господь кому испытать такое и стать участником раздоров церковных.

Едва проснувшись, он первым делом поинтересовался у жены, что уже давно встала и хлопотала, готовя согретую у печи детскую одежду, как чувствует себя младший. Та в ответ лишь отрицательно покачала головой, дав тем самым понять, что дела у него неважные. Дети и другие постояльцы еще спали, и она не желала будить их раньше времени. Да и сам Аввакум, глянув на Корнея, понял, что лучше ему отнюдь не стало, а значит, предстоит непростой разговор с приставом, который явно воспротивится долгой остановке, невзирая на причины, вызвавшие ее.

Так оно и вышло. Когда все встали и торопливо перекусили, то Климентий с удивлением глянул на Аввакума и его семейство, которое не спешило собираться в дорогу.

— В чем дело? — хмуро спросил он. — Давно пора ехать. Собирайтесь, а то к вечеру не успеем до ночлега доехать, придется в темноте пробираться, заплутать можем.

— Остановка нужна, — глухо проговорил Аввакум, избегая смотреть приставу в глаза, но внутренне готовясь к неприятному разговору и его последствиям, — дети, все до одного, хворые, выждать надо, чтоб поправились.

— Какая еще остановка?! — аж взвизгнул пристав. — С чего это вдруг? Не бывать этому! Не позволю! Мне такого приказа никто не давал, чтоб в дороге останавливаться, кроме как на ночлег. Вот до Тобольска доберемся, там живите как хотите, а тут я за все в ответе.

— Ну и поезжай один, — ответил ему Аввакум и, сжав кулаки, придвинулся поближе, вскинув голову и сверля пристава взглядом, полным ненависти.

Тот было растерялся, но потом зло прищурился и, повернувшись к находящимся здесь же казакам, до этого молчаливо наблюдавшим за их спором, приказал им:

— Тащи их, ребята, в сани. Дай срок, в Тобольске первым делом все обскажу владыке. Скажу, чтоб он тебя в подвал определил, там тебе самое место.

Но казаки мешкали, не решаясь применить силу к человеку, облаченному саном, тем более к женщине и малым детям. К тому же они не состояли на службе у патриарха, и пристав был им не начальник, а всего лишь такой же служивый, как и они сами.

Климентий, заметив их замешательство, не зная, как настоять на своем, принялся уже грозить и им:

— Чего стоите? — Он вскочил с лавки, круто развернулся к казакам. — Для того и приставлены, чтоб где надо силу проявить. Вернусь обратно в Москву, доложу вашему начальству, как вы тут с ним в сговор вступили. А он против самого патриарха голос свой поднял. — И ткнул пальцем в стоящего почти рядом с ним Аввакума, но дотронуться до него побоялся, опасаясь, как бы тот не саданул и его в ответ. Пристав впервые оказался в столь дурацком положении, когда сопровождаемый им ссыльный отказывался вдруг подчиниться.

Понимал это и Аввакум, победоносно взирая на Климентия, что хорохорился, словно петух на заборе, но прибегнуть к силе опасался, надеясь решить все громким криком.

Тем временем один из казаков, что был постарше, почесал рукой в голове и с расстановкой проговорил:

— Наше дело сторона. Сами меж собой решайте как быть, ехать дальше будем или тут оставаться. Нам про остановки ничего говорено не было. Велено лишь присматривать за батюшкой, чтоб не сбежал куда с дороги и в цельности его в Тобольск доставить. А как ехать и сколько ехать, то нам не ведомо. Вот так-то...

— Н-да! Сами решайте, а у нас своя служба, — поддержал его второй сопровождающий возрастом помоложе, который всю поездку пытался заговорить с Аввакумовой племянницей Мариной, но это у него по причине косноязычности плохо получалось.

— Вижу, сговорились тут! — взвился Климентий, замахав в воздухе обеими руками, будто пытался отогнать от себя налетевших вдруг комаров. — Знаю я вас, казачков, вам хоть в лоб, хоть по лбу, лишь бы не работать. Ни за что не в ответе, на все наплевать! Я тогда так поступлю: поворачиваю обратно в Москву и докладываю, что ссыльный ехать отказался, а вы мне никакой поддержки в том не оказали. Пускай там решают, как с вами со всеми поступить. — И он, накинув тулуп на плечи, шагнул к выходу.

Аввакум собрался было уже торжествовать победу и хотел крикнуть вслед приставу что-нибудь обидное, но неожиданно в разговор вмешалась Анастасия Марковна, не спускавшая с рук младшего сына.

— Зачем тебе, батюшка, лишних недругов наживать? — мягко и, как всегда ласково, спросила она мужа. — Ничего хорошего с этого не выйдет. Поезжай, коль велят. Видишь, спешит человек, домой побыстрей вернуться желает. Не перечь ему. Сам поезжай, а нас тут оставь с одним из охранников. Такое можно? — спросила она смиренно, обращаясь к Климентию, как к главному.

— Уж и не знаю, — озадаченно ответил он, не ждавший поддержки со стороны жены протопопа и потому в раздумье замер на пороге. — Дело ли так поступать...

— Младшенький наш совсем хворый, — всхлипнула Марковна, и у Аввакума горько защемило в груди от этих слов. Он понимал, что не может ничем помочь младенцу, но его деятельная натура не желала

с этим мириться. Он готов был, если потребуется, день и ночь носить сыночка на руках, качать его, убаюкивать, но знал, что материнские руки не в пример мужским сделают это лучше, а потому вынужденно мирился со своей бездеятельностью.

— Нет, не согласен, — выкрикнул он, — не оставлю вас одних, вместе будем ждать пока детки поправятся! Чего это ты вдруг выдумала? — попытался он грозно взглянуть на жену, но та лишь отмахнулась от него и продолжала:

— Вряд ли ты чем им поможешь, лишь суета лишняя будет. Маринка за старшими приглядит, а я Корнеюшку выхаживать стану: в баньке попарю, травками напою. Бог даст — и выздоровеет.

Аввакум хотел было взорваться, затопать ногами, как обычно с ним случалось, закричать что есть силы тонким своим голосом, но чуть призадумался, полагая, что в словах жены есть немалая доля правды.

— Как же ты, касатка моя, да еще с детьми без моего присмотра тут останетесь? Вдруг случится чего, не приведи господь, кто вам поможет? Кто заступится? Люди разные есть, в душу всякому не заглянешь... Не знаю, что из этого выйдет...

Но доводы свои привел он как-то невыразительно, обыденно, подыскивая нужные слова, почему-то никак не идущие на память, когда он нервничал, волновался. Лицо его при этом покрылось пунцовыми пятнами, руки начали мелко дрожать, еще чуть — и случится очередной припадок, что бывали с ним и раньше, а после заключения в монастырском подвале он стал и вовсе неуступчив и готов вспыхнуть, что пакля просмоленная, стоило лишь кому слово поперек сказать.

Заметила это и Анастасия Марковна, не меньше мужа боявшая вспышек его беспричинного гнева, но не столько за себя, как за него самого, зная, как он потом долго отходит от них, и понимая женским чутьем своим, чем когда-нибудь подобная вспышка может закончиться.

— Да ничегошеньки с нами не случится, — поспешила она успокоить протопопа и ласково провела тонкими пальцами по лицу, чуть задержав их на губах, мягко нажала, давая понять, чтоб он не кипятился, не рвал душу лишний раз без причины. — Не впервой. И раньше одни подолгу без тебя жили, и ничего. А ты тем временем доберешься до Тобольска и там с жильем и с местом для себя определишься. Без

нас тебе даже справнее будет. И кони отдохнут, а то едва возок наш тянут, — привела она последний довод.

— Нет, с вами останусь, — упрямо замотал головой Аввакум. — Одних не могу бросить, всякое случиться может...

— Молись за нас, и все сладится, все в руках Господних. Он наш главный заступник и в бедах и в радостях. Будь что будет, — ласково вразумляла мужа Анастасия Марковна, незаметно глядя его по руке. — Бог нас не оставит и сохранит. Но и искушать Господа не следует. Побереги и себя и деток наших. Сегодня, коль не ошибаюсь, день памяти великомученицы Варвары, а там уже и Николин день. По всем приметам, вслед за ним и морозы сильные придут. А в пути, как люди здешние сказывают, селения одно от другого реденько стоят. А вдруг да придется в поле или в лесу ночевать, тогда как? Берлогу искать станем? — широко улыбнулась она, с любовью глядя на мужа.

— Правду говоришь, — согласился тот с неохотой, — но мне-то каково вас одних бросать?! Негоже так христианину поступать. Как со всеми одна управляться станешь?

— А я на что? — вступила в разговор Марина, молчавшая до того, резонно считая, что не ее ума дело — вступать в спор.

— Она и поможет, — согласно кивнула Марковна. — Она нас никому в обиду не даст.

— Так говорю? — широко улыбнулась Марковна и свободной рукой притянула за плечи к себе худенькую племянницу.

И в самом деле, в дороге Маринку словно подменили, откуда что взялось. Тут она оказалась просто незаменима, когда дело касалось определения на постой, приготовления пищи в походных условиях, штопки быстро рвущейся от непрерывной носки одежды, борьбы со вездесущими клопами, которые встречались в изобилии во всех постоянных дворах и крестьянских избах, где им порой случалось останавливаться. Из прежней неповоротливой девахи она вдруг сделалась расторопной и подвижной бабенкой, которая обо всем помнит, знает, что где лежит, кому в чем какая надобность, а самое главное, умела найти общий язык с любой хозяйкой, где бы они ни останавливались. С ней и впрямь можно было оставить Марковну и деток, зная, что Маринка за всем приглядит и поможет.

Но Аввакум не сдавался, хотя и понимал, что жена права и лучше будет сделать так, как предлагает она: самому ехать вперед, приготовить жилье, получить назначение, а там и они подъедут. Однако

обычное его упрямство и нежелание уступать вновь и вновь подталкивало его что-то там возразить, настоять на своем, хотя потом, может быть, и будет каяться, сожалеть, когда окончательно убедится, что решение, принятое им, оказалось неверным.

— Не надо было брать вас с собой. Говорил ведь, оставайся на Москве, а ты вон уперлась — и возом не своротишь: поеду, и все. Послушал тебя в который раз, а теперь сам себя казню за то...

— Когда же я тебе дурные советы давала, Аввакумушка? Мужик думу головой думает, а баба нутром все чуёт. Как бы я тебя в Сибирь эту одного отпустила? Заклюют вороны моего сокола, а мне без тебя не жить.

— Не всякая ворона — для нас оборона, — отшутился Аввакум.

\* \* \*

В душе он радовался, что главная его заступница и помощница по-прежнему любит его, и, случись что, к кому он понесет печаль свою, как не к ней. Она и приласкает, пригреет, утешит и дурного не посоветует. Марковна его, дочь кузнеца, потерявшая мать, а затем и отца в малолетстве, тоже натерпелась всякого за свою недолгую жизнь. А потому, когда он ее, сироту, посватал, то вначале и не поверила, убежала во двор, где долго редела, боясь выйти на люди. Может, оттого сразу у них все и сладилась и пришло то, что называют любовью. Но не у всех принято говорить о том вслух, даже оставшись наедине, а тем более прилюдно.

Вот и он, облаченный священническим саном, более всего стеснялся произнести, выговорить это слово даже в минуты высшего их единения и согласия. Так и не пришлось Марковне хоть разочек услышать от мужа то заветное словечко, которое и сама она тем более робела произнести вслух; в отличие от многих, кто готов по десять раз на дню, словно сорока на плетне, повторять его без всякого на то смущения.

Но по тому, как она порой взглядывала на него, вот как сейчас, к примеру, он понимал, что без любви так смотреть и улыбаться невозможно, и отвечал ей тем же, хотя и ворчал порой на всякие там домашние недоделки и мелкие провинности. А мог и взъяриться, так вдарить кулаком по столу, что столешница трещала. Бог силенкой-то не обидел, но на нее, на любимую женушку, руки за все время совместного жития так и не поднял. И в мыслях не держал, хотя его

батюшка, случалось, потчевал матушку по первое число, особенно, когда возвращался под изрядным хмельком с очередной свадьбы или с крестин. Но Аввакум знал, что, не сдержись он раз, поступи, как отец, — и пойдет жизнь наперекосяк, покатится все в тартарары, и хотя Марковна, может быть, и простит со временем, но уже не будет того единства и душевности, доходящей до небесного блаженства, в которых он купался каждый раз, оставаясь вечерами с семьей.

«Не зря нам заповеди Господни даны, — частенько размышлял он, — все-то там прописано, как верно жить на этой земле, как усмирять себя, как душу грешную утешить. Иные в вине успокоения ищут, иные в блуде, кому-то власть подавай, а не думают, что семья превыше всего и первейшая церковь для человека, где душа в покое пребывает, коль все в доме ладно».

Он и сам не заметил, как подошел к супруге, притянул ее к себе, чмокнул в макушку. Смирился и Климентий, решивший за лучшее довезти до Тобольска хотя бы одного Аввакума, чем возвращаться ни с чем в Москву, где его по головке не погладят за такое своевольство. Он вернулся обратно в горницу, сел на лавку и вытер испарину на начавшей уже пробиваться лысине. Казаки вышли на улицу седлать коней, и лишь дети, сидевшие на лавке и мало что понимавшие в происходящем, понуро глядели по сторонам, ожидая, когда им все разъяснят.

И Аввакум, наконец окончательно смирившийся с необходимостью скорой разлуки, начал собираться в дорогу, плохо представляя, как ему ехать дальше рядом с Климентием, с которым он чуть было не разодрался. Тот же сидел на лавке, отвернувшись в сторону, и молчал, думая о чем-то своем.

Заметила это, как всегда, первой все та же Марковна и подошла к приставу, не выпуская младенца из рук, низко поклонилась и сказала:

— Ты, мил-человек, сердца на мужа моего не держи, прости, коль сможешь. Он хоть и горяч, но отходчив. А вам еще вон сколько вместе быть. Прости его...

— Да я чего, я службу свою исполняю, если буду с каждым, кого вожу, сердце рвать, то и меня ненадолго хватит. Ничего, сговоримся по дороге как-нибудь.

Аввакум со стороны глянул на супругу свою — да так и обомлел: солнечный свет, просачивавшийся через оконце, затянутое бычьим



пузырем, падал ей на темя и создавал что-то похожее на нимб, а лежащий на руке Корнеюшка окончательно дополнял картину.

«Богородица, сущая Богородица, — подумал он про себя и перекрестился, — словно с иконы какой сошла... Бывает же такое!»

— Аввакумушка, а ты что скажешь? — прервала она его размышления, — скажи свое слово. Пусть у меня вера в душе будет, что вы с миром и добром вместе поедете.

— Так и есть, — кивнул протопоп, — коль ты о том просишь, то отказать никак не могу. Сам виноват, что наговорил лишнего.

— Вот и хорошо, коль все понял. Давай собираться да пойдем с детьми, проводим вас хоть за ворота.

Неожиданно в дом вернулся молодой казак и заявил, что конь его захромал и нужно или другого где брать, или этого лечить. Климентий зло глянул в его сторону и, ничего не говоря, выскочил за дверь. Казак же показал вслед ему язык и незаметно подмигнул Маринке, не сводившей с него глаз. Аввакум лишь усмехнулся, решив, что так даже лучше будет, если при его семействе останется кто-то из служивых и в случае чего окажет помощь, заступится.

Собравшись, он прошел на хозяйскую половину, недолго поторговался с хозяином насчет оплаты за неделю вперед в счет пребывания у него Марковны и других домочадцев и вышел на крыльцо. Следом выбежали и сыновья в наспех накинутых одежонках, а потом вышла и Марковна, оставившая младшего сына с Мариной и ведя за руку дочь. Аввакум торопливо расцеловался с сыновьями, прижал к себе Аграфену, перекрестил всех, прочел молитву Николаю Угоднику и, надев на голову шапку, пошел к саням, где его уже ждал разбиравший вожжи Климентий. И лишь сев в сани, оглянулся на стоящую на крыльце чужого дома жену, сдерживающую подступающие слезы, детей, жавшихся к ней и смотрящих исподлобья на уезжающего отца, махнул им рукой и отвернулся, чтоб самому не расплакаться.

«Неужто у нас так никогда своего угла и не будет? — с горечью подумал он. — Сколько вот так маяться? За что это мне все, Господи?»

И словно услышал чьи-то слова, прозвучавшие ответом: «До самой смерти страдания тебе те даны. Пока что малую толику испытал, а дальше похуже будет. Готовься к тому...»

Аввакум вздрогнул, глянул по сторонам, словно надеясь увидеть того, кто произнес эти слова, и даже несколько раз перекрестился,

## СТРАНА ПЕЧАЛИ

в то время как ангел его, довольный, что предостерегающие слова наконец-то были услышаны, взмыл высоко в зимнее, подернутое сизой дымкой небо, и лишь струи вырвавшегося из-под его крыл слабого ветерка взъершили рыжеватую бороду протопопы, на что тот не обратил ни малейшего внимания.

Климентий же громко свистнул, из-под конских копыт вылетели первые комья грязного снега, и сани, чуть дернувшись, потащились вслед за пошедшими ходкой рысью лошадьми, все дальше и дальше от родных Аввакуму людей, в край, называемый Сибирью, куда мало кто едет по собственному желанию и охоте, а потому зовут ту землю землей печальной и скорбной. И тут Аввакум почувствовал, как что-то изменилось в нем, словно отобрал невидимый им лихой человек самое ценное, что было у него, и он уже никогда не сможет вернуть эту драгоценность обратно и будет так жить с ощущением потери до конца дней своих.

Почувствовал это и Климентий, зябко передернув плечами, будто бы наваливается на него ком холодного, удушливого снега, отчего в груди стало вдруг необычайно пустынно и зябко, и захотелось ему повернуть обратно, но долг, стоявший для него выше всего на свете, гнал вперед, в страну, где долго жить не может ни один человек, если он хочет сохранить данную от Господа душу, поскольку и та начинает печалиться среди бескрайних, не заселенных человеком просторов.

\* \* \*

После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: не бойся Авраам; Я твой щит; награда твоя весьма велика.

*Быт. 15, 1*

Первую половину дня они ехали молча, думая каждый о своем. Аввакум без всякого интереса разглядывал казавшуюся ему однообразной нескончаемую стену леса, оставаясь мыслями с Марковной, с детьми, но все больше утверждаясь, что не зря послано ему испытание Сибирью. Он должен его вынести, преодолеть, чтоб потом, когда кончится ссылка, с новыми силами вернуться в Москву и доказать недругам своим, что нет такой силы, способной изменить его

веру в правильность своих поступков. Ибо дано ему предназначение свыше, и выполнит его он во что бы то ни стало...

Климентий же думал, что так даже лучше — ехать вдвоем со ссыльным протопопом и не дожидаться по утрам, когда соберется в дорогу все его многочисленное семейство. Он, постоянно имея дело то с одним, то с другим ссыльным, сопровождая кого в дальний монастырь или в Сибирь, давно отвык от чувства, называемого жалостью. К путникам, которых вез, относился, как иной возчик относится к поклаже, и даже никогда не стремился понять, о чем те думают, отчего страдают, в чем их вина. Не помнил он и не единого имени тех, кого сопровождал, и лишь иногда всплывало в памяти его то или иное скорбное лицо. Но он давно научился отгонять эти воспоминания от себя и думал лишь, как вернется обратно, получит положенное вознаграждение и станет жить дальше в ожидании следующей поездки.

И к нынешнему седоку, нестарому еще протопопу, он относился как к человеку, преступившему закон, а потому заслуженно наказанному. Но когда он украдкой глянул при выезде с постоялого двора на жену его, едва сдерживающую слезы, в лица детей, не совсем понимающих, почему отец их вдруг едет один, а они остаются здесь без него, в незнакомом месте, то в душе у пристава что-то вдруг словно надломилось. Он и сам не понимал, что с ним произошло, и поначалу решил, верно, захворал, чего с ним давно не случалось. Но прошло примерно полдня, а женщина с детьми все не покидала память его, и тут он испугался: может, это сглаз какой, наваждение? А потому решил за лучшее выпить кружку-другую вина, припасенного им на всякий случай еще с Москвы, посчитав это средство за лучшее из всех ему известных и от печали, и от сглаза, и от простуды, коль вдруг она появилась.

Потому, когда они остановились на очередном постоялом дворе, то так и поступил, не особо обращая внимания на сидевшего рядом Аввакума и других постояльцев, не сводивших с него глаз. Вино в тех краях было дорого, поскольку редко сюда кем завозилось, а местные жители его не производили, и потому купить хмельной напиток было почти что невозможно. После второй кружки его вдруг взял озноб, и захотелось остаться хоть ненадолго, но одному. Он вышел во двор, заглянул зачем-то под навес, где ставили на ночь коней, постоял так чуть, слушая, как те пофыркивают, позвякивая удилами, почуввав приближение чужого человека.

«Хорошо вам тут, когда все вместе и уход за собой имеете... А я вот один, совсем один и никто меня спать не уложит, сапоги с натруженных ног не сымет», — пронеслись несуразные мысли в его слегка захмелевшей голове. Он вышел со двора на заснеженную улочку затерявшейся среди вековых лесов деревеньки и поднял глаза к темному небу, на котором почти не было туч и лишь месяц одиноко висел на самом его краю.

«И зачем я здесь? — озадаченно спросил он вдруг себя. — Для чего? Почему так живу?» Но ответить на этот непростой вопрос он сам не мог и не знал, к кому обратиться за помощью или советом. А потому решительно пошел обратно в дом, где завалился спать, и проспал бы наверняка до полудня, если бы не казак, едва растолкавший его. Климентий сел на соломенной подстилке, что служила постояльцам вместо перины, и почесал искусанную кровожадными клопами грудь, в недоумении посмотрел по сторонам, потом встал и пошел запрягать коней, начисто забыв о вчерашних неразрешимых вопросах. Но веселей оттого ему не стало, и пропало вдруг руководившее им до того чувство долга, словно он потерял его где-то в дороге...

Неспешная езда окончательно развеяла дурное настроение, возникшее у патриаршего пристава накануне. Не заметил он и той пустоты, что вчера обнаружил в себе, и пропали глупые вопросы, мучившие его. Он даже попытался завязать разговор с Аввакумом, но тот, погруженный в какие-то свои мысли, лишь что-то буркнул в ответ, и дальше они ехали молча, и лишь временами Климентий понукал лошадей да кричал что-то казаку, который то обгонял сани, то пропускал их вперед, давая своему коню передохнуть, хватануть губами мягкий снег, а сам меж тем ловко соскакивал с седла, чтоб подтянуть ослабевшую подпругу.

Аввакум же потерял счет дням и лишь иногда интересовался у пристава, сколько еще осталось ехать и какой город будет впереди. Тот охотно пояснял, но разговор меж ними так и не завязывался, словно разделяла их какая-то невидимая стена, через которую человеческие слова не проникают, и так они свыклись со своим положением не замечать один другого, что порой, встретившись взглядами, долго не могли понять, что за человек сидит рядом.

Но постепенно отчуждение, разрушаемое извечным людским любопытством, сменилось поначалу безразличием, а потом и взявшей откуда-то потребностью в общении. Первым разговорился Климентий, принявшийся рассказывать, какие, бывало, случаи при-

ключались с ним в дороге. Аввакум без особого интереса, больше по инерции, о чем-то переспросил, тот ответил, и вскоре они, склонивши один к другому головы, чтоб не кричать на холодном ветру, увлеченно говорили, порой даже спорили, и незаметно стали если не друзьями, то увлеченными собеседниками, и почти забылась прежняя неприязнь, так что со стороны было не различить, кто за кем надзирает и кто из них по положению своему главный.

\* \* \*

...Однажды утром после очередного мало чем отличавшегося от прочих ночлега Климентий сообщил, что к вечеру они должны прибыть в Тюмень и там останутся, как он обычно делал, в Троицком монастыре, где всегда принимали служителей патриаршего двора. Аввакум подумал, что в монастыре к нему, противнику патриарха, наверняка отнесутся без особой приязни, определяют для ночевки какую-нибудь самую захудалую келью, а то и чулан. Но особого выбора у него не было, а потому приготовился к самому худшему, когда увидел с реки высокие монастырские стены с несколькими невзрачными башенками по углам и тянувшимися к небу над стоящим в глубине братским корпусом дымками от топившихся печей.

Поднялись по крутому берегу и подъехали к воротам, где на их стук открылось окошечко, и в нем обозначилась часть грубого лица мужика, чей жесткий взгляд не предвещал ничего хорошего.

— Чего стучишься? Поздно уже. Игумен, поди, еще на службе или почивает уже. Завтра приходи, — грубо ответил он на подобострастную улыбку Климения и захлопнул окошко прямо у того перед носом.

Аввакум опешил от такого обращения, а Климентию, видать, подобные отказы встречать было не в первой, и он терпеливо, снявши рукавицу, тихонько стукнул несколько раз в ворота костяшками пальцев. Охранник будто ждал повторения и тут же открыл свое оконце.

— Если не уберешься отсюда, то выйду и так накостыляю, родные не узнают. Проваливай, пока не разозлил. — И, как бы между прочим, отпустил такое ругательство, что редко можно услышать даже среди простого рабочего люда, а не то что от монаха.

Аввакум весь вспыхнул от услышанного и кинулся было к окну, чтоб пристыдить караульного, но Климентий вовремя уцепил его за полу и, отодвинув в сторону, заговорил торопливо:

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

— Любезный, ты меня послушай! Мы не просители какие, а из самой Москвы от патриарха нашего, Никона, прибыли. Изволь доложить настоятелю вашему. Как его звать-то? Запоматывал я что-то...

Но и этот довод не подействовал на караульного, и он, хохотнув, развязно ответил:

— Вот как вспомнишь, тогда, дядя, и приходи, расскажешь, чего там у вас на Москве творится-делается, а то мы разные разности о том слышали. Гуляй покудова до утра! — И он попытался вновь прикрыть окошко.

Но тут уже Аввакум не выдержал подобной дерзости и выхватил торчавший у Климентия за поясом кнут и сунул его в створ окошка, закрыть которое теперь не было никакой возможности.

— Это кто там такой шалунишка взялся? Захотел силой со мной померяться? Да? — без всякой злобы спросил охранник, но в каждом его слове чувствовались сила и уверенность бывалого бойца, что раззадоривает себя перед началом большой драки, чтоб потом уже так разойтись, что никто его остановить будет не в силах.

— Ты с кем так разговариваешь, чернец слюнявый! — взвизгнул протопоп, которого особо раззадоривать и не требовалось и вступить в спор, а коль нужно, то и в драку он был всегда готов. — Перед тобой не кто-нибудь, а сам протопоп из московского Казанского собора, куда батюшка-царь на службу ходит поклоны класть! И ты, тупая твоя башка, бревно неотесанное, смеешь при мне срамные слова говорить?! Да я на тебя епитимью на двенадцать годков наложу, чтоб ты до самой смерти и близко к церкви святой подходить не смел! Прокляну и тебя и всех родственников твоих, отлучу от церкви православной!!! — одно за другим выкрикивал угрозы Аввакум.

На караульного подействовали, скорее всего, не сами угрозы, а упоминания царя-батюшки, и он нехотя вытолкнул из оконца кнутовище обратно к крепко держащемуся за него протопопу и примирительно заговорил:

— Надо же, напугал голого баней! Сразу бы сказал, что с царем нашим знаком, другой бы разговор был. А патриарха вашего, честно скажу, не люблю и в грош не ставлю. Так вы из самой Москвы, значит? Поди, на ночлег к нам?

— Из Москвы и есть, — торопливо закивал головой Климентий, — а к вам на ночлег. Я уж не первый раз здесь останавливаюсь, как кого из ссыльных везу.

— А кто тут ссыльный-то будет? — поинтересовался караульный, не спеша открывать ворота.

— Он и есть, — указал Климентий на протопопа, — а я, пристав патриаший, везу его до Тобольска.

— Понятно, — степенно ответил караульный и распахнул калитку ворот, — проходи, — обратился он к Аввакуму. Но когда и Климентий попытался войти следом и потянул за уздцы лошадей, то заслонил ему путь. — А ты, человек хороший, здесь погодь. О тебе никаких распоряжений не было. Так что жди, когда пригласят.

— А он как же?! — завопил пристав тонким голосом. — Ты, может, не понял чего? Он ссыльный, а я его сопровождаю...

— Все я понял, — словно от назойливой мухи отмахнулся тот и плотно прикрыл калитку, — ссыльных нам приказано принимать, как всякие души заблудшие. А о приставах и разных там посыльных — ничего не знаю.

Аввакум внимательно оглядел караульного и поразился ширине его плеч, могучим, словно корневища огромного дерева, рукам и многочисленным шрамам на лице.

— Чего? Любуешься? — с усмешкой спросил тот. — То басурманы и разный лихой народ меня сабельками разукрасили, когда службу ратную нес. Но ты не сомневайся, больше они никого уже не порубают. После меня такие долго не живут. Вжик и все тут! — И он красноречиво провел ребром ладони по горлу.

— Так ты из ратников, что ли? — уважительно спросил Аввакум.

— Из них. В разных краях бывать приходилось: с поляками рубился, с Литвой бился, с крымчаками, а на старости лет вона где осесть пришлось. Кто же знал, что здесь окажусь? — вздохнул он и широко зевнул.

— И постриг принял? — решил вызнать все до конца о караульном Аввакум.

— Зачем? — небрежно ответил тот. — Мне оно ни к чему, числюсь тут в послушниках. Коль не понравится, то уйду в иное место. Ты вот чего, мил-человек, на меня не серчай, служба такая, чтоб всех проверять, кто к нам вхож, а сейчас иди к ключарю нашему, он тебя и определит куда на ночлег.

— А с ним как быть? — спросил его Аввакум. — Замерзнет, поди, в такой мороз. Пустил бы. Он же тоже при службе.

— Да пушу... — махнул здоровенной пятерней караульный. — Куда же его девать. Только как есть сказываю, не люблю приказных и разных там прихвостней. Особенно с патриаршего двора. Кусачие, будто клопы после заморозка. Ты эконому-то скажи про него, а он распорядится, пущать али как. Тогда все по закону и выйдет.

Аввакум не стал вступать с ним в спор, тем более что и сам считал, не повредит Климентию охолодиться чуток, а то корчит из себя бог весть что. Да и не его это дело — в чужом монастыре свои порядки наводить, и с тем отправился на поиски монастырского эконома.

\* \* \*

Им оказался невзрачный и тщедушного вида человечек преклонного возраста с юркими, хитроватыми глазами, которые он постоянно отводил от взгляда собеседника и говорил тихо, словно боялся кого разбудить. На поясе у него болталась связка здоровенных ключей от всех монастырских погребов и покоев, придающих ему вид солидный и важный. Аввакуму был знаком такой тип людей, и он тут же решил: экономом, или по-простому ключарь монастырский, явно на руку нечист и при случае берет мзду с каждого встречного. Но тут он повел себя почтительно и даже любезно. Проводил протопопу в отдельную келью и обещал позаботиться о Климентии.

— Только вот припозднились вы, а потому попотчевать вас особо нечем. Все уже убрано, и теперь до утра придется потерпеть.

— Да не впервой, — успокоил его протопоп. — К тому же Рождественский пост идет. Но вот от куска черствого хлеба и кружки кваса или даже воды не отказался бы. Наши припасы все вышли еще недельку назад, питаемся лишь на дворах постоялых. Со вчерашнего дня во рту ни крошки не было.

— Не знаю, не знаю, — потупив очи, отвечал тот, — может, и найдется что, поглядеть надо.

— Ты уж, мил-человек, глянь, а то намерзлись за день, спать хочется, а перед тем пожевать хоть кусочек малый не помешало бы...

Пока экономом провожал протопопу до свободной кельи, то объяснил со значением, что совсем недавно занимал ее брат Никанор, скончавшийся на днях от какой-то непонятной болезни. Аввакум подумал с едва заметной усмешкой: предложи он ключарю мзду пусть и самую малую — и тот, побряхтев для вида, определил бы ему иное, более подходящее, место. Но не в его правилах было вести торг в святой



обитатели, а потому без долгих раздумий смело вошел в определенную ему келью, читая про себя оградительную молитву и держа на отлете свечной огарок, врученный успевшим исчезнуть ключарем. Рядом с дверью он различил деревянную кровать, покрытую дерюжным одеялом, и осторожно сел на краешек ее, огляделся.

...Во многих монастырях пришлось побывать ему за время частых своих поездок по Руси и всегда поражался он их неповторимости и непохожести при первоначальном внешнем сходстве. В каждом из них присутствовал свой неповторимый дух, в зависимости от того, кто их строил, а затем жил там, обустроивал, оставляя после себя заботливый хозяйский подход к строениям и всему, с ними связанному, или же наоборот, отсутствие такового. Иные монастыри были сварганены, что называется, на живую нитку, на скорую руку неумело и как попало. В них обычно стоял гнилостный запах, и по всем углам цвела плесень, отчего уже через какое-то время начинала болеть и кружиться голова, и к горлу подступала тошнота. Пол там в большинстве своем черновой, подогнанный абы как, неровный, с огромными щелями, а то и с дырами по углам, прикрытыми чем попало, куда ленивая братия умудрялась сливать помои, дополняя тем самым смрадность и невыносимый дух отхожего места.

Кельи в таких монастырях обычно вместо дверей прикрывались рогожей или еще чем-то мало потребным и неопределенным. Мыши там обитали на общих правах с насельниками, которым наплевать было на их присутствие, как и на полчища тараканов и иных столь же мерзких насекомых, на что никто не обращал ни малейшего внимания, занятые лишь тем, чтоб как-то прожить день, а дальше хоть потоп, хоть суд вселенский.

Хлеб к трапезе иноки получали полусырой, с шелухой и сорной травой, плохо помолотый; еда бывала скудной, сготовленная из старых, залежалых запасов, как правило, недосоленной, и принимать ее мог лишь очень голодный или человек, которому наплевать было на все на свете и в том числе на себя самого. Потому половина братии постоянно пребывала в состоянии болезненном и нездоровом. Большинство монахов из такого монастыря под началом горе-игумена под любым предлогом старались если не убежать, то перейти на жительство в другой монастырь, где настоятелем был, по слухам, человек опытный, расторопный, с хозяйским приглядом, пекущийся не только о службе церковной, но и о де-

лах житейских, без которых земное существование становилось невыносимым.

Похоже, что тюменский Троицкий монастырь во многом выгодно отличался от увиденного Аввакумом ранее. Келья, куда его поместили, была сухой, побеленная изнутри известью, и не ощущался мерзостный запах плесени или иного чего. За всеми этими житейскими мелочами ощущалась хозяйская рука и забота.

«Интересно, — подумал он, — каков здесь настоятель? Строг или, наоборот, мягок и приветлив с братией? Строгость, она в иноческой жизни, конечно, хороша, но тут и пережить недолго, до жестокости один шагок малый, — рассуждал он в ожидании обещанной ключарем краюхи хлеба, приводя мысли свои в порядок. — Строг человек должен быть прежде всего к самому себе, тогда и ближнее окружение воспримет все как должно, без ропота и оглядок. Христос, к примеру, знал про участь свою, что страшнее могло быть, чем муки, ему уготовленные, но с людьми добр был, относился к ним с любовью... Только что из этого вышло? Не поверили они Господу, пока не убедились, что есть Он Сын Божий, и все слова, Им сказанные, от Бога исходили. И мучили Его и распнули, а лишь потом немногие каяться начали. Неужто каждый, кто пришел в этот мир с добром, должен сперва дать себя изувечить, распять и лишь потом получит он веру от людей к делам и словам своим?»

\* \* \*

Вспомнились Аввакуму разные случаи из жизни его, а среди них как однажды останавливался он лет пять или шесть назад так же вот на ночлег в одном из монастырей, во множестве стоящих на волжском берегу неподалеку от родных его мест. И там тогда поразила его чистота в братском корпусе. И еду подавали, по монастырским меркам, вполне пристойную из свежих продуктов. Монахи ходили в чистых рясах и в свободное время благоговейно читали Псалтырь каждый в своей келье.

Ему так же вот отвели небольшую келейку, отстоящую отдельно от общих покоев, и он уже было собирался прочесть последнюю молитву перед отходом ко сну, когда к нему осторожно постучался благообразный старик, который, как сам он признался, прожил в монастыре уже около десятка лет. При слабом свете догоравшей свечи Аввакум не сразу разглядел, что глаза у престарелого монаха непре-

рывно слезились, а руки дрожали, словно совсем недавно он пережил немалый испуг. Старец без обиняков, постоянно оглядываясь на дверь, попросил у Аввакума помощи в переводе в другую обитель, чем немало удивил протопопа, довольного приемом со стороны умного и начитанного настоятеля монастыря — игумена Вадима.

— Чем же тебе, мил-человек, здешние порядки не по душе? — осторожно поинтересовался он у старика.

— Мочи моей больше нет терпеть порядки эти, — ответил тот и поднес обтянутые пергаментной кожей руки к лицу, — не поможешь, батюшка, а ты человек добрый, как погляжу, то сбегу при первой возможности.

— Да отчего же, старче, убежать хочешь вдруг? — удивился Аввакум. — У вас тут во всем порядок, чистота, пища здоровая. В иных местах, где бывал, далеко не в каждой обители подобное встретишь.

— Оно понятно, чисто все с виду, но игумен наш, Вадим, будь он неладен, лют больно. Кто во время службы ошибку какую допустит — запоем не в такт или в непопуганном месте, а то опоздает вдруг к трапезе, то, почитай, пропал человек. Ни на возраст, ни на болезни не посмотрит, сразу кого в колодки и на задний двор в черную работу, а иных в темный сырой подвал на неделю, а то и поболее запереть может.

— Быть того не может! — не поверил было ему Аввакум. Но по чистоте выцветших глаз старца понял, что не врет тот, не таков человек, чтоб грех да неправду на себя брать.

— Я те, отче, вот чего покажу, — прошамкал беззубым ртом монах и задрал высоко вверх свой подрясник, — гляди-ка-ся.

Аввакум глянул — и обомлел: все ноги старика были покрыты мелкими, местами гноющимися шрамами. Он сразу догадался, отчего они могли взяться, но все же решил убедиться в этом и спросил негромко:

— Что это?

— Крысы в подвале покусали. Всего два разочка там побывал, не спал несколько ночей кряду, на топчане стоял, а все одно эти твари добрались до ног, едва не сгрызли. Со мной-то — ладно, а вот Прошка-звонарь так тот и вовсе носа лишился, когда заснул. Иных из подвала мертвыми выносили. Мученики мы! Иначе и не скажешь...

На другой день Аввакум осторожно завел с игуменом разговор о провинностях братии, о том, где и как в разных монастырях наказы-

вают за то: кому двести поклонов отбить, кому воду вне очереди в лютые морозы с реки возить, а некоторым и вовсе страшную епитимью наложит игумен — отлучит от причастия на полгода, а то и поболе, вот тогда совсем тяжело придется провинившемуся. Игумен же, словно почувяв неладное, разговор не поддержал и стал жаловаться на местных крестьян, которые в тот год не поставили возложенную на них ругу, что чуть было не оставили монастырь без хлебных припасов.

Уже будучи в Москве, Аввакум встретил епископа, в ведении которого находился тот волжский монастырь. Спросил о настоятеле Вадиме, осторожно пытаясь перевести разговор в нужное ему русло, чтоб не оказаться, с одной стороны, доносчиком, а с другой — не подвести доверившегося ему монаха.

— Неделю назад по игумену Вадиму заупокойную молитву читали, — охотно отзывался епископ. — Надо же было такому случиться, чтоб человека в подвале крысы насмерть загрызли. Прискорбная смерть ему вышла, мученическая.

— Как же он в том подвале очутился? — поинтересовался Аввакум, которому тут же вспомнился смиренный старец со шрамами и язвами на обеих ногах. Вряд ли он мог один справиться с игуменом и закрыть его в подвале.

— Да никто ничего толком и не знает. Должен был ехать куда-то там, потому не сразу и хватились. А через несколько дней в подвале нашли, видать, дверь заклинило, выбраться не мог, а там полчища крыс оказались, год-то нынче неурожайный, вот они в жилье и перебравались. Изглодали игумена до самых костей. Только по кресту наперсному и определили, что он это.

— Спаси, Господи, душу его, — вздохнул тогда Аввакум, не зная как отнестись к подобному известию. Не верилось, что игумен мог допустить такую промашку и закрыть сам себя в подвале. С другой стороны — не хотелось верить, что смиренная монастырская братия пошла на подобное и, заведомо зная, чем это закончится, силой заставила своего настоятеля спуститься вниз, а потом наверняка многие слышали доносящиеся оттуда призывы о помощи. Так и не решил тогда Аввакум, чью сторону принять хотя бы в душе для самого себя: настоятеля ли, принявшего мученическую смерть, или братии, которая страдала от несправедливых наказаний его. И хотя не раз возвращался он в мыслях к случаю тому, но к твердому решению так и не пришел.

Сейчас же, находясь за несколько тысяч верст от того волжского монастыря, он вновь вспомнил и умершего страшной смертью настоятеля, и старца со слезящимися глазами и пергаментной кожей на руках, но никак не мог соотнести то, ранешнее, к увиденному здесь, в Сибири. И караульный в монастырских воротах и хитрый ключарь мало походили на смиренных старцев, населявших православные обители, где ему не раз приходилось бывать. Иным все было в здешних местах, отнюдь не смиренным и не покорным, скорее буйным, своенравным и мало схожим со строгими отеческими монастырскими уставами. Но он решил не особо доверять первым впечатлениям своим и завтра окончательно понять, верны ли они.

Тем временем он услышал осторожные шаги и затем раздался голос ключаря, который, просунув голову в келью, вкрадчиво спросил:

— Не спите еще, батюшка?

— Да нет пока, — ответил Аввакум, к которому и вправду сон пока что не шел то ли благодаря голоду, который он испытывал, то ли из-за многочисленных впечатлений, воспринятых им за этот вечер.

— Нашел вот среди запасов своих малую корочку хлеба, — жалобно проговорил ключарь, — прошу прощения, что другого ничего не отыскал. Пост ведь идет, — со значением сообщил он, будто открыл некую тайну, о чем Аввакум мог не знать.

— Да уж, поди, знаю и блюду строго пост, — усмехнулся тот. — Но в дороге, как тебе известно, не всегда постную пищу сыщешь, потому приходится хлебушком ситным питаться. Дай тебе здоровья и прощения всех грехов, добрый человек, — сказал он, принимая из рук ключаря черствую горбушку, разжевать которую мог далеко не каждый даже очень голодный человек.

— Водицы бы где еще испить, — добавил он, надеясь, что хоть воды скаредный мужичонка не пожалеет и она не окажется в столь малом количестве.

— Так сейчас принесу, — охотно отозвался ключарь и быстро исчез, вернувшись через какое-то время с ковшом холодной воды. — Пей на здоровье. А завтра настоятель наш Анастасий просил тебя на заутреннюю службу прибыть, чтоб вместе с ним совершить ее. Что передать ему?

— Скажи, что буду. Только боюсь, как бы мой сопроводитель не заспешил с утра. Его хоть устроили куда? — поинтересовался он на

всякий случай, хотя здесь, находясь в тепле, не хотелось и думать о завтрашней дороге, а тем более об угрюмом Климентии.

— А то как же! — с важностью заявил ключарь, узнать имя которого Аввакум не посчитал нужным. — У нас все по уставу: кого положено — принимаем, а коль не нашего звания человек, провожаем с миром. Обустроили и пристава и казака, что с ним. И лошадок ихних поставили в конюшню монастырскую, и овса своего им насыпали. Все, как по уставу, — повторил в очередной раз тот, словно пытался оградить себя от каких-то расспросов или сам себя успокаивал объяснением этим.

«Да уж, — подумал Аввакум, — о лошадях ты больше заботы проявляешь, нежели о людях. Впрочем, и это уже хорошо. Человек способен о себе сам позаботиться, а скотина бессловесная на такое не способна. Только что-то больно словоохотлив ключарь этот, расписывая порядки и услужливость свои. Хитер, ох, хитер», — слегка усмехнулся он, вглядываясь в узкие щелки глаз своего благодетеля.

Но тот, решив, что долг свой выполнил полностью, поспешил податься восвояси, не вступая в долгие разговоры. И Аввакум, занятый борьбой с черствым ломтем, выданным ему скупым ключарем, решил, что вряд ли они с ним увидятся на другой день, отправившись как обычно, затемно, но вышло все не так, как ему думалось.

\* \* \*

Проснувшись рано утром от колокольного звона, извещавшего о начале заутрени, Аввакум прочел молитву и в потемках, не зная, как можно зажечь погашенную вечером свечу, на ощупь нашел выход из братского корпуса и отправился к свежесрубленному храму, на ступенях которого его поджидал настоятель Анастасий. Тот оказался далеко нестарым человеком с голубыми, слегка даже водянистыми глазами и рыжеватой растительностью на щеках, что никак нельзя было назвать бородой. Его небольшой рост и некоторая степенность в движениях дополняли впечатление о нем как о человеке, который не стремился достичь в жизни больших должностей и в монахи пошел, скорее всего, из желания как-то отличаться от прочих, коль природа обидела его чем-то выдающимся и свойственным лишь ему одному. Но Аввакума более всего поразил его низкий грудной голос, плохо сочетавшийся с его невзрачной комплекцией. Чувствовалось, что даром своим Анастасий умел пользоваться и при случае мог если не

оглушить собеседника, то настоять на своем, вкладывая властные нотки в свой раскатистый бас.

— Наслышан о вас, батюшка, — уважительно обратился он к Аввакуму, слегка нажимая на последние слоги, — рад буду служить, коль вы на то согласны.

Протопопу, само собой, польстило подобное обращение. Он низко поклонился и столь же уважительно ответил:

— И мне будет не менее приятно сослужить вам... Только скажи мне, преподобный отец, службу по старому уставу ведешь или уже под Никона подстроился? Поди, слышал, за что меня в эти края спровадили? Как раз за несогласие с новинами церковными.

Игумен, не отводя глаз, ответил сдержанно:

— Как не слышать, молва — она впереди человека бежит, знаю, батюшка, по какой причине к нам попали. Но то нас не касается. Владыка Симеон никаких особых распоряжений на ваш счет не давал. А служить служим, как и ранее, по старому уставу. Но, скрывать не стану, коль прикажут иначе службу вести, то подчинюсь, перечить не стану. Мы люди подневольные, над нами начальники имеются повыше нас самих, которым перечить не посмею. Ты уж, батюшка, извини меня за откровенность. Сказал, как думаю.

— Добре... — откликнулся Аввакум, слегка подумав. — Так-то оно лучше, чем скрытничать друг перед дружкой. Твое право — как поступить, тут я тебе не указчик.

С этими словами он двинулся вслед за настоятелем в храм, где, к удивлению своему, обнаружил всего троих престарелых монахов, стоящих у клироса. Это неприятно удивило его, а потому по окончании службы, когда они вместе с Анастасием направились в трапезную, он осторожно поинтересовался причиной отсутствия остальных членов обители.

— И не говорите, батюшка, — со вздохом ответил тот, — никак не могу добиться от них исполнения долга первейшего. У всех причины: кто больным скажется, кто не готовым, а иные и вовсе молчат, когда отчет с них требую. Ладно, хоть послушание свое выполняют спустя рукава, а большего добиться никак не могу. Меня сюда менее полугода как перевели из-под Казани. И все никак привыкнуть не могу к порядкам здешним, — сокрушенно качал головой Анастасий, — Сибирь, одно слово.

Когда после скромной трапезы они вышли на монастырский двор, то подошел, видимо, давно поджидавший их Климентий и, низко

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

поклонившись в ноги Анастасию, принял от того благословение. Аввакума это слегка задело, поскольку патриарший пристав за всю дорогу ни разочка не обратился к нему как к лицу священнодействующему за благословением. А тот, словно со старым знакомым, заговорил с настоятелем:

— Собрались было ехать, а подпруга конская лопнула в который раз. Вот ведь как мне подкузьмили конюшные-то, подсунули старую, и ваших нет. — Он хотел, верно, добавить крепкое словцо, но спохватился и проглотил начатую было фразу. — У вас, отец настоятель, может, сыщется лишняя?

— Что сыщется? — не сразу понял тот.

— Да подпруга, тудыть ее в колено, — все же не удержался пристав и тут же воровато глянул по сторонам, словно их кто подслушивал.

— Ах, подпруга, — понял наконец Анастасий. — Вряд ли, любезный. Впрочем, спросил бы у ключаря нашего. На нем все монастырское хозяйство, а мне и своих дел хватает, не до подпруги знаешь ли...

В ответ на это Климентий лишь безнадежно махнул рукой, из чего можно было заключить, что и у него с ключарем дело не сладилось.

— Только что от него, — подтвердил тот свое красноречивое движение, — у вашего ключаря не то что подпругу, а и снега в зиму выюжную не выпросишь. Ладно, хоть дал инструмент кой-какой, да и то на время, пойду чинить. А потом сразу едем, — наконец удостоил он взглядом Аввакума, — а то и так подзадержались, — добавил он уже на ходу, не оборачиваясь.

— У каждого своя беда... — проговорил ему вслед Анастасий.

— А у некоторых и по две, — подхватил протопоп, представив себе, что опять весь день ему предстоит провести в санях вдвоем с неразговорчивым приставом.

— Тогда пойдемте пока ко мне в келью, — предложил игумен, — там никто беседе не помешает.

Они направились к виднеющемуся в глубине монастырского двора небольшому домику, искрившемуся в лучах неяркого зимнего солнца смолистыми свежесрубленными стенами. Аввакум еще вечером обратил внимание, что практически все строения в монастыре были срубленными заново, о чем он и спросил настоятеля:

— Слышал, будто монастырь ваш не меньше как пять десятков лет заложен, а все заново в нем отстроено. Никак пожар был большой?



Анастасий, которого занимали свои собственные думы, не сразу расслышал вопрос, и Аввакуму пришлось задать его заново. Игумен в ответ согласно кивнул головой и с готовностью пояснил:

— Когда прибыл сюда, то одни головешки застал. Все начисто сгорело, причем посреди ночи по недогляду прежнего игумена. Вот мне и пришлось все заново отстраивать...

И действительно, Аввакум отметил, что на стенах небольшого храма и прочих монастырских сооружений еще не успела засохнуть смола на мощных бревнах, из которых они были сложены. А рядом лежали кучи строительного мусора, припорошенные снегом. Где-то за стеной доносился перестук топоров, что говорило о продолжавшихся работах, но интересоваться этим Аввакум не стал. Его больше занимали монахи, двое из которых попались им по дороге. Но не один из них не подошел к Анастасию под благословение, а лишь хмуро что-то буркнули на ходу. Оба мужика были широки в плечах, и у одного, как успел заметить Аввакум, на правой руке не хватало нескольких пальцев. Были они уже лет преклонных, по причине чего явно и попали в монастырские стены.

Ему вспомнился вчерашний охранник, который и обличем и другими манерами походил на только что встреченных им монахов. Они как раз проходили мимо полуоткрытых в дневное время ворот, Аввакум застыл от удивления, увидев стоящих там монахов, которые неспешно вели беседу с закутанными до самых глаз в теплые вязаные платки женщинами. Рядом с ними стояли два крепко скроенных мужичка с черными окладистыми бородами, в мохнатых шапках, низко надвинутых до самых бровей, из-за чего лиц их разглядеть было невозможно. На боку у каждого висела сабля в ножнах, из чего Аввакум решил, что они наверняка из местных казаков. Но что их привело в монастырь?

Он глянул в сторону Анастасия, но тот или не заметил появление близ монастыря посторонних, или сделал вид, что не заметил, но прошел мимо, не сделав караульному на то никакого замечания. Еще больше поразился протопоп, когда услышал бранное слово, долетевшее от ворот.

«Ну и порядочки тут», — в растерянности отметил он, но говорить о том с игуменом не стал, полагая, что тому и без его указаний приходится несладко.

Но через несколько шагов, когда в спину им раздался дружный хохот, долетевший со стороны все тех же ворот, он не вытерпел и заявил, не поворачивая головы к настоятелю:

## СТРАНА ПЕЧАЛИИ

— Строгости монастырской не видно... Так и до греха недалеко... Распоясалась братия вконец. Не ведают, что творят.

— И не говори, батюшка, — басовито поддакнул ему игумен, когда они уже вошли в его покои. — Порядки эти до меня еще были заведены, и сейчас ничего с братией поделать не могу. Тут, в Сибири, в монастырь лишь безродные или ратники престарелые идут, которым деваться некуда. Что с них возьмешь? Ладно, что хоть пьянствовать в открытую перестали...

— Неужто и такое было?

— А то! И сейчас иной раз, коль не угляжу, то бабы с города им вино пронесут. А где других монахов взять? Какие есть, с теми и уживаться нужно.

— Моя бы власть, разогнал всех, — крутнул головой Аввакум. — Лучше совсем монастырь закрыть, чем Божью обитель в вертеп превращать.

— Не моего ума дело, — ответил игумен, — о том пусть владыка думает, докладывал ему о том не раз. Пущай решает, как быть.

— Все ему обскажу, как в Тобольск прибуду, — пообещал Аввакум.

— Обскажи, батюшка, все как есть обрисуй. Пусть он направит кого из чернецов мне в помощь. Одному мне ох как тяжело, и опереться не на кого. Все они заодно. Боюсь им и слово поперек сказать.

— Чего же бояться? Ты сюда самим владыкой назначен, тебе монастырь поручен, а потому сам волен любое решение принять согласно уставу монастырскому и законам божеским. Кто тебя осудит, коль самых отъявленных лентяев или блудодеев за ворота выгонишь? Другим наука будет.

— Да как же я их выгоню, — горько усмехнулся настоятель, — скорее они меня взашей вытолкают вон и обратно не пустят.

— Как такое быть может? — Аввакум искренне поразился услышанному. — Тебя — самого игумена, законного настоятеля, и вдруг взашей?! Лишнее ты, однако, на людей наговариваешь.

— Мне только и осталось, лишнее наговаривать, — с горькой усмешкой ответил Анастасий. — Пожили бы здесь с неделю — и все своими глазами увидели. А мне какой резон лишнего наговаривать? Не такой я человек...

— Я бы пожил да вот ехать дальше надо. А порядок здесь я бы навел...

Анастасий в ответ лишь тяжело вздохнул и принялся перебирать лежащие у него на столе сложенные стопкой рукописные листы. Аввакум заинтересовался, что это за письма, на что Анастасий охотно пояснил:

— Согласно патриаршему приказу двое иноков, из Москвы к нам присланные, занимаются правкой старых богослужебных книг, а чистовики мне на поверку несут. Вот, нужно будет прочесть, выверить все, но все время не найду этим самым делом заняться. А боле и поручить некому, все самому делать приходится...

Аввакума это известие, словно громом, поразило:

— Так значит, книги, писанные отцами церковными, на свой манер править вздумали? А как все переиначите, начнете по ним службу вести? — спросил он, сверля настоятеля злобным взглядом.

Тот почувствовал, что зря сообщил протопопу о ведущейся под его началом правке, и попытался сослаться на патриаршее распоряжение, но на Аввакума это мало подействовало.

— И что это за иноки такие, что им дозволено святые письма править? Может, то слуги дьяволы в обличье человечьем? Ты их проверял, что за люди? — все более распаляясь, выкрикивал он в лицо Анастасию одну за другой, словно пышущие огнем, фразы.

Настоятель же чуть отодвинулся от него, словно и впрямь почувствовал жар, исходящий от протопопа, и довольно миролюбиво, не желая ссоры с ним, ответил:

— Зачем мне их проверять, коль они с грамотами от патриаршего двора прибыли, где все расписано... Трудятся в отдельной келье с утра до позднего вечера, там и ночуют, туда же им и еду приносят. Так и владыке Симеону о том ведомо...

— И что это за келья такая? Ответь мне, господин — с нажимом спросил Аввакум, грозя пальцем настоятелю. — Чего ж они от остальной братии отдельно живут и даже в храм на службу не показываются? Ой, чует мое сердце, нечистое дело ты затеял, и Господь покарает тебя за это, дай срок, придет и твой час...

Тут не выдержал пытавшийся до этого оставаться невозмутимым настоятель и зычно гаркнул:

— Неча меня пужать, видали мы таких. Намедни приходили два старичка-странника, уж не знаю, откуда они о тех переписчиках узнали, но тоже грозились муками адовыми, которые ждут меня за то, что волю патриарха исполняю. А тут еще и ты, батюшка, вслед за

ними вторишь. Сам видишь, каково мне, хоть глаза завязывай да беги отсюда на все четыре стороны...

— Я бы, будь на твоём месте, так и сделал. Не простит Господь тебе богохульства этакого, как есть говорю, ещё до смерти ждёт тебя геенна огненная. Как в Псалтыри о том сказано: «Пред Ним идет огонь и вокруг попадает врагов Его», — по памяти произнес Аввакум выдержку из девяносто шестого псалма.

От этих слов Анастасий неожиданно весь сжался и закрыл лицо руками.

— Так и странники, что являлись, те же самые слова сказывали. Сговорились вы все, что ли? Погибели моей желаете? Я Божьих заветов не нарушаю, служу по совести, обо всех грехах своих духовнику исповедуюсь. А тут такое...

— То, что каешься, то тебе зачтётся, а вот писцов тех хотелось бы мне послушать, потолковать с ними по душам, а все их писульки жаркому огню предать...

— И думать не смей, а то сейчас кликну пару иноков, что у ворот охрану несут, и велю тебя вон отсюда выпроводить. Ишь, каков, все бы сжигал, всех бы страшал, откуда только такие берутся. Говорили мне за тебя...

Но закончить фразу ему не дал молодой служка, что влетел в покои настоятеля без стука, и срывающимся голосом заголосил:

— Беда, ваше преподобие!

— Что такое случилось? — приподнялся со своего места Анастасий, который словно ждал нечто подобное и потому держался спокойно, не проявив ни малейшего беспокойства в ответ на крик служителя.

— Убивают ключаря нашего! — смешно тараща глаза, отвечал тот, показывая двумя руками в сторону двери, которую он впопыхах забыл закрыть и теперь помещение быстро наполнялось холодным воздухом.

Игумен спокойно подошел к двери, прикрыл ее, а потом, вернувшись на место, переспросил, не повышая голоса:

— Отвечай спокойно: кто его убивает и за что?

— Двое новых послушников ключаря нашего грозятся жизни лишиться.

— Как зовут?

— Меня? — в недоумении переспросил не на шутку напуганный служитель. — Так вам то ведомо... А как тех двоих — не запомнил пока.

Недавно в монастырь пришли, вы, ваше преподобие, сами велели принять их. А оно вон что вышло. Беда! Беда! Сроду у нас такого не случалось, — затараторил тот.

— Понятно, — столь же спокойно ответил настоятель и набросил на плечи теплую накидку, подбитую бобровым мехом. — Пошли, по дороге расскажешь, что меж ними вышло.

Аввакум тоже двинулся следом, не желая оставаться в одиночестве, хотя его так и подмывало схватить листы, лежащие на столе настоятеля, и засунуть их в печь, а то и вовсе разорвать в клочки. Но он не привык совершать что-то за спиной пусть даже у своих недругов, не поставив их в известность. А с настоятелем он думал еще продолжить свой разговор.

\* \* \*

Настоятель, сопровождаемый поднявшим тревогу молодым послушником, спешно шагал в сторону монастырских амбаров, откуда слышались зычные крики и куда уже по одному стекалась вся местная братия, прослышав о случившемся.

— За что они его? — уже на ходу поинтересовался Анастасий у служки.

— За вино его лупят.

— Это за какую такую вину? — не понял тот.

— Да не за вину, а за вино, что он им не дал, — отвечал едва поспевающий за ним служка. — Никакого удержу против них нет, а я ввязываться в драку побоялся. Они ведь оба могучие мужики, кого хочешь укатают, как-никак ратную службу много лет несли.

— Знаю я их повадки, давно ждал, чего они еще вытворят. Вот и дождался...

Следом за ними шагал и Аввакум, не зная еще, из-за чего разгорелась ссора, но, как обычно, готовый вступить в спор, а если нужно, то и применить против своих противников силу. По молодости ему не раз приходилось в праздники участвовать в кулачных боях, когда их улица шла стенкой на парней с другой улицы, и, сойдясь, они нещадно тузили друг дружку сколько было сил. Аввакум в таких стычках рассчитывал не столько на силу, которая мало помогала против троих или пятерых дюжих парней, сколько на смекалку и выдержку, чем и пользовался в полной мере.

Его как поповского сына, человека иного склада, редко кто принимал всерьез, отмахиваясь, словно от назойливой мухи, мол, куда тебе, поповичу, с нами, мужиками, силой меряться, отойди в сторонку. И это больше всего злило и заводило Аввакума. Потому, оказавшись в гуще схватки, где на него мало кто обращал внимание, он старался побольнее поддать, садануть ближайшего к нему парня. И когда удар его достигал цели и тот, кому удар доставался, болезненно морщился, поводил глазами вокруг, ища своего обидчика, Аввакум успевал нырнуть меж дерущимися и оказаться вдалеке от здорovuщего кулака разъяренного парня. За это его бивали, и не раз, но уже после самой схватки, а при случайной встрече.

Но обычно оказавшиеся поблизости дюжие мужики, а то и случайные бабы отгоняли затаившего обиду парня, и Аввакум поспешно исчезал с места расправы. Но случалось, что перепадало ему по первое число, что называется, досыта, и потом долго он ходил по деревне, светясь синяками и ссадинами, вызывая усмешки среди односельчан, считавших, что не грех и поповских детей слегка поучить уму-разуму, дабы знали и помнили место свое и не особо возносились перед простыми мужиками, чьими трудами и горбом все они покуда живут.

Однако и после этого тщедушному поповичу не жилось спокойно, и как только случался очередной праздник, заканчивавшийся по давней традиции всеобщей потасовкой, то Аввакум, сколько ни крепился, а не мог удержаться себя в стороне от разгоревшейся потехи и нырял в толпу, где его черная, доставшаяся от отца овечьей шерсти шапка мелькала то в одном, то другом конце гомонящей толпы. Степенные же мужики, стоящие в сторонке и со смехом глядевшие на праздничную потеху, видя это, лишь покручивали головами со словами: «Ну, попович-то наш не иначе как своей смертью не помрет. И в кого он такой неугомонный уродился?»

Тем временем Анастасий вместе с молодым послушником, а вслед за ними и Аввакум обогнули угол церкви, прошли мимо длинной поленницы колотых дров и вышли к монастырской ограде, где и находились хозяйственные амбары и погреба, в которых хранились съестные припасы и вино для причастия. Там их глазам предстала живописная картина, совершенно не свойственная быту тихих монастырских затворников.

Прижатый к стене ключарь отбивался невесть как подвернувшейся ему под руку метлой от двух дюжих мужиков, в которых лишь по длин-

ным подрясникам можно было признать людей духовного звания. Один из них был тот самый охранник, что накануне вечером стоял на монастырских воротах, сейчас же он ловко уворачивался от тычков метлы, подступая все ближе к проявлявшему чудеса ловкости ключарю.

Второй из нападавших особо не спешил, ожидая, когда товарищ его лишит их противника единственного оружия защиты. Был он более приземист и необычайно широк в плечах, имел длинные висающие усы при чисто выбритом подбородке и узкие с прищуром глаза, что выдавали в нем уроженца бескрайних степей, человека, привыкшего большую часть жизни проводить в седле, и совсем непонятно, каким ветром занесло его сюда, в глухой сибирский монастырь. Оба они чем-то неуловимо походили один на другого неспешностью движений, мягкой, кошачьей походкой и внутренней уверенностью в собственные силы и умение добиваться своего. Увидев приближающегося настоятеля и Аввакума, широкоплечий послушник недобро оскалился и ни с того ни с сего подмигнул Аввакуму.

— Эй, брат, — негромко крикнул он, чуть коверкая слова, — помощь к ярыжке этому подоспела! Что делать будем?

Вчерашний охранник повернулся назад, и в этот момент ключарь умудрился ткнуть прутьями метлы ему в лицо. Тот бешено взревел и коротким, резким движением вырвал метлу из рук ключаря, а потом без замаха с такой силой врезал ему черенком по макушке, отчего тот беззвучно рухнул в снег, словно подкошенный. Сам же он развернулся к игумену и раскатистым голосом спросил:

— Ну что, пришла пора и с тобой по квитаться?

— За что по квитаться? Чего тебя не устраивало? Живете на всем готовом, в храм вас на вороной кобыле не затащишь, а все одно неладно! — попытался он урезонить несговорчивых драчунов, а сам меж тем тихонько пятился назад.

Аввакум и прибежавший за ними прислужник тоже невольно сделали несколько шагов подальше от разбушевавшихся буянов. И неизвестно как бы обернулось дело, если бы не широкоплечий послушник, что, судя по всему, не имел ни малейшего желания вступать в драку, преспокойно направился к открытой двери погреба, нырнул туда и вскоре вышел наружу, неся под мышкой небольшой, но вместительный бочонок, скорее всего, с вином для причастия.

— Да плюнь ты на них, Андрюха, — крикнул он своему другу, — айда лучше вино пить! Вон его сколько, нам с тобой хватит, —

выразительно хлопнул он широкой пятерней по дубовой стенке бочонка.

— И впрямь, чего о них руки марать, нам они не помеха, — отвечал тот, кого он назвал Андрюхой, и они дружно без оглядки зашагали в сторону братского корпуса.

— Остановитесь, братья, — крикнул им вслед Анастасий, — не берите греха на душу, Бог вам того не простит!

— А ты помолись за души наши многогрешные, — ехидно ответил широкоплечий, — чем тебе еще тут заниматься, как не молитвы читать.

— Помолюсь, братья, помолюсь, только верните вино монастырское обратно.

— Ага, дожدهшься, — ответил, не поворачивая головы, один из них, и они скрылись за углом монастырского храма.

Анастасий постоял в растерянности некоторое время, подошел к пришедшему в себя эконому-ключнику и, ни к кому не обращаясь, негромко произнес:

— Такие вот дела, брат... Нет моих сил больше терпеть этакое, а куда деваться? Такой мне, видать, крест выпал... Ой, Господи, спаси и защити!!!

Ключник, охая, поднялся, держась за голову, снял с пояса связку ключей и швырнул ее прямо в снег, а потом заверещал срывающимся голосом:

— Снимайте меня с этой проклятой должности, ваше преподобие! Не ведаю, как жив остался, а в другой раз так и вовсе башку оторвут. Не хочу! Не буду! — И он, всхлипывая, кинулся в сторону братского корпуса.

Игумен вздохнул, наклонился, поднял ключную связку и растерянно глянул по сторонам. Вокруг уже никого не осталось, лишь в стороне стоял внимательно наблюдающий за всем Аввакум да молодой послушник, не зная, как ему быть, переминался с ноги на ногу.

— Держи, — сунул ему в руки ключи настоятель, — привыкай к должности, а там поглядим... — И, перекрестившись на купол храма, опустивши голову, побрел в свои покои.

Послушник же так и застыл с ключами в руке, не зная, что с ними делать. Потом вдруг неожиданно приосанился, несколько раз кашлянул, победоносно глянул по сторонам и полез в погреб, давая тем самым понять и себе самому и всем прочим, что он теперича лицо должностное и ответственное.



Аввакум же усмехнулся в усы, оценивая все увиденное, подумав в который раз: «Да, порядочки тут, не приведи господи. Содом и Гоморра, иначе не скажешь. Вертеп, а не обитель Божья...»

Никогда прежде не приходилось ему даже слышать, чтоб в каком-нибудь из монастырей монахи вдруг вышли бы из-под подчинения настоятелю. Но, видимо, тут, в Сибири, все было иначе, не так, как под Москвой или Нижним Новгородом. И неожиданно ему в голову пришла крамольная и дерзкая мысль, что, доведись ему подольше здесь задержаться, он сумел бы склонить этих непокорных людей на свою сторону и внушить им неприятие Никоновых новин. А уж потом, когда они станут послушны его воле, собрать в монастырских стенах несколько десятков человек из отставных ратников и, изготовившись к обороне, объявить о своем неподчинении патриарху... А если разжиться пушками, пищальями и запастись провизией, то продержаться так можно несколько месяцев, а то и больше. И отправить ходоков в окрестные селения, чтоб шли в монастырь для защиты старой веры. Вот тогда всколыхнется вся Русь, и народ восстанет против ненавистного Никона, царь прислушается к ним и отринет от себя патриарха, призовет его, Аввакума, к себе и... Что будет дальше, на то у него уже не хватало фантазии, да и неважно, что будет. Главное — поднять народ, а там как Бог даст...

Только вот здесь, где монастырские стены сложены хоть и из толстых, но древесных бревен, способных загореться даже от малого огня, вряд ли удастся продержаться долго. Да и народец в Сибири, как он понял, может не принять его призыв. Зато на Волге, близ Москвы, на Севере и народ более восприимчив к подобным призывам и многие монастыри имеют каменные стены. У него даже голова закружилась, когда он представил себя на стене с иконой в руках в окружении вооруженных сторонников. Но он понимал, что это всего лишь мечты, о которых лучше пока молчать и продолжать вынашивать планы неподчинения патриаршей власти.

Ему вспомнились слова Марковны, когда они собирались в дорогу: «И в Сибири люди живут... Бог даст, и мы не пропадем». Рано ему еще с миром прощаться. В свои тридцать с небольшим у него еще все впереди.

«Возраст Христа, — подумал он, — и в Сибири найду учеников, кто со мной до конца пойдет не только против Никона, но и против тех, кто с ним заодно. Они еще там вспомнят протопopa Аввакума,

пожалуют, что не прислушались к словам моим. Не знают, с кем дело имеют. Вот отсюда, с Сибири, всю Русь подниму и вверх тор-машками поставлю! Сил не пожалею, чтоб устроить им жизнь веселую», — злорадно размышлял он, хотя и не знал, с чего начать, чтоб свергнуть ненавистного патриарха, отомстить ему за ссылку и за все унижения. Зато он твердо знал одно: ни за что не смирится со своей участью и, чего бы ему не стоило, жизни не пожалеет, но докажет свою правоту.

Но пока что до этого было далеко, требовалось еще вернуться живым и здоровым обратно из Сибири, а уж там...

\* \* \*

Тут ему вспомнился недавний разговор с настоятелем о присланных из Москвы переписчиках, и он решил немедленно нагрянуть к ним, чтоб своими глазами убедиться, чем они там заняты. Небольшой сруб об одно оконце он нашел без труда, поскольку туда вела едва заметная тропинка, и видно было, что мало кто из посторонних заглядывал к занятым тайной работой инокам. Неказистое сооружение, больше похожее на сторожку, находилось в стороне от остальных монастырских строений, на самом речном обрыве.

Когда Аввакум подошел к двери, то, к своему удивлению, увидел, что она наполовину открыта. Он вошел внутрь и увидел посреди небольшой комнатки длинный стол, покрытый холщовой скатеркой, а на нем перевернутую склянку, разлитую тушь для письма, и по всем углам тесного помещения валялись разбросанные как попало чистые бумажные листы хорошей выделки, наверняка дорогие, как отметил для себя Аввакум; там же, на полу и на столе, виднелись порванные в клочья листы, исписанные ровной вязью; и даже перья для письма были поломаны пополам, что делало их совершенно не пригодными для дальнейшего употребления. И... ни одного человека внутри. Он глянул на пол и в ужасе сделал шаг назад, потому как близ стола виднелось бурое пятно застывшей крови.

«Господи, спаси и помилуй!» — перекрестился Аввакум и ринулся вон, больно ударившись головой о низкий дверной косяк. Не помня себя, добежал до кельи настоятеля и ворвался к нему, словно следом за ним гналась стая волков. Анастасий сидел степенно за столом и как раз просматривал листы с исправленными текстами богослужебных книг, на которые Аввакум не так давно обратил внимание.

— Что случилось, батюшка? — спросил он, хмурясь. — Или спор наш давешний продолжать пришел? Не до этого мне, занят, как видишь...

— Где переписчики те? — спросил, ничего не объяснив, Аввакум.

— У себя в келье, где им еще быть? Зачем они тебе понадобились? Туда не велено никого постороннего пускать, и тебе там делать нечего...

— Нет их там, а на полу, на полу... кровища, будто барана резали.

— Какого еще барана? Пост идет, откуда в монастыре барану взяться? Говори толком... Чего такое углядел?

Но по испуганному выражению лица протопопа он понял, что дело неладное, и вскочил на ноги, сделал несколько шагов к двери, остановился и спросил:

— Живы они? Говори!

— Не знаю, — замотал головой Аввакум, — никого там не видел, а на полу кровь, и дверь нараспашку. Все, что приметил. Я сразу обратно и выскочил, боялся, как бы не упасть без чувств... Такого ужаса сроду глаза мои не видывали...

Анастасий, даже не накинув на плечи никакой верхней одежды, выскочил первым и побежал, путаясь в подряснике в сторону стоящего на отшибе строения. Аввакум вышел следом, не зная, что ему делать, решил за лучшее переждать здесь. Через минуту Анастасий, пошатываясь, вышел обратно и, глотая широко открытым ртом воздух, медленно побрел к воротам. Прошло еще некоторое время, и с колокольни ударил набатный колокол, сзывая всех монастырских служителей. Иноки один за другим выскакивали кто откуда и спешили к настоятелю, желая узнать, что случилось. Когда все собрались в центре монастырского двора, Анастасий, помогая себе руками, сообщил об исчезновении присланных из Москвы переписчиков, правда, ничего не сказав о пятнах крови на полу.

— Кто из вас видел их последний раз? — спросил он громко, обращаясь ко всем сразу.

Первым выступил пострадавший в недавней стычке бывший эконо́м и сообщил, что вчера вечером к ним отнесли из монастырской поварни ужин и оба были на месте живы и здоровы.

— Посторонние были в обители? Два дня назад их какие-то странники спрашивали, но я не велел их пускать внутрь. Не было ли их вчера? — продолжал свои расспросы настоятель.

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

— Надо спросить тех, кто на воротах ночью стоял, — слышался чей-то голос, — они точно знать должны.

— Так они с вечера уже пьяненькие оба были, а сегодня замок в погребе выломали, бочонок с монастырским вином забрали, меня чуть жизни не лишили, а сейчас у себя закрылись, видать, продолжают пьянствовать, — ответил за всех, озираясь по сторонам, бывший ключник.

— Кто ж им с вечера вина поднес? — спросил Анастасий и перевел свой взгляд на стоящего чуть поодаль от остальных протопопа. — Не ты ли, батюшка, случаем?

Все повернулись в сторону Аввакума, и он ощутил неприятный холодок, пробежавший у него по спине.

— Неча на меня глазеть, я весь на виду и вчера и сегодня был. Спросите пристава, что со мной прибыл, никакой вины за мной в том деле нет и быть не может.

— Видел я каких-то мужиков, что к стражникам тем подходили, шушукались о чем-то, — подал голос тот самый молодой инок, получивший не так давно ключи от всех строений из рук самого настоятеля.

— Раньше видеть их приходилось? — быстро глянул в его сторону Анастасий. — Узнать сможешь?

— Темно уже было, не разглядел толком, — потупясь ответил тот.

— Час от часу не легче. Сейчас всем работу на время оставить и искать везде тех переписчиков. Я же у себя буду известий ждать. Всем понятно? — И Анастасий взмахом руки приказал начать поиски.

Аввакум не знал, то ли ему присоединиться ко всем, то ли уйти в келью, что была ему отведена, но в любом случае почему-то чувствовал себя невольным виновником произошедшего. Вспомнились недавно оброненные им сгоряча слова в покоях настоятеля о неминуемом наказании всех, кто поднял руку на отеческие тексты, начав править их. И вот его предсказание свершилось... Хотя в душе он надеялся, что приезжие из Москвы справщики отправились куда-то по своим делам, но что-то ему подсказывало, что результаты розысков будут иметь печальный исход.

Он не сразу обратил внимание, что откуда-то сбоку подошел Климентий и настойчиво пытался что-то объяснить ему, даже дернул несколько раз за рукав.

— Чего тебе? — спросил он, все еще находясь под впечатлением только что произошедшего. — Куда, говоришь, ехать?

— Дальше ехать надо, — видимо, в который уже раз повторил тот раздраженно, сохраняя внешнюю сдержанность в присутствии настоятеля. — Сбрую подлатал как мог, авось и до Тобольска дотянем, а там видно будет.

— Да ты неужто не знаешь, что случилось? — с удивлением спросил Аввакум.

— Откудова мне знать, когда на конюшне был, сбрую ладил... Слышал, правда, в набат били, но то не моя забота. Так едем, или еще какая напасть приключилась? Мы и так со всеми остановками, трали-вали, запаздываем на несколько ден...

— Именно, что напасть. Двое переписчиков из Москвы присланных пропали неизвестно куда. Сейчас все и кинулись их сыскивать, а потому нам как-то неловко монастырь покидать, пока все не разрешилось.

— Отчего неловко? — не понял Климентий. — Наше дело — сторона, переночевали — и айда дальше погонять, пушай они тут сами разбираются. Мы-то чем поможем?

Аввакум помолчал, не зная что ответить. Пристав был по-своему прав, действительно, особой помощи они не окажут, но и так вот взять и уехать тоже было как-то неловко, не положено в таких случаях бежать, словно воры, вызывая тем самым невольные упреки, а то и подозрение.

Климентий же меж тем продолжал канючить:

— Еще чуть протянем — и все, придется до утра ждать, до ближайшего постоянного двора засветло не доедем, уже скоро темнеть начнет, под елкой, что ли, ночевать будем?

— Слушай, я тебе не начальник, приказать не могу, так что иди к игумену и спроси у него разрешения. Все одно из монастыря нас без его благословения не выпустят. А я тем временем схожу узнаю, может, нашли уже тех двоих...

Климентий зло чертыхнулся и зашагал в сторону настоятельских покоев, Аввакум же отправился к спуску, что вел к реке, поблизости от которого находилось помещение, отведенное справщикам. Между ним и монастырской оградой была небольшая калитка, которой пользовались, чтоб ходить на реку за водой. Она закрывалась на обычную задвижку, и открыть ее не представляло особого труда. Он заметил, что по монастырскому двору бегали от одного строения к другому занятые поисками иноки, но, как ему показалось, без особого успеха.

Легко открыв калитку, Аввакум вышел на берег и внимательно глянул по сторонам. Ему сразу бросились в глаза две борозды на снегу, оставляемые обычно, когда волокут что-то тяжелое. В одном месте блеснула капелька застывшей крови, он нагнулся, поддел ее ладонью вместе со снегом, поднес к глазам. Она была алого цвета, словно спелая малина, и ему вдруг сделалось страшно, захотелось повернуть обратно, но он пересилил себя и стал спускаться к реке.

Тропинка вела к проруби, возле которой что-то чернело, а что именно, издавлек он не мог разобрать, хотя и догадался, что именно это могло быть. Не доходя нескольких шагов до проруби, он в ужасе остановился, различив торчащую из-под льда человеческую голову и... лежащие подле уже затянувшейся тонкой пленкой льда поверхности воды, отдельно от туловища окровавленные кисти рук. Внимательно рассмотреть ужасную картину у протопопа просто не хватило сил, и он бегом помчался обратно, несколько раз поскользнулся на крутом подъеме, падал, вставал, пока не добежал все до той же калитки. Там он встретил двух монахов, что с недоумением глянули на него и хотели было идти дальше, но Аввакум замахал руками в сторону реки и, едва шевеля губами, произнес:

— Там, там они...

— Кто? — не поняли монахи, но потом догадались, оттолкнули протопопа и скачками помчались к реке.

\* \* \*

...Вечером, когда тело покойного лежало в храме и над ним читался Псалтырь, вся братия собралась в трапезной. Аввакум с Климентием, который ввиду чрезвычайных обстоятельств волей-неволей вынужден был смириться с задержкой, заняли места на краю стола, а по центру в скорбной позе восседал игумен Анастасий. Не было лишь двух возмутителей спокойствия, что, как во всеуслышание донес отказавшийся от своей должности бывший ключник, благополучно отсыпались у себя в келье, опустошив весь похищенный ими из монастырского погреба бочонок.

Анастасий сосредоточенно обвел взглядом всех собравшихся и сообщил:

— Местному воеводе уже донесено о случившемся у нас несчастье. И в Тобольск нарочный отправлен к владыке Симеону. Пока же давайте сами будем думать, кто мог покуситься на жизни братьев

наших. Пока приказные из Тобольска до нас доберутся, суть да дело, злодеи те скрыться успеют.

— Так, поди, посты воевода выставит на всех дорогах, куды оне денутся? — без особой надежды в голосе проговорил рыжеволосый, с тоненькой козлиной бородкой монах, сидевший на самом краю стола.

На него сердито зыркнул седовласый инок со сросшимися на переносье бровями и изможденным лицом и негромко пробурчал:

— А им и деваться никуда не надо, тутошные они все...

Анастасий, хоть и не расслышал все, что тот сказал, но сразу уловил смысл его фразы, а потому властно хлопнув ладонью по столу, потребовал:

— Говори, отец Симеон, что знаешь, негоже скрывать от братии, ежели тебе что о том известно.

— Чего мне известно, то всем ведомо... — все так же гнусаво ответил тот, — местный то народец, иначе быть не может...

Игумен бросил взгляд в сторону Аввакума, будто тот прежде всего был причастен к произошедшему, кашлянул несколько раз, степенно отер бороду и спросил, обращаясь ко всем сразу:

— Не пойму я, братцы, намеков ваших... Тут такое смертоубийство произошло, а вы думаете отсидеться, как мыши за печкой? Приставы заявятся, каждого трясти начнут. А кто им не понравится, на съезжую к воеводе прямиком потащат, а там, сами знаете, разговор короткий! Кнут да дыба, мигом все заговорят, обо всех своих грехах вспомнят, ничего не скроют, не утаят. Говорите все как есть! — И он снова стукнул по столешнице своим белым кулачком, слегка сморщился, видно, перестарался и вдруг перешел на визг:

— Признавайтесь, выродки!!! Кто погубил московских переписчиков? Кто из вас к смертоубийству руку свою поганую приложил?! Говорите, пока я спрашиваю, а то дальше хуже будет, никого не пощажу, всех до единого прикажу под допрос свести! Вот уж тогда попляшете, коль пяточки вам подпалят, заголосите, душонки ваши подлые к небу взлетят... — сыпал угрозами, забыв о своем духовном чине, игумен, словно сам был готов пытать каждого.

Аввакум с удивлением слушал такого спокойного с виду, как ему изначально показалось, настоятеля и диву давался.

«Где только он так выучился выговаривать? Этак только паромные грузчики костерить один другого умеют, а тут на тебе, настоятель, божий человек, ругательствами сыплет, о Боге не думая...» — с гру-

стью думал он. И предположил, что, скорее всего, настоятель, прежде чем попасть в этот монастырь, много чего повидал в этой жизни. По доброй воле редко кто попадал в Сибирь, а потому долго придется ждать, пока населят эти необжитые края настоящие монахи, много воды унесут сибирские реки в северное море, где эти воды смешаются с другими, очистятся от ила и грязи и застынут ледяными глыбами, чистыми и непорочными, без единого пятнышка, какой, собственно, и должна быть монашеская душа...

Когда игумен чуть успокоился и, тяжело дыша, стал вытирать рукавом рясы струившийся по его лицу пот, то в трапезной воцарилось неловкое молчание. Лица у всех словно окаменели. Все до единого понимая, угрозы, услышанные ими, вполне могут стать реальностью, и тогда кто знает, как обернутся их судьбы. Но молчание длилось недолго. Неожиданно для всех из самого темного угла поднялся сидевший отдельно старик и, опираясь на сучковатый посох, сделал несколько шагов в сторону стола, а потом остановился, словно ожидая чего-то. Аввакум пристально взгляделся в его лицо и увидел, что глаза старца покрыты уродливыми бельмами, из-за которых он вряд ли мог видеть мир во всем его многообразии и красках. По тому, как все почтительно повернулись в его сторону, он понял, что он пользуется среди иноков уважением, и стал ждать, что скажет вышедший вперед слепец.

— Зря вы, ваше степенство, всех нас с грязью смешали, — начал тот неторопливо говорить тонким, чуть осипшим старческим тенорком, — я хоть и слепец, а вижу и знаю поболее многих. То прежде всего ваша вина, отец Анастасий, что приняли тех писцов московских. Ведь я вам еще когда говаривал, жди беды, вот она и не преминула явиться смертушкой их обоих. Одного, как понимаю, в прорубь скинули, он и пикнуть не успел, а второй за лед цеплялся, так ему обе рученьки и отчекрыжили. Кто ж, скажите вы мне, мог из нашей братии на такое пойти? Тут одни овечки неприкаянные собрались, сидят, дрожат, словно засохшие листья на осине. Куда им до такого? Не выдюжат! Да и какое у них орудие? Метла да дреколье. Заведись среди наших братии смелец какой, что похотел бы писцов тех жизни решить, он бы на кровь не пошел. Кишка тонка. А вот, глядишь, со зла или там по дурному умыслу мог им зелья какого в еду или питье подсыпать, но и на то бы его умишка скудного не хватило. А вот ратники наши, что ни богу свечка, ни черту кочерга, те по пьянке могли бы кровушку кому пустить, точно говорю. По моему разумению, давно бы их из оби-



тели пора вон выставить, один грех от их пьянства и пакость разная. Но... понимаю, начальством к нам они направлены, а с начальством спорить грешно, да и опасно. Тем более не вам, отец Анастасий, не в обиду будет сказано. Не пристало нашему теляти с волками бодаться, а то останутся от него хвост да шкура...

При этих словах между оживившимися монахами послышались смешки, некоторые даже заулыбались, исподтишка бросая взгляды в сторону тут же густо покрасневшего игумена. Но он молчал, видимо, не впервой старец отчитывал его таким вот образом. А тот продолжил:

— Потому так вам скажу, братья мои возлюбленные, хотя любить-то вас особо не за что, но, коль Христос завещал, так тому и быть, считайте себя возлюбленными моими и понимайте, кто как знает. А бояться надо не вам, а игумену нашему, что порядка в монастыре навести не может, да еще и на святые книги отцов наших покусился, переиначить их решил, а оно вот как обернулось...

При этих его словах Анастасий открыл было рот, хотел что-то возразить, но потом махнул рукой в сторону старца и закрыл лицо левой ладонью.

— И вот еще чего скажу, — не унимался тот, — на меня как человека незрячего иные внимания не обращают, зато я слышу поболее других. А слышал я не так давно, как жители местные говорили о каких-то странниках, что по монастырям ходят и выискивают тех, кто переписным делом занят. Говорят, что им какую-то там бумагу составить надо или иное что. Кто им повелел ту бумагу составить, молчат. Видать, врут, прикрываются тем, а сами вызнать желают, что да как, где и в каких монастырях засланные писцы сидят.

Старец ненадолго остановился, облизнул сухие губы, а потом, набравши в грудь побольше воздуха, закончил:

— По мне, странники те или кто они на самом деле есть, узнавши все, местных мужиков вразумили, будто в кельях наших дьявольские письма пишутся, и скоро антихрист вслед за теми переписчиками явится, а тогда всем нам несдобровать. Слышал, что в одной деревне батюшку молодого, что взялся службу вести по-новому, чуть жизни не лишили, да бабы местные отстояли его и подале из деревни отправили. А, думаете, здесь, в тюменском городе, нет таких? Тут народ отчаянный живет, на все способный. Вот они сторожей подпоили, а когда те мертвецки пьяные в караульне своей песни распевали, то я вчерашней ночью самолично слыхивал, думал отцу Анастасию

сегодня попенять, что спит крепко, может и не услышать, как ангелы Божьи возле ворот вострубят, а нет, не успел. Видать, этой ночью и свершилось черное дело, иначе и быть не может. Как сторожа те проспят, их и спрашивайте, кто им вино подавал. Коль запирались станут, тащите их напрямик к воеводе, там им языки быстро развяжут. Вот тогда на тех душегубов сразу и выйдите...

С этими словами он неторопливо повернулся и, стуча своим посохом, вернулся на свое место.

По одобрительному гулу среди братии Аввакум догадался, что старец пользовался уважением среди них и слова его были восприняты всеми как руководство к действию. Первым соскочил со своего места ключарь, которому днем досталось от бывших ратников, что и несли охрану ворот прошлой ночью, а потом, видать, решили продолжить гулянку и прямо на глазах настоятеля ограбили винный погреб.

— Надо их прямо сейчас и повязать, пока они проспаться не успели, — взвизгнул он и глянул по сторонам, ожидая поддержки. Но желающих связываться с дюжими дебоширами среди монахов не нашлось, и он пристыженно опустил на место.

Тогда со своего места поднялся настоятель Анастасий и негромко, но твердо заявил:

— Прав старец Варлаам, поставив мне на вид, что терплю в святом месте безобразия такие. Терплю — да! Но не по своей воле. Мне владыкой было велено всех бывших ратников в число братии зачислять и в специальные книги вписывать, потому как деваться тем бродягам, акромья как в местные монастыри, больше некуда. И еще владыка на все мои грамоты к нему о творимых теми ратниками бесчинствах в стенах монастырских, отвечивал, мол, с ними нужно обходиться ласковым словом и смирять тяжелой работой и молитвой. Чего из того вышло, сами видели. Теперь мне по всей строгости придется ответ нести, и не только перед нашим владыкой, но и перед самим патриархом, поскольку то были ими присланные люди...

Он тяжело вздохнул, перекрестился и, найдя глазами Аввакума, сказал, обращаясь к нему:

— Меж нами здесь человек есть, что завтра в Тобольск едет, прошу его рассказать все, что он своими глазами видел, владыке Симеону. — На что протопоп согласно кивнул. — А сам завтра пожалуй к воеводе и передам свои подозрения по поводу странников и о чем тут нам старец Варлаам сказывал. Пусть он пока следствие в свои

руки берет и разбирается по всей строгости с теми, кого виновным сочтет. А наше дело, братья во Христе, молебствовать о спасении безвинно убиенных христиан и совершить в положенный срок таинство отпевания. С тем и разойдемся, аминь.

Все с облегчением вздохнули и поднялись со своих мест. Аввакум вышел вместе со всеми на монастырский двор и глянул на чистое, без единого облачка небо, на котором высыпали яркие звезды, чей свет притягивал взгляд любого человека и заставлял думать о вечном, что находится за гранью его человеческого понимания.

«Как странно устроен мир, — подумал он, — смерть стоит рядом с жизнью, и кто из них главнее, не понять. Может, в том и кроется простота мироустройства, что попасть на небо гораздо легче, чем нам кажется. Нужно только умереть и... ты уже там...»

И вдруг где-то из глубины двора раздался чей-то удивленный голос:

— Братцы, откуда-то так дымом тянет, словно горит что...

— То, видать, печь затопили, вот дымом и тянет... — отвечал ему кто-то из не разошедшейся еще толпы.

— Да нет, уж больно шибко пахнет с той стороны, где келья переписчиков убиенных стоит.

Несколько человек бегом кинулись в ту сторону, откуда тянуло дымом, и вскоре вечернюю тишину прорезал дикий крик:

— Пожар! Батюшки святы! Горим!!!

Вся братия, не сговариваясь, побежала на крик, и Аввакум, влекомый общим потоком, вместе с ними. Едва он повернул за конюшню, откуда доносилось жалобное ржание учувших пожар лошадей, как увидел вырывавшиеся языки пламени из-под тесовой крыши одиноко стоящей почти над самым речным уступом кельи, куда он еще недавно заходил. Монахи же застыли в нерешительности в нескольких шагах от бушующего пламени в полной растерянности, не зная что предпринять. Рядом громко заголосил отказавшийся от своей должности ключарь, и в поднявшемся шуме было не разобрать, о чем и к кому он взывал, заломивши обе руки.

— Хватит выть, — саданул его в бок Аввакум, — тащи скорее лопаты, надо снегом закидать, чтоб огонь дальше не пошел.

Тот согласно закивал и кинулся куда-то бежать, а несколько человек уже хватали пригоршнями снег и кидали его в пламя, пытаясь хоть таким образом противостоять огненной стихии. Сзади раздался зычный голос игумена, требовавшего тащить из келий воду и ведра. Кто-то до-

гадался открыть двери конюшни и выпустить бивших копытами в дверь лошадей, среди которых были и кони, на которых приехали Аввакум с Климентием. Кони тут же дали стрекоча, помчавшись в сторону ворот, а Климентий, что не расставался с починенной им недавно упряжью, кинулся следом, боясь, как бы те не выскочили за стены монастыря.

Не прошло и получаса, как на месте ладного домика осталось жалкое пепелище, и монахи длинными баграми растаскивали в стороны горящие головни, засыпали их снегом. Те шипели, но постепенно гасли, выбрасывая вверх облачка белого пара. На счастье, огонь ввиду полного безветрия не перекинулся на другие строения, и самому монастырю опасность не угрожала.

Протопоп, пропахший, казалось, насквозь запахом гари, стоял чуть в стороне от остальных монахов и гнал от себя мысль о том, что Господь таким жутким образом покарал затейное Никоним дело по замене церковных книг. Но мысль эта, овладевшая им помимо его воли, не желала покидать голову, хотя он уже многократно раз за разом повторил молитву иконе Божьей Матери Неопалимая Купина: «Царице Небесная, Владычице наша, Госпоже Вселенная, Пресвятая Богородице, нескверная, неблазная, нетленная, пречистая, чистая Приснодево, Марие Богоневесто, Мати Творца твари, Господа славы и Владыки всяческих! Тобою Царь царствующих и Господь господствующих прииде и на земли нам явися. Ты убо Божие милосердие воплощенное...»

Ничего не помогало... Мысль об огне карающем и очищающем людские греховные деяния не покидала его. Он еще не мог до конца сформулировать свою мысль, что огонь и есть единственный способ борьбы с никоновской крамолой, что-то мешало ему это сделать, но зачарованный увиденным, он, не отрывая взора, смотрел на уносящиеся вверх остатки искр и вспомнил недавнее свое размышление о близости жизни и смерти.

«Огонь, именно огонь возносит души людские в мир небесный, где каждая душа человеческая искрой летит вверх... И нет силы, которая может воспрепятствовать тому огню, перед которым человек бессилен и беспомощен...»

Наконец, поняв, что сегодня открыл что-то главное для себя, он, сосредоточившись на этом, отправился в отведенную ему келью, зная, что не уснет до утра, а будет вновь и вновь обдумывать свое открытие, подсказавшее ему дальнейший путь в борьбе с ненавистным патриархом.

...Климентий постучал к нему, едва только начало светать, и в утренней дымке обозначились контуры монастырских строений и силуэты деревьев по ту сторону реки. Климентий, видать, несмотря на все случившееся, сумел несколько часов соснуть, а потому выглядел довольно бодрым и даже суетным.

— Скорее бы уехать с этого проклятого места, — ворчал он себе под нос, проверяя упряжь на лошадях. — Не выпусти вчера коней вовремя, задохлись бы от дыма, а то и вовсе сгорели. Вот тогда бы мы с тобой, батюшка, запели матушку-репку на разные голоса. Вовек не забуду этой поездки, будь она неладна...

Аввакум же молчал, не имея никакого желания поддерживать разговор, и лишь попросил чуть подождать, чтоб он заглянул к настоятелю и сообщил о своем отъезде.

— Негоже вот так, как татам ночным, сбегать, не простившись, — произнес он тихонько, но пристав в ответ согласно кивнул, понимая, что без позволения настоятеля их могут и вовсе из монастыря не выпустить.

Видимо, игумен тоже не сомкнул этой ночью глаз, потому как сразу в ответ на негромкую молитву Аввакума открыл ему дверь и чуть отступил назад, давая тому войти внутрь.

— Благословите, ваше высокопреподобие, нам вот ехать время пришло, пристав мой сердится, что и так запаздываем. А то я бы остался, может, и помог чем, — с поклоном обратился к нему Аввакум.

Тот, словно сбросил тяжкий груз, вздохнул и широко перекрестил протопопа, а потом, словно нехотя, слегка приобнял его и подставил щеку для поцелуя.

— Поезжайте с Богом, батюшка. Чем вы теперь помочь можете. Вот всю ночь писал на имя святейшего патриарха доношение о случившемся. Думаю, недолго мне здесь после всего этого оставаться позволят, сошлют куда подале, ладно, если совсем крест не снимут. Куда мне тогда деваться? Ни семьи, ни родных, — сокрушенно покачал он головой.

— Бог милостив, все устроит, — попытался подбодрить его Аввакум, — найдут тех убийц, накажут примерно... Пока суть да дело, все одно вам при монастыре быть нужно. Как его без настоятеля оставлять...

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

Анастасий как-то безнадежно махнул рукой, показывая тем самым, что он не особо верит в благополучный исход дела, и промолчал, ожидая, когда протопоп оставит его одного. Но тот, словно чувствуя за собой какую-то вину, спросил его, придавши голосу своему уверенность и силу:

— Что владыке при встрече передать? Мы с ним хоть и неблизкие, но давние знакомцы...

— Расскажите все как есть. Мне, человеку православному, скрывать чего не пристало. Если виноват в чем, то пусть накажет меня владыка. Вчера старец Варлаам правду сказал, что во всем случившемся моя вина наипервейшая, не усмотрел, сил не хватило порядок должный навести. Сам, поди, видел, что эти бывшие ратники творят. Не будь их, все бы могло иначе повернуться, и убийства бы с пожаром не случилось... Но вы, батюшка, правильно сказали, что если всех послушников разогнать, то, почитай, мы с ключарем вдвоем тут только останемся. Каков же это монастырь будет?

— Да, — словно что-то вспомнив, спросил Аввакум, — пожар тоже не сам по себе случился? Запалил кто-то келью ту, так думаю...

— Выходит, что так... Пока все мы в трапезной решали, как нам убийц сыскать, они тем временем наверняка и запалили келью, что на отшибе стоит. Там с реки подход свободный, а ночи, сами видели какие здесь темные, за всем не углядишь...

— Молиться за вас стану, — произнес на прощание, уже открывая дверь, Аввакум. — Бог даст, все обойдется, может, и свидимся еще когда...

— Ну, если не на этом свете, то на том непременно свидеться должны, — усмехнулся в ответ Анастасий, прикрывая за ним дверь.

\* \* \*

И вот, Я с тобой; и сохраню тебя везде,  
куда ты не пойдешь; и возвращу тебя  
в сию землю; ибо Я не оставлю тебя,  
доколе не исполню того, что Я сказал тебе.

*Быт. 28, 15*

Спустившись с крутой горы, лошади, направляемые Климентием, вышли на замерзшую реку, и далее он погнал их по извилистому руслу, поглядывая время от времени на нечасто выставленные по краям санного пути вешки.

А Климентий, что нещадно нахлестывал лошадеенок, несказанно уморенных за несколько месяцев пути, злился на конюхов, подсунувших ему старую упряжь, из-за чего он может вообще встать посреди долгой дороги, и никакие молитвы не помогут без нее вернуться ему обратно под родной кров. Злился он и на монахов, у которых она наверняка была, но говорить с ними об этом было делом безнадежным. И протопоп, сопровождаемый им, ради собственного же блага давно мог купить, судя по его достатку, новую упряжь хотя бы из благодарности, что везли его за счет патриарха, а не добирался до Сибири, как сотни и тысячи подобных ему, пешком или на перекладных.

И не было Климентию ни малейшего дела, за что сослали того в Сибирь, виноват ли он или наказан ошибочно, в пример другим. И о вере Климентий вспоминал лишь по престольным праздникам, когда требовалось идти в храм под исповедь и причастие. Чаще всего вспоминал он о Боге в дороге, которая уже много лет стала неотъемлемой частью его жизни, если попадал в разные переделки, и тогда молитва рождалась внутри, как бы сама собой и лилась тихо, незримо и наверняка много раз помогала.

Нет, безусловно, в Бога он верил и себя без веры не представлял, но не было у него, как у иных, подобострастного и всепоглощающего чувства причастности своей к Богу. Тот существовал отдельно где-то далеко на небесах, а он, Климентий, жил на земле одиноко и тяжело, со страданиями и полным непониманием, за что ему выпала такая доля.

Аввакум же думал про себя, что пусть не сразу, постепенно, но отношения меж ним и приставом смягчились от совместно перенесенных тягот и испытаний. Особенно после событий в Троицком монастыре, который они, слава богу, наконец-то благополучно покинули. Климентий, пусть и неоткрыто, но признал за Аввакумом старшинство, начал более почтительно говорить с ним и вел себя, как обычный прихожанин, пришедший в храм на службу, хорошо понимающий, чья здесь власть. И это был далеко не первый случай, когда в процессе общения у Аввакума менялись взаимоотношения с его бывшими противниками и недоброжелателями, которые постепенно становились пусть и не единомышленниками его, но хотя бы соглашались с ним, не перечили и не противились всему, что он им предлагал.

...В это время в далеком селе на Урале Анастасия Марковна кормила детей просяной кашей и тихо шептала про себя молитву, прося Бога, чтоб он помог мужу ее добраться до Тобольска, послал детям выздоровление. А еще она просила, чтоб Господь позволил бы ей поскорее свидеться с тем, кто был ее единственным и самым любимым человеком на всей земле. И она не представляла свою жизнь без него и считала своего Аввакумушку самым умным, красивым и смелым среди всех известных ей мужчин. И в молитвах образ мужа сливался с образом Бога, и были они для нее неразличимы, одинаково важны и значимы.

...Через какое-то время Климентий глянул назад и неопределенно произнес:

— Что-то казачка нашего не видно, — задумчиво проговорил он, — не отстал бы, а то потом ищи-свищи его, теряй время.

— А может, его игумен задержал по какой надобности, — равнодушно предположил Аввакум, хотя ему было совершенно все равно, нагонит их казак, или они дальше поедут одни.

Как ни странно, но и смерть переписчиков, и неожиданно возникший пожар не всколыхнули его душу, не зажгли воображения не лишили постоянной уверенности в себе. Его будто не было ни возле проруби, ни рядом с иноками, тащившими ведра с водой, чтоб залить пламя. Разве что выскочившие из конюшни лошади взволновали его сильнее всего остального. И запах гари, до сих пор шедший от одежды и вызывавший желание осыпать себя снегом и натереть им одежду, лицо, отогнать от себя и забыть навсегда.

Сейчас его больше заботило другое: он вдруг с необычайной ясностью начал ощущать, как несказанно устал, вымотался и, судя по всему, находится после всего случившегося на грани душевного срыва. Так с ним уже бывало, когда приходилось держать долгие посты и изнурять себя многими воздержаниями в житейской жизни. Сейчас же, когда шел долгий рождественский пост, он и в дороге каждодневно перед сном, стоя на коленях, вычитывал обязательные каноны, перед небольшим походным иконостасом, которым успел запастись перед отъездом из Москвы. И днем в санях, сидя сзади не обращающего обычно на него внимания пристава, он беспрестанно перебирал привезенные из Святой земли знакомым купцом сандаловые четки, повторял молитвы, прося у Бога помощи себе и своим близким.



Вспоминал он во время молитв друзей-единомышленников своих, которые, как и он, кто раньше, кто позже были направлены из Москвы в ссылку ненавистным Никоном. При этом он, бывало, беседовал, спорил с ними, незримо, чувствуя, как молитва сближает и соединяет их. И знал, они тоже молятся за него и, покуда живы, будут взывать к Богу, прося заступничества и скорейшего освобождения от бед, свалившихся на них неожиданно-негаданно. Пока же надо терпеливо сносить все испытания и тяготы и крепить, крепить себя общей молитвой, дожидаясь своего часа. А то, что он вернется обратно в Москву, где они соберутся вместе, Аввакум ни на йоту не сомневался. Лишь бы пережить, выдержать все уготовленное, как стойко и тысячу лет назад переносили унижения и страдания все мученики и страсто-терпцы за веру Христову. Привычным движением он нащупал на груди наперсный серебряный священнический крест, подаренный ему духовным отцом и покровителем — Иваном Нероновым.

«Где он теперь? — с тоской подумал Аввакум. — Живой ли? По-молись, брат Иване за меня грешного. Испроси у Господа, чтоб достойно покарал окаянного Никона, который, словно лис, пробрался на престол патриарший, лстивыми речами своими околдовал царя Алексея и всех вокруг. Пусть падет на него гнев Божий и откроются глаза у людей, которые рано ли, поздно ли поймут, на чьей стороне правда».

От беспрестанного внутреннего напряжения, неизвестности, ожидания разрешения участи своей, душевные силы его напряглись до такой степени, что казалось, тронь кто, зазвенит туго натянутой струной, готовой в любой момент порваться, лопнуть, и тогда прервется земная жизнь, а вместе с тем прекратятся и все ниспосланные свыше испытания. Но Господь не слал Аввакуму подобной милости, и сам он понимал, это только начало, а главные лишения и страсти предстоят впереди, там, в Сибири, в стране угрюмой и печальной, где человек теряется, словно лист, сорванный с дерева и упавший в лесной чаще на землю.

Кроме усталости душевной с каждым днем все больше давала себя знать усталость телесная. За четыре месяца, проведенных в дороге, в какой-то момент он перестал чувствовать боль в руках и ногах. Нет, они не перестали болеть, как это было в самом начале пути, но вдруг наступило какое-то оупение, когда боль совсем не ощущалась. Видно, тело перестало посылать сигналы, уставшее до такой степени,

что уже ничем нельзя было его удивить. Однажды утром, ударившись на кочке коленом о край саней, он с удивлением отметил, что боли не почувствовал. Но вечером, сняв одежду, обнаружил на ноге здоровенный синяк. Он долго разглядывал его, мял пальцами — боли не было. Тогда он испугался, стал щипать себя и даже попробовал уколоть руку острием ножа. Боль не вернулась. Она или умерла, или отстала в дороге, освободив его от своих постоянных услуг, и неизвестно, хорошо это или, наоборот, плохо.

Постепенно он привык и к этому новому чувству, когда телесные страдания отступают и тело начинает жить без них, забыв о боли. Но если с потерей боли он смирился, то боялся, как ни странно, а вдруг так же исчезнут и страдания душевные, понимая насколько это страшней, нежели потеря ощущений телесных, и радовался, что чувства еще повинуются ему, значит, жива пока душа, и он остается человеком, а не бесчувственным истуканом.

В перерывах между молитвами ему не хватало обычного разговора с близкими людьми, и он в который раз посетовал, что Анастасия Марковна и дети не смогли ехать вместе с ним. А еще он скучал по гомону людских голосов, привычному городскому шуму, уличной суете и всему тому, что составляло внешнюю сторону человеческой жизни. Здесь же, в Сибири, страшили именно тишина и безмолвие, необозримость снежного пространства и кажущаяся близость неба к земле. Удивительно, но небо здесь было совершенно другим, не похожим на то, к которому он привык ранее. Непонятным образом оно прижимало человека к земле, незримо давило и казалось настолько близким, что, верилось, стоит найти шест подлинней, распрямить его, и ты проткнешь насквозь небесную оболочку, словно молочную пенку лучиной в крынке со вчерашним молоком. И звезды по ночам казались чуть ли не в два раза больше тех, какие он видел прежде, сверкая драгоценными камнями на темном своде. И до них хотелось дотянуться, если найти гору покруче, скovyрнуть, вырвать из привычных ячеек и, доставши, положить в карман, где бы они жили яркими светлячками наряду с другими обиходными вещами.

Все вокруг было каким-то первозданным, девственным, словно Господь создал этот мир не далее как вчера и человек не успел оставить в нем своих следов и отметин, встречающихся в иных местах людского обитания проплешинами полей, гарей и сваленных деревьев. Иной раз казалось, будто бы они с Климентием первые, кто

после Сотворения мира ступил на речной лед, сияющий стеклянной синевой в отдельных незакрытых снегом местах. Но встречающаяся через час-другой небольшая деревенька говорила об обратном, пахло жильем, и дымки из труб выдавали присутствие в домах хозяев, пришедших сюда задолго до них.

Еще Аввакума поражала снежная белизна, режущая глаз до слезы своим неестественным блеском. Если долго смотреть на все заполняющий вокруг искрящийся алмазным сиянием снеговой покров, то через какое-то время веки сами напозлали на глазницы, неся с собой сонливость и расслабленность. Но она тут же сменялась тревогой, словно за тобой следит сверху кто-то большой и незримый, готовится напасть неожиданно и коварно, как только ты на мгновение зазеваешься.

Его так и подмывало спросить об этом Климентия, но, представив его ехидную ухмылку и невразумительный ответ, он отказался от этой мысли, пытаясь самостоятельно разобраться в том, что его так тревожит. Он понимал, что око Господне следит за всем сущим на земле и ничто не может укрыться от всевидящего взгляда Его.

Но почему же он не замечал подобного внимания к себе прежде там, на Руси? Почему именно в Сибири он так явственно почувствовал взгляд Божий? Он ничуть не сомневался в истинности своих размышлений, поскольку жил с ними с самого момента рождения своего, ни на миг не усомнившись, кто правит миром и кто направляет каждый шаг любого человека. Его смущало другое. Если за ним стали столь пристально наблюдать, то это можно объяснить или важностью происходящего, или вниманием Господа к скромной персоне его. Что, впрочем, было одно и то же. В любом случае подобное открытие не придало Аввакуму уверенности душевной, а вызвало лишь еще большую тревогу и напряженность.

Потом в душе его неожиданно зародилось столь редко посещающее Аввакума сомнение в правильности собственных мыслей, поступков и верности прежних убеждений. Выбрав путь служителя церкви, он раз и навсегда уже в зрелом возрасте уверовал не только в Бога, но и истинность свою. Иначе и быть не может: коль он верует в Него и все поступки свои согласует с Ним, то и безошибочность всех действий и мыслей его предопределена свыше.

Страдания же свои и близких ему людей он объяснял теми редкими душевными сомнениями, что порой посещали каждого

смертного, за что он, ведя жизнь праведную, страдал в зависимости от тяжести и глубины своих сомнений.

Теперь же ход мыслей Аввакума потек в обратном направлении — не от причины к последствиям, а от настоящего к прошлому. Но каждое рассуждение наталкивалось на простой, но трудно разрешимый вопрос: так ли уж верны и правильны все поступки его?! Как бы сложилось все, прими он нововведения Никона и не воспротивься им? Где бы он находился сейчас, промолчи, прими на веру то, что приняли многие. И дело не в том, что искал он себе послабления участи и освобождения от ссылки, нет, ему хотелось уяснить насколько истинно все содеянное им, последствия чего он теперь зрит на самом себе.

«А разве Христос не воспротивился фарисеям и не погнал их из храма? — вопрошал он сам себя. — И пострадал он за сопротивление вере иудейской, за призыв к вере истиной, от Бога данной...»

...На этом месте рассуждения Аввакума в очередной раз зашли в тупик. Получалось, Христос призывал к вере новой, и Никон призывает к новому... Он никак не ожидал подобного поворота и даже выронил из рук четки, до того собственная очевидная мысль поразила его. Выходит, он, Аввакум, — фарисей?! Как же так? Он, защитник веры Христовой?! А что же Никон? И он от веры Христовой не отказывается, но призвал к смене старинных традиций и правил, исправлению богослужения. Ничего нового он тоже не привнес. Так кто же из них двоих прав? Где есть истина?

Аввакум задумался, подыскивая сравнение для своего главного недруга. И тут его осенило: «Лютер! Точно Лютер! Никон, как и Лютер, призвал к упрощению обрядов, к смене их. А это уже ересь великая».

Но тут кто-то со стороны словно шепнул ему в самое ухо: «Лютер не согласился с папистами. А паписты-католики всегда были ненавистны нам. Их вера стала несправедливой с тех самых пор, как они откололись от Византии, от истинного христианства. Выходит, Лютер лишь усугубил конец их, внеся очередной раскол в умы верующих».

Но ответ на столь каверзный вопрос нашелся неожиданно быстро и как бы сам собой.

«Враг врага нашего есть друг нам», — вспомнилась ему где-то вычитанная фраза, и он обрадованно хихикнул, разрешив свои непростые сомнения.

«Выходит, что Лютер нам ближе, нежели паписты?» — озадаченно подумал он. Но назвать его другом он никогда бы не посмел и потому совсем приуныл, окончательно запутавшись, чего с ним прежде никогда не случалось. Всегда была ясность в рассуждениях подобного рода. А сомнения, они присущи нестойким в вере, не знающим, к кому преклонить колени свои. Ему же, православному протопопу, стыдно сомневаться в очевидном.

Он вернулся мыслями к Христу, представив, что сейчас его на этих вот самых санях везут на Голгофу, где предстоит мучительная казнь, а вслед за тем... смерть.

Климентий увиделся ему римским воином в блестящих доспехах и в шлеме с перьями на голове, а отставший казак — стражником, что будет прибавать его к кресту и потом на пике подносить губку, смоченную уксусом. Ему даже послышался шум озверевшей толпы, крики: «Распнуть его, распнуть!!!»

И тут, подняв глаза к небу, он явственно увидел, как солнечный луч, пробившийся через грязно-серую тучу, высветил в воздух прямую, как лезвие ножа, перекладину, а снизу, от земли другой яркий луч, отраженный, скорее всего, от речного льда, пересек его, образуя в небесной выси огромный крест. У Аввакума даже волосы на голове зашевелились от увиденного, и он истово закрестился, сорвав с головы шапку. Внутрь заполз противный липкий холодок, на душе сделалось отвратительно до жути.

Нет, к казни он был пока что не готов, потому как не собрал сторонников, не имел учеников, и само учение пока что отсутствовало.

«Господи, отведи час смерти моей на другой срок», — горячо зашептал он, уже не представляя четкой грани между действительностью и собственным вымыслом.

\* \* \*

В этот самый момент раздался негромкий голос Климения, который с облегчением проговорил, указывая кнутовищем за спину Аввакума:

— Едет, песий сын, тудыть его в колено.

— О чем ты? — спросил тот с дрожью в голосе, все еще находясь под впечатлением собственных вымыслов. Аввакум осторожно глянул назад, ожидая увидеть что-то немыслимое, но быстро разглядел скачущего по их следу отставшего в Тюмени казака и успокоился.

— Послал Бог помощничков, — продолжал тем временем зудеть Климентий, — только и думают, как бы брюхо набить да на печи поваляться, а мне отдувайся за всех. И за тобой присматривать надо, а то, не приведи господь, сбежишь, с меня первого и спросится.

— Куда тут бежать? — попытался вставить слово Аввакум, но Климентий и слушать его не стал, а с жаром продолжил разговор о том, что у него, видать, накипело за много дней пути, но он все носил этот груз в себе; зато сейчас, когда поездка близилась к завершению, решил высказать все за один раз.

— Сбежишь, не сбежишь, не в том дело. А приглядывать все одно надо. Вам только волю дай, потом обратно не завернешь, будете удила грызть да на свой лад воротить. Нет, я на службе не первый день и знаю, как с вами, такими, себя вести должно. Строгость нужна, без нее никак, а то... — И он выразительно взмахнул рукавицей. — Пиши, пропало. В этом деле ты мне не перечь, нагляделся всякого и со своей межи никуда не сойду. О ночлеге заботиться опять же кто должен? Снова Климентий! — не на шутку распалился он.

— Вам да казакам этим никакой заботы, все на мне, головушка иной раз кругом идет, как подумаю, чем мне завтра заниматься придется. А тут еще вызвался заместо возчика в дорогу отправиться. Уже пожалел сто раз, да кому она жалость моя нужна. Ее конями править в сани не посадишь и обратно не повернешь возчика просить. И опять все на мне: вечером — коней распрячь, накормить, напоить, попонкой укрыть от холода; а утром все сызнова — запрягай, поезжай первым, дорогу выбирай проторенную, успеешь до ночлега под крышу какую приехать. Все на мне. Еще и упряжь подсунули, как на грех, старую, новую, видать, продали да пропили. Эта же вся прелая, рваная, на чем только держится...

Выходило, что именно порванная упряжь более всего раздражала Климентия. Он еще долго костерил почем зря конюшных мужиков и лишь после этого легко переключился на казака.

— А им и забот никаких: в седло взобрался и тут же задремал, тащится следом, словно хвост за кобылой, — с неприязнью глянул он в сторону догнавшего их всадника и теперь мерно трусящего в нескольких шагах от саней. — Ему бы мои заботы, поглядел бы, как он выкручиваться стал. Казак, одно слово, — зло сплюнул он в снег и, не дожидаясь ответа, замолчал, тая в себе обиду на весь белый свет и прежде всего на Аввакума, которого, видать, считал главной причиной всех своих несчастий.

Протопопу же вдруг и в самом деле стало неловко перед приставом, который, хоть и драл горло, пытался командовать, приказывать, но за всю дорогу ни разу не обидел ни Аввакума, ни кого-то из родных его, а действительно хлопотал о ночлеге, о лошадях и спешил, постоянно спешил ехать дальше, вперед, поскольку был человеком подневольным и ослушаться начальников своих никак не мог.

«А, верно, и он устал, — подумалось Аввакуму. — И у него болит тело, ломит поясницу и хочется дать самому себе роздых, в баньке попариться, поспать подольше, ан нет, каждый день встает раньше всех и — в дорогу. А что получит взамен, когда вернется в Москву? Несколько четвертей ржи, овса да полтину серебряную. Невелик прибыток».

Аввакуму столько, бывало, приносили прихожане в качестве подарка в праздничный день. Он и счет не вел, сколько чего у него в амбаре или погребе лежит. Знал, голодным не оставят. Не бывало такого, чтоб на Руси православной поп на квасе и хлебе черном сидел, если приход не так себе, а справный, работающий. Раньше Аввакуму не приходилось думать о том, кто сколько зарабатывает за свой труд. Здесь же, в дороге, все сделалось открытым и доступным, словно с ним самим происходит всяческие огрехи и неприятности, испытываемые сопровождающим его приставом.

До этого Аввакум не испытывал к стражу своему никаких добрых чувств, скорее наоборот, относился к нему как к неизбежному злу. Но после того как они остались вдвоем, не считая едущих как бы отдельно от них казаков, он день за днем невольно, сам того не желая, все более душевно сближался с Климентием. И, хотя были то далеко не братские чувства, но он уже относился к нему почти что как к равному себе человеку, без прежнего призрения и высокомерия. Вероятно, и на душе у Климения происходило примерно то же самое, поскольку обращался он в последние дни к протопопу довольно-таки уважительно, едва ли не подобострастно, пытался сам завязать разговор, а не отмалчивался, как прежде, в начале пути.

С другой стороны, Аввакум, в соответствии со словами из Писания, где сказано, что от худого дерева не бывает плода доброго, не верил в искренность чувств пристава, а изменившееся отношение к себе относил на счет скорого прибытия в Тобольск, где, как он ждал, ему окажут достойный прием. Как ни крути, а едет он пусть и в ссылку, но не как осужденный. Сана его никто не лишал. И бу-

дет он там служить, так же как и в других местах, оставаясь лицом духовным. А то, что отправили его, как татя, словно человека, закон преступившего, то задумка все того же Никона. Знал, как унижить бывшего друга своего, уколоть побольней.

— Так что скажешь, батюшка? — вновь обратился к нему Климентий. — Есть справедливость на свете, коль все на одного валят, а другой, словно кот откормленный, хозяевами любимый, мышей — и тех ловить не желает, а живет ладно и беззаботно непонятно за что.

— На все воля Божья, — неопределенно ответил Аввакум. А потом, решив, что именно сейчас выдался удачный момент для разговора с приставом, продолжил полусути:

— Отчего же в казаки не пойдешь, коль у них жизнь такая сладкая? Вот и стал бы сам себе головой и хозяином.

— Уж нет! Только не в казаки, — с неожиданной неприязнью отозвался Климентий. — Только не в казаки. Ироды они все.

— Почему вдруг? — удивился Аввакум, хотя и сам не очень-то был расположен к породе этой, состоящей в основном из людей разного рода и племени и ценящих более всего вольность свою и легко меняющих места службы, предпочитая беззаботное существование всем другим земным благам.

— Нутро у них звериное, точно говорю. Видел раз, как они татарина одного плетками своими лупцевали за то, что им показалось, будто бы он хотел коня у них свести. Не знаю, остался ли тот живым — уж больно шибко они его изувечили. Звери, не люди. С ними только свяжись — и отца родного не пощадят.

— Служба у них такая, — ответил Аввакум, хотя понимал, не в службе дело, а в человеке, но сказал это так, для поддержки разговора. — А среди вас, приставов, неужто не встречается людей таких?

— За всех сказать не могу, но кого знаю, отвечу, нет среди них зверья этакого, как казаки. А уж с кем только дело иметь ни придется, тебе ли, батюшка, не знать. Благородные редко встречаются, все более отрепье разное из подлого рода.

— И часто ли, как ты говоришь, благородные встречаются?

— Я же говорю, реденько. С ними и дело иметь приятно. Только они с нашим братом свысока держатся, происхождение не позволяет, — повернувшись к седоку, криво усмехнулся Климентий. — Но и я им тем же плачу. Коль интересуешься, то скажу. Ты ведь в начале



пути тоже себя иначе вел. Важничал все, норов показывал. А мне что до твоего норова? Мне с тобой под венец не идти, — хихикнул он, показывая щербатые зубы, покрытые нездоровым налетом. — А потом вот помягчал, будто подменили тебя. Значит, понял что к чему: как ты ко мне, так и я тебе тем же отвечу.

— А кто тебе запомнился из тех, что увозил с Москвы или откуда там? — незаметно перевел Аввакум разговор от обсуждения своих взаимоотношений с приставом, которого он за ровню себе никогда не считал и вряд ли когда снизойдет до этого. И дело вовсе не в нарушении заповеди Христовой, призвавшей возлюбить ближнего. Любовь к ближнему Аввакум понимал как отсутствие дурных помыслов к ближнему, что уже должно восприниматься как благо великое.

— Да разные случаи бывали, — в задумчивости ответил тот, — и случаться всякому приходилось. Всего и не упомнишь, — но потому, как он говорил, можно было легко догадаться, ему не терпится рассказать о службе своей, которую он ставил превыше всего прочего, причисляя себя не в последней строке к власти на земле наивысшей. Именно он подводил обычно итог в судьбах многих страдальцев, доставляя их или на суд, или в дальнее поселение, откуда далеко не все возвращались к былой жизни.

— Бывает, и секретные дела выполнять приходится.

— Да что ты говоришь?! — заинтересованно отозвался Аввакум. — Какие же такие секретные дела тебе поручали? Рассказал бы хоть, а то меня что-то в дрему тянет, сил нет бороться с ней.

— А ты молитвы-то читай, читай, вот дрема и пройдет. Не положено о тех секретных делах всякому говорить, а то оно против меня все и обернется.

— Намекни хотя бы, что за дела такие, когда еще выдастся с таким человеком беседу вести, — сознательно подольстил Климентию Аввакум. И тот, несколько раз хмыкнув, не выдержал.

— В самом деле, — осторожно начал он, — почему бы не рассказать. Ты, батюшка, как мне думается, надолго в Сибири удержишься, а, скорее всего, навсегда тут и останешься. Так что особой угрозы в том для меня нет — если и расскажешь кому, то таким же убогим, которые больше своей участью озабочены, им уже не до дел государственных. А для тебя опять же наука, что не только с простым человеком, как мы с тобой, статья может, но и тех, что познатнее нас будут, жизнь мигом в бараний рог скрутит, и никакая жалость тебе не поможет.

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

Аввакум хотел было возразить, что долго он в Сибири не задержится, придет время, и он вернется обратно в столицу и услышит о нем вся земля Русская, заговорят в самых отдаленных российских уголках. Но, чуть подумав, решил не спорить с Климентом, который вряд ли поверит его словам, да и так ли это важно...

А тот уже принялся излагать историю, которую, видать, рассказывал впервой, тая до того от посторонних ушей, поскольку каждое слово выговаривал с расстановкой, обдумывая, а в наиболее трудных местах своего рассказа останавливался, собираясь с мыслями, и лишь потом продолжал:

— Лет этак пять назад, точно не скажу, вышел случай такой, который умирать буду, а вспомню. Пришлось мне вести инокиню молодую в позолоченной карете в один дальний монастырь, название которого тебе все одно не скажу, сколько ни проси. — Климентий опять чуть повернулся к Аввакуму, успевая при этом следить и за дорогой, и ловя взгляд его, временами отворачиваясь, делая паузы.

— Как ее звали-величали, не знаю, да и знать нам о том не положено. Я тогда хоть и молод был, едва третий десяток лет пошел, но уже в службе при патриаршем дворе состоял и быстро научился, чего мне знать должно, а чего и совсем не положено. И меня за то из прочих выделяли, поручали порой такие дела, которые не всякий бывалый выполнит. Вот, значит, повез я ту боярыню, а в сопровождение мне выделили шесть человек стрельцов и все при ружьях...

— Откуда знаешь, что она боярыня была? — быстро переспросил его Аввакум, пытаясь узнать, правду ли тот говорит.

— Да как тебе сказать, может, и не боярыня вовсе, но вид у нее больно гордый был и вся из себя этакая, что иначе как боярыней не назовешь, — легко развеял сомнения Аввакума возница. — Едем себе. При ней прислужница в карете сидит...

— Тоже молодая? — с усмешкой спросил Аввакум, которому просто нравилось слегка задирать Кlementия.

— Вот и нет. В годах тетка была. Строгая. На меня, так словно на пустое место, глядела, не замечала вовсе. Приехали на первую ночевку. Боярыню повели в отдельные покои специально, видать, для нее приготовленные. А я на улочку вышел и, скажу тебе, словно чувал чего, правильно поступил. Двор большой, богатый, строений разных и служб много, я вглубь прошел, сел на бревнышко, сижу себе поглядываю по сторонам. Тогда уже взял за правило все во-

круг видеть и подмечать, авось да пригодится где. Так оно и вышло. Глядь, а на крыльцо людской половины боярыня моя вышла! Одна! Никогошеньки при ней нет: ни стрельцов, ни прислужницы. И одета по-дорожному, как приехали, так одежду с себя и не сняла и до самых глаз в платочек закутанная, а в руках какую-то котомку держит. Стоит, значит, по сторонам поглядывает, а меня и не замечает. Кто я для нее? Мужик простой. Только через меня как раз все против нее и обернулось.

— Это как же? — заинтересованно спросил его Аввакум, хотя и начал уже догадываться, что должно было произойти.

— А ты слушай, — сердито ответил Климентий, недовольный тем, что его перебили. — Коль начал говорить, то все обскажу как есть. Вот смотрю я из своего уголка за ней и думаю, ага, смекаю себе, видать, она сбежать решилась, пока недалеко от Москвы отъехали. На чем же она ехать-то собралась?

А тут к двору постоялому богатящая карета подкатила. И выскакивает из нее молодец нарядный с усами завитыми, но без бороды. Как есть из польских панов будет, что когда-то на Москву ходили. Он, как боярыню увидел, сразу к ней — и залопотал что-то, кинулся ручки целовать. И она с ним ласково так разговаривает. Я стою жду, что дальше будет. А они меж тем бочком, бочком и к карете придвигаются. Молодец дверцу ей открыл, подсаживает. «Ну, — думаю, — сейчас в карету сядут и укачут. А меня потом заперют, что видел и смолчал». Воздуху побольше набрал да как заору: «Караул!!! Грабят!!!» — И еще чего-то там орал, уже не помню. Так мне жутко стало, когда представил себе палача с кнутом и как он им по моей спине гулять будет. Мигом стрельцы на крыльцо выскочили, кинулись иные к карете, иные к лошадям и остановили их, когда те уже совсем было чуть не ускакали. Такое вот дело тогда вышло.

— И что же потом было? — поинтересовался Аввакум, которому стало занятно, что это за боярыня была такая, которую неизвестно за какие провинности везли в монастырь, судя по всему, по распоряжению самого патриарха или близких ему людей.

— А что было? — хмыкнул удовлетворенно Климентий. — Боярыню в монастырь доставили, как положено. Молодца в приказ отдали. Что там дальше стало, то мне не ведомо.

— Тебя-то отблагодарили за тот случай? — криво усмехнулся Аввакум. — Небось хороший куш получил за храбрость свою.

— Хороший или плохой, то тебе знать ни к чему. Знамо дело, наградой не обошли и еще больше доверять стали. Вот и тебя, человека на Москве известного, мне вести доверили, а не кому другому. И заплатят за эту поездку ладно. За тех, кого в Сибирь везешь, завсегда больше плата идет, чем за другие поездки.

Но Аввакума мало интересовало, сколько получит за него патриарший пристав. Гораздо интереснее было узнать, за что молодую девушку отправили в монастырь и какова ее дальнейшая судьба. Поэтому он постарался выведать у Климентия хоть какие-то детали о том случае.

— Неужели ты до сих пор не знаешь за что ту боярыню, как ты ее называешь, в монастырь направили?

— Как не знать, то мне доподлинно известно. Стрельцы проговорились как-то, а потом и в Москве, когда возвратился, узнал все, — неожиданно легко разоткровенничался тот. — За нестойкость в вере постригли ее и в монастырь на вечное жительство отправили. Захотела она католическую веру принять, чтоб с женихом своим, который точно поляком оказался, под венец пойти и жить по ихней вере. Родители отговорить пытались, а она ни в какую. Тогда и постригли. Так-то вот... — закончил он свой нехитрый рассказ.

«Кого-то за нестойкость в вере ссылают, а меня вот как раз наоборот — за стойкость к вере отцов и дедов в Сибирь направили», — грустно подумал Аввакум, но вслух ничего не сказал, а принялся смотреть вдаль, где далеко впереди маячил верховой казак, давно их перегнавший и отмахивающий легкой рысью версту за верстой.

Изредка они проезжали мимо стоящих на речном берегу каких-то строений, больше похожих на землянки рыбаков, которые Аввакуму приходилось видеть на волжских берегах, куда добытчики наведывались в летнее время во время ловли рыбы. Зимой они пустовали, но эти, сибирские, похоже, были вполне обитаемы, поскольку из крыш там и сям поднимались клубы дыма, а возле них мелькали время от времени приземистые силуэты людей. Климентий на его недоуменный вопрос коротко бросил:

— Юрты татарские...

— И как они в них живут? — недоверчиво спросил протопоп, не веря, что в этих ветхих строениях можно спастись от холода.

— Так и живут, — пожал плечами возница. — Насмотришься еще и не такого. Ближе к Тобольску остяцкие чумы увидишь. Живут, и ничего им не делается.

— А крещены ли они, или все, как один, идолопоклонники?

— По-разному. Мне то неизвестно. Говорят, что и крещенные встречаются. Видел в городе, как они в храм ходят. Но немногие. Ты об этом лучше у местных кого поинтересуйся, они и обскажут.

Аввакум внимательно вглядывался в синеватую кромку леса, медленно проплывавшую слева от них, и таким необозримым, неизмеримо огромным казались ему сибирские просторы, что сердце заходило от величины их. А еще тяжелей давила на душу неизвестность, в которую он погружался все глубже и глубже с каждой верстой, отделявшей его от некогда родной и уютной Москвы, оставшейся ныне в ином, не доступном ему, мире.

\* \* \*

Ехали без остановок весь день. Ближе к вечеру мороз стал более ощутим и изрядно донимал, пробираясь и в теплые сапоги и козловые рукавицы. Аввакум несколько раз хлопнул в ладоши, пытаясь разогнать стылую кровь, но не помогло. Тогда он стянул с рук рукавицы и принялся жарко дышать на ладони, поднеся их вплотную ко рту. Пальцы чуть согрелись, и он тут же засунул руки за пазуху, чтоб не дать им остыть в промерзших рукавицах.

«Как же тут люди живут в такую стужу? — опять подумалось ему. — Страшно и на улицу выйти. Но ведь живут же...»

А мороз донимал все больше. И если руки удалось слегка согреть, то ноги онемели до такой степени, что пальцев на них он совсем не чувствовал. Глянул на Климентия, которого мороз, казалось бы, совсем не брал, и тот, стоя на коленях, уверенно правил лошадьми. Но, чуть пригнувшись, Аввакум уловил исходящий от него крепкий сивушный запах и догадался, что тот незаметно успел хлебнуть винца, чем и объяснялась его стойкость к морозу.

Впереди них ехал верхом казак, имя которого почему-то не держалось в памяти Аввакума, хотя и переспрашивал того несколько раз, но мозг его отторгал казачье прозвание, и он про себя называл его просто — «казак», вкладывая в это слово извечное призрение русского крестьянства к вольным станичникам. Спина всадника сплошь покрылась инеем, словно кто вывалял его в ближайшем сугробе, прежде чем посадить на лошадь. В легкой изморози была и сама лошадь, испускавшая с каждым шагом из ноздрей клубы пара, который, чуть отлетев, оседал на лошадиной гриве, боках, застывал сосульками на

удилах. Казак, видимо, дремал, а то и спал на ходу, поскольку широко раскачивался в такт лошадиному шагу и все ниже клонился к луке седла, норовя удариться об нее головой. Но в нужный момент, когда казалось — еще чуть, и всадник рухнет на землю, он вдруг выпрямлялся, встряхивал головой, оглядывался назад, стрельнув зрачками через щель башлыка, успокаивался, что все на месте и он едет правильно, и снова погружался в дрему, начиная клониться к седлу, одолеваемый зимней стужей и дорожной усталостью.

Чтоб хоть как-то согреться, Аввакум на ходу выпрыгнул из саней и сделал по снегу несколько неуверенных шагов. Климентий с обычной подозрительностью оглянулся в его сторону, что-то проворчал себе под нос, поминая недобрым словом непоседливого спутника, и назло ему подстегнул лошадей, чтоб тому тяжелее было нагонять сани. Пробежав несколько шагов, Аввакум уже не рад был, что решился на это, поскольку одеревеневшие ноги отзывались тысячами игл, которые, словно назойливые насекомые, впились в тело и не давали сделать и шага, парализуя конечности. Аввакум от боли прикусил нижнюю губу, пытаясь сдержать крик, и перешел с бега на шаг, ожидания, когда тело вновь станет послушным, обретя былую форму.

Где-то рядом звонко треснуло разломленное морозной стужей воглое дерево, играючи разорванное морозом напополам. Но этот звук лишь подхлестнул его, боль ушла куда-то, и, вдыхая полной грудью стылый воздух, он вскоре перешел на бег и, сделав рывок, вскоре нагнал сани и тяжело плюхнулся в них, блаженно завалился на спину и усталился в начинающее темнеть безоблачное небо.

— Ого! — услышал он над собой голос Климения. — Нос-то побелел совсем! И щеки белехоньки. Отморозил на бегу, оттирай скорее снегом, а то потом хуже будет, коль так оставить.

Аввакум торопливо скинул рукавицу и провел пальцами по лицу, убедившись, что возница не шутит, поскольку ни щеки, ни нос не ощущали прикосновения, а сделались твердыми.

«Вот и погрелся, неладная погнала, — обругал он себя, — и так нехорошо и этак плохо! Надо было топленным жиром лицо натереть, как здесь, в Сибири, местные жители делают... Впредь наука мне будет».

Он знал этот старый способ предохранения лица от холода, но во время поста решил не прибегать к помощи жира, надеясь, что

обойдется и без него. Сейчас же он захватил рукой горсть снега и принялся растирать нос и щеки, которые тут же дали о себе знать неприятным пощипыванием, а через какое-то время сделались невыносимо горячими и влажными от растаявшего снега. Настроение его окончательно испортилось, стало вновь одиноко и тоскливо. Он привычно нащупал четки, и лишь прочтя положенный круг дневных молитв, почувствовал в душе некую успокоенность и прилив сил. Сказалась и кратковременная пробежка, после которой он согрелся и уже не так ощущал злобное пощипывание морозного воздуха.

Уже в темноте въехали в небольшую русскую деревеньку, состоящую всего из двух изб, где и заночевали. Аввакум даже не запомнил лиц хозяев, которые при свете лучины провели его в темный угол и уложили на прелую, дурно пахнущую овчину. Начав читать молитву, он тут же, словно в пропасть, провалился в глубокий сон. В себя он пришел уже в саях не особо представляя, как добрался до них. Вытащил из походной сумы припасенный на такой случай сухарик и принялся жевать его, прислушиваясь к скрипу полозьев и настойчивому понуканию Климентием лошадей.

— К вечеру должны в Тобольске быть, коль ничего по дороге не приключится, — подал тот наконец голос. Видимо, и его тяготило окружающее безмолвие и тишина.

— Господь милостив, глядишь, и доедем. Молиться буду непрестанно, а ты уж за дорогой смотри, не сверни куда ни следует.

— Тут и поворачивать некуда, — весело махнул тот рукой, — по руслу Тобола едем, и он нас до самого города и доставит прямехонько.

\* \* \*

— Каков он, Тобольск? — негромко спросил Аввакум, хотя и без того уже представлял себе, что это за таинственный город.

Еще в детстве ему приходилось слышать множество рассказов от разных людей о Сибири и главном ее городе — Тобольске. Знал он, что проживают в нем наряду со служивыми людьми ссыльные, попавшие туда за буйный нрав и дурное поведение. На родине Аввакума о Сибири шла недобрая слава, пугали ей малых детей и молодых варнаков, любителей поживиться чужим добром. Трое или четверо мужиков из его прихода угодили в эти края за грабеж на большой дороге и словно сгинули. Не было больше о них ни слуху ни духу.

Аввакум зябло повел плечами не столько от холода, а представив себе, что и он с семьей окажется среди первейших воров и убийц, осевших в этих краях.

— Во многих городах мне приходилось бывать, но другого такого не видел, — отозвался Климентий, тем самым прервав его тягостные размышления. — Он и обличьем на другие не похож, и люди в нем непростые живут. Помяни, батюшка, мое слово, натерпишься еще от них.

— Что же это за народ такой? Сам же говорил, вроде как крещеные там живут по большей части, не звери какие...

— Э-э-э, не скажи. Он, может, крест-то с шеи и не снимает, да только и черные думы из головы не гонит. Сам, поди, слышал, что добрые люди туда по своей воле не едут, а все больше такие, которым терять нечего. Воры, убийцы, смутьяны. Видел когда-нибудь, как два таракана, в чугунок попавши, себя ведут? — с усмешкой обернулся он к Аввакуму, смахивая с бороды выросшую на ней от жаркого дыхания сосульку. — Знаю, видел, можешь и не отвечать. Мы мальчишками, бывало, наловим их поболее, в чугунок побросаем, а потом смеемся, глядячи, как они друг с дружкой воюют. Вот потеха-то! Один на другого набрасывается и норовит ущипнуть побольнее. И никакого мира меж ними никогда не наступит, поскольку каждый привык жить сам по себе. А знаешь, отчего это идет? Да потому что главного среди них нет, кто бы к порядку их призвать мог. Другое дело — муравьи или пчелы. У муравьев царица правит, а у пчел — матка за всем следит. Вот и заняты все своим делом, ни до драк, ни до раздоров. А в Сибири каждый человек сам по себе и меж собой их совет никак не берет...

— А как же царь? — не дал договорить ему до конца Аввакум. — Он наместник Бога на земле, а Сибирь вся от края до края ему подвластна. Почему же порядка должного в ней нет, как в других русских городах?

— В том-то и оно, что Сибирь — это тебе не Россия! — самодовольно усмехнулся Климентий, словно открыл спутнику некую запретную тайну. — И вряд ли когда ею станет. Точно тебе говорю. Ничего, сам поймешь со временем, когда хлебнешь лиха, сколько тебе Господь отпустит.

— Да вроде как уже хлебнул, — ответил, не задумываясь, Аввакум. — Только все одно не пойму, почему ты Сибирь от иных российских мест отличаешь?



На этот раз возница ответил не сразу, а долго и сосредоточенно счищал с бороды и усов целую гроздь мелких сосуллек. Потом он чуть подхлестнул лошадей, которые и без того шли ходко, словно чувствовали приближающийся конец пути, где они наконец-то смогут передохнуть, и лишь потом, указав кнутовищем на запряженную пару, спросил:

— Видишь, как они меня уважают и слушаются? А все почему? Знают, что иначе кнут по их бокам погуляет изрядно. А брось я вожжи да завались спать, что будет? Вот-вот, ничего и не будет. Встанут сразу же. А если распрячь их, то и разойдутся в разные стороны. И человек так же устроен, мало чем от скотины отличается: дай ему волю — и сразу забудет и про власть, и про долг свой перед Богом. Вы вот, попы, зачем над людьми поставлены? За тем же самым — направлять народ на путь праведный. А в Сибири вашего брата раз, два и обчелся. Ни в каждом селе найдешь...

Он еще долго разъяснял Аввакуму, как, по его разумению, устроен мир и кто над кем поставлен. Но тому вдруг сделалось скучно слушать назидательные речи возницы, из которых выходило, что лучше него никто и не знает, как навести порядок на Русской земле.

«Вот так у нас всегда, — горько подумал Аввакум, не переставая перебирать четки, и при этом в мозгу его ярко вспыхивали слова молитв, но это не мешало ему думать о чем-то постороннем, — каждый конюх или там казак, все знают, как жить правильно. А на деле как раз наоборот. Советовать любой горазд, но выполнять эти советы не он, а кто-то иной должен. И все-то у нас кругом не правы и виноваты, но только не ты сам».

«А разве ты сам не таков? — услышал он чей-то немой вопрос внутри себя. — В이니шь того же Никона, а себя правым считаешь?»

«Нет, тут совсем иное дело, — ответил он сам себе. — В вопросах веры все равны перед Богом. Или Бог живет в твоей душе, или Его совсем нет, в какие бы одежды ты ни обряжался и какой бы важный пост ни занял. А Никон, морда мордовская, лис двуликий, прохиндей этакий, — по привычке в который раз ругнул он патриарха, — не о вере думает, а о своей корысти и как бы ему еще повыше взобраться. Ишь, размышчался о престоле константинопольском! Думает все-ленским патриархом заделаться! Царя подбивает, чтоб тот войну туркам объявил, народы православные освободил, а он, Никон, через то потом в Константинополь и въедет. Превыше всех во всем мире

норовит сделаться. И царь ему в том потачку сделал, разрешил все дела церковные без его догляда вершить. Только ты пойди разведи, где дело церковное, а где государственное. Не получится! Мигом спутаешься, как такой правож устроишь. Нет, добром это рано или поздно не кончится. Не мной сказано: тот, кто другим роет яму, сам в нее непременно и угодит...»

\* \* \*

Размышления его были прерваны поджидавшим их на обочине казаком, который сокрушенно заявил:

— Конь мой подкову потерял, хромает, дальше идти не может.

— Эх ты, образина этакая, — в сердцах выругался Климентий, сплюнув на снег. — Кто же тебе мешал накануне подковы проверить? Или впервой в дороге? Где я тебе теперь кузнеца возьму? Без ножа зарезал!

— Да вроде не так давно перековывал его, перед самым выездом с Москвы, — оправдывался тот, — все как надо было...

— Было да сплыло и тебя сверху накрыло, — зло передразнил его Климентий. — Чего теперь с конем твоим делать, ума не приложу. В сани тебя посадить, а его следом на поводу вести?

— Как же он хромой пойдет? — возразил казак. — И ему тяжело, скоро из сил выбьется и вам в тягость.

— И что с вами обоими делать? — зло спросил Климентий. — Ждать тебя, когда кузню найдешь? Это сколько времени уйдет. Нет, ты уж сам выкручивайся как можешь, а я без тебя дальше поеду, тут совсем чуть осталось.

— Пешим пойду, а его за собой вести буду, — предложил удрученно казак. — Авось в какой деревне и найдем кузнеца.

— Тебе дай волю, то и сам сгинешь и коня потеряешь. Ладно, полезай в сани да коня держи за повод крепко. До первой деревни подвезу и оставляю. Эх, судьба моя несчастная! С вами этак и к Рождеству до Тобольска не доберемся. Садись уж...

— Хорошо, хорошо, будь по-твоему, — покорно согласился казак и мигом плюхнулся в сани, держа одной рукой повод своего коня.

Ехать пришлось в два раза медленнее, чем до этого, потому как хромающий казачий конь едва поспевал за санями. На самого казака было жалко смотреть: он сидел понурившись и лишь иногда словами подбадривал бедное животное, что тащилось следом, испуганно та-

раща огромные карие глаза, понимая, что оставаться одному в этом снежном безмолвии смерти подобно.

«Вот и в нашем государстве все точно так же, — вернулся Аввакум в мыслях к давно мучающему его вопросу, — кто-то впереди всех бежит, а кто-то вот так же следом, прихрамывая, едва тащится. Никон разогнался изо всей мочи на константинопольский престол, бежит глаза вытараща. Решил в три прыжка до него допрыгнуть, а все другие пусть хоть сдохнут или за ним следом бегут. Разве так можно? Этак и полстраны растеряешь, пока бежишь, иначе не получится».

«А ты разве не бросил свою семью, чтоб самому беспрепятственно ехать дальше?» — вновь услышал он вопрос, заданный невидимым собеседником.

«Нет, не так, — спокойно стал оправдывать свой поступок Аввакум, — им нужно отдохнуть, в себя прийти, отдышаться. А меня вынудили ехать в этот проклятый Тобольск, будь он трижды неладен. Моя бы воля, то был бы сейчас рядом с женой, с детьми, а потом уже двинулись дальше».

И в том винил он себя, что не оставил жену с детьми в Москве, где добрые люди не дали бы им помереть с голода. Но и жить отдельно от них, родных и самых близких, без назидательных и сочувственных высказываний Анастасии Марковны, без вечерних бесед-размышлений, когда он с жаром рассказывал ей о том, что приключилось с ним прошедшим днем.

Не мог он обойтись и без детской суеты возле него, вопросительных взглядов сыновей, мечтающих летом отправиться с отцом на речку, а зимой с визгом и криками прокатиться с ледяной горы, соорудить на Масленую неделю крепость, поставить у крыльца снежную бабу с носом-морковкой и угольками вместо глаз, с воткнутой рядом метлой и проломанной корчагой на макушке. Когда-то и у него в детстве были подобные радости в жизни, которые, словно огонек неугасимой лампадки, грели и поддерживали уже в зрелые годы, так почему же он должен лишать себя общения с собственными детьми, которым, как он подозревал, придется пережить еще много чего недоброго и тяжкого.

«Говори, говори, — иронично отозвался тот же голос, — без семьи легче и проще свои дела вершить. И Никон не только о себе помнит, но наверняка и обо всем народе. Кто-то и вперед должен смотреть, думать о дне завтрашнем».

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

«А что о нем думать? Завтрашний день и без нашей воли рано ли поздно ли, а наступит. Веру надо блюсти и не отдавать ее другим на поругание, иначе и до следующего дня не дожить нам...»

— Вон деревенька какая-то виднеется, — услышал он сиплый голос Климентия, указывающего кнутовищем вправо. — Тут мы тебя и оставим, — обратился он к казаку.

— А вдруг у них кузнеца не окажется, тогда как? — спросил он, выказывая тем полную свою беспомощность.

— Пусть в другую деревню за кузнецом пошлют. Быть такого не может, чтоб во всей округе да кузнеца не сыскалось. Башкой думать надо, а не... — И он вставил словечко, от которого Аввакум невольно поморщился, но в душе согласился с возницею, полагая, что казак действительно ведет себя, как ребенок, который во всем привык полагаться на взрослых.

Климентий попридержал коней, дав возможность казаку спрыгнуть, и тут же, едва тот сошел, подстегнул их и громко присвистнул, давая им понять, что неспешная езда закончилась. Казак так и остался стоять у края санного следа, смотря им вслед, словно надеялся, что сейчас сани остановятся, подберут его, и они вместе отправятся на поиски кузнеца, а потом опять же вместе поедут дальше. Но Климентий даже не оглянулся в его сторону, а что-то сердито бормоча себе в бороду, крутил кнутом над головой, гоня коней все дальше и дальше.

— Думаешь, догонит нас? — поинтересовался Аввакум.

— А кто его знает. Захочет — догонит, а нет, то его дело. Казак — птица вольная, летает, где пожелает, пока с коня не сшибут, — беспечно ответил он. — Ты лучше, батюшка, скажи, день нынче какой, а то со счета уже сбился. Знаю, что Рождество скоро, а какие дни до него, и не припомню.

— Нынче день преподобного Нила Столпника, а еще Никона Сухого Печерского, мучеников Миракса, Акепсия и Аифаила, — без запинки ответил Аввакум. — Да, кажется, еще и Луки Столпника, — чуть подумав, добавил он.

У Климентия аж рот от удивления открылся, и облачко пара, выдохнутое им, поднялось вверх, словно душа отлетела от человека. Через мгновение он пришел в себя и с нескрываемым почтением спросил:

— Что же ты, батюшка, всех святых помнишь, кои до нас на свете жили? Как тебе такое дается? Теперь только и понял, что непростого

человека везу. Помилуй меня, Господи, что несправедлив прежде был, не понимал, с кем дело имею.

— Ладно тебе, — снисходительно отмахнулся Аввакум, но по разлившейся на лице улыбке было понятно, похвала пришлась ему явно по душе. — Каждому свое на роду написано. Ты вот с конями ладно управляешься, вон сколько дорог изъездил, все повидал, а другому кому дано святых угодников в молитвах поминать и служить Господу каждодневно. А когда тебе твое дело по душе, то все легко получается. У меня вот с детства интерес к священнодействию был, святыми людьми интересовался. А потому имена их и дни памяти как бы сами запоминаются, в чем я тоже промысел Божий усматриваю.

Пока он говорил, Климентий не сводил с него почтительного взора и, казалось бы, совсем забыл о лошадях, которые тут же воспользовались этим и перешли с рыси на шаг. Но возница тотчас встрепенулся и слегка подхлестнул их, а потом вновь повернулся к своему седоку и осторожно задал вопрос, который, вероятно, давно мучил его:

— Скажи мне, батюшка, только не подумай, будто спрашиваю ради праздного любопытства. Святые эти, которых ты назвал, они сами свой подвиг избрали? Или им глас какой свыше был?

— Своя воля — это одно. Но все они были призваны к тому Господом нашим Иисусом Христом.

— И что же, Господь завещал? Кому в леса уйти для молитвы, а кому на столбе до конца дней своих стоять?

— Подвиги бывают разные, — пустился Аввакум в туманные рассуждения, поскольку ему не очень-то хотелось заниматься объяснением прописных истин человеку, весьма далекому от христианской учености. Но деваться было некуда, а потому он продолжил: — Все ими свершенное делалось не запросто так, а во имя Господа. А стояние на столбе, то подвиг потяжелее многих будет. Или ты в том сомневаешься? — И Аввакум грозно, словно древний пророк с икон, свел брови на переносье.

— Упаси господь! — Климентий для верности даже несколько раз истово перекрестился. — У кого же мне еще спросить, как не у тебя, батюшка, коль случай такой выпал? Но ты мне вот что скажи, если я завтра на столб какой заберусь и буду там неустанно молиться и спускаться откажусь, то что мне на это другие люди скажут?

Аввакум от души рассмеялся и даже слегка хлопнул пристава по плечу.

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

— И правильно скажут, что не своим делом занялся, — сдерживая рвущийся наружу смех, ответил он, стараясь говорить как можно серьезнее. — Так каждый захочет на столбе жить, а кто же тогда работать станет?

— И вправду, — согласно закивал головой Климентий, — не годится всем такими делами заниматься. Вот и я об этом же, как узнать, кому то позволено, а кому, как мне, к примеру, по всей Руси из края в край мотаться. На роду это мне написано, что ли?

— На роду али как, того не скажу, но коль Господь сподобил тебя этим делом заниматься, то так тому и быть.

— А почему именно это дело выпало? — не унимался любопытный пристав, которого, похоже, все больше занимал разговор.

— Потому как другого не знаешь. Кому-то тоже надобно людей в Сибирь отвозить, — теряя терпение отвечал Аввакум. — Так что неси крест свой...

Климентий некоторое время молчал, собираясь с мыслями, а потом тяжело вздохнул и с сожалением произнес:

— Жаль, не обучен я грамоте, а то бы тоже книги священные читать начал, глядишь, в приказ бы какой на службу взяли, на цареву жалованье. А то вот, в жару ли, в стужу ли, гони куда прикажут. Где только мне бывать ни приходилось за время службы своей. — И он с жаром принялся перечислять города, куда ездил по разным поручениям.

Но Аввакуму показался скучным его рассказ, и он, запахнув поплотнее тулуп, стал разглядывать места, мимо которых они проезжали, пытаясь увидеть что-то необычное, запоминающееся.

\* \* \*

Леса, возвышавшиеся по берегам реки, становились все более густыми и мрачными. Сплошной стеной стоял ельник, который иногда сменялся желто-коричневым сосняком с прямыми, как стрела, стволами и вздернутыми ввысь шапками ветвей. Ближе к берегу чернели непролазные заросли тальника, словно спешили перебраться на другую сторону реки, да так и застыли, испугавшись водной преграды. Русло реки не было прямым, а произвольно извивалось меж берегов, избегая пустой борьбы с толщами песчаных обрывистых напластований, которые издалека казались причудливыми сказочными фигурами зверей.

— Далеко еще до Тобольска будет? — в который раз поинтересовался Аввакум, истомившись долгим ожиданием.

— К вечеру должны доехать, — не оглядываясь, сухо бросил через плечо Климентий, и Аввакум по его тону уловил, что тот обиделся на него за прерванный разговор.

«Ишь ты, курицын сын, — с раздражением подумал он, — больно обидчив. Все-то ему разъясни да Расскажи, а мне это к чему?»

Но чтоб как-то расположить пристава к себе, задал малозначительный вопрос:

— Где остановимся?

— Куда определяют, там и встанем. На архиерейский двор, куда же еще. Завсегда там останавливался. — Климентий обрадовался возможности возобновить беседу и стал подробно пояснять:

— Если мест на архиерейском подворье не найдется, то могут в монастырь подгорный направить. Ничего, не пропадем, Бог даст, найдем, где голову приклонить. Главное, чтоб она, голова, цела была. — И он тихонько хихикнул. — Нам бы до закрытия городских ворот успеть в город попасть, а то пойдут расспросы разные. Тут, в Сибири, с этим делом строгости большие, могут и совсем не пустить.

— А что так?

— Чего? — переспросил Климентий.

— Строгости, говорю, отчего такие?

— Как-никак, а почти что окраина государства нашего. Понятно, что и дальше земли российские тянутся, только степные народы совсем рядом. Так что хошь не хошь, а ухо остро держать надо.

— Чего-то пока мы ехали, никакой степи не видел, — недоверчиво отозвался Аввакум, — одни леса вокруг...

— Твое счастье, что не видал. Не приведи господь в степь ту попасть! И чихнуть не успеешь, как басурманы наскочат и в полон уведут. Сколько дружков моих, что через степь ехали, сгинули навечно.

— Поубивали их, что ли?

— Кто знает, может и жизни лишили, а скорее всего, ясырями сделали. Несколько лет назад встретил одного, что бежал от басурманов, порассказывал ужасов всяческих и клеймо на плече показал, что ему каленым железом выжгли. Так-то... — И он надолго замолчал.

На этот раз уже Аввакума стало тяготить молчание, и теперь уже он стал задавать вознице вопросы, чтоб как-то скоротать время.

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

— Расскажи еще про Тобольск. Каков он будет, — попросил Аввакум, которого все больше и больше начинал занимать город, в котором ему предстояло провести неизвестно сколько времени.

— С иными городами не путаешь, — неопределенно ответил Климентий. — С виду город как город, а есть в нем нечто этакое... — И он замолчал, не найдя нужного слова.

— Чего же в нем такого необыкновенного? — не унимался Аввакум. — Сам же говоришь, что город как город, а чем он от прочих отличается?

— Говорю же, сам узнаешь, как в нем чутко поживешь. Одно могу сказать: непростой этот город — Тобольск. — Он чуть помолчал, а потом радостно вздохнул. — Вроде совсем чуть осталось, за тем вон поворотом должны башни городские показаться, гляди зорче.

Аввакум привстал на колени и напряженно стал вглядываться вдаль, надеясь первым увидеть таинственный Тобольск, о котором столько думал за время дороги. И ощутил, как сердце его гулко забилося, словно перед долгожданным свиданием с давно знакомым человеком, который поможет ему найти ту единственную в жизни дорогу, что он ищет уже столько лет и никак не может выйти на нее, постоянно сворачивая не там, где требуется. Что-то подсказывало ему, что именно отсюда, с Тобольска, начнется его настоящий путь и обретет он нечто такое, о чем ранее не догадывался, и познает истину, ради которой он и явлен на свет. И представился ему сей неведомый город сказочным Граалем, где сокрыта тайна, открываемая лишь таким, как он, Аввакум, избранный Богом для дел великих и неугасаемых в людской памяти.

\* \* \*

И убоился, и сказал: как страшно сие место!

*Быт. 28, 17*

Как и говорил Климентий, едва лишь они миновали последний речной уступ, перед ними открылась безбрежная снежная даль, опоясанная с северной стороны цепью холмов, тянущихся сплошной грядой, лишь изредка перерезаемой глубокими оврагами. На самом краю ближнего к реке холма виднелись, словно парящие в небе, верхушки крепостных башен, а позади них высились купола церквей с крестами на маковках. Аввакум догадался, то была верхняя часть



города, а внизу, у самой реки, что огромной петлей охватывала городские постройки, теснились прочие жилые строения, жались к самому речному берегу и неповторимой россыпью произвольно разбегались вширь, образуя извилистые улочки, переулки и тупики.

Аввакум невольно залюбовался увиденным, хотя после разговора с возницей уже загодя готовился к худшему, ожидая увидеть город-тюрьму, где ему предстояло томиться и ожидать патриаршего прощения. А увидел город-птицу, распростершую свои крылья в излучине реки и готовую взлететь, взмыть ввысь, подняться над грешной многострадальной землей и улететь в неведомые страны, где круглый год цветут дивные сады и поют райские птицы. Ощущение полета создавали и многочисленные дымки, поднимающиеся к небу из печных труб, устремленные в поднебесье и сливающиеся в небесной сини в белесое облачко, осеняющее, словно нимб на иконе лик святого.

«Обличьем как есть райский город, — усмехнулся в бороду Аввакум, смешно топорща белесые от инея усы, — поглядим, каков он изнутри будет».

— Вот он Тобольск, — махнул рукой в сторону холмов Климентий. — Каков?

— Красив, собака, ничего не скажешь, — щурясь, ответил протопоп, пытаясь найти сравнение с открывшейся перед ним картиной. Но не один из городов, где ему приходилось прежде бывать, не шел в сравнение с выросшим, словно из сказки, главным сибирским городом.

И словно по заказу, ударили колокола, зовущие прихожан к вечерне. Тягучий звон наполнил морозный воздух переливчатым многоголосьем, и Аввакум сорвал с головы шапку и, привстав на колени, несколько раз перекрестился, прошептав:

— Слава богу, прибыли...

Подъехав ближе к крайним городскими строениям, они поднялись на пологий берег и медленно двинулись по узкой улочке меж покосившихся домов, большинство из которых не были даже обнесены забором.

— А где же стражники, о которых говорил? — спросил Аввакум возницу. — Никого и не видно.

— То слобода татарская, пока что еще не город даже. Вот как до крепостных ворот доберемся, там они и должны быть.

Действительно, вскоре улица стала шире, и неказистые строения сменились добротными домами под тесовыми крышами с бревенча-

тыми оградами и огромными въездными воротами, напоминавшими крепостные.

Протопоп обратил внимание на толщину налитых живительным смоляным соком бревен, из которых были срублены жилые дома, некоторые из них очень походили на крепость, а небольшие узкие оконца и вовсе довершали это впечатление. Но меж новыми свежесрубленными домами там и сям красовались остовы обугленных срубов, что говорило о недавнем пожаре, после которого и были поставлены новые дома.

Климентий словно прочел его мысли и указал кнутовищем на выступавшие из-под сугроба головни:

— Говорили мне, что прошлым летом большой пожар тут бушевал, почитай, полгорода изничтожил.

— Быстро же они заново отстроились, — полуутвердительно произнес Аввакум.

— А им чего, лесу вона сколько. Бери да строй.

— Легко сказать, а сам, поди, не пробовал взяться да и дом выстроить?

— Бог миловал, — отозвался Климентий, резко поворачивая в сторону от выскочивших с соседней улицы двух верховых. Те даже не взглянули на сани и резво проскакали в сторону реки. — Чтоб вас нечистый забрал! — выругался он. — Куда их черти на ночь глядя понесли? — неприязненно глянул вслед верховым.

— Видать, по делу какому, — предположил Аввакум, продолжая внимательно разглядывать городские улицы.

В глаза, прежде всего, бросалась какая-то недоделанность и спешка в строительстве, которая так и сквозила во всем. У большинства из вновь возведенных домов крыши до конца не были закрыты, и огромные проплешины остались в спешке прикрытыми рогожей, а кое-где и вовсе лежали куски дерна. Воротные столбы стояли как попало, будто ставили их пьяные хозяева, ненадолго вышедшие из-за праздничного стола и мечтавшие поскорее вернуться к нему обратно. К тому же и сами дома стояли не в ряд, а как попало, образуя замысловатые уступы и впадины, отчего и вся улица казалась нетрезвой и слегка подгулявшей. Прямо перед домами лежали кучи бревен, мешавшие проезду, отчего Климентию приходилось направлять сани то в одну, то в другую сторону, объезжая их, что он неизменно сопровождал недовольным ворчаньем.

У Аввакума сложилось впечатление отсутствия твердой хозяйской руки и единодушия между соседями, которые жили, судя по всему, особняком, каждый сам по себе, не заботясь один о другом. Вспомнились слова Климентия о тараканах в чугунке, где ни один не желает уступать другому. Все это усугублялось наличием огромных сугробов, меж которыми хозяева проложили узкие проходы в свои жилища, отбрасывая снег прямо на проезжую часть.

Приглядевшись, Аввакум обнаружил полное отсутствие вблизи человеческого жилья каких-либо строений для содержания скотины; не слышалось привычного для русского уха мычания коров или блеяния овец, и лишь изредка, будто по команде, то здесь, то там из-за ворот раздавался злобный лай одинокой, словно чего-то опасавшейся, собаки, тогда как в любом ином селении они бы без умолка тявкали на приезжих, давая знать о своей круглосуточной «службе».

Казалось, сибирские поселенцы пришли сюда ненадолго и их заботило лишь одно: как бы прожить сегодняшний день, а там видно будет. На всем лежала печать временности и неустроенности, как это бывает у постоянно переезжающих с одного на другое место людей, которые никак не могут определиться и выбрать себе постоянное жизненное пристанище.

Удивило его и то, что им не встретился ни один прохожий, хотя темнеть еще только начало. Лишь изредка в том или другом доме открывалась со скрипом дверь, и чья-то кудлатая голова высовывалась наружу, но, увидев, что едут не к ним, вновь скрывалась внутри. Так они и ехали по безмолвному, больше похожему на призрак городу, где если и теплилась жизнь, то таилась она вдалеке от посторонних глаз и обитатели его не желали иметь ничего общего с вновь прибывшими путниками.

Когда же они подъехали к городским воротам, ведущим в верхнюю часть города, то там перед разожженным костром стояло несколько вооруженных стрельцов, которые недружелюбно глянули на них, а один шагнул к саням и схватил крайнюю к нему лошадь под уздцы.

— Кто такие? — грубо спросил он.

Остальные же подошли поближе и принялись бесцеремонно разглядывать возницу и протопопа.

— Патриарший служитель, — степенно пояснил Климентий и полез в дорожную суму, чтоб достать сопроводительную бумагу.

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

— Того самого, что велел кукишем креститься? — с издевкой поинтересовался один из молодых стрельцов.

— Вот-вот, правильно! — тут же поддержал его Аввакум. — Именно кукишем креститься собака Никон приказал, лучше и не скажешь.

— Эй, Мирон, ты язык-то попридержи, — зло произнес стрелец, взявший лошадь под уздцы. Он явно был главным над остальными караульными.

— А чего мне бояться?! — дерзко отозвался молодой говорливый стрелец, сверкнув крепкими белыми зубами. — Бойся, не бойся, а правду говори. Так меня отец мой учил.

— Ладно, угомонись, — оборвал его старший. — Давай бумагу. — И взял из рук Климентия свиток с привешенной к нему патриаршей печатью. — Тут сказано, что с семьей протопоп едет. Где она, семья-то? — спросил он, быстро пробежав глазами по тексту.

— Остались передохнуть, не доезжая до Тюмени, — со вздохом отвечал Климентий, полагая, что сейчас он наверняка получит от начальника караула, что называется, на орехи. Так оно и вышло.

Стрелец подошел к нему вплотную и с расстановкой произнес:

— Куда же ты, морда татарская, смотрел?! Да с тебя башку снять мало, что вверенных тебе посыльных растерял! Вот сейчас велю вспахать тебе плетей по первое число, будешь знать.

От этих слов возница съежился, втянул голову в плечи и жалобно запричитал:

— Господин стрелец, пощади! Хворые они были, и если я бы не разрешил им остаться, то померли бы по дороге. Как есть померли бы...

— То не твое дело. Все в руках Господних. Ты за головы отвечаешь, а не за то, живы они али нет. Как же пускать тебя, когда всех ссыльных не довез? Так, ребята, говорю? — обратился он к остальным караульным.

— Верно, Кондратий, говоришь, — поддержали они его, но по улыбкам, что блуждали на их лицах, Аввакум понял, дело обстоит совсем не так, как подавал его начальник караула.

Понял это и Климентий и тут же засуетился, сунул руку в дорожную суму и извлек оттуда серебряную полтину, которую с поклоном протянул старшему караульному со словами:

— Вот, прими от меня малую мзду за провинность мою. Только пропусти, Христа ради, а уж со своим начальством сам как-нибудь договорюсь.

— То меня не касается, — отмахнулся стрелец, принимая полтину и засовывая ее за пазуху, — поезжай и помни, тут Сибирь, и порядки у нас строгие, не в пример лапотной России. В следующий раз, коль попадешься, точно прикажу выпороть.

Климентий благодарно поклонился ему и подхлестнул лошадей. Чуть отъехав, он повернул голову назад и, сплюнув на снег, грязно выругался, а потом добавил:

— Вот, батюшка, и познакомился с нынешними порядками. Каково? И это только начало, а дальше еще чище будет.

— Отчего же так? — в недоумении спросил его протопоп. — Откуда такие строгости?

— А здесь все так: кто старше по чину, тот и прав. И спорить с ним не смей. Вот сам посуди: какое их дело — кого и сколько везу? Мне за то перед своим начальством ответ держать. Так нет, дай ему только повод, чтоб деньгу с меня получить, а там хоть трава не расти.

— Травы пока особо и не видно, — рассмеялся протопоп, — моя бы воля, сказал бы я им все, что думаю.

— Избави бог, — отмахнулся от него Климентий, — только бы хуже себе сделал. Отправят на съезжую, продержат, хорошо, если ночь, а то и больше, пока разберутся. Нет, лучше уж заплатить, чтоб отвязались. Нигде таких порядков не встречал, сколько по Руси-матушке езжу. Только здесь, в Сибири, этак себя ведут. Страна дикая и народ под стать ей живет, натерпишься с ними уже.

— Там видно будет, — отвечал протопоп, в котором, наоборот, пробудились непонятная веселость и прилив сил. — Мне на моем веку пришлось всякое повидать, авось и здесь слажу с народом.

— Твои слова да Богу в уши, — только и ответил Климентий, настроенный более мрачно...

Меж тем они начали взбираться на высокую гору по узкой, накатанной сотнями других саней дороге, которая вела в верхний город, где и располагались палаты сибирского владыки Симеона. На середине подъема уставшие лошади, тяжело дыша, встали, и Климентий тут же спрыгнул с саней и подхватил одну под уздцы.

\* \* \*

Аввакум же, не желая покидать нагретое место, задрал голову кверху и с любопытством разглядывал видневшиеся в вечерних сумерках силуэты крепостных башен, опоясавших обрыв холма,

соединенных меж собой бревенчатыми стенами. Шпили на башнях, увенчанные коваными двуглавыми орлами, казалось, подпирали небесный свод, не давая ему опуститься на грешную землю. Все это говорило о том, что люди, укрывшиеся за их толстыми стенами, постоянно находятся настороже, готовые к любым неожиданностям.

В то же время Аввакуму было совершенно непонятно, против какого грозного неприятеля воздвигнуты башни и крепостные стены, поскольку до сих пор они ехали по вполне мирной земле и ни разу не встретили даже малейшей угрозы своей жизни. Лишь недавнее столкновение с прилипчивыми стражниками у въездных ворот говорило о том, что не все спокойно в этих краях. Но именно сейчас Аввакум ощутил внезапную тревогу при виде этих мощных сооружений, способных выдержать долгую осаду в случае нападения. Он понимал, что не станут просто так возводить столь мощную крепость, не имея на то особых причин. И еще он почувствовал, что попал в не известную ему страну, где люди живут по иным законам, о которых он совсем ничего не знает, а значит, первое время придется лишь приглядываться к своим прихожанам и привыкать к новой обстановке.

Наконец Климентий, дав отдохнуть лошадям, не стал садиться в сани, а пошел рядом, держась одной рукой за оглоблю. Как только подъем закончился, они повернули направо в сторону огромного многоглавого собора, огороженного высоким забором, и вскоре оказались перед закрытыми наглухо воротами, створки которых были скреплены широкими железными полосами. Остановившись, Климентий подошел к воротам вплотную и принялся что есть силы стучать в них кулаком. Но попытка его не увенчалась успехом, и лишь эхо гулко отдавалось где-то далеко в стороне, возвращая через какое-то время звуки обратно.

— Спят они, что ли... — в раздражении проговорил Климентий, и тут же послышался скрип по снегу чьих-то шагов, и сердитый голос спросил:

— Чего ломитесь? Кто такие?

— Патриарха посланец, — постарался ответить как можно более весомо и громче Климентий. — Протопопа нового к вам на жительство привез.

— Какого еще протопопа? — с сомнением спросили с другой стороны ворот. — Никого не ждем, а потому приказа пускать не было.

Завтра пожалуйста, когда его высокопреосвященство принимать будет. А сейчас шуметь не надо, а то...

Последних слов Аввакум не разобрал, но понял, что на архиерейский двор их пускать никто не собирается, и подобная перспектива его совершенно не устраивала.

— Доложи владыке, мил-человек, что протопоп Аввакум, земляк его, на поселение прибыл.

— А мне все равно, кто прибыл, пусть хоть сам патриарх пожалует, не пустим без приказа, — дерзко отвечал невидимый охранник.

— Да знаешь ли ты, что с тобой владыка сделает, когда я ему пожалуюсь?! — властно крикнул Аввакум, а в ответ услышал лишь громкий смех.

— Пужай, пужай, видали мы таких обещальщиков. Лучше подумай, что будет, если я владыке на тебя пожалуюсь. Ишь, храбрец каков выискался! Да кто тебя до владыки допустит?!

Неизвестно, сколько бы продолжалась такая перепалка через закрытые ворота, если бы с той стороны не послышался чей-то иной, властный и зычный, голос, который мигом осадил караульного, потом одна створка ворот чуть приоткрылась, и в проеме ее показался одетый в дорожную шубу невысокого роста человек с небольшой рыжеватой бородкой, который деловито поинтересовался:

— Чего надобно? Зачем шум в поздний час подняли?

Климентий тут же сорвал шапку со своей головы, низко поклонился и жалобно затараторил:

— С самой Москвы приехали, сколько ден как в дороге, а нас пущать внутрь изверг этот не желает.

— И правильно делает, — ответил рыжебородый, переводя пытливый взгляд небольших глаз с прищуром с возницы на Аввакума. — На службу к нам? — вполне дружелюбно поинтересовался он.

— Выходит, что так, — отвечал Аввакум, не спеша сообщать об истинной причине своего появления в Сибири.

— И кто будете? — продолжал испытывать начальственным тоном рыжебородый, который, судя по всему, занимал немалый чин при сибирском архиепископе, коль вел себя столь высокомерно.

Аввакум назвал себя и увидел, как тот слегка переменился в лице и с интересом спросил:

— Неужто тот самый Аввакум? Слышал, что к нам направили, но не ждал, что так скоро пожалуете.

— Как же, скоро! Почитай, еще сразу после Успения выехали. Думал, не доедем уже... Но Господь сподобил, прибыли вот.

Наступила неловкая пауза, во время которой архиерейский служитель продолжал внимательно разглядывать Аввакума, как некую диловинку, а тот в свою очередь думал, как бы повести разговор, чтоб поскорее им отвели место под ночлег и можно было хоть на какое-то время остаться одному, спокойно помолиться и отдохнуть. Только сейчас он понял, насколько устал, и держится уже из последних сил, мечтая лишь о теплой избе и куске хлеба, тем более что с утра у него и маковой росинки во рту не было.

Чтоб как-то прервать молчание, он спросил, полагая, что рано или поздно им все равно придется знакомиться:

— Сами кто будете?

— Дьяк архиерейский Иван Струна, — ответил тот со значением, и по его мягкому выговору Аввакум догадался, что он выходец с Малороссии, из черкасов, которые, как он слышал, охотно ехали на службу в Сибирь, где можно было в короткий срок обогатиться, если поставить перед собой такую цель. — На мне как раз лежит обязанность размещать вновь прибывших служителей. Так что видеться придется часто. Но сейчас ничем утешить не могу, поскольку здесь, в архиерейских покоях... — Он неопределенно махнул рукой в сторону видневшихся через проем в воротах строений. — Владыка запретил принимать кого бы то ни было. Потому придется вам отправиться в Знаменский монастырь...

— Это обратно, что ли, ехать?! — с возмущением перебил его Климентий, которому совсем не улыбалось вновь гнать лошадей под гору мимо караульных, которые могут вновь заартачиться и потребовать новой платы за проезд.

— Именно обратно и поедете, — с издевкой, как показалось Аввакуму, усмехнулся тот. — Я бы на вашем месте поспешил, а то в монастырь не попадете, ворота до утра закроют.

— Как же так, — не сдавался Климентий, — когда в последний раз приезжал, то ночевать меня здесь, на архиерейском подворье, оставили. Почему же сейчас-то нельзя вдруг стало?

— Когда же ты, мил-человек, был здесь в последний раз? — все с той же недоброй усмешкой спросил его Иван Струна.

— Три или четыре года назад тоже зимой сюда, в Тобольск, патриаршую грамоту доставлял, — не ожидая подвоха, ответил Климентий.



— Эка вспомнил! С той поры большие перемены у нас сделались, много чего поменялось. Уже третий год как сибирской епархией архиепископ Симеон управляет. Он и приказал на подворье своем никого из посторонних не принимать, чтоб порядка больше было. Так что пожалуйте в монастырь...

— Будьте вы неладны с вашими порядками, — зло бросил Климентий, разворачивая лошадей, поняв, что договориться с дьяком нет никакой возможности. — Поехали, а то и впрямь останемся как хохол в степи, — бросил он Аввакуму.

— Подожди немного, — ответил тот и шагнул к Ивану Струне, произнеся доверительно: — А не мог бы ты, человек хороший, извини, не расслышал, как тебя звать-величать, доложить владыке Симеону, что протопоп Аввакум прибыл, земляк его. Мы с владыкой давнее знакомство имеем. Неужто не примет он меня?

Дьяк, который доходил протопопу едва до плеча, смерил его с ног до головы выразительным взглядом, как бы давая понять, что он здесь главный и от его решения все зависит, а затем негромко ответил:

— Никак невозможно. Владыка у себя в покоях вечерней молитвой занят, а потому никто его тревожить не смеет. Да и мало ли кто земляком его назваться захочет. Езжайте подобиру-поздорову, некогда мне с вами речи говорить... — И, повернувшись, хотел уже уйти, но протопоп удержал его за рукав и чуть развернул к себе.

— Не договорили мы еще, человек хороший, — сказал он негромко, — не дослушал ты меня и ходу дать хочешь. Нехорошо!

Дьяк вырвал свою руку и отскочил в сторону поближе к воротам, заподозрив, что Аввакум задумал что-то недоброе.

— Да как ты смеешь! — зло выкрикнул он. — Знаешь ли, что твоя судьба в моих руках?! Да я тебя на цепь посажу за своеволие такое, и никто мне в этом помешать не сможет. Ишь ты каков!

— Ты мне не грози, люди покруче тебя грозили, да толку что, — с вызовом отвечал Аввакум. — Знаешь ли ты, что меня сюда по распоряжению самого царя-батюшки направили?! Я у него в покоях запросто бывал, и он не кочевряжился, как ты, а принимал меня по первой же моей просьбе. А ты от горшка на два вершка вырос — и нос воротишь. Поглядим еще, кто кого на цепь посадит! Поглядим! Только ты мне одно скажи, если пожар случится или иное что, то и тогда владыку беспокоить не станешь? Ты мне Лазаря не пой, знаем мы таких умников, что корчат из себя шишку на ровном месте. И запомни

на будущее: протопоп Аввакум не привык, чтоб с ним таким тоном говорили прыщи вот такие.

В довершение всего он плюнул прямо под ноги дьяку, опешившему от подобного обращения, и плюхнулся в сани, приказав вознице:

— Погоняй! — Словно не в ссылку привезли его, а на торжественную службу, где его поджидали толпы народа.

Иван Струна, когда сани отъехали, наконец пришел в себя и с удивлением покрутил головой, произнес ни к кому не обращаясь:

— Ладно, батюшка Аввакум, поглядим, чья возьмет. Тут тебе не Москва и до царя далече, не добежишь за один присест. Вспомнишь еще разговор этот. А уж я о нем точно не забуду. — И степенно пошел в сторону архиерейских покоев, зло зыркнув на ходу в сторону молча стоящего охранника, открывшего рот от удивления, поскольку ему еще не приходилось слышать, чтоб с всесильным дьяком кто-то смел разговаривать подобным образом.

Несмотря на опасения Климентия, они беспрепятственно проехали обратно через городские ворота, где на них никто из караульных даже не обратил внимания, и поехали по уже темным городским улочкам в сторону реки.

— Знать бы сразу, что в монастырь отправят, то не пришлось бы на посту деньги отдавать, — сетовал Климентий, нахлестывая усталых лошадей. — Только, помяни батюшка мое слово, нас и там никто не ждет. Точно говорю.

\* \* \*

Аввакум уже без всякого интереса смотрел на стоявшие как попало дома, и мысли его были далеко отсюда. Он думал о своей семье, которая, скорее всего, уже должна была выехать в Тобольск, если только не произошло что-то непредвиденное, и через несколько дней они вновь будут вместе. Ему представилась тихая, слегка затаенная улыбка серых глаз его Марковны и успокоительные слова, которые она умела находить на все случаи их полной превратностей жизни.

«Чтоб я делал без тебя, голубица моя? — спрашивал он сам себя. — Сгинул бы уже давно, начал бы, как и отец мой, вино пить без меры. Зелье, что от всех напастей издавна русского мужика лечит. И все тогда! Тут бы мне и карачун пришел! Только позволь недругу рода человеческого малую потачку дать, а там бы и покатылся под горку

и сам бы не заметил, как стал послушным сельским попиком, которых на Руси тьма-тьмущая».

Нет, без нее, без Марковны, не представлял он себе, как можно пережить все эти напасти, сыпавшиеся на него все последние годы. И чем более тягостное известие приносил он в дом, тем больше спокойствия и уверенности проявляла его супруга. Взять хотя бы самую тягостную новость об отправке их в Сибирь. У него-то, у мужика, какие мысли тогда в голове родились? Хотел бежать в какой-нибудь дальний монастырь и укрыться там. Или податься в земли порубежные, где, как он слышал, много таких изгнанников русских скрывается. Ничего, как-нибудь обустроились бы, выжили, а там через какой-то срок и ненавистного Никона царь бы согнал с патриаршего престола, тогда бы вспомнил и о нем, об Аввакуме, и, глядишь, обратно пригласил.

Когда он сообщил об этом Марковне, ожидая, что она, как всегда, доверится ему и согласится со всеми доводами и резонами, которые он привел в поддержку мыслей своих, то она, к его полнейшему удивлению, что ответила? Ответила она тогда ему поговоркой, которых знала великое множество: «На небо не залезешь, в землю не уйдешь. Негоже нам прятаться да с земли Русской бежать в землю иную, где нас никто за людей-то считать не станет. Видел, поди, ляхов, свеев, что в русских городах селятся? Не хуже моего знаешь, как к ним относятся. В дом их никто не пустит, на праздник не пригласит, руки не подаст. Ты такой жизни хочешь? А здесь оно хоть и тошно, да миновать не можно. Сибирь хоть не родная матка и жить несладко, но все лучше, чем на чужой земле, где и церкви православной не найдешь и словом-то перекинуться не с кем».

И, проговорив все это с обычной своей полуулыбкой, отправилась готовиться в дальнюю дорогу.

...Он потер замерзший нос шерстяной рукавицей, пару которых Марковна успела связать ему уже во время поездки, и от этого прикосновения и нового воспоминания о заботах жены ему стало теплей и радостней.

«Скорей бы они добрались, а вместе оно всегда легче», — подумал он и услышал голос возницы:

— Вроде как прибыли, вот он, монастырь.

Аввакум поднял голову и в сумерках разглядел силуэты приземистых строений, среди которых выделялся контур одноглавого храма и почти вплотную примыкающих к нему двух бревенчатых изб.

Особого впечатления монастырь на него не произвел, но он был рад и этому, мечтая о скором отдыхе. Все строения окружала небольшая ограда, перемахнуть через которую не представляло особого труда. Они въехали в распахнутые настежь ворота, не закрытые на ночь по какой-то неизвестной причине и тут же дверь ближайшей к ним избы широко распахнулась, и чей-то сиплый голос злобно закричал:

— Кого там черти принесли на ночь глядя?!

— От патриарха посланцы, — не растерявшись, ответил Климентий.

— Тогда точно от черта, — насмешливо ответил тот же голос. — Ночевать, что ли, к нам отправили?

— Угадал, любезный, на ночлег. Пустите? — просительно проговорил Климентий. — А то больше нам и податься некуда.

— Отчего же не пустить, коль крест на шее носите, то примем. Да к нам и татары, случается, заезжают, и их принимаем, хоть и нехристи они, но такие же люди, не сравнить с некоторыми, — охотно продолжал откровенничать невидимый в темноте собеседник.

— Лошадей куда поставить? — спросил уже спрыгнувший с саней Климентий. — Может быть, и клок сена для них найдется?

— А бес его знает, есть сено или нет. Наш конюшный вместе с настоятелем в Абалак подались зачем-то, а меня за главного оставили. Только насчет сенца ничего сказать не могу, поищи сам, авось и найдешь чего. А ты заходи, заходи, — обратился он к Аввакуму, — места хватит, нас тут всего шестеро, и те спят уже. Где только настоятеля черти носят, давно бы ему вернуться пора из Абалака этого. Тогда и накормили бы вас, а так, ключи от хлебни у него, не попасть.

— Ничего, не помрем до утра, — отвечал Аввакум и с опаской шагнул в полутемное помещение, освещенное лишь отсветами пламени из печи.

— Дров совсем нет, чтоб нашего настоятеля черти взяли, — продолжал костерить своего начальника впусивший его монах. — Побираемся Христа ради где можем. А не подадут, так и красть приходится. А что делать? Не замерзать же от холода. Сегодня вот, по темну уже, сперли от соседнего дома бревно, порубили и избушку нашу слегка подогрели. А когда он здесь, то воровать запрещает и сам дров не везет, все молиться нас заставляет. А что молитвы? Молитвами сыт не будешь, не обогреешься. Не нужны нам праведники, а нужны угодники. Знают и чудотворцы, что мы не богомольцы.

Аввакум ожидал чего угодно, но только не подобного приема. Их могли не пустить внутрь по неизвестной причине, могло не найтись место для ночлега, но чтоб в стенах монастыря поминали нечистого, открыто занимались воровством, ни мало того не стыдятся, и всячески ругали своего настоятеля, нет, такого он не мог себе представить даже в самом кошмарном сне.

— Кто же у вас настоятель? — спросил Аввакум, оглядывая избу в поисках места, где можно было бы присесть. Насколько он мог разглядеть, в потемках на полу и на двух лавках вповалку спали дюжие мужики, оглашая помещение мощным храпом. Кто-то из них что-то бормотал во сне, и то один, то другой начинали по очереди чесаться, одолеваемые, судя по всему, клопами.

— Ты на них внимания, батюшка, не обращай, — рассмеялся монах, заметив его взгляд, — никак этих кусучих тварей вывести не можем, жизни никакой не дают. Вот как ляжешь, то сам поймешь, дадут они и тебе жару, несмотря на то что приезжий. Им, клопам, все равно кого жрать, лишь бы до человека добраться. — И он, красноречиво сунув руку под замызганную рясу, принялся безостановочно чесаться где-то в районе подмышки.

— Так как же настоятеля зовут? — напомнил о своем вопросе Аввакум.

— А, вот ты о чем. Как игумена нашего зовут, спрашиваешь. Имечко у него самое птичье, как и он сам. Какое раньше было, не знаю, но после пострига зваться он стал Павлиний, слышал, поди, про птицу такую? У нее вся красота в хвосте, а у нашего игумена — в обещаниях. Чего только он нам ни сулил, прямо-таки жизнь райскую, а глянь, как живем, у доброго человека работников и то лучше содержат.

В это время один из мужиков, спавший на лавке, проснулся, приподнял голову и зло выругался:

— Какого лешего разорались тут, олухи? Сейчас поднимусь да отхожу первого, что под руку попадется. Сгинь с глаз моих, Аниська-горлопан!

Посчитав, что сказал достаточно, он вновь закрыл глаза и тут же смачно захрапел, потягиваясь под овчинным тулупом всем телом.

— Это я, Анисим, — радостным шепотком сообщил монах, словно его не обругали, а достойно похвалили. — У меня еще прозвание есть — Аниська Гвоздь. За то, что длин и худ, так и прозвали. Ем, ем и денно и ночью, а толку никакого, не в коня корм, видать. — И он

негромко рассмеялся, обнажив кривые зубы, больше похожие на волчьи клыки. — А это Семен. — Он показал в сторону обругавшего его мужика, что продолжал, как и раньше, безмятежно спать. — На послушании у нас, из всех самый ворчливый.

— И сколько же вас здесь всего братии?

— Это как посчитать, — почесал голову Анисим, — если постриженных, то только я да игумен наш, Павлиний, остальные на послушании. Иные приходят летом обычно из других монастырей на время, а к зиме ближе в иные места подаются. Иногда бывает десятка два братии, а чаще — поменьше, как сейчас.

— Отчего же так? — удивился Аввакум. — Гонят их, что ли, отсюда, или по своей воле уходят? Чего-то ранее не слыхал о подобном.

— Ты сам, батюшка, видишь, каковы у нас хоромы. Пожары замучили, едва не каждый год случаются. Только отстроимся, как вдруг опять запылывает где-нибудь, и все дотла сгорит. Вот и эту избу уже при мне скатали, здесь и помещаемся все как есть. Да у игумена своя келья поблизости и все наше хозяйство. Ну, конюшня еще, хлебня, где хлеба печем, а большее возвести не успели.

— Сам давно тут?

— Третий год как. Уже и постриг принял, — с гордостью заявил Анисим, — но к житию монастырскому не привык еще, так на волю и тянет.

— Эй, хватит горлопанить! Я тебе что сказал?! — вновь послышался голос не открывшего даже глаз Семена.

— Все, все, молчу, — тихонько ответил ему Анисим и, чуть выждав, сделал страшные глаза и зашептал почти в ухо Аввакуму: — Да ты, батюшка, не обращай на него внимания, — махнул он неопределенно рукой, — скоро привыкнешь к порядкам нашим. Скажи лучше, куда едешь. Дальше в Сибирь или здесь останешься?

— Послан сюда был, а там как владыка распорядится.

— Оставайся в Тобольске, — посоветовал ему Анисим, — тут и народу поболее живет, чем в других городах, и сами горожане побогаче. Если уживешься со служителями архиерейскими, то ни о чем заботы иметь не будешь.

— О ком это ты говоришь? — насторожился Аввакум, вспомнив о недавней ссоре с архиерейским дьяком.

— Епархия наша Сибирская ох как велика будет! И представить себе невозможно, какова она вся. До самого Китая тянется. Я, правда,

в тех краях не бывал, но знающие люди рассказывали, — торопливо зачастил, как по писаному, Анисим. — А владыка наш на все про все один-одинешенек. Разве за всем углядишь? Это не пару глаз, а во сто крат больше иметь требуется. Потому владыка половину дел и доверил служителям своим архиерейским: приказному Гришке Черткову да дьяку Ивану Васильевичу Струне. Я и того и другого знаю хорошо, умнейшие люди...

Тут Анисим неожиданно замолк и тихо шагнул в тень. Аввакум, который так и не нашел, где бы сесть, повернулся назад и увидел, что мужик, которого монах назвал Семеном, сбросил с себя тулуп, сел и начал что-то шарить рукой на полу. Наконец он нашел свой сапог и, ни слова не говоря, запустил им в Анисима. Тот заблаговременно пригнулся, и тяжелый сапог, просвистев подле его уха, врезался каблуком в стену.

— Чтoб тебя черти взяли и обратно не вернули, балаболка этакая! — сонно выругался Семен и опять лег на лавку. — Не доводи до греха, а то пожалеешь, — пробормотал он уже лежа и вновь захрапел.

— Ишь ты каков, — с деланным смешком выдавил из себя Анисим, однако перешел при этом на едва слышный шепот: — Этот и убить может, не поморщится даже. Все они здесь, — обвел он рукой избу, — ссыльные или беглые. Вот и живи с такими под одной крышей, а убьют ни за что... так владыка наш даже не заступится, сам их опасается.

— Сам откуда будешь? — спросил его Аввакум и, не найдя лучшего места, сел прямо на пол, поближе к печи.

— С Вятки я сюда попал, — отвечал тот, — думал, ненадолго, а вот уже второй год тут проживаю и... — Договорить ему не дал вошедший Климентий, который тащил за собой на просушку два хомута.

— Нашел-таки сена немного. Хоть и прошлогоднее, но лошадки на него нажились, будто на свежее...

— Тише!!! — в голос зашикали на него, не сговариваясь, Анисим с Аввакумом. — Люди спят, разбудишь.

— Ладно-ладно, больше не буду, — зашептал тот и принялся стаскивать с себя тулуп. — Лечь-то где можно?

— А где место себе углядишь, там и ложись.

— Вот здесь и лягу. — Климентий бросил тулуп прямо на пол рядом с Аввакумом. — Сбрую я запрятал поглубже, чтоб не спер кто, сюда ее не поёр.

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

— От хомутов твоих к утру такая вонища пойдет, что не продохнешь, — посетовал Анисим.

Но Климентий не обратил на его слова никакого внимания и спокойно достал из-за пазухи что-то замотанное в тряпицу, развернул ее и извлек оттуда початую краюху хлеба, разломил ее пополам и протянул Аввакуму:

— Держи, все, что имею. Ты ведь, как и я, сегодня к еде не прикасался, угощайся, что Бог послал.

\* \* \*

Аввакум без раздумий взял хлеб, поблагодарил и принялся про себя читать молитву, благодаря Бога за милосердие Его и прося благополучной дороги для своей семьи. Вдруг он поймал на себе взгляд Анисима, который, не скрывая чувства голода, неотрывно глядел на кусок хлеба, что он держал в руке. Кусок был мал, что называется, на два куса, а голод, пробудившийся в нем, не оставлял выбора. Аввакум несколько раз откусил от краюхи, но вдруг поперхнулся и с надрывом закашлял, пытаясь удержать во рту рвавшийся наружу пережеванный мякиш.

— Возьмите водицы, — с готовностью предложил Анисим и подал глиняную кружку, продолжая все так же смотреть на остатки хлеба в руке протопопа, откровенно при этом облизываясь.

— Возьми, — протянул тот хлеб Анисиму, — не хочется чего-то есть. Видать устал сильно с дороги.

Он стянул с себя успевший стать влажным от оттаявшей изморози тулуп, постелил его на холодный пол и блаженно растянулся на нем, закрыв налившиеся свинцовой тяжестью глаза. Но уже в полусне ему вспомнилось, что он так и не выпросил у словоохотливого Анисима о дьяке Иване Струне, хотел было что-то спросить, но сил на это уже не было. Вскоре он почувствовал, как все его тело зажглось и зачесалось от многочисленных укусов ненасытных клопов, сунул руку под одежду, поскреб горевшее огнем тело и тут же крепко заснул с детской улыбкой на лице. Во сне он не слышал, как Анисим шепотом спросил Климентия:

— За что его к нам в Сибирь?

— А пойми их там, верховных. Видать, власть или деньги не поделили, не разберешь.

— Вот всегда так, — принялся рассуждать тот, — кто силен да с рублем, тот на Москве сидит, а кто слабее да поробчее, тот сюда дорогу торит. Страна-печаль всех принимает, да не всех от себя отпускает.



— Как ты сказал? — переспросил Климентий. — Какая страна?

— Да наша, сибирская. Знающие люди ее печальной страной зовут и так говаривают: на чужбине, словно в домовине, и одиноко и немо, а пожаловаться некому. На чужбине и собака тоскует.

— А я вот завтра как бумаги все выправлю, то сразу и обратно погону. И дня не останусь. Не люблю Сибирь вашу. Поганая сторона. Как вы только тут живете.

Анисим на это ничего не ответил и лишь обиженно запыхтел, пристраиваясь на ночлег по другую сторону печки. Когда уже лег, то громко зевнул, почесал грудь пятерней и изрек напоследок:

— Прилетит гусь на Русь — погостит да снова улетит...

Климентий на это ничего не ответил и в который раз ругнул свою проклятую службу, из-за которой он никак не мог обзавестись ни семьей, ни собственным домом, а продолжал жить в подмосковной деревне с родителями. Все его братья давно отделились и занимались хлебопашеством, как все потомственные крестьяне, а он решил выбиться в люди и поступил по знакомству на патриарший двор, надеясь со временем осесть в Москве и выгодно жениться. Но время шло, ему уже перевалило на пятый десяток, а скопленных денег не хватало на покупку хорошего дома. А без своего угла куда жену приведешь?

«В деревню, что ли, обратно вернуться? — подумал он, но вспомнил неизъяснимую усладу от дальней дороги, которая непонятным образом грела его душу, стоило ему лишь сесть в сани, почувствовать запах свежего ветерка, и невольно улыбнулся. — Нет, погожу еще в деревню возвращаться, поезжу, куда могу, мир погляжу». — И с этим уснул.

Не спалось только Анисиму, который хоть и принял год назад постриг, скрываясь от властей за совершенное у себя в деревне воровство, но так и не удосужился выучить ни одной молитвы и во время службы в храме на клиросе лишь подхватывал окончание слов вслед за теми, кто службу знал. Он и здесь, в монастыре, незаметно приворовывал, где что плохо лежит, а потом сбывал краденое в татарской слободе или отдавал на продажу знакомым торговцам. На вырученные деньги он накупал что-нибудь съестное и поедал все это за один присест где-нибудь в укромном уголке. Но его ненасытная утроба на этом не успокаивалась и постоянно требовала еще пищи, давая знать о себе непрерывным урчанием в животе.

Скоромной монастырской едой насытить себя Анисим не мог и давно смирился с тем, что рано или поздно попадетсЯ, но ничего

с собой поделывать не мог и продолжал красть, испытывая при этом блаженство и страх одновременно. Настоятель Павлиний уже несколько раз ловил его с краденым, но лишь выговаривал ему за это и отправлял на самую тяжелую работу, поскольку Анисим был покладист и, чувствуя за собой вину, выполнял все, что приказывали.

Вот и сейчас он выжидал, когда все уснут, чтоб потом отправиться на поиски конской упряжи, которую приезжий возница неосторожно оставил на конюшне. И сколько он ни уговаривал себя, что подумают прежде всего на него, но желудок на все его благоразумные доводы тут же давал о себе знать сильнейшими спазмами. В конце концов ему надоело вести борьбу с собственным организмом, и он тихонько прокрался к двери и бесшумно выскользнул вон. Под навесом он безошибочно нашел место, где была спрятана конская упряжь, и, не разобрав, новая ли она, быстро затолкал ее в ближайший сугроб и вновь вернулся в избу, не разбудив никого. Осторожно лег на не успевшее даже остыть место за печкой и подумал, что на вырученные деньги сможет несколько дней питаться вполне сносно и не испытывать непрерывных резей в желудке, отчего ему сделалось радостно и спокойно. Так, с улыбкой на лице, он заснул...

\* \* \*

Теперь заключим союз я и ты,  
и это будет свидетельством  
между мной и тобою.

*Быт. 31, 44*

Архиепископ Симеон уже третий год пребывал на сибирской кафедре, и каждое новолетие казалось ему более трудным, чем предыдущее. Вроде бы все было в его власти и подчинении, но потраченные силы уходили словно вода в песок, не давая ожидаемых результатов. Он никак не мог понять, что стало происходить во вверенной ему епархии в последнее время, когда, отправляя распоряжения в Томск ли, в Якутск ли, он не получал оттуда ответа больше чем по полгода. Накануне вечером он долго не мог уснуть, без конца ворочался и покряхтывал, не давая спать тем самым и келейнику Спиридону, ночевавшему, по давно заведенному обычаю, в одной комнате с владыкой. Наконец, уже под утро владыка пришел к выводу, что нужно провести расследование и поговорить о задержке ответных грамот

с дьяком Иваном Струной, который и ведал всей деловой епархиальной перепиской, с чем и уснул, успокоившись.

Встав спозаранку, он поднял и келейника, не выпавшееся лицо которого ничего не выражало, кроме желания побыстрее исчезнуть из покоев владыки и найти где-нибудь укромный уголок, чтоб прикорнуть подкальше от чужих глаз. Он молча принес кувшин с холодной водой, полил на руки архиепископа и, не услышав никаких иных распоряжений, опять же молча исчез за дверью, отправившись в дворницкий чулан, находившийся в каретном сарае. Там, среди лопат, метел и пустых кадушек у него была сокрыта лежанка из старой ветоши, о чем знал лишь он сам и дворовый человек Иван Смирный, калека от рождения, имевший одну ногу короче другой и исполнявший днем обязанности дворника, а ночью — сторожа при архиерейском доме.

Меж ними была давнишняя дружба, заключавшаяся в том, что один никогда не выдавал в случае отсутствия другого, чем они постоянно и пользовались, когда нужно было на какое-то время исчезнуть по собственным надобностям. Иных взаимных симпатий меж ними не наблюдалось по причине вечной занятости делами епархиальными. Так, они не раз выручали друг дружку, когда владыка Симеон, находясь не в самом лучшем расположении духа, мог вдруг хватиться кого-то из них. Так что Спиридон надеялся, что и на этот раз Иван Смирный выручит его, когда устраивался в чулане навестать недополученный сон, потеря которого произошла, как он считал, по прямой вине владыки, не давшего спокойно почивать ему едва ли не до утра из-за одолевавших того обычных начальственных беспокойств и переживаний.

Владыка же Симеон тем временем, прочтя неизменные молитвы и вкусив малый кусочек от зачерствелой просфоры, отправился в свои приемные покои, находившиеся здесь же поблизости, на Софийском дворе. Там же помещалась и архиерейская поварня и небольшие комнатухи с одним малым окном, больше похожие на кладовые, предназначенные для пребывания в них приказных служителей, как то было заведено еще задолго до приезда в Tobольск владыки Симеона.

Недолго побыв в своем кабинете, он решил заглянуть к дьяку Струне, надеясь, что и тот явился на службу в столь ранний час. Но дьяка на месте не оказалось, и комнатка, где он обычно находился

в дневное время, гулко отозвалась на шаги владыки полной пустотой и запустелостью, ничем не выдавая своей принадлежности к производству важных письменных распоряжений и указов, готовящихся здесь для дальнейшего подписания главным духовным лицом обширного сибирского края. Лишь очиненные гусиные перья, разложенные на столе, и медная чернильница с песочницей говорили о том, кто здесь обитает. Оглядевшись, владыка неприятно удивился, что в комнате нет даже малой иконки, как это обычно было принято у всех православных людей. Правда, на стене висело большое медное распятие, что больше подходило для людей веры католической, но ему было совсем не место в обители служителя, являвшегося правой рукой главы сибирской православной епархии.

Неприятно удивленный увиденным архиепископ решил, что и об этом нужно непременно поговорить с дьяком и собрался было уходить, когда взгляд его упал на солидную стопку бумаг, лежащих на полу и придавленных сверху старыми, до дыр проношенными, сапогами, неизвестно как попавшими сюда. Архиепископ брезгливо сбросил проношенные и дурно пахнущие сапоги, страхнул с бумажной стопы остатки грязи от них и ухватил наугад несколько листов, осторожно поднес их к окну и, близоруко щурясь, стал читать. С первых же строк оказался он неприятно удивлен, узнав в тех бумагах свои собственные послания, надиктованные им дьяку Ивану Струне в разное время. Сейчас же он читал неотосланное предписание томскому попу Власию с требованием прислать сведения о крещеных в приходе за прошедший год инородцах, которые в срочном порядке требовалось направить в Москву на патриарший двор. В той же стопе оказались и другие подобные бумаги, которым следовало давно уже быть в самых разных приходах вверенной ему епархии.

От сделанного открытия владыку чуть не хватил удар, и он, вернувшись в свои покои, громко позвал к себе келейника Спиридона, намереваясь поручить тому немедленно сыскать дьяка Ивана Струну.

Однако сколько он ни кричал: «Спиридон! Спиридон!», награждая того всевозможными прозвищами бездельника, разини и бестолочи, дозваться своего келейника он так и не смог.

Тогда, прихватив для большей острастки архиепископский посох, он сам отправился на поиски. Обследовав немногочисленные комнаты и клетушки занимаемых им покоев, приспособленных для дел служебных, он вскоре убедился, что в столь ранний час никого из

служителей в них не оказалось. Лишь из-за кухонной двери, ведущей в полуподвал, слышалось глухое бряканье чугунов и сковородок. Но архиепископ ни разу в жизни не переступил ее порог, полагая ниже своего достоинства появляться меж женского пола, ведавшего приготовлением пищи для многочисленной архиерейской братии. Владыка вообще считал лишним интересоваться тем, что для иных людей составляло главную радость в жизни, поскольку уповал больше на пищу духовную, а всяческие земные блага, к коим относил и искусно приготовленные разнообразные яства и кушанья, относил к искушениям, от которых необходимо держаться подальше. Потому он давно намеревался при первой же возможности переселить всю кухонную братию в иное помещение, чтоб они не портили высокого предназначения архиерейских покоев.

А пока бабенки, состоящие при кухонных работах, неизменно пользовались своим избранным положением, и, зная, что архиепископ вряд ли когда переступит порог их владений, громко судачили меж собой не только о делах житейских, но главным образом о сегодняшнем настроении своего повелителя, награждая его всевозможными и зачастую не совсем лестными прозвищами. Знали о тех вольностях кухонных все дворовые служители, включая и близких к владыке людей, о чем не раз осторожно намекали ему на недопустимость подобных развращающих душу богомольного человека разговоров.

Но что мог поделаться сибирский архиепископ? Прогнать всех и оставить голодными почти сотню человек своих приживальщиков, включая и свое высокопреосвященство? Нет, к такому шагу он был пока не готов. Сыскать же мужиков, что он не раз пытался сделать, знающих секреты приготовления, скажем, капустного пирога или грибного супа, оказалось в Сибири делом невыполнимым. А потому и терпел он присутствие под боком «вертепа поварского», как он не раз именовал всю кухонную братию, от чего тем было ни холодно и ни жарко.

Миновав кухонную лестницу, вконец разгневанный владыка Симеон, так никого и не встретив, вышел на крыльцо, где увидел привычно машущего метлой Ивана Смирного, который, завидев владыку, низко поклонился ему, воткнул оружие свое в снег прутьями кверху и, сложив руки лодочкой, направился к нему за благословением. Симеон торопливо перекрестил плешистую голову служителя и спросил:

— Келейника моего давно видел?

Иван пожал плечами и покачал обнаженной головой, не решаясь в присутствии архиепископа надеть шапку.

— Сыщи мне его срочно! — потребовал владыка. — Найди, где бы не был, и доставь в любом виде. Понял? — грозно спросил он Ивана, резонно полагая, что и тот может надолго исчезнуть, сославшись потом на непонятливость и неразумность свою.

Владыка знал за подобными людьми, имевшими от природы всяческие телесные повреждения, привычку сказываться темными и убогими. Хотя Господь, лишив их чего-то одного, обычно с избытком награждал чем-то иным: острой ли памятью или музыкальным слухом. Но обиженные увечьем своим люди никак не проявляли данный им взамен дар, а наоборот, скрывали его, прикидываясь лишенными всяческих достоинств и способностей. Вот и Иван Смирный все больше чурался общения с церковным людом, хотя знал наизусть, как в том не раз убеждался сам владыка Симеон, едва ли не все псалмы и молитвы, читаемые во время богослужения. Если бы он захотел, то давно бы поменял свою метлу на место певчего на клиросе, но, видать, в силу природной застенчивости ему легче было находиться в стороне от людей, отвечая днем за порядок, а ночью за покой на архиерейском дворе.

Потому владыка еще раз переспросил его, понял ли тот приказание, и с тем отпустил, вернувшись обратно в свои покои. Иван же с завидной скоростью, несмотря на хромоту, незамедлительно поковылял в облюбованный келейником Спиридоном чуланчик, где и застал того в самом разнеженном состоянии и обсказал положение дел на сей момент. Присовокупив к тому, что владыка явно не в себе по неизвестной ему причине и, хотя и не сказал ничего предосудительного или грозного, но по дрожи в членах и легкому заиканию его легко можно догадаться о надвигающейся буре. А потому Спиридону лучше не искушать судьбу и поспешить в архиерейские покои, пока дело не дошло до чего-то более серьезного и грозящего неприятностями, гораздо большими, чем угрозы и порицания в лениности.

\* \* \*

Спиридон, спросонья решил, что владыка каким-то непостижимым образом узнал о тайном убежище его и со страха громко икнул и мигом помчался в архипастырские покои. По нетвердости ума

мчался он не по проложенным старательным дворником дорожкам, а напрямик через сугробы. Сгоряча он даже не приметил утери шапки и, как был весь в снегу, с широко открытыми всеми миру глазами влетел к владыке и тотчас бухнулся для верности на колени, замерев, словно грешник на Страшном суде.

Архиепископ, занятый на тот момент изучением собственных распоряжений, которые он изъял у дьяка, зорко глянул на келейника и тихо спросил:

— Чего в снегу весь, словно зверь лесной?

— Спешил, — однозначно произнес Спиридон, торопливо сметая с себя гроздья снега прямо на богатый ковер, устилавший пол в архиепископских покоях.

— Спешить с умом надо, которого у тебя, детинушка великовозрастная, сроду не водилось, — со значением сказал владыка, относившийся к келейнику своему с явным состраданием и сочувствием, которые, если бы не монашеская строгость к проявлению чувств, можно было принять за отцовскую любовь. Но это не мешало ему взыскивать со Спиридона строже, чем с других своих служителей. Келейник же, с рождения своего не знавший иных чувств, кроме страха и всегдашнего унижения от сильных мира сего, считал владыку не иначе как извергом и боялся его пуще смерти. И скажи ему вдруг владыка неосторожно, чтоб умер немедленно, так бы и поступил, не задумавшись ни на миг, а покончил с собой самым простым и естественным способом, ничуть не сомневаясь в правильности поступка своего.

— Ответь мне лучше, — продолжил Симеон, — видел ли где сегодня дьяка моего Ивана Струну?

Спиридон испуганно поднял на него глаза, подразумевая в словах владыки если не угрозу, то очередное обвинение в чем-то недостойном и затряс головой, словно и вовсе не знал, о ком идет речь.

— Значит, не видел, — уточнил архиепископ, — а нужен он мне, дьяк этот, незамедлительно. Потому ступай и сыщи его, где хочешь.

Спиридон продолжал стоять на коленях, будто не разобрал, чего от него требуют.

— Иди за дьяком, — раздраженно повторил владыка, зная привычку келейника оставаться в неподвижности, пока ему не повторят дважды, и для верности стукнул о пол своим посохом.

Келейник соскочил с колен и медленно попятился к двери, будто бы не хотел покидать покои и его выгоняли насильно. Он тоже знал

привычку архипастырскую возвратить только что вышедшего от него человека с полдороги и вместо первого задания дать новое, не сообщая о причине, заставившей его передумать.

Угодить владыке порой было неимоверно трудно, и Спиридон, находившийся при господине своем не первый год, взял за правило покидать покои его не сразу, а чуть выждав, чем заходить в них дважды, а то и трижды, с каждым новым своим посещением узнавая иные подробности о своей бестолковости и нерадивости.

Но на этот раз владыка оказался тверд в намерениях и крикнул напоследок, чтоб без Струны он не возвращался. Закрыв за собой дверь, Спиридон только теперь обнаружил, что лишился, и, похоже, надолго своей единственной шапки, но, выйдя на крыльцо, вконец расстроенный от этого, тут же получил ее от Ивана Смирного, извлекшего шапку из разваленного келейником сугроба.

Даже не поблагодарив за находку, будто так оно и должно быть, Спиридон меж тем поведал Ивану, что опасения того насчет назревающей бури не лишены основания и, похоже, сегодня будет не только гром, но и молнии, которые полетят, скорее всего, в нелюбимого ими дьяка Ивана Струну.

Это известие чуть ободрило обоих, и на том они ненадолго расстались, чтоб каждый посвятил себя предписанным им обязанностям и тем самым ускорил течение дел духовных, вершащихся при их прямом участии и содействии своему архипастырю, в чьем пастырском ведении все они и пребывали и от воли которого зависела не только судьба многих проживающих в Сибири людей, но и сама их жизнь.

\* \* \*

Келейником при высокой особе сибирского владыки сделался Спиридон по воле случая, будучи подобран и пригрет властелином своим еще во время его восшествия в приделы сибирские при горах Уральских. Там, в одном из селений, частью населенном русскими мужиками вперемешку с остячками и вогульскими бабами, которых местные вдовцы и бобыли выменивали у отцов их еще в малолетстве за нехитрый товар или простую выпивку и жили с ними кто сколько пожелает, покамест не надоедят. Так и появился Спиридон на свет в многочисленном семействе, промышлявшем когда охотой на зверя лесного, а чаще извозом купеческих товаров. Спиридонова семья



жила не лучше и не хуже других, страдая, как и все, от неурожаев, поборов воеводских и частых пожаров.

Именно очередной пожар и решил судьбу парня, оставшегося после того круглым сиротой и не знавшего, куда податься от смрадного пепелища родительского дома. Вышло так, что из всей большой семьи уцелел лишь он один и то потому, что ночевал в сарае, стоявшем на огороде. Проснулся он, когда пламя уже бушевало вовсю и никто из родных его не выскочил из гари.

И тут рядом с ним остановился возок сибирского архиепископа, едущего к месту своего пастырского служения в Тобольск. И как раз в свите архиепископской случилась нехватка в людях, которые, как зайцы от травли, разбегались на подъезде к Сибирской земле, напуганные слухами о творимых здесь чудесах и лишениях. Владыка пожалел парня, взял к себе вначале простым служкой, а потом перевел в келейники, к себе поближе. Если бы не благоволение архиепископа, то стало бы среди сибирских нищих на одного человека больше. А бежать Спиридону было некуда, и он, сызмальства привыкший к отцовским побоям и подзатыльникам старших братьев, быстро освоился среди архиерейских служек, заняв там свое особое место, на котором кто другой вряд ли бы долго продержался.

Обликом своим Спиридон походил то ли на татарина, то ли на остяка, имея смуглый цвет лица, чуть раскосые карие глаза и прямые вороньего крыла волосы. Отличала его от коренного русака и стойкая нелюбовь к посещению бани, чего он всячески избегал под различными благовидными предлогами. Но через определенный срок банного воздержания тело его начинало источать стойкий аромат, весьма далекий от благоухания, и тогда владыка, обычно мало обращающий внимания на житейские мелочи, принимался морщить нос при появлении келейника рядом с собой, но по непонятной деликатности стеснялся напрямую высказать тому свои претензии. Когда же запах начинал напоминать трупное тление, то он, воротя нос в сторону, осторожно, словно фарфоровую вещь, отодвигал его концом посоха подальше от себя и задавал неизменный вопрос:

— Давно мылся, сын мой?

— Вчерась, — не задумываясь, отвечал тот, подобострастно лупая глазами и думая, авось на этот раз обойдется неправда его.

Но владыку на этот счет трудно было провести, к тому же против вранья Спиридона выступал запах, чуть не на версту исходящий от

тела его. Потому владыка твердо стоял на своем и со знанием дела вопрошал, вызная подробности:

— И как же ты мылся, поведай мне.

— Обе руки мыл, когда после вас, владыка, посуду ночную убирал, а то к столу Дарья не пускала, — честно признавался келейник, считая, будто говорит истинную правду, не понимая недовольства своего господина.

Дарья являлась главной кухаркой и распорядительницей стола при особе владыки, а потому с ней лучше было не ссориться, поскольку за послушание она могла и без обеда оставить не поглянувшего ей человека. Спиридона она любила и, не имея собственных детей, следила за ним, словно насадка за вылупившимся из яйца цыпленком. Обычно она и спроваживала Спиридона в баню не реже раза в месяц, но за всеми своими хлопотами и непониманием, как может нормальный человек не ходить еженедельно в баню, частенько о том забывала. Владыка знал об этом, понимая при том, что, если он своим распоряжением просто отправит келейника в баню, то тот начальственное приказание непременно выполнит и вмиг вернется обратно, лишь слегка окатившись теплой водой. Да и не престало архиепископу утруждать себя подобными занятиями. Потому он вызывал к себе Дарью и, зажав свой длинный, чуть с горбинкой нос двумя пальцами, без слов указывал на Спиридона, давая тем самым понять, в чем причина его обеспокоенности. Дарья лишь всплескивала руками, кланялась и роняла односложно:

— Виновата, не усмотрела. — Хватала Спиридона за рукав и тащила, не оглядываясь, к истопнику Пантелею, которому и сдавала с рук на руки архиерейского келейника.

\* \* \*

На бывшем казаке Пантелее кроме топки печей зимой, а летом заготовки дров для них была возложена обязанность по содержанию архиерейской бани в исправном состоянии. И хоть был он, как и многие сибирские жители, непонятно каких кровей: то ли из калмыков, то ли родился от недавно окрещенных и начавших оседлую жизнь иных некогда диких обитателей степей, но порученное ему банное дело любил и честно следил за чистотой и порядком во вверенном ему сооружении, так что не было случая, чтоб владыка в какой день остался помывкой недоволен. Все тот же Пантелей и прислуживал

владыке Симеону во время священнодействия по обмыванию архиерейского тела, поскольку привлечь к этому непростому делу келейника Спиридона было задачей трудновыполнимой.

Расторопная Дарья прямо из архиерейских покоев волокла слегка упирающегося Спиридона к самой ограде, окружающей Софийское подворье, где в укромном месте прилепилась низенькая банька, выговаривая при этом хмыкающему носом келейнику:

— Чего ты так мытья боишься? Тащу тебя, словно на казнь смертную. Грязь не сало, помял она и отстала, а там живи дальше, как тебе нравится.

Спиридон на слова ее ничего не отвечал, оставаясь с непроницаемым лицом мученика. Найдя Пантелея, Дарья с рук на руки сдавала ему зачуханного келейника, для острастки хлопнув его тяжелой ладонью по мягкому месту ниже пояса, и спешила обратно к своим чугунам и сковородкам. Пантелей же, приняв того, вел его в теплую баню, потому как в протопленную с хорошим паром парную он как-то раз пробовал ввести Спиридона, но тот, едва услышав шипение воды на камнях, выбил ногой толстенную банную дверь и как есть голый пустился наутек по архиерейскому двору в свой чуланчик, где нескоро был изловлен Пантелеем совместно с Иваном Смирным. С тех пор мыли его без пропаривания, а лишь разложив на широкой лавке и хорошо намылив, пройдясь усердно и от души по тощим телесам мягкой мочалкой, а потом, окатив с головы до пят теплой водичкой, со смехом выпроваживали, приговаривая: «На колу висит мочало, не начать бы нам сначала?»

Спиридон терпеливо сносил процесс своего омовения, твердо зная, что после того он еще целый месяц сможет смело заходить в покои к владыке, который после его помывки заметно смягчался и при удобном случае одаривал его очередной изрядно поношенной ночной рубашкой, носимой им до этого не меньше десятка лет. Дарение рубашки воспринималось Спиридоном как наивысшая награда за страдания его, поскольку жалованья ему все одно не платили, да и не знал он, положено ли оно ему. Рубаху же он не спешил напялить на себя, тем более что спал обычно в одежде, чтоб удобнее было вскакивать в ночное время по первому требованию господина своего, а прятал ее в кованный сундучок, которым обзавелся по примеру других архиерейских служителей, и носил ключ от него на шее рядом с помятым оловянным крестиком, доставшимся ему от умершего давным-давно деда.

Зато на кухне был он своим человеком и без зазрения совести брал без спроса лучшие куски из готовящегося для трапезы кушанья. Сердобольная Дарья только хмурила густые брови, но от плиты его ни разу не отогнала. К тому же через Спиридона кухонные тетки знали обо всем, что происходит наверху, в покоях архипастырских.

Главного над собой начальника они не сказать, чтоб боялись или испытывали к нему какие-то особые чувства, встречаясь с ним редко, а то и вовсе не видя по месяцу и больше, но всегда уважительно спрашивали Спиридона о настроении его. Лишь Дарья, вхожая в покои владыки, позволяла себе называть его не совсем пристойно «Семушкой», именем, которое тот носил в юности еще до монашеского пострига.

Как она о том прознала, оставалось загадкой, но тем самым она подчеркивала близость свою к сибирскому архипастырю и знание немногих его слабостей в еде и питье. Остальные же кухонные тетки, если речь заходила о владыке Симеоне, именовали его не иначе как «Он» или «Они», и всем было ясно, о ком идет речь. Так же звали своего владыку и прочие дворовые служители, время от времени по-свойски заглядывающие на архиерейскую кухню, чаще, чтоб поинтересоваться, чего сегодня подадут к столу, или погреться у горячей плиты и еще прознать последние новости задолго до того, как они обрastут подробностями и устареют, переданные им через посторонних, а то и вовсе случайных людей.

Вот и в этот раз, сделав несколько неудачных попыток отыскать дьяка Струну в полупустых архиерейских службах, Спиридон спустился в кухонный полуподвал и молча потянулся за ржаным пирогом с визигой под испытующими взглядами кухонного народа, не ведающего пока, что нынче за обстановка в верхних покоях.

— Ну, чего там у Семушки нашего творится? — не выдержав затянувшегося молчания, первой поинтересовалась у келейника Дарья, зябко поводя широкими плечами, словно в жаркой кухне было давно не топлено.

Спиридон как мог обсказал о своих неудачных поисках Ивана Струны, и все слушали, замерев и не перебивая его, прикидывая, чем все происходящее может обернуться лично для них. Но вскоре решили каждый для себя, что их это вряд ли коснется и как-то затронет, принялись заниматься и дальше своим делом.

Спиридон же, дожевывая пирог, подался обратно на поиски затребованного владыкой дьяка, о чем вскоре была через кухонных

баб оповещена вся архиерейская прислуга, включая конюхов. И все они ждали, чем закончится срочный вызов дьяка, которого с самого его появления на Софийском дворе дружно невзлюбили и сторожа и конюхи за его въедливость и дурной нрав. И хотя больших неприятностей дьяк им не доставлял, а владыка за малейшую провинность выгонял со двора и второй раз никого из изгнанников тех уже не принимал, но служители архиерейские воспринимали строгости эти как должное, полагая, что иначе на свете и быть не может, а то так и разбаловаться недолго. Но Ивана Струну, который ни одного из них не уволил и даже не грозился сделать этого, боялись все как один по многим причинам, назвать которые, если б кто их о том спросил, они вряд ли смогли. Страх порой и без имени живет, на то он и страх...

\* \* \*

Ищите добра, а не зла,  
чтобы вам остаться в живых...

*Ам. 5, 14*

Пока архиепископ ждал отыскания Спиридоном злосчастного дьяка, внутри него все клокотало, и зарождались самые разнообразные мысли о том, какое наказание он уготовит Струне, который пребывал на этой должности с первого дня появления владыки в Тобольске. Когда в марте 1651 года в московском Успенском соборе в присутствии царя Алексея Михайловича будущий архиепископ Симеон был хиротонисан<sup>1</sup> патриархом Иосифом на Сибирскую кафедру, то он сразу же озаботился о приискании грамотных людей к себе в свиту. Именно тогда кто-то и представил ему Ивана Струну, выходца из Малороссии, как человека дельного и грамотного, который со временем мог стать его первым помощником во всех больших и малых делах.

Правда, владыка Симеон недолго любил не в меру прытких черкасов, которые, словно тараканы, расплозились по Русской земле и уже заняли немалые посты во многих московских приказах. У себя в Малороссии о подобных должностях они и помыслить не могли, но в России издавна ощущалась нехватка в людях грамотных, да и не особо любил русский человек заниматься бумагомарательством, а по-

---

<sup>1</sup> Возведен в сан (*церк.*).

тому при царе Алексее Михайловиче, пытавшемся наладить добрые отношения с Киевом, выходцы оттуда оказались как нельзя кстати.

Владыка напряг память, пытаюсь вспомнить, кто именно рекомендовал ему взять Струну к себе в помощники, но всплывали все больше сцены с поздравлениями от его ближних и дальних знакомых с назначением на высокий пост, лстивые речи, заискивающие улыбки, пожелания наладить праведную жизнь в далекой епархии... Но кто был тот человек, что привел к нему злополучного черкасца, он так и не вспомнил.

Что он тогда знал о вверенной ему епархии? Что холода здесь лютые и православного населения горстка малая в сравнении с магометанами и идолопоклонниками? Если бы кто сказал раньше, что за люди эти православные, которые и постов-то должным образом не соблюдают, и на службу ходят, словно на тяжкую работу, то, может быть, и поостерегся, отказался бы от столь высокого назначения под благовидным предлогом, сославшись на немочи свои, на года преклонные. Да мало ли какую причину можно найти, чтоб только не ехать в эту Богом забытую сторону. И вот теперь он здесь практически один, без верных людей и единомышленников. День ото дня он все больше убеждался, что распоряжения его сибирское духовенство выполняет через пень-колоду и чуть ли не каждый из них только и мечтает, как бы побыстрее и с немалым прибытком отбыть из Сибири обратно на Русь.

Размышления владыки несколько раз прерывал келейник Спиридон, который заскакивал к нему так, будто за ним гнался кто и докладывал, что дьяка нигде сыскать не могут. Шапку свою он теперь для верности засунул в карман и не надевал ее даже на улице, тем более в покоях владыки.

— Ищи, болван этакий, — вдохновлял его привычными прозвищами владыка, — а то сам знаешь, что тебе за то будет.

Спиридон лишь тарачил в ответ свои черные с поволокой глаза и высказывал вон, как ужаленный, хорошо помня, как страшен владыка во гневе своем. В его праве было так наказать провинившегося, что тот мог, иногда до конца дней своих, вспоминать о том незначительном проступке, за который понес кару великую.

Сам Спиридон, поротый с малолетства, с возрастом возмужавший и к боли всяческой попривыкший, обычных наказаний давно не боялся. Он относился к ним, как к внезапно начавшемуся дождю, после

которого всегда можно высушиться и потом долго не вспоминать о произошедшем. Больше страшило его неизвестное, чего он себе и представить не мог, но твердо знал, что оно есть и сокрыто где-то в желаниях и помыслах других людей, от которых ничего хорошего он никогда не ждал. Владыка же был для него существом наивысшего порядка, способным выдумать чего-то этакое, что и словами не опишешь, а тем более представить ему, Спиридону, и вовсе невозможно. И тем страшнее казалось возможное наказание, чем оно непонятнее и загадочней.

Если бы Спиридону объявили, мол, будут пороть его отныне каждый день в такой-то час, он бы посетовал про себя на этакую неприятность, но вскоре смирился и страшно удивился бы, коль узнал, что наказание неожиданно отменили. Ему легче было переносить любую порку, лишь бы знать твердо о том, что ничего другого за провинности свои он испытывать не будет.

Но владыка мог наказать за совсем, казалось бы, безобидный проступок, а мог и простить, чаще всего не зная или забыв о том за делами своими допустившего очередное согрешение келейника. Однако при всем при том Спиридон никогда не считал себя страдальцем и горемыкой несусветным, а скорее наоборот, воображал человеком удачливым, когда оставался один в заповедном своем чуланчике и вспоминал, сколько раз ему удалось ускользнуть от неминуемого возмездия, и тихонько посмеивался над нерасторопностью и невнимательностью архиепископа. Так, человек, по счастливой случайности избежавший кораблекрушение, смеется, оказавшись на берегу, над своими страхами и вновь отправляется в плавание, надеясь на свое везение и счастливую звезду, освещавшую его путь.

Спал Спиридон в одной комнате с владыкой, правда, на полу, чтоб вовремя вскочить и выполнить любое распоряжение своего господина. Своей каморки, кроме тайного чуланчика, он не имел, и спрятаться в случае чего ему было просто некуда. Поэтому первый гнев всякий раз падал на него, и он частенько ходил по двору, разукрашенный бордовыми кровоподтеками то на лбу, то под глазом. Нельзя сказать, чтоб владыка особо потчевал его дланью своей, чаще он предпочитал запустить в келейника медной чернильницей или песочницей из того же довольно твердого и неприятного для соприкосновения с человеческим телом металла. Или же благословлял безответного служку своего за явное или хорошо скрываемое нера-

дение архиерейским посохом, которым действовал ничуть не хуже любого витязя в схватке с неверными. Однако со временем Спиридон научился предугадывать вспышки начальствующего гнева и ловко увертывался и от летящего в него письменного прибора и посоха — непрямого жезла архиерейской власти.

\* \* \*

Но если с келейником своим владыка Симеон обходился почти что по-родственному, по пословице: кого люблю, того и дарю, то дальним от него дворовым людям приходилось не столь сладко. Любое ослушание или иная оплошность могли закончиться не только поркой, но и заключением в сыром подвале, а то и посылкой отдельно от семьи в находящийся в необжитых человеком местах дальний монастырь. И никто из служителей не знал, что последует вслед за тем, если не вовремя будет истоплена печь или позже положенного часа поданы к архиерейскому крыльцу санки для парадного выезда. Иной раз владыка мог только сверкнуть глазами на провинившегося, а мог властно махнуть рукой и отправить того совсем со двора, чтоб больше он уже никогда здесь не показывался, и навсегда забыть, кто он таков.

Но бывали и вовсе не поддающиеся описанию случаи наказания провинившихся служителей, которые потом долго жили у всех в памяти и передавались из уст в уста, обрастая несуществующими подробностями, и со временем становились такой небывальщиной, что и поверить в нее было вовсе невозможно.

А неправда, как известно, живет подле правды совсем рядом, но отличить одну от другой не каждому дано. Да и не всем нужна правильность та, ибо гораздо понятнее небылица привычная для слушателя, и ждут именно ее от рассказчика, а если не услышат, то сколько ни божись и ни клянись, обсмеют, а то и вовсе обругают вруном, не дождавшись желаемого. Тем паче, что при дворе архиерейском, где один человек другого боялся и не особо верил сотоварищам своим, силы небесные витали подле земных, что более людям простым ближе и доходчивее. А потому слухи самые невероятные, немислимые рождались непонятно откуда и вскорости разносились по всему городу, а оттуда с народом странствующим отправлялись в края иные, достигали столицы, а то и просачивались в государства иные. И чем несбыточней и жутче была та история, тем крепче в нее



уверовали, потому как исконно русскому человеку в небывальщину поверить привычней, нежели во что другое, дабы самому потом не прослыть Фомой-неверующим.

...Об одном таком случае частенько вспоминали старые служители архиерейского двора, раз за разом прибавляя каждый свой умысел, якобы ему на память пришедший. А случилось тогда вот что. Один архиерейский конюх, известный своим пристрастием к пьянству, погнал куда-то по собственной надобности на добром выездном жеребце по прозванию Монах, да и запалил того по нерадению редкому. А тот жеребец был как раз любимцем владыки Симеона, и, когда случилось ему выезжать куда, то приказывал закладывать непременно его и никого другого.

Правда, владыка по какой-то причине не признавал за ним старого прозвания — Монах, а всем велел звать его не иначе как Армагеддон, именем, которое местные конюшные никак уразуметь не могли и при архипастыре вполголоса кликали его Армянном, а без него опять же Монахом. И вот, после того как конюх коня того запалил, то сказать сразу о этом владыке побоялись, надеясь, авось пронесет.

Нет, не пронесло. Пришел срок, и потребовалось владыке ехать куда-то там по делам своим пастырским. Само собой, потребовал он запрячь любимца своего и уже на крыльцо вышел, ждет, когда коня подведут да запрягать при нем начнут. Привычка у него такая была — смотреть, как и что на дворе у него делается, все ли правильно. На то он и владыка, чтоб во все тонкости входить, за любым делом надзор иметь.

Ну, конюшным деваться некуда, ведут бедного Армагеддона-Монаха. Пока вели, то он ничего, шагал еще, незаметно, что пропащий уже. А как запрягли в праздничные, усталые дорогами коврами сани, то он несколько шажков сделал, санки за собой потянул, а силенок-то прежних нет, и завалился набок, едва оглобли не поломал, лежит себе, дышит так тяжело, едва живой.

Владыка, который не только в слабостях людских большой дока был, но и в лошадях разбирался не хуже, мигом сообразил, чьих это рук дело, и велел привести того самого конюха, что на глаза ему и показаться боялся, спрятался в самом дальнем закутке.

Нашли того, само собой, ведут, ждут, какое ему наказание за проступок сей владыка определит, меж собой гадают, чем дело кончится: или прикажет конюха выпороть, или на цепь посадит в погреб

земляной. Но вышло совсем не по-ихнему разумению, а очень даже с большой закавыкой история случилась.

Как увидел архиепископ того конюха нерадивого, так сразу брови свои седые этак к переносью свел в единую нитку. Глаза у него сделались, будто уголья в раскаленной печи, любого насквозь прожечь могут. А уж все знали: коль он так себя повел, пощады не проси и получи по первое число все, что тебе за своевольность положено.

— Ты, песий сын, запалил Армагеддона? — спрашивает он конюха.

Тот запыряться не стал, сознался в содеянном, знал, коль врать начнет, выйдет себе дороже. Так и так, говорит, моя вина, готов пострадать за то, как ваше преосвященство определит, вырешит. Только, мол, мямлит, не гоните со двора, а то не только сам, но и вся семья моя с голоду помрем. Отслужу вам и готов хоть сам заместо коня запаленного вас в санках возить. Сказать-то он это сказал, а не подумал, чем его сказ обернуться может.

Владыка хмыкнул в ответ на такие его слова, похвалил конюха за честность, за заботу о семействе своем, да и приказал:

— Коль готов, то запрягайте!

— Кого запрягать, ваше преосвященство? — не поняли конюш-ные.

— Его и запрягайте. — Владыка дланью на повинного указал.

Те перечить не посмели, кинулись исполнять и мигом надели несчастному хомут на шею и даже седелко малое прицепили, удила в рот вдели, все обставили должным образом. Заранее до того владыка велел снять с того верхнюю одежду, а сам сел в сани и взял в руки ременный кнут с тремя хвостами да хлестнул конюха поперек спины для начала в полсилы. Тот взвыл, дернулся, протасил пару сажень сани с властелином своим в сторону ворот, только с непри-вычки скоро умаялся, встал. Думал, на том и прекратится наказание его. Мол, показал радение свое, и будя. Только не тут-то было. Владыка и не думал прекращать начатое и как поддал ему плетью да за вожжи изо всех сил дернул, так, что бедолага едва зубов не лишился. И потащил любезный конюх санки дальше без остановки до самых ворот, куда владыка его направлял. Но там архиепископ, видать, передумал со двора выезжать, потянул за вожжи вбок и погнал того по кругу, пока не доехали до конюшни, где архиерейские кони стояли.

Там он и остановил сани, вышел из них и велел старшему конюху виноватого в стойло взамен запаленного Армагеддона определить и кормить одним овсом по особому его личного распоряжения. Никто и возразить не посмел, отвели того в стойло, приковали на цепь, чтоб не утек, и держали там сколько положено. Правда, вместо овса сердобольные служители носили ему пищу с архиерейской кухни, но легче от того виновному вряд ли стало. Так, понеся наказание, как многие считали, вполне заслуженное, продолжал он после все так же служить на архиерейской конюшне. Но к коням его больше не подпускали, а поручали самую черную работу: навоз убрать, воды принести. А обезножившего Монаха-Армагеддона продали за неплохие деньги кому-то из своих же служителей.

И, надо сказать, служители архиерейские после случая того владыку Симеона меж собой никак не осудили, а лишь с большим почтением относиться к нему стали. Видать, за то, что он конюх-пьяницу от себя не отрешил, семейство его без пропитания не оставил. Наказавши того примерно, простил и уже никогда о том не вспоминал. А как же без строгостей? Без них и разбаловаться можно, о долге своем забыть, в великий грех войти. Без этого русский мужик никак не может. Недаром говорят, что всякое начальство над нами от Бога поставлено, и не нам его судить, перечить, ослушание проявлять.

И все бы ладно, если бы, кроме самого владыки, других начальников над служителями его не было. Гроза, она не каждый день случается, от нее и укрыться, спрятаться можно, авось да пронесет. Хуже, когда зудят над тобой малые начальственные слепни да овод каждодневно и всякий твой шаг знают и толкуют его по-своему.

Вот именно такими малыми начальниками были архиерейские приказные Григорий Чертков и Иван Струна, которых опасались рядовые служители гораздо больше, чем самого архиепископа. И хоть были те для них даже и не начальники вовсе, поскольку занимались все больше делами бумажными, подсчетами денежными. Но, закончив их, когда владыка закрывался в своей келье на вечернюю молитву или, тем паче, уезжал куда, вот тут-то приказные и показывали, на что они способны, измывались над человеком простым как могли.

Первый из них, Григорий Чертков, был человек вида болезного и требовал лишь одного, чтоб пища была хорошо приготовлена и подавалась вовремя. За что больше всех доставалось Дарье, на которую он к тому же весьма красноречиво поглядывал, давая понять, что он

человек холостой и не прочь позволить себе некоторую вольность в обращении с ней. Сколько раз она плакала от его щипков и прижиманий, но пожаловаться владыке боялась, думая, что ее же первую и обвинят в непристойном поведении. Потом она нашла все же способ, как отплатить нежелательному ухажеру и стала что-то подмешивать ему в еду из травяных отваров, в которых разбиралась не хуже любой знахарки. Через какое-то время Чертков, который, как все заслуженно считали, свое прозвание получил не запросто так, а за дело, сделался вначале бледен, а потом и вовсе зелен обличьем. Когда приказному сделалось совсем худо, он, будучи мужиком далеко неглупым, наверняка понял, откуда ветер дует. Но никак себя ни в чем не выдал и словечка на этот счет Дарье не сказал, однако вольное обращение с ней прекратил, чем весьма ее утешил и обрадовал.

Только вот Дарьины травяные ухищрения заметила помощница ее в кухонных делах Лукерья, но решила пока что на этот счет не распространяться, побаиваясь, как бы та не отомстила ей тем же способом, что и приказному. К тому же сама она надеялась со временем перенять у нее опыт обращения с травами. Грех или нет, но едва ли не каждая незамужняя баба надеется тайны те постичь и с помощью приворотного зелья заполучить себе в женихи поглянувшего ей молодца.

Совсем другим человеком был Иван Струна, прозвание которого опять же говорило само за себя. Мог он приструнить любого, имея взгляд наблюдательный и память преотличную. Так, как-то раз на ходу, не останавливаясь, бросил он истопнику Пантелею:

«Дров чего-то мало в поленнице осталось. Ворует, что ли, кто-то...» и пошел себе дальше.

Пантелей же, как услышал слово, Струной оброненное, так и сел на пол вместе с охапкой дров, что до печи так и не успел донести. Долго он думал-гадал, как прознал Струна, что он сбывает дрова соседям своим, что держали дойную корову. А молоко от нее до за-резу нужно было его новорожденному сыну, поскольку у жены его приключилась сразу после родов какая-то болезнь, и молока материнского младенцу не хватало. Но так и не додумался ни до чего, зато стал бояться Струну пуще прежнего.

В полном подчинении у Струны оказались и конюшные, которые не то что продать клоч сена с архиерейского двора боялись, а и выехать по своим нуждам, как это везде водится, опасались, зная острый

глаз Ивана Васильевича. Некоторые так и называли его: «Наш Иван Васильевич», — вспоминая приснопамятного царя Ивана Васильевича, прозванного в народе Грозным. И держал их Иван Васильевич Струна в страхе великом, хотя ни разочка ни на кого из них владыке не пожаловался, не донес на самовольную отлучку, что, чего греха таить, поначалу частенько случались меж конюхов в самом начале появления его при особе нового архипастыря.

Зато, когда он кому-то из конюхов мягким своим говорком объяснял, что один его знакомец желал бы съездить на ярмарку или куда-то там еще, то конюх тот отказать приказному никак не смел, и гнал, куда ему приказывали, точнее, даже не приказывали, а давали намек на то. И знал доподлинно, что все будет шито-крыто и владыка Симеон об отлучке его долгой не прознает, не хватится и, соответственно, не накажет. И не один из них не мог себе и помыслить, что можно отказать Ивану Васильевичу, иначе... иначе и быть не могло, если хочешь остаться при месте и на хорошем счету.

Уже через короткий срок своего пребывания в должности архиерейского дьяка Иван Васильевич Струна стал щеголять в новых дорогих нарядах: в соболиной шапке, лисьей шубе при атласном кушаке и парчовом кафтане. Владыка, может, и обратил на то высокое свое внимание, но вида, как обычно, не подал, занятый донельзя серьезными делами по наведению должного порядка во вверенной ему епархии.

Зато остальные служители сразу же отметили произошедшие с приказным перемены и лишь качали за спиной его головами, когда тот появлялся перед ними в новом одеянии, раз за разом все более дорогим и знатном. Слава о немалых доходах Ивана Васильевича покатилась и по всему городу, чем не замедлили воспользоваться лихие люди. И как-то раз, скараулив того поздним вечером, саданули кистенем по затылку и сняли с лежащего без чувств приказного все, вплоть до исподнего. Благо, что на лежащего в беспамятстве Струну наткнулся какой-то нищий, который и дотащил несчастного до дома. Был он за то безмерно осчастливлен пострадавшим дьяком, разрешившим нищему тому бессрочно побираться вблизи главного городского кафедрального собора, приказав караульным во всякое время пускать того на паперть и не гнать, если он будет не слишком пьян и назойлив.

После того случая Иван Васильевич обзавелся большим кремневым пистолетом и перестал дотемна задерживаться на архиерейском

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

подворье, а если и случалось, то с наступлением темноты брал с собой в провожатые кого из стражников, опять же не смевших ему отказать в такой малости.

\* \* \*

Когда Спиридон по поручению владыки не меньше двух десятков раз обежал всех и каждого с одним и тем же вопросом, не видели ли они дьяка, и хотя он не говорил, зачем тот вдруг понадобился «Семушке», но все поняли — случилось что-то необычное, поскольку архиепископ никогда еще с такой настойчивостью не требовал кого-либо к себе в столь ранний час. Начались разговоры и разные высказывания на этот счет, закончившиеся одним-единственным всеобщим предположением, имевшим под собой твердую основу: не иначе как дьяк натворил что-то этакое, за что владыка спросит с него со всей строгостью.

Стали гадать, как «Семушка» поступит со своим приказным, и сошлись на том, что непременно снимет с должности и вышлет из города. Тут же началось тайное ликование, отчего все забыли о своих обязанностях и лишь истопник Пантелей, не участвующий в обсуждении столь трепетной темы, исправно топил баню, готовясь вечером принять чистоплотного владыку для очередной помывки.

Каково же было удивление всех, когда на кухне неожиданно появился Иван Васильевич Струна собственной персоной, остановился на пороге и, как всегда негромко, но с нажимом произнес:

— Так-так, лодырничает, значит...

Кухонный народ замер в полной растерянности, не зная, что предпринять, когда на Струну налетел и чуть не сбил с ног мчавшийся в поисках его в очередной раз Спиридон. Иван Васильевич слегка поморщился, оттолкнул от себя не в меру разогнавшегося келейника и осадил его прыть простым вопросом:

— Горит, что ли, где? Чего несешься, как чумной?

— Где горит? — не сразу сообразил тот и удивленно обвел кухню взглядом, но, не разглядев ничего выдающегося, протянул к дьяку обе руки и почти шепотом проговорил:

— Вас зовут...

— Куда? — на сей раз не понял Иван Васильевич и приказал службе: — А ну, дыхни?

Спиридон, который не то что вина, но и квас пил редко, обдал приказного терпким луковым запахом и повторил ту же фразу:

— Зовут вас к владыке. — А потом, чуть помявшись, добавил уже от себя: — А зачем, не знаю, но очень крепко зовут...

— Понятно, — спокойно ответил Иван Васильевич и ровным шагом направился в архиастырские покои.

Когда он покинул поварню, то у девки Лукерьи началась от пережитого безудержная икота, закончившаяся, однако, обычными для нее слезами. Дарья же, не знаяшая лучшего лекарства, шлепнула ее пару раз по щеке своей мощной дланью, и та окончательно успокоилась. Быстро посоветовавшись, кухонный народ решил отправить под дверь к владыке за сведениями из первых уст истопника Пантелея, уже закончившего банные приготовления. Тот, узнав о столь серьезном всеобщем поручении, пообещался исполнить его в точности и донести до ушей всех жаждущих знать ход разбирательства все до единого словечка из подслушанного им. Что, впрочем, исполнять ему приходилось не впервой. Стянув для верности сапоги, он кошачьим шагом прокрался на свой пост возле неплотно притворенных дверей владычских покоев и там замер, пытаясь унять свое не в меру шумное дыхание.

Когда архиепископ Симеон, увидел вошедшего к нему дьяка, то даже не дал тому слова сказать, а зычно закричал, да так, что задрожала плохо закрепленная слюда в оконцах, и дверь, за которыми стоял любознательный Пантелей, начала сама собой тихонько открываться.

— Как ты смел, гнусный враль и работник нерадивый, скрывать от меня, что грамоты мои в иные приходы, кои ты, вражий сын, должен был незамедлительно отправить, лежат под столом твоим!!! Как ты смел... — И владыка для верности грозно стукнул об пол своим посохом. — Запорю!!! Сгною за нерадение этакое!

В ответ на то Струна, хорошо знавший нрав владыки, молчал, давая тому накричаться досыта, и лишь с прищуром смотрел на него, пытаясь понять, в чем его обвиняют. Тем более что был то первый и единственный пока случай, когда владыка вдруг высказал свое неодобрение по отношению к своему ближнему дьяку. Ранее ничего подобного меж ними не случалось, и, выждав чуть, Струна посчитал себя вправе возмутиться и тоже показать, что он не лыком шит и имеет свое собственное мнение на этот счет:

— За что на меня напраслину наговариваете, не разобравшись? — спросил он с достоинством. — Третий год служу у вас и ни разочка никто меня не обвинил ни в чем дурном. Скажите, в чем грех мой, и все разъясню как есть.

— Как есть, говоришь, — с издевкой повторил его слова владыка, а потом довольно резво для своего возраста соскочил с кресла и кинулся к Струне, норовя ухватить того за рыжеватый чуб, которым тот очень гордился, и, когда надевал шапку, то прядь его обязательно выпускал наружу, подчеркивая свое малороссийское происхождение. — Я тебе покажу «как есть», — продолжал все так же громко распекать приказного владыка, раз за разом промахиваясь в своей попытке поймать чуб верткого черкасца. — Не желаешь добром признать вину свою, так знай, найду способ, как прищучить тебя. Велю пороть, как собаку шkodливую, пока не сознаешься во всем.

Архиепископ, поняв, что до чуба ему все равно не добраться, вернулся к креслу и оттуда вновь погрозил посохом провинившемуся приказному, стоявшему, на удивление, с невозмутимым видом и даже не делавшему попытки оправдаться.

— Ваше высокопреосвященство, — заговорил он, — сделайте милость, объясните, в чем виновен. О каких грамотах речь идет? Об этих? — Он указал на стопу бумаг, лежащих на видном месте на архиерейском столе.

— Об этих самых. — Владыка с силой хлопнул по ним рукой, отчего вверх поднялся столб пыли, как пар от каменки. — Почему здесь они? А быть должны в приходах, куда отписаны. А я-то думаю, отчего приказы мои не выполняются, и готов был всех их. — Он указал неразлучным посохом куда-то на стену. — К ответу призвать. А оно, оказывается, вон что... — И он замолчал, тяжело дыша, набираясь сил перед очередным взрывом своего гнева, который непременно должен был последовать. Он имел немалый опыт в дознавательстве вины подчиненных своих и мог по несколько часов кряду держать их в страхе, не переставая выкрикивать угрозы и обидные слова до тех нор, пока те не признавались в содеянном. Но случалось и так, что владыка, вконец обессиленный, валился грудью на стол, и тогда бежали за Дарьей, которая не мешкая несла свой особый травяной настой, исключительно хорошо приводивший владыку в чувство.

— Можно гляну на грамоты те? — осторожно спросил Струна, пользуясь вынужденным перерывом.



Архиепископ лишь устало кивнул, и дьяк ловко проскользнул мимо него и принялся листать злополучные грамоты, беззвучно шевеля губами.

— Похоже, все здесь и лежат, — наконец облегченно выдохнул он. — Я-то уж думал, пропало что. Нет, все на месте.

— Вот именно, что не на месте. А где они должны быть, в который раз тебя спрашиваю?! — Владыка, поднабравшись сил, собирался продолжить допрос и уже поднял руку, чтоб все же словить верткого дьяка за чуб и примерно оттащить его, но тот, вовремя почуяв опасность, отпрянул, и, уже находясь на почтительном расстоянии от стола, горячо заговорил:

— Понял наконец-то. Дошло! Вы, верно, думаете, что это те самые грамоты, что к отправке подготовлены были?

— Правильно говоришь, — подтвердил его скорую мысль архиепископ, морщась, как от зубной боли. — Чаше бы думал, глядишь, и разбираться с тобой не пришлось.

— Так те грамоты в должный срок ушли куда положено! — радостно и громко, словно глухому, закричал Иван Васильевич. — А это списки с них всего лишь. Храню на всякий случай для верности, а вдруг да понадобятся?

— Как списки? — озадаченно глянул на него архиепископ, начиная понимать, что, скорее всего, совершенно зря ополчился на приказного, который, как оказывается, не распространяясь о том, сделал списки с продиктованных ему грамот.

Он откинулся на резную спинку кресла, украшенного драгоценными камнями, присылаемыми ему в качестве подарков от состоятельных прихожан с восточных окраин епархии, и задумчиво посмотрел на Струну.

Что-то не устраивало его в объяснении расторопного дьяка. Во-первых, он не верил, что тот по своей собственной инициативе вдруг обременил себя лишней работой, чего ранее за ним никогда не замечалось. Во-вторых, было не ясно, почему не поступало ответов от находящихся в его подчинении церковнослужителей на посланные давным-давно им грамоты. Когда он месяц или два тому назад обращался с подобным вопросом к самому Струне, то тот объяснял это весьма просто: дорога дальняя, мог гонец в пути стинуть, а чаще всего намекал на нерадивость монастырских настоятелей и приходских иереев. Самому же владыке и в голову не приходило, что грамоты его

могут преспокойно лежать в соседней с ним комнате, и он частенько поминал недобрым словом всех тех, кому они были адресованы.

И вдруг его осенила мысль, которая прежде не приходила ему в голову.

— Дай сюда любую грамоту, — потребовал он у Струны.

Тот, еще не догадываясь, что задумал владыка, протянул лежавший сверху лист и заблаговременно отскочил в сторону подальше от непредсказуемой начальствующей руки с зажатым в ней посохом.

Владыка же, поднеся лист к тусклому оконцу, принялся внимательно просматривать написанное и, пробежавшись взглядом сверху вниз, бросил лист на стол и припечатал сверху своим сухоньким кулачком.

— Глянь сюда, — властно приказал он тоном, не предвещавшим ничего хорошего. И ткнул пальцем в самый низ листа, где красовалась его подпись. — Это что?

Струна по-гусиному вытянул шею и, не приближаясь к столу, внимательно взгляделся в то место, куда указывал архипастырский палец.

— Вроде как подпись ваша, — негромко проговорил он. — Она на всех грамотах проставлена, можете проверить.

— Вот именно, что моя! — вновь наливаясь яростью до багровости в лице крикнул владыка Симеон. — Как же она может быть на спичечных листах, если подлинные, с моей подписью, как ты говоришь, по назначению отправлены?!

Иван Васильевич потупился, и некоторое время стоял молча, красноречиво шмыгая покрасневшим, как и у владыки, носом. Наконец он на что-то решился и, не поднимая глаз, проговорил с расстановкой:

— Если от себя не прогоните, то скажу.

— Говори, вражий сын, а там уже мне решать, как с тобой, окаян-ным, поступить. Говори, говори, слушаю...

Владыка сразу как-то помягчал и расслабился, решив, что своего добился и главное дознание подходит к концу. Силы были уже не те, и он не мог, как в ранешние времена, по несколько часов кряду распекать таких вот пойманных с поличным служителей, грозя им всевозможными карами, да так, что многие после того выходили от него поседевшими, а иные и вовсе становились заиками на всю жизнь, уж больно грозен бывал владыка Симеон в своем праведном гневе.

Струна еще какое-то время, но уже больше для вида помялся, а потом, решившись, выдохнул:

— Подпись-то ваша, но моей рукой писанная.

— Как?! — Владыка на четверть привстал с кресла и сузил глаза. — Ты, морда твоя черкасская, выходит, руку мою подделывать выучился?! Да знаешь ли ты, что за это бывает?

— Знаю, — честно признался дьяк, — наказание великое за то предназначено. Но я руку вашу перенял не корысти ради, а для дела...

— Для какого такого дела?! — Владыку аж всего затрясло, настолько велико было его негодование на подлость приказного. — Про наказание, говоришь, знаешь, кое уготовлено за это, да? Уж не ведаю, как там у вас, в Малороссии, а у нас на Руси за такое ранее на кол сажали в пример другим, чтоб неповадно было, а теперь прямиком на плаху ведут. Правда, по милости великой могут лишь шуйцы лишить, которая в том непотребном деле участвовала. Но это редко, чаще голову долой — и весь спрос. Ведаешь ли об этом?

— Ведаю, — все так же, полушепотом, отвечивал Струна, но обычной своей уверенности при этом не потерял. — Дозвольте слово сказать, ваше высокопреосвященство.

Он знал, что владыка любил, когда к нему обращались по полному титулу, и частенько пользовался этим, желая подсластить сообщаемое при том что-то малоприятное. Сработало и на этот раз. Владыка отставил любимый им посох в сторону, что уже говорило о многом, и благосклонно разрешил:

— Говори, чего хотел, но готовься к худшему.

— Хуже, чем неверие вашего высокопреосвященства, для меня уже ничего не будет, — витиевато начал Струна, — но прошу заметить, что руку вашу повторял на тот случай, если грамота какая потеряется в дороге, а такое не раз случалось, и новую слать потребуется. А вы не всегда в городе бываете, да и беспокоить лишний раз ваше преосвященство не хотелось, потому раз попробовал, а потом и решил везде подпись вашу самолично проставить. Для пробы пера, значит.

— Выходит, что моя персона здесь и вовсе не нужна? — ехидно поинтересовался владыка. — Может, ты без моего ведома додумался какие ни есть непристойные грамоты отправлять? Скажи, пока не поздно.

— Упаси господь! — Струна, поняв, что именно сейчас может наступить перелом в настроении архиепископа, бухнулся перед ним

в ноги и принялся быстро и суетливо креститься и низко кланяться. — Крестом святым клянусь, не было такого в мыслях даже. Как можно?! Как можно такое на верного слугу вашего подумать? Да я ради вас и жизни своей не пожалею, поверьте слову моему...

\* \* \*

Архиепископ вдруг успокоился и твердо решил, что отставлять от дел дьяка он не станет и не предаст дело это огласке, а наоборот, приобрел благодаря открывшемуся вопиющему нарушению действительно верного слугу, который будет служить ему не за страх, а за совесть. Лучшего и не придумаешь. Покарать его он всегда успеет.

А вот если отдать дьяка под суд воеводе, поскольку Струна был человеком мирским, служившим ему по найму, то того, может быть, и накажут примерно, а может, и, найдя какую-то закавыку в деле, определят к себе же на воеводскую службу. В Сибири люди знающие ценятся на вес золота, да и то, пойдя сыщи такого. К тому же, отстрани он Струну от должности, действительно, встанут все дела и переписка с монастырями и епархиями, каждую грамоту хоть саморучно пиши и следи за отправкой.

Владыка встал и подошел к стоявшему на коленях дьяку, протянул ему свой висящий поверх архиерейского одеяния крест:

— Целуй, — требовательно сказал он, — и клянись, что все сказанное тобой есть истинная правда.

Струна ухватился двумя руками за крест и смачно поцеловал его, вкладывая в поцелуй для большей верности всю страсть и желание доказать свою правоту. Даже несколько слезинок выкатились из его глаз.

— Ладно, вставай, иди делами заниматься, — примирительно проговорил владыка. — А грамоты эти пушай у меня лежат на видном месте и чтоб ни одну больше без моего ведома не подписывал, а то сдержу слово и отправлю куда следует, а там сам знаешь...

— Слушаюсь, — торопливо ответил Струна. — Даже в мыслях держать ничего такого не буду. Буду вам служить пуще прежнего.

— Пуще не надо, — примирительно махнул рукой архиепископ, — иди уж...

Но когда дьяк попятился к дверям, вспомнил вдруг еще что-то и остановил того.

— Да, и вот еще что, — быстро проговорил он, — ты иконку-то повесь у себя, а то непонятно, какой ты веры, православной или басурманин

что ни на есть настоящий. Да и на службе церковной что-то давненько тебя не видел. Чтоб на Рождество был среди первых. Все понял?

— Как не понять, все ясно, как день. Выполню. Благословите, ваше высокопреосвященство.

Владыка со вздохом перекрестил его, чувствуя, что на душе у него словно кошки скребут, думая при этом, что еще немало хлопот и тревог доставит ему этот дьяк, но иного выхода, как простить его, пока что он не находил.

— Что у нас на сегодня? — спросил он, когда Струна уже подходил к двери, а с той стороны послышалась возня зазевавшегося в рвении своем услышать все до последнего словечка Пантелея.

— Совсем забыл, третий день ждут дозволения вашего высокопреосвященства о встрече с ними приезжие из Москвы. Прикажете пустить?

— Кто такие? — Владыка пожевал сухие губы и поморщился, ожидая для себя очередных неприятностей с привезенными из столицы вестями.

— Один протопоп, на службу сюда направленный, а другой — сопровождающий его пристав с патриаршего подворья. Говорит, что грамота у него к вам.

— Чего же молчал раньше? — Владыка вновь свел брови к переносью, что не предвещало для Струны ничего хорошего, и тот поспешил тут же оправдаться:

— Заняты были, писали что-то, когда к вам заглядывал, не посмел тревожить. Так звать их?

— Отправляй, конечно. Как протопопу звать, случаем не помнишь?

— Вроде как Аввакум Петров. — Струна, наморща лоб, сделал вид, что вспоминает.

— Да что ты говоришь! — воскликнул владыка. — Так то ж земляк мой и встречались сколько раз. Выходит, как и думал, не ужился с новым патриархом. Говорил ему о том, а он все не верил. — Владыка произнес последние слова уже наедине с самим собой, поскольку Струна тем временем выскользнул за дверь, спеша убраться подальше от покоев владыки, пока тот не вспомнил еще что-нибудь и не вернул его обратно.

По давней привычке он ненадолго заглянул в поварню, спеша убедиться, что там все идет как надо, и ничуть не удивился, увидев

широко раскрытые и направленные на него глаза кухонного народа, застывших в немом удивлении кухарок, как только он появился на пороге. Возле печи стоял раскрасневшийся от долгого напряжения под дверью владыки и не успевший пока что сообщить народу переполнявшие его тайные сведения истопник Пантелей, который тут же заулыбался и низко поклонился сурово глянувшему на него дьяку.

«Ничего от них не утаишь, не скроешь. А-а-а... Плевать... Рано ли, поздно ли все одно обо всем узнают», — подумал устало дьяк и велел Дарье принести к нему в комнату чего-нибудь перекусить.

— Умаялся я сегодня что-то, с утра в делах весь, — пояснил он свое желание утолить голод раньше отведенного для того времени.

— Вы уж, Иван Васильевич, берегите себя, — хитро улыбаясь, проговорила в ответ не лезшая в карман за словом Дарья, — а то на вас вон лица прямо-таки нет. Как мы без вас останемся, случись, не дай бог, что.

— Куда оно денется, лицо-то, — засмеялся Струна, оправляя чуб, — главное, чтоб голова на месте была.

Как только он ушел, Дарья ткнула Пантелея в бок скалкой и живо сказала:

— Ну а дальше-то что было?

— А, дальше-то, — не сразу вспомнил тот, на чем остановился, — вот Семушка наш и говорит черкасцу этому, мол, башку твою на плаху положу и отсеку напрочь совсем... И ведь точно, он такой, может, коль пообещает...

— Страсти-то какие! — всплеснула руками девка Лукерья и вновь заплакала, отбежав при этом подальше от уже занесшей руку для оплеухи Дарьи.

А пришедший в свою комнату Иван Струна потер ладонью вспотевший лоб и твердо решил, что пора бы искать себе иного покровителя, и желательно подальше от этих печальных мест, поскольку владыка Симеон больно горяч на руку, и случись еще что-то подобное, то в беспамятстве может если и не убить, то покалечить.

«Только где же того покровителя взять?» — с тоской подумал он, тяжело опускаясь на лавку у окна и поглядывая через оттаявшую проплешину оконца на купола громадного собора, напоминавшего могучей своей статью стоящего на перепутье витязя, прикрывая мощью своей земли русские от многочисленных недругов.

А дальше, куда ни глянь, на Софийском подворье лежал изумительной белизны снежный покров, который сколько ни топчи, ни разгребай хоть сотней лопат, а через день-другой после первой вьюжной ночи вновь оденется белой фатой, словно невеста на выданье. И эта вызывающая белизна, непорочность Сибирской земли вызывала в душе у архиерейского дьяка непонятную злость и тоску. Тоску по родной украинской стороне, откуда он бежал в поисках лучшей доли, но хоть завтра готов был вернуться обратно, если бы кто его позвал туда. Но, видать, не нужен он родной стороне, что столь легко распрощалась с ним, не заметив этой потери...

\* \* \*

Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; потому слова твои да будут немноги.

*Екк. 5, 1*

Аввакум и Климентий, который только и мечтал, как бы побыстрее уехать из распроклятого Тобольска, третий день не могли попасть на прием к сибирскому владыке. Конечно же, виной всему была стычка протопопа с архиерейском дьяком, который теперь и выдерживал их, как снопы в скирде, в сторожке при входе на Софийское подворье, где два караульных литвина резались с утра до вечера в завезенную с родины и запрещенную на Руси зернь.

Протопоп несколько раз пробовал их вразумлять, пугая Страшным судом, но те, плохо понимая по-русски, лишь улыбались в ответ и с увлечением бросали избитые до оспин кубики, каждый раз радуясь выигрышу. Правда, игра у них шла не на деньги, а на шалобаны, которые каждый из них получал за день сполна.

Оставшемуся без конской упряжи Климентию жалко было тратить личные деньги на ее покупку с рук у кого-нибудь из местных барыг. Он, наивно надеясь, что владыка, узнав о краже кем-то из монастырской братии у патриаршего человека казенного имущества, прикажет или сыскать старую, или выдать ему новую.

Сам же Климентий, обнаружив пропажу, незамедлительно подумал не на кого-нибудь, а именно на Анисима, который хоть и отпирался в содеянном, но как-то робко и неуверенно. Раздосадованный

пристав несколько раз для острастки саданул того в ухо, но оказавшиеся при том монастырские послушники заступились за товарища, и неизвестно, как бы все обернулось, если бы не появление настоятеля Павлиния, пообещавшего решить дело миром. Но вскоре настоятель опять куда-то отъехал, а вслед за ним пропал и сам Анисим, после чего пристав окончательно загрустил и впал в полное уныние. Но, будучи человеком действия, решил, что исправить положение дел может лишь владыка Симеон, который вряд ли откажет ему в столь малой просьбе, и отправился вслед за протопопом на архиерейский двор.

Аввакум же, которого по приказу дьяка не пустили дальше сторожки, в свою очередь мучился от неизвестности, поджидая со дня на день приезда в город семьи, которую негде будет разместить. В монастырь их, понятно, не допустят, да и лечь там лишнему человеку просто негде. А попросить дом под жилье, как то было положено ему по чину, было не у кого. На протопопа жалко было смотреть. Его и без того худощавая фигура стала походить на мощи ветхозаветного праведника, а кожа на лице, обмороженная в дороге, покрылась какими-то струпьями и язвами, с которыми он не знал что и делать. В довершение ко всем остальным бедам он постоянно испытывал зуд во всех частях тела после многочисленных ночных укусов кровососущих монастырских клопов, а почесать зудящие места прелюдно он стеснялся, считая ниже своего достоинства показывать собственную слабость и немощ находящимся рядом с ним азартным литвинам.

Больше всего повезло казаку, имя которого Аввакум так и не узнал. Найдя кузнеца, он заночевал в той же деревне и явился в Тобольск лишь на другой день, но в монастыре останавливаться не стал, а нашел в городе то ли родственников, то ли сослуживцев и встал у них на постой. Впрочем, Аввакуму до него никакого дела не было, и вскоре он вообще забыл о его существовании.

Если Климентий, заручившись благословлением своего московского духовника, разумно считал, что дорожному человеку держать пост в пути нет нужды, и время от времени позволял себе раздобыть где-нибудь кусок свинины или говядины, то Аввакум держал пост неукоснительно, отчего в последнее время постоянно испытывал противное головокружение и тошноту. Но, несмотря ни на что, уже на другой день по приезду в Тобольск пошел на службу в ближайший храм, поскольку монастырский из-за частых отлучек настоятеля был закрыт, где и хотел сразу же исповедаться, а если будет позволено, то



и причаститься, но выскочил оттуда через несколько минут, увидев как местный батюшка сложил пальцы в трехперстие.

«Вражья сила и сюда дошла! У-у-у... Никон проклятый!» — в который раз помянул он недобрым словом патриарха. Но постоял, подумал чуть и решил, что этак он может и совсем остаться без общения к Святым Дарам, и наперекор себе вновь вошел в храм. На исповедь к седому батюшке стояло несколько прихожан, однако те, увидев незнакомца в священнической рясе и с наперсным крестом на груди, посторонились и пропустили его вперед себя. Исповедник спросил, откуда он будет, но именем не поинтересовался, а спокойно принял покаяние, наложил епитрахиль и осенил крестом.

— Могу ли принять причастие в день завтрашний? — спросил его Аввакум, которому почему-то очень хотелось, чтоб ему именно сейчас было в просьбе его отказано, тогда не нужно будет снова идти на службу, которая велась по новым правилам.

— Причастись, сын мой, — спокойно разрешил тот, — правила знаешь. И молитву, молитву перед причастием не забудь прочесть.

Причастившись на другой день, Аввакум почувствовал себя значительно уверенней и решил поискать приход, где может быть, служба ведется по старым обрядам, намереваясь посетить для того все городские храмы. Но сейчас главным для него стало обзавестись как можно быстрее жильем и своим собственным приходом, где он непременно будет служить по старому канону. В монастыре он узнал, что в городе имеется лишь один протоиерей, а попросту говоря, такой же, как и он, протопоп, служащий в кафедральном Софийско-Успенском соборе. Значит, он будет вторым человеком, имеющим чин выше иерейского, а это что-нибудь да значит. Оставалось лишь встретиться с сибирским владыкой Симеоном, чтоб заручиться его благословением и поддержкой, в чем Аввакум немало не сомневался.

...Когда архиерейский келейник заглянул в сторожку и сообщил, что архиепископ ждет их, то Климентий от радости аж подпрыгнул, Аввакум же встал с лавки, поискал глазами икону и, не найдя, перекрестился на восток и, обратясь к прекратившим на время игру литвинам, сказал:

— Благодарствую, что приютили на время, мужики вы, видать, люди добрые и души у вас не до конца испорчены, но скорбеть буду, что в Царствие Божье они не попадут. Я к вам еще на днях загляну,

## СТРАНА ПЕЧАЛИ

поговорим о душах ваших бессмертных и о том, какую несправедливую жизнь ведете.

Литвины, скорее всего, мало что поняли из слов его, переглянулись меж собой, а потом громко засмеялись, и один из них проговорил фразу, которую они употребляли в подобных случаях:

— Иди, батя, иди... — И махнул вслед ему рукой, красноречиво давая понять, что разговор на этом окончен.

\* \* \*

...Архиепископ, успевший прийти в себя после долгой и страстной беседы с дьяком Струной, принял приехавших вполне радушно и со вниманием, благословил обоих и предложил присесть на стоявшую возле стены вместительную лавку.

— Как добрались? — поинтересовался он больше для вида, давая понять тем самым, что особо временем для разговоров не располагает.

— Спасибо, благодарствуем, — ответил за всех Климентий, хотя Аввакума так и подмывало рассказать и о порядках в тюменском монастыре, и о краже упряжи, и о том, что под носом у сибирского владыки караульные режутся в запрещенную царским указом зернь, но патриарший пристав успел уже достать из подорожной сумы свернутую в трубку грамоту и через стол подал ее архиепископу.

Тот глянул на печать и нахмурился.

— Давно в городе?

— Третий день уже, — отвечал опять же Климентий, ощущавший себя главным, — никак до вашего высокопреосвященства попасть не могли и...

— Порядков не знаешь, — сухо перебил его владыка, — ко мне далеко не каждого допускают. Или не мог передать грамоту приказным людям? Твое дело — доставить, и на том спасибо.

— У меня к вам, ваше высокопреосвященство, еще и другое дело есть, — замямлил Климентий, которому далеко не каждый день приходилось встречаться со столь высокими персонами, и если бы не кража сбруи, то его бы и калачом не заманить в приемную владыки. Сейчас же он растерялся, нервничал и не знал, с чего начать, опасаясь, как бы архиепископ не велел ему прямо сейчас покинуть покои.

Симеон заметил его растерянность и, понимая, что хотя перед ним находится всего лишь пристав, но все же прибывший из Москвы, с па-

триаршего подворья, и уж чего он там наговорит, возвратившись обратно, своему начальству, а там, глядишь, и до патриарха слова его долетят, то одному Богу известно. А потому пересилил себя и мягко спросил:

— Какое такое дело? Выкладывай. — Сам же перевел взгляд на Аввакума и чуть заметно улыбнулся ему, давая понять, что с ним у них разговор будет отдельный. Улыбнулся в ответ и Аввакум, полагая, что теперь-то все непременно у него сладится и сумеет он обосноваться в Тобольске должным образом и семью примет, а там, глядишь, заживут не хуже прежнего.

Климентий же сбивчиво рассказал, как он спрятал конскую сбрую в монастырской конюшне, а утром не мог ее найти и теперь не знает, как быть, а время идет, нужно ехать, а он вот никак не может...

Владыка, взгляд которого становился все более ироничным, слушал его не перебивая, думая при том, что даже такую мелочь не могут решить без его участия, а сам размышлял, правильно ли поступил, согласившись в свое время с назначением на сибирскую кафедру, и даже непомерно тому возрадовался. Как же все не соответствовало его представлениям о собственном предназначении в роли сибирского владыки! Думал стать вершителем судеб всего православного люда, заниматься делами великими, а выпало вот — искать украденную кем-то из монахов сбрую! Да разве стал бы иной владыка там, в России, заниматься подобным? Выставил бы просителя да еще напоследок велел плетей ему всыпать для прибавки ума, а тут...

— И что же ты от меня хочешь, сын мой? — насмешливо спросил он раскрасневшегося от долгой речи возницу. — Неужели думаешь, что сейчас вот кинусь искать твою сбрую? Она кому была выдана? Скажи...

— Мне была выдана, — покорно кивнул головой Климентий, который уже и не рад был, что затеял все это разбирательство, из чего, как он теперь понял, вряд ли что выйдет. Лучше бы купил у кого злополучную сбрую по дешевке и давно бы уже ехал обратно. А так, на покупку одной еды только сколько денег ушло...

— А раз она тебе была выдана, то и спрос с тебя. Может, ты ее продал кому, пропил или чего другое, а теперь на добрых людей напраслину возводишь.

— Да никогда, — попытался вставить слово Климентий, но тут же умолк, понимая, что слушать его оправдания владыка вовсе не намерен.

— Недосуг мне пустяками разными заниматься, только и скажу тебе.

— Владыка, ваше высокопреосвященство, помилосердствуйте! — запричитал Климентий, прижав к груди обе руки. — Как же мне обратно ехать?

— А зачем тебе обратно? Оставайся здесь, Рождество святое с нами встретишь. На службу к себе приму, а там, глядишь, и на новую сбрую заработаешь, тогда и вернешься обратно. Я же патриарху отпишу, что при себе тебя оставляю. Так, думается, всем лучше будет. И овцы целы и волки сыты. Как? — спросил он, с улыбкой глядя на протопопу, который с интересом наблюдал за происходящим. — Вон, батюшка Аввакум специально в Сибирь на службу приехал, и ты оставайся.

Из глаз Климения брызнули слезы, и он, не помня себя, попятился к выходу и пулей вылетел из покоев владыки. Тот же поманил к себе Спиридона, чья голова просунулась в дверь в ожидании распоряжений.

— Скажи конюху Максиму, чтоб выдал этому бедолаге из запасов своих сбрую какую, только не новую. Запомнил? — погрозил он пальцем келейнику. — А то опять все перепутаешь, тогда с тебя взыщу. Иди. И скажи Дарье, чтоб покормила этого... как его... — он вопросительно глянул на Аввакума.

— Климентий, — подсказал тот.

— Да, Климения. А дьяку передай, чтоб бумаги ему на обратную дорогу сегодня же выправил, а то знаю я его — будет тянуть не только до Рождества, но и до Пасхи самой.

Когда Спиридон, не промолвивший ни слова, исчез, то, обратившись к Аввакуму, владыка проговорил почти что ласково:

— Садись, батюшка, в ноги, как говорится, правды нет. Да у нас, как погляжу, и от долгого сидения правды той не прибавляется. Рад тебе, нескончаемо рад. Честно скажу, когда просил патриарха прислать ко мне в епархию протоиерея, то никак не ожидал, что именно тебя направят.

— Честно сказать, и сам не ожидал, что в Сибирь попаду, — отвечал Аввакум, присаживаясь на стоящую у стены лавку.

— Значит, так тебе на роду написано. Выглядишь ты больно уставшим. По себе знаю, дорога сюда нелегко дается, еще и дни постные... С семьей приехал или один пока что? Разместили тебя где или в монастыре подгорном на постой определили?

— Там, — односложно ответил Аввакум, и от радушного приема владыки ему вдруг расхотелось жаловаться на мытарства, которые он претерпел за это время. Разве его это дело — заниматься, по сути дела, доносительством? Есть у сибирского владыки специальные на то люди, пусть они за порядком и смотрят. А у него и своих забот полон рот. Потому он заговорил совсем о другом, нежели собирался сказать до этого, вынашивая разные наиболее хлесткие и обличающие сибирский быт архиерейских служителей фразы:

— Мне бы сейчас, главное, с жильем определиться. Семья моя должна со дня на день прибыть, а их в монастырь не поведешь. Младшенький мой разболелся, пришлось оставить их, хворых, на лечение, а сам вот наперед поехал.

— Как же, как же, — согласно закивал владыка, — найдем и жилье. Зайдешь к дяку моему, будь он неладен, только что его за чуб тузил, — слегка преувеличил он свои заслуги в неравном поединке с Иваном Струной, — скажешь, чтоб подыскал тебе дом для жительства. А как отдохнешь, на службу в храм городской определяю, поставлю над приходом, в котором люди достойные проживают. Сам местный воевода с семейством своим туда ходит.

Про жилье Аввакуму было как-то неудобно интересоваться, надеялся, что ему, протопопу, отведут что-то вполне благопристойное, соответствующее чину и званию. Зато тотчас спросил о приходе, где предстояло служить:

— И что это за приход? При каком храме? — полюбопытствовал Аввакум, который уже неплохо знал местоположение городских церквей и где находится воеводский двор.

— Храм Вознесения Господня. Поди, видел его, в двух шагах от главного нашего Софийского собора. Там и будешь. Еще спасибо мне за то скажешь, хороший приход, люди достойные там, — зачем-то еще раз повторил уже сказанное владыка.

— Как вам угодно будет, — ответил Аввакум. — А как же прежний настоятель? Его куда? Не хочу живого человека с места сгонять.

— Пока вместе служить будете, а там поглядим. У меня давно просьба прихожан из Березова лежит о присылке к ним иного пастыря, а тот, прежний, пьет безбожно и никакой управы на него они найти не могут. Верно, туда отца Аверкия и направлю, как только престольные праздники закончатся.

— Его, значит, Аверкием зовут?

— Да, — рассеянно ответил архиепископ и задумался о чем-то своем.

Аввакум решил было, что прием на этом закончился, но владыка, увидев, что он встал со скамьи, остановил его движением руки:

— Погоди, успеешь еще и разместиться и семью встретить. Поговорим чуть, не каждый день встречаюсь с человеком из Москвы, тем более земляком своим. Как тебе город, отец Аввакум? Поглянулся?

— Непростой город, — вспомнил тот слова Климентия, — и люди тут непростые живут. Лучше я вас, владыка, послушаю. Вы тут уже который год служите?

— Третий годок пошел. А кажется, что вот только вчера приехал. Многое тут было и до меня сделано, особенно первым владыкой Киприаном, достойный муж был, — еще раз повторил архиепископ, как видно, понравившееся ему слово, — но дел еще столько, что, как подумаешь, жуть берет.

— Помощников бы вам достойных, — согласно кивнул Аввакум и поймал себя на том, что вслед за владыкой повторил привязавшееся словечко.

— Э-э-э, вот с этим как раз и худо, — живо откликнулся тот. — Мало того, что верных людей нет совсем, так половина в Бога, прости меня, Господи, не верят. Может, конечно, и верят, без Бога в душе никто на свете не живет, но уж больно по-своему. О спасении души совсем не думают!

— Как же так? — озадаченно спросил Аввакум и тут же вспомнил литвинов-караульчиков, что встретили смехом его речи о Страшном суде.

— А вот так! — Владыка рад был высказать то, что у него, видать, давно накопело. — Все поголовно только торговлей и заняты, мошну набивают, о собственной выгоде пекутся, а как обратишься к ним, чтоб жертвовали на строительство церквей и храмов, то начинают об убытках толковать, мол, мало пока что скопили. Будто бы они достаток свой на тот свет с собой заберут. Тьфу, и говорить о том не хочется!

Владыка ненадолго замолчал, словно вспоминал что, а потом заговорил вновь, но уже не столь запальчиво:

— Летом случай был, один торговый человек занемог, понял, недолго жить ему осталось, решил деньги свои, что за жизнь скопил, пожертвовать на строительство часовни, а если хватит, то и храм на

них возвести. Я же как раз давно замыслил в одном памятном для всех месте новый храм соорудить. Недалеко от Тобольска, съезди обязательно, когда потеплее будет, выбери время, погляди. Ивановской горой называется. Там когда-то чудесное исцеление слепой случилось, когда в Абалак чудотворную икону Матушки нашей Заступницы Богородицы несли. Да ты ведь, поди, и не знаешь о том, — спохватился он, — тут в нескольких верстах имеется чудотворная икона, образ которой уже почти два десятка лет назад явлен был жительнице одной. А местный иконописец икону и написал. Вот. Так о чем же я? — Он потер лоб, и только сейчас Аввакум заметил, что и владыка выглядел не совсем здоровым, по крайней мере, усталость сказывалась во всех его движениях.

«Да, нелегко ему, как видно, — подумал он. — Но ведь каков, вида не показывает, молодцом держится!»

Владыка же, преодолев усталость, вызванную, скорее всего, вчерашним недосыпанием и долгим изнурительным постом, продолжил:

— Решил я под той Ивановской горой храм заложить, а потом, коль Бог даст, и монастырь небольшой поставить. Места там благостные: гора высокая, река рядом. Тишина! Покой для души! Улада несказанная! Когда мне доложили, что больной тот решил на храм все скопленные деньги оставить после смерти своей, то, ясно дело, велел лес присмотреть для строительства, рабочих нанять. Все и сделали. А он в аккурат на Успение и преставился. Отпели его, погребли в приличном месте, ни копейки с детей его и других родственников за то не взяли. Через девять дней через положенный срок отправляю к ним человека своего, мол, так и так, батюшка ваш завещал деньги, что после него остались, на божий храм передать. А те и слышать ничего не хотят! Какой такой храм? Ничего не знаем и ведать не ведаем, а деньги нам самим позарез нужны! Ну, что тут делать станешь, когда у людей совесть в сундуке с барышами запрятанной лежит? Точно говорят, речи слышим, а сердца не видим, — сокрушенно вздохнув, закончил владыка. — А знаешь, что еще тебе скажу, — вдруг встрепенулся он, — этим дело-то не кончилось. Через какой-то срок наш воевода-князь Василий Иванович Хилков ко мне собственной персоной пожаловал. Да не один, а с ближними людьми своими, человек с двадцать будет. Спиридон, келейник мой, бежит ко мне, глазища ажно из глазниц выскакивают, и кричит на весь двор: «Воевода!!! Сам воевода, владыко, к вам пожаловали!»

— Эка невидаль! Воевода! — не сдержавшись, хмыкнул архиепископ, чем вызвал улыбку и у Аввакума. — Прежде он как-то не хаживал, а тут нате-здасьте, прибыл! А ты сам видишь, каковы мои покои, не знаешь, где и приять такого человека, да еще и со свитой. Ладно, что лето стояло без дождей, велел его в сад провести, а сам сказал келейнику, чтоб помог мне облачиться как должно, словно на главнейший престольный праздник, и лишь после сам к ним в сад вышел в полном архиерейском облачении, с посохом в руках, и встал шагах в нескольких...

Владыка, словно представляя, как все происходило, поднялся с кресла, взял в руки посох и сделал несколько шагов по направлению к Аввакуму и принял должную позу. Аввакум же, хоть и в глаза не видел воеводу Хилкова, но тут же нарисовал в своем воображении происходящее: увидел и воеводу со свитой и вышедшего к ним архиепископа в полном архиерейском облачении. Картина получалась довольно-таки живописная, но в чем-то и комичная, особенно в пересказе владыки Симеона, который время от времени строил гримасы и подмигивал Аввакуму, мол, знай наших, и мы разумеем не хуже некоторых, что почем на этом свете, впросак не попадем, хоть и далеки от мирских дел грешных.

— Вышел, значит, я к ним, остановился, не подхожу ближе, жду, когда они сами ко мне направятся под благословение. Те поняли, подошли, благословил их всех до единого. Тут лавки принесли, стол накрыли служители мои, но все скромно, без особого возвеличивания. Чай, не праздник какой, не торжество великое.

Изобразив прием высоких гостей, владыка прошел обратно к своему креслу и сел, оставив посох на расстоянии вытянутой руки, и опять доверительно улыбнулся Аввакуму.

Вот князь для начала поинтересовавшись моим здоровьем, пустяками разными и говорит мне: «Знаю, владыка, задумали вы под Ивановской горой храм заложить, а денег у вас на то нет...»

Я же молчу, а что скажешь, когда так оно и есть? Но признаваться в том кому хочется? Неловко говорить как-то про деньги с высоким гостем, жду, что он дальше сказать изволит. Он опять же: «У меня, — говорит, — на епархиальные нужды тоже денег нет, но зато могу пожертвовать лес и железо, что после разбора сгоревших домов городских осталось. Отправьте людей своих, чтоб дома разбирали и брали все, что для дела сгодится». — И замолчал после слов этих, ждет, что отвечу ему.



Выслушал я это его великодушное предложение и говорю в ответ: «Спасибо, князь, что о нуждах наших радение проявляете, Бог вас за то не забудет, и мы в молитвах своих помянем. Строиться действительно хотел близ Ивановской горы и отписал о том и царю и патриарху, и даже разрешение от них получил. Должно быть, и вам прислали из Москвы грамоту на этот счет. Но только время не пришло строительством заниматься после пожара большого, что случился недавно. Нам бы с прежними строениями разделаться и храмы старые заново отстроить, а потом непременно и новым строительством займемся. Так тому и быть».

Он слова мои выслушал, но все ли понял, не знаю. Переспросил: «И как с домами быть, что мы разбирать собрались? Будете их брать? Если будете, то направляйте людей, им покажут на месте, пусть выбирают, какие сгодятся для нужд ваших».

Что ему скажешь на это, а отвечать надобно, поскольку столько людей рядом, и все они каждое мое слово ловят, а потом молва о том по всему городу, да что там городу — по всей епархии и дальше разнесется. Откажешь князю, будут говорить, что владыка Симеон не хочет принимать от власти то, что даром дают. Примешь, опять же вывернут все наизнанку, будто бы дошли мы до жизни такой, что и горелый лес на церковь готовы взять от нищеты нашей.

— Да, непростой вопрос, — подал голос Аввакум, которому стало и в самом деле интересно, какой выход нашел архиепископ в столь каверзном предложении. — И как же вы, владыка, князю ответили? Приняли дар? Или отказали?

— А ни того, ни другого не сделал, — рассмеялся тот неожиданно звонким серебряным смехом, говорившим, что и он человек живой души и ничто мирское ему не чуждо. — Сам понял, что хотел князя меня прищучить и ославить потом, да не вышло у него. Он мне не начальник, хоть и роду княжеского. Да не более того.

Отвечаю я ему так, чтоб и он все понял и до людей его дошло: «За кем нет погони, тот не бежит. И нам спешить некуда. Только известно мне воевода-князь, что после последнего пожара много людей без крова осталось и живут они где ни попадя. Не по-божески это. Нужно на город хоть одну богадельню построить, чтоб приют несчастным тем дать. Как было бы хорошо, если бы вы все, что от разобранных строений останется, на богадельню ту и пустили. Недаром говорят, что сила Господня в немощи свершается. Кто добро творит, тому Бог второе добром отплатит».

— И что же князь? — тоже от души рассмеялся протопоп, у которого симпатия к владыке заметно возросла за время их короткого разговора. — Интересно, что он ответил, но хорошо представляю, какая гримаса у него на лице изобразилась.

— А что он мог на это ответить? — со смешком проговорил архиепископ Симеон. — То он меня хотел в неловкость поставить, а вышло наоборот. Заерзал он поначалу, а потом, как мы с тобой сейчас, хохотать принялся. Посмеялся и толкует мне: «Добрые люди говорили мне, что владыка наш умен, а теперь и сам в том убедился. Твоя правда, негоже с пепелища тащить старье разное на храм Божий. Из щеп хлебки не сварить. А вот для богадельни в самый раз пойдет все, что от разборки останется. Слышите, — людей своих спрашивает, — что владыка сказал? Так и поступайте».

Собрался он было уходить, а потом замялся чуть, чую, хочет еще что-то там сказать, но при людях своих не решается. Я это дело заметил, пригласил князя как будто бы сад свой показать, хотя, по чести говоря, глядеть там особо и нечего. Пошли мы с ним вдвоем, словно друзья закадычные, хотя у каждого на уме своя думка, но если со стороны глянуть, то, как есть, два дружка прогуливаются. Чуть отошли, князь мне и говорит: «А, знаешь ли, владыка, что в городе о тебе слухи недобрые ходят?»

Я ему: «Слух, то не человеческий дух, его кулаком зараз не вышибешь. А бороться с ним одним способом можно — внимания не обращать».

Князь в ответ: «Правильно, владыка, говоришь. Но все одно скажу, о чем народ шушукается. Обвиняют твое высокопреосвященство в корысти. Будто бы хотел ты деньгами и имуществом завладеть известного тебе торгового человека, который не так давно в иной мир отошел. Родственники его на всех углах только о том и толкуют. И мне не верится в то, но на каждый роток не накинешь платок».

— Неужели есть такие люди, что могут, словно аспиды поганые, человека жалить ни за что? — живо воскликнул Аввакум, которого задела рассказанная владыкой история. — И что же вы сделали с теми людьми?

— А ты бы как поступил на моем месте?

— От церкви бы отлучил! — не задумываясь, отвечал протопоп. — Пусть потом перед людьми оправдываются, что да как.

— Горяч ты больно, батюшка. Молод еще, хоть и повидал, может быть, немало. Если бы так, то половину сибиряков от церкви пора

уже было отлучить. А кто в храмы ходить станет? И так полупустые стоят. Да что тебе рассказывать, сам скоро узнаешь, как на приход поставлен будешь. Ладно, закончу свой рассказ. Поблагодарил я тогда князя за слова его, что от души шли, попрощались мы. У каждого свои заботы, и в нашем с ним положении лучше, когда один другого не касается. Так зачем, думаешь, все это тебе рассказываю? Надеюсь, и сам догадался уже?

Владыка пристально глянул на Аввакума и совсем еще недавно лучившиеся светом и теплом его карие глубоко посаженные глаза блеснули холодком, и в них явно читались душевная сила и власть, которой он обладал, находясь на столь высоком посту.

— Как не понять, — живо откликнулся Аввакум, вновь вставая, надеясь, что на этот раз их беседа закончилась, — в назидание это все вы мне рассказали. Правильно говорю?

— Правильно, правильно, сын мой, — согласился архиепископ. — Знай, здесь не Москва. Сибирь! — Он вложил в это слово несколько угрожающий смысл. — С жителями местными держи ухо востро, но и худого о них не думай. Народ разный, есть такие, что последней рубахи для ближнего не пожалеют, а иные только и думают, как бы соседа или родственника своего со свету сжить. Порядки эти не мной заведены и не мне с ними бороться. Да что говорить, сам со временем все поймешь. Особенно с моими приказными будь настороже, у них в самой Москве покровители имеются, с которыми и мне иной раз трудно тягаться.

Аввакум никак не ожидал подобной откровенности и даже крикнул в изумлении, начиная понимать, что и сам владыка находится здесь в довольно затруднительном положении.

— Отчего же не убрать их с глаз долой? — наивно поинтересовался он. На то вполне хватит вашей власти.

— Думал о том, и не один раз. — Владыка из человека жизнерадостного и остроумного превратился вдруг в усталого старика, которому в тягость каждое движение, а врученная ему власть лишь утомляла и тяготила. — А где иных взять? Главная наша сибирская беда — нехватка людская. Эти хоть через пень-колоду, но какое-никакое дело делают. На мне ведь более двух сотен приходов лежит, за всем пригляд нужен: отчеты с них получить, все подсчитать, переписать, занести куда положено. Приказные мои хоть и пройды великие, но грамоту разумеют, а коль их лишусь, то все дело мигом встанет. К тому же, говорю тебе, только тронь их, такой вой подымут, мало не покажется.

Ко мне в свиту каждый был кем-то там направлен по просьбе знакомцев моих, с коими мне отношения портить никак нельзя. Я же винным и останусь. Так что, как видишь, оно только издали кажется, что сибирский владыка он владыка и есть над людьми своими. А на деле все не так-то просто...

Архиепископ ненадолго замолчал, словно вспомнил что-то более важное, не связанное с каждодневной суетой, и взгляд его при этом чуть затуманился. Аввакуму не оставалось ничего другого, как ждать, когда тот в мыслях своих вновь вернется на грешную землю. Через какое-то время владыка встрепенулся, внимательно глянул на протопопу и сказал:

— Ладно, что о том толковать, что воду в ступе толочь, то моя печаль. Расскажи лучше, что на Москве творится, делается? Всего-то год там не был, а, думаю, многое переменялось. Кстати, — вспомнил он неожиданно, — провожатый твой грамоту доставил, а я за разговорами и не поглядел, о чем она. Надо прочесть, а то, коль отложу, вновь забуду о ней, — как бы извиняясь, заявил он и с этими словами быстро сорвал печать и развернул доставленное ему Климентием патриаршее послание.

Аввакум так и остался стоять, не зная, удобно ли будет уйти, не закончив разговор. Потом подумал, что он не выяснил самое главное, не определился со своим жильем и размещением, а потому вновь опустил на лавку, дожидаясь, пока владыка закончит чтение.

\* \* \*

Тот читал, далеко отставив от себя полученный документ, чуть щури при этом глаза. Но чтение закончил довольно быстро, свернул лист и положил его перед собой на стол и проговорил с усмешкой:

— Хоть не вспоминай о Москве этой, легка на помине. Велено быть мне там в скором времени.

— Как скоро? — поинтересовался Аввакум, и у него болезненно защемило в груди, будто вызывали в столицу не архиепископа, а его самого.

— Сразу после праздников выезжать нужно, чтоб на собор успеть.

— Не успокоится наш патриарх никак, — заметил Аввакум, надеясь узнать, как прореагирует на это владыка. — Один собор за другим созывает, словно и заняться ему больше нечем.

— Чем же тебе патриарх наш не угодил? — спросил архиепископ и внимательно глянул на него. — Рассказывай, все одно рано или поздно узнаю о том, когда до Москвы доберусь.

— А чего рассказывать, — нехотя отозвался Аввакум, хотя понимал, владыка прав и лучше рассказать обо всем произошедшем самому, чем тот услышит об этом из чужих уст. — Известно вам, что собирались мы с протопопами Стефаном Вонифатьевым и Иваном Нероновым да еще несколько служителей ревностных, рядили, судили, как в церковной службе благочестия наивысшего достичь. А по смерти патриарха Иосифа, в апреле прошлого года, было предложено стать патриархом всея Руси не кому другому, а именно протопопу Стефану, если он постриг монашеский примет. Он же, подумав короткий срок, отказался от чести этой и сказал нам: «Есть человек, как и мы, с тех же самых краев, а ныне митрополит новгородский Никон. Его и следует приглашать на Святой престол». Мы же, не смея перечить ему, согласились с тем и царю о том свое послание отправили. А когда избрание Никона патриархом случилось и начал он старые церковные правила менять и новины разные вводить, то отец Стефан первым и воспротивился, за что и пострадал и в ссылку направлен был. А потом и до меня, грешного, очередь дошла...

Аввакум, во время своего рассказа смотрел чуть в сторону от архиепископа, почему-то не желая встречаться с ним взглядом. Но, остановившись, твердо глянул на того, желая прочесть поддержку или, наоборот, осуждение в глазах сибирского владыки, но обнаружил лишь живой интерес, который тот проявлял к нему, и, спустя какое-то время, подбодрил протопопа:

— Что же остановился, батюшка Аввакум, продолжай, что с тобой дальше-то приключилось, а то мне добрые люди разные разности про ссору твою с патриархом нашим рассказывали? Интересно было бы и твой рассказ услышать. Говори смело.

— А никакой ссоры и не было, — с досадой сжал кулаки Аввакум, — обошелся со мной Никон жестокосердый, как с кутенком слепым, которого за ненадобностью в реку бросают, полагая, что так для всех лучше будет. Так и меня он сюда в Сибирь отправил, не спрося о том.

— То, что не спросил, мне понятно. А причина какая тому? — подтолкнул его Симеон к более подробному изложению предшествующих тому событий.

Аввакум чуть помялся, поняв, что от серьезного разговора не уйти. Владыка явно был уже раньше осведомлен о том, что случилось с ним, протопопом, в конце лета в Москве, и желал сличить все сказанное им с рассказами наушников своих.

— Когда отца Стефана из столицы выслали, то поехал я его провожать, а вернувшись, не стал вместо него служить в Казанском соборе, как то мне было по положению моему должно, а служил полунощнику в церкви Аверкия, что в Замоскворечье стоит. Но и там делать это мне не дали враги наши, и пришлось мне тогда служить всенощную в доме отца Стефана, где и жил тогда.

— Как же в дом прихожане твои вмещались? Полагаю, немало их было, что за тобой туда пришли.

— Немало, — согласился Аввакум, — человек с полсотни, иногда и поболее того, — в очередной раз горестно вздохнул Аввакум. — Только службу вел я не в самом доме, а в сарае, где обычно зерно сушат, так сушильной и называемой...

— Как в сарае?! — ахнул владыка Симеон. — В неосвященном сарае всенощную? Сроду мне подобного слышать не приходилось.

— А куда было деваться? — развел руками протопоп. — Другого ничего мне не оставалось. А я вам, владыка, так скажу: в некоторое время и конюшня иной церкви лучше бывает. Вспомните, как поступил святитель Иоанн Златоуст, когда изгнан был. А мне, горемычному, что оставалось, когда меня из всех храмов выбили?

Но и этого им показалось мало, призвали пристава Борьку Нелединского и с ним стрельцов, а те во время службы ворвались в молельню нашу, обступили, словно басурманов каких, со всех сторон, книги служебные на землю поскидывали, а меня, раба Божьего, схвативши за волосы, хоть и был я в облачении священном, тузить не на шутку начали, а потом и прихожан моих похватили и в застенки кинули. Об остальном вам, владыка, и без меня известно.

Аввакум вновь замолчал и исподлобья глянул на архиепископа. Но на этот раз нашел во взгляде его отнюдь не сочувствие, а начальственное осуждение и полное непонимание. Он в очередной раз тяжело вздохнул, словно пытаясь вздохом этим дать понять тому, насколько нелегко ему пришлось.

— Вижу, раскаяние тебя пока что не посетило, — словно подводя итог их разговору, проговорил архиепископ, — но ничего, край этот

как нельзя лучше для раскаяния создан. Поживешь тут — и на многое иначе смотреть начнешь.

— Ваша правда, — легко согласился Аввакум, — раскаяние есть первейшее средство к очищению души, в том не сомневаюсь. Но можно ли и мне вопрос задать вам, владыка? — И, не дожидаясь ответа, тут же спросил скороговоркой: — Перед Богом готов хоть сейчас ответ держать, но как мне раскаяние принести тому, кто, словно волк, в овечью шкуру влез и церковью нашей святой управляет?

— О ком это ты? — спросил его архиепископ, хотя прекрасно понимал, на кого намекал протопоп. — Ты, батюшка Аввакум, того, язык-то попридержи, а то... Разных смельчаков мне видеть приходилось, но мало кто из них своей смертью умер. Так и ты о семье, о детях малых подумал бы. На кого их оставишь, когда с тобой что случится?

— На Божье заступничество уповаю, — без раздумья отвечал протопоп, не желая прислушаться к осторожным намекам сибирского владыки, который был совсем не в восторге от подобных высказываний. — Нет никого сильнее на земле, чем Господь, и ему вручаю душу и жизнь свою. Ему судить, кто из нас прав, а кому... — Аввакум вдруг поперхнулся и прервал свою страстную речь на полуслове и тяжело закашлялся.

— Вот и весь ответ Господа на слова твои, — указал владыка вытянутым пальцем на него, — негоже вступать в спор с патриархом нашим, который от Бога над нами поставлен, и не где-нибудь, а на соборе архиерейском избран на пост сей...

— Он?! От Бога?! — взорвался Аввакум, с трудом уняв кашель. — Никитка этот, блудень великий, не Богом, а противником его извечным поставлен, а потому, скажу я вам, вслед за тем грядет антихрист, и с ним конец света явлен будет!

— Полегче, полегче, сын мой, — попытался урезонить его архиепископ, с опаской поглядывая на дверь, — а то слова твои мигом патриарху известны могут быть...

Но Аввакум, впад в привычное ему состояние, когда он готов был обличить всех и каждого во всех смертных грехах, не желал слушать предостережений, а наоборот, стремился высказать все, что накопилось у него на душе за все время путешествия из Москвы в Тобольск.

— А мне нечего бояться. Самому Никону не побоюсь в глаза все высказать. Да и кто он таков, чтоб мне, русскому протопопу, выскочку этого опасаться? Я этого бродягу давненько приметил, еще когда он

в Макарьевом Желтоводском монастыре на клиросе подвизался, книжки разные читать начинал. Только они для его умишка тяжелы оказались, вот и повело Никитку в крайность, решил упростить их, поисправлять на свой манер, на что никто до него не решался.

Аввакум, войдя в раж, не мог видеть самого себя со стороны и даже не догадывался, как неузнаваемо исказилось его лицо: запали внутрь щеки, нос стал походить на птичий клюв, а глаза буквально вылезли из орбит, и казалось, вот-вот выскочат совсем. Он уже не говорил, как ранее, обдумывая каждое слово, а сыпал обвинения, словно горох из ведра, теряя при этом саму нить разговора.

— Он ведь кто есть сам, Никон этот? Детинка крестьянская. Отец его — черемисин, а мать то ли Минкой, то ли Мариамкой звали, из татар... Люди, знающие ее, болтали, будто она с русалками зналась и прочей нечистью, колдовала, отчего и погибель свою нашла. Никитка же от нее колдовство перенял, с девками и бабами распутными блудил, пока не застукали его почтенные люди с дочерью своей. Жениться заставили, к священству определили, не знаю уж каким путем. А потом Господь его покарал, призвав к себе деток его безвинных. Грешно, конечно, так говорить, но иначе не скажешь. Так он ведь уговорил после этого женку свою в монастырь уйти и сам постриг принял на Белом озере в скиту. И все мечтал, как бы ему наверх выбиться-пробиться. Так все выше да выше, да и попал к чертям в атаманы...

— Стой, погоди, — попытался урезонить его владыка, подбирая различные доводы в свою пользу, — мало ли что до того было, но теперь-то он жизнь праведную ведет, и с ним сам царь советуется...

— Он?! Жизнь праведную?! — Аввакум соскочил с лавки и вздел обе руки к небу, отчего рукава его рясы сползли по локоть, обнажив кисти рук, на которых отчетливо обозначились едва затянувшиеся рубцы. — А это как назвать? — указал он владыке на них. — Не приходилось подобного видеть? От наручей остались следы на память о том, когда он, Никишка, мордовская морда, велел меня в железа заковать и в темницу монастырскую упечь. Тоже от мыслей его праведных?! Иначе не назовешь!

\* \* \*

Владыка озабоченно смотрел на распалившегося Аввакума, который, несмотря на все его советы, и не думал скрывать своего отношения к патриарху и не знал, как его утихомирить. Он по-



нимал, что перед ним находится униженный человек, который не желает мириться с участью изгнанника, а будет и дальше винить во всем и патриарха и всех, кто с ним заодно. Хорошо понимая все это, архиепископ начал опасаться, как бы с протопопом у него на глазах не случился припадок, что он не раз наблюдал с людьми несдержанными и экзальтированными, излишне верящими в собственную непогрешимость.

Аввакум же явно принадлежал к числу тех, кто ни за что на свете не откажется от своих убеждений, хоть все вокруг будут говорить ему обратное. Владыка за свою долгую службу сталкивался с людьми разными, бывало, и с безбожниками, которых трудно призвать не то что в храм, а и крестное знамение на себя наложить. Видел он и последователей различных ересей, где каждый второй считал себя Христом или Иоанном Крестителем и пытался убедить в том всех, с кем его жизнь сводила. Отвратить таких от ереси не помогали порой ни пытки, ни узилище, ни молитвы, читаемые над ними. Они могли часами говорить о скором конце света, об очищении и спасении души, не замечая, как сами погрязли в грехах, создавая из самости своей кумира, коему требовали поклоняться.

И Аввакум оказался на полшага от них. Каким бы ни был патриарх Никон, но чин его освящен Святой Церковью, и негоже какому-то там протопопу покушаться на непреложную истину, согласно которой любой начальник над тобой — от Бога, и, нарушая эту заповедь, ввергать тем самым себя в такой грех, за который его впору и от Святой Церкви отлучить.

Но у архиепископа Симеона имелись свои виды на Аввакума, который был нужен ему, прежде всего, как опытный служитель в далекой Сибирской земле. Не знал Аввакум того, что владыка Симеон в каждом своем послании к царю и патриарху умолял их прислать в Тобольск людей знающих и ревностных в вере. Потому Аввакум подходил ему как никто другой, и владыка с самого начала разговора пообещал ему место в одном из самых почитаемых городских соборов во имя Вознесения Господня. Но если он с такой легкостью и запальчивостью обвиняет патриарха в присутствии архиепископа во всех смертных грехах, то как он поведет себя с прихожанами?

Владыка изучающе смотрел на Аввакума, размышляя, а не отправить ли того, от греха подальше, в тот же Якутск или иное дальнее место, где он если и не образумится, то по крайней мере никто

не обвинит архиепископа в пособничестве ссыльному? Знал он по своему опыту, что любая распря начинается с малой искорки, а уж потом по людскому хотению раздувается в пребольшущий пожар, погасить который будет не так-то просто. И наверняка ни одного еще бунтаря спровадят в Сибирь надолго, если не на вечное поселение, пока что удастся тот пожар унять. Вот тут-то и надо ему, сибирскому владыке, решить, как себя вести с ними. Потому владыка осторожничал, понимая, что присылка Аввакума в Тобольск таит в себе немалую опасность и может взбудоражить сибирских прихожан, вызвать неповиновение среди многих. Да, если посмотреть на это дело шире, не известно, как скажется на нем самом, сибирском архиепископе, столь близкое знакомство с опальным протопопом.

Хотя была на этот счет и обратная сторона. Владыка Симеон лишь делал вид, будто не знает, что происходит в окружении патриарха, тогда как ему хорошо были известны все, кто воспринял нововведения, а кто противостоял им. Он понимал, что долгое время две противоборствующие партии существовать не смогут и рано или поздно, но одна победит другую. Царь Алексей Михайлович, которого за глаза называли «Тишайшим», выжидает, сохраняя пока что шаткое равновесие между патриархом и его противниками, чем укорачивает не в меру зарвавшегося Никона, пытающегося и государя подчинить себе, сделать его зависимым не столько от церкви, сколько от себя самого. Вряд ли долго станет терпеть царь такое положение вещей. И тогда Никону несдобровать, не минет он участи того же Аввакума и угодит если не в Сибирь, то в один из неблизких монастырей, коих испокон веку на Руси всегда было в достатке. А сейчас Алексей Михайлович выжидает, выгадывает, кто как себя покажет и чья сторона возьмет.

«Прежде всего нужно его как-то урезонить, отучить говорить крамольные речи, за которые и пострадать можно, — сосредоточенно думал про себя владыка, пока Аввакум продолжал честить ненавистного ему Никона, — но попробуй-ка подступись к нему, когда он против каждого слова два своих тут же вставит. Но ничего, авось совладаю...»

— Вот что, любезный, не пресало мне слушать брань этакую, — нарочито громко произнес архиепископ, а сам указал глазами Аввакуму на дверь, за которой слышалось невнятное шуршание. — Должность твою с тебя никто пока что не снимал, а потому у меня в протопопах ходить

будешь. Но дам тебе добрый совет: где попало и с кем попало не открывничай, а то, неровен час, хлопот за такие речи свои не оберешься.

Аввакум наконец-то понял недвусмысленный намек владыки и тоже покосился на дверь и замолчал, отирая рукавом рясы обильный пот, выступивший у него на лбу. И внезапно он вспомнил обо всем, что на его глазах произошло в тюменском Троицком монастыре, с чего, собственно, и хотел начать разговор с владыкой. Потому он торопливо пересказал обо всем случившемся и закончил словами:

— Вот к чему никоновские новины ведут, смертоубийство меж православными людьми началось... А что дальше будет? Страшно и подумать...

Симеон, морща лоб, внимательно выслушал его, хотя еще несколько дней назад нарочный доставил челобитную от тюменского настоятеля Анастасия, где тот все описал и просил помощи в поимке злодеев, лишивших жизни московских переписчиков. Доложено было о том и тобольскому главному воеводе, который незамедлительно направил в Тюмень опытных в подобных делах людей. Рано или поздно, душегубов тех схватят, и на воеводском дворе под кнутом палача они во всем признаются. Но главное сейчас было не допустить, чтоб не повторились подобные дела. Тут, как ни крути, Аввакум прав, Никон перегнул палку, и по всей стране пошел тихий ропот о смене старой веры на новую. А если народ начал роптать, то жди, не сегодня завтра за топоры возьмутся, красного петуха подпустят, если не в архиерейские покои, то тем, кто с ними в несогласии будет. Так и до открытого бунта недалеко. И Алексей Михайлович должен был это хорошо понимать.

Владыка не посчитал нужным сообщить протопопу, что и на архиерейском подворье и еще в нескольких монастырях тайно трудились такие же переписчики, что и в тюменском монастыре. Сейчас он опасался, коль весть о их гибели донесется до здешних мест, жди беды. Потому он незамедлительно отписал игумену Анастасию, чтоб всю братию до единого человека разослали по дальним монастырям, а наиболее горластых и неуступчивых отдали на воеводский двор в бессрочное содержание.

«Невовремя, ох невовремя ты, протопоп, оказался в том монастыре. По-доброму следует и тебя попридержать и не допускать до службы, зная твой язык и невоздержанность в речах», — думал владыка, сверля взглядом сидящего перед ним Аввакума. — Но опять

неизвестно, как поведет он себя, если отправить его подальше от себя, где за ним должного пригляда не будет. Лучше пусть здесь остается, где каждое сказанное им слово будет уже на другой день известно. А не пожелает урезонить норов свой, то пушай на себя пеняет. Одним печальником в Сибири больше станет, нам не привыкать», — окончательно решил архиепископ и поднялся с кресла, давая понять, что разговор на этом закончен.

Симеон сделал несколько шагов вдоль стола, а потом крикнул в кулак, словно прочищал горло, и выразительно кивнул в сторону полуоткрытой двери и шепотом произнес:

— Ты, сын мой, того... Осторожнее будь, а то... — И, не закончив фразы, неслышно ступая подошел к двери и широко распахнул ее.

В покои владыки так и ввалился истопник Пантелей, державший в обеих руках охапку сухих березовых дров, и испуганно уставился на архиепископа, широко открывши рот, словно карась, выброшенный на берег.

— Ты как посмел, олух царя небесного, в такое время с дровами своими ко мне заявиться?! — грозно спросил он и без того не знавшего куда деваться истопника и ловко ухватил его за ухо, торчавшее из-под рваной заячьей шапки. — Говори, подлец, кто тебя надоумил у меня под дверью подслушивать, а то живо на конюшню отправлю, коль таиться станешь.

Пантелей, не выпуская березовых поленьев из рук, попытался легким движением головы освободить из цепких пальцев владыки свое ухо, которое уже изрядно налилось кровью, но у него из этого ничего не вышло. Тогда он не нашел ничего лучшего как попытаться грохнуться на колени, однако архиепископ, словно предвидя этот его маневр, схватился за злосчастное ухо покрепче и резко потянул его вверх, отчего истопнику пришлось встать на цыпочки, и, не выдержав боли, он громко заверещал, как это обычно делают дети, отведавшие первый удар розгой.

— Замолчи! — цыкнул на него архиепископ, но тот не унимался, и верещание его становилось все громче, а потом и вовсе перешло в утробный вой. — Ах, ты так. — Владыка, как и многие лица духовного звания, считал себя правым в собственных поступках и к тому же любил добиваться своего любыми способами, а потому, недолго думая, залепил свободной рукой Пантелею в лоб, плохо представляя, чем это может закончиться.

Истопник, окончательно потерявший рассудок от боли и страха еще большего наказания, неожиданно подпрыгнул высоко вверх и неимоверным усилием вырвался из цепких рук архиепископа. При этом березовые поленья, которые он держал в руках, посыпались прямо на ноги архиепископа. Теперь уже пришла его очередь вскрикнуть от боли. Если у Пантелея был лишь слабый дисконт, то владыка обладал сочным басом, и зычный глас его разнесся по всем многочисленным комнатам и комнатушкам, достиг даже подвала, куда в тот момент спустилась за квашеной капустой девка Лукерья, которая немедленно грохнулась в привычный для нее в подобных случаях обморок и пролежала так на холодном полу, пока ее не хватилась главная кухарка Дарья.

На крик владыки сбежалась вся обслуга, включая приказных, и лишь ополоумевший истопник Пантелей, растолкав всех, выскочил на улицу, пронесся через сторожку мимо не прекращавших своей игры литвинов и, перегоня пеших и конных, помчался к собственному дому, где залез на печку, укрылся с головой старым, доставшимся ему еще от деда, тулупом.

Там, чуть придя в себя, он, громко высморкавшись, заплакал, дав волю скопившимся за все время своего служения на архиерейском дворе чувствам. Потом он незаметно уснул, а утром на службу свою не пошел и долго ничего не отвечал бывшей на сносях третий раз за последние пять лет супруге.

К вечеру за ним отправили кого-то из конюшных с требованием немедленно начать топку печей, поскольку холода стояли нешуточные и без истопника вся архиерейская служба могла встать всерьез и надолго. Тогда Пантелей отправился на Софийский двор и протопил все печи, кроме той, что находилась в покоях владыки Симеона. Но никто не обратил на это внимания, поскольку сам архиепископ отбыл на другой день в один из дальних приходов. Когда же он вернулся, то Пантелей уже забыл о своем случившемся не столь давно испуге и все так же исправно исполнял свои серьезные обязанности борьбы с сибирским морозом. Да и владыка за всеми своими многочисленными заботами тоже не вспоминал о том происшествии. И лишь левое ухо главного архиерейского слухача начало с тех пор расти чуть в сторону, сильно отличаясь от своего правого собрата.

## Часть вторая

# НЕПРИКАЯННАЯ СЛОБОДКА

Что пользы человеку от всех трудов его,  
которыми трудится он под солнцем?

*Екк. 1, 3*

Покинув в крайнем замешательстве кабинет владыки, Аввакум справился у неподвижно стоявшего возле стены Спиридона, где ему отыскать Ивана Струну, на что получил маловразумительный ответ и, махнув рукой, отправился сам на поиски. Дьяка он нашел в небольшой каморке, занятого расчесыванием частым гребнем своей жиденькой бородки. Делал он это старательно, словно именно в бородке скрывалась вся его красота и силы. Увидев протопопа, он нимало не удивился, а лишь криво улыбнулся и кивнул головой, что, вероятно, означало приглашение войти. Узнав, по какому вопросу тот пожаловал, он тяжело вздохнул и, как бы нехотя, изрек:

— Худо у нас нынче с жильем после последнего пожара. Сам угол снимаю неподалече отсюда, а сейчас не знаю, чем вам и помочь, батюшка...

Аввакум опешил. Он никак не ожидал, что для него не приготовлено место, где он мог бы разместиться вместе с семьей. Нежелание дьяка помочь ему он отнес к произошедшей стычке, после которой тот обещал ему показать, чья здесь власть. И вот теперь пришел тот самый момент, когда он власть свою употребляет так, как считает нужным.

— Владыка мне сказал, — начал было он, но дьяк остановил его поднятием руки, сопровождая это движение тяжким вздохом.

— Разве дело преосвященного владыки — вникать в дела житейские? Он у нас великий молитвенник и вряд ли ведает, чем мы все тут заняты. А уж о том, кто, где и как живет, ему и вовсе знать ни к чему.

Тем более в Москву собрался ехать, — проявил Струна удивительную осведомленность о содержании только что доставленной Симеону грамоты. — Сейчас подумаю чуток и соображу, куда вас определить. Главное, чтоб крыша над головой была... Так говорю?

Аввакум согласно кивнул, понимая, что лучше соглашаться, чем еще на одну ночь остаться ночевать в монастырском братском корпусе, прелести которого он уже испытал на себе в полной мере.

— От пожара не пострадала лишь слободка, что подле монастыря находится. Потому как огонь стороной прошел. Есть там у меня один домишка на примете. Не ахти какой, но, коль руки приложить, до весны в нем дотянуть вполне можно. А там, глядишь, подыщем что получше...

Аввакум внимательно слушал, не прерывая витиеватую речь дьяка. Возразить ему было нечего, себе дороже обернуться может.

— Эй, Спиридон, — громко крикнул Струна, — проводи батюшку до слободки и покажи домик, где ранее покойный дьякон соборной церкви жил! Как его звали... Запоматоваал...

Спиридон тут же обозначился на пороге, а дьяк, сколько ни тужился, так и не вспомнил прозвание умершего дьякона, что лично Аввакуму совсем знать и не требовалось. Не простившись, он вышел вслед за Спиридоном, и они отправились в подгорную часть города в сторону Знаменского монастыря. Он широко вышагивал, радуясь, что так легко все обернулось и не пришлось вымаливать, упрашивать злопамятного дьяка о скором предоставлении хоть какого жилья...

Меж тем Аввакум не подозревал, что его ждет впереди, а преспокойно шагал вслед за архиерейским келейником Спиридоном, идущем скорой рысью чуть впереди него. «Вот теперь-то все у меня заладится, — думал Аввакум. — Зря Сибирью пугали. Такая же страна, как и вся Россия. Ничего, поживем, освоимся, а там, глядишь, соберу вокруг себя, как когда-то в Москве, кружок единомышленников, и мы тут такое сотворим, чертям тошно станет...»

Но далеко не так думал ангел, неотступно находящийся подле него и сопереживавший за каждый его необдуманный поступок. Ему виделась совсем иная перспектива дальнейших событий, где раб Божий Аввакум понесет немало испытаний, виной чего будет он сам, не сумев обуздать свою гордыню и веру в собственную непогрешимость. Если иные, попавшие в Сибирь по недоразумению или чьей-то начальственной воле на исправление и покаяние, пусть не сразу, но со

временем, начинали менять и себя и образ своих мыслей, то были и такие, кто лишь ожесточался, замыкался в себе и винил во всем произошедшем кого угодно, но только не себя. И таких принимала Сибирь, всем находилось место на ее ласковой земле, а принявши, уже долго не отпускала от себя, имея над такими людьми власть, данную ей свыше...

Знал об этом и ангел, но вот только не мог передать своему подопечному, что ни на один годок пожаловал тот в страну, где печаль и нужда живут рядом с человеком, как родные братья у отцовского стола и не отринут от него до тех пор, пока он не полюбит весь мир до самой малой твари, здесь живущей, и не поймет, что он лишь песчинка среди прочих, и не смирится со своей участью. А постичь, уразуметь эту простую истину может человек лишь через великую печаль и страдания, приняв их, подобно Спасителю, прошедшему великие муки и страдания во имя нас, неразумных, желающих жить по собственному разумению наперекор судьбе и воле Божьей...

\* \* \*

...Монастырская слобода, примостившаяся бочком, как бы сбоку-припеку на самой городской окраине близ Иртыша, вольготно раскинулась по берегу небольшой речушки, бегущей с близкого болота на встречу со своим могучим водным собратом.

Уже никто и не помнил, когда появились в ней первые дома, и обычно вопрошающего на этот счет отсылали ко временам первого сибирского архиепископа Киприана, собственно, тот монастырь и основавшего. Именно с тех самых пор, когда понадобились рабочие руки на строительство обители, и остались на монастырской земле многие трудники, соорудив себе абы как временные жилища из остатков, а иногда попросту сворованных материалов. В скором времени строения те вместе с землей стараниями владык сибирских были приписаны к церковному ведомству, а стало быть, до самого последнего бревнышка стали неукоснительной принадлежностью стоявшего поблизости монастыря, о чем обитателей слободских немедленно оповестили и поставили в полную известность.

Но на слободчан известие это странным образом не произвело должного впечатления, и они продолжали считать себя людьми вольными и никому не подвластными, о чем особо не распространялись, но всеми действиями своими показывая полную свободу и независи-



мость. Епархиальное же начальство, сколько ни старалось понудить их к ежегодной плате за пользование землей и строениями, нисколько в том не преуспело. Слободчане на первое же такое требование заявили, что постоянных доходов не имеют, а потому ничего платить не станут, а кроме того, недвусмысленно дали понять, что в случае применения силы они без долгих раздумий съедут с насиженного места, предав огню все, что не смогут унести с собой.

Епархиальные приказные и монастырское начальство, хотя в угрозу ту не особо поверили, но от применения силовых мер воздержались, надеясь со временем изыскать способ по привлечению обитателей слободы к работам в пользу понемногу встающей на ноги обители. А потому по несколько раз в год являлся к ним во двор кто-нибудь из монастырской братии, посланный настоятелем, и не требовал, но скорбно просил соседей своих помочь в заготовке дров и их доставке. Или на покосе потрудиться недельку-другую, пока ведра стоят. Или подновить монастырские строения. За это работникам полагался соответствующий харч и монашеское благословение.

А если вдруг сказывался хворым инок, исполняющий послушание водовоза или конюха, то, опять же по-соседски, звали кого-то из слободских мужиков, которые хоть обычно и ворчали, ссылаясь на занятость свою, но отказать не смели, надеясь тем самым заслужить если и неполное, то хотя бы частичное искупление своих многочисленных грехов. Да и по чести сказать, занятие их, особенно в зимнее время, состояло главным образом в препирательстве с бабой своей кому нынче из них печь топить или к реке по воду отправляться.

По смерти кого-то из слободчан, если наследников у него не оказывалось или дети съезжали в иное место, освобождающиеся жилища заселялись новыми охотниками с ведения или без оного епархиального епископа. Со временем дома эти по многу раз меняли обитателей своих, но по давней русской привычке каждый из них считал себя полноправным собственником нового своего места обитания, и не было случая, чтоб кого-то монастырское или иное начальство решительно побудило освободить жилище, ссылаясь на законность своих прав и претензий, данных им свыше.

И все по той же известной русской привычке жильцы эти относились к своей временной земной собственности без всякого уважения и почитания, полагая, что дом этот еще и их переживет и иным хозяевам послужит. Потому под прогнившую половицу

обычно подсовывали найденную где-нибудь впопыхах дощечку, а под просевший венец вставляли корявое полено; дыру же в крыше затыкали пуклом соломы или в лучшем случае закрывали содранной с полена берестой.

Оттого слободские дома, пережившие нескольких своих постояльцев, постепенно превращались в жалкие развалины, но редко когда оказывались необитаемыми по причине нескончаемого прибытка нового люда в сибирский край, которому, понятное дело, на новом месте любая вросшая в землю избушка казалась царскими палатами. И редко кто из них брался за топор, неизменно оставаясь пребывать в ожидании, что, может, и на их долю выпадет счастье и не сегодня завтра освободится дом поновее, куда они непременно переберутся, не надрывая пупка и без траты жизненных сил на ремонт или, немислимое дело, строительство новой избы.

Когда же подобное событие случалось и освобождался какой дом в монастырской слободке, то тут же собирался общий сход, на который являлся и стар и млад, где каждый старался перекричать другого, доказывая именно свою необходимость немедленного переселения в освободившееся жилье. Сход тот мог продолжаться несколько дней и заканчивался обычно всеобщей пьянкой, где питье выставял один из претендентов на новое жилье. И если угощение устраивало всех слободчан и к концу братской пирушки не было таких, кто твердо держался на ногах, то тут же справляли и новоселье. Туда уже хорошо подгулявшие недавние спорщики тащили все имеющиеся у них припасы, и праздник шел полным ходом до полного исчезновения всего съестного и питейного.

Сплоченная такими сходками монастырская слобода жила единой семьей, в которой события радостные случались гораздо реже, нежели обыденные. Гораздо чаще посещали слободских обитателей случаи печальные и тягостные для них своей неотвратимостью и естественной закономерностью.

Казалось бы, у неимущих слободчан, кроме душ их неприкаянных, и взять-то было нечего. Но находился такие, кто прикарманивал у соседа какую-то приглянувшуюся ему вещь, не сказавши ему о том, а, попросту говоря, крал то, что плохо лежало. И неважно, была ли то дырявая рогожа или оброненное кем-то неосторожно полено дров, но не знавшие иных утех хозяева тех вещей устраивали немедленный сыск, вовлекая в него всех, кому заняться больше было нечем.

А таких набиралось немало, и вскоре вся слободка встревоженным ульем гудела от множества голосов, вовлеченных в сыск людей. И продолжаться он мог не один день, включая и ночное время, пока сообща не устанавливали виновного. Когда вора долго не обнаруживали, то все одно находили того, кто давно уже своим поведением вызывал подозрение у соседей.

Тогда каждый желающий прилюдно объявлял тому все, что о нем думает. А чаще просто бил без долгих раздумий обвиняемого в морду, припоминая ему давние обиды и оскорбления. После чего тому давали день срока на сборы и скорейшее исчезновение из слободских пределов. Если тот отказывался исполнить общий приговор и оставался на старом месте, то тогда уже каждый считал своим неперменным долгом при удобном случае отвесить ему оплеуху, подставить ножку, а то и плюнуть в лицо. И тем самым рано ли, поздно ли вынуждали заподозренного в воровстве бежать куда глаза глядят, лишь бы избавиться от всеобщего презрения и угрозы быть битым безжалостно и беспощадно.

Бывало, что через год находили настоящего вора, то тогда уже тузили его и за прошлое и за настоящее, пока хватало сил. Впрочем, объявлялись вдруг и такие, в ком неожиданно просыпалась до того дремавшая жалость к болезному. Но никто не брезговал забрать себе все, что приглянулось из вещей избитого до бесчувствия несчастного воришки. Подобные судилища, как ни странно, обходились без смертоубийств, что обычно истолковывалось необъяснимой живучестью злодея, которому сам черт силы дает и берет под свое покровительство.

Может быть, по причине регулярного приложения телесных сил и вымещения общей злобы на ком-то одном драки между слободчанами случались довольно редко и обычно лишь по крайней подозрительности мужского населения к женам своим, которые неосторожно перемигнулись с кем-то из молодых соседей. Тогда узнавший о том муж ловил своего, как казалось ему, соперника и громогласно обвинял его в блуде, обещая в следующий раз оторвать ему обе ноги и все, что между них находится. Молодой парень, которому, может быть, и в самом деле нравилась жена более старого обидчика, не упускал своего случая и отвечал на угрозы ни словом, но кулаком, после чего сбегалась родня, и растаскивали по дворам не успевших еще по-настоящему разодраться мужиков. В результате молодой удалец

продолжал и дальше ходить с гордо поднятой головой победителя, подмигивая всем подряд молодухам, а у мужа появлялась возможность прищучить не в меру хорохорящуюся жену и давать понять при каждом удобном случае, кто в доме есть настоящий хозяин.

Но однажды снедаемые вполне обоснованными подозрениями давно вошедшие в солидный возраст мужики числом около пяти человек, имевшие жен телом молодых и с натурой пылкой, решили обезопасить честь свою от нежелательных случайностей и создали по этому случаю довольно необычный слободской сход.

На нем они обвинили не в воровстве, но, по сути дела, грехе, близком к тому, молодого парня Степана, прозванного за его порхающую походку Соколком, по которому сохла добрая половина слободских жен. Степка тот был исключительно видным парнем, с буйной, плохо поддающейся гребню шевелюрой, с озорными, широко распахнутыми голубыми глазищами, имел фигуру стройную и ходил неизменно подпоясанный красным кушаком. К тому же слыл он отменным плясуном, знал кучу прибауток и редкой непристойности песенок. Пользовался он своей известностью без всякого зазрения совести, подогревая бабий интерес к себе тем, что ни одну мало-мальскую бабенку не пропускал вниманием своим, норовя при каждом удобном случае ущипнуть за бочок, а то и пониже, оказавшуюся рядом молодухку, шепнуть ей такое словечко, отчего та надолго заливалась алым цветом и, закативши глаза, забывала куда и зачем шла по делам домашним.

Был Степка к тому же силен и драчлив, и мужики в годах связываться с ним не решались, хорошо понимая, чем для них эта ссора может закончиться. Вот и решили они тогда совместно настоять на изгнании его из монастырской слободы, обвинив в явных и скрытых прелюбодеяниях.

Но за Степана неожиданно заступились седовласые пожилые мужики, имеющие жен соответственно своему возрасту, а потому для любвеобильного парня никакого интереса не представляющих. Именно от них мужья, ощущавшие острый зуд от скорорастущих на головах рогов, услышали слова нелицеприятные и обидные, мол, не бери лошадь паленую, а жену ядреную; мужик, как водится, свой грех за порогом оставляет, а баба в дом несет. Их же и обвинили в нежелании и неумении должным образом ублажать любовью жен своих, отчего те и заглядываются на молодых парней.

«Вы их хоть на цепь к себе пристегните и караульных приставьте, а все одно не углядите!» — кричали им со смехом напоследок.

Правда, для самого Степана похождения его закончились печально, когда он, однажды убегая из дома одной замужней молодухи, перескочил через плетень и попал ногами меж непонятно откуда взявшихся бревен. Поломал он тогда резвые свои ножки, и даже приглашенный за большие деньги городской лекарь, ничем горю его помочь не сумел, и остался Степан до конца своей горемычной жизни полным калекой.

С тех пор он не только соколком, но и по-человечьи ходить не мог, а лишь сидел теплыми днями на крылечке своих родителей. А через год узнали, что умер он странной и непонятной смертью, будучи один дома. Родители его на то поясняли, мол, не удержался их Степушка на непослушных ногах, споткнулся да и ударился с маху косицей о край кованого сундука. Может, оно так на самом деле и было, но только пошли по слободе слухи, будто бы, настрадавшись вволю, Степан не выдержал доли такой и перекинул через матицу свой красный кушак да на нем и повесился.

Так ли, иначе ли, но парня нужно было схоронить, а дело это оказалось трудным и щепетильным благодаря длинным языкам слободчан, не поверивших в его смерть от падения. И эта вот бабская въедливость, всезнайство чуть не сослужили парню уже после смерти недобрую славу. По извечному стремлению к правдоискательству стали слободские бабы догадки строить: мог или не мог Степушка умереть собственной смертушкой. Родители на своем стоят: так все и было, мол, иного ничего сказать не можем. А бабам соседским подавай хоть какое, но доказание того, как все произошло-вышло. Даже гадалку сыскали, узнать через нее хотели, как дело обстояло.

Дошло все до местного батюшки — отца Спиридона. Тот призвал Степкиных родителей на строгую беседу и вынес свое твердое решение в праведной смерти паренька неженатого Степана Соколкова. Разрешил отпеть в монастырском храме и земле тело предать по дедовским православным обрядам.

Только опять заваyka вышла: где хоронить его, на каком погосте, поскольку до того все слободчане перед смертью своей пристраивались кто в богадельню, кто в монастырь, а тут такое дело, что и места нет для Степушки ни на одном из городских погостов. Решили по такому случаю общий сход собрать, определиться насчет непростого

вопроса о вечном упокоении жильцов, своего храма не имеющих. Судили-рядили и вынесли общее решение предать Степана земле вблизи жилищ своих на крутом пригорке над речкой, прозванной в народе не иначе, как Монастыркой. Местечко приметное, весенним половодьем не тронутое, по всем статьям для этого скорбного дела подходит. Только вот монастырское начальство уперлось, мол, нет у жильцов слободских такого права — хоронить любого и каждого на земле, для тех целей не предназначенной. И на самом монастырском погосте, внутри ограды, где иноки схоронены, тоже нельзя, поскольку ни по чину, ни по званию Степан к ним ни с какого бока не подходит.

Мужики, да и бабы вместе с ними едва на приступ монастырских ворот не кинулись, до того им этот ответ обидным показался. Выходит, как на работы идти к братии в помощь, то, получается, будьте добры, пожалуйста. А как клочок земли, никаким строением не занятый, для бедного парня вырешить, то гуляй Вася, знать такого не знаем и ведать не хотим.

Дошло то дело до владыки. Он сам вникать, разбираться не стал, а отправил вместо себя Ивана Струну, чтоб решение принял и ему об том доложил. А Струна, он, что твоя струна и есть — в какой бок потянут, на тот лад и поет. Поговорил с игуменом Павлинием, головкой согласно покивал, но никакого своего решения ему не высказал. Завернул в слободку, мужиков послушал и даже бабенкам, ему разные резоны высказавшими, ласково улыбнулся, а потом в дом к Степкиным родителям взошел и долгонько там оставался. О чем они там беседу вели, какие разговоры говорили, то доподлинно никому не известно. Но общий язык меж собой, как потом выяснилось, нашли и разрешение от Ивана Васильевича на рытье могилки на том приметном бугорке каким-то непонятным образом выхлопотали в укор монастырскому начальству. А те тоже перечить не стали, коль сам дьяк архиепископский соизволил свое личное согласие дать. Провожали Струну не хуже самого владыки и едва ли осанну вслед ему не пели. А в сторону монастырских стен долго еще бабы языки, а мужики кукиши показывали. Мол, наша взяла, и вы нам больше не указ, правда, она всегда кривду переборет.

Но и на этом дело со Степановыми проводами в дальнюю путь-дорогу чинно и мирно не разрешилось. Вот ведь каков человек при жизни был, занозой мог любому в бок или иное место встрять, та-

ковым и после кончины своей остался. Не та беда, так эта случится. И все, казалось бы, на ровном месте, где иной сто раз пройдет с легкой ногой и ни за что не зацепится. А иной вроде как не нарочно, обязательно за что-нибудь да зацепится и не себе, не людям проходу не даст, всех, кто рядом с ним, в остоленение приведет.

\* \* \*

А вышло вот что. Степкины родители по случаю похорон любимого сынка продали как есть одежку его вместе с хромовыми почти не одеванными сапогами, а на вырученные деньги заказали местному умельцу Якову, прозванному за свое пристрастие к деревянным поделкам Плотниковым, изготовить крест на могилу Степанову, как то у православных людей принято. Да не такой, как у всех прочих, а чтоб каждый, кто мимо пойдет, крестное знамение на себя наложил, голову склонивши и, скорбную молитву сотворил, пожелал сынку ихнему упокоения и всех грехов полное прощение.

Яков тот жил бобылем и отличался редкими чудачествами, удивляя слободчан разными своими поделками, от которых вроде как и толку мало, но каждый их увидевший обязательно башку кверху задерет, языком прищелкнет и улыбнется широко, дескать, вот дает мужик, не жалко ему ни сил, ни времени на безделицы свои. А были то разные фигурки Якова рукоделие: то смерть с косой, на шесте закрепленная и по ветру орудием своим устрашающе помахивающая. Или солдат с сабелькой в руке, с усищами до пояса на крышу вознесенный и оттуда всем мимо проходящим честь отдающий. Или петух крыльями бьет, словно взлететь желает, да силенок мало.

Народец местный давно по привычке к Яшкиным вывертам, уже и внимания на изделия его новые никто не обращал, но меж собой пальцем у виска крутили, мол, таким бы рукам да добрую голову, цены бы ему не было. А так, потеха одна и никакого прибытку в дом. Но Якову до их потешек дела не было, уж так он скроен был чудно. Денег за погляд не требовал, а ладил то, что на ум пришло. Потому и жил один-одинешенек на воде и ситном хлебушке, о больших заработках не помышляя. Перебивался тем, что соседи — такие же бедолаги — ему закажут: кто стол изладить обеденный, кто лавку починить, коль у самого хозяина руки не с того конца пришиты или там дверь навесить, лестницу на чердак укрепить. Да мало ли по хозяйству забот накопится, коль не следить за ним, как то у добрых людей водится.

А хозяйство вести, то не подолом у печи трясти, надо сноровку на то иметь особую, чего у слободчан сроду не водилось, и взятыя было неоткуда. Это как в нетопленной избе, сыростью тепло не нагонишь, сколько ни тужься.

За работу Яшкину опять же платить им нечем было, но зато на все свадьбы и крестины непременно звали его, у двери садили, куски не то чтоб лучшие, но и других не хуже подавали и питья наливали, сколько влить в себя сможет. О корысти какой и речи не шло. А что ему, бобылю, оставалось, как не пить горькую, коль подают? Сегодня дадут, а завтра и отказать могут, гуляй, коль душа принимает...

Вот к нему Степановы родители и обратились со своей скорбной просьбой: соорудить крест пристойный на сыновью могилку. И даже денег наперед вырешили, чтоб слова с делом не расходились. Яшка к заказу их со всей страстью отнесся и пообещал в короткий срок сделать знатный крест отменной красоты, чтоб от всех иных отличался и долгой памятью служил о безвременно ушедшем в мир иной пареньке разудалом.

Нашел он в запасах своих приличествующую случаю заготовку из старого кедра, да за одну ночь вытесал здоровущий крест почти в две сажени. А поверх креста прикрепил тело Спасителя, которое он давненько еще заготовил, надеясь сбыть в монастырский храм, да так и не решился предложить по извечной застенчивости своей местному настоятелю. Получился крест на славу и загляденье, хоть важному чину какому, коль сподобится наш грешный мир покинуть, водрузить на зависть всем. Родители Степановы как работу его увидели, так и обомлели, кинулись Якову ручки его работные целовать, в ноги кланяться. А он им и заявляет, что еще не все доделал, но к самому выносу тела готово будет. С тем безутешные старики и ушли, не спросили даже, какую доделку он задумал, веря в искусство его и верный глаз.

Когда же в день похорон родственники явились за крестом, то открыли рот от удивления, увидев на вершине его гордо восседающего резного сокола. Сгоряча потребовали птицу убрать, но Яшка уперся, сказав, что иначе изрубит в щепы свое изделие, если кто посмеет прикоснуться к чудному творению, им содеянному. Тем деваться некуда, смирились, забрали крест и сразу с ним в монастырский храм отправились, где уже батюшки по святым канонам отпевали упокоившегося Степушку.



Поставили крест подальше от глаз отца Спиридона, что панихиду правил, а как гроб и крест с ним к могилке понесли, накрыли того сокола, от греха, тряпченкой какой-то. Вроде все и обошлось, никто не узрел, голоса не подал. Опустили гроб в могилу, землицей засыпать стали и крест в ногах ладить. Тут отец Спиридон разглядел Яшкину работу, закивал головой согласно, мол, хорош крест, все как подобает. А наверх-то и не глянул, где птица сокол со сложенными крыльями угнездилась. Может, сослепу не разобрал, а может, спешил шибко, наверх и не глянул, но как молитвы положенные все отчитал, попрощался с родней и провожатыми Степушкиными в последний путь, да и заспешил по своим делам. Все и обошлось. Так и остался крест с фигурой Спасителя посредине и соколом вверху самом.

Народ тоже, видя батюшкино спокойствие, волнения не проявил, будто все так и положено, чин чинарем, пошептались да и разбрелись кто куда. А вечером, затемно, стали тайно пробираться жены тех самых мужей, что сомневались в их верности. Чего уж они там делали, никому не известно. Так, что ни вечер, глядь, сидит кто-нибудь возле могилки той и горько слезы льет. А сверху на нее сокол глядит, как живой, только что слететь на руки не может. Так и прозвали то место Соколиный холм, в чем Яшки Плотникова заслуга была наипервейшая.

\* \* \*

...Живший в слободе народ склонности к хлебопашеству или иному долговому и изнуряющему душу труду сроду не испытывал и вряд ли когда это здоровое желание, свойственное большинству выходцев из черносошного крестьянства, могло в них неожиданно проснуться и заставить обратиться к земле. Как подшучивали над ними хозяйственные деревенские мужики: пахал бы долю, имей на то волю...

По той же причине никто из слобожан не спешил обзавестись хоть какой-то домашней скотинкой или парой курей, не говоря уже о косяке гусей, для которых местный луг и мелководная речушка были бы истинным раздольем. Даже обязательных для любого мужицкого двора собак слободчане не заводили по вполне очевидной причине, что и охранять-то у них было нечего, а зазря тратиться на кормежку праздно сидящих в пустом дворе псов какой здоровый человек станет. Зато жили они вольготно и необременительно по завету Господню,

повелевшему людям в вере крепким не думать о дне завтрашнем, а надеяться, что наступит другой день, а уж с ним будет и пища.

Не для того они бежали с родных мест, чтоб в вольной Сибири тянуть крестьянскую лямку, когда вокруг, куда глаз ни кинь, имеется в достатке все, что душе человеческой угодно. Лишь руку протяни и бери, чего пожелается: хоть зверя дикого, хоть птицу боровую или там ягоду лесную, не говоря о рыбе речной, что чуть не сама на берег выскакивает, на сковороду просится. Великого прибытка от богатств тех вряд ли станет, а концы с концами при желании, особенно, если голод шибко прижмет, свести можно. Русский мужик, хоть куда его судьба закинет, а пропитанием себя почти что голой рукой все одно обеспечит, к властям за куском хлеба не потянется...

Но объявлялись и такие, кто-то вдруг ни с того ни с сего пробовали заделаться пимокатами, а то и скорняками или, скажем, сапожниками. А почему бы и нет? Сырье, пусть не лучшей пробы, сыскать по соседям или в ином месте завсегда можно. А уж дальше как пойдет. Может, и заправская обувь из-под неумелых рук выйдет или там шапка заячья, кто как стараться станет.

Иные, наковыряв на берегу бадейку липкой глины, сядут погожим днем на крылечко возле дома и айда лепить из нее чашки-плошки, корчажки разные, одно слово, что Бог на души положат. Разложат здесь же на дощечках, любуются изделием своим, языком цокают. Сосед подойдет, башкой покрутит, глядишь, слово доброе скажет, улыбкой одарит, мол, нежданно-негаданно, а никак дар у парня объявился, кто ж знал о том... И тому приятно, какой-никакой, а прибыток для дому, будет из чего щи хлебать. Только вот через денек или раньше пойдет вся его работа трещинками маленькими, скукожатся чашки-плошки, и их не то что на стол стыдно ставить, а и показать кому стыдно. А все отчего? Секрета работы той мастеру доморощенному никто не передал, не научил, как начатое до ума довести: печь соорудить, обжечь толком, тогда бы и на стол можно было нести. Оно завсегда так, душа чего-то просит, а как то желание исполнить, подсказать некому. Потому как любой росток от корня идет, глубинные соки впитавшего. А без него ничто живое на земле жить не может, если что и взойдет ненароком, тут же в прах обратится.

Под стать мужьям были и слободские жены, сосватанные пришлому людом за Уралом, а чаще от прежних мужей обманом или посулами разными уведенные. Водился издавна в Сибири и другой

обычай: за долг какой отдавать бабу другому мужику, что собственной женой обзавестись не сумел. Как лошадь в работу, коль нужда припрет. А уж что меж них ночной порой поведется, кому дело до того. От бабы не убудет, а как надоест, не ко двору станет, вон выпроводит.

А коль кто уходил надолго в другой город на заработки или по иной срочной надобности, то запросто оставлял супругу свою названную доброму знакомцу, твердо договариваясь, чтоб по его возвращению она обратно в дом к нему вернулась.

Знавшие о том отцы духовные давно махнули рукой на слободские порядки. Благо и без того им забот хватало. Не бежать же по дворам с приглядам: кто да с кем ночевал нынче. Тем более что многие из женок тех и вовсе были веры басурманской и святой крест сроду не нашивали. Чего с них возьмешь? Шерсти клоч, да и то не с каждой...

Пробовали было владыки сибирские вывести под корень весь этот блуд, накладывая епитимьи направо и налево на люд сибирский, уличенный в прелюбодействе. А что с того вышло? Обыватель сибирский, не привыкший надолго задерживаться на старом, оставлял ту епитимью вместе с надоевшей женой на вечную память молитвенникам своим, а через полгода объявлялся где-нибудь за тысячу верст от прежнего жительства.

Жены сибирские, восприняв от мужей стойкое неприятие домашней работы, не были сильны ни в рукоделии, ни в огородничестве и подле домов их редко встречались возделанные грядки с той же капустой или репой, которые у иных хозяев бывают предметом постоянной летней заботы и изрядной помощью в семейном пропитании. Зато с середины лета и до поздней осени все они пропадали в лесу и на болотах, собирая кто до чего охотник. И плох был тот дом, где не нашлось бы пары бочек моченых грибов и кадушки со зрелой клюквой. Тем и жили, что сибирская тайга им уготовила. А зимой слободские женщины все как одна вязали мережу для рыбацких сетей, пряли и ткали на заказ, не имея собственного льна, а тем более шерсти.

Дети у них при несуразном жизненном укладе и нестойкости семейной рождались крайне редко, и мало кто из них доживал до года. Хотя были и многодетные семьи, но, едва встав на ноги, старались они перебраться поближе к зажиточным горожанам, дабы не нести на плечах своих тягостный быт и уклад свободных нравов монастырской слободы. Кто против того мог дурное слово сказать? Каждый человек соломку там стелет, где ему ночевать приятней и чужих подсказок не

послушает. А слободчанам что? Съехали одни, а на другой день на их месте уже другие по собственной воле заявятся... Так и жили по своим законам, не признавая порядков сторонних...

\* \* \*

Часто сменявшиеся монастырские настоятели не раз пытались прибрать под свою руку жителей соседствующей с обителью слободки. При этом они понимали, что тронь их, выкажи утвержденные властью права на землю и недвижимость — и обитатели ее, неотягощенные особым скарбом, недолго думая, в день соберутся и откочуют в иные края, где их уже вряд ли достанешь и вернешь обратно. Потому пытались воздействовать на них более тонко, силой убеждения и призывами потрудиться во благо церкви, нажимая на извечную русскую доброту и склонность в помощи ближнему своему.

Мужичков для подобных бесед приглашали в келью к игумену, где он встречал их в парадном облачении и, поинтересовавшись больше для вида здоровьем и делами, на что обычно получал в ответ красноречивое «чо» или «ага», начинал вести долгие разговоры о соблюдении постов, спасении души и нуждах вверенного ему монастыря. Мужички, стоя на ногах, терпеливо его слушали, согласно кивали головами, а иногда в соответствующих местах и крестились широко, но ни единого слова в ответ не произносили. Каждый думал, как бы быстрее податься обратно, а некоторые вообще впадали в сонное состояние и, смежив веки, пытались незаметно бороться с подступающей зевотой, не забывая при том продолжать кивать в такт настоятельским словам, считая за лучшее не мешать тому выговориться до конца.

Все подобные разговоры заканчивались обычно призывом игумена по-соседски поспособствовать в разных хозяйственных делах для обители, которых у монастырской братии было ничуть не меньше, чем дел духовных. При этом речь даже о малом материальном вознаграждении почему-то не велась, но мужикам твердо обещалось, что за души их грешные будет обязательно отслужен молебен. Слободчане, выслушав игумена, клятвенно заверяли, что если не сегодня, то завтра непременно зайдут и подсобят чем могут, но, добравшись до дома, в стенах которого они чувствовали себя в большей безопасности, не спешили выполнять данное обещанное. Если настоятель и отправлял за кем-то из них своего служителя, то чаще всего сказывались

больными, донельзя занятыми, но в монастырь уже не шли, поскольку, по их разумению, псалмы, может, и поют хором, а трудится каждый своим двором.

Так и существовали, находясь в непосредственной близости друг от друга, монастырь и слобода, словно два мира, два государства, меж которыми не было ни мира, ни войны, но каждый при том считал себя свободным и от другого не зависящим. Для слободчан дорога была воля, лишиться которой они не желали ни за какие блага, а монастырской братии желалось прибрать ту слободу к рукам вместе со всем живущим там своенравным людом, но власти их на то не хватало. При том и та, и другая сторона втайне сознавали, на чьей стороне сила. Но на Руси силу признавал разве что медведь, и то, когда в бок ему всаживали острую рогатину, а остальные, подобно карасям в пруду, зарывались поглубже в ил, надеясь, что и на этот раз спускаемый сверху бредень минует их и хоть на день, но они сумеют избежать давно уготовленной им участи.

\* \* \*

И так шла жизнь на земле, названной непонятным для русского уха словом — Сибирь. В стране горестной и печальной, необжитой людом православным, а потому заповедей Христовых в полной мере не воспринявшей.

Жалкая горстка православных христиан растворилась, как щепоть соли в артельном котле, меж болот и урманов. И не было силы, что могла бы связать их, слить воедино, словно остов храма, вершиной своей в небо упершегося. То там, то сям, словно ягоды из лукошка оброненные, ютился люд православный на просторах сибирских. Каждый сам по себе, безобщинно, порознь, не скрепленный единой молитвой и верой в силы свои. Уж чересчур широк шаг и русского мужика. С версту, а то и поболее за один мах проходит. Поди угонись за ним, ежели он никакого удержу не знает, словно пожар верховой бежит ветерком подгоняемый. До работы ли ему, когда впереди простор немислимый, и пока не упрутся в окаем берега морского, ни за что не остановится. Потому и о достатке своем не помышляет, что хочет он найти страну неведомую, где иной власти нет, окромя как от Бога. Вот когда осядет на землю, остепенится, тогда и зачнет о хозяйстве думать, скотиной обзаводиться, денежку помаленьку впрок копить. А пока он всю ширь земли, ему задарма привалившей, не узнает, не успокоится.

Нечего и думать остановить его хоть силой, хоть уговорами. Все одно утечет, как вода в половодье берегов не познавшая. Никакая власть не в силах совладать с таким народом, силенок не хватит обуздать его и привязать к стойлу. Уж таковым он уродился и помрет с верой о свободной стороне, до которой дойти не успел...

\* \* \*

Двоим лучше, нежели одному;  
потому что у них есть доброе  
вознаграждение в труде их.

*Екк. 4, 9*

Вот именно в этой самой слободе и выпала доля обосноваться протоппу Аввакуму. В небольшом домике, в который церковные власти издавна селили своих служителей, не разрешая никому другому его занимать. Впрочем, имелись в городе в других, более пристойных, местах дома для проживания духовенства. Но коль скоро находились они непосредственно в ведении Ивана Васильевича Струны, то он, узнав, кого владыка желает обеспечить жильем, поспособствовал речистому протоппу в отведении места наихудшего, показав тем самым, на чьей стороне власть, а значит, и сила, определив его на житье в слободе монастырской.

Провожавший Аввакума келейник Спиридон не проронил за всю дорогу ни словечка, сколько протопоп ни пытался с ним заговорить, он лишь отделялся невнятным хмыканьем и кивками головой в знак согласия с изрекаемыми собеседником словами. Проведя протопопа через всю слободу, он остановился напротив стоявшего на отшибе наполовину вросшего в землю и почти до крыши занесенного снегом домишки, в очередной раз кивнул и произнес единственную фразу: «Вот, пришли, видать...» Потом чуть постоял, круто повернулся и побежал обратно, будто за ним гнался кто-то не видимый постороннему глазу. Аввакум в недоумении посмотрел ему вслед, а потом, шепча про себя молитву, стал пробираться по лежащему по колено снегу к входу в свою неказистую обитель.

Дом мог быть назван жилым лишь человеком, обладавшим очень богатым воображением, который к тому же видел его лишь издали. Вблизи же он оказался жалкой лачугой, у которой, кроме стен и полуразрушенного очага, ничего больше не оказалось. Даже имеющуюся

когда-то дверь добрые люди сняли и унесли неизвестно куда. Небольшое отверстие, служащее, судя по всему, окном, куда в лучшие времена вставлялась слюдяная рама, зияло откровенной пустотой и совместно с дверным проемом создавало неплохой ветрогон. На удивление, сохранились остатки колотых бревен, служащих некогда своим хозяевам в качестве половых плах. И то, внимательно глянув на них, Аввакум понял, что расхитители побрезговали ими по причине их полной трухлявости.

В углу виднелась гнилая же солома, из чего можно было заключить, что какой-то бродяга в урочный час укрывался здесь от непогоды, а затем и он покинул негостеприимное жилье, найдя себе более надежное прибежище. Сносно выглядели лишь потолочные изрядно прокопченные балки и черные от дыма, присыпанные толстым слоем земли, просыпавшейся местами вниз, толстенные потолочные плахи, до которых по какой-то причине не дотянулись жадные чужие руки. Посреди них, прямо над остатками глинобитного очага, виднелось дымовое отверстие, через которое хорошо просматривался небесный свод, покрытый слоистыми тучами, предвещавшими скорый снегопад.

Аввакуму сделалось нехорошо от уготовленного ему жилища. Он помянул недобрым словом Ивана Струну, благодаря стараниям которого он стал обладателем сих хором, дав себе слово при удобном случае отплатить ему чем-то подобным, и поискал глазами, куда можно хоть на время присесть. На глаза ему попался небольшой чурбачок, стоящий у стены, не замеченный похитителями, и он со вздохом опустил на него, пытаясь собраться с мыслями.

Любой другой на его месте тут же направился бы к владыке Симеону или на поклон к зловредному дяку, но только не он, протопоп Аввакум. Нет, лучше он будет спать на улице или в ужасной монастырской избе, поедаемый клопами, но никогда не покажет своей слабости и не попросит о милости. Он верил, что это есть очередное испытание, посланное ему Господом, которое нужно во что бы то ни стало преодолеть, а потому, стиснув зубы, стал прикидывать, как сделать жилье хоть чуточку обитаемым к приезду своей семьи.

Но главная беда его заключалась в том, что, будучи по рождению своему поповским сыном, а потом, сделавшись служителем церкви, он сроду каким бы ни было трудом, тем паче строительством, не занимался. Правда, при случае он мог расколоть одно, другое полено,

но если бы вдруг кому повезло увидеть старания его со стороны, то, не скрывая усмешки, зритель тот тут же отобрал бы у него главный мужицкий инструмент, дабы батюшка, упаси бог, по нечаянности не отсек себе чего.

Жил Аввакум с самого своего рождения исключительно в общинных домах, построенных всем миром специально для батюшек, назначаемых на приход. Те жилища мало чем отличались от домов зажиточных горожан и внутри их постояльцев ждала какая-никакая, а домашняя утварь, под навесом во дворе лежал изрядный запас дров, а в помощь матушке обычно приходили сердобольные соседки, спешившие помочь по хозяйству и прочим хлопотным житейским делам. По мере надобности церковный староста регулярно направлял, согласно заведенному порядку, деревенских мужиков для исполнения тех или иных рабочих надобностей. Они и дрова кололи, и воду подвозили, и изредка ремонтировали в случае необходимости сам дом.

Еще не так давно он и представить себе не мог, что когда-то ему придется заниматься мужицкой работой, к которой он относился с некой брезгливостью, полагая себе пригодным лишь к церковному служению. И никто никогда в вину неумение то ему не поставил. Так уж повелось, что служители церковные сроду хозяйства не вели, за что работный народ, живший бок о бок с ними и никаким занятием не брезгающий, украдкой, а иногда и в открытую подсмеивался над батюшками неумехами. А на неоплачиваемую работу свою отвечал шутками и побасенками, описывая в них не всегда приличными словами лиц звания духовного, не видя особого различия меж собой и церковными служителями. Может, иной батюшка был не прочь взяться и самостоятельно срубить дом, но вряд ли что путное вышло бы у него из этого. А потому так и жило русское духовное сословие, не отягощенное особыми заботами по хозяйству, считая, что так оно и быть должно.

Аввакум не сомневался, что и здесь, в Тобольске, найдутся со временем люди, которые возьмут все хозяйственные заботы на себя, но, как быть на первых порах, он просто не знал. Сейчас же он не мог себе позволить даже глотка воды испить, не имея посуды под воду и не зная, где ее берут.

Вот Марковна его, та обладала редким умением сходитьсь с нужными людьми и всегда устранила мужа от суетных хозяйственных дел, беря все на себя. Так что иных забот, кроме церковного служения,



Аввакум сроду не знал, и сейчас ему оставалось лишь дожидаться приезда своей спасительницы. И тогда совместная жизнь у них непременно наладится и войдет в привычное русло. А он продолжит свою личную борьбу с никонианами, как он с некоторых пор стал звать всех сторонников введения новых церковных обрядов. И будущее вновь приобрело для протопопа вполне реальные очертания и смысл, заключающийся в вечном противостоянии против тех, кто не разделял его собственных убеждений.

...И будущее вновь приобрело для протопопа вполне реальные очертания и смысл, заключающийся в вечном противостоянии против тех, кто не разделял его собственных убеждений. Но не мог он тогда знать, что судьба преподнесет ему в далеком сибирском городке еще немалые житейские испытания, и на сей раз не со стороны ненавистного патриарха, а от безобидных соседей по монастырской слободке, жить рядом с которыми он вынужден будет весь срок пребывания в Тобольске. А слобода та ничем от похожих на нее подобных мест не отличалась, но, находясь на Сибирской земле, несла на себе вечную печать скорби и уныния, отведавший вкус которых предстояло и нестигижаемому протопопу помимо его на то воли.

\* \* \*

Посидев еще чуть на нагретом им чурбачке, он решил действовать и широкими шагами направился в монастырь, где оставил привезенные с собой вещи.

Пока он шел по улице, ему попались несколько человек, которые торопливо кивали в знак приветствия, но подойти под благословение к незнакомому, к тому же спешащему куда-то батюшке не решались. Были то главным образом тетки солидного возраста, и Аввакум решил, что большим грехом не будет, если он первым заговорит с одной из них. И, наконец, выбрав одну, вида более степенного и благообразного, неспешно поздоровался, перекрестил ее, склонившуюся в поклоне, и спросил, отойдя на несколько шагов, дабы никто, видящий их со стороны, ничего дурного не подумал:

— Скажи, матушка, где здесь народ воду берет?

— Вам для пищи или на стирку требуется? — живо отозвалась та.

— Ты, родная, скажи, где берут ее, а там видно будет, пить ли ее стану или щи варить, — ответил он, заметив, как проходящие мимо редкие люди замедляют шаг и прислушиваются к их разговору.

— Неужто батюшка сам щи готовить станет? — недоверчиво спросила та, тоже поглядывая по сторонам и кивая проходящим мимо знакомым.

— Прежде чем щи готовить, не мешало для начала хотя бы просто воды испить, а где ее берут, и не знаю.

— Так пойдемте до моего дома, напою.

— Как-то неловко, — замялся Аввакум.

— Коль неловко, то можно и от жажды умереть. А вы разве не при монастыре состоите? Тут у нас других батюшек вроде и нет, а вас вот впервые заметила, — зачастила словоохотливая женщина, которую снедало обычное бабье любопытство узнать все подробности о незнакомом человеке.

— Нет, я сам по себе. Из Москвы два дня как приехал на службу к вам...

— Из самой Москвы? — всплеснула та руками. — Чего же к нам-то вдруг? Какая нужда заставила? Неужто места поближе для вас не нашлось?

Аввакуму не хотелось разводить разговоры посреди улицы, а потому, не ответив на ее вопрос, он быстро согласился:

— Хорошо, пойдем к тебе в дом. Там и водицы изопью, и расскажешь заодно, где брать ее следует.

Баба согласно кивнула и столь же быстро, как и говорила, засемила к дому, оказавшемуся в нескольких шагах от того места, где они встретились.

— Фома, черт сивый, вставай, гости к нам! — закричала она в глубину полутемного помещения, откуда тут же раздалось чье-то глухое ворчание, и вскоре показался не одетый мужик с всклокоченными и действительно сивыми волосами, который с недоумением уставился на Аввакума.

— А это кто? — спросил он у жены. — Ты, Устинья, зачем его к нам привела? Опять станет на работу в монастырь звать, а мне еще и за те разы не плачено. — С этими словами он развернулся и пошел обратно.

— Не бойсь, — отмахнулась от него, как от назойливой мухи, хозяйка, — не из этих он, не из монастырских. Приезжий батюшка. С Москвы. Да вы на него внимания не обращайтесь, он только с виду сердитый такой, а в самом деле душу добрую имеет. Вот, попейте, — протянула она Аввакуму деревянный ковш с водой.

— Благодарствую, — ответил тот и сделал большой глоток. — Вода-то какая студеная. С колодца или с реки?

— Колодцы рыть испокон веку в Сибири не заведено, с реки таскаем. Так что и вам, батюшка, туда же придется ходить. Только неужто вы сами за водой пойдете так вот? — Она со смехом указала на него, и Аввакум невольно смутился, представив, как он в рясе и с крестом на груди тащит на себе ведро с водой.

— Надолго к нам в Тобольск? — спросила она, и глаза ее лукаво блеснули. — Чай, одни, без семьи прибыли? Знала я одного такого, то у одной вдовы на постой станет, а как та на сносях окажется, к другой переберется. Так и жил, пока владыка его не отправил куда-то, а после него трое ребятишек в городе у разных баб осталось. Живут и родного батьку не знают.

От ее слов Аввакум смутился еще больше, подумав, что Устинья эта необычайно остра на язык, и поспешил оправдаться:

— За мной подобных грехов сроду не водилось. У меня жена законная, и детей четверо с ней следом едут, жду их со дня на день. А меня в дом определили, где ни окон, ни дверей, ни печки нет. Не знаю, как семью в такой дом принимать.

— Это не тот ли дом, где раньше покойный дьякон жил? Он, почитай, второй год без хозяина стоит в конце слободы. Неужто вас туда определили? — спросила с неизменной усмешкой Устинья и рассмеялась. — Повезло вам, батюшка, прямо скажу. Там и остяк в малице своей не всякий мороз выдержит, а вам и подавно делать нечего. Неужто другого чего не нашлось? Как же вы там жить станете?

— Сам не знаю, — вздохнул Аввакум. — Так уж вышло...

— Да уж, вышло так вышло, не утянешь и за дышло, — неопределенно высказалась та, а потом неожиданно громко крикнула, чуть повернув голову в глубь дома: — Слышь, Фомушка, батюшка нам теперь соседом будет, коль до утра в доме том дотянет. — И она громко рассеялась, шлепнув себя ладонями по широким бедрам. — Чего скажешь?

— А чего я скажу, — отвечал ее муж, — хлопотать надо, чтоб новое жилье дали, а в этом жить никак невозможно.

— Вот и я о том же, — поддержала его жена. — Просите, батюшка, другое для себя пристанище. Хлопочите перед владыкой нашим или еще перед кем, а сюда определяться, да еще с семьей, и не думайте.

— Нет, иное жилье просить не стану, — упрямо ответил Аввакум, — авось проживу и здесь, коль Богом так уготовлено.

— Ишь, какой упрямый, — одобрительно хмыкнула она. — Тогда проси у наших мужиков помощи, без них никак не обойтись. Пусть на первое время хоть дров кто даст протопить внутри.

— Кто же ему дров в самые морозы-то даст? — подал из своего угла голос Фома. — Сейчас каждое полено у людей на счету, на других запас не приготовлен, — рассудительно закончил он.

— Может, у нас заночуете? — предложила Устинья, но муж ее тут же громко закашлял и чего-то забормотал, из чего Аввакум понял, что будет здесь гостем нежеланным.

— Ладно, спасибо за добрые слова и за то, что воды испить дали, пойду в монастырь, авось там найду кого в помощники себе, — сказал он, поклонившись. — Надо как-то дом тот обживать.

— Да уж, не повезло вам, батюшка, — сочувственно развела руками хозяйка. — Ты, Фома, это... Помоги батюшке чем можешь. До Яшки дойди, его с собой возьмите. Негоже будет, если человек рядом с нами замерзнет. Да еще и в сани. Ты, Фомушка, пойди с ним, пойди, у тебя душа добрая, я же знаю, — ласково закончила она.

Муж ее, которому явно не хотелось вылезать из своего теплого угла, непрерывно ворча что-то себе под нос и покашливая, вышел к свету, глянул из-под густых бровей на протопопу и, ничего не говоря, принялся одеваться. Был он в плечах широк и костист, но как-то неуверен в движениях и даже застенчив, хотя и производил впечатление человека хмурого и сердитого. Аввакум дождался, пока он оденется, вновь поблагодарил Устинью, и они вместе с Фомой вышли на улицу и направились, ни слова не сказав друг другу, по направлению к монастырю. Уже когда они дошли до самых монастырских ворот, на которые до сих пор никто так и не удосужился навесить ворота, Фома вдруг встал и твердо заявил:

— Внутрь не пойду. Вы, батюшка, идите, а я здесь подожду. Так мне спокойнее будет.

— Отчего же вдруг? — удивился Аввакум, подозревая, что спутник его совершил в свое время что-то недоброе в стенах обители, отчего и не хочет теперь там показываться. — Если грех какой за тобой числится, то скажи, сам с настоятелем объяснюсь.

— Грех на всех нас один — мало братии монастырской помогаем, а живем на их земле и податей не платим. Если сейчас меня кто там увидит, то вмиг снарядят в работу какую. Так что я лучше здесь подожду.

Аввакум чуть подумал и решил, что спорить с ним бесполезно, а потому, не тратя время понапрасну, пошел в монастырь один. Там он далеко не сразу нашел вездесущего Анисима, который, увидев протопопа, вдруг смутился и даже сделал вид, будто не узнал его, но потом хитрые глазки его заблестели, и худое прыщеватое лицо расплылось в подобострастной улыбке. При этом шапка у него была надвинута по самые брови, но не могла скрыть зловещий синяк, обрамлявший левый глаз.

— А-а-а, ты батюшка, верно, за своими вещами пришел, — предвосхитил он вопрос Аввакума, — так все они в целости, в сохранности, я за ними тут присматриваю, чтоб, избави бог, не покусился кто.

— Благодарствую, — сухо поблагодарил его Аввакум и поинтересовался: — Кто это так к тебе приложился? Светит так, что ночью без фонаря ходить можно. Свои наставили или иной кто нашелся?

— Так тот мужик, что вас привез, — с готовностью сообщил Анисим, — давеча заходил злой весь и, ни словечка не сказав, двинул мне прямо в глаз. А за что, спрашивается? Говорит, будто вор я и сбрую у него украл, а зачем мне его сбруя? У меня лошадей сроду не было, а потому и никакая сбруя мне не нужна, — зачастил он, натужно всхлипывая — Можно подумать, он меня за руку поймал, когда я у него сбрую ту крал. Эдак напраслину на каждого навести можно...

— Значит, Климентий так с тобой рассчитался, — прервал его излияния Аввакум. — И правильно сделал. Может, и не ты сбрую у него спер, того не знаю, но уж больно морда у тебя хитрая и сам весь проныра пронырой. Синяк, он что — заживет. А вот Климентий без сбруи просидел здесь трое суток зазря. Так значит, уехал он?

— Уехал, батюшка, уехал, слава тебе господи! И век бы мне его не знать, может, и не свидимся больше на этом свете.

— Ладно, хватит грындычить, веди меня к вещам моим.

— Пойдемте, батюшка, рад вам служить всей душой. Вы только помяните меня, грешного, в молитвах своих, а я уж помогу, чем смогу, — продолжал он непрестанно говорить, пока шли к покосившемуся монастырскому сараю.

\* \* \*

Там Анисим снял с пояса большой ключ, открыл дверь и нырнул в темноту, где незнающий человек тут же или бы спотыкнулся о что-нибудь, или разбил себе лоб, потому как свет проникал в помещение

лишь через узкое пространство двери. По этой причине Аввакум не решился войти внутрь и дождался, пока Анисим вытащит во двор его дорожный сундук, где у него находились самые необходимые вещи и богослужебные книги, а следом за ним и ларец с бумагами и письменными принадлежностями. Там же находились и все наличные деньги, взятые Аввакумом с собой в дорогу, но большая часть их уже была истрачена во время пути и оставалась самая малость, отложенная им на черный день.

Аввакум внимательно осмотрел замки и убедился, что они целы и невредимы, сдержанно поблагодарил Анисима за заботу о его вещах и заметил, как глаза того хищно блеснули, когда взгляд его упал на извлеченные им из сарая вещи.

— Это и все добро, что вы с собой из Москвы привезли, или еще где имеется? — с любопытством поинтересовался Анисим. — Не много же вы добра нажили...

— Сколько есть, все мое, — отмахнулся Аввакум от назойливых вопросов не в меру любопытного монаха, — помоги лучше до ворот дотащить, там меня человек поджидает. Да, а санок каких не найдется у вас? Потом верну обязательно.

— Найдутся и санки, на которых дровишки возим. Только боюсь, как бы кто не хватился их, наживу тогда очередных неприятностей за доброту свою, — намекнул он на необходимость платы за пользование монастырским имуществом.

— Погоди, на ноги встану, там и отблагодарю, — пообещал Аввакум.

— Как скажете, батюшка, — тут же покорно согласился Анисим, — у нас так говорят: коль чего не дадут, то и в грех не введут. — С этими словами он юркнул куда-то за сарай и вскоре возвратился с небольшими санками, на которые они сообща взгромоздили сундук, а сверху поставили и ларец.

Когда они дотащили сани до ворот, то Анисим еще издали заприметил стоящего снаружи Фому и радостно, будто родному человеку, закричал:

— А-а-а... вот кто в помощниках у вас, Фома-неверующий собственной персоной! Давненько тебя не видел, где прячешься? Чего не заходишь? А то наш настоятель несколько раз тебя поминал, мол, сказано было тебе еще по осени, до Покрова, воротины на столбы навесить, а тебя и днем с огнем не сыщешь. Когда обещанное-то вы-

полнишь? Так и доложу отцу-настоятелю, что тебя видел и ты опять от работы отказался. А уж он пусть поступает как знает с тобой. Может, и епитимью наложит, как тогда жить станешь?

— Принесла тебя нелегкая, как знал, не хотел еще идти, — сплюнул на землю Фома. — Ты меня епитимьей своей не страшай, а то у меня тоже есть что про тебя настоятелю рассказать. Устинья моя на той неделе видела, как ты на базаре сапоги продавал, а они никак не твоего размера, стало быть, стибрил опять у кого-то. Мне твой грех этот давно известен, вот и доложу отцу-настоятелю, каков ты есть. Поглядим тогда, кого первым накажут. Я и с вашей епитимьей проживу, а вот тебя из монастыря как есть выпрут, точно говорю, мое слово верное.

— Ладно-ладно, остынь, — примирительно заявил Анисим. Глазки его при том хитро заблестели, и он, переведя взгляд с Фомы на Аввакума, торопливо стал объяснять:

— Сапоги те мне от младшего брата достались, а размер точно не мой. Что же мне с ними делать? Вот и отправился на базар продавать. Большого греха в том нет...

— Грешно, коль монашествующий человек торговлей занялся, — назидательно обронил Аввакум, которому никак не хотелось становиться свидетелем начавшейся перепалки, в которой вряд ли обнаружится, кто прав, а кто виноват. Но мнение его об Анисиме окончательно укрепилось в том, что человек он на руку нечистый и дел с ним иных больше иметь не стоит.

— Да, а отец Павлиний в монастыре или опять отъехал куда? — спросил он Анисима, который решил за лучшее укрыться за монастырскими стенами, пока Фома не обвинил его еще в чем-то, и уже направился обратно, даже не попрощавшись.

— Даже не знаю, — ответил тот на ходу чуть полуобернувшись, — вроде бы еще не возвращался, как третьего дня уехал куда, завтра поинтересуйтесь... — И с этими словами скрылся из виду.

— Ладно, поинтересуюсь, — неопределенно проговорил Аввакум и, обратившись к Фоме, сказал:

— Ну, что, поехали?

— Ага, — однозначно согласился тот и впрягся в сани.

К новому жилищу Аввакума они шли молча, и каждый думал о своем. Фома мечтал, как бы побыстрее вернуться домой, забраться в свой теплый угол и там, как он делал каждый зимний вечер, рисо-

вать в воображении, что когда вновь наступит долгожданное лето, то он непременно сбежит куда подальше от давно надоевшей ему жены с ватагой таких же, как он, молодцов с неуспокоенной душой.

В Тобольске он и так уже порядком подзадержался, сойдясь с Устиньей, и без малого два года маялся от безделья. Натура его не позволяла сидеть долго на одном месте, душа требовала частых перемен, а потому любил он проходить за день по многу верст, узнавать новые, ранее неизвестные места, знакомиться с людьми, ночевать где-нибудь под кустом на берегу малой речки и знать, что никто завтра не явится по его душу и не отправит на работу.

Тем и нравилась ему Сибирь, что можно было здесь жить так, как душе твоей угодно, оставаясь человеком вольным и независимым. Но год от года становилось все больше желающих закабалить его, Фому, приставить к какому-то занятию, которое ему и даром не нужно. То воеводский дьяк объявится, то игумен монастырский. И все норовят снарядить его в работу, заставить делать что-то ему, Фоме, неприятное и ненужное, да не таков он, чтоб дать накинуть себе на шею хомут работной лошади.

И раньше с других мест уходил он, как только чувствовал повышенный интерес к себе власти государственной или церковной, а иной на Руси пока, слава богу, не придумали. И пока что он силен и живет в нем вольный дух свободного человека и ноги в состоянии уносить его от кабалы господской, будет он, Фома, идти все дальше и дальше, покуда не найдет уголок, где до него никому не будет дела.

Аввакум же, наоборот, думал, как бы побыстрее обосноваться в новом для него городе и зажить спокойно, размеренно, что у него обычно плохо получалось. Каждый раз, лишь он с семьей начинал чувствовать недостаток в доходах своих и его начинали уважать прихожане, появлялись дети духовные, чем он больше всего гордился, считая главной пастырской обязанностью наличие душ, ему доверявшихся, как на грех, открывалась ему в чем-то неправда, терпеть которую он не мог и безудержно бросался изводить ее под корень. Но попытки эти заканчивались всегда одним и тем же: зло, с которым он боролся все свои три десятка лет, оказывалось если и не сильнее его, то хитрее, коварнее и знало, когда подставить ножку своему противнику и опрокинуть его на землю, подняться с которой ох как непросто. И ведь никто не заставлял его вступать в неравную ту борьбу, рисковать не только собой, но и женой, детьми, которые



волей-неволей, а оказывались если и не участниками, то свидетелями его обидных проигрышей и очень редко малых побед...

«Побед... — повторил Аввакум про себя, — а были ли они, победы? И если случались, то в чем их плоды? Победителей не ссылают к черту на кулички...»

\* \* \*

Произнеся даже не вслух, а мысленно про себя, имя врага рода человеческого, Аввакум поморщился и на ходу перекрестился, для чего ему пришлось отпустить ларец, который он осторожно поддерживал, тогда как Фома тащил сани с поклажей. В этот самый момент под полозья саней попала небольшая кочка, от чего они накренились и ларец полетел вниз и упал в снег на обочину дороги. Протопоп тут же подхватил его и грозно крикнул Фоме:

— Вези осторожней, не дрова, чай!

Фома от этих слов остановился, повернулся всем корпусом к Аввакуму и, сузив глаза, спокойно проговорил:

— Ты, батюшка, того... Это самое... Замашки свои брось, а то знаю я вас, долгогривых, вам только палец протяни, а вы по локоть откусите. Тащи сам, коль не нравится, я тебе не холоп какой, чтоб помыкать мной.

Аввакум невольно растерялся от подобных слов и, набычившись, вырвал из его рук веревку, перекинул ее через плечо и сам потащил сани, но на первой же кочке, которых тут было великое множество, злополучный ларец вновь грохнулся вниз, и ему пришлось останавливаться, поднимать его. Фома же так и стоял там, где его застал оклик протопопа, и с интересом глядел на тщетные усилия того справиться с поклажей.

— Ладно уж, давай помогу, коль взялся. Благо почти добрались до дома твоего, совсем чуть осталось. Видно, вся ваша порода такая, что всякого, кто по званию вас, попов, ниже, вы своим холопом считаете. Дело твое, но здесь, в Сибири, ты бы попридержал норов свой, а то он тебя вскорости и до беды доведет.

С этими словами он перехватил веревку из рук Аввакума и молча потащил санки дальше. Аввакум же засеменял следом, продолжая придерживать свой ларец и думая, что стоит лишь помянуть нечистого, а он уже тут как тут и норовит разъединить, посорить людей, радуясь своей работе. Тяжко вздохнул и принялся читать на ходу

молитву, стараясь ступать в такт шагам Фомы, уверенно направляющего сани по кочкам и сугробам, вкладывая в эту нехитрую работу всю свою силу и злость на людей, норовивших использовать силу эту в своих собственных целях.

Когда они дошли до дома, отведенного Аввакуму под жилье, то Фома помог затащить сундук внутрь, сокрушенно глянул по сторонам и, ни слова не сказав, зашагал по направлению к своему дому. Аввакум же, оставшись один, первым делом открыл ларец и извлек оттуда небольшую иконку Казанской Божьей Матери и поискал глазами место, куда бы ее поставить. Но, не обнаружив подходящего места, вынужден был пристроить ее на чурбачок, после чего опустился перед ней на колени и принялся благодарить Заступницу за все ее благодеяния и помощь в делах житейских.

«Если бы не Ты, Матушка, — шептал он негромко, — то меня давно бы в живых не было и детки мои наверняка бы сгинули, без отца родного оставшись. Спасибо Тебе за все. Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего...» — вычитывал он знакомую с детства молитву. При этом успевая отсчитывать сделанные им поклоны, которые по раз и навсегда установленному порядку совершал он в день не менее пятисот, а жене своей по занятости ее разрешал делать хотя бы двести с полста.

Пока он молился, то все земное и житейское незаметно ушло из мыслей его, и в пылком воображении протопопы возник цветущий райский сад, похожий на яблоневые сады в весеннюю пору в его родной деревне. И, как бы со стороны, он видел себя, меж деревьями неспешно прогуливающегося под ручку со своей Анастасией Марковной, которая тихо и радостно улыбалась ему, незаметно поглаживая кисть мужниной руки, удерживающей ее под локоток. Где-то рядом бродили и другие счастливые супружеские пары, лиц которых он различить не мог, но и не нужно ему было знать тех лиц, хватало и того, что он счастлив и так будет продолжаться всегда, целую вечность...

Досчитав до пятисот, он взял в руку иконку, поцеловал ее пылающими неземным огнем губами в край ризы, поставил обратно и, еще раз перекрестившись, поднялся на ноги, с горечью оглядел свой необитаемый приют, вновь тяжело вздохнул и решил заняться устройством его. Для начала он выломал из пола гнилую половицу, достал нож, кресало и трут, настрогал щепы и попытался ее разжечь. Одна малая лучинка чуть затлела и тут же погасла. Он отщепил еще

одну, стараясь сделать ее потоньше, и опять поджег. После нескольких попыток робкий огонек заиграл в безжизненном доме, что весьма обрадовало и ободрило Аввакума. Он протянул к огню руки, чуть погрел их, а потом положил сверху и всю половицу, которая долго не разгоралась, а потом вдруг занялась жарким пламенем, выбросив из себя сноп искр, одна из которых упала ему на одежду, и он испуганно отскочил от огня, оглянувшись по сторонам, опасаясь, как бы огонь от его неумелых действий не перекинулся на стены дома. Наконец, сообразив, что огню нельзя давать распространяться по всей половице сразу, он ногами переломил ее и положил обломки один на другой и стал внимательно следить за своим костерком.

\* \* \*

Сетование лучше смеха;  
потому что при печали лица  
сердце делается лучше.

*Екк. 7, 3*

...В тот же вечер жители монастырской слободки стараниями сло-воохотливой Устиньи уже знали, что меж них поселился прибывший из Москвы батюшка, и это дало им пищу для долгих размышлений и предположений. В дом к Устинье, которая в свои сорок лет умудрялась оставаться бабой шустрой и расторопной, благодаря чему всегда первой знала все слободские и городские новости, явились одна за другой две ближайшие соседки, казачья вдова Варвара и дочь старого рыбака Глашка, обе незамужние, а потому никому не подвластные и по той же причине на язык злые. Варвара по возрасту была ровесница Устинье, а Глашка хоть и прожила на десять лет меньше их, но успела хлебнуть за свой короткий век всякого и умела постоять за себя не хуже любой базарной бабы.

Объединяло их общее желание найти себе в спутники доброго и хозяйственного мужика, про которых говорят, что жить за ним можно как за каменной стеной. Но этакая порода для Сибири слыла большой редкостью, и все больше попадались такие, как Фома, мужик Устиньи, который только и мечтал, как бы посытнее пожрать и завалиться спать на весь день. Одинокие мужики если и появлялись в слободе, опять же долго не задерживались на одном месте. И однажды, не вынеся нескончаемых попреков своей сожительницы, чаще

всего тайком, сбегали куда глаза глядят, оставляя спутнице своей возможность браниться и дальше, но теперь уже в сторону пустого угла, где он когда-то беззаботно пролеживал день-деньской. Устинья за последние несколько лет поменяла уже троих один с другим схожих бегунков, как она их называла и не особо от того кручинилась, надеясь лишь на свои собственные руки и сметку, благодаря которой ей и удавалось выживать, да еще и содержать таких вот нахлебников, как Фома.

Как только соседки узнали, что в дом к ней заходил приезжий протопоп, то у них пробудился здоровый интерес порасспросить ее, кто он таков и надолго ли прибыл в Тобольск.

— Каков он собой-то? — спрашивала Глашка, надеясь, что в скором будущем обязательно познакомится с тем батюшкой, а там... чем черт не шутит.

Соблазнил ее когда-то в совсем еще юном возрасте известный на всю округу Степка Соколок, чей прах давно покоился на слободском кладбище. А после того побывало у нее полубоювников немало, но ни один из них не повел речи о замужестве и совместном житие. Объяснялось это прежде всего тем, что нравились Глафире парни видные, у родителей которых, однако же, были свои виды на собственных сыновей. Им подыскивали невест из семей состоятельных, чтоб хотя бы таким путем выбраться из печального положения монастырских посельников. А у Глафиры, чье приданое состояло разве что из рваного отцовского невода да собственной нехитрой одежды, особых перспектив на замужество с такими женихами не было. На других же парней, тихих и незаметных, побаивающихся ее за словечки дерзкие, а порой и непристойные, она и сама глядеть не желала, поднимая на смех всякого, кто пытался хотя бы намекнуть ей на свое расположение.

Особо она любила в летнюю пору прохаживаться поблизости от монастыря в ладно сшитом своими руками зеленом сарафане, в зеленом же кокошнике на гордо посаженной голове и с доставшейся от покойной матери ниткой речного жемчуга на шее. Она выжидала кого-либо из монастырской братии, направляющегося в город по каким-то делам, и, оказавшись поблизости от инокa того, неожиданно охала и хваталась за грудь.

Редко кто из послушников не бросался к ней с помощью, думая, будто бы девице стало худо и она сейчас, лишившись чувств, повалится

на землю. Ей же того и надо было. Обхватив того обеими руками за шею, она расслабленным телом припадала к нему, как былинка к могучему стволу, и губы шалуни оказывались в опасной близости от уст ничего не подозревающего монаха. Чем заканчивались эти ее «припадки» никто толком не знал, но, потому как с завидным постоянством игумен изгонял из стен обители то одного, то другого инока или послушника, можно было судить о немалых Глашкиных «успехах».

Потом же, когда слава о ее шуточках стала уже, как водится, бежать впереди девки самой, монахи, завидев еще издалека зеленый сарафан соблазнительницы, пускались в буквальный смысл наутек, подобрав руками полы рясы, словно гнался за ними сам искушитель рода человеческого.

Ничуть оттого не смутясь, Глафира стала искать применения талантам своим уже не вблизи Христова прибежища, а под сенью храмов Божьих, посещая по очереди все городские церкви и высматривая там молодых детей поповских, помогавших отцам своим во время службы. Тут она уже не разыгрывала сцен с потерей чувств, а, наоборот, проявляла их, не сводя взора, горящего неистощимым огнем своих зеленых глаз, с того или иного прыщеватого поповича.

Воспитанный в строгости и не отпускаемый родителем ни на какие гулянки отрок тот, встретившись с ней однажды неопытным своим взглядом с ее горящими очами, чаще всего с первого раза бывал поражен тем огнем, обещавшим ему неземное блаженство. Ладно, коль батюшка его, пекущийся не только о службе, но и о состоянии души отрока, вовремя замечал опасные те переглядывания и принимал срочные и действенные меры, заключавшиеся в сокрытии юнца в стенах отчего дома, а когда и это не помогало, то в отправке к дальней родне куда подальше.

Но в двух случаях из трех Глафира тайным оружием своим лишала неоперившегося поповича рассудка и собственной воли, встречаясь с ним тайно в заповедных и тихих уголках, которых при желании и великой любовной страсти в любом месте всякий может сыскать предостаточно.

Все ее победы на церковном поприще рано ли, поздно ли становились достоянием слободских кумушек, тем более что сама Глафира вовсе не собиралась отрицать деяния свои. Варвара с Устиньей единственные из слободских баб, относящиеся к ней с сочувствием и покровительством, во время вечерних своих посиделок с плохо

скрываемым любопытством пытались разузнать у нее подробности тех походов. Но Глафира, напуская на себя таинственность и потому, лишь отмахивалась от их щекотливых вопросов и особо делиться греховными деяниями своими не желала.

«Да ничего такого и не было», — обычно отнекивалась она, опустивши скромно глазища свои вниз, так, что если бы кто не знал ее и увидел в первый раз, то принял бы вовсе не за великую грешницу, а за деву, себя блюдущую в постах и молитвах и ни о чем греховном не помышляющую.

«Так уж и не было», — дергала ее за одежду Устинья, знавшая толк в любовных утехах, но и на мгновение не представлявшая себе, как это можно пойти и завязать знакомство с незнакомым прежде человеком.

Так называемые мужья ее, через короткий срок бесследно исчезающие, обладали неистребимым чутьем и немалым опытом отыскания на короткий срок прибежища и приюта близ одинокой женщины, которая неизменно нравилась мужикам той породы, прозванным за повадки свои шатунами. И она, ничуть тому не дивясь, принимала очередного горемыку, как бы ненароком, попросившегося на ночлег, а потом задержавшегося по обоюдному согласию на зиму, а то и на две, полагая, что то и есть промысел Божий — оказывать сострадание и помощь ближнему своему. А куда ж деваться, коль ласками мужскими она особо никогда не бывала избалована и по-своему ценила их, понимая хорошо, что бабий ее век давненько начал клониться на закат и вскорости последние сумерки сменятся долгим ночным мраком.

Варвара же в отличие от нее худо-бедно прожила со своим казачком почти десяток годков, из которых, если посчитать, когда видела его дома, и годика по дням не наберется. Все-то он был в походах да разъездах, ладно, хоть неизменно привозил с собой каждый раз какое-никакое барахлишко, о происхождении которого рассказывать особо не любил.

Если Варвара не успевала спрятать привезенные им из очередного похода изрядно поношенные, еще носящие чужой запах вещи, то он их неизменно пропивал. Она же брезговала оставлять себе чего из плохой одежки и выменивала ее на что иное, чем и жила, пока муж ее, чуть погостив и от души погуляв, опять отправлялся, как он заявлял, «по делам государевым». Не говори он каждый раз при коротком прощании слова эти, может, и нашла бы она иного кого, будучи бабой

домовитой и хозяйственной. Но эти его слова о службе государевой заставляли и ее думать, будто бы и она причастна к той службе, дожидалась помногу дней возвращения надолго запропавшего мужа.

Она и представить себе не могла, что бы случилось, застань ее казак с кем другим. Вряд ли он стал бы осуждать бабу свою за случившееся и сам наверняка имел жен таких почти что в каждом городке, куда его направляли. Может, даже обрадовался бы случившемуся. Ну, отвесил бы оплеуху, погрозил для острстки саблей, хлестанул плетью напоследок и подался бы восвояси к такой же, как Варвара незамужней бабе.

Нет, другого боялась Варвара. Ждала она, как бы после того не пришли люди военные или приказные чином повыше и не осудили ее за измену государю и всему отечеству, которому мужик ее служил верой и правдой столько лет. Вот эта-то боязнь и не позволяла ей в свое время приглубить иного мужика, чтоб жил он подле нее, а не наездами не боле недели, пусть бы и сбежал он потом, как то случалось с приживалами соседки Устиньи. Только бы не было того вечного ожидания, в котором она пребывала все это время, и прошла бы у нее приобретенная с годами привычка вздрагивать и выбегать на порог от бряцанья лошадиной сбруи подле дома, от любого стука и голоса, раздававшегося под дверью. И трудно сказать, опечалилась ли она или обрадовалась, когда известили ее, будто бы казак ее убит был в короткой стычке со степняками, завещав перед смертью не ждать его больше и жить дальше как ей вздумается.

Некоторое время она сомневалась в смерти мужа своего невенчанного, а потом решила, что так-то оно, глядишь, и легче, но по непонятной причине мужиков стала вдруг сторониться, храня сперва положенный срок верность по покойному, а потом, уже по окончании срока того, поняла неожиданно для себя, что душа ее покрылась невидимой коростой и не то что плотского желания, а даже мыслей о нем внутри ее не осталось.

И тогда посетил ее долгий испуг своей ненужности и никчемности в этом мире, постепенно сменившейся успокоенностью и тихой печалью о быстро истекшей бабьей доле. Потому, узнавая о любовных похождениях Глафиры от кого-то их соседок, не осуждала ее, но и не завидовала, как это откровенно читалось в глазах Устиньи, сладостно закатавающей их при расспросах грешной уже видом своим соседки.

Втроем они встречались не так уж часто, но сейчас, с появлением нового в их слободе человека, был для того повод не только посудачить, но и оттаять душой от беспросветной участи невест соломенных, прозвание которых они, как и многие в сибирском неприветливом краю, носили. Так полублаженный рьяный инок-молитвенник таскает на плечах пудовые вериги, напоминавшие ему о накопленных им больших и малых грехах. Потому, когда Устинья обсказала им о своей встрече с протопопом, то каждая заинтересовалась им по-своему, примеряя новость ту соразмерно представлениям своим.

— Каков он собой? — повторила свой вопрос Глафира, смачно облизнувшись, будто в рот ей попал кусок пчелиных сот, и слегка повела узким плечиком. — Хорош или так себе, плюгавенький?

— Не знаю, как и описать, — с готовностью отозвалась Устинья, — высок, голос зычный, взгляд строгий имеет. Но вот глаза какие-то... — запнулась она вдруг, не зная, как передать подружкам протопопов строгий взгляд.

— А чего у него с глазами такое? Косой, что ли? — простодушно спросила Варвара, уже загодя пожалев незнакомого ей протопопу.

— Тьфу на тебя, — слегка обиделась хозяйка дома, — сроду не встречала попов косых. Как к такому на исповедь подойдешь, когда у него глаза в разные стороны глядят? Тоже мне сказанешь, словно воздух испортишь...

— Гы-гы! — рассмеялась Глашка, при всей своей внешней привлекательности имевшая смех неприятный, похожий на гусиное гоготание. — Это верно! Варька наша, праведница великая, иногда такое выдаст, что хоть стой, хоть падай.

— Ага, тебе лишь бы упасть под кого, — быстро нашлась Варвара, — себя-то со стороны не видишь, зато над другими горазда шутить...

— Ладно, успеем еще поругаться, — примирительно ответила та. — Ты, Устья, про глаза того попаки что-то сказать хотела, — напомнила Глафира. — Что там у него с очами? Может, чертики пляшут, а? Гы-гы! — У нее вновь прорезался неприятный смешок, который она тут же в себе погасила, видно, зная, какое впечатление он производит на других, и чинно застыла на лавке, положив обе тонкие ручки свои на колени.

Устинья чуть задумалась, восприняв вопрос Глашки всерьез, а потом, кивнув в знак согласия, сдержанно ответила:



— Может, и права ты, Глашуня, чего-то у него в глазах есть этакое, но точно не скажу. Не вправе я о батюшке говорить нехорошее что. Это ты у нас без узды живешь, кнута Господня пока не пробовала, можешь и не такое сказануть, а я вот не буду. Но глаз таких сроду не встречала. В них будто огонь полыхает, того и гляди, обожжет, а то и совсем спалит. Уж этак он глядит...

— Да как «этак»? — передразнила ее Глашка, далеко выпятив нижнюю губу, как это делала обычно Устинья. — Все мы «этак» глядим, а никого не сожгли, не запалили. Сказывай ладом.

— А что сказывать? — в недоумении пожала плечами Устинья. — По-особому он смотрит, вот и все. Как иначе пояснить, и не знаю.

— Со строгостью? — переспросила Варвара.

— Со строгостью, — согласилась тут же Устинья, — но только словами это не опишешь, то видеть самой надо.

— А глаза у него какие? Черные, как деготь, или такие, как у меня. — И Глашка хитро усмехнулась. — С кошачьим отливом? Вот удивлюсь, коль со мной схож попик тот глазом будет.

— Нет, не смоляные, но и не кошачьи, как твои. Глаза у него обычные, васильковые, как у многих. Но огонь в них есть, горят изнутри.

— Свят, свят! — перекрестилась тут же Варвара. — Страсти-то какие. Может, показалось тебе все?

— Сроду не замечала за собой этакое, а тут на тебе, казаться вдруг стало, — с обидой в голосе заявила Устинья. — Да вон, Фомку моего спросите, он его больше видел, пока с ним в монастырь ходил за поклажей.

— Фомушка, касатик, покажись незамужним бабам, скажи словечко, — с напускной лаской в голосе позвала того Глафира. — А то сидишь там, как сыч в дупле, и к нам даже не выйдешь.

— Чего надо? Спать мешаете, — сонным голосом отозвался тот, но тут же поднялся и вышел к ним.

По всему было видно, что он совсем не спал, а наоборот, внимательно прислушивался к бабскому разговору, потому что сразу же заявил:

— В глаза ему не смотрел. И ничего в них необыкновенного нет. Глаза, как глаза. Насчет строгости не знаю, меня их поповская строгость не касается. Пусть иных страшает, а мне они не начальники.

— Знаем мы тебя, — состроила рожу Глафира, — сидишь под кустом, накрывшись листом, и ничегошеньки на свете не боишься.

— Точно сказала! — прыснула со смеху Устинья. — Таков он и есть. Ничегошеньки знать не желает, лишь бы его не трогали.

— Ой, ну чего вы к мужику привязались? — заступилась за Фому сердобольная Варвара. — Оставьте его в покое. Иди, Фомушка, отдыхай, не слушай их, охальниц.

— Ну вас, прежде чем с такими говорить, нужно ведро гороху съесть, — отмахнулся от баб Фома и, глянув напоследок в сторону тут же состроившей ему глазки Глафиры, поплелся обратно на свою лежанку.

— А лучше тебе два ведра гороха умять, — не замедлила высказаться вслед ему Глашка, — чтоб сразу и напополам разорвало. Гы-гы!

Тут уже засмеялись все сообща, и раздосадованный Фома чего-то забубнил, сожалея, что встрял с ними в разговоры, которые для него в таких случаях ничем добрым не заканчивались.

— Так где же сейчас тот батюшка? Неужто в холодном доме ночует? Этак он и до утра не доживет. Там же ни полена дров нет, ни дверей, все настезь! — всплеснула руками Варвара. — Помочь бы ему чем...

— Я бы его пригрела, к себе пригласила, — со значением сообщила Глафира, — да боюсь, откажется. А может, ты, Варька, пригласишь его? Чего боишься? У тебя дом получше моего будет, и отца больного нет.

— Скажешь тоже мне, — вспыхнула маковым цветом та. — Он, поди, женат, коль батюшка. У тебя на уме только дурное.

— Да хватит вам собачиться, — прикрикнула на них Устинья. — Негоже так говорить о человеке в сане. Замолкни, Глашка, а то выпру вон и не погляжу, что подружка моя. Может, и впрямь дойдем до дома его? По-соседски? — нерешительно спросила она. — Большого греха в том не вижу. Поинтересуемся, как он там.

— Можно вещей теплых унести ему, — предложила Варвара. — Дерюгу какую, чтоб дверь хотя бы от ветра завесил.

— Никакого ветра на дворе и в помине нет, — скривилась Глафира, — скажи лучше, хочешь поглазеть, что за попик к нам в слободу пожаловал. Пойдемте, я тоже не прочь глянуть. Только у меня ничего нет, что можно ему унести, сама, как щука в пруду, живу, что на мне, то и мое.

— А еще лучше, если на тебе совсем нет ничего, — не замедлила уколоть ее Варвара.

— Девки, кончайте! — уже с угрозой в голосе прикрикнула на них Устинья. — А то знаю вас, и до драки дойдет.

— А мне ничего, пущай говорит, — беззаботно ответила Глафира. — Мели, Емеля, твоя неделя.

\* \* \*

С этими словами они наконец-то закончили обычную для них беззлобную перебранку, оделись и пошли в сторону одинокого дома, ничего не сказав о том Фоме. А тот хоть все и слышал, но не желал обременять себя лишний раз не только какой-то не нужной ему работой, но даже не позволял пробуждаться чувствам своим, которые, как он знал, пробудившись непременно заставят его чем-то заняться и отвлекут от главного — от мечтаний о новой дороге. И на ней не будет назойливых указчиков, без которых он и сам не пропадет и найдет свою собственную тропку в ту дальнюю сторону, где нет ни господ, ни холопов и каждый человек может жить сам по себе не обремененный выполнением кем-то придуманных законов.

Устинья незаметно от Фомы взяла старый овчинный тулуп и несла его, перебросив через плечо, как рыбак тащит сеть свою, возвращаясь с лова. Варвара же по дороге ненадолго заглянула к себе и вытащила из кладовой сложенную в несколько раз дерюгу, которая который год лежала у нее без дела, привезенная когда-то мужем из очередной своей поездки. Только Глафира вышагивала налегке, полагая, что человека не всегда можно согреть изделиями рук человеческих, тогда как тепло душевное гораздо важнее и жарче дает себя знать. Все трое шли молча, и лишь жесткий от мороза снег отзывался скрипом на их недружную поступь, а из звуков его складывалось одно и то же слово: «Идите, идите, идите...»

Но вряд ли соломенные вдовы улавливали смысл этих звуков, думая каждая о своем.

Устинья не знала, чем кормить Фому, который в дом ничего не нес, наниматься куда-то на работу не спешил, но ни разочку еще от еды не отказался.

«Может, батюшка новый поговорит с ним и призовет делом заниматься», — размышляла она на ходу, в душе понимая, что вряд ли Фому проймут хоть какие-то проповеди. Фома он Фома и есть.

Варвара втайне надеялась когда-нибудь узнать у батюшки, в дом к которому они направлялись, такую молитву, которая поможет на-

чать ей новую жизнь и снимет с души коросту, мешавшую дышать полной грудью и хоть раз в году ощутить себя счастливой и безбоязненно жить дальше, как живут все одинокие бабы, хорошо понимая, что счастье их осталось где-то в прошлом и никогда к ним больше не постучится. Но неугасающая надежда жила в каждой из них, иначе... иначе зачем еще и жить на этом свете...

Глафира чуть отстала от них и убеждала себя в том, что идет лишь заодно с подругами, глянуть, кто поселился в их слободе, построить ему при случае глазки, проверить на выдержку. Но и она надеялась и верила, а вдруг да тот священник знает некую тайну и совершит над ней обряд, после чего найдется добрый человек и придет в дом к ней сватов. И тогда заживет она счастливо, отрешившись от былых грехов, и уже не нужно будет искать быстротечную любовь на стороне, а просто любить единственного на всем белом свете человека и ни о чем больше не думать...

Когда они наконец подошли к дому, то увидели через дверной проем мерцающий внутри огонек, осторожно взошли на крыльцо и окликнули хозяина. Но ответа не последовало. Тогда Глашка вошла первая и, сделав несколько шагов, увидела спавшего на соломе свернувшегося клубочком человека с рыжеватой доходившей почти до пояса бородой. Глаз его, к сожалению, рассмотреть она не могла. Она обернулась к подругам и, приложив палец к губам, дала знать, чтоб они соблюдали тишину.

Те осторожно вошли, и Устинья, ступая на цыпочках, укрыла Аввакума своим тулупом, а Варвара занавесила дверной проем дерюгой. Потом они так же молча вышли и направились обратно. Каждая из них шла к себе в дом, где их никто не ждал, и сознавали, что сегодня сделали нечто такое, чего бы могли и не делать, и никто бы им не попенял за то. Но так уж они были устроены, что чем больше страдали и претерпевали, тем мягче и нежнее становились сердца их, о чем сами они порой и не подозревали.

Аввакуму же в это время снилось, что пришли к нему три жены-мироносицы и принесли ему Святые Дары, отведав которые сделалось у него на душе тихо и спокойно. И он даже забыл, что находится в неприветливой стране, зовущейся Сибирью, где предстоит ему жить долго, гораздо дольше, чем он сам мог предположить. Но ему верилось, что если будет он непрестанно молиться и просить Господа порушить все препятствия вокруг, то так оно и случится. И придут

к нему люди за словом Божиим. И он научит их, как жить на земле без греха, чтоб войти в Царство Небесное, куда каждому открыта дорога, если тот человек прислушается к речам его.

\* \* \*

Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают.

*Екк. 4, 17*

Проснулся протопоп, когда на улице было еще темно и лишь слегка посеревшие стены соседнего дома говорили о том, что рассвет где-то близко. Удивительно, но он почти не замерз, хотя пальцы на ногах слегка пощипывало от холода и все тело сотрясал легкий озноб. Вскочив на ноги, он поворошил головешки в очаге, нашел несколько еще тлевших угольков и подул на них, а потом выдернул пук соломы из своей лежанки и подsunул его к ним поближе. Солома вспыхнула и озарила его неустроенное жилище.

Но Аввакуму от увиденного сделалось почему-то весело, и он тут же опустил на колени перед иконой Божьей Матери, принявшись читать утреннюю молитву и отсчитывать неизменные поклоны, которых он решил позволить себе в первой половине дня лишь половину от установленной обычной нормы. Закончив молиться и уже от одного этого окончательно согревшись, он достал из ларца очередную просфору и тщательно, не позволяя упасть на пол ни единой крошке, стал отламывать от нее малые кусочки и класть в рот. Не хватало лишь воды для его трапезы, и тогда, недолго думая, он вышел во двор, зачерпнул из ближайшего сугроба пригоршню снега и отправил ее в рот, а остатками снега растер себе лицо. Талая вода окончательно взбодрила его, и он решил тут же отправиться в указанный ему владыкой храм к заутрене.

Достав из сундука стихарь, он облачился в него, а сверху надел ризу, на голову водрузил теплую камилавку и вынул из сундука обязательную фелонь, епитрахиль, поручи, а затем бережно извлек и сделанный по особому заказу посох. Хотя по чину ему и не полагалось его иметь, поскольку посох всегда был символом власти архиерейской, но в церковных канонах не существовало запрещения на его ношение, чем Аввакум и воспользовался. Хотя, еще будучи в Москве, не раз подвергался критике за его ношение.

Посох ему изготовил умелец, что резал иконостасы для московских храмов, поместив наверху рукояти яблоко, которое оплели две змеи и головы их с выпущенными жалами застыли в немой угрозе одна напротив другой, взяв за работу свою с Аввакума деньги немалые. Но вещь стоила того. К тому же мастер сделал ее разборной, что позволяло брать его в поездки, разъединив на две половинки.

Когда Аввакум шествовал с ним по Москве, то неизменно ощущал на себе взгляды горожан, принимавших его не иначе как за архиерея и с поклоном уступающих ему дорогу. Прознавший об этом патриарх Никон после авеста протопопа велел тот посох найти и предать огню, но верные люди вовремя спрятали занятную вещицу и вернули хозяину незадолго до его отъезда в Тобольск.

Аввакум любовно огладил посох, щелкнул по носу ближнюю к себе змею и вышел из дома, который, как он надеялся, со временем обретет вид вполне достойного жилища. Дойдя до городских ворот, он грозно прикрикнул на дремавших возле костра караульных, и те, со сна не разобрав, кто перед ними, но, увидев в утренней мгле архиерейский посох в руках приблизившегося к ним человека, испуганно бухнулись на колени, прося прощения за свой недогляд. Аввакум же лишь улыбнулся в бороду и прошел мимо, не сказав ни слова.

«Пусть привыкают, — подумал он, — все они дети мои духовные и должны почитать и бояться отца своего».

Возле храма Вознесения Господня не было ни души, и он, поморщившись, постучал концом посоха в дверь церковной сторожки, где ночевал сторож, обычно исполнявший обязанности звонаря. Через какое-то время дверь открылась, и оттуда высунулась голова заспанного нестарого еще мужика с испуганными глазами, которые он непрерывно щурил, пытаясь разглядеть, кто посмел поднять его в такую рань. Увидев уставленный на него посох, он тут же открыл от удивления рот и затрясся в испуге, произнося единственную фразу:

— Виноват, ваше высокопреосвященство, виноват...

Наконец, рассмотрев, что перед ним вовсе не владыка Симеон, он удивился еще больше и, вытаращив глаза, спросил:

— А я-то вас за владыку нашего принял, — и повторил еще раз: Виноват ваше...

— Хватит виниться, айда на колокольню — звонить будем вместе, пора народ на службу звать.

— Так рано же... Третьи петухи еще не пропели, — попытался возразить тот, но Аввакум не дал ему договорить:

— Вот и разбудим их нашим звоном.

— Слушаюсь, — покорно согласился звонарь и нырнул обратно в сторожку, тут же выйдя оттуда с ключами от колокольной.

Пока они шли к ней, он постепенно приходил в себя и наконец, уже вставив ключ в замок, повернул к Аввакуму голову и осторожно спросил:

— А вы кто будете, батюшка? Раньше я вас не замечал здесь.

— Протоиерей ваш, — со значением ответил тот и поторопил звонаря: — Открывай, открывай, чего копаешься.

— Замок, видать, замерз, — ответил он и вдруг удивленно вновь глянул на Аввакума, произнеся тихо: — А как же батюшка наш Аверкий? Его куда?

— То не твоего ума дело. Как владыка Симеон решит, так и будет. Ты лучше поторопись с замком.

— Нет, — решительно заявил тот, — без отца Аверкия и его благословения открывать не стану. Мало чего вы тут мне наговорите. Пока что он настоятель и пусть мне скажет, что звонить нужно, а так... — И он выразительно затряс головой, давая понять, что выполнять указания Аввакума отказывается.

— Где живет настоятель ваш? — тоном, не допускающим возражений, спросил Аввакум, поняв, что спорить со звонарем бесполезно.

— Недалече живет.

— Вот и дуй за ним, скажи, что протопоп Аввакум из Москвы прибывший ждет его. Пусть поторопится, а то так и всю службу проспять недолго.

Служитель спрятал ключ от звонницы у себя на поясе и не хотя пошел к церковным воротам, постоянно оглядываясь, словно опасался, как бы незнакомый человек не совершил без него что-то предосудительное. Аввакум же, уже изрядно замерзший, направился в сторожку, сердясь на себя, что служба его начинается совсем не так, как ему хотелось бы.

\* \* \*

Иерей Вознесенского храма отец Аверкий прибыл в Тобольск вместе со всем своим семейством еще во время управления Сибирской епархией владыкой Герасимом и надолго в этом городе задержался.

Архиепископ благоволил и покровительствовал ему, несмотря на различные прегрешения того по части сбора пожертвований с прихожан, великая толика от которых оседала в иерейском загашнике. «Кто безгрешен, тот пусть первым в меня камень кинет», — любил он повторять на жалобы, долетавшие до него то от одного, то от другого страждущего справедливости сибирского жильца.

Ходили разговоры, что владыка, сам обремененный хлынувшими за ним на сытые епархиальные хлеба многочисленными родственниками, с участием относился к отцу Аверкию, произведшему на свет четырех дочерей, попечительство о которых и была его главной заботой. Уже перед самым своим отъездом архиепископ поставил отца Аверкия городским благочинным, сделав его тем самым недостижимым для жалобщиков и недоброжелателей, мигом ставших частыми гостями в просторном его доме. Хаживали они туда не только угощаться малосольной рыбкой и попить клюквенного морсика с сочными расстегайчиками, сколько полюбоваться на пышнотелых дочек его, прислуживающих гостям. Батюшка Аверкий при том радостно потирал руки в преддверии скорого появления сватов и вдруг... Все неожиданно поменялось в один день после скоропостижной смерти владыки Герасима.

С прибытием почти через год архиепископа Симеона произошли многие перемены. Коснулись они и отца Аверкия, отстраненного от благочиния. Нашелся на его должность иной претендент из числа прибывших с новым пастырем людей. Едва лишь владыка Симеон обосновался на Тобольской кафедре, как вскоре вслед за ним потянулись в Сибирь на церковное служение его земляки и знакомцы в надежде занять особо хлебные приходы. Так и вышло. Старых батюшек потеснили, кого на покой отправили, а иных перевели в захолустные приходы, где в окрестных деревеньках проживало не более полтатора десятка крестьян, которые сами едва перебивались с хлеба на воду.

Зато вновь прибывшие в короткий срок обзавелись прочными связями с состоятельными сибирскими жильцами и повели жизнь сытую, славя пригревшего их владыку Симеона. А вскоре грянули перемены в службе и разные нововведения. Старые служители глухо роптали из дальних уголков преогромной Сибирской епархии, но кто их слышал, а тем более прислушивался. Зато земляки Симеоновы восприняли новшества без особых возражений и слова не сказавши против. Будто давно их ждали и с готовностью стали вести службы



по новым правилам и учить прихожан, как креститься тремя перстами.

Старые батюшки ждали: взбунтуется своенравная Сибирь, даст отворот новинам тем, но обошлось. Иные заботы были на уме у сибирского православного люда, а потому пошептались меж собой и до поры до времени затаили обиду на духовников своих, надеясь, авось да само рассосется, поменяется в обратную сторону.

Вот тогда-то и стал отец Аверкий подумывать о возвращении обратно в родную Тверь, откуда и был взят на сибирскую службу. Но прошел один год, за ним другой, а он все никак не мог решиться подать прошение о своем переводе.

Поначалу матушка-попадья худо себя чувствовала и боялась, что не пережить ей трудной обратной дороги на родину. Но это еще полбеды, а главное, подошел срок выдавать замуж дочерей, которых у них было четверо, и возвратись они на Русь обратно, где отца Аверкия наверняка в самой Твери не оставят, а непременно направят в какой-нибудь сельский храм, тогда о подыскании поповнам добрых женихов можно и не мечтать. Может, и сыщется кто желающий для одной, но всем четверым где там в деревне женихов сыскать? Ладно бы, одной или двум замуж пора приспела, а то ведь вышло так, словно по заказу чьему, что все они погодки! Одна другую ровно на годик старше, выбирай любую, все девки давно уже в соку и полной девичьей красе: бери, не ошибешься! Только вся беда в том, девичья краса быстро сходит. На такой товар спрос короток: год-другой — и никто не глянет, еще и пристыдят, коль предлагать станешь. Потому матушка-попадья на все разговоры мужа своего о переезде отвечала коротко: «Как дочек замуж отдадим, то, коль живы будем, тогда о том и поговорим».

И отец Аверкий хорошо понимал, права она. Здесь, в Тобольске, молодых парней хоть пруд пруди, а вот добрых девок или баб на выданье днем с огнем не сыщешь. Не каждая мать согласится с дитем в Сибирь студеную ехать и растить его здесь. Одни мужики и живут да парни молодые. На десятерых из них, коль посчитать, едва ли одна невеста найдется.

Есть, конечно, бабы гулящие, которых служилый народ по необходимости в дом приводит, но живут с ними тайком, без церковного венчания, а случится ехать в иное место, то с собой не берут, передают со смехом, словно вещь ненужную, друзьям за разовую добрую выпивку. Но, надо сказать, парни, что на сибирской службе состоят, хоть

бабским вниманием и не балованы особо, но обжениться не спешат, полагая резонно недолгое время пребывания в этих краях. Почти у всех там, на родной стороне, зазнобы остались, может, и дождутся женихов своих. Это, опять же, надо родительское благословение получить, а то привезешь с собой молодую жену, а там ее в мужнину семью и не примут. Тоже закавыка непростая, которую сходу не решишь.

Уже пару раз заявлялись сваты, от таких, намекали, мол, хорошо бы сговориться... О приданом выводывали, думая, что батюшка наверняка скопил тут немало, будет чем жениха порадовать. Но отец Аверкий знал цену таким женихам, поскольку сам обвенчал не одну сотню молодых, а потом невольно узнавал на исповеди о житье их совместном. Надо сказать, счастливых браков он для себя не отметил, хотя кто его знает, где оно, женское счастье, запрятано. А дочек своих любил, жалел и лихой доли им, само собой, не желал. Потому сватам не говорил ни да, ни нет, решивши повременить в надежде на более достойных женихов, желательно из своего же духовного сословия.

Хотя и знал наперечет всех городских и служителей, и диаконов, и пономарей, среди которых тоже особо достойных женихов назвать не мог: такие, как он, иереи, само собой, все женаты, да и другие церковные служители тоже. Поповичей же в возрасте достойном было всего двое, но, судя по всему, отцы их желали видеть невестками своими отнюдь не дочек отца Аверкия, поскольку все знали о его несложившихся отношениях с владыкой. Не то чтоб шарахались от него, но и дружбу особо не заводили. Потому вряд ли когда решатся породниться с ним, надеясь на более выгодные партии для сынов своих.

А время шло, и поповны день ото дня все более и более наливались спелыми соками, глаза у них становились какими-то масляными, речи томными и, не ровен час, недалеко и до греха. Тут глаз да догляд нужен. Потому и решил отец Аверкий вместе с матушкой, что сразу после Святков, если только вновь пожалуют прежние сваты или иной кто, не мешкая соглашаться на свадьбу, а там как Бог даст...

К тому же преклонный возраст отца Аверкия не давал возможности надеяться на хорошее место в родных краях. И сам он в глубине души понимал, что служит уже не так, как ранее, без былого огонька и благочестия, больше надеясь на помощь диакона Антона, который в нужные моменты подсказывал ему, что за чем следует. Память-то стала далеко не та, что ранее и порой он вдруг во время акафиста с удивлением останавливался и долго соображал, какой канон сейчас

требуется ему читать. Благо что Антон службу знал хорошо и, однажды заметив сбой, стал сам без смущения помогать настоятелю, ничуть не сетуя на него. Был он к тому же парнем малообщительным и вряд ли выносил сор из избы, то есть не трезвонил направо и налево о немощах престарелого иерея.

Так или иначе, но пока что отец Аверкий продолжал служить в одном из самых почитаемых в городе приходов при Вознесенском храме, куда хаживал на службу сам сибирский воевода князь Василий Иванович Хилков и все его близкие. И не просто хаживал, но не раз достаивал отца Аверкия чести великой, подходя к нему исповедоваться, а затем и причаститься. Поначалу батюшка смущался от того, что волей-неволей, а узнавал о таких делах, о которых простому смертному знать и вовсе не положено. Воевода временами пускался в перечисление грехов, совершенных им не только в бытность свою в Сибири, но вспоминал многое из юности и каялся при том истово, со слезой, ненамеренно хватая батюшку за рукав и притягивая к себе. Нет, и на Страшном суде не признался бы отец Аверкий в откровениях тех, но носил их в себе ежечасно, и если исповедные слова иных людей быстро выветривались из памяти, то грехи воеводы никак не желали оставлять его, и мучили донельзя, лишая сна и покоя.

Несколько раз князь приглашал его в свои покои, оставлял отобедать, интересовался семейством, выпрашивал об отношениях с владыкой, на что отец Аверкий и не знал что ответить, терялся, нес какую-то чушь, мол, любое начальство — от Бога и грех великий — думать о нем, а тем более говорить что-то худое.

Но князь Василий хитро смотрел на батюшку и, словно по открытой книге, читал все, что тот пытался скрыть, повторяя: «Ладно, напускать туману-то, знаю, все знаю, что у вас там, на архиерейском дворе, делается. Все мне о том известно. Владыка чихнет, а мне впору «будьте здоровы» кричать. Не хочет он со мной дружбу водить, сторонится, а я не в обиде. Пусть живет как знает, меня его дела не касаются. А вот тебя, батюшка, он не жалует, точно говорю. Потому как то мне неведомо. Сам думай, ты его человек. Рано ли, поздно ли спровадит он тебя из города, помянешь тогда мое слово...»

Отец Аверкий и верил и не верил словам воеводы, и оттого еще больше брал его страх не столько за свое, сколько за будущее своих домашних, и молил Господа лишь об одном — чтоб побыстрее сыскались женихи для дочек.

Меж тем о приглашениях его на двор к воеводе стало быстро известно архиерейским приказным, о чем те немедля донесли владыке. После того отец Аверкий заметил, что архиепископ еще более переменился к нему, стал сух, холоден, и хоть худых слов при нем не говорил, но чувствовалось по всему, прав князь Василий, недолго оставаться ему в Тобольске.

Совсем приуныл отец Аверкий и боялся сказать о том матушке, опасаясь ее слез, причитаний, рева дочерей. И во всем виноват не кто-нибудь, а он один, смиренный иерей, который всю жизнь исправно служил, нес свой крест, не помышляя о дурном, а теперь вот и не знал, как на старости лет повернется его жизнь. И он терпеливо ждал, надеясь на исконно русское: авось и на этот раз пронесет. Может, и грянет гром, но стрела огненная непременно пролетит мимо, не опалив седин его. Так и жил, веря и не веря в благополучный исход из непростой ситуации, в которой он неожиданно не по своей вине оказался.

А совсем недавно прослышал он, что прибыл с Москвы новый протоиерей и ставят его на службу не куда-нибудь, а в его собор, который он не без оснований считал своим, прослужив там без малого добрый десяток лет. Он не представлял, как сложатся у него отношения с этим приезжим, но понимал, добра ждать нечего. Два медведя в берлоге никак не уживутся, а потому последнюю ночь провел без сна, думая о несправедливости жизненной, когда у одних все идет как по маслу, а другие тянут ляжку из последних сил, даже не надеясь на лучшее.

\* \* \*

...Когда ранним утром отец Аверкий услышал осторожный стук в окно, то решил, что прибыл посланник от владыки, и живо соскочил с постели, босым побежал к двери, не замечая, как бешено бьется в груди сердце, готовое выскочить вон и упасть на холодный пол. Проснулась и матушка, почуяв недоброе, приподнялась на подушках, напрягла слух, пытаясь услышать разговор раннего посланца с мужем. Но по первым словам узнала голос Федьки, церковного звонаря, и успокоилась, тяжело вздохнула, перекрестилась, но тут до нее долетели слова о том, что отца Аверкия немедленно требует в храм кто-то из приезжих. Батюшку часто вызывали то к новорожденным, то к болящим, но чтоб кто-то требовал... такого ранее не бывало. «Заступись за нас, Царица Небесная», — прошептала она и спросила у вернувшегося к постели мужа:

— Кто там зовет тебя? Чего случилось?

— Сейчас пойду и узнаю, — с неприязнью ответил он, покосившись на не желающую вылезать из-под теплого одеяла попадью, не решаясь сказать вслух, насколько она обленилась, проводя в постели большую часть дня, и давно забыла, как следует жене провожать мужа из дома.

«Эх, дать бы ей в ухо, хотя бы в полсилы», — с тоской подумал он, но тут же представил, что начнется, как прибегут дочери, и тогда весь день пойдет насмарку. А так, уйдя в храм, он только вечером вернется в дом и тут же ляжет спать, не вступая в разговоры со своим бабьим семейством, и принялся торопливо одеваться.

Пока они шли к храму, Федька успел второпях рассказать, как ни свет ни заря появился незнакомый ему человек то ли с архиерейским, то ли с иным посохом в руках, отчего он поначалу принял его за архиерея, и велел звонить к заутрени.

— Едва отбился, — с притдыханием выговаривал он, — думал, сейчас так и звезданет посохом промеж глаз! Глаза у него горят, словно в каждом по свечке вставлено, бороденка рыжеватая вздымается, топорщится страшно так, и говорит громко, ажно в ушах звенит. Да еще говорит, с самой Москвы приехал! Неужто и взаправду из Москвы? И почему в наш храм? — Федька на ходу непрестанно размахивал руками, словно отгонял кого невидимого от себя, отчего и без того нелепая его фигура выглядела и совсем забавно. — Испужался я его донельзя, но на колокольню не полез и его не пустил. Правильно сделал, батюшка?

— Правильно, правильно, — торопливо отмахнулся от него отец Аверкий, стараясь не потерять в темноте проложенную в снегу тропинку и не оступиться. От быстрого шага он тяжело дышал, сердце колотилось в груди, словно заячий хвост, будто предчувствуя что-то нехорошее, ждущее его в скором времени.

Но при том он не мог позволить себе показать это свое предчувствие и неосознанный страх дышащему ему в затылок Федьке, а потому старался шагать степенно, выпятив грудь, и время от времени сводил брови к переносью, хотя звонарь вряд ли смотрел в его сторону, а глядел больше под ноги, чтоб не угодить в какую колдобину. Отец Аверкий ненадолго остановился, стараясь отдышаться и надеясь унять сердечное биение. Встал и Федька, подобострастно глядя на батюшку. И тот, понимая важность момента и стараясь подбодрить звонаря и самого себя, отчеканивая слова, произнес, выпуская клубы пара в морозный воздух:

— Погоди чуть, узнаем, кто таков к нам в такую рань без приглашения, меня не известив, появился. Я ему покажу, как самовольство у меня в храме проявлять. Ишь, удумал... Звонить без моего на то согласия... И не на таких управу находили, — прочищая голос, звучно кашлянул он. — И с этим управимся... Не впервой...

Но в душе он понимал: нет, не справиться ему с тем человеком, ничего не выйдет. Новые времена наступают и против этого он, заурядный иерей, бессилен что-то предпринять, а начнет противиться, то не поздоровится, управятся с ним, как с цыпленком, и перышка единого не оставят.

Меж тем Аввакум, посидев какое-то время в церковной сторожке, не утерпел и выскочил наружу, не обращая внимания на пронизывающий, достающий до самого нутра дувший с реки ветерок. Через какое-то время он услышал доносящиеся издалека обрывки слов, будто обрезал их кто и нес отдельные слоги ветром к нему, но самих говорящих в крошечной темноте различить было пока невозможно. Потом голоса смолкли, зато стал слышан скрип снега под их шагами, и наконец, чуть не наскочив на него, стоящего неподвижно, появились два покрытых инеем человека, первым из которых был дородный батюшка, тяжело дышащий, а из-за него выглядывал давешний звонарь, не пустивший Аввакума на колокольню.

— Мир вам, — степенно проговорил еще не отдышавшийся от быстрой ходьбы отец Аверкий и слегка поклонился.

— Спаси, Господи, — негромко откликнулся Аввакум, ожидая, как поведет себя пришедший. Меж тем звонарь Федька молча прошмыгнул к себе в сторожку, оставив их одних, дав тем самым понять, что его дело — сторона и он готов подчиниться тому, кто первым отдаст ему приказание.

— Не ведаю, как и дошли, темень этакая... — не спешил начать неизбежный разговор, ради которого его и пригласил отец Аверкий. — Поди, озябли тут, — добавил он, уже понимая, что новоявленный протопоп с посохом в руках, в точности похожий на архиерейский, имеет над ним явное превосходство и молодостью своей и связями с сильными мира сего и какой-то непонятной, исходящей от его облика силой, смирился, тяжело вздохнул и неожиданно спросил с не свойственным ему подобострастием:

— Звонить прикажете?

— Давно пора, — кивнул Аввакум, даже не удивившись, а лишь мельком отметил про себя, что приходской батюшка ни в чем ему

перечить не смеет, показал рукой на дверь храма, — скажи, чтоб открыл и свечи зажег. Потом пусть на колокольню лезет, а я пока облачаться стану.

— Федька! Собачий сын! — сипло закричал отец Аверкий в сторону сторожки. — Отворяй двери в храм! Свечи зажги! Совсем разбаловался! Выгоню вон в другой раз, коль опять хорониться от меня начнешь...

— Другого раза не будет, — мягко, но с нажимом перебил его Аввакум. — Я тут такой порядок наведу, какого сроду у вас, морд квасных, не бывало.

— Истинно так, — перекрестился бывший настоятель и неожиданно почувствовал пробравшуюся сквозь седину усов в рот к нему солоноватую слезу, произвольно выбравшуюся помимо его воли из уголка левой глазницы и тяжело упавшую вниз. — На все твоя воля, Господи, — прошептал он и, не глядя по сторонам без былой величавости, вжав в плечи подрагивающую от беззвучных рыданий голову, несказанно радуясь темноте, скрывающей немощь его, подошел к дверям, дождался, когда Федька откроет их, и пропустил вперед Аввакума. Сам же с трудом наложил на себя крестное знамение и, уже не осознавая, что и как делает, привычно вошел в храм, а там, прислоняясь к стене, сполз вдоль нее на холодный пол и, потеряв сознание, замер, неловко раскинув далеко от себя руки.

Аввакум же, не заметив того, прошел к Царским вратам, опустился на колени и начал горячо читать молитву, не воспринимая ни единого звука, даже если бы за стеной выстрелил кто из пушки. Потому он не сразу понял, чего от него хотят, когда звонарь Федька несколько раз дернул его за рукав, растерянно глянул по сторонам и увидел при свете слабо горевших свечей искаженное в немом крике лицо звонаря и лишь потом до него начали доходить бессвязные слова, а чуть позже и их смысл:

— Батюшка Аверкий преставился!!! — то ли кричал, то ли, наоборот, шептал Федька.

И только тут Аввакум увидел подошвы сапог отца Аверкия, лежащего под иконой Николая Чудотворца неподалеку от входа в храм. Он не сразу понял, что случилось и почему вдруг тот оказался лежащим на полу. Он поднялся с колен, подошел к нему и склонился, стараясь понять, дышит ли тот. Федька поднес к лицу старого иерея свечу, и веки того дрогнули, из груди послышался слабый хрип.

— Живой! — обрадовался звонарь. — Слава те, Господи! Пойду подмогу звать, до дома его доставить, а вы уж, батюшка, один тут управляйтесь, пока диакон наш Антон не подойдет, он все вам и покажет...

С этими словами он кинулся наружу, вторично оставив Аввакума наедине с прежним настоятелем. Тот чуть приоткрыл глаза, постарался что-то сказать, но из горла вырвался лишь надсадный хрип. Аввакум оказался в полном замешательстве. Он просто не знал, как поступить: то ли оставаться рядом с отцом Аверкием, то ли готовиться к началу службы. Так он какое-то время постоял в нерешительности, а потом, решив, что ничем помочь не сможет, перекрестил старого иерея и ровным шагом отправился к двери, ведущий в алтарь.

...А в это самое время в доме у отца Аверкия неожиданно проснулась младшая из его четырех дочерей, которой во сне приснилось, будто бы кто-то душил ее, и громко заверещала:

— Маменька, убивают, убивают! Всех нас сейчас убьют! Помоги!

Другая сестра, спавшая рядом с ней и старше ее ровно на год, стремительно села на постели и, не открывая глаз, безошибочно залепила ей тяжелую сестринскую затрещину. Младшая успокоилась и тут же уснула, не слыша, как злой ветер, прилетевший в Сибирь из-за Уральских гор, пытается оторвать неплотно прикрытый ставень на их окне, а был бы более силен, то сорвал бы и крышу с поповского дома и разметал строение по бревнышку, да и унес бы их самих далеко на восток, где только-только начинал сереть край неба под громоздкими тучами, надолго облепившими небесную твердь и не пускавшими солнечный свет к людям и всем, кто обитал на этой печальной земле.

\* \* \*

Смотри на действие Божие:  
ибо кто может выпрямить то,  
что он сделал кривым?

*Екк. 7, 13*

Через какое-то время батюшка Аверкий окончательно пришел в себя, но подняться без посторонней помощи не мог и лишь громко стонал, желая привлечь к себе внимание. Но протопоп Аввакум не стал отвлекаться на его стоны, а продолжал все так же громко, истово



и нараспев читать по памяти одну за другой молитвы. Затем он принял за свое облачение, делая это неторопливо и сноровисто.

Время от времени он бросал взгляды в стороны отца Аверкия, но ни разу не прервал свое занятие, утешаясь мыслью, что пути Господни воистину неисповедимы и никто на всем свете не может знать, что случится с ним самим завтра. Потом он услышал, как открылась входная дверь, но решил, что это вернулся посланный за подмогой звонарь Федька, и отвлекаться не стал.

— Помилуй, Господи, — вдруг услышал он чей-то негромкий голос, но опять промолчал.

— Есть тут кто еще? — довольно громко спросил незнакомец.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа... — ответил Аввакум из алтаря, давая понять о своем присутствии.

— Аминь! — подхватил тот. — Ты, что ли, Федор? — спросил он. — Или иной кто? Что с батюшкой Аверкием случилось?

— То лишь Богу известно, — продолжая повязывать поручи, отвечал Аввакум. — А я буду ваш настоятель новый. Сам-то кто? Промохожий или на службу пожаловал?

Некоторое время слышались лишь громкое сопение и шуршание одежды и только потом последовал ответ:

— Диакон Антон...

— Коль пришел, то проходи, готовь к службе все, что положено. Давно служишь? Чего робкий такой?

— Третий год уже пошел. А с батюшкой как быть? — спросил диакон.

— Как быть, как быть, — передразнил его начинавший терпение Аввакум, — сказал же тебе, все в руках Господа нашего. Читай молитву и входи в алтарь, ждать надоело.

— Прости, Господи, — со вздохом произнес тот и принялся торопливо, скороговоркой, читать молитву, не смея перечить новому настоятелю.

Протопоп, услышав бормотание, больше похожее на разговор подвыпившего человека с таким же, как он, нетрезвым горемыкой, не на шутку взъярился, поскольку никогда не допускал чтение молитвы абы как, и выскочил из боковой алтарной двери, вскричав зычно:

— Не смей осквернять храм Божий тарабарщиной своей!!! За-молкни, нехристь крови татарской! Еще раз услышу, выгоню взащей! Читай сызнова!

Дьякон, чьего лица он не мог разглядеть, тяжело засопел, словно его заставили тащить непомерную поклажу, бухнулся на колени и принялся читать заново ту же самую молитву, пытаясь теперь уже как можно четче произносить каждое слово.

Аввакум чуть послушал и, удостоверившись в правильности чтения, что-то снисходительно буркнул себе под нос и вновь вернулся в алтарь.

Диакон Антон читал долго, при каждой остановке вбирая в грудь как можно больше воздуха, стараясь не вызвать очередных нареканий со стороны нового настоятеля. А рядом с ним продолжал лежать с открытыми глазами отец Аверкий, который, судя по всему, вполне понимал смысл происходящего, но не мог ни вмешаться, ни хотя бы согласиться с происходящим, а лишь жалобно глядел на диакона, словно сочувствовал непростому его положению.

Едва лишь Антон закончил чтение и поднялся с колен, готовясь пройти в алтарь, чтоб приступить непосредственно к выполнению своих обязанностей, в храм шумно вошли несколько человек, которых вел сторож Федор. Они слаженно подхватили отца Аверкия и вынесли его вон не проронив ни слова.

Антон, не посмеавший принять участие в выносе болящего, покорно направился в алтарь и принялся разжигать кадило и готовиться к предстоящему богослужению. А дальше все пошло по заведенному порядку: подтянулись немногочисленные прихожане храма, протопоп провел службу по старым канонам, что вызвало радостное роптание среди собравшихся, и в конце сообщил о своем к ним назначении, не посчитав нужным что-то сказать о случившемся с отцом Аверкием.

Но прихожане неведомыми путями и без того уже знали обо всем и разошлись, сдержанно шушукаясь, обсуждая чрезвычайное для них событие. К вечеру эта новость стала достоянием всех и каждого, и пошли долгие разговоры, суть которых сводилась к тому, что старого батюшку довели чуть ли не до смерти, а новый, хоть и красив собой и голос зычный имеет, но все одно новый и кто знает, чего от него следует ожидать. К тому же, рассуждая здраво, с Москвы в Тобольск запросто так человека не выпроводят, не иначе как за грехи какие спланировали подальше. Потому ухо с ним следует держать остро, а то и до греха недалеко. А уж как он на человека глянет, судачили меж собой всеведующие и падкие до подобных новостей молодухи,

мурашки по коже ползут. Так простой смертный смотреть не может, не иначе как с волхвами или иными чародеями дружен был, за что и пострадал, добавляли замужние кумушки.

\* \* \*

Подобные пересуды были для тоболяков делом обычным и не миновали еще ни одного из приезжих. Особенно, если тот находился при высокой должности и от него зависели судьбы многих. Всякое новое есть не привычное для любого и каждого. К старому долго ли коротко, но со временем обвыкали, знали, чего ждать от него. Через что подход наладить: то ли словом лестным или малым подношением. Нет такого человека, который бы рано или поздно слабость ту свою не выказал. А как он себя покажет, тогда, глядишь, со временем таким же, как все прочие, станет. В Сибири всякое семя свою земельку находило и приживалось на новом месте, коль жить ему дальше в стране той желалось...

Не все, ой не все порядок здешний признавали. Бывало, шли наперекор, встреч ветру и людскому пониманию. Только быстро их укорачивали, норов обламывали, под свое течение подстраивали. Конь на четырех ногах и то не всегда ровно идет. Что ж о человеке говорить, который торной дороги не видит, а все целиной по бездорожью прется, ни себя, ни других не жалея. Рано ли, поздно ли оступится. Хорошо, если башку себе не свернет, но впредь умнее станет, начнет жить так, как местные законы велют.

Потому и праведников в Сибирской стороне вряд ли кто когда видел или слышал про таких. Правда, ходили разговоры о святых подвижниках близ Мангазеи и Верхотурья, но разговор тот к делу не пришьешь, на полку не поставишь, лоб на него не перекрестишь. Вот когда объявят о причислении тех Божьих угодников к сонму святых, тогда и верить тому весь народ начнет, называть имена их в молитвах своих. А пока... покамест лучше жить, как раньше жили, и не мучить себя догадками, отгадку коим не знаешь.

И хоть сказано в Писании, что не стоит город без праведников, но не объяснено, как их от остальных отличить, кто в грехе живет, да и, глядишь, в грехе и помрет. Как ни крути, все одно грешников на белом свете во сто, а то и в тысячу крат больше, нежели добродетельных праведников. Потому и встречали каждого приезжего с осторожностью, пока что не узнавали повадок его доподлинно и не становилось всем ясно, кто он таков.

...Вот и батюшку Аввакума встретили тоболяки с привычной для них осторожностью. Но и без вражды, с ожиданием, когда и в чем он сам себя проявит и выкажет обычай свой не только речами, но и поступками. А когда разнеслось по городу, что отец Аверкий при встрече с ним за-мертво в храме у порога рухнул, встрепенулись все... Разное подумали. Как-никак то знак свыше был, посчитали. Запросто так батюшка чувств не лишится, по всему видать, непростой человек этот новый протопоп, есть за ним какая-то сила... Но какая, того навскидку не скажешь, а опять же ждать нужно, что русскому человеку завсегда привычно было.

Что-что, а ждать на Руси умели. От отца к сыну свойство то передавалось вместе с прочими житейскими заповедями. Ждали хорошей погоды, чтоб год урожайный вышел. Ждали доброго царя, который бы жизнь простому люду облегчил. И от сварливой жены ждали перемен и нрава иного. С тем и умирали, но верили, авось да детям их легче жить будет.

А кому ждать невтерпёж становилось, те бросали и хозяйство, и жену сварливую, и деток сопливых и уходили куда глаза глядят в поисках затаенного уголка, где так долго ждать доли счастливой им не придется. И, как назло, в ином месте оказывалось чаще всего если не хуже, то так же, как раньше жили. И стекался народ нетерпеливый все в ту же Сибирскую землю, протаптывая тропинки в местах необжитых, диких и назад уже не возвращался, плюнув на бывшее жите и новое не начав по-настоящему. И текла в Сибири своя жизнь, чем-то на прежнюю похожая, но все одно иная...

Может, со временем новый поселенец понимал глупость своего решительного поступка, но обратно возвращаться не спешил, живя опять же надеждой и верой в лучшее.

Так каждый стремится непременно в рай попасть. И на смертном одре, смежая очи, верит, быть ему там! Но вот только никто из страждущих тех пока что назад не вернулся, не поведал, как там, на другом свете, нашему брату, по всем статьям грешному, живется...

Так и протопоп Аввакум, сомнений в делах своих не ведавший, пусть не сразу, но понял, прав был везший его Климентий, когда говорил, мол, Тобольск от всех иных городов отличен, ни на один не похож. А вот чем, того сразу не разберешь, пока не свыкнешься с местными порядками и обычаями... Именно об этом думал он, направляясь неспешным шагом после службы в свой необжитой дом, спускаясь по тропинке с верхней части в подгорную.

Нижняя часть города расстилалась перед ним переплетением нескольких десятков улиц, сотнями заметенных снегом строений, из которых вились к небу тонкие струйки сизых дымков, прочертившие себе путь к небесному куполу. Наверное, так же вот и Христос смотрел на лежавший перед ним Иерусалим, когда готовился войти в него, чтоб страданиями своими спасти весь людской род.

Так и Аввакуму думалось, что он попал в Сибирь далеко не случайно, а по воле свыше. А потому должен стойко пережить все напасти, выпавшие на его долю, подав тем самым пример всем, кто отшатнулся от Бога и живет не ради спасения души, как то подобает истинно православному человеку, а больше для пропитания своего, а то и вовсе для наживы и стяжания богатств земных, не думая о часе смертном.

«Нет пророков в отечестве своем, — вздохнул он тягостно, — но тогда, может, лучше совсем не иметь отечества, если не готово оно признать правоты твоей и услышать предупреждение, для него уготовленное?»

Чем дальше уносился он в своих рассуждениях от реального мира, тем более тягостные мысли одолевали его: «Неужели каждый, кто видит не дальше собственного носа, будет осмеян, а то и казнен за правду, за веру, за любовь к тем, кто сам не может узреть будущность свою? Почему-то никто не поведет на бойню дойную корову, не плюнет в родник с чистой водой, не срубит плодоносную яблоню? Потому как будет это неразумно и глупо. Но отчего тогда не чтут люди тех, кто указывает им на язвы и пороки душевные? Или они надеются на иное врачевание и пытаются скрыть, утаить их не только от постороннего глаза, но и от самих себя? Неужели всегда будут думать они лишь о сытности телесной и не обращать внимания на душу свою, полагая, будто бы она способна прожить в теле, как медведь в берлоге, без очищения и покаяния? Затем и нужны духовные отцы, чтоб будить спящих и указывать на греховность их помыслов, а кто им не внимлет, не обретет жизнь вечную...»

\* \* \*

...Наконец он отвлекся от грустных размышлений и начал замечать проходивших мимо людей, что с интересом поглядывали в его сторону. В самом начале спуска навстречу ему попалось несколько древних старух, шедших одна за другой, закутанных в темные шали

так, что видны были лишь узкие щелки глаз и большие мясистые носы, делавшие их похожими одна на другую. Аввакум чуть посторонился, давая им пройти, и при этом машинально поправил серебряный наперсный крест, говорящий о его сане, но, к его удивлению, ни одна из женщин не замедлила шаг и не подошла под благословение, а последняя из них еще и недружелюбно зыркнула на протопопа и сердито что-то прошептала.

Несколько обескураженный, он двинулся дальше и тут же наткнулся на группу нищих и калек, расположившихся на склоне взвоза вблизи от пешеходной тропинки. Двое из них на месте рук имели культи и с непокрытыми головами держали меж жалких обрубков рваные шапки. Один из них, с лицом, закутанным в грязное тряпье, чтоб скрыть следы поразившей его дурной болезни, низко кланялся каждому проходящему мимо путнику и тонюсенько повторял одну и ту же фразу: «Подайте, добрые люди, Христа ради, ратнику, за отчизну нашу пострадавшему». Сбоку от него стояла девочка лет десяти и исподлобья без всякого выражения на веснушчатом личике смотрела на протопопа, придерживая левой рукой нищенскую полупустую суму.

Но тут краем глаза Аввакум заметил, что рядом с нищими стояли трое молодых людей с суковатыми палками в руках. Увидев его, они отделились от общей группы и стали заходить ему за спину, хищно поглядывая на его крест.

«Никак грабители, — быстро смекнул он, — калеки тут для отвода глаз, а эти, здоровехонькие, сейчас снимут с меня все, что можно, ладно, коль не убьют!»

Недолго думая, он прыгнул с утоптанной дорожки в глубокий снег, зацепился ногой на скрытый снегом поваленный ствол старого дерева, упал и покатился вниз по склону, распластав руки. Вслед ему донеслись злобные крики и улюлюканье, но он уже не обращал на них внимания, а думал лишь, как бы не зацепиться за торчавшие из-под снега там и сям древесные пни. Наконец, удачно достигнув нижней дороги, он поднялся и принялся отряхивать налипший на одежду снег, ощупал крест, зашептал благодарственную молитву и глянул вверх, откуда неудачливые грабители взирали на него.

— Уж я вас, — погрозил он им кулаком, — попомните еще меня!

В ответ же услышал лишь залихватский свист и несколько непристойных слов, плюнул в их сторону и покрутил головой по сторонам,

пытаясь угадать, по какой дороге ему идти, и зашагал наугад, надеясь, что дорога сама выведет его куда нужно. Обращаться к кому-то за советом он не хотел, опасаясь вновь нарваться на очередную неприятность или презрительный отказ. Немного успокоившись, он выбрал, на его взгляд, наиболее кроткий путь и торопливо зашагал в сторону реки, чтоб ее берегом добраться до монастырской слободы.

...Он продолжал размышлять на ходу, что в той же Москве, где он имел немалое число врагов, было у него и почитателей предостаточно. Каждое сказанное им слово ловили! Готовы были пойти за ним в огонь и в воду. И он отвечал им тем же, опекая всех и каждого, часами стоял на молитве, прося у Господа прощения пасомых своих. Богомольные москвичи буквально друг дружку с ног сбивали, издалека спеша под длань духовного лица, частенько зазывали в гости, норовили сунуть в руки какой-нибудь сверточек с куском капустного или рыбного пирога, не то что угрюмые и неприветливые тобольские насельники. Эти не только дороги ему не уступали, но, наоборот, перли напролом, едва не сбивали с ног, огрызались на ходу на замечания привыкшего во всем и везде верховодить протопопа.

Потому не только дерзкие и самостоятельные сибиряки начали раздражать его, но и сам город представился ему если не библейским Содомом, то уж наверняка азиатским Вавилоном, которому рано ли, поздно ли суждено быть развеянным в прах по воле Господней за прегрешения жителей его.

«Не зря, ой не зря посылаются городу сему пожарища так часто», — думал он, злорадно поглядывая на останки сгоревших домов, в изобилии черневших обугленными стенами с выглядывающими через верх тонкими шеями печных труб, что по какой-то причине были покамест не разобраны. Мелькнула и тут же затерялась мысль о том, что огонь Божий не только карает, но и очищает скверну человеческую, давая ей возможность начать иную, новую жизнь.

«Не суть ли человеческого естества зловонное тело наше, которое во грехи нас и толкает?» — продолжал он рассуждать, все далее уходя от последней, так же свежесрубленной православной церкви и не замечая, что идет уже по незнакомой, тянувшейся вдоль речного берега слободе.

Через какое-то время он поднял вверх глаза, огляделся и удивился, увидев стоящие вокруг него низенькие, обмазанные глиной домишки в одно оконце, затянутое, похоже, бычьим пузырем, а то

и вовсе наглухо закрытое тонкой дощечкой. Почти возле каждого невзрачного строения, которое и домом-то назвать язык не поворачивался, лежало приваленное к глухой стене сено, которое прямо под открытым небом мирно щипали расседланные лошади.

Приглядевшись, Аввакум увидел неподалеку от себя невысокий минарет с полумесяцем наверху, истово перекрестился и только тут понял, что, желая сократить путь, попал ненароком в татарскую слободу. Он сознательно старался не смотреть на поблескивающий на фоне скатывающегося за реку солнца чеканный профиль бронзового полумесяца и стал пробираться по узкой улочке, перепрыгивая через многочисленные кучи навоза и сваленных где попало березовых и осиновых бревен. Вдруг, оглянувшись, он заметил, что за ним увязалась ватага татарских ребятишек, что-то лопоча на своем наречии, взвизгивая и тыча в него коротенькими ручонками, то ли дразня, то ли домогаясь подаяния.

«Ишли, пшли, нехристи, вон отсюда», — тихонько шикнул на них Аввакум, но ничего не помогало. Неожиданно к нему бросилась кудлатая черная собака и ухватила за полу подрясника. И тут он не выдержал, подхватил с земли кривую березовую палку и замахал, заорал зычно и на татарчат и на мигом юркнувшую за дом собаку. Вслед за ней умчались, смешно тараща глаза, и напуганные мальчишки, убоявшись его грозного оружия. Аввакум остался один посреди не знакомого и не привычного ему мира и вновь невольно поднял глаза к полумесяцу, который, сколько ему ни грози палкой, не сдвинется со своего предназначенного людьми места. Не отрывая глаз, он внимательно глядел на него и, чем больше вглядывался в бронзовый серп, тем тоскливее становилось у него на душе, и только тогда осознал, что оказался в чужом, негостеприимном городе, где его никто не знает и знать не желает. Его не принял священник, к которому его направили, потом его едва не ограбили, а могли и убить. И в довершение всего он попал к мусульманам, что само по себе по представлению Аввакума было если не наваждением, то, очевидно, происками врага рода человеческого.

Он не сразу сообразил, что остался один посреди не знакомого и не привычного ему мира и вновь невольно поднял глаза к полумесяцу, который, казалось, тоже уменьшился в размерах и благодаря скрывшемуся за гребенчатой кромкой дальнего леса солнцу уже не искрился в его золотистых лучах. Но теперь бронзовый серп полумесяца представился Аввакуму хищным клювом могучего степного



орла, раскинувшего над землей крылья, застившие дневной свет и готового заклевать каждого, не склонившегося перед ним в почтительном поклоне. Грудью остроту бронзового клюва ощутил протопоп и невольно торопливо заслонился от него, прижав руку к православному кресту, охватив его всей пятерней. Лишь тогда обрел он прежнюю уверенность и, напоследок окинув торжествующим взглядом незримое поле битвы своей с басурманским племенем, медленно зашагал дальше.

Но, как ни странно, не испытал он радости и удовлетворения от свершенного, а наоборот, коварная печаль, витавшая в сыром сибирском воздухе, окутала его душу тонкой удушающей паутиной, мешая дышать полной грудью. Вспомнилась утренняя сцена в храме, где рухнул без чувств отец Аверкий, а вслед за тем и изготовившиеся к нападению на взвозе грабители. И, само собой, ватага татарских мальчишек, без видимой причины погнавшихся за ним. В довершение всего он очутился подле мусульманского минарета, куда кто-то незримый подвел его, православного протоиерея. Не иначе как враг рода человеческого затеял с ним хитрые игры свои, вводя в искушение, испытывая на прочность, терпеливо дожидаясь, когда же он оступится, потеряет контроль и явит уныние и покорность.

— Нет, — почти ласково произнес протопоп, ни к кому не обращаясь, — не дождешься от меня потачки. Не таков раб Божий Аввакум! Не станет он плясать под дудку твою. Лучше сам первый отступись и ищи кого попроще. Мне наперед известны козни твои и замыслы подлые. Не впервой сталкиваемся нос к носу. Не выйдет!

\* \* \*

С этими мыслями, взмокший от долгой ходьбы, он добрался до своего невзрачного домика и был немало удивлен, увидев в зиявшем еще утром пустом дверном проеме висевшие новенькие двери. Он даже ненадолго замер перед ними и сделал несколько шагов назад, глянув на свой дом как бы со стороны, думая, что перепутал его с другим. Но и короткого взгляда хватило убедиться в том, что был то именно тот самый дом, где он провел предыдущую ночь. Та же самая тропинка в глубоком снегу, необрушенный двор, небольшое крылечко из тесаных бревен, брошенная кем-то разошедшаяся кадушка без обручей, колючки засохшего репейника, торчащие немой укором сквозь снежные напластования вдоль сгнившего заборчика. Но он тут же

заметил заделанное бычьим пузырем оконце, через которое струился тихий желтоватый свет от горящей внутри дома лучины.

«Анастасьюшка моя приехала! — обожгла его радостная мысль. — Но как же она дом нашла? Почему меня не известила, не сообщила о приезде? А может, и не она совсем?»

Обуреваемый сомнениями, он взбежал на крыльцо и распахнул новенькую дверь, открывшуюся легко и без обычного скрипа, шагнул через порог и застыл в удивлении. На новенькой скамье сидел невысокого роста мужичок с рыжей шевелюрой и что-то подстрагивал на ней острым топориком. Увидев вошедшего Аввакума, он хмыкнул и как ни в чем не бывало буднично произнес:

— Вечер добрый, батюшка...

— Добрый... — отозвался Аввакум. — А ты кто таков будешь? Новый жилец, что ли? — Он тут же решил, что после всех случившихся за день злоключений в довершение всего объявился тот, кто сейчас выгонит его из дома и приготовился постоять за себя, крепко сжав в руке посох.

— Да нет, мил-человек, зачем мне дом твой, когда свой имеется. Живи себе. Я подсобить зашел. Вот дверь навесил, а то худо без двери в этакую морозину. Лавку изладил, чтоб было куда сесть. Да ты проходи, не стесняйся, — по-хозяйски кивнул он протопопу. — Я уже и домой собрался, думал, не дождусь.

— А как имя твое, добрый человек? — наконец догадался поинтересоваться протопоп.

— Яшкой меня кличут. Или Яков Плотников. Кому как нравится. По плотницкому делу и прозвание свое получил.

— Понятно, — промолвил Аввакум, хотя ему как раз было ничего непонятно. — Тебя из монастыря или с архиерейского двора ко мне снарядили?

— Как же, они снарядят! — снова хмыкнул тот. — Сам пришел, по-соседски. Живу я тут неподалеку в слободе. Все одно заказов нет, вот и решил помочь немножко.

— Спасибо тебе, Яков, за то. Семью жду на днях, а как их в такой дом без дверей ввести, и ума не приложу. Теперь другое дело. Сколько за работу свою возьмешь? Говори, не стесняйся. Пусть не сразу, но расплачусь, если дорого вдруг для меня окажется.

— Да разве в деньгах дело? — сморщился Яшка. — Деньги меж людьми, что блохи на собаке. И без них никак и с ними худо. Сочтемся. Не о том разговор.

— О чем же тогда? — спросил Аввакум, усаживаясь на все тот же деревянный обрубок, уже ранее служивший ему подставкой. — Ты вот скажи мне лучше, почему дом, где раньше тоже люди жили, пустехонек стоит?

— Точно, пустехонько, как у голодного в пузе, — согласился Яков. — Куда все и подевалось.

— А много всего было? — поинтересовался Аввакум.

— Да все было, как у всех: и стол, и лавки, и кровати. Чай, люди здесь не один год прожили.

— И куда все подевалось?

— Ну, как сам хозяин помер, то жена его с детками уехали к родне своей куда-то там. Говорят, с собой, кроме одежды да посуды, ничего и не взяли, все целехонько оставили. Знали, поди, что других людей вместо них поселят.

— И что потом? На двор к владыке свезли или покрали все?

— Зачем покрали. Крадут, чтоб никто не знал, не видел. Наши мужики поглядели, поглядели, дом пустой стоит, никто не живет. Вот у кого надобность в чем случилась, тот каждый себе и взял по-маленьку.

— Знаешь имена воров тех? — спросил у него Аввакум, сухо кашлянув. — Назови, а уж я о них владыке сообщу, мигом сыщут и к ответу призовут за воровство ихнее.

— Какие же они воры? — искренне удивился Яков. — Взяли на время... Пришли гуртом и меж собой поделили.

— Как имена тех подельщиков? — настойчиво переспросил Аввакум.

— Да, почитай, все мужики с нашей слободки и побывали здесь, разве всех упомнишь.

— Ты мне хоть одного назови, а там поглядим.

— Нет, батюшка, не тот я человек, чтоб своих выдавать. Мы все тут одна семья, а тебя к нам прислали на какой срок, не известно. Поживешь, поживешь и обратно подашься, а нам-то дальше сообщать жить, ты уж сам ищи, куда что делось, и меня в это дело не втравливай.

— Ясно, значит, и ты с ними заодно...

— Супротив всех не пойду. А вам, батюшка, чем смогу — пособлю. Золотых гор не обещаю, а там поглядим. А сейчас меня хозяйка заждалась. Пойду я...

С этими словами Яшка встал с лавки, слегка поклонился протопопу, запахнул свою шубейку, которую не снимал по причине холода и направился к двери.

— Да, — словно что вспомнил он, обернувшись уже у порога, — я там, в сенцах, дровишек принес немного, протопи, а то зябко тут у тебя. — И с этими словами вышел.

Аввакум остался один, не зная, радоваться ли ему или, наоборот, печалиться после всего произошедшего с ним за столь короткий срок. И, надо признать, больше всех поразил его Яков Плотников, пришедший без приглашения и сделав жилище вполне обитаемым. Теперь можно было лечь спать не на пол, а на ту же лавку. Окно затянул пусть не слюдой, что, скорее всего, для Сибири было непозволительной роскошью, но сойдет и бычий пузырь. Зато не сквозит, не дует. И новая дверь не даст теплу выйти наружу. Если бы еще печь добрую изладить да пол настелить, можно зажить вполне беззаботно.

В мыслях протопоп вернулся все к тому же Якову, поскольку, надо признаться, редко ему приходилось встречать бескорыстных людей, которые бы вот так, ни на страх, а на совесть, помогли работой своей ближнему, не ожидая за то положенного в таких случаях вознаграждения.

Но что-то беспокоило Аввакума, когда он вспоминал о Якове. Голубые с зеленым отливом глаза умельца выдавали в нем потаенную хитринку, присущую, впрочем, любому русскому мужику. Только у одних хитрость их бывает направлена на отлынивание от любой работы, будь она по собственному хозяйству или в наем, а тем более в помощь родственнику, свояку или соседу. Про таких говорят: он не перетрудится, но и своего не упустит. Богато люди эти не живут, но и в нужде не маются. Не пропускают они ни крестин, ни свадеб, являясь без зова или особого приглашения. И споят и спляшут после поднесенного хозяйкой ковши крепкого пива. Но случись у кого беда — и не дозваться плясунов тех, скажутся или немощными, или занятыми делом важным. Так и живут они до самой старости своим двором, посмеиваясь с крылечка над соседом, что корячится с утра до вечера за тяжелой работой, надрывая пупок, а потом сляжет в хворобе тяжелой от трудов непосильных.

Именно такой чуть насмешливый взгляд и имел Яшка Плотников. Но не походил он хитринкой своей внутренней на любителя гулянок, которым хоть пень колотить, лишь бы день проводить. Что-то

другое крылось внутри него, чего понять протопоп Аввакум никак не мог, сколько ни представлял Якова в разных жизненных случаях, уготовленных повседневной жизнью русскому мужику. И чем дальше думал он о покинувшем его жилище слободском умельце, тем больше хотелось ему узнать, что он за человек, что его подтолкнуло на бескорыстную помощь соседу, которого он до того и в глаза не видывал. И решил в ближайшие же дни расспросить о том слободских баб, которые если знают чего этакое о нем, то вряд ли будут долго скрывать. С этими мыслями он и улегся на новую лавку, с удовольствием вдыхая исходивший от нее свежий запах смолистого дерева.

\* \* \*

Тебе дано видеть это, чтобы ты знал,  
что только Господь есть Бог,  
и нет еще кроме Его.

*Втор. 4, 35*

Яшка Плотников был едва ли не единственный человек во всей монастырской слободе, кто никогда не отказывал в бесплатной и бескорыстной помощи братьям своим во Христе. Уж так повелось, что испытывал он к людям звания духовного редкое для русского мужика уважение. А повелось все с детства, от матери, которая не пропускала ни единой церковной службы и, пока была молода, бесплатно обстирывала и обшивала служителей их сельского храма, любезно за то пускавших ее на клирос наряду с другими певчими.

Когда же она за работой той незаметно состарилась, а дети подросли и не требовали уже прежнего ухода и присмотра, то взяли ее послушницей в один из небольших монастырей, находящийся поблизости от их родного села, где она тихо скончалась, завещав Якову навещать скромную могилку ее во всякие праздники, а по возможности заказывать сорокоуст на помин ее мирно отлетевшей в положенный срок души.

Яков и рад был бы выполнять неукоснительно тот материнский завет, но, ведя жизнь простую и безденежную, при всем своем желании не мог делать это, поскольку редких его заработков хватало лишь на худое пропитание. Потому и шел на монастырские работы, чтоб по окончании их робко попросить архимандрита помянуть в молитвах матушку свою, которая обычно после этого приходила к Якову во

сне и благодарила за содеянное. И от того он со счастливой улыбкой просыпался по утрам и с нежностью думал о наверняка пребывающей в раю душе своей родительницы, надеясь, что и она рано ли, поздно ли отмолит и его у Господа, упросит допустить сыновью душу в райскую обитель, где они когда-нибудь навечно воссоединятся.

В Сибирь Яшка попал и вовсе случайно, вызвавшись еще, будучи молодым парнем, поехать на заработки с мужиками из плотницкой артели, которых пригласили для возведения храма в одном из только встающих на ноги сибирских сел. Когда же они добрались, преодолев множество мытарств и лишений, до нужного места, то выяснилось — староста, собиравший деньги на храм, неожиданно куда-то исчез, прихватив и всю общинную казну. Артельщики от души отматерили того хваткого старосту и разбрелись кто куда мог, сговорившись, что, найдя работу, известят об этом остальных.

Некоторые из опытных и поднаторевших в скитаниях артельщиков подались обратно в родные края, на что у Яшки просто не хватило бы ни сил, ни денег. И он, добравшись до Тобольска, следуя материнским заветам, пришел к настоятелю подгорного монастыря, где тот определил его на житье с остальными иноками и послушниками, а после того как однажды застал новичка после очередной выпивки в состоянии, близком к свинскому, то хотел поначалу навсегда выгнать его. Но, зная Яшкино умение и безотказность к любой работе, решил не лишать монастырь бесплатных рабочих рук и поселил его в слободе, разрешив какое-то время столоваться при монастырской кухне.

...Одной из самых страшных напастей для горожан были случающиеся раз за разом все вокруг испепеляющие пожары. Начавшись где-нибудь на окраине, огонь в короткий срок достигал центра города, пламя, словно лютый зверь, перескакивало с одной крыши на другую и не щадило ни ветхих лачуг, ни богатых, с конюшнями, завознями и лабазами. Жар случался такой, что плавилась колокола на городских колокольнях. Многие жители на такой случай держали на берегу челноки и баркасы, на которых угребались на другую сторону Иртыша и там ждали, когда огненная стихия успокоится и отступит. Потом осторожно возвращались на пепелища, копали землянки, строили шалаши, балаганы и строились заново.

Постепенно жизнь в городе начинала налаживаться и наибольшим спросом тогда стали пользоваться столяры и плотники, от-

страивающие город заново. Уже с раннего утра к ним тянулись соседи с просьбами соорудить кому лавку, кому обеденный стол, а то и дверь или раму для окна во вновь отстроенную избу. И хотя среди тоболяков почти что каждый умел держать в руках плотницкий инструмент, но после случившегося пожара мало у кого он уцелел, когда из горящего дома в первую очередь выносили различные пожитки, забывая об инструментах, хранящихся обычно в самом дальнем уголке. И сами плотники в большинстве своем брали топоры у тех, кого пожар миловал. Всем хотелось побыстрее вселиться в новое жилье и чтоб было оно краше старого и на лицах хозяев новехоньких срубов зачастую играла счастливая улыбка, что случается с каждым, когда он забывает о недавней беде и радуется вновь обретенному.

Вот тогда-то Яков Плотников был нарасхват и не выпускал топор из рук своих по многу дней, спал там же, где его застала ночь, а с первыми солнечными лучами продолжал кромить бревна, распускать их на плахи, мастерил двери, оконные косяки и все, что для нового жилья потребно. Но, как и большинство мастеровых, от заработков своих он почему-то не особо благоденствовал. Хотя и нельзя сказать, чтоб бедствовал, особенно когда работа так и шла к нему в руки и многим приходилось отказывать за нехваткой времени.

Как-то он познакомился с одной разбитной бабенкой, которая ему поглянулась, и он привел ее в свой неказистый домик все в той же монастырской слободе. Избенка его особой роскошью не отличалась и вечерами светилась всего одним небольшим оконцем, затянутым бычьим пузырем. Но для житья вполне годилась. Уже через короткий срок Яков познал известную поговорку, что сварливую бабу и сам черт не переспорит. Да и не до споров ему было, день деньской в работе, а домой вернется — ни печь не топлена, ни на стол ставить нечего. А однажды вернулся — и вовсе дом пустой. Съехала его невенчанная женушка с каким-то лихим казачком и больше весточки о себе не подавала.

Яшка первое время помаялся, но и с этой докукой свыкся, продолжал жить, словно ничего и не случилось. Пока работа была. Случались и радости в его серых буднях, когда хозяева вновь отстроенного дома звали всех на новоселье, затягивающееся иногда до утра, с песнями и плясками. Пить Яков не умел, не научился с молодости, а потому уже со второй кружки хмельной браги ронял голову на стол и засыпал. В себя после того приходил долго, ни за какую работу не брался, сидел на крылечке собственного домика и задумчиво смотрел на неспокой-

ные волны сибирской реки, бегущей неподалеку. Баб в дом он больше не приводил и даже начал сторониться их, резонно считая, что в них, и только в них, заключено главное зло рода человеческого.

Так Яшка обитался несколько лет и дошел до великой крайности в жизни и здоровье, но ему посчастливилось встретить ту, которая прониклась к нему если не любовью, то материнским состраданием и привязанностью.

\* \* \*

...Вышло так, что однажды его попросили изладить гроб для умершего мужика, а коль времени хватит и материал найдется, то и нехитрый крест соорудить. Яшка, по обыкновению своему, пребывал в то время в размышлении, где бы ему найти хотя бы полкружки хмельного питья, и обрадовался нежданному приглашению. Но, войдя в дом для снятия мерки с покойника, сразу понял, что вряд ли ему сегодня удастся исполнить свой тайный замысел. Дом, стоящий на самом краю слободы, оказался в столь же плачевном состоянии, как и Яшкин собственный.

Сама же хозяйка со скорбным видом сидела тут же в головах покойного. В избе стоял лютый холод, будто ее сроду не топили, и причину этого Яков определил сразу, едва, снявши с усопшего мерку, вышел обратно и окинул взором пустой двор, где не увидел ни единого полена. Вечером вдова заглянула к нему поинтересоваться, успеет ли он закончить работу к завтрашнему утру, и, словно в оправдание, сообщила, что муж ее долго болел, а потому пришли они в великое обнищание, и просила Якова подождать с расчетом. Яшка, давно привыкший к тому, что в девяти случаях из десяти слободчане поступают именно таким образом, безропотно согласился, пообещав выполнить заказ к утру. А женщина та все не уходила, словно почувствовала единство душ их и ту же самую жизненную неустроенность, теребя в пальцах концы своего платка. Потом она вдруг, не сказав ни слова, взяла в руки старый веник-голик и начала подметать стружки и щепу, летевшую из-под топора, не прекращавшего работу Яшки, у которого и дом и мастерская находились под одной крышей. Сам хозяин был тому несказанно удивлен, но вида не подал и лишь быстрее заработал топором.

— Как кличут-то тебя? — через какое-то время поинтересовался он зачем-то, хотя знал, что вряд ли через неделю вспомнит ее имя, занятый новыми делами и заказами.



— Капитолиной окрестили, — грудным голосом ответила она и неожиданно улыбнулась. — А можно просто Капа. А тебя?

Яшку удивило, что кто-то в слободе мог не знать его. Ответил. Она же объяснила, что приехали с мужем в Сибирь недавно, тот в дороге занемог, и она все это время сидела подле него, не успев перезнакомиться с местными жителями. Была она лет на десять старше Якова, о чем говорили морщинки вокруг глаз и дряблость кожи на шее и руках, но в поясе была тонка, а взгляд имела добрый, даже сердечный, и это предавало ее чертам молодость, а мягкие и даже нежные губы выдавали доброту души и сердца.

— Чем дальше жить будешь? — вновь задал Яков вопрос, ответ на который знать ему было совсем ни к чему.

— Сама не знаю, — без раздумий ответила Капитолина и вдруг, закусив нижнюю губу, поднесла руку к глазам и попыталась остановить неожиданно хлынувший безудержный поток вдовьих слез.

У Якова даже топор выпал от неожиданности, потому как стала вдруг гостя его похожа движениями, обликом, а главное, женской горестью своей, с которой русские бабы встречают бесчисленные, выпадающие на их долю тягости, на его покойную мать.

О покойной матери он думал почти непрерывно и в работе и при редком безделье. Была она, словно икона в углу, всегда рядом с ним и смотрела откуда-то издали со своей обычной полуулыбкой. Но образ ее неизменно пропадал, стоило лишь ему подумать о чем-то греховном, нехорошем и плотском, чего мать его знать и видеть не должна была. И именно сейчас материнский облик встал позади Капитолины, и он услышал, как она издали своего промолвила слова, предназначенные лишь ему одному: «Подойди к ней, обними, пожалей женщину эту...»

Он так и сделал. И та легко прильнула к нему, положив голову на плечо и так стояла, пока не выплакалась, не высушила все долгий срок копившиеся в ней слезы, а потом резко отпрянула и, сверкнув глазами, бросила, отпрянув к стене:

— Ты не подумай чего... Я не такая, что с первым встречным обниматься лезет. Тем более...

Он понял, что значит это «тем более». Тем более с таким, как он, неухоженным и неумытым, в рваных штанах и засаленной рубаше с неумело пришитыми заплатами. Но и она смутилась от собственных неосторожно сказанных слов и густо покраснела, торопливо заговорила:

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

— Нет, не о том я. Ты хороший, я же вижу. Работящий, а что один живешь, то даже лучше. Бабы у вас тут все, как на подбор, дурно себя ведут, гуляют с кем захотят. Бежать мне надо отсюда. Только куда, не знаю.

— А родители живы? — уже с интересом спросил Яков.

— Нет, второй год как померли. Остались брат да две сестры, но у них свои семьи, не до меня им. Не хочу никому обузой быть.

— Лет-то тебе сколько?

— Много, — сверкнув глазами, ответила она и вновь смутилась. — А что? Сильно стара? — И тут же улыбнулась, расцвела... И опять материнские черты увидел в ней Яков — тот же поворот головы, знакомый изгиб руки, когда она поправляла выбившиеся из-под платка волосы.

— И детей нет? — продолжал он выпрашивать, понимая, что сейчас должно случиться что-то главное, отчего жизнь его круто изменится. И от этого ему стало сперва жарко, а потом вдруг бросило в холод, и он встряхнул головой, отгоняя внутренний озноб, и впервые за все это время слегка улыбнулся.

— Детей Бог не дал. Может, оно и к лучшему? Чего улыбаешься-то? — тоже с улыбкой спросила она. — Думаешь, скрываю? Нет, врать не люблю, грех это.

— В церковь часто ходишь? — Сам не понимая, зачем спросил, он и догадался, что ему хочется узнать, во всем ли она похожа на его мать или это лишь внешнее сходство, которое при ближайшем рассмотрении легко рассыплется.

— Как и все, — пожала она плечами, — по праздникам. На исповедь. А чего ты все выпрашиваешь? — погрозила она ему пальчиком. — Зачем это тебе? Неужто понравилась? — И тут же погрустнела. — Нельзя сейчас об этом думать. Там у меня муж лежит несхороненный, а мы с тобой вон... — И замкнулась, поспешно собралась уходить.

\* \* \*

Назавтра Яков сам на санках привез гроб к ней в дом, помог с похоронами, зашел помянуть, недолго посидел, а потом, смущаясь находившихся там же посторонних людей, которые мигом усталились на него, хотя и привыкли к тому, что он неизменный участник всех похорон и поминок, вызвал ее на улицу. И там, стоя с непокрытой головой, задал свой главный вопрос, который мучил его всю прошедшую бессонную ночь:

— Придешь ко мне?

— Ты чего? — отшатнулась она от него с испугом и неподдельным возмущением. — Едва мужа схоронила, девять дней еще не прошло, а ты меня к себе зовешь. Точно, все вы тут, в Сибири, совесть в сугроб зарыли и найти не можете. Правильно мне добрые люди говорили, охальники и безбожники одни тут живут. Уходи, а то людей позову.

И он ушел, ни на что не надеясь. Но надежда продолжала жить в нем, давая знать о себе непонятно откуда взявшимся желанием круто изменить свою жизнь, стать иным человеком, для которого, куда он ни взглянет, чудно и прекрасно все, что создано вокруг Господом.

Он и не заметил, как образ матери с лучащимися счастьем глазами перестал ему являться вечерами. Вначале он не обращал на то внимания, а потом понял, что она переселилась и теперь живет в нем, и они стали единым целым. И с ее образом он вставал утром и засыпал с ним. И так привык к тому, что порой даже не понимал, сам ли он произносит каждое слово собственным голосом или лишь повторяет звуки ее голоса, слышимые лишь им одним.

Даже весь мир стал он видеть материнскими глазами, как через чудное оконце. И все вокруг предстало перед ним совсем в ином свете, сделалось более ярким, сочным и насыщенным какими-то необычными красками. Сумрачное зимнее небо стало совсем не пасмурным, а бархатно-серым с лиловыми понижу тучами; и дымки из печных труб видел он существами живыми, которым надоело жить на скорбной земле и потому ринулись они вверх, узнать, кто и что там есть и уже никогда не вернуться обратно, а будут плыть вместе с облаками и тучами в солнечной выси, наблюдая оттуда за оставшимися внизу людьми.

И порхающие у обочины дороги воробушки, похожие на комочки, отщипнутые от серой хлебной краюхи, заговорили с Яковом на своем не понятном ему раньше языке, здороваясь и спрашивая: «Куда идешь, Яша? Куда идешь?» Такого не бывало с ним никогда ранее даже в сильном подпитии, и он не переставал удивляться, как жил раньше, не замечая этих милых сердцу мелочей и радостей.

Он мог неожиданно вдруг остановиться прямо посреди улицы и долго разглядывать глыбу снега, видя в ней некие таинственные знаки, человеческие лица, фигуры, и оттого глыба эта казалась ему живой, лишь застывшей до весны с сокрытой от людей собственной

тайной. Так и вся сибирская страна, думалось ему, скрывает от людей в лесах своих великую тайну, открыть которую сможет лишь человек, наделенный высшей силой и знанием. Вот бы ему, Якову, разгадать ту тайну и передать другим, тогда бы все узнали, каков он есть на самом деле. И благодарили бы его за открытие, останавливали бы для беседы, издалека снимали бы перед ним шапки и уважительно кланялись.

Но тайна та никак не давалась Якову, сколько он о ней ни думал, ни гадал, пытаясь узнать умом своим, в чем она состоит. Потому ходил он от одного дома к другому, внимательно вглядываясь в снежные узоры на стенах, пытаясь увидеть в них подсказку, но знания его не хватало для открытия того, что и более знающим людям не давалось.

Стал он тогда по несколько раз на дню ходить в храм и на службу и оставался там после окончания ее. Стоя один посреди опустевшего храма, он не замечал, что занятые приборкой и сбором свечных огарков две-три бездомных, живущих при церкви старухи, недоверчиво поглядывают на него, опасаясь, как бы он незаметно от них не стырил чего-нибудь ценное. Но сказать о том вслух опасались, видя его нешуточную сосредоточенность, и обходили его стороной, продолжая при том зорко смотреть за отличным от других прихожанином.

Яков же, оставшись один в храме, всегда останавливался у лика Спасителя Нерукотворного и внимательно, не моргая, смотрел ему в глаза, ища в них ответ на мучившие его вопросы. И тут же внутри него слышался материнский голос: «Молись, Яшенька, проси у Господа спасения души своей». Он начинал чего-то шептать, похожее не столько на молитву, сколько на земные просьбы о помощи. В них он просил Господа подсказать ему ответ, в чем состоит тайна земли Сибирской. Несвязно пытался объяснить, что, познавши тайну ту, мог бы он, Яков, рассказать о том всем живущим рядом с ним и тем самым сделать их счастливыми, избавить от тягостной печали, властвующей на Сибирской земле. Но ответ он не находил ни в храме, ни покинув его...

При этом он почему-то не спешил исполнять главный материнский завет и ни разу не обратился к Господу с просьбой о спасении души своей. Просить об этом он не хотел, ибо предвидел, что главные грехи, которые он свершит, еще впереди и вот тогда придется каяться и просить прощения всерьез и по-настоящему.

«Может быть, — думал он опять же, — сейчас грех мой главный и состоит в том, что не понимаю и не знаю той тайны, которая всем другим уже давно известна, а от меня все еще сокрыта. Как мне каяться в том, чего не знаю? Так не может вор каяться, не украв ничего и мне не в чем раскаиваться, пока не открылось мне главное и сущее». И с тем он вновь и вновь уходил из храма, так и не узнав разгадки на вопрос свой.

Яшка не раз пытался спросить у матери, то есть у самого себя, поскольку уже некоторое время не различал где он, а где она, в чем состоит главная тайна земли этой, но ответа материнского разобрать никак не мог. А может, просто не было его, ответа. Как знать. Но, немного подумав, он твердо решил, что мать умерла, так и не узнав сокровенной той тайны, а потому задавать ей этот вопрос более не следует.

Выходя из храма, он с раздражением смотрел на копошащихся подле паперти нищих и калек, которым не было дела до его страданий, и занимало их лишь собственное естество и мысли о пропитании, о чем сам Яков давно перестал думать, и организм его ничуть тому не воспротивился и терпеливо ждал, когда ему разрешено будет подать голос о восполнении жизненных сил, которые давно уже были на пределе. Мозг же его работал напряженно, и он порой не различал, когда спит, а когда бодрствует. Да и не до этого ему было, потому как в нем непрерывно рождались все новые и новые вопросы, которые раньше не могли ему и в голову прийти.

Он почти забыл и о Капитолине, после встречи с которой, собственно, и начались его долгие размышления, а когда вспоминал, успокаивал себя тем, что, сойдись он с ней, и не имел бы тогда никакой возможности думать о чем-то ином, кроме как о житейском и плотском.

Не хотелось ему больше заниматься и своим плотническим делом, к которому он начал испытывать стойкое отвращение и нежелание делать из древесных стволов что-то требуемое людям для своих потребностей, которых у них становится с каждым днем все больше и больше.

Первое разочарование от своей работы он испытал, через силу без былой страсти сколотил очередной гроб, а после был, как обычно, приглашен на похороны. Как и в ранешние времена он отправился в дом к умершему, где собравшиеся бабы привычно в голос ревели по лежащему в гробу пожилому мужику. Яшка попытался прислу-

шаться к их плачу, разобрать слова, надеясь, что в них, может быть, откроется ему тайный смысл прощания с жизнью, но все слова показались похожи одно на другое и не помогли отыскать ускользающую от него уже долгий срок разгадку. Чем дольше слушал он плач этот, тем больше казалось, что идет он не от души, не от сердца, а голоса бабы словно бы по обязанности. Так выполняется тяжелая работа, где иной раз нужно надрывно крикнуть, выматериться, помянуть в сердцах и черта и Бога, но без всякой при том злобы, а так, походя и для порядка.

Он внимательнее всмотрелся в голосащих баб и понял, что покойника им ничуть не жалко. Их было четыре, участвующих в этом скорбном деле баб. И все они, как на грех, подобались одна другой ядреней, щекасты и румяны. Глядя на них, как-то не хотелось думать о смерти, а, наоборот, о жизни и ее утехах. Видно, и пригласили их на проводины благодаря их зычным голосам и умению долго и протяжно выть, помогая друг дружке.

Якову почему-то вспомнилось, как провожали покойников у него в родном селе, и он отметил про себя, что проводы те сильно отличались от наблюдаемых им сейчас. Там, на Руси, женский плач в подобных случаях являл собой некую песню, которой прощались с близким человеком, надеясь, что там, в другом мире, будет ему лучше и приятнее, нежели среди людей. Плачи те, хоть и грустные, по звучанию больше походили на проводы в дальнюю дорогу и несли в себе надежду на встречу, которая рано ли, поздно ли, но случится. Здесь же, в Сибири, бабы голосили больше для вида ни на что не надеясь, а прекратив завывание свое, с улыбкой начинали судачить меж собой о делах житейских. Родня же покойного, если и плакала, то тоже без особого надрыва, словно берегли силы на самих себя и грядущие затем испытания.

Яшке представилось, как будут провожать его самого в последний путь, и он понял, вряд ли кто закричит, заплачет, запричитает, назовет его кормильцем. Тогда для чего и сами проводы? Кому они нужны? Не самому же покойнику! Значит, людям живым, которые зачем-то придумали их и сопровождали плачем и криками. Или все они истово верят в нужность их присутствия и участия? А может, делают все по давней традиции, перенятой у предков? А те откуда узнали о том? Кто первый придумал и научил остальных тому, что сейчас считается столь привычным и обыденным?

И он в очередной раз запутался в своих рассуждениях, вновь не находя ответа на рождающиеся у него вопросы. Но от всего увиденного ему расхотелось ходить на похороны, оставаться на поминки, хотя это была единственная для него возможность хоть изредка поесть досыта.

Зато, уйдя с последних похорон, он впервые в жизни подумал всерьез о своей собственной смерти. И не испугался, как это делают все нормальные люди. В тот момент он даже не заметил, как оборвалась его связь с этим миром, и он стоял уже в шаге от того, что зовется потусторонним.

Неожиданно ему сделалось жалко самого себя, чего ранее с ним никогда не случалось. Он попытался вспомнить о матери, но с удивлением понял, что воспоминания эти, а тем паче ее светлый образ покрылись толстым слоем густой, как деготь, жалости к самому себе. И обиды на всех, кто когда-то находился рядом с ним и не смог объяснить, как жить ему дальше. И вслед за тем у Якова совсем пропало желание возобновлять былые беседы с матерью, а потому он решил, пора начинать заботиться о самом себе, коль никто больше не выказывает своего сострадания и заботы о нем, Якове. И напряженно стал думать он, с чего начать заботу о самом себе. Но ничего определенного на этот счет в его отягощенную вопросами о смысле бытия голову так и не приходило. И родилась вслед за тем обида на людей и раз и навсегда нежелание общаться с ними.

\* \* \*

Так прошло несколько дней... И Яшка даже не заметил, как вслед за непрестанными думами и размышлениями подкрадывается к нему великая печаль, все сильнее овладевая им. Незаметно для самого себя все глубже погружался он в тину безысходности, которая еще чуть — и затянет его всего с головой — и тогда он уже никогда не выберется наружу, не станет тем прежним, мало думающим о себе и жизни своей человеком, которому на все наплевать и ни до чего на свете нет дела.

Вслед за тем накатило на него некое оцепенение, словно паралич, поразившее душу. И понял он всю малость свою в этой дальней стране, а поняв, не заметил, как пришла вслед за тем к нему несказанная, непередаваемая словами грусть, граничащая с неземной печалью. Вволю настрадавшись, стал чувствовать он волны тепла, рождавшегося

где-то в глубине организма, отчего сделалось ему хорошо и приятно. Так, замерзающему в одиночестве человеку неожиданно становится тепло и приятно, и погружается он в вечный сон, незаметно уходя из жизни в мир вечного покоя...

Именно тогда и открылась ему великая тайна сибирская, что, сколько ни бейся, ни обременяй себя вечной работой, а все зря. Не увидеть ему здесь плодов деяний своих, а будут они уходить в землю, как гробы, вышедшие из-под его, Яшкиного, топора, погружающиеся навечно в глубь земли. А вслед за тем исчезнут рухнувшие на осевшие могилки кресты... И оттого еще грустнее и жалче себя стало ему. И он даже не попытался отогнать коварное чувство, а стал лелеять его в себе и жить с ним. И окончательно вытеснила печаль материнский образ, не оставив места для него в сыновьей душе.

Лишь вечерами, оставшись один, он с удивлением раз за разом стал обнаруживать на щеке своей редкую слезинку, являвшуюся, как драгоценный жемчуг, на глухом, не посещаемом людьми речном берегу. Не привыкший к слезам, он не верил, что то есть его слеза, а решил, будто мать каким-то удивительным образом роняла ее, посылая тем самым восточку о своем реальном существовании в этом мире.

Но пришел срок, кончились слезы, и он забыл о матери своей, как постепенно забывает человек обо всем, с ним когда-то происходящим. Зато стал думать непрерывно о своей никчемности, разжигая внутри себя неведомые доселе гнев и злость не столько на людей, сколько на самого себя.

А вскоре не стало в нем ни гнева, ни злобы, зато все больше день ото дня росла печаль и копилась, как зола в печи, изгоняя все другие проявления человеческой души. Самое удивительное, но испытал он от того таинственно-приятное чувство удовлетворения и с нетерпением ждал вечера, когда грусть сковывала члены и окутывала душу приятной истомой, не позволяя встать и стряхнуть ее. Он пытался найти тому объяснение, но мысли работали вяло, и жалость к самому себе гнала их прочь, не позволяя отвлекаться на что-то иное, кроме грусти.

Работа его, за которую он с большой неохотой время от времени все же принимался, стала казаться скучной и ненужной, без которой вполне можно прожить, после того как человек узнал и постиг истину всего сущего на земле. С тех пор Яков сделался окончательно



похожим на остальных слободчан, которые ничем особо старались себя не занимать и не обременять. Он стал отказываться от заказов, ссылаясь то на болезнь, то на занятость, то на нехватку нужного материала и через какой-то срок люди совсем перестали к нему обращаться, понимая, что из того выйдет.

Он же с раннего утра шел на улицу и бесцельно бродил по городу взад и вперед, пристально вглядываясь в лица редких прохожих и пытаясь определить, знают ли они, живущие рядом, то, что открылось ему и теперь переполняло, грозя выплеснуться наружу. Но все люди, встреченные им, спешили по своим большим и малым делам и не желали откровенничать с праздно шатающимся человеком.

Тогда Яков без особого желания, а по приобретенной с детства привычке шел в храм и вставал напротив полюбившейся иконы Спаса, спешно крестился, но уже без прошлого трепета и робости, а по-деловому, по-хозяйски и заводил немую беседу со Спасителем, которая начиналась обычно словами: «Ну, что, Господи? Не удалось скрыть от меня главную земную тайну? А ведь распознал я ее. Теперь-то известно мне, как дальше жить...» Какое-то время Яшка напрягал внутренний слух, ожидая хоть что-то услышать в ответ, а, не дождавшись, презрительно хмыкал, взмахивал рукой, поспешно, с оглядкой, словно его могут уличить в чем-то дурном, крестился и шел домой.

Потом он отказался и от этих посещений дома Господня, решив, что свой храм он может вполне создать и прямо у себя в мастерской. Зачем молиться тому, кто не оказал ему никакой помощи, не направил на верный путь в разгадке великой тайны бытия, и ему пришлось долго блуждать в поисках оказавшейся довольно простой истины. Нет, такой Бог ему не нужен! Он создаст свое, лишь ему одному известное божество, которому и станет поклоняться, посвящать в самое сокровенное и просить помощи.

Через какое-то время у него возникло стойкое неверие в божественность того, кому он много лет поклонялся и благоволил. Он усомнился, что здесь, в Сибири, может жить тот Бог, которого он знал там, на Руси. Не зря татары поклоняются своему Аллаху, а иные инородцы верят в своих богов.

Но жило в Якове, как и во всяком русском человеке, стойкое неприятие всего инородного и иноземного, а потому сменить свою веру на их он просто не мог, да и в мысли ему это как-то не пришло. Зато начал он размышлять, что коль открылась ему истина, то, значит, по-

мог ему в том кто-то неведомый до сих пор, бог — хозяин этой земли, о котором другим людям ничего до сих пор неизвестно. А может, и известно, да не решаются они сказать о том вслух.

«Вот-вот, — прошептал он и схватился обеими руками за свою горящую от открывшегося ему очередного откровения голову, — ему и надо поклоняться! Он убережет меня от разных напастей и поможет во всем, чего не сделал тот прежний Бог, живущий где-то далеко, но никак не в Сибири».

Он вытащил из давно нетопленной печи уголек и принялся рисовать на стене своей мастерской разные таинственные знаки в виде кругов и стрел, перекрещивающихся меж собой. Проснулась в нем затаивавшаяся ранее память предков, так же вот искавших образ таинственных богов, живших рядом с ними, у которых просили они защиты и покровительства. Но, не обладая должным воображением, остался Яков недоволен рисунками своими и решил прибегнуть к привычному для него материалу, к дереву, душу которого он знал и понимал. Где же еще быть сибирскому богу, как не в смолистом стволе, вызревшем на древней земле, вобравшем в себя все таинственное и значимое окружаемого мира и сохраняющего силу его.

Не тратя времени, Яшка притащил со двора толстенное бревно, укрепил его и, щуря глаз, привычно прикинул, какого размера выйдет божество из приготовленного на очередной гроб бревна. Меж древесных волокон он вдруг увидел два глаза, напряженно глядящих на него, обозначил крупный нос, плотно сжатые губы и густые пряди бороды. Обозначив все это, он схватил топор и принялся сосредоточенно вытесывать из бревна своего бога, ни на мгновение не останавливаясь, лишь смахивая рукавом рубахи пот со лба.

Когда он вчерне прошелся по означившемуся контуру и увидел проступившие черты, то возликовал от величия своего и закричал во весь голос:

— Мой Бог! Мой и только мой! Он поймет меня и выполнит все, о чем его попрошу! — И сгнула куда-то печаль, уступив место привычной работе, но уже не для кого-то чужого и постороннего, а для самого себя, ради обретения уверенности и жизненной силы, чего он не мог получить больше ниоткуда.

К утру при сумрачном свете шипящих лучин, почти на ощупь Яшка Плотников закончил свою работу и поставил обтесанное со всех сторон бревно в угол, где висела доставшаяся от матери иконка.

После того отступил он на несколько шагов от истукана и залюбовался им: из-под кустистых бровей на него грозно и как-то даже хищно смотрел старик, взгляд которого у любого вызывал бы трепет и поклонение.

Но показался он мастеру чересчур злым, каким-то сердитым, недобрым, и, чтоб хоть как-то смягчить его, Яшка кинулся шарить по углам своей избы, пытаясь найти что-то яркое и красочное, чем можно было украсить новоявленного идола. Но в пустой избе его трудно было отыскать предметы, требуемые для украшения. Лишь наткнулся он на небольшую грудку сосновых шишек, приготовленных им для растопки печи. Глянув на них, решил, что это именно то, что ему нужно, оторвал от старой холщовой рубахи тонкую полоску и связал ею все имеющиеся в наличии шишки. Получилось украшение, похожее на бусы, которое он без раздумий надел на шею идолу. Но добрее от этого тот не сделался. Потом взгляд мастера остановился на доставшейся ему от матери иконке Николая Угодника, и без раздумий он снял ее со стены и прикрепил на груди истукана.

Глянув мельком на лик Чудотворца, он отметил, что взгляд того стал неожиданно суровым и решительным, чего он ранее никогда не замечал. Ранее он вроде как смотрел на него всегда с поощрением и затаенной улыбкой, которая сейчас почему-то исчезла. Но, не обращая на то особого внимания, Яшка опустил на колени и, протянув обе руки к божеству своему, спросил громко, не опасаясь быть услышанным кем-то:

— Скажи, что мне нужно сделать, чтоб жить беззаботно и необременительно? Как ублажить тебя, чтоб ты помог мне?

Он прислушался, ожидая ответа, но лишь ветер шуршал поземкой за дверью и где-то вдалеке слышался лай охрипшей на морозе собаки. Но и это не особо огорчило новоявленного богоискателя, и он с неведомым ему до того рвением принялся истово отбивать поклоны и шептать первое, что приходило на ум: «Ты велик! Ты есть бог земли этой! Научи меня, как жить и что мне делать...»

Яшка долго бил поклоны и шептал, а иногда и выкрикивал первые приходившие ему на ум слова, повторяя их и так и эдак. Потом он вдруг вскочил на ноги и пустился в пляс, дико кривляясь и корча рожи, выкидывая при том замысловатые коленца и хлопая в ладоши. Умаявшись, он повалился на лежащую в углу кучу стружек и щепы и блаженно уснул, осознавая себя прародителем и жизнедавцем

чего-то особенного, на что никто другой не способен. Пробудившись, он, не понимая, день или ночь на дворе, опять принялся выкрикивать бессвязные заклинания и плясать, а потом вновь упал в угол и спал уже не так крепко как в первый раз, а часто вскакивал, словно кто смотрел на него, но, не найдя никого, вновь ненадолго погружался в беспокойный сон.

\* \* \*

Во время одного из таких испугов он почувствовал приступ ярости на свое божество и, схватив топор, обухом ударил того по макушке. Истукан повалился на пол, рассыпались прикрепленные к нему шишки, отлетела в сторону иконка Николая Угодника. Испугавшись содеянного, Яшка со слезами поднял облагороженное им бревно и принялся иступленно, обливаясь слезами, целовать и гладить его грубые черты. Потом положил его на древесную щепу рядом с собой, крепко обнял и надолго забылся, потеряв всякий интерес к жизни, к себе самому и всему тому, тайну чего он, казалось бы, постиг.

Так и нашла его лежащим в забытии с бревном в обнимку Капитолина, которой Яшкины соседи сообщили, что тот уже несколько дней не выходит из дома, хотя через плохо притворенные двери слышатся непонятные звуки и выкрики. Вначале она решила, что Яков всего лишь пьян, но вскоре поняла, что это не так, и sprыснула его холодной водой, которую пришлось нести с улицы, поскольку в доме ее не оказалось ни капли. Яшка открыл мутные глаза и тупо уставился на склонившуюся над ним женщину, плохо понимая, кто и зачем перед ним.

Капитолина пробовала говорить с ним, но в ответ слышала лишь нечленораздельные звуки. Яков пытался соскочить с кучи стружек и куда-то бежать, но едва поднимался на ноги, не мог сделать и шага от полного отсутствия сил, падал обратно на кучу стружек и принимался бормотать нечто бредовое. Поняв, что с ним происходит что-то неладное, Капитолина отправилась за батюшкой и, все тому рассказав, привела в дом к обезумевшему Якову. Тот внимательно глянул на него, послушал невнятные бормотанья, сокрушенно покачал головой и, ничего не спросив у стоявшей безмолвно Капиолины, достал принесенные с собой Святые Дары, sprыснул Якова святой водой и принялся читать над ним очистительную молитву. Тот пона-

чалу метался, вскакивал, рвался куда-то бежать, но сил на то у него не было никаких, и он опять ложился на облюбованное им место. Через какое-то время он затих, и Капитолине вместе с батюшкой удалось переложить его на кровать, укрыть теплой овчиной. Вскоре за батюшкой прибежала молоденькая девчушка, что-то шепотом сказала ему, и тот собрался уходить.

— Старушка одна помирать собралась, — пояснил он, — вот, зовут... Я тебе Псалтырь оставлю, грамоте-то обучена? — спросил он Капитолину. Та согласно кивнула и проводила священника до дверей, сама же осталась рядом с крепко спящим Яковом.

Она же, прочитав несколько псалмов, закрыла священную книгу и положила ее под подушку спящего, а сама растопила печь, сбегала к себе домой, принесла кое-что из припасов и принялась готовить.

Проспал Яков до вечера следующего дня, а проснувшись, увидел сидящую подле себя Капитолину с открытой на коленях толстенной книгой в тисненном кожаном переплете.

— Что случилось? — спросил он, как ни в чем не бывало. — Ты давно здесь? Не помню, как уснул... Сон какой-то чудной снился, будто меня кто-то звал в глубокий колодец спуститься, я было полез, а сверху ты зовешь... Едва назад выбрался...

— Точно, чуть совсем в тот колодец не бухнулся. Скажи батюшке нашему спасибо, что молитвы над тобой чуть не до утра читал. А то сейчас бы не ты гроб очередной мастерил, а для тебя делали, — по-матерински отчитывала она его. — Едва отходили тебя, дурня. Что же ты такое сделал с собой? — показала она ладонью на его обескровленное и исхудавшее лицо. — Почему не пришел, когда сорок дней после смерти мужа моего прошло? А я тебя ждала...

— Неужели сорок дней прошло? — не поверил он.

— Больше уже. Хотела уезжать, да соседи твои сказали, мол, неладно что-то с тобой, пришла попрощаться, а ты едва живой лежишь, краше в гроб кладут. — И, что-то вспомнив, тихо заплакала. Слезинки ее упали Яшке на руку, на грудь и окончательно вернули его к жизни. Вновь над Капитолиной засиял образ его матери, чему он несказанно обрадовался.

— Мама вернулась, — только и прошептал он.

— Где? — не поняла Капитолина и обернулась.

— Ты и есть моя мама и жена. Оставайся со мной, худо мне одному.

— Так ты не один, — красноречиво указала она на лежащего в углу истукана. — Думала, ты его на меня променял.

— Да будь он проклят! — закричал Яшка и вскочил на ноги. — Из-за него все это со мной случилось. Нечистый попутал меня, велел собственного бога сотворить, вот меня и понесло. Теперь видишь, что вышло из всего этого.

С этими словами он легко подхватил совсем недавно обожествляемое им бревно и выбросил его за дверь.

— Все, с этим покончено, — смело заявил он. — Оставайся, и все хорошо будет. Обещаю.

Капитолина покорно согласилась, понимая, что деваться ей все одно некуда, а Яков хоть какой, но заступник. К нему ее влекло едва уловимое щемящее душу чувство материнской жалости и заботы. Возможно, видела она в нем скорее своего неродившегося ребенка, нежели мужа. Женскую душу и чувства, владеющие ею, трудно кому-то понять, включая и ее саму, а потому поступки, которые она совершает, на первый взгляд, столь непредсказуемы и загадочны. Хотя, если разобраться, то идут они чаще всего именно от жалости, испытываемой ею к другому человеку, что многие почему-то называют любовью. Однако, как бы ни звалось это чувство, благодаря ему и живут столь несходные друг с другом люди, не особо задумываясь, чему они этим обязаны.

Через день Капа, как стал ее звать Яков, перебралась к нему в дом, заставив его перенести мастерскую в стоящий во дворе покосившийся и наполовину разобранный сарай. Но никаких пожитков в доме после ее переезда не прибавилось, хотя стало заметно чище и уютнее. Зато Яшка повеселел и подолгу пропадал в своем сарае, наверстывая упущенное, мастера для соседей разную необходимую для хозяйства утварь.

Правда, с тех самых пор он начисто отказывался принимать заказы на поделку гробов и могильных крестов, ссылаясь на явленный ему откуда-то голос, запретивший навсегда заниматься этим скорбным занятием. И слободчане, привыкшие к неожиданным вывертам своих соседей, нимало на то не обиделись, а наоборот, уважительно похлопывали его по плечу, когда забирали очередную поделку, со словами, что гробовщиков и без того хватает, а вот такой мастер, как он, один. Правда, оплату они, как обычно, задерживали, но Яшка со своей Капой считали, что счастье земное совсем не от этого зависит.

И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы; добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею.

*Екк. 7, 26*

Под вечер уже Варвара вспомнила, что завтра у нее вроде как именины и, несмотря на пост, надо хоть как-то отметить день своей небесной покровительницы. Точного возраста своего, как и все ее ровесницы, она не знала. К чему ей знать его? Просто баба, которая уже четыре десятка лет прожила, на пятый перевалило, а счастья так и не видала. Да и есть ли где оно — бабье счастье? Кто его видел, в руках держал? Живший десяток лет с ней казак, муж невенчаный, царство ему небесное, ничем особо ее не осчастливил. Жили, как все, и не особо думали, есть ли оно, счастье, меж ними. Теперь вот который год одна вдовью лямку тянет. Может, потому и Бог деток не дал, что жили без особой любви, а как бы по обязанности. Как бы сейчас хорошо было, если бы в доме кроме нее еще кто был. Вместе все легче от тоски спастись, что окутывает все гуще паутиной своей вдовый дом, не оставляя надежды даже на малые радости.

Небольшой домик, куда родители Варвары перебрались много лет назад да здесь же и померли, стоял подле самой речки Монастырки так, что до воды из окна можно камень добросить. Поселили сюда отца ее, поскольку состоял он какое-то время конюхом при архиерейском дворе, и один из сибирских владык, находясь однажды в добром расположении духа, отблагодарил его за добрую езду, распорядившись отвести ему с семейством этот самый дом в монастырской слободе. И прозвание свое отец получил по должности, ставши Конюховым и дети его унаследовали тоже самое прозвище, под которым писались как в церкви, так и по другим делам.

Варин отец недолго возил архиереев через обычно укрытые большую часть года снежным одеялом сибирские дали. Пришлось ему прервать службу из-за тяжелой простудной болезни, заработанной им в многодневных поездках. Прохворав почти год, скончался он на руках у жены своей, оставив ей вместе с безутешным горем в память о себе троих детей. Варвара была среди них самой младшей, возможно, потому и задержалась в Тобольске. После смерти матери, последовав-

шей вскоре вслед за мужем, брат ее с сестрой уехали искать лучшей доли, не пожелав жить подле могил своих родителей. И Варвара бы уехала, если бы не дом, хотя был он далеко не самым лучшим среди своих монастырских соседей.

Удержали Варвару в родном городе спокойный нрав ее и привычка к своему углу, где каждый сверчок знал свой шесток, и она надеялась найти такого же тихого мужа при должности на какой-никакой, но службе. Слушая в детстве рассказы отца о порядках на архиерейском дворе, она утвердилась в мысли, будто бы это и есть настоящая мужская работа — служить сильным мира сего. Будь то воеводский двор или приказ о ссыльных, все они правят от царского имени, и, значит, вряд ли кто посмеет словом или действием обидеть самого малого служку из них. Потому и казака своего приветила совсем даже не за красу или иные качества, а опять же за службу государеву. И даже сейчас, ставши вдовой, хранила ее от многих бед память о нем, как человеку служилом, военном, а значит, выше многих, кто пытается жить исключительно своим умом.

Жизнь ее теперь складывалась не из дней прожитых, а из ночей, проведенных в горьком одиночестве, когда даже писк мыши считала она добрым знаком, скрашивающим пустоту вдовьей доли. Но и мыши, словно чувствовали зияющий скорбью провал бесприютности, были редкими гостями в ее доме. Не приживались и собаки, которых она пыталась прикармливать остатками скудного обеда. Те, покормившись на ее харчах вволю, вдруг вскоре начинали обходить ее дом стороной и уходили в иные семьи, где царило если не веселье, то обычные для жизни суета и гомон. Брала она к себе и котят, выкармливала, но приходил срок, исчезали и они, оставив лишь клочки полинялой шерстки на дерюжном покрывале.

Другой бы на ее месте давно ожесточился, стал человеком злым и желчным, ненавидящим все и вся вокруг. Но Варвара смирилась со своей долей и жила так без любви, без ненависти, не старясь и не молодея, словно застылая под первым морозцем спелая ягода, налитая соком собственной неприкаянности и отчужденности от всего мира. Как и многие вдовы ее лет, она исправно посещала приходскую церковь, каялась в грехах, сводившихся, главным образом, к тайным помыслам о бабьем блаженстве, наличие которых можно сыскать у каждого жившего на земле человека, тем более у оставшегося без жизненной опоры и веры в собственные силы. И не было случая, чтоб



сердобольный батюшка не допустил ее к святому причастию, сочтя вдовью откровения за великий грех.

Этим она ничем не отличалась от слободских соседок, живших кто при муже, кто подле милого дружка, а иные, как Варвара, при пустом доме. Только в отличие от иных одиноких баб носила она в самой глубинке души своей тайну и открыть ее не согласилась бы даже самому близкому человеку или даже под угрозой неминуемой смерти. А тайна та состояла в мечте Варвары взять на воспитание чужого ребенка, который бы осветил улыбкой своей самые темные уголки ее жилища. Мысль эта поселилась в ней не так давно, а всего лишь три-четыре года, как стала она думать о приемном дитяти, осознав в одну из бессонных ночей собственную неспособность про- извести его на свет.

И нельзя сказать, что не встречались за это время ей сироты, в изобилии стоящие у каждого городского храма не только в праздничные, но и в будние дни. Но она боялась, как бы приведенный ею в избу оборвыш, прожив какой-то срок, набравшись сил, не сбежал, как делали это прежде четвероногие жильцы Варваринаго дома. Потому, думалось ей, брать нужно дите не старше двух годиков, а лучше — и совсем в пеленках. Может, тогда удастся обмануть судьбу, уготовившую ей безрадостную жизнь и совсем печальную старость.

Но как найти такого сироту, оставшегося без родителей, она даже не представляла. Обычно таких детей брали к себе на воспитание сердобольные родственники, неся это тяжелое бремя отнюдь не по зову души или крови, а исключительно не желая слышать укоры всезнающих соседей, умеющих безошибочно при каждом удобном случае вставить в разговор шпильку о бессердечности их. Тем более, взглядевшись в быт этих опекунов-воспитателей, можно было узреть там такие язвы и страдания с той и другой стороны, что диву дашься, отчего людское сердобolie наяву оборачивается каиновой неприязнью к родственному чаду, живущему с ними под одной крышей. Но предложи им отдать сироту одинокой вдове — и поднимут они такой шум, что хоть святых из дома выноси. Нет, на этом пути, давно решила для себя Варвара, удача ей не светит, и даже думать на этот счет себе запретила.

Другое дело, что время от времени слышала она от кумушек, будто бы на крыльце у тех или иных городских богатеев обнаруживался сверток с пищущим в нем малышом. Так испокон века освобождали себя мамыши, прозванные в народе «кукушками», от своих «куку-

шат», снимая с себя всяческую заботу о родной кровинушке, питая при том надежду на собственную дальнейшую беззаботную жизнь. Но ждать такой удачи Варвара могла и год и два, и сто лет, хорошо понимая, что вряд ли кому придет в голову положить возле вдовьего дома новорожденного малыша, зная наперед достаток ее.

Может, кто другой давно обратился к Богу с молитвой о подобном случае, и был в один из прекрасных дней вознагражден за терпеливое ожидание. Но только не Варвара Конюхова. Ей казалось, что, услышав ее молитву, Господь тем самым вполне заслуженно накажет ее за желание обладать чужим, тем более ни каким-то затрапезным имуществом, а человеком, по праву ей не принадлежащим. Мысли такие сравнивала она не иначе как с воровством и старалась гнать их от себя, как подвижник веры исторгает из себя всяческие блудные помыслы. А потому, ограничив себя со всех сторон от исполнения мечты своей, она не просто мучилась, а жестоко страдала от сознания собственной беспомощности и неразрешимости своих мечтаний.

Но не так давно, зайдя, как обычно, вечером к Устине и застав там все ту же Глашку, победоносно рассказывающую об очередных победах над мужским племенем, ее словно осенило: вот кто должен родить для нее ребеночка и с рук на руки отдать ей его на воспитание!

«Почему раньше не подумалось мне о том? — спросила она тут же сама себя, вглядываясь в красивые Глашкины черты. — И ребенок, особенно если это будет девочка, должен быть красив собой, — незаметно улыбнулась она собственному предположению. — Только, чтоб не повела себя, как ее мать, — тут же испугалась она, — а то хвачу с ней лиха по самую макушку».

Она уже и имя девочке придумала: Арина, и не заметила, как унеслась с грешной земли далеко-далеко, на много лет вперед, видя себя идущей рука об руку со взрослой дочерью, а как же, ее дочерью, ощущая завистливые взгляды иных бездетных баб.

Оставалась самая малость — сообщить о своих планах Глафире и получить ее согласие. Но, зная крутой нрав и независимость Глашки, она боялась даже подступиться к ней, не то что попросить о чем-то малом. А уж сказать ей открыто, чтоб та родила для нее ребенка, и вовсе вещь немислимая.

И тем не менее выбора у Варвары не было. Глашка, может, и высмеет ее, но, как говорится, за спрос денег не платят и по морде не бьют, а там видно будет. Потому и замыслила она не просто собрать

подруг на именины, но, выбрав удачный момент, заговорить сперва с Устиньей, предварительно подготовив ее к тому, а потом и с Глашкой о рождении ребенка. И свернуть ее с этого пути не могла ни одна сила на свете, поскольку как нет на свете более терпеливых баб, чем русские, точно так же нет им равных в упрямстве и упертости.

\* \* \*

Любая татарка или там калмычка каждое мужнино слово с открытым ртом ловят и, оставшись хоть ненадолго без него, с места не тронутся, дождутся возвращения и поинтересуются, что им дальше делать. Когда муж у нее умирает, то берет ее младший брат мужнин себе в жены и становится полновластным властелином всей семьи. Ни одна из народностей, кроме русской, не допустит того, чтоб осталась женщина в одиночестве, зная, какими бедами может это обернуться. Но широта русской души, а еще более беспредельность земли Российской все перевернули с ног на голову. Особенно обрета страну Сибирю, русский мужик ринулся в нее, как в омут, забыв о семье и своих мужниных обязанностях.

Те же татары, отправляясь в поход, тащили за собой огромные обозы с детьми и женами. Если в трудный час оставляли они их одних, то под присмотром стариков, а то и приспособленных оскотлением людей, называемых евнухами. Русский же мужик, отправляясь в поход или на заработки, взваливал на плечи баб все свои обязанности, считая, что так вернее и правильнее. Но пришел срок, и бабы русские, почуяв силы и обрета уверенность в собственной непогрешимости, уже сами могли не только решения принимать, но и мужу своему указать, как тому жить дальше. Понятно, добром это редко кончалось, но разве можно приручить познавшую волю дикую птицу? Недаром говорят, что и прикормленный волк все на лес поглядывает. Так и человек, проживший какой-то срок по собственному разумению, уже не побежит за советом по первой нужде, а сам рано ли, поздно ли, но выход сыщет. И бабы русские, пожив одни хотя бы полгода, потешив себя мыслью о собственной состоятельности, начинали смотреть на мир взглядом правительницы, и уже невозможно было отучить их от привычки решать все на свой лад, поскольку Бог создал их лишь в помощь мужу своему, но никак не в замен.

Так и Варвара, утвердившись в правильности своих поступков, не собиралась отступать от задуманного и с нетерпением стала гото-

виться к приходу подружек, заранее извещенных и приглашенных в дом к ней.

С вечера Варвара, как обычно, поставила тесто для пирога, занесла в дом из кладовой оттаивать заранее припасенную для этих целей здоровенную нельму, выменянную у знакомого рыбака на остатки добычи, привозимой некогда ее казаком. Утром пораньше раздула жар в печной загнетке, подкинула несколько поленьев дров и стала месить тесто для пирога. Когда дрова прогорели, то, выждав положенный срок, Варвара посадила в печь пирог и принялась выставлять на стол нехитрые закуски из домашних припасов. Для более веселого разговора имелся у нее и начатый бочонок с вином, хранимый ею с незапамятных времен опять же через мену то ли чьих-то сапог, то ли кафтана на редко употребляемое ею зелье. Единственное, чего она опасалась, как бы вино не закисло, став не пригодным для употребления. Потому она нацедила из него в кружку малую порцию винца, глотнула, поморщилась и решила, что вино вполне доброе и подруги за него вряд ли ее осудят.

Когда пирог уже был выставлен на стол, то первой явилась Глашка, словно она до этого за дверью стояла и ждала, когда хозяйка закончит свои хлопоты к приходу гостей. Она сочно чмокнула Варвару в щеку и загадочно проговорила:

— А мы с Дашкой на именины твои подарочек небольшой припасли... Ни за что не догадаешься, что это!

— От всей души благодарна вам за то, — чуть поклонилась ей Варвара. — Давай сюда, гляну, что за подарочек такой. А не глядя гадать, сама знаешь, не обучена.

— Так Устя с собой принести должна. А я вот сразу к тебе зашла, не стала ее дожидаться.

— Тогда вместе ждать будем. Негоже без нее за стол садиться.

— Верно, подождем, — как-то покорно согласилась Глафира, что было на нее совсем даже не похоже. — Хороший ты, однако, стол накрыла, — одобрительно проговорила она, указывая глазами на любовно расставленные хозяйкой угощения.

— А что, не нравится? При моем достатке шибко не попируешь. Да и пост стоит, сама знаешь, — словно оправдываясь, ответила Варвара.

— А чего нам, холостым, незамужним, поста бояться? — хохотнула Глашка. — Нас с тобой и так Бог наказал, а за такую малость чего нам будет...

— Знать бы только, чего впереди уготовлено, — со вздохом поддержала разговор Варвара, думая, что надо было пирог из нельмы оставить пока что в печи, чтоб не стыл на столе. Устинья, непонятно когда явится, и пирог к тому времени окончательно потеряет свой вкус.

Она хотела уже было подхватить его и спровадить обратно на горячие ещё печные уголья, но тут за окном послышались шаги, потом недолгая возня в сенцах, дверь распахнулась, и в избу ввалилась Устинья с румянцем во всю щеку и лучащимися внутренним светом глазами.

— Здорово, подруженьки! — зычно гаркнула она басом и тут же непонятно чему засмеялась, ударила рукавицами о подол шубейки и так же громко, словно находилась не в доме, а где-то в лесу или на полной народа площади, продолжила: — С именинами тебя, Варенька! Желаем тебе, чтоб каждый годок прибавлял росток, чтоб цвела и хорошела... — Она сделала небольшую паузу и добавила со смехом: — Для бабьего дела!

Тут Устинья или забыла заранее приготовленные слова или просто споткнулась, закашляв от напряжения, но дальше у нее пошло не так складно.

— Мы с Глашкой тебе желаем найти мужика хорошего, пригожего, чтобы лишнего не пил, к другим не ходил, тебя не тузил, а лишь крепко любил... — Она опять споткнулась и подмигнула Глафире: — Помогай, подруга, чего-то у меня сегодня худо выходит, сама не знаю, почему.

— Да все у тебя ладно идет, — отмахнулась та, — сейчас по чарочке примем — и еще лучше скажешь.

— Это ты правильно говоришь, — согласно кивнула Устинья, — по чарочке нам не помешает. Да, — спохватилась вдруг она, — про подарок совсем забыла, прости, Варенька, меня, дуру старую. — И с этими словами она вытряхнула из шерстяной вязаной варежки небольшой сверточек, крепко завязанный сверху узелком. — Держи, — протянула она его Варваре.

— Так ты хоть покажи, что в нем, — кинулась к ней Глафира, — пусть Варька поглядит, что мы ей в дар принесли. — Она выхватила узелок из рук слегка растерявшейся Варвары, умело развязала и вынула тонкий серебряный браслет, покрытый многочисленными узорами. — Вот что мы тебе стотовили, — протянула она его имениннице. И тут же поинтересовалась: — Нравится?

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

— Ой, еще бы, — выдохнула Варвара, — никто сроду мне красоты этакой не дарил, спасибо, девоньки, — признательно прижала она обе руки к груди и почувствовала, как малая слезинка покатилась на щеку. — От всей души благодарна вам. Спасибо, дайте хоть поцелую вас, подруженьки мои милые. — И она звучно чмокнула каждую из них.

— Да ты примерь, примерь, мы хоть поглядим, — не отставала Глафира.

— Сейчас, — согласилась хозяйка дома и надела браслетик на левую руку, повела ее в воздухе, спросила: — Ну, как?

— Да хоть сейчас под венец! — подхватили подруги. — Ты и так красавица у нас, жаль, мужики того не видят.

— Вы уж скажете, — отмахнулась Варвара, — спасибо вам на добром слове, к столу проходите, а то остыло уже все.

— Главное, чтоб мы сами не остыли, — засмеялась Устинья, первой усаживаясь на лавку, — а кушанье, оно в желудке согреется, ничего с ним не станется.

Немного выпили, закусили и занялись привычным бабьим делом, ради чего обычно и собираются все молодые ли, старые ли женщины — перемывать косточки соседям и передавать, кто кого недавно видел, о чем тот рассказал, кто умер, кто замуж собрался...

В деле этом обычно главенствовала Устинья, потому как была не только старшей, но при том весьма подвижной бабой и за день успевала побывать чуть ли не в десятке мест, повидать старых знакомых, перекинуться словом, узнать последние новости. Она водила дружбу со всеми городскими торговками, которые раньше всех знали, где что случилось, кто умер, кто уезжать из города собрался и задешево продает свое имущество, чем охотно делились с Устиньей. Так повелось, что если кто из слободских баб желал что узнать, то обязательно шел к словоохотливой и всезнающей Устинье и через час выходил от нее, нагруженный десятком самых разных историй и слухов.

Зато слободские мужики побаивались ее и спор с ней обычно старались не затевать, подозревая ее, и не без оснований, в доносительстве собственным женам сведений об их мужицких похождениях, скрыть которые они не могли как ни старались. Зато все бабы, что называется, души в ней не чаяли и приглашали к себе на всяческие большие и малые праздники, звали кумой, за счет чего она породнилась чуть ли не с половиной слободских семейств.

Но дальше того не шло. По-настоящему дружить с Устиньей местные бабы не решались по причине излишней доброты ее к мужеской половине человечества. Все знали, как по сердобольности своей пускала она дальних и ближних ходоков, задерживающихся в доме ее кто на сколько. И не то чтоб считали ее большой распутницей, и сами не без греха, но, видать, опасались, как бы через сердобольность ту и их собственный мужик в один прекрасный день не подался вдруг к ней на жительство.

«Гусь свинье не товарищ, — судачили они меж собой, — девка она как есть икрная, в самом соку, видела, как Васька мой на нее поглядывает, тут и до греха недалеко, а потом ищи-свищи его...» И все были с тем согласны. Одно дело — сплетни обсудить и совсем другое — собственного мужика на грех подвести. Ушлые бабы, зная главную мужицкую слабость насчет молодых вдовушек, не раз в том убедившиеся, дули заранее на воду, чтоб не обжечься потом на молоке. Понимала то и сама Устинья и не особо обижалась на соседок, крепилась, как могла, когда те в разговорах своих доходили рано ли, поздно ли до откровенных и, как она считала, срамных дел, желая поделиться своими тайнами. А потому свела она дружбу с такими же горемычными незамужними девками — Глафирой и Варварой, которым не приходилось опасаться за мужей и относились они к ней как к равной, не тая камня за пазухой.

Перво-наперво обсудили, кто кого сватал, чтоб пожениться сразу после Рождества. Потом заговорили о морозах, что стояли уже несколько дней, и приходилось топить в избе по два, а иногда и по три раза на день. Невольно вспомнили и о новом протопопе, у которого не было на дворе ни полена. Посочувствовали ему.

— Не заходил к тебе в другой раз после того? — поинтересовалась Глафира у Устиньи.

— Да зачем я ему нужна, — отмахнулась та, — дров у меня тоже самая малость осталась, Фома, черт полосатый и в ус не дует в лес съездить, нарубить хоть сколько. Все на мне, а он, словно таракан запечный, день-деньской лежит и только пожрать встает. Ни дна ему ни покрышки!

— Я бы его такого давно погнала, — высказала свое мнение Глашка. — Зачем они нужны такие мужики? Вон их сколько, только позови...

— Ты своим обзаведись сперва, а потом уж и выгоняй, — беззлобно огрызнулась Устинья. — Все они одинаковы, сколько я их повидала.

— Сбежит он по весне, — то ли спросила, то ли высказала предположение Варвара, подливая подружкам в давно опустевшие чарки.

— Туда ему и дорога, — без раздумий отвечала Устинья, — надоед до чертиков, глаза бы мои его не видели.

— А ты их закрывай, глаза-то, чтоб не видеть, — засмеялась Глашка. — Я так всегда глаза закрываю, когда до этого самого доходит...

— До какого самого? — не поняла было Устинья, а потом, сообразив, вскинулась на нее. — Ну и бесстыдница ты, Глашка, креста на тебе нет. Одно у тебя на уме...

— Можно подумать, у тебя другое, — огрызнулась та, — зачем тогда их в дом пущаешь, если они ни за постой не платят, ни работой не заняты? Добрая, да?!

— Хватит вам, девоньки, — поспешила остановить спорщиц Варвара, — ну их, мужиков этих. Я вот и без них живу который год и забот не знаю.

— Мне бы такую жизнь беззаботную, — привычно хмыкнула Глашка, — давно бы на воротах повесилась. Ты, Варька, девка хорошая, но как чего скажешь, хоть стой, хоть падай. Вот как может человек так жить? Как? Мужик он и защитит и поможет, если добрый, конечно. Ты девка справная, в теле, на тебя многие заглядываются, сама видела, а живешь, словно монашка в келье, впору постриг принимать. Чего не пустишь кого, все веселей бы было.

А потом, подумав чуть, добавила:

— И теплее, ночью особенно.

На этот раз Варвара не выдержала и вспылила:

— Жду, когда ты хахалем обзаведешься и к себе приведешь. Тогда и моя очередь наступит, а то смелая ты больно другим советы давать. Сама чего живешь при отце и не идешь никуда?

— Потому и живу, коль нужно, — сухо ответила Глафира, и стало понятно, что затронули больную для нее тему.

— Все, все, все, — замахала руками Устинья, — нашли, о чем спорить — о мужиках! Не стоят они того, чтоб мы из-за них ссорились. Давай, именинница, режь пирог, а то так пахнет, что слюнки текут, не остановишь.

Варвара обрадовалась смене разговора и аккуратно принялась резать пирог, и впрямь источавший чудные ароматы. Ненадолго замолкли, выпили еще и сидели, задумавшись каждая о своем, пока Устинья вспомнила вдруг последнюю городскую новость.



— Слышали ли вы, что батюшка Аверкий из верхнего храма, что при воеводском дворе, расслабленный лежит, едва живой?

— Нет, — первой отозвалась Варвара, — а что с ним случилось?

— Старый уже, вот и сподобился, — предположила с едва заметной ухмылкой Глафира. — У него еще дочек то ли трое, то ли четверо, и все незамужние. Вот и довели батюшку поповны, знаю я их повадки...

— Не в поповнах дело, — отчаянно замотала головой Устинья, — а в протопопе приедем, к которому мы давеча ходили.

— Это как же? — удивилась Варвара. — Мне он тихим показался.

— Тихий, нет ли, не знаю. Но владыка поставил его на место отца Аверкия, а тот как узнал, то прямо в храме и свалился без чувств. Так его домой и унесли на руках. Теперь лежит бедненький ни жив, ни мертв.

— Значит, протопоп наш не виноват в этом? — попыталась уточнить Варвара, которая хоть и видела Аввакума только спящим, но то, что он приехал из Москвы, уже выделяло его из числа остальных батюшек и делало, по ее разумению, не досягаемым для сплетен или каких-то грязных домыслов.

— Да кто их там знает, — пожала плечами Устинья, — может, виноват, а может, и нет. Но тетка одна из прихожан этого самого храма рассказала мне, будто протопоп наш, когда отец Аверкий в храм пришел по его зову, так зыркнул на него, что тот, бедненький, на пол сразу и грохнулся без чувств. Я же еще в прошлый раз говорила вам: глаз у него этакий, не каждый и выдержит.

— Это чего же, один поп другого сглазил, что ли? — напрямик спросила Глафира.

— Поди разбери, что у них там случилось, — вновь выразительно пожала плечами Устинья. — Всякое может быть.

— Ой, враки это все, — попыталась заступиться за незнакомого ей протопопу Варвара, — никто ничего не знает, а наговорят всякое... Семь верст до небес и все лесом. Не верю и все тут.

— Много ты понимаешь, — презрительно сморщилась Глафира, — эти попы все могут, уж мне-то не знать, — в который раз намекнула она на свои частые знакомства с городским причтом.

— Конечно, ты там рядом была, — ехидно ответила Варвара, — знаем мы твой интерес.

— А чего... — попыталась вступить в обычную для нее перепалку Глашка, у которой от выпитого раскраснелось лицо, и напрочь развязался язык, но Устинья на правах старшей строго перебила ее:

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

— Хватит, я вам говорю. Так мы всей правды никогда не узнаем и будем сто лет спорить да воду в ступе толочь. Знаю я мужика, что совсем рядышком с отцом Аверкием проживает, вот у него и надо поинтересоваться. Завтра загляну к нему, будто по делу, и заодно порасспрошу, как да чего вышло с батюшкой. Он-то наверняка знает обо всем.

— Тоже дело, — мотнула головой Глашка, — только, что бы ты ни узнала, нам от того ни жарко, ни холодно не сделается. Наливай, Варька, а то совсем замерзла, — подставила она свою чарку, зябко поеживаясь.

\* \* \*

Выпив, поговорили еще о городских делах, условились собраться на Рождество в доме Устиньи и устроить гадание на женихов. Посмеялись.

— Надо будет мне на это время Фомку куда-то спровадить, а то испортит все. Да вот куда, не знаю.

— Ко мне его отправь, — со смехом предложила Глафира, — я найду ему работу, нескоро воротится.

— Ой, Глашка, и охальница же ты, — беззлобно ругнулась Устинья. — Когда-нибудь под горячую руку так взгрею тебя, что долго не забудешь.

— Ладно тебе, нашла, за кого беспокоиться, за Фому, которому до тебя и дела нет, — возразила ей Глафира, и тут все трое дружно вскрикнули, потому что за их спинами прозвучал голос самого Фомы:

— Это до кого мне дела нет?! Ну-ка, признавайтесь, я все слышал.

— Напугал, дурень, — запустила в незаметно вошедшего в дом мужика горстью рыбных костей Устинья, — как это ты подкрался, что мы тебя не слышали. Чего нелегкая тебя принесла вдруг? Со-скупился, что ли?

— Больно надо, — скривился Фома, топчась у порога, — никогда бы не пошел, если бы попик этот на голову мою не навязался опять. Тебя, Устя, кличет. Нужна ты ему зачем-то. Выйди...

— А где он? — спросила Устинья, привстав с лавки.

— Да на улице стоит, ждет. Я же говорю, выйди...

— Так пусть сюда заходит, — на правах хозяйки предложила Варвара, — мороз же на улице. Зови его.

— Звал уже, не идет, — ответил Фома, с нескрываемым интересом поглядывая на накрытый стол и смачно сглатывая слюну. — Я вот зашел, а ты меня даже присесть не зовешь, словно чужой вам, — напрямую заявил он.

— Садись уже, — указала ему на свободное место Варвара, — куда тебя денешь, коль пришел.

Фома тут же снял с головы шапку и, как был в теплой одежде, уселся напротив Глашки, лукаво подмигнув ей. Устинья же меж тем уже пошла к двери, оделась, но потом, чуть подумав, позвала Варвару:

— Пошли вместе, а то одной мне что-то не по себе с ним говорить.

— Чего убоялась? — засмеялась Глашка. — Думаешь, сглазит? Тогда меня зови, я против них верное средство знаю, помогает...

— Сиди уж со своим средством да смотри, чтоб Фомка лишнего не выпил, пока нас не будет, а то знаю я его.

— Погляжу, погляжу, — отмахнулась та. — Точно, Фомушка? Поиграем в гляделки?

— Это как? — спросил тот, откусывая изрядный кусок от пирога.

— Я научу, пока их не будет, — захохотала Глашка и, легко вскочив, уселась к нему на колени и что-то жарко зашептала в самое ухо.

— Тыфу на тебя, охальницу, — махнула рукой на подругу Устинья, дожидаясь пока оденется Варвара, — вернусь, отхожу обоим первым, что под руку попадется, того и спробуете, — пообещала она напоследок.

Протопоп Аввакум стоял на улице, зябко поеживаясь, и жалел уже, что решил отправиться в дом к Устинье, которая в первый раз говорила с ним довольно любезно. Сейчас же, чуть обжившись на новом месте, он понял, что у него в хозяйстве не хватает многих предметов, наличия которых он ранее совсем не замечал. Так, он не знал, в чем принести воду с реки, не было посуды и для приготовления пищи, не говоря уж о других житейских мелочах, из чего, собственно, и складывалось любое хозяйство. Он знал, что-то везла с собой Анастасия Марковна, но пока дождешься ее приезда, можно и с голода помереть. Ему пока еще не приходилось самому готовить даже ту же кашу, не говоря о том, чтоб хлеб в печь посадить.

Вот потому волей-неволей пришлось идти на поклон в дом к едва знакомой женщине, которая к тому же оказалась в гостях. Когда Фома

довольно недружелюбно сообщил о том протопопу, тот собрался было уходить, но, узнав, что та находится в гостях здесь же поблизости, решил не откладывать разговор и попросил Фому проводить его до дома Варвары. А вот теперь он испытывал неловкость собственного положения, но что-то менять было поздно, потому что в вечерних сумерках уже различил фигуры двух женщин, шедших к нему.

— Благословите, ваше преподобие, — поклонилась ему первая из женщин, а за ней подошла под благословение и вторая.

— Бог благословит, — по очереди перекрестил их склоненные головы Аввакум и подставил руку для поцелуя.

— Что в дом не зайдете, батюшка? — спросила его Устинья. — Мы вот у подружки моей, Варвары, собрались именины ее отметить.

— Пост идет, а вы праздник устроили, — ворчливо ответил Аввакум, — но все одно поздравляю с именинами рабу Божию Варвару и желаю здравия.

— Спасибо, батюшка, — скромно ответила та, поклонившись. — Просим простить нас, что в пост встречаемся, но кто же виноват, коль день небесной заступницы моей как раз на пост приходится? Тут уж выбора нет...

— На исповеди о том покаяться не забудь, — не преминул напомнить ей о христианских добродетелях протопоп. — Ты извини, но в дом заходить не стану. А уж коль вас двое здесь, то обоих и спрошу по-соседски. Скажите мне, где помощницу найти? Пока супруга моя не приехала, хотелось бы в избе порядок навести, а то на ином скотном дворе чище бывает, нежели у меня. Подскажите, где добрую хозяйку сыскать или, может, кто из вас двоих согласится?

Устинья глянула искоса на Варвару, ожидая, что она ответит. Но та молчала, видимо, дожидаясь того же самого от подруги.

— А как платить будешь, батюшка? — набравшись смелости спросила наконец Устинья. — Да и много ли работы? А то зазря чего ноги бить, спокойней будет дома посидеть до лета. А там грибы, ягоды — главный наш заработок. Да и свой дом не бросишь, за ним тоже пригляд нужен.

— Не обижу, — без раздумья ответил протопоп, — сговоримся и о работе и об оплате. Золотых гор не обещаю, но с голоду не пропадете.

— Да мы вроде не из голодных, — вставила и свое слово Варвара, — можно помочь, но только не каждый день чтобы.

— И я о том же хотела сказать, — согласно кивнула ей Устинья, — если полдня в день, то я согласна.

— Может, вы вдвоем поочередно и возьметесь? — предложил Аввакум. — И вам проще и успеете больше.

— А денег хватит у батюшки? — лукаво поинтересовалась Устинья. — Руки наши, а денежки ваши.

— Уж сыщу денег для вас, — улыбнулся протопоп, принимая их несерьезный тон, — спать не буду, а денег найду.

— Это как же без сна можно? — Устинье захотелось пошутить с человеком, о котором в городе ходили разные слухи, а по возможности узнать от него самого о беде, приключившейся с отцом Аверкием.

Но Аввакум в затеянную ими шуточную перепалку вступать не пожелал и, сославшись на занятость, простился. Но, отойдя на несколько шагов, вспомнил, что в доме нет ни капли воды, и вернулся, чтоб спросить, как ему быть.

— И это не беда, — успокоила его Устинья, — как домой вернемся, сразу и попрошу Фому за водицей сходить и к вам в дом ведерко занести. Хватит до завтрашнего дня?

— Должно хватить, — ответил Аввакум и с этим отправился к себе домой.

Вернувшись к праздничному столу, Варвара с Устиньей застали его почти пустым. Оказывается, Фома времени даром не терял и подмел все, что на него смотрело. Не побрезговал он и вином из бочонка, обнаружить который за печкой ему не составило особого труда. Видать, и Глашка приголубила с ним чарку другую, потому что сейчас пыталась запеть заунывную песню, но никак не могла вспомнить слова, а потому все повторяла одну и ту же строчку: «Летела лебедь белая, охотник вышел к ней навстречу...», сбивалась и начинала сначала.

— Слышь, лебедь белая, — насмешливо обратилась к ней Устинья, — домой не пора? Давай-ка собираться будем, поздно уже.

— А я еще не ухожу, — ответила Глашка, протягивая руку за очередной чаркой, — выпить хочу...

— И я не откажусь, — поддержал ее Фома, — доброе вино у тебя, Варька, давно такого не пробовал.

— А вот тебе точно хватит, — тут же перекрыла его попытку продолжить праздник Устинья, — собирайся домой живо. А то закроюсь, и ночуй где хочешь. Не пушу!

Фома поднял на нее мутный взгляд и понял, что та не шутит, тяжело поднялся, нагнулся за уроненной шапкой.

— Ох, моя бы воля, как поддала бы тебе сейчас! — показала ему со спины кулак Устинья. — Надолго бы запомнил, нахлебник ты этакий!

Но Фома ничего не ответил на эту угрозу и, подобрав шапку, не прощаясь, вышел.

— Пойду и я, подружки, — чмокнула Варвару в щеку Устинья, — лучше одного его такого не пускать, а то накуролесит черт-те что. Прощайте пока.

Оставшись одни, Варвара с Глашкой неожиданно погрустнели и, не сговариваясь, глянули одна на другую. Варвара заметила, что изрядно захмелевшая Глафира, хоть и была более чем на десяток лет моложе, но кожа ее пошла уже тонкими морщинками возле губ, обозначилась глубокая складка и на переносице. Пропал и задорный блеск в глазах, чем совсем не так давно она всегда отличалась. Скорее всего, страдала она от какой-то внутренней болезни, а может быть, попросту отчаялась найти свое жизненное счастье, что более всего старит молодух, делая их похожими на измученных работой баб, поставивших на ноги дюжину детишек. И Варваре вдруг расхотелось затевать разговор о рождении ребенка, которого она могла бы потом взять к себе на воспитание. Нет, от кого другого, но только не от Глашки!

— Чего так смотришь? Али увидела что? Тогда скажи прямо, а то не люблю, когда так вот зырят на меня, словно на коня в базарный день, — будто прочла ее мысли Глафира.

— Да нет, так смотрю, — попыталась успокоить ее Варвара. — Думаю вот, почему одним бабам в жизни везет, а другим, вроде нас, счастье даже издалека улыбнуться не хочет. Чем же мы хуже других?

— Ишь, о чем ты, — криво усмехнулась Глашка, — счастья захотела найти. А ты его где потеряла, чтоб искать? Место знаешь?

— Какое место? — сделала вид, что не поняла, Варвара, хотя сразу сообразила, куда Глашка повернет разговор, после чего бессмысленно будет отнекиваться или возражать. Глашкина прямолинейность и крепкие словечки, вворачиваемые ею к месту и без, она хорошо знала и начала уже сожалеть, что не выпроводила ее вслед за Устиньей. Но теперь деваться было некуда, и волей-неволей разговор нужно было как-то поддерживать и попытаться не дать перерасти ему в ссору, на что Глашка опять же была большой мастерицей.

— Да то самое, где счастье свое обронила? Будто не поняла. Не хитри, подружка милая, всю-то тебя насквозь вижу до самого доньшка, и как ни выворачивайся, ни юли, а у меня не вывернешься. Сыворотку от сметаны я завсегда отделять умела.

— Брось ты, — попыталась утихомирить ее Варвара, — совсем не собираюсь хитрить или выкручиваться. С чего бы это? В чем я перед тобой провинилась?

— Хитрющая ты, а я этого не люблю, — отвечала та все с той же кривой усмешкой, сверля Варвару взглядом. — Вечно хочешь умнее других казаться.

— Зря, зря ты на меня наговариваешь. — Варваре не оставалось ничего другого, как защищаться и пытаться как можно мягче осаждать подругу. — Не заслужила я слов таких. Получается, будто я змея подколотная, которая только и пытается ужалить тебя побольней. Не ожидала, что в День ангела моего ты меня же во всех грехах смертных обвинять станешь. За что ты так не любишь меня, Глашенька? — со слезой в голосе закончила она.

— Ладно, Варька, не буду больше, извини, видать, лишку выпила. Наливай, а то не знаю, отчего слезы так и подступают.

— Давай, — с готовностью откликнулась Варвара, радуясь, что ей удалось хоть как-то утихомирить подругу.

Они молча выпили. Варвара лишь чуть пригубила, а Глашка сделала несколько больших глотков, после чего вдруг закашлялась и пролила остатки вина на стол. Варвара вскочила, кинулась к ней с полотенцем в руках, отерла лицо, губы, промокнула винную лужицу на столе и осторожно спросила:

— Ты случаем не больна? Чего-то не в себе ты сегодня.

— Ой, Варька, — горько всхлипнула Глафира, — жжет нутро у меня уже который день, видать, помру скоро...

— Да ты что! — всплеснула руками Варвара. — Не наговаривай напраслину на себя! Рано тебе умирать, проживешь еще, ребеночка родишь, и не одного...

— Не трави душу! Не трави! — утробно вскрикнула та, словно ее и в самом деле ранили в самое сердце. — И ты туда же! Про ребеночка. Знала бы, что только о нем и думаю. Дура была, давно бы мне родить надо было, а все не хотела. Вот Господь и наказал за грехи мои, послал мне смерть, от которой не спрячешься, не убежишь. А ты про счастье... Потому и взъелась на тебя. Прости, Христа ради, меня, дуру...

— Забудь, забудь. Совсем не обиделась на тебя нисколько. Расскажи лучше, что за болезнь у тебя такая. Может, к знахарке знакомой тебя свести? Она травку какую даст, глядишь, и полегчает.

— Была уже у знахарки, и не у одной, — тихо отвечала Глафира, с которой вмиг слетели и гонор и бывлая задиристость. — Травки разные пила, а только не помогают они. Видать, Богу не угодно, чтоб жила дальше. Ой, горе мне, Варька! Знала бы, как умирать не хочется! Ты уж не забывай обо мне, молись. Слышишь? На Устинью надежда плохая, она только и думает, как своим бегункам угодить, а ты — другое дело. Ты хоть и не шибко верующая, но все одно, коль попрошу, то хоть раз в году, а прочтешь молитву и свечку в церкви Божьей за меня поставишь. Поставишь ведь? Скажи. — И она требовательно схватила Варвару за руку и притянула к себе, пытливо заглядывая в глаза.

От услышанного у Варвары самой глаза вмиг оказались на мокром месте, и она, всхлипывая, приобняв Глашку за плечи, отвечала:

— Как не сделаю, сделаю непременно, Глашенька, только ты уж того, поживи еще чуточку...

— Чуточку, может, и поживу. До весны. А там, как земелька оттает, и проводишь меня в дальний путь. Я уже и одежонку приготовила для похорон своих, покажу, где лежит. Деньжат бы еще поднакопить на помин души, да и на похоронные дела. На отца моего надежда худая, вряд ли чем пособит...

Все это Глафира говорила совершенно серьезно, не ерничая, без обычных своих шпилек и ужимок. Чувствовалось, что она внутренне готова к окончанию своей короткой жизни, но обычная надежда, что живет в каждом человеке даже в самые тяжкие моменты, теплилась и в ней, горя неугасимым огоньком, словно лампадка перед иконой. И тут только Варвара заметила, что Глашка с перекинутой через плечо косой необычайно хороша и красива, даже величественна. Казалось совсем другой человек сидит перед ней.

«Вот ведь что смерть со всеми нами делает, — подумала она, — не приведи, Господи, когда-то эта старуха и ко мне зайвится. Как-то встречу ее...»

— Знаешь, о чем давеча с тобой поговорить хотела? — неожиданно для самой себя спросила она Глашку.

— О мужиках, верно... — привычно усмехнулась та, задорно сверкнув глазами. — О чем же еще две незамужние девки говорить могут.



— Не угадала, — невольно рассмеялась Варвара, — хотя без мужика в этом деле вряд ли обойдешься.

— Поди о замужестве? — встрепенулась Глашка и легко вскочила с лавки. — Неужто посватался кто? А? Варька, не скрывай, рассказывай скорее.

— Вовсе нет. Кому я нужна, Глашенька. Никто не сватался и вряд ли соблазнится вдовой одинокой. О другом хотела с тобой говорить. Но сейчас, узнав о немощи твоей, даже заикнуться о том язык не поворачивается...

— Ладно, чего там. Нечужие, рассказывай. Мне любопытно знать...

— О ребеночке хотела с тобой поговорить, — робко промолвила Варвара, опустив глаза и чуть отступив в сторону.

— О каком ребеночке? — не поняла сразу Глашка.

— Хотела просить тебя, чтоб ты ребеночка родила, а мы бы вместе и вырастили его, воспитали, в люди вывели. Вместе оно легче было бы...

— Так чего же сама не родишь? — с удивлением уставилась на нее в упор Глашка.

— Видать, неплодная я, — смущаясь, ответила Варвара. — Когда со своим казаком жили, то, может быть, и могла понести, а не хотела. А сейчас, глядишь, и срок мой бабий вышел. А ты вон, молодая, собой видная, ухажеров у тебя столько, любая позавидует...

— Вон ты о чем, — устало ответила Глафира и тяжело опустилась обратно на лавку. — Поздно, подружка, спохватились мы с тобой. Неудобно Богу, чтоб детки у нас были. Ну, я-то понятно дело, а тебя за что он покарал?

— Значит, есть за что...

— Может, и есть, но все одно тяжело.

— Тяжко, — согласилась с ней Варвара. — Одной и жизнь не в радость. Ты хоть при отце живешь, а у меня в доме ни кошка, ни собака долго не держатся.

— Неужто не можешь мужика какого к себе завлечь? — В Глашке опять проснулись прежняя удаль и дерзость, и она зачастила, быстро выговаривая слова: — Ты не хуже моего знаешь, чего мужикам от нас нужно, о том говорить не стану. Но он, мужик, на которого ты глянула, сразу понять должен, какая ты есть. Ты на них как смотришь?

— Совсем не смотрю, — отвечала в смущении Варвара.

— И дура, — без малейшего смущения заявила Глашка. — Смотри, как я — дерзко, но глаза тут же отводи, опускай в землю ненадолго, а потом снова глянь и отвернись. Чуть постой и глянь опять, но уже через плечо. Будто старого знакомого увидела и не можешь вспомнить, он ли это.

Варвара молча слушала ее наставления, хорошо понимая, что никогда не сможет не то что повторить, а просто попробовать выполнить то, что Глафира ей советовала. Нет, не ее стезя — завлекать мужиков, бросая на них многообещающие взгляды. Взглянуть-то — ладно еще, а потом ведь и говорить что-то нужно, а это и вовсе не по ней. А Глашка, меж тем все больше распаляясь, продолжала поучать подругу дальше.

— Редко какой мужик устоять может от подобного, а кто внимания не обратит, о них и думать не следует. Бревно бесчувственное, а не мужик, значит. Плюнь и забудь о таком. А тот, который приманен тобой будет, обязательно следом пойдет, коль дело на улице где или, там, на базаре. А как увидишь, что он за тобой прется, тут держи ухо востро. Одно из двух: или догонит и заговорить попытается или проследит, где живешь, чтоб потом все разузнать о тебе, вывести через кого и тогда уже подкатить чин чинарем.

Но только я тебе скажу, ждатель-поджидатель, покуда он сам заявится или подкараулит тебя где, хуже не придумаешь. Так что на этот случай лучше не полагайся, а сумей так себя повести, чтоб он сразу к тебе подошел.

Варваре, на удивление, сделалось интересно узнать подробности соблазнения и завлечения в свои сети незнакомых мужиков, и она осторожно спросила:

— Откуда ты все знаешь, Глафира?

— Жизнь и не тому научит, — небрежно отмахнулась та и продолжила, словно поучала малого дитя, как тому следует вести себя. — Вот, значит, когда увидела его сзади идущим тихонечко, то самое время помочь ему заговорить первым. Тогда тебе следует обронить чего, а он непременно подберет и тебе вручит. Вот тогда разговор сам собой и завяжется...

— Чего же обронить надо? — не поняла Варвара. — Сапог с ноги или иное что?

— Ой, какая ты непонятливая, Варька, а вроде девка неглупая, — от души расхохоталась Глашка. — Зачем же тебе сапог снимать? По-

думает, будто пьяная или хуже того, сапоги с чужой ноги, и вовсе не подойдет. Нет, тут лучше всего платочек вынуть и обронить, будто случайно. Правда, раз был у меня случай с платком оброненным, только не так вышло все, не по моей задумке. Парень, который увязался за мной, платок мой поднял, а вернуть не вернул. Пришлось чуть не силой его обратно отнимать.

— Зачем ему твой платок? — теперь уже рассмеялась Варвара.

— Кто его знает, зачем. Может, на память себе хотел оставить, а может, зазнобе своей подарить удумал. Он мне ни в чем не признался и больше я его не встречала. А можно еще, если ношу какую несешь, то поставить ее на землю и ждать, может, парень тот или мужик помощь предложит.

— Ага, предложит, — скривилась Варвара, — не приходилось мне таких пока встречать, которые бы помощь предлагали. Все больше спереть норовят, но помощь предложить... Нет, вряд ли...

— Может, иной и не предложит, всякое бывает, — согласилась с ней Глашка. — Но я тебе говорю о разных случаях, а там уж как выйдет. Всего наперед не угадаешь, только в нашем бабьем деле ко всякому надо быть готовой. Если башка варит, сама сообразишь, как поступить, главное, не теряйся и вида не показывай, что ты все это специально делаешь.

— А вдруг догадается?

— Ну и пушай! Что с того? В съезжую избу на воеводский двор за это не потащат, кнутом не накажут. Мало ли кому что почудиться может. Говорю же, стой на своем, будто бы и платок нечаянно обронила или, там, ноша тяжелая. И все тут...

— Спасибо за доброту твою, — полушутя поклонилась ей Варвара, — но только не в коня корм. Не для меня это, никогда не решусь повести себя так вот. Ты уж прости, но не мое это занятие.

— Откуда ты знаешь, что твое, а что не твое? Тогда и досиживай век свой соломенной вдовой. Это твое?

— Кто знает, может, мое и есть. Батюшка на службе как-то говорил, мол, грехи родителей дети их восследуют. Верно, от батюшки и матушки их грехи на меня и легли. Да и своих предостаточно.

— Нашла кому верить, батюшкам! — фыркнула Глафира. — Чужие грехи они помнят, а о своих знать не желают. Тоже мне, святоши! Уж я-то с ними не понаслышке знакома, знаю их, как свои пять пальцев, и веры моей им нет.

— Кому же ты тогда веришь? — спросила ее Варвара, хотя не ждала, что Глашка ответит на этот счет что-то вразумительное. Так и вышло.

— Себе верю, и то до обеда, — хохотнула та, — но только не батюшкам нашим. Вруны они все, как один. Врун на вруне едет и вруна погоняет.

— Ну, зачем ты так, — попыталась урезонить подругу Варвара, — они тоже люди, как мы все. Не святые...

— Вот-вот, не святые, — подхватила ее слова с радостью Глашка, — а нас, грешных, поучают. Кто им на то право дал? Нисколько к Богу не ближе, чем мы с тобой или иной кто. А туда же... Лезут с вопросами в самую душу, поучают...

— То злоба в тебе говорит, Глашенька, — впервые ласково назвала ее Варвара. — Так жизнь устроена: одни выше, другие — ниже. Весь мир поделен на бедных и богатых, на праведников и грешников, на тех, кто Богу служит и кто на исповедь к ним идет...

— Сама-то давно на исповеди была? — с вызовом спросила Глашка. — Я вот не помню, когда. И не жалею. Нечего мне там делать. Последний раз в соседнюю церковь ходила года два назад или три. Позабыла, когда то было... — Глафира проговорила это как-то от-решенно, словно погрузилась в свои воспоминания. — Там батюшка совсем молодой тогда служил. Потом мне сказали, отец его занемог и сына пристроил на свое место. Алексеем его звали.

— Алексей — человек божий, — тихо проговорила Варвара, на что Глафира буквально взорвалась:

— Ага, божий! Мордой пригожий, а душой негожий! Слушай, расскажу. Подошла я к нему на исповедь и глянула так, как тебя только что учила. Он и растаял, ажно затрясся весь, глаза засверкали, так на меня и глядит, словно на пряник медовый. А я, дура, начала ему взаправду в грехах своих каяться. С кем жила тогда, все рассказала. Был у меня в полюбовниках тогда попovich один. Тебе не скажу, как его звали. Ни к чему это. Ты, чай, не батюшка. И вот тот, Алексей, стал у меня имя его выпрашивать. Назови имя своего полюбовника, да назови. Я и бухнула сдуру. Батюшка же! Тайну хранить должен! А через срок какой узнала, что попovichа того отец его родной проклял и из дома выгнал за связь со мной. Так мне и сказали: за то, что с блудной девкой связался. Это я-то — блудная! Да черт с ним, как меня назвали. Хоть горшком называй, да в печь не сажай, как говорится. А попovich тот, не долго думая, пошел на реку и в прорубь нырнул. Только свой кушак на льду и оставил. Говорили, что отец его потом

волосы на себе рвал и с горя помер скоро. А толку что? Раньше надо было думать, когда сына проклинал...

Глашка ненадолго замолчала, и тонкие скулы ее, обтянутые смуглой кожей заострились, глаза сузились, а ноздри раздулись. Было в ней что-то хищное, от птицы. Не хватало только крыльев за спиной. Варвара представила ее парящей в небе и падающей камнем вниз на очередную жертву. Получилось очень правдоподобно.

— А почему вдруг ты решила, что этот самый Алексей передал все отцу твоего любовника? — осторожно спросила она Глашку, стараясь не вызвать в ней неудовольствие.

— Кто же еще? — искренне удивилась та. — Больше никому. Он наверняка и передал все. Я это сразу поняла.

— Мог иной кто сказать, — упрямо мотнула головой Варвара, — мало ли наушников у нас в городе. И кто тебе сказал, что у поповича того только ты одна в любовницах ходила? Я так думаю, могли и другое быть... И не одна...

— Точно, — неожиданно легко согласилась Глашка, — могли. И чего я себе в башку свою дурную вбила, что он только за мной одной ухлестывал? Кобель тот еще, ему с десятков таких, как я, подавай. Ой, Варька, ой, голова! Спасибо, глаза мне открыла. А то я прямо извелась вся, что по моей вине тот попovich в прорубь кинулся. Нет, не все так просто на этом свете, как нам кажется. Но все одно — батюшкам не верю и верить не желаю!

— То твоя печаль, — спокойно ответила ей Варвара. — Но и без исповеди жить тяжело, по себе знаю.

— Ты как хочешь, а я все одно не пойду к кобелям этим. Не желаю!

— Хочешь, совет добрый дам? — взяв подругу за руку, спросила ее Варвара и, не дожидаясь ответа, продолжила: — Попросись на исповедь к новому батюшке, не помню, как зовут его...

— Отец Аввакум, — тут же подсказала Глашка.

— Точно. Отец Аввакум. Мне он показался человеком иным, чем наши батюшки. Чем-то на монаха похож, хотя наши монахи тоже хороши, почти что одни пьяницы в монастыре живут. Ленивые. И спят до обеда каждый день. А этот, новый, так и горит весь, словно свет какой от него исходит.

— Где это ты свет увидела? — хихикнула Глашка. — Я вот ничего такого не заметила. А ты — свет! Но точно заметила, на наших он

ничуть не похож, иной какой-то. Ничего, здесь, в Сибири, проживет и таким же станет. Такая уж у нас сторона, видать. Меняет людей...

— Вот и сходи к нему, — настойчиво повторила Варвара, — авось по-может чем. Чего теряешь? Только глазки свои не строй ему, незачем.

— Ишь ты, поглянулся, что ли?

— А хоть бы и так. Но не так, как тебе мужики все, а иначе...

— Это как же мужик может иначе поглянуться? Не пойму я тебя что-то.

— Ну и ладно, не понимай, твоя печаль. Спать, однако, пора. Давай прощаться, что ли. Засиделись допоздна. Как одна в темень такую домой пойдешь? Тут и заблудиться недолго.

— Не заблужусь, не переживай, — со вздохом отвечала Глафира, вставая. — Не от того мне помереть суждено. Прощай, подруженька, хорошо поговорили сегодня. Спасибо тебе.

— Не за что, — просто ответила Варвара.

\* \* \*

Когда Глафира ушла, то Варваре, оставшейся одной, вдруг сделалось совсем одиноко и до того тошно, что не хотелось даже вставать из-за стола, убирать посуду, стелить постель. Она с тоской глянула вокруг себя, словно ожидала увидеть что-то новое, необыкновенное, но в доме были до боли, до одури знакомые предметы: давно не беленная печь, посудные полки в углу, ткацкий станок, доставшийся от матери, и деревянная кровать, также унаследованная от родителей. На ней десять лет с лишком умирал отец, а через небольшой срок и мать испустила последний вздох. Теперь вот ей, Варваре, предстоит ждать, когда придет ее время, чтоб последовать вслед за ними. Только никто не будет сидеть подле, утешать простым словом, утирать ненароком скатившуюся слезу, не позовет батюшку для последнего причастия. Разве что подружки, не оставляющие ее пока своим вниманием и заботой. Но это пока она здорова, а случись что — и нужна ли будет? Навестят ли? Вряд ли. У всех свои заботы, свои тягости. Уж так человек устроен: на праздник гуртом, а грустить идет каждый в свой дом. И ничегошеньки с этим не поделаешь, не поменяешь.

А что такое печаль, знала Варвара хорошо. Жила она в каждом уголке ее вдовьего дома, и стоило лишь дать ей потачку, задуматься о чем, как выползала та и мазала все вокруг себя густой черной смолой, гасила искры былой радости, застилала глаза туманом, сковывала мысли, де-

ревенели чувства, и даже спасительные слезы не шли на выручку, высушенные жесткой рукой коварной сожительницы одинокого человека.

И было лишь одно спасение от врага того — работа, заделье какое, лишь бы занять руки, а вслед за ними и мысли все любим трудом без перерыва, без самой краткой остановки до полного изнеможения. Но работать в одиночку умел далеко не каждый мужик, а тем более бабский труд испокон века был общий, семейный. На мужа, на детей ли, а то и по найму, но опять же во имя чего-то.

А работать на самого себя русский человек не приучен, нет в нем такого обычая и привычки. Не ставит он себя во главу угла ради обычного достатка, тем паче собственного богатства. Если и встречаются такие, то смотрят на них другие люди с подозрительностью и недоверием. Знать, лукавый попутал, коль начал мужик о достатке мечтать. А там, глядишь, коль подыметесь над другими, зазнается, возгордится, большим человеком себя почувствует, с соседями знаться перестанет, работников в наем брать начнет, чтоб богатство свое умножить. К такому, как известно, Господь не благоволит, поскольку не иначе как спознался он с нечистым, и уготовлена ему прямая дорога в ад и никакими благодеяниями уже не спасет он душу свою.

Потому и Варвара, начавши было какое дело, вскоре забрасывала его, не видя особой нужды в делании его. На кусок хлеба она худобно и без того зарабатывала. Правда, случалось, сидела голодом по несколько дней, но рано или поздно обращались к ней за помощью, и тогда опять можно было какое-то время жить безбедно, то есть быть в меру сытой и не думать о дне завтрашнем. Так и жила она одиноко среди людей, не ожидая для себя особых благ, но, твердо веря, что за страдания ее рано или поздно пошлет Господь утешение и нужно лишь дожидаться того часа, гоня от себя коварную печаль, только и ждущую, как бы незаметно вползти к ней в душу и там навсегда поселиться.

\* \* \*

Кто крал, вперёд не кради, а лучше трудись,  
делая своими руками полезное, чтобы было из чего  
уделять нуждающемуся.

*Еф. 4, 28*

Меж тем Устинья выполнила свое обещание и спровадила слегка протрезвевшего Фому на реку за водой для отца Аввакума. И тот,

чертыхаясь и проклиная тот день и час, когда спознался с неугомонной бабой этой, поплелся с самодельными саночками на реку, там зачерпнул из проруби пару ведер воды в небольшой бочонок и повез по направлению к дому протопопа.

Дорога, а точнее, небольшая тропа была хорошо утоптана такими же, как он, водовозами, возившими по ней драгоценную влагу, нужную для всяческих хозяйственных нужд жителям монастырской слободки. Рядом шла наезженная дорога, по которой опять же за водой направлялись те, кто развозил воду на собственных лошадях для состоятельных хозяев, зарабатывая тем самым себе на пропитание. В большинстве же своем хозяева те имели собственных лошадей и считали наем водовозов неоправданной тратой, справляясь собственными силами с этой нехитрой обязанностью. Так или иначе, путь к реке, поддерживающей жизнь всего сибирского города, никогда не пустовал. А чуть дальше чернела пригоршнями втопанного в снег лошадиного навоза дорога, ведущая на ту сторону реки. По ней всю зиму тянулись длиннющие обозы в татарские и остяцкие юрты, увозившие к ним в рогожных мешках намолоченное с осени зерно, муку, а обратно возвращаясь груженные доверху рыбой.

Знакомые мужики несколько раз предлагали Фоме наняться возницей в одну из таких поездок, обещая неплохой заработок и сытую жизнь. Но Фома, не признающий иной работы, кроме как ложкой за накрытым столом, упорно отказывался, не желая отвлекать себя от мечтаний о предстоящей дороге подальше из уже давно опустылевшего ему города. Подзадержался он тут, разнежившись подле хлебосольной Устиньи, рядом с которой было не только тепло, но и покойно, не приходилось думать о хлебе насущном, о крыше над головой. Но чем дальше он задерживался в Тобольске, тем крепче зрела в нем уверенность в несправедности своей жизни, проводимой подле жаркой печки и сытного харча. И хоть никто не гнал его в дорогу, но она звала его, словно прекрасная дева через открытое оконце высокого терема, призывно махавшая тонкой ручкой.

\* \* \*

Перехвативши веревку от саней покрепче, чтоб не резала плечо, Фома с блаженством вспоминал аромат осинника или тонкий запах весеннего березового сока, добываемого им с помощью надреза по девственному телу лесной красавицы. Туесок, куда он набирал сок, он



обычно мастерил сам же, отчего вдвойне испытывал удовольствие от собственной умелости и находчивости. Там же на берегу небольшой речушки он плел из ивовых прутьев рыболовный фитиль, ставил его в небольшой заливчик и через час-другой вынимал из него пойманную рыбу, которой хватало на день, а то и больше. Он запекал ее, обмазав в изобилии встречавшейся тут и там глиной, или, проткнув тонким прутом, жарил на углях. Хлебом ему служили корни папоротника, прошлогодние ягоды клюквы, брусники, собираемые на краю частых меж сибирских дорог болот.

И не было нужды заходить в села, где чужих людей неизменно встречали с угрюмой мрачностью и недоверием, редко пускали даже во двор, не говоря о ночлеге. Да он и не нуждался ни в чьей помощи. Разве что когда наваливалась неожиданная хворь и требовалось несколько дней отлежаться, очухаться, прийти в себя. Болящих пускали, предварительно расспросив, кто таков и куда идет. На это у него всегда был заготовленный заранее ответ. Мол, ищет семью, уехавшую по какой-то причине раньше. Верили. Мало ли таких бродяг, колесивших по Сибири из конца в конец в поисках то ли родни своей, то ли лучшей доли. Особенно если больной, хворый. Таких особо не опасались. Но все одно глядели за каждым его шагом и выпроваживали со вздохом облегчения, только лишь начинал приходить в себя.

Фома на людей был не в обиде. Уж так повелось, что чужой — он чужой и есть. Всякая сосна своему бору шумит. Но никогда не приходило ему в голову обзавестись собственным домом, семьей, осесть на одном месте, жениться, нарожать детей. Такая доля была для него хуже смерти, наряду с пленом или неволей. Видать, родился таким, и стоит ли неволиять себя самого, чтоб жить так, как живут другие?

Незаметно с неба посыпал мелкий снежок, и Фома, намереваясь побыстрее закончить с обременительными обязанностями водовоза, слегка прибавил шаг. При повороте на слободскую улицу он чуть не сбил с ног кого-то, тоже тащившего санки с поклажей, прикрытой сверху старой рогожей.

— Куда прешься, черт тебя побери?! Глядеть надо! — зло выругался Фома, остановившись.

Человек, на которого он наткнулся, тоже остановился и укоризненно произнес:

— Зачем на ночь глядя лукавого поминаешь? Сам виноват, по сторонам глядеть следует. Чего это ты посреди ночи везешь? Воду,

что ли? Другого времени не нашел, — ворчливо добавил он и собрался было идти дальше.

Но Фома его голос показался знакомым, и он остановил его, спросив:

— Лучше скажи, чего сам по темнотище тащишь? Кто таков будешь? Я местных мужиков всех наперечет знаю, а тебя вот не припомню. Откуда вдруг такой взялся?

— Тебе до меня, дядя, какое дело? Вези себе дальше, я тебе в том ничуть не мешаю. Прощай. — И он вновь взялся за веревку, собравшись тащить свои санки с поклажей дальше.

Тут Фома припомнил, что видел этого парня во дворе Знаменского монастыря, куда не так давно ходил по просьбе вновь прибывшего протопопы, чтоб помочь ему забрать привезенный из Москвы сундук и походный ларец.

До него дошло, что он столкнулся с проживающим в монастыре послушником Анисимом, которого все кличут Гвоздем за его длинный рост. Знал он и то, что этот Аниська слыл по всей округе наипервейшим вором, и слободчане, не раз ловившие его у себя подле двора чего-то высматривающим, нещадно награждали его тумаками, гнали подальше. Непонятно было, как его до сих пор держат в монастырских стенах. Видать, настоятель Павлиний по непонятной причине покрывал Аниську, хотя наверняка знал о его пагубном пристрастии.

Потому Фома решил выведать, что тот в полуночную пору везет на своих санках.

— А ну-ка, ответь, что везешь тайно от людей? — с угрозой в голосе спросил он и протянул руку к санкам. — Дай-ка, гляну. — С этими словами он наклонился и сорвал рогожу, которой была укрыта находящаяся на санках поклажа. Под ней оказался солидный замороженный поросенок, заботливо освежеванный и выпотрошенный. Видимо, прежние хозяева заранее приготовили его к Рождеству, чтоб в положенный срок подать к столу на праздник.

— Это что же получается, — озадаченно спросил Фома Анисима, — монах на свининку позарился? И, скорее всего, на чужую...

— То мне за труды мои награда! — злобно крикнул тот. — Пусти меня, а то...

— Что «а то»? — спросил Фома, который прикинул, что в случае потасовки легко справится с худым, как жердь, монахом. — Договаривай, коль начал.

— Давай разойдемся по-хорошему, — предложил ему Анисим. — Я тебя не видел, а ты меня не встречал. Договорились?

— И что мне за то будет? — поинтересовался Фома. — Говори, не стесняйся, слушаю тебя, Аниська-Гвоздь.

Монах, поняв, что его узнали, решил все же исхитриться и предложил Фоме неплохую сделку:

— Пошли до монастыря и там поросеночка пополам разделим. Пойдет? И мне достанется и тебе свининка не помешает. Согласен?

— Тебе за воровство твое кнут ждет, — ответил Фома, — а может, и еще чего похуже. Сам знаешь. Так что отдавай мне поросенка этого целиком, а я тогда сделаю вид, будто сроду тебя не встречал и в глаза не видел.

— Грабишь, да?! — взвизгнул уж точно по-пороссячи Анисим. — Креста на тебе нет, изверг!

— А на тебе если и есть крест, то ворованный. Точно говорю, — ответил, не задумываясь, Фома и вырвал веревку из рук слабосильного монаха. Тот даже и не думал сопротивляться, а лишь всхлипнул, пытаясь разжалобить своего обидчика.

— Бери, злодей, забирай, оставляй меня с голоду умирать, — запричитал он. — Ты же не знаешь, что козь не поем, то уснуть не могу. Я не виноват, если натура у меня такая ненасытная, всегда голодный. Да будь ты проклят! — закричал он уже вслед Фоме, который натужно пер по улочке враз двое санок и не собирался отвечать Анисиму на его выкрики.

Вскоре он добрался до дома протопопы, оглянулся назад, пытаясь определить, не следует ли Аниська следом за ним. Но в темноте трудно было разобрать даже на расстоянии вытянутой руки, есть ли кто рядом. Он прислушался, надеясь услышать скрип снега, но не смог различить никаких звуков, кроме завывания ветра. Тогда он смело въехал во двор к протопопу и постучал в дверь.

— Кто? — раздался зычный голос оттуда, и вслед за тем на пороге предстал сам Аввакум в простом подряснике.

— Воду тебе привез, — сообщил ему Анисим, — Устинья меня к тебе направила. Куда наливать?

— Так у меня посуды совсем никакой нет, — ответил растерянно Аввакум, — и где взять не знаю. Может, всю кадушку до утра оставишь, а там что и придумаю?

— Ну, не знаю, — протянул Фома, хотя ему было совершенно все равно, заберет ли протопоп к себе всю кадушку или лишь ото-

льет часть воды из нее. Легче обратно идти будет. Чуть помолчав, он заявил: — Ладно, я сегодня добрый, забирай все как есть. Только тогда у меня просьба к тебе: оставлю у тебя и вторые санки. А то мне еще по делу сходить надобно, а их с собой волоочь не с руки будет.

— Тоже с водой, что ли? — поинтересовался протопоп.

— Нет, там поросенок к Рождеству приготовленный. Пусть полежит пока. Авось не покусишься на скромное.

— Где же ты его в такую пору взял? — с недоверием спросил Аввакум. — В проруби, что ли, поймал, пока воду черпал?

— Почти что так, — засмеялся шутке Фома. — Знакомец один наградил за услуги мои. Так как, оставлю пока?

— Оставляй, что ли, — отвечал протопоп, которому, судя по всему, очень не хотелось вносить в дом неизвестно откуда взявшегося порося. — Не ворованный, случаем? — спросил он Фому, который уже выходил за ворота.

— Да я что, на вора похож, что ли? — не оборачиваясь, откликнулся тот и, не оглядываясь, зашагал к дому своей сожительницы, радуясь своей изворотливости. Если вдруг Аниську поймают и он покажет на него, Фому, то поросенка того никто у него не найдет. А когда шум уляжется, то он заберет его у протопоба, который ни о чем не подозревает. К нему в дом вряд ли кто заглянет.

\* \* \*

Когда Устинья поинтересовалась у Фомы, куда он дел кадушку, он объяснил, мол, пришлось оставить ее в доме у протопоба. Та что-то хмыкнула себе под нос, выражая тем самым неудовольствие произошедшим, но пилить его за оплошность, как это обычно делала, не стала. Фома же тут же завалился спать, прикинув, как всегда перед сном, что жить ему здесь еще до наступления весны, никак не меньше чем три, а то и четыре месяца, и спал крепко, забывши обо всем на свете, как это обычно случается у людей, не отягощенных повседневными заботами и хлопотами.

Утром Устинья, встав пораньше, перекусила остатками вчерашней каши, оставив и Фоме изрядную часть, надеясь вернуться как раз к тому времени, когда у него начнут проявляться муки голода. По дороге она заглянула к Варваре. Та тоже уже пробудилась и собралась идти. Конечно, Устинье не составило бы особого труда одной управиться в доме у приезжего протопоба. Соответственно, и плату получила бы одна, а не

половину. Но идти в дом к одинокому мужчине, будь он хоть трижды святой, не позволяли общепринятые правила. Одно, когда ты принимаешь у себя разных там ходоков, до которых никому дела нет, и совсем другое — наведаться к одинокому человеку в сани. Мало ли как местные кумушки истолкуют их совместное пребывание под одной крышей, да еще и без посторонних глаз?! Это Глашка, та не боится никого и ведет себя так, как ей заблагорассудится. Но у нее и слава тому соответствует. Глашка, она Глашка и есть, что с нее взять. А коль хочешь оставаться в добрых отношениях с соседками, тут надо ухо остро держать.

К тому же, по словам самого протопопа, он со дня на день ждет приезда жены с детьми. А как она взглянет на постороннюю бабу, ошивающуюся в доме у ее мужа? Во что оно может вылиться, кто знает. Потому Устинья с самого начала во избежание разных там толков и пересудов решила взять с собой Варвару.

Аввакума они застали за чтением молитв и скромно вышли во двор, чтоб не прерывать его занятия. Тут в сенцах Устинья увидела и свою кадушку вместе с санками, а рядом другие похожие на нее, но явно чужие. Ей и в ум не пришло, откуда они могли взяться у приезжего протопопа, и она тут же о них забыла. Через какое-то время Аввакум пригласил их зайти и стал объяснять, что нужно сделать по хозяйству, обещая вернуться сразу после утренней службы, чтоб вместе сходить на базар и там прикупить все необходимое. Вскоре он ушел, а Устинья с Варварой принялись наводить порядок в доме, ведя разговоры на свои бабские темы.

Чуть позже появился Яшка Плотников, притащивший на себе несколько плах для заделки старых половиц в доме протопопа. Он, занятый своим делом, в разговоры с женщинами не вступал, поминутно выходя то за тем, то за другим на улицу, чем окончательно застудил обеих баб, решивших не дожидаться хозяина, а сходить пока что к себе домой и вернуться обратно чуть позже. Но едва они вышли на порог, как к воротам подошли несколько мужиков, среди которых они увидели двух стражников с бердышами и жившего неподалеку от слободы купца Самсонова и приказного дьяка с воеводского двора, имени которого не знали.

— Здорово, бабаныки, — обратился тот к ним приветливо. — Никак здесь живете?

— Нет, — чуть ли не в голос ответили они. — Помогать приходили протопопу приезжему. А в чем дело?

— Сам-то он дома? Нам бы потолковать с ним по делу одному важному.

— На службе он, — ответила Устинья на правах старшей. — А что случилось? Говорите, все одно узнаем.

Пристав глянул на купца Самсонова, подкрутил заиндевелый ус и согласно кивнул головой:

— Это точно. Рано ли, поздно ли, а узнаете. Так что скажу, в чем дело. Ограбили этой ночью уважаемого человека, украли у него много чего.

— Ой, — прикрыла рот ладошкой Устинья, а Варвара лишь широко раскрыла глаза, не зная, что и сказать.

— Ладно, что с вечера снег выпал, вот мы по следам и отправились. Видно, что вор краденое на саночках вез. И следы его прямо сюда нас и привели. Так что давайте-ка глянем, что к чему.

С этими словами дьяк вошел во двор и поднялся на крыльцо. Вслед за ним последовали оба стражника, а потом и купец Самсонов, с лица которого не сходило скорбное выражение, будто бы он возвращался с чьих-то похорон. Войдя в сени, дьяк тут же наткнулся на санки, прикрытые грязной рогожей. Он поднял ее, и все с удивлением увидели освежеванного поросеночка, слегка припорошенного снегом и покрытого изморозью.

— Ваш будет? — спросил дьяк Самсонова.

— Как есть мой, — живо откликнулся тот, — на прошлой неделе забили его и в сарайчик до праздника определили...

— А он на санки залез и прогуляться поехал, — весело продолжил за него дьяк. — Только как вы, ваше степенство, определили, что поросенок этот именно ваш? Вот протопоп, что здесь живет, вернется и заявит, мол, его поросенок этот. Что тогда делать будем? На чьей стороне правда?

— Ну, я не знаю, — растерянно ответил купец, — вроде на моего походит очень...

— И чем же, разрешите спросить? — оборотясь к купцу, спросил дьяк, насмешливо щуя глаза.

— Пятачком походит, — проямлил купец, понимая, что несет полнейшую чушь, но удержаться уже не мог и продолжил: — И ростом в точности такой, ушки, копытца... — И, смешавшись окончательно, замолчал.

— Ага, подхватил дьяк, — пятак круглый, копытца острые и рыло свиное. Так я понял, ваше степенство?

— Так, — согласился Самсонов, а стражники дружно прыснули от смеха, чем еще больше поставили купца в смущение.

— Ладно, дождемся хозяина и у него выясним, какое отношение к свинтусу этому он имеет. — Приказной дьяк мигом сделался серьезен, и улыбка пропала с его лица. — И вы, бабанышки, вместе с нами подождите тут, — кивнул он Устинье с Варварой.

В это время из дома выскочил Яшка с топором в руках, и стражники тут же направили на него свои бердыши, попытавшись оградить приказного от внезапного нападения.

— А ты чего вдруг с топором тут делаешь? — сурово спросил тот Якова.

— Пол стелю, чего же еще, — ответил он, с удивлением взирая на собравшихся. — Если нельзя, то я пойду, — развел он руками, не выпуская топор.

— Дай-ка мне свое оружие пока что, — сказал пристав, забрав у Яшки топор, — так-то оно лучше будет.

Яшка покорно отдал топор и остался стоять, переминаясь с ноги на ногу. Вскоре возле дома собралась небольшая толпа слободских жителей, неведь как узнавших о появлении близ них дьяка со стражниками. Все принялись бурно обсуждать, откуда в сенях у приезжего батюшки мог оказаться чужой поросенок, которого купец вроде как опознал, но пока что не может представить на этот счет каких-то доказательств. Мнения толпы разделились: одни считали, купец специально навел подозрения на батюшку из-за того, что тот будто бы отлучил его от Святой Церкви. Так ли то было или нет, никто толком не знал, но то, что купчина в святой храм ходил лишь по большим праздникам, то было всем доподлинно известно. Другие же стояли на том, что протопоп сам получил поросенка в дар от купца, а тот, спохватившись, решил забрать свой дар обратно. Но никто даже в крайних своих подозрениях не принимал возможность кражи Аввакумом замороженного пороса из чужого амбара. Такого на памяти у людей не было, и они даже в мыслях допустить не могли, чтоб духовное лицо пустилось на кражу.

После долгого ожидания кто-то из слободчан вызвался сбегать на гору, сыскать там протопопа и привести домой. Дьяк не стал тому препятствовать, и молодой парень из числа зевак опрометью кинулся вдоль по улочке и вскоре скрылся из вида. Народ, несмотря на солидный мороз, не расходился, хотя некоторые и ныряли в соседние

дома погреться, но потом вновь возвращались к протопоповой ограде и продолжали ждать окончания дела. Наконец вдали показался возвращающийся гонец, а следом за ним широко шагал протопоп Аввакум, отсчитывая каждый шаг свой взмахом неизменного посоха. Толпа замерла. Подобрался как-то и приказной дьяк, закашлял в кулак купец Самсонов, и вдруг побледнела Устинья, до которой наконец-то дошло, кто мог быть истинным виновником появления в сенях у протопопы краденого пороса.

\* \* \*

Аввакум, не доходя нескольких шагов до толпы, чуть приостановился и низко поклонился всем. Два или три человека кинулись к нему навстречу, прося благословить, что тот и сделал, величественно опуская руку свою на их склоненные головы.

— Благослови и нас, батюшка, — подошел к нему дьяк, снимая с головы лисью шапку. — Жаждались мы вас тут...

Аввакум перекрестил и его, глянул на стражников с бердышами, громко хмыкнул и спросил:

— Никак за мной пришли? Где грамота от владыки?

— Какая грамота? — не понял дьяк, но тут же сообразил, о чем его спросили, и махнул рукой: — Да нет, батюшка, не о том подумали. Утром прибежал к нам купец вот этот, — указал он в сторону Самсонова, — и говорит, что обокрали его. Взял я стражников, отправились в дом к нему, удостоверился, действительно, амбар открыт, а за домом следы санок. Вот по ним-то мы и отправились, увидели, что вначале они мимо вашего дома прошли, а потом обратно повернули. Зашли сюда и обнаружили... — С этими словами дьяк шагнул в сени, поднял тряпицу и указал протопопу на злосчастного поросенка. — Вот этого самого красавца. Откуда он у вас? Тем более его степенство прямых доказательств, что животинка сия именно с его двора взялась, предъявить не смог. Так что слово за вами, батюшка. Расскажите все как есть.

Аввакум резко вздернул голову, собираясь рассказать, откуда взялись саночки в его сенях, но тут он глянул на прислонившуюся к стене дома побледневшую Устинью, и что-то остановило его от рвавшегося с языка признания. Он понял, что, рассказав о Фоме, который вместе с бочонком оставил у него и эти саночки, он тем самым подведет и ни в чем неповинную Устинью, а потому неожиданно даже для самого себя заявил:



— А я и не знал, что там поросенок лежит, да еще такой упитанный. Вот подарочек к Рождеству Христову кто-то подготовил. Хорош поросся, но только не мой...

— Чей же он тогда? — нахмутив брови, спросил дьяк. — Коль у вас в сенях обнаружен, то как прикажете, батюшка, понимать?

— Мало ли, что может в сенях моих лежать, — ответил Аввакум, — но совсем не значит, что то моя собственность. Один человек мне саночки свои оставил, обещал вскоре забрать, но что-то не идет...

— Назовите его, и я сам с ним разговор поведу, — требовательно заявил дьяк.

— Не могу, — покачал головой Аввакум, — не в моих правилах выдавать тайны чужие. Но обещаю призвать его на исповедь к себе, и там он без утайки все мне поведаст. А уж потом решу, виновен он или нет.

— Не по закону это, — возразил дьяк, — тут должна воеводская власть разбираться с вором этим, а вы, батюшка, можете ему лишь грехи отпустить, коль покается.

— А кто вор? — спросил его протопоп, чем весьма озадачил. — Кто тебе сказал, сын мой, что этот поросенок краденый? Сам же давеча говорил, что их степенство не признало его. Так ведь? — И он вопросительно глянул на Самсонова.

Тот под пристальным взглядом Аввакума не выдержал и согласно кивнул, а потом тут же отвернулся в сторону.

— Вот! А я что говорю? — обратился протопоп к дьяку. — Когда будут у вас настоящие доказательства, тогда милости прошу, приходите, а сейчас — прощайте и не вводите в грех добрых людей. Так говорю? — обратился он к собравшимся слободчанам.

Те испокон века не любившие любую власть и всегда мечтавшие как бы ей досадить, дружно откликнулись:

— Так, батюшка!!!

Дьяк, не ожидавший такого поворота, хмыкнул, покрутил головой, не зная, какое принять решение. Но Аввакум тут же пришел к нему на помощь:

— А вы, любезный, пока суть да дело, заберите этого «беглеца» с собой. А то у меня сенки ненадежные, вдруг да опять сбежит куда или кто ему в том поможет.

С этими словами он выкатил санки во двор прямо к ногам дьяка. Тому ничего не оставалось, как согласиться, и он велел одному из

стражников вести виновника происшествия на воеводский двор в приказную избу. С тем они и отбыли. Лишь купец Самсонов остался стоять, не зная, воспротивиться ли ему или дать на то свое согласие. Но его никто об этом и не спросил, потому он поплелся, тяжело вздыхая, к себе домой, бормоча на ходу:

— Не было беды, да черти навели... Не видать мне теперь поросеночка моего, как своих ушей. То, что к приказному попало, то пропало. Ну и тьфу на них! Найду, чем деток порадовать, не нищий, чай...

Когда народ, вполне довольный окончанием произошедшего, разошелся, Аввакум поманил к себе Устинью и, пристально глядя ей в глаза, спросил:

— Подкузьмил, однако, мне твой мужик. Сроду такого позора не испытывал. Что скажешь, матушка? Чтob близко его подле своего дома не видывал, так и передай. А кадушку потом сам с кем отправлю, нечего ему на мой порог ступать.

— Батюшка, да вы послушайте меня, — жалобно зачастила она, — сроду за ним такого не водилось. Не его то рук дело. Он ведь как воды вам притащил, так сразу в дом и пошел. Не иначе кто другой или оставил те саночки на дороге, или ему подsunул.

Аввакум чуть подумал и велел:

— Пусть завтра же, а лучше сегодня вечером в церкву придет и покается во всем как есть. А то сама знаешь, чем ему это грозит.

— Знаю, батюшка, ох, знаю... Не таков он, точно говорю. Никогда ничего чужого в дом не притаскивал, а что тут вышло, он вам все расскажет. А то... — добавила она, сжав свой кулачок, — выставлю вон, пусть идет куда глаза глядят.

На том и расстались. Устинья с Варварой отправились по домам, а Аввакум остался стоять во дворе, думая, что враг рода человеческого в очередной раз подвел его под испытание. Из раздумий его вывел голос Якова, который интересовался, продолжать ли ему работу или оставить все как есть.

— Заканчивай, мил-человек, нельзя начатое на середине бросать, сам, поди, знаешь. Очень тебе за то благодарен буду.

\* \* \*

Едва только Варвара с Устиньей немного отошли от дома протопла, то не сговариваясь, глянули одна на другую и дружно засмеялись.

— Да, влипли мы с тобой, подруга, в историю. Ладно, что на нас не подумали, а то бы упекли на воеводский двор ответ держать, — сокрушалась словоохотливая Устинья.

— Нет, тут явно что-то не так. Не верю, чтоб батюшка краденого поросенка принял от кого-то. Не таков он, — отвечала Варвара. — Что-то в этом деле не так, точно говорю. Кто-то ему этого пороса подсунул, а он его выдавать не хочет... Я это сразу поняла...

— Правильно поняла, подруга. Мне известно, кто этот грех на душу взял, но пока говорить не стану, проверю сначала.

— Неужто на Фому своего думаешь? — всплеснула руками Варвара.

— Тут и думать нечего. Он батюшке кадушку с водой привез уже позднехонько ночью. И других следов во дворе не видно, кроме его. Вспомни, мы когда пришли, то я его ногу сразу узнала. И следы от двух санок. Помнишь, поди? — спросила Устинья подругу.

— Да я, если честно, не смотрела, какие там следы были. Не затем шли...

— Зато я приметливая, все вижу, и память у меня покамест не отшибло. Сейчас я этого Фомку припру к стенке, во всем сознается. Он тот еще шельма, где что плохо лежит, никогда своего не упустит. Уж я-то его душонку наизусть знаю. Больше никому...

— Если все так, как ты думаешь, то мне неловко в другой раз к батюшке в дом идти... — со вздохом выдавила из себя Варвара. — Считаю, наша вина в том тоже есть...

— Это в чем ты вину нашла? Мы, что ли, Фомку подговорили ворованного пороса к нему подкинуть? Хотя... может, и права ты... Если все откроется, как нам себя вести с ним? Он же все одно дознается, если уже не понял... Да, по-дурному как-то все вышло. Да еще в канун самого Рождества.

— Нет, лучше отказаться, пусть он кого другого найдет. Поговорю с Анной, женой кузнеца. Она тетка справная, то нянчиться к кому пойдет, то с огородом поможет. Не откажет и здесь.

— Что за Анна? — спросила Устинья. — Из наших кто или из городских?

— Может, и не знаешь, не из наших слободских она, подружка моей старшей сестры была, оттуда и знакомы.

— И вправду, поговори с ней, а у батюшки прощения попросим, сошлемся, что у самих по дому дел много, — согласилась Устинья, остано-

ливаясь у ворот своего дома, куда они как раз дошли. — Прощай что ли, пойду Фому своего пытать, где он того поросенка взять сподобился.

На этом они расстались. Варвара уходила, испытывая облегчение, что все закончилось благополучно. Но в душе все же она испытывала неловкость от того, что не исполнила обещания, не оказала помощи одинокому человеку и теперь опять потянутся дни тоски и одиночества, когда не с кем будет и словом перемолвиться...

Неизвестно, о чем и как Устинья вела разговор с Фомой, но соседи говорили, будто бы выскочил тот из дома, словно кипятком ошпаренный, и куда-то понесся большими скачками. Вечером его видели стоящим в веренице людей, что пришли на исповедь в Вознесенский храм к протопопу Аввакуму. Тот долго о чем-то беседовал с раскрасневшимся от полноты чувств и душевного раскаянья Устиньиным сожителем, но из храма вышел счастливым и сияющим, словно начищенный медный пятак. Даже обычная его хмурость пропала, и он долго крестился на купола стоящего неподалеку многоглавого Софийского собора.

Варвара же сдержала слово и нашла добровольных помощниц по хозяйству для Аввакума. Да и как им было не найтись, когда во все времена на Руси уважали и почитали прихожане батюшек своих, к которым шли на исповедь, крестили и венчали у них детей своих, звали проводить в последний путь близких, а то и просто искали совета, разумно полагая, что духовник их к Богу ближе и плохого не посоветует.

Уже к концу недели в дом к Аввакуму стала по необходимости наведываться жена кузнеца Анна, а вслед за ней явилась и пушкарская вдова Зинаида. Обе они оказались бабами в своем домашнем деле знающими, мигом навели порядок в протопоповом жилище, обещали в скором будущем заняться побелкой стен, принесли с собой кое-какую посуду, торопили Яшку Плотникова, который после встречи с дьяком и стражниками стал редко появляться, ссылаясь на свою занятость и отсутствие нужного материала.

— Ты уж поспешай, поспешай Яков Спиридонович, — уважительно наставляла его Анна. — Изба, почитай, полгода незапертой стояла, вот из нее добрые люди, кому не лень, все что можно и по-выносили, одни голые стены оставили. Батюшке теперь ни сесть, ни лечь негде, а скоро должна матушка его с детишками подъехать, тогда совсем нехорошо будет.

— А я-то тут при чем? — почесывая патлатую голову, удивился Яшка. — Я из того дома ничегошеньки не взял, хотя и видел, как народ тащил чего ни попадя.

— Чего ж не остановил? Поди, вместе и пропили...

— Н-е-е-е, я к тому непричастен.

— Да я тебя и не виню, а все одно помочь человеку надо.

Не умеющий отказывать в таких случаях Яков соглашался, тем более что и Капитолина уже не раз интересовалась, как там продвигаются дела в доме, где поселился новый батюшка, а потому он почти каждый день приходил в дом, смотрел на пустые стены, шевелил губами и шел обратно.

Аввакум понял, что он вряд ли чего дождется от Якова, который жил, казалось, в ином мире и брался за работу, лишь когда какая-то невидимая и непонятная другим причина побуждала его к тому. Поэтому в очередной его приход спросил:

— Скажи, скоро ли закончишь все, что обещал?

— Да я уж и не помню, чего мной обещано было, — в раздумье отвечал тот. — Не лежит у меня душа к этой работе, сам не знаю, почему. И материала сухого нет у меня, а где его взять, не знаю.

Анна, слушавшая их разговор, неожиданно ткнула сухим кулачком Якова в бок и сказала:

— Нехристь ты, однако, Яков, как есть нехристь. Ты уж уважь человека, найди этот распроклятый материал, а батюшка за тебя помолится, а то ведь живешь, точно басурманин какой, и в церкви святой тебя сроду не увидишь. Так говорю, батюшка? — почтительно спросила она Аввакума.

Тот ничего не ответил, лишь слегка качнул головой, не зная, как себя вести с упрямым мастером, который вроде и от работы не отказывался, но и не спешит браться за дело.

— Как это — в храм не хожу? — вскинул Яков голову. — Намедни был, не исповедовался, правда, но батюшка наш видел меня, можете его спросить.

— Ладно, то не мое дело. — Аввакум сделал несколько шагов вдоль стены, изучающе посмотрел на Якова, так и продолжавшего стоять у порога в позе кающегося грешника. Потом открыл привезенный с собой ларец, вынул из него отрез дорогого сукна, подаренного ему кем-то из прихожан во время проводов, и издали показал тому. — Не думай, будто задарма работать станешь, расплачусь сразу, как

все исполнишь, можешь не сомневаться, не обману. Вот Анна тому порукой будет.

— Да-да. — Та торопливо закивала головой. — Ты уж, Яшенька, постарайся, изладь все поскорее, а батюшка Аввакум тебя не обидит.

Яков равнодушно посмотрел на отрез и не выразил ни малейшей заинтересованности, а потому даже отвернулся в сторону, проговорив:

— На кой он мне? Я такой одежи сроду не нашивал, к другой привык. Оставь ее, батюшка, лучше себе. Или вон Анне предложи. Она тому отрезу мигом применение найдет. Я ж гляну, что у меня на чердаке с лета лежит, может, и хватит стол изладить. Но обещать не буду...

С этими словами он вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

— Вот ведь человек какой этот Яшка. То робит и день и ночь, а то сидит без дела и на дорогу глядит не отрываясь, будто видит что-то, ему лишь одному понятное. Чудной он, таких, как он, сроду не встречала. На болезного не похож, но и здоровым не назвать. Однажды, говорят, так заработался, несколько дней не пил, не ел, нашло на него чего-то там такое, едва не помер. Батюшка наш его едва отчитал, чуть не всю ночь подле него провел. Одна вдова его пожалела, привела того батюшку, спасла Якова от смерти. Теперь так и живут вместе.

Аввакум с интересом выслушал ее, но ничего не ответил, хотел было убрать дорогой отрез обратно в ларец, но Анна остановила его:

— Не дадите ли мне подержать его? — потянулась она к нему. — Сроду такой красоты в руках не держала...

Все так же молча Аввакум подал ей отрез и присел на лавку.

— Скажите, батюшка, а если я вам найду все, что по хозяйству требуется, могу попросить его? За него на рынке можно хорошие деньги выручить. Но, если он вам нужен, скажите, просить не стану. — И она вернула отрез протопопу.

— Мне бы первым делом печь наладить, а то без нее тепла в дом не нагонишь. Да такую сложить, чтоб детей на нее можно было положить. Ну и кровать, стол, полки разные под посуду. Найдешь людей?

— А вот и найду. У нас печи не складывают, а из глины бьют. Мой мужик, хоть и кузнец, но кое-что умеет. Поговорю с ним, если глины найдет, сделает...

И точно. На другой день несколько хмурых мужиков притащили в бадьях сырую глину, что, видать, хранили где-то в тепле для таких дел, и взялись за печку. И Яшка, придя в очередной раз, словно по обя-

занности, включился в общую работу, помогал чем мог. А через день притащил здоровенную столешницу под стол, приладил к ней ножки и, похлопав крепкой рукой по своему изделию, степенно сказал:

— Знай наших! Пользуйтесь на здоровье. Всем миром и работа иначе идет, сама мастера ведет.

Нашлись у Якова и сухие доски под полки для посуды, и он даже обещал на днях изладить люльку для малыша.

Тем временем мужики без особой спешки за два дня закончили печь и пустили первый дым, наказав сильно пока что не топить, пока вся она не просохнет. Аввакум с радостью смотрел, как на глазах преображался дом. Он перестал выглядеть убого, и в нем, потихоньку затеплилась жизнь, запахло терпким запахом смолы и сырой глины. И всем этим он был обязан Анне, которая не только верховодила печниками, постоянно подгоняя их, но и нашла где-то широкую кровать, пусть неновую, но еще крепкую и вместительную. Ее установили у дальней стены, а в углу напротив Аввакум сам соорудил полку под иконы и снизу прицепил бронзовую лампадку. Когда он зажег ее, то окончательно понял, что это и есть его новое жилище, в котором предстоит прожить неизвестно какой срок до обратного возвращения в Москву, во что он твердо верил.

Анна, получив обещанный ей отрез, кинулась целовать Аввакуму руки, но тот лишь отмахнулся, сказав:

— За добро платят добром, а за обман батоном. Если бы не ты, не знаю, как бы управился до приезда семейства моего. А чувствует мое сердце, где-то они уже близехонько, не сегодня, так завтра пожалуют. Спасибо тебе, Аннушка, храни тебя Господь!

Оставшись один, Аввакум встал на молитву, прося святых заступников скорого воссоединения с женой и детьми, зная, что и они мечтают о том же самом...

\* \* \*

И точно, вечером во двор к Аввакуму прибежал соседский мальчишка, известивший, что возле монастыря его спрашивают какие-то приезжие. Он ощутил радостный укол под сердцем, кровь ударила в виски, ноги слегка ослабли, как то бывает в минуты радостных волнений, он даже оперся рукой о дверной косяк, чтоб удержаться и не упасть. А мальчик по-взрослому смотрел на него, не совсем понимая, чего этот степенный, грозного вида мужик испугался.

Даже ничего не спросив, не поблагодарив пацана за известия, он рванулся на улицу, потом, спохватившись, схватил в руки шапку, накинул на плечи отороченный лисьим мехом полушубок и, не разбирая дороги, перепрыгивая через сугробы, помчался по улице, приводя в замешательство смотревших на него с удивлением слободчан.

Еще издали он увидел стоящий возле монастырских ворот тот самый возок, что он специально купил в дороге, держащего под уздцы заиндевеливших коней, улыбающегося татарина, а чуть в стороне стояла она, Анастасия Марковна, и держала запеленатого в меховое одеяло Корнилия и тоже, чуть сдержанно улыбалась. Увидев Аввакума, она радостно вскрикнула, и тут же из возка выпрыгнули на снег Проша и Ванечка, а следом, смешно переваливаясь, выбралась Агриппина и, обгоняя всех, бросилась к нему и повисла на шее. Вслед за ней на отце повисли, дружно хохоча, оба сына, а он, целуя их в щеки, влажные носики, вдыхая их родной, почти забытый запах детских тел, не сводил глаз с жены, дожидавшейся, когда улягутся плещущие через край детские восторги.

— Благослови нас, отец, — не доходя несколько шагов и опустив глаза, произнесла она своим певучим голосом, от которого он тоже отвык, а сейчас впитывал и блаженно пускал внутрь себя, как живительный напиток, каждую его нотку.

— Бог благословит. — Аввакум широко перекрестил их и обнялся с женой, чмокнул ее в щеку, спросил: — Как доехали? Все ли ладно?

— Всё слава богу. Намерзлились лишь. Холодно здесь у вас, морозно, — отвечала Марковна все с той же улыбкой, со скрытым восторгом глядя на мужа.

— Разве это мороз? — рассмеялся Аввакум. — Настоящие морозы впереди еще. Пойдемте в дом, обустроил как мог, сейчас сама увидишь.

Потом он неожиданно остановился, словно вспомнил что.

— А где Маринка? Оставили, что ли, где? — спросил он, удивленно поводя головой по сторонам.

— Да вон она, прощается с казачком своим, — усмехнулась Марковна, — уж больно он к ней интерес проявлять начал, как ты наперед уехал.

— Куда ж ты смотрела? Гнать надо было его! Спортит девку — и ваших нет.



— Не переживай, одних их ни на минутку не оставляла. Хороший парень, Тихоном зовут. Говорит, что свататься будет, — успокоила мужа Марковна. — Да вот она, бежит уже... Куда ей от нас деваться, сирота, чай...

И точно, раскрасневшаяся Маринка бежала к ним, широко раскинув руки, и тут же кинулась на шею к Аввакуму, чмокнула его в щеку и радостно засмеялась:

— Не браните меня, батюшка, ничего грешного меж нами не было, зато Тихон, знаете как помогал нам во всём...

— Знаю я этих помощников, — ворчливо ответил тот, — с этими казаками глаз да глаз нужен. Чего ж он нас сторонится? Подошел бы, не волки, в лес не утащим...

— Думает, бранить станете, — ответила за своего ухажера Маринка, — он обещал в гости прийти, как на постой определится.

— Там видно будет, пока что самим надо устроиться, — глянул на нее Аввакум сверху вниз, отметив, как расцвела девка, похорошела, найдя свою зазнобу. — Все, идете за мной, а то носы быстро отморозите...

Возница поехал следом, остановился возле ворот, помог занести в дом поклажу, получил расчет и тут же уехал, не обмолвившись ни словом. Дети уже успели забраться на новую лавку, сбросив с себя шубки прямо на пол, а Марковна прошла во вторую половину дома, где стояла огромная, больше похожая на топчан, кровать, застеленная домотканым одеялом, принесенным сердобольной женой кузнеца, и бережно уложила на нее спящего сына.

— Поправился ли? — осторожно спросил Аввакум, указывая на последыша.

— Жар спал, — ответила та, — Бог даст, и совсем выздоровеет. Рассказывай, как без нас жил, чем питался. Определи ли тебя на службу? Куда? Или ждешь еще?

— Все в руках Божьих. Приставили к храму, так что без куска хлеба не останемся.

— Далеко от дома или поблизости?

— Не близко, но и не далеко. Может, потом удастся перебраться поближе к службе моей, а пока и здесь неплохо.

— Вижу, какие хоромы нам отвели. — Анастасия Марковна обвела взглядом полутемную спальню, поправила одеяло, — завтра приберу все, свои вещи из сундуков выну, авось проживем.

Потом, уложив детей, они долго еще сидели у стола, советовались, за что приняться в первую очередь, и вспоминали бывшие счастливые времена, когда жили они в Москве и каждый день в гости к ним приходили добрые знакомые, помогали кто чем мог, а здесь, на чужбине, рад будешь первому встречному, а о лучшей доле можно лишь мечтать.

— Думается мне, патриарх наш в покое меня не оставит и удумает еще какую каверзу, чует мое сердце, что испытания наши с тобой только начинаются, — глядя на мерцающую под иконами лампаду, негромко сказал Аввакум.

— Твоей вины в том не вижу, — отвечала ему Марковна, — а буду с тобой до конца, куда бы нас судьба ни закинула.

— Ничуть в том не сомневался. — Аввакум нежно погладил ее тонкую руку и вспомнил, как впервые увидел свою Анастасию в соседнем селе, куда он, еще будучи диаконом, ездил освящать со всем причтом вновь отстроенную церковь. Выделил он ее тогда из толпы сразу и за высокий рост, и за взгляд голубых глаз, отметил про себя. Потом уже через несколько дней приезжал специально, чтоб поинтересоваться, кто она есть и чья будет, а узнав, что сирота и живет у чужих людей, проникся к ней состраданием и вскоре заслал сватов. И с тех пор ни разочка не пожалел, что остановил выбор свой именно на ней, и даже не представлял, что могло случиться, если бы рядом с ним оказался кто иной...

\* \* \*

Всякая душа да будет покорна высшим властям,  
ибо нет власти не от Бога.

*Рим. 13,1*

Главный сибирский воевода Василий Иванович Хилков, князь и царский стольник, обличием был тучен, а лицом строг, отчего местный народ князя побаивался и особо с жалобами на обидчиков своих не обращался, опасаясь, как бы от того им хуже не сделалось. Прибыл он в Тобольск вместе с многочисленной челядью и с собой привез серебряную с позолотой посуду, нескольких поваров и двух музыкантов, что ублажали слух его гостей и домашних во время долгих трапез. Воспитанный родителями в честности и бескорыстности, остался он на всю жизнь человеком, о коем на Руси говорили: такой лишнего себе не возьмет, скорее свое отдаст. На воеводство в Сибирь

был он поставлен, не достигнув еще и сорока лет, в самом расцвете сил, которые и тратил без удержу на государственной службе.

Первым делом он приструнил зарвавшихся воевод в северных городках, находившихся в его непосредственном подчинении. Одному пригрозил опалой за то, что тот брал с остяков ясак сверх меры, другого вызвал в Тобольск и на несколько дней закрыл в холодной кладовой, велел тому на бумаге изложить все свои прегрешения, и не выпускал до тех пор, пока тот не исписал все выданные ему для покаяния листы.

Остальные же, узнав о таких строгостях, приутихли сами, резонно полагая, что честный воевода — для Сибири большая редкость и рано ли, поздно ли он или сам на чем-то да споткнется, или какой добрый человек поможет ему совершить поначалу грех малый, за которым неизбежно последует грехи и покрупнее, а тогда можно и голову поднять и продолжить то, зачем расторопные люди в Сибирь и ехали.

Князь Василий через верных людей выведал, кто сколько из подчиненных ему воевод прибрал к рукам из государственных сборов, но сообщать о том до поры до времени в Москву не стал, а сделал так, что о записях его всем малым воеводам стало известно, надеясь тем самым и впредь держать их в узде и крепком подчинении.

Но более всего доставляли ему хлопот служилые люди рангом пониже, с которыми его подчиненные сами справиться не могли, а воеводе по чину не положено было заниматься усмирением каких-то там стрельцов или казаков, которые чувствовали себя в Сибири людьми вольными и не особоотягощенными государственной службой. И недели не проходило, чтоб меж ними не вспыхивали ссоры, заканчивающиеся обычно драками, в которых участвовало с полсотни человек от каждой стороны. Не хватало стражников разнимать их, вести в острог, чтоб отдать в руки подьячему для составления обвинения, на основе которого воевода и мог вынести приговор и осудить провинившихся. Прежние воеводы смотрели на подобные ссоры сквозь пальцы, понимая, что к каждому казаку стражника не представишь и потому сибирский народец, почувствовав волю, вел себя предерзко и не выказывал должного уважения ни начальникам своим, ни духовным лицам, ни, тем более, торговым людям.

Василий Иванович долго ломал голову, как навести порядок в городе.. А потом вызвал к себе казачьих и полковых командиров и прочел им предписание, согласно которому все чины, находящихся на государственной службе, должны быть направлены в кратчайший

срок в малообжитые земли. Взять с собой им повелевалось проводников и толмачей для прииска новых земель и сбора ясака в пользу казны. Полковое начальство попыталось доказать, что люди их подобному делу не обучены, но, встретив суровый взгляд воеводы, быстро поняли, что возражать бесполезно, а потому со вздохами и побряхтыванием поднялись с лавок и удалились, недовольные, мысленно кляня воеводу на все лады и желая ему побыстрее отправиться обратно Москву, чтоб самим вновь зажить привольно, как было заведено меж ними с самого заселения Сибири русскими людьми.

Избавившись от неугомонного служилого люда, князь Василий Иванович нашел в городе умельцев, хорошо знающих строительное дело, и велел заняться им подновлением острожных стен и башен. Затем он попытался навести порядок в устройстве нижнего посада, где летом конный ли, пеший ли вязли в непролазной грязи из-за отсутствия сколько-нибудь приличных дорог. Он подрядил татар из ближайших селений возить строевой лес для покрытия улиц деревянными мостовыми, за что разрешил тем брать без оплаты каждое десятое бревно из привезенных на собственные нужды. Но за лето удалось замостить лишь ближайшую к острогу улицу, которая вела на базарную площадь. Но и это стало большой удачей, поскольку прежним предшественникам его не удавалось сделать и этого.

Окружавшие воеводу люди считали его большим книжечеем и любителем церковных преданий. Из привезенных воеводой вещей несколько сундуков были заняты книгами, большая часть которых была писана на языках иностранных, и сообщалось в них о делах воинских и строительных, к чему Василий Иванович проявлял извечный интерес.

А еще воевода был известен среди тоболяков регулярным посещением городских храмов, из которых предпочитал Вознесенскую церковь, находившуюся в остроге близ воеводского двора. Может, потому и духовником своим избрал князь отца Аверкия, служившего там с незапамятных времен. Придя в церковь на службу, воевода обычно вставал неподалеку от входа, где всегда располагались готовые к исповеди прихожане, и почтительно ждал, когда до него дойдет очередь к батюшке. Первое время народ, заметив рядом с собой воеводу, шарахался в сторону, а некоторые и вовсе испуганно покидали храм, но постепенно попривыкли и при встрече с ним благожелательно раскланивались, как со старым знакомым.

По большим престольным праздникам, когда владыка Симеон устраивал в своих покоях скромные застолья, то неизменно слал приглашение и князю Василию. Тот поначалу отказывался, считая неуместным шествовать пешком с воеводского двора на архиерейское подворье, а в карете ехать было и совсем смешно, поскольку находились их дворы напротив один от другого в нескольких десятков шагов. Но однажды по совету княгини пересилил себя, чем несказанно обрадовал не только владыку, но и свою богобоязненную супругу. В следующий раз уже владыка Симеон последовал к воеводе на именины со щедрыми дарами, и дружба их постепенно окрепла, выгодно отличаясь от противостояния властей гражданских и духовных во многих российских городах.

Когда во время одной из встреч архиепископ сообщил князю Василию, что в Тобольск для отбывания ссылки направляется ставший негодным новому патриарх протопоп Аввакум, тот не поверил, зная расположение к Аввакуму царя Алексея Михайловича.

Василий Иванович хотя и был частым гостем на царском дворе, но участия в делах церковных не принимал и знал о том лишь понаслышке. Затеянное патриархом Никоном исправление церковных книг напрямую его не касалось, и он никак не ожидал, что безобидное это дело примет со временем подобный оборот и выльется в противостояние между известными людьми, к которым он относил и протопопа Аввакума, славящегося умением своим говорить проповеди и находить общий язык с простым народом.

Однако он был удивлен, что именно под начало владыки Симеона патриарх определил опального протопопа. Князю представлялось, что как раз ему как главному сибирскому воеводе должно быть доверено это непростое дело. Хотя при том вида не показал, но услышанное больно задело его самолюбие, несмотря на то, власти гражданские обычно не вмешиваются в дела духовного ведомства. Но тут совсем другое дело. Именно государственное, потому как речи непримиримого протопопа могли привести к волнениям народным, а то и к бунту. Когда случилось убийство патриарших переписчиков в тюменском монастыре, то не кто иной, как воеводские дьяки и приставы, занялись поисками злодеев и, похоже, вышли на их след. Рано ли, поздно ли они найдут тех душегубов и доставят на допрос к нему на воеводский двор.

И тут князя осенило: а не связан ли приезд протопопа с тем убийством? Почему так вышло, что ни днем раньше, ни днем позже произошло все? Именно когда Аввакум провел ночь в монастырских покаях, то на другой день обнаружилось то самое злодеяние. Случайность? Вполне возможно. Понятно, не сам протопоп к тому кровавому делу руку приложил, то были люди, на мир и власть озлобленные. А к чему Аввакум призывал? Идти против патриарха. В открытую. Прилюдно. Могли изверги эти в угоду ему порешить переписчиков чуть ли не на глазах у главного патриаршего противника? Вполне...

Князь еще долго перебирал в уме всевозможные варианты и причины загадочного убийства московских монахов, помешавших кому-то делом своим, и как это все связано с появлением в Сибири протопопа Аввакума. А потом, так ничего и не решив, наметнул приказному голове Матюшкину, чтоб тот нашел протопопа и поинтересовался у него, не может ли он заглянуть в покои воеводские. Для ознакомления с воеводой.

Сам же князь решил перед тем, как встретиться с протопопом, коль удастся, выведать у осведомленных людей истинные причины его ссылки. И уже через пару дней князю Василию доложили, что тот уже который час ожидает его во дворе, не осмеливаясь без приглашения зайти в воеводские покои. Князь удовлетворительно хмыкнул и велел пропустить его к себе.

Войдя в воеводские покои, изрядно промерзший Аввакум и вида не подал, что чуть не окоченел на ветру, ожидая, пока о нем доложат воеводе. Сделав несколько шагов, он широко перекрестился на образа, потом столь же неспешно благословил подошедшего к нему воеводу, и они троекратно облобызались. И хотя ранее в Москве они не встречались, разговор сразу принял дружеский оборот без предварительных оговорок и ненужных словословий.

Князь Василий поинтересовался, как протопоп добирался до Тобольска, на что услышал:

— Честно скажу, князь батюшка, худо мы добирались с домочадцами моими. Никогда не думал, что столь трудна дорога в край этот: где плыли, где на себе телегу тащили, чтоб коням подсобить. Вот только за Уралом, по снегу, вздохнули малость. А протопопица моя и сын младшенький, которому и годика нет, занедужили уже перед самой Тюменью, там и остались, покуда во здравие не войдут.

— Чем помочь могу? — осторожно поинтересовался воевода, опасаясь, что привыкший к столичной жизни теперешний ссыльный запросит слишком многого.

— Ничем, батюшка воевода, помочь ты мне не сможешь, все в руках Божьих. Коль не угоден стал я патриарху нашему, то, видать, за грехи мои покарал меня Господь и устроил испытание тяжкое. Ладно бы мне одному, а то ведь и детишки малые вместе со мной маются. Им-то каково...

Воевода помолчал и некоторое время, оглаживая жилистой рукой окладистую бороду, изучающе смотрел на сидящего перед ним протоппа. Был тот широк в кости, видать, силен, телом строен и производил впечатление человека много знающего, о чем говорили пытливо смотрящие на собеседника глаза. Во взгляде его была сокрыта некая уверенность в себе, умение предвидеть происходящее и непередаваемый интерес к жизни. Волосы его нельзя было назвать черными, поскольку отливали они медным блеском, часто встречающимся среди жителей Поволжья, состоящих в родстве с местными инородцами. Видно, и в Аввакуме наличествовала немалая доля крови то ли мордвы, то ли черемисов, а может, тех и других понемногу. В бороде его уже пробивалась ранняя седина, а лоб избороздили глубокие морщины, выдавая в нем человека думающего, на все имевшего свое мнение и собственный взгляд. Несмотря на правильную речь, пробивалась изнутри него, словно родник через скалу, мужицкая привычка говорить быстро и неотчетливо, словно он боялся, что сейчас его перебьют, не дав договорить.

При всей его открытости жила в нем хорошо скрываемая лукавинка, проглядывающая порой через хитроватый прищур глаз. И хотя на князя он смотрел подобострастно, часто кивал, соглашаясь со всем, что тот говорил, но всем видом своим давал понять, что знает о жизни нечто большее, известное лишь одному ему. Князя это особо раздражало, но вида он не показывал, хорошо понимая, что попик этот ему не ровня и терпит он его здесь до тех пор, пока ему не надоест слушать его витиеватые речи.

«Нет ничего хуже, чем мужик, к власти допущенный», — думалось князю. Видел он не раз, как старосты в имениях его злобствовали, порой и зверствовали, будучи назначенные им для пригляда за крестьянами. Никого не щадили, лишь бы выслужиться перед хозяином. За недоимку могли и семь шкур с любого спустить, хотя им

от того проку или выгоды личной никакой не было. Нет, не за страх, а ради ласкового взгляда хозяина служили они, пытаясь выделиться из некогда равных себе, зная, коль не угодишь барину, то тут же окажешься прежним рабом и холопом и никогда уже на прежнее место не вернешься.

«Вот и протопоп этот, попавший в столицу из глухой мордовской деревни, испорченный близостью к царю и патриарху, возомнил себя пророком, коему все позволено, прикидывается агнецом Божиим, пострадавшим безвинно, — с прищуром смотрел воевода на Аввакума, продолжая думать о своем. — Сидел бы в своем селе и дальше, не высовывался, глядишь, жил бы не хуже других, в довольствии и благодати. Ан нет, захотел высоко взлететь, не подумав о том, сколь занятие то опасно и чем закончиться может. А сейчас на Москве много таких новоявленных пророков объявилось, повылазивших из глухих углов, обрядившихся в богатые одежды и щеголявших среди знатных господ с видом надменным. Ох, придет времечко, и кинутся они вон из столицы обратно в свои деревеньки, чтоб никогда оттуда больше носа не высовывать. Поймет царь, кто ему истинный слуга, а кого дальше скотского выпаса пущать никак нельзя...»

— Да уж, не позавидуешь тебе, — согласно кивнул воевода, отводя глаза в сторону, словно опасаясь, что протопоп сможет догадаться о мыслях его, — не всякий человек в Сибири выдержат, многие первый год ломаются, а иные и руки на себя накладывают с горя. Но ничего Бог даст — выдержишь. Царь наш Алексей Михайлович, дай Бог ему здоровья и всяческого благополучия, слышал я, благоволит к тебе, авось и вернет из ссылки.

— Милует царь, да не жалует псарь, — живо отозвался Аввакум. — С царем-батюшкой мы душа в душу жили, сколько раз он меня во дворец к себе приглашал, дарил подарками разными, детками моими интересовался. И все бы хорошо, коль не смутитель веры православной, Никон, с которым мы поначалу тоже дружбу водили, пока он не принял церковные книги править и иные новшества вводить.

— Как же, наслышан о том, но мое дело — сторона, — улыбнулся в бороду князь Иван, — мне бы со своими делами разобраться, а вы уж, молеельщики наши, сами решайте, как вам дальше жить, и нас в свои дела особо не впутывайте.

— Что ты, батюшка, сам понимаю, что в этих делах ты мне не заступник. Даже сам государь не мог меня от гнева патриаршего за-



слонить. Оно вроде и правильно, со своим уставом в чужой монастырь нечего соваться. Но я вам так скажу, Никон этот на том не остановится, а дай ему волю, то он и царя на короткой привези держать будет. Истинно говорю, поскольку знаю норы его.

А ведь как все хорошо начиналось, жили с ним в ладу и в мире, а когда ему первый раз указал на неправду его, то он от меня, как от пса злобного, отмахнулся, к себе перестал пускать, начал сторониться во всем. Ладно бы я, а то ведь многие на Москве против его нововведений голос подняли. И что же? Послушал он кого? Да никогда в жизни. Не тот он человек, чтоб чужим речам прислушиваться. Гнет свое и будет гнуть до тех пор, пока Россию-матушку напополам не переломит.

А это грех наипервейший, на том свете Господь с него за все спросит и воздаст по заслугам. Я человек маленький, какой с меня спрос, но далеко вперед вижу и верно скажу, смутное время наступает. Коль дальше так продолжаться будет, то вскоре брат с братом поначалу перессорятся, потом передерутся, а там и до смертоубийства дело дойдет. Кому же от этого польза? Никак не народу православному.

Воевода внимательно слушал Аввакума, глядя прямо в его пылающие праведным гневом глаза, и пытался понять, действительно ли так думает его собеседник, или в нем говорит оскорбленное достоинство отстраненного от власти человека, которого неожиданно удалили и от царского двора, и от патриаршего престола, отправили на жительство в далекую Сибирь. Хорошо знавший царя воевода понимал, что дыма без огня не бывает и не зря патриарх пошел на разрыв с Аввакумом, наверняка прежде этого обговорив все свои действия с державным правителем.

То, что Алексей Михайлович имел натуру изменчивую, мог в одночасье сменить милость несказанную на гнев праведный, князь испытал на себе. Разве спросили его, когда направили воеводой в Тобольск? А причиной тому происки завистливых недругов, пожелавших отодвинуть его от государственных дел, когда заметили, что царь стал приближать князя к себе, советоваться, и уже пошли слухи, будто поставят Василия Ивановича управлять одним из приказов. В том-то вся и причина... Наверняка и с Аввакумом не обошлось без наущничества близких патриарху людей, которым он стал неугоден. Разве могут царь или патриарх знать, у кого что в душе сокрыто? Вот и слушают, что им там нашепчут, накалякают, а потом и люди

безвинные страдают от оговоров и не догадываются, с чего это они вдруг в немилость впали.

«Царская воля, то наша доля», — вспомнилось вдруг воеводе слышанная им где-то поговорка. Лучше и не скажешь. На то он и царь, помазанник Божий, чтоб судьбами людскими ведать и за весь народ решать, куда кого направить и как за содеянное спросить. Без этого нельзя, иначе не быть государству, и страна превратится в бедлам, как то было после смерти государя Ивана Васильевича, именуемого в народе Грозным. Тот хоть и жесток был не в меру и многих знатных бояр жизни лишил, но держал народ в узде, не позволяя возобладать раздору и вольностям, к чему народ русский склонен. Теперь другие времена, окружил себя Алексей Михайлович лукавыми советчиками, не понимая, чем все закончиться может. Вот и подняли голову люди незнатные. Куда ни глянь, а никого из числа равных себе не встретишь.

Меж тем протопоп Аввакум, словно угадал настроение князя, собрался уходить и встал, перекрестился на образа.

— Спасибо тебе, князь-батюшка, что принял и выслушал. Не буду больше от дел государственных отрывать, у тебя и без меня забот хватает. Если понадобится за чем, то рад буду.

— Не спросил я только, куда тебя владыка наш на службу определил, — поинтересовался воевода, также поднимаясь со своего места.

— Недалече от тебя, в Вознесенский собор направили.

— А с батюшкой Аверкием как? — не скрыл своего удивления князь Василий.

— Его, насколько знаю, архиепископ в город Березов направить решил, там как раз не так давно батюшка местный преставился, и место освободилось.

«Почему же не тебя архиепископ направил на то место? — мысленно усмехнулся воевода, хорошо понимая, что архиепископ Симеон никогда так не поступит, а оставит Аввакума, не утратившего пока московские связи, подле себя. — Вот тебе справедливость людская».

— Ну, то ваши дела церковные. Как владыка решил, так тому и быть, желаю здравствовать. — И воевода, пересилив себя, подошел под благословение к Аввакуму, от которого неудержимо несло чесночным духом, прелой овчиной, столь знакомыми для князя запахами во время его посещений своих подмосковных вотчин.

В этот момент приоткрылась дверь, которая вела во внутренние покои, и вошла княгиня Ирина, жена воеводы, знавшая с его слов о посещении протопопа Аввакума. Она быстрыми шашками подошла к ним, низко поклонилась и смиренно замерла, не произнося ни слова. При ее появлении Аввакум будто преобразился, стрельнул глазами на княгиню и спросил:

— Кто будешь, раба Божья?

— Ирина, — негромко ответила княгиня.

— Супруга моя, — пояснил воевода.

Аввакум благословил и ее, подал руку для поцелуя, после чего сделал несколько шагов к двери, но чуть задержался.

— Помолитесь и за меня, грешного, не забывайте раба Божьего Аввакума в скорбях его, а я уж как есть молебен отслужу за ваше здравие.

— Благодарствуем, — ответил воевода и с облегчением вздохнул, когда вслед за протопопом закрылась входная дверь. Он так и не решил, имел ли Аввакум хоть какое-то отношение к убийству патриарших переписчиков. Знал ли он тех людей, решившихся на это?

И оттого на душе у князя сделалось вдруг беспокойно. Не за себе или собственную семью. Он вдруг понял, с появлением этого непримиримого попка с горящими, словно факелы в ночи, глазами, грядут новые времена. А вслед за ними случатся события, после которых многое изменится в Российском государстве, не успевшем еще окрепнуть после последней смуты, а уже, судя по всему, вызревали, копились там и сям сокрытые пока силы для новой сумятицы, что в очередной раз встряхнут основы государственные, проверяя его на прочность...

\* \* \*

Господь сказал: кто дал уста человеку?

Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не Я ли Господь? Итак пойди; и Я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить.

*Исх. 4: 11, 12*

За короткий срок пребывания в Тобольске Аввакум успел перезнакомиться почти со всеми настоятелями местных храмов. Но дружбу ни с кем из них не завел, поскольку все они встречали его с яв-

ным предубеждением, видя в нем если не богохульника, то человека, который воспротивился воле патриарха, что, по их глубокому убеждению, уже само по себе было преступлением. Местное духовенство, не имевшее постоянной связи с Москвой или иными центральными городами, плохо себе представляло суть задуманных и проводимых Никоном нововведений в церковной службе, да и, судя по всему, не очень тем тяготилось, не желая знать о тех спорах и усобицах, что велись по этому поводу в столичных приходах.

Немногочисленные тобольские церковнослужители были далеки от всего того, что делалось и происходило вне приделов их приходов. Многие из них оставили свои семьи на родине, опасаясь вести их в необжитой и суровый край. В свободное время от службы, которого у них было вполне достаточно, они в тайне от владыки занимались торговлей, скупая по дешевке у приезжающих на ярмарки остяков добрые меха, чтоб потом выгодно продать их по возвращении из Сибири. Но владыка, окруженный многочисленными наушниками, хорошо знал, кто чем из вверенного ему духовенства занят, но смотрел на это сквозь пальцы, понимая, одному ему это зло не изжить, а потому пусть все идет как идет. Более беспокоило его почти повсеместное пристрастие городских и в особенности сельских батюшек к вину, но далее устных выговоров и нареканий дело не шло, и жизнь текла, как и раньше: день прожит, и ладно.

Городским благочинным архиепископ Симеон непонятно чем руководствуясь, как считали многие, поставил протопопа Андроника, настоятеля нагорного Никольского храма. Он должен был вести всю отчетность по церковным сборам и проводить с батюшками других приходов духовно-нравственные беседы, читать Святое Писание, растолковывать им малопонятные места, проверять проповеди, приготовленные ими на те или иные праздники. Волей-неволей, но Аввакум должен был, как и все, нести заранее написанную проповедь к отцу Андронику, что было ему совсем не по душе. И все же, пересилив себя, он решил для начала переговорить с местным благочинным, а уж потом посмотреть, как сложатся обстоятельства и стоит ли вообще с ним советоваться.

Выбрав удобное время, когда в Никольском храме не было никого из прихожан, он наведлся туда и застал отца Андроника за работой. Тот сидел с непокрытой головой за небольшим столом в подсобном помещении и, скрипя пером, что-то записывал в раскрытой толстен-

ной книге. Был он слегка лысоват, а большая курчавая борода, судя по всему, давно поседела и со временем приобрела чуть желтоватый оттенок. О преклонном возрасте батюшки говорили и многочисленные коричневые пятна, рассыпанные по лицу. Особо в глаза каждому бросался его большой багровый нос, словно налитый свекольным соком, что знающему человеку без обиняков говорило о явном пристрастии батюшки к горячительным напиткам. Увидев вошедшего Аввакума, он отложил перо, степенно огладил бороду, чуть кашлянул и, слегка прищурившись, негромко поинтересовался:

— По делу ко мне или из любопытства?

Аввакум назвал себя и коротко сообщил, что по указанию архиепископа отныне он будет служить в Вознесенском храме вместо отца Аверкия.

— Неужто из самой Москвы пожаловали? Надолго ли к нам? — хитро прищурившись, спросил тот, и в его некогда голубых глазах блеснули льдинки решительности и непреклонности, что зачастую проявлялось у людей внешне миролюбивых, но непокорных, неуступчивых, в чем-то даже властных. И Аввакум понял, что разговор окажется трудным и непростым.

— То мне не ведомо, — вздохнул протопоп, — как патриарх распорядится, так тому и быть.

— Никак не поладил с патриархом?

— Есть маленько. Воспротивился его нововведениям, исправлению священных книг и всему прочему. Потому и тут оказался.

— Да как можно?! Патриарху не подчиниться — грех наипервейший. Значит, к нам на поселение тебя направили... Так, так... Как-то еще сана не лишили, а следовало бы. А я-то, дурень старый, обрадовался, что по своей воле к нам человек прибыл, помощником мне будет. Только не тот ты человек, который моим прихожанам нужен...

— Это почему вдруг не тот? — набычился протопоп. — Чем не вышел? Больше десяти лет священствую, и никто из прихожан пока обо мне слова дурного не сказал. Чем же вам, батюшка, негож показался?

— Слышали мы, слышали про твою службу. Развели там у себя на Москве свару великую и нас за собой тянете. Не выйдет. — И он вдруг неожиданно сунул под нос Аввакуму кукиш из трех пальцев. — Видел? Фиг тебе! Не желаю, чтоб прихожан настраивал супротив царя нашего православного. Не бывать тому!

— Как супротив царя?! — ахнул Аввакум. — Никогда ничего такого не было.

— Не было, так будет. Не желаю и слышать! Зря в Сибирь не ссылают. Всяких тут повидал за свою жизнь, а добрых не встречал.

Аввакум растерялся окончательно. После милостивого приема у сибирского архиепископа он никак не ожидал встретить подобное сопротивление со стороны пожилого батюшки, которому и жить-то, судя по всему, осталось не так много лет, а туда же, как орел на ворону, налетел на него. Небывалая злость овладела Аввакумом, и он, не в силах сдержать себя, брызгая слюной, закричал по-дикому выкатив глаза:

— Да кто ты таков будешь, чтоб мне указывать?! Чего видел в жизни своей?! Обо всем понаслышке знаешь, а туда же, судить-рядить вздумал. Меня, человека, за праведную веру пострадавшего, в грехах смертных обвиняешь, а сам, как погляжу, безгрешен, да? Слухам веришь. А какая цена слухам тем? Тьфу и растереть! Как смеешь против воли сибирского владыки идти?! Да он скорее тебя на покой отправит, чем свою волю изменит. Пуп земли нашелся! Тоже мне, праведник, видали мы таких.

Тут он внезапно остановился, чувствуя, как его бьет мелкая дрожь, и вытер тыльной стороной ладони испарину, выступившую на лбу. Поискал глазами воду, чтоб напиться и, оглянувшись, увидел, что позади него стояли несколько человек, судя по всему, церковнослужители, которые испуганно слушали его гневную речь и не знали, как им себя вести.

— Чего выдупились? — сердито, но уже без прежней злобы спросил он. — Лучше попить дайте, а потом уж глазейте. Не вашего то ума дело, о чем мы с вашим настоятелем разговоры ведем.

Высокий рыжеватый диакон средних лет осторожно кашлянул и обратился к отцу Андронику:

— Что скажете, батюшка? Может, стражников позвать да вывести его вон?

— Сам уйдет, — устало махнул рукой тот, — дайте ему напиться да и проводите с Богом. А ты, мил-человек, — обратился он к Аввакуму, — прости меня, коль в чем не прав. Может, сгоряча чего и лишнее сказанул. Но и ты меня пойми. Прошлым летом направил мне владыка такого же ссыльного поселника, как и ты. Он с месяц у меня на клиросе в певчих служил, а однажды ночью обокрал храм,

и только его и видели. Из утвари церковной взял столько, сколько унести мог. А самое главное, вызнал, где хранятся общинные деньги, замок с сундука сбил и без копейки нас всех оставил. Как теперь верить людям после этого? Ты не горячись, не горячись, — поднял он руку в сторону Аввакума, заметив, что тот собирается что-то возразить. — Твое слово всего лишь словом и останется. Лучше послушай, что я тебе скажу. Супротив владыки, ясно дело, не пойду, но и тебя принять без соответствующей на то грамоты не могу. Пушай владыка наш поручится за тебя и мне о том отпишет. Тогда поглядим. Но дам добрый тебе совет: лучше иди на послушание в Знаменский монастырь. Там, таких, как ты, много проживает. Про всех сказать не могу, но есть и на тебя похожие. В монастыре для тебя самое место и будет, лучше не сыскать.

Тем временем молодой парень молча протянул Аввакуму ковш холодной воды, и тот торопливо сделал несколько больших глотков, вернул ковш, оправил слегка вымоченные усы и сдержанно ответил:

— И ты, батюшка, прости меня за горячность. Видит Бог, что не по своей воле здесь оказался и никаких вин за собой не вижу. Может, и к лучшему, что так вот откровенно все мне высказал, наперед знать буду, что у вас здесь за порядки. О разговоре нашем непременно все владыке обскажу, а там пусть он решает. Но и ты пойми меня: вслед за мной жена с детьми малыми вскоре приехать должна, нелегко мне их без гроша за душой прокормить будет. Мне их содержать требуется, как должно мужу по всем христианским законам. А ты мне на послушание в монастырь идти советуешь. А детей куда? На паперти посадить милостыню просить? А что с вором меня спутал, то не твой грех, за то не сержусь. Нынче люди, как звери, каждый норовит от другого для себя кусок посытней урвать. Только я не таков буду, в жизни чужого не брал и брать не собираюсь. Да что говорить, ко мне в храм на службу чуть не пол-Москвы собиралось, а когда проповедь говорил, то все как есть плакали и в великое умиление приходили. Можешь о том любого спросить.

— Ладно, ладно, забудем, что друг дружке наговорили. Не мной сказано: обжегшись на молоке, и на воду дуешь. А проповеди твои сам бы с радостью великой послушал. Ты вот что, напиши, чего говорить после службы станешь, да и отправь ко мне с кем. А я и прочту. Годится?

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

— Ты, батюшка, как погляжу, бумаге больше веришь, чем человеку. Но будь по-твоему. Составлю проповедь, только ты скажи мне, какую тему из Евангелия выбрать.

— А возьми, к примеру, притчу о блудном сыне да и обскажи на свой лад, как ее понимаешь. Согласен? — хитро прищурился он, и Аввакум понял, что Андроник не так прост, как показался ему в начале разговора.

— Почему бы и нет, согласен. Составлю проповедь и на бумаге изложу. Срок какой мне даешь?

— Пары дней хватит? Поди, помнишь, что там, на Москве, говорил, вот и изложи все.

— Должно хватить, — думая уже о чем-то своем, ответил протопоп и, поклонившись, направился к выходу. — Прощайте покуда. Свидимся еще.

Стоящие в проходе церковнослужители молча расступились, с интересом глядя на него. Подойдя к церковным дверям, протопоп истово перекрестился на блестевший у противоположной стены иконостас и, не оглядываясь, вышел на улицу, ощущая на себе взгляды служителей.

Аввакум, как и обещал, через два дня сам принес проповедь о блудном сыне и с нетерпением ждал, когда тот с ней ознакомится. Наконец дня через три за ним явился посыльный, сообщивший, что благочинный просит прибыть его на другой день к нему сразу после окончания заутрени. Аввакум с вечера намазал салом свои выдавшие виды сапоги, надел новый подрясник и отправился к началу службы. День был будний, и прихожан собралось не более двух десятков человек, которые, впрочем, постояв некоторое время, тихонько пятились к дверям и незаметно исчезали. Вскоре в храме осталось лишь несколько древних старух, которых, судя по всему, не ждали домашние дела, и они терпеливо стояли каждая в своем углу, подпевали в нужных местах диакону и степенно крестились.

Когда после окончания службы отец Андроник проследовал, уже сняв с себя верхнее облачение, в подсобную комнатку, то вслед за ним вошел, не дожидаясь приглашения, и Аввакум. Благочинный сидел на том же месте, что и в прошлый раз, и держал в руках написанную Аввакумом проповедь. Некоторое время он молчал, а потом, словно решившись на что-то, коротко глянул на протопопа и произнес негромко:



— Не ожидал от тебя, что столь подробно изложишь все, не ожидал.

— Что, не понравились мысли мои? — осторожно осведомился Аввакум.

— Я этого не говорил. Тем более вижу, что ты zelo горяч и не выдержан. Как тебе правду-то сказать? Осерчаешь, чай?

— На правду грех обижаться. Да только кто знает, где она, эта правда, то одному Господу известно.

— Ну, я не Господь Бог, но в проповедях кое-что понимаю и Евангелие могу хоть наизусть от корки до корки пересказать, а потому спрошу тебя, сын мой, откуда ты все взял, что у тебя в проповеди изложено?

— Как откуда? — поразился вопросу Аввакум. — Из Евангелия и взял. А что не так?

— Много чего не так, — неопределенно ответил отец Андроник. — Вот хотя бы... — Он отнес исписанные листы подальше от глаз на расстояние вытянутой руки и, прищурившись, прочел: — «Блажен тот будет, кто в дом свой обратно после странствий долгих вернется». В Евангелии ничего подобного нет. Или, может, отстал я, старый, от жизни? Может, иное теперь пишут, что мне неизвестно?

— Таких слов точно нет в Евангелии, то мной говорено. Но что с того? Разве не обретает радость тот, кто в дом свой возвращается после странствий?

— Это так, — согласился отец Аверкий, — но ты-то о блаженстве пишешь! А заповеди блаженства, что в Нагорной проповеди Иисусом Христом были сказаны, все как есть перечислены, но твоих слов там нет и быть не может! Как же ты, грешник, посмел добавить свои слова туда?

Батюшка постепенно распалялся, и Аввакум понял, что и на этот раз разговор будет непростым, и чем все это закончится, сказать трудно. Но и он не хотел уступать, тем более что подобную проповедь он говорил в свое время перед самим царем Алексеем Михайловичем, и тот премного остался доволен, не усмотрев в ней ничего кощунственного. Но как объяснить это твердолобому батюшке, который привык чувствовать себя хозяином не только в своем приходе, но и в городе, и не приемлет иного толкования Евангелия, к чему он привык сызмальства?

— Позвольте, позвольте. — Протопоп и не думал сдаваться. — А как же толкования святых отцов, которые слово «блажен» нередко используют в посланиях своих?

— Ну, тебе-то до них далековато будет, — решительно отрезал настоятель. — Ишь ты каков! С отцами церкви вздумал себя сравнивать! То грех-то великий! Предерзкий ты человек, однако. Как же тебя там, в столице, к службе допускали с подобными высказываниями?

— А так и допускали, — с вызовом ответил Аввакум, — вас потому как не спросили. И на проповеди мои народу собиралось по несколько сот человек, а не то что у вас сегодня, два с половиной калеки стояло.

— Да ты, как погляжу, не только человек предерзкий, но и старших уважать не приучен. Хорошо, оставим это место с блаженством на твоей совести, а поглядим далее. Что ты тут еще пишешь? А, вот: «Так случится с каждым, кто во блуде рожден, и проклят будет род его...»

— Истинно так, — перебил батюшку Аввакум, — ибо сказано, что ляжет грех родителей на плечи твои и нести его будут многие колена из рода, согрешившего перед Господом.

— С этим не спорю, но откуда ты, грешная твоя душа, взял, будто отрок тот, о котором сам Христос говорил, рожден во блуде? Чего-то не припомню в притче сей. Отсебятину несешь без стеснения всякого и спорить еще со мной норовишь.

— Да как же не спорить, когда в Евангелии написано: «блудный сын»! А кого мы так зовем? Тех, которые во блуде рождены. — И Аввакум с видом победителя глянул на обескураженного его неотразимым доводом отца Андроника. Потом, оглянувшись, увидел, что, как и в первое его посещение, в каморку неслышно вошли несколько человек в церковных одеяниях, что не так давно участвовали в богослужении. Они настороженно и с нескрываемой неприязнью смотрели на него, видимо, ожидая лишь знака настоятеля, чтоб вмешаться в их спор.

— И вас нечистый принес, — недобро зыркнул Аввакум в их сторону. — Кто звал? Пошли вон!

Но служители и не думали уходить, а наоборот, придвинулись к нему ближе, и он ощутил на своем лице их жаркое дыхание.

— Ты чего это вдруг в моем храме раскомандовался? — наконец обрел дар речи отец Андроник. — Что себе позволяешь?! Сейчас тебя самого вон выгоню, не погляжу, что владыка направил. Своевольничать никому не позволю. И проповедь твою отнесу самолично архиепископу, пускай почитает, какую ересь ты написал. А не поможет, в Москву самому патриарху отправлю. Сибирь, она, знаешь ли,

нашим краем не заканчивается. Имеются места пострашней нашего. Как бы тебя не отправили туда, где Макар овец не пас. Тогда узнаешь, почем фунт лиха.

— А ты меня не страшай, видали мы таких. И проповедь мою отдай, не купил покуда. Да она и не продается. Не тебе ее руками нечистыми держать. — С этими словами Аввакум вырвал из рук настоятеля исписанные листы и сунул за пазуху.

— Ах, ты так?! — вскричал настоятель и вскочил на ноги. — Хорош гусь, хорош! А я еще думал, что вразумлю тебя, исправим вместе проповедь твою и выступишь с ней перед народом. А ты уперся так, что и пяди уступать не желаешь. Если ты так себя и с патриархом вел, то понятно, как и за что здесь оказался.

— Нечего возводить на меня напраслину, чего не было! Патриарх сам по себе, а я как есть сам по себе. А за что и как я здесь очутился, то Господь рассудит, не вашего то ума дело, судьями вас никто пока что не приглашал. Да и о том не спрашиваю, как вы-то здесь оказались. В Сибирь, как мне известно, уважаемых людей не отправляют, и по своей воле мало кто сюда едет. Так что, батюшка, как у нас в селе говаривали: «Чья бы корова мычала, а ваша бы молчала». Так-то!

— Ах, ты вон как заговорил! Не ровня мы с тобой, чтоб рядиться, кто за что в Сибирь попал. Только одно тебе скажу, ты обо мне ничегошеньки не знаешь и знать не можешь, а про твои заслуги уже от многих людей наслушался.

— Бабы сплетни! — громко закричал протопоп, понимая, что теперь ему уже обратной дороги нет и с этим упрямцем общего языка он никак не найдет, а потому терять ему уже нечего.

— Про тебя тоже любой скажет, отчего и за какой грех пострадал. Сказать или не надо? — Аввакум вытянул вперед руку и указательным пальцем почти ткнул в нос отца Аверкия. — Сизый нос сам за себя обо всем говорит. Много я таких сизых носов насмотрелся, и разве что малец не знает, по какой причине он такой цвет имеет. Что, не нравится? А вам кем право дано говорить, что и о ком думаете? Я такой же священник и духовник и исповедовал ни кого-нибудь, а самого царя православного, который мне все свои грехи доверял. И отпускал ему их, как всякому смертному. И каялся, и плакал он передо мной на коленях, вот о том действительно все знают и помнят. А недруги у каждого есть, а потому пострадал я от них за правду великую, о чем вы и догадаться не смеее.

Чем дальше он говорил, тем более грозный вид принимал отец Андроник, глаза которого постепенно наливались кровью, а и без того сизый нос сделался пунцовым и набряк, словно спелая ягода. Неожиданно он схватил стоящий рядом подсвечник и запустил им в Аввакума, но тот удачно увернулся, и подсвечник пролетел мимо, ударившись о стену, и с гроыханием упал на пол.

— Хватайте его! — закричал он во весь голос и кинулся на Аввакума, смешно раскинув руки, будто хотел обнять того.

Аввакум же отскочил в сторону, толкнул стоящих в проходе служителей и выскочил из церкви на улицу, отдышался и зашагал прочь, слыша, как за спиной его снова скрипнула дверь и раздался голос отца Андроника, кричавшего что-то ему вслед. Но он даже не оглянулся, понимая, что вряд ли когда-то найдет с благочинным общий язык и взаимопонимание.

— Вот и живите, как овцы в стаде. Уже приготовлены кипящие котлы со смолой для вас, и огонь адский под ними бушует, а вы антихристу собрались «Аллилуйя» петь! — проговорил он в сердцах, ни на мгновение не сомневаясь в своем предвидении и правоте.

\* \* \*

Приближающееся Рождество все семейство решило отметить скромно и никого из гостей не звать. Самому Аввакуму предстояло служить литургию, а потому вернется он только ранним утром, и вряд ли дети, набегавшись за день, дождутся его. Да и самой Марковне с младенцем на руках трудно будет справиться со всеми приготовлениями, а если еще рассчитывать на гостей, то и вовсе вещь немислимая. Одна лишь Марина желала шубного веселья и заранее предупредила, что если Тихона опустят со службы, то он встретит Рождество вместе с ними, потому рассчитывать на ее помощь особо не приходилось. Супруги долго прикидывали и так и эдак, как можно выйти из затруднительного положения, здравую мысль, как всегда, подсказала Марковна, предложившая:

— А ты старшеньких-то возьми с собой, в алтарь заведи, пусть привыкают к отцовскому служению. А ближе к полуночи мы с Гриппочкой и Корнеешкой подойдем...

— И я с вами тогда, — подала свой голос Маринка, — что ж я тут одна, что ли, останусь? Ни друзей, ни подруг пока что не завела, а такую ночь одной встречать страшновато мне будет.

Аввакум улыбнулся, глянув на племянницу, и, прибавив голосу суровости, назидательно сказал:

— Молодые девки, покуда замуж не вышли, дальше дома ходить не должны. Это мы тебе волю несказанную дали: хочешь — пойди туда, а захотела — еще куда-нибудь. Так и до греха недалеко...

— Какой же это грех, — не сдавалась Маринка, — я же с тетенькой вместе в храм пойду, с детьми помогу. Каково ей одной в гору переться да еще грудничка с собой тащить!

— И впрямь, батюшка, вместе и придем, не одну же ее с тараканами в пустой избе оставлять, — согласилась с ней Марковна.

— Туда ладно, придете, а обратно как? Я же службу не брошу, чтоб вас до дому везти.

— И не надо, мы как устанем, так я старшеньких с собой заберу и прямым ходом обратно в дом, здесь тебя дождемся.

Аввакум покрутил ус, подумал, не хотелось ему, чтоб женщины с малыми детьми ходили без него по ночному городу, но иного выхода и впрямь не было. Больше всего ему понравилось предложение Марковны: вести Ивана и Прокопия в алтарь, куда он их пока что ни разу не брал. Одного боялся: как они там себя поведут, не натворят ли чего. Если за старшего он был спокоен, то Прошка, не привыкший сидеть на одном месте, обязательно что-нибудь набедокурит. А ведь там святые сосуды, Дары Господни для причастия приготовлены будут. Не дай бог, перевернет или расплещет хоть капельку, и не миновать скандала.

Но Марковна стояла на своем:

— А ты им все объясни, присматривай, где надо, они у нас ребятамышленные, с первого разочка все поймут.

Иван с Прохором, сидевшие здесь же, с восторгом слушали родительские разговоры и переглядывались друг с дружкой, представляя, как они вместе с отцом окажутся на Рождество в алтаре, попасть куда ранее они и не мечтали. Аввакум с улыбкой поглядывал на них, в душе соглашаясь с доводом супруги, но соглашаться с первого раза было не в его правилах. И поэтому он, хотя и смирился, но выдвинул последний свой аргумент:

— Служки должны в алтаре в специальных одеждах находиться, а где мы их возьмем?

Марковна, поняв, что муж принял ее доводы, успокоила его:

— Все, батюшка, сделаем, найдем им одежонку должную, нарядим как надо, не хуже других будут. Зато знаешь какой праздник для детишек тем самым устроишь?

Аввакум ничего не ответил, посмотрел на светящиеся от счастья лица старших детей и скомандовал:

— А ну-ка, давайте молитвы читать, а то в дороге, пока меня не было, поди, все и позабывали...

— Помним, батюшка, помним, — радостно ответили те, — с которой начинать?

Нерешенным оставался вопрос о том, что подавать на праздничный стол. Здесь, в Тобольске, угощения готовили совсем не те, что было принято у них на Родине. Марковна с Мариной уже побывали на местной ярмарке и удивились обилию всяческих яств. Товары там продавали целыми кадушками: соленые грибы, морошка, клюква, красная рыба и много еще из того, что для них, приезжих, было в новинку. Отдельно на возах лежали ободранные туши быков, баранов, поросят и множество боровой птицы. Причем цены, как отметила Марковна, были в несколько раз ниже московских. Они прошлись по рядам, присматриваясь и спрашивая цены на товар, но брать, не посоветовавшись с Аввакумом, не решились. Но когда Марковна предложила ему сходить вместе за покупками, тот отказался, ссылаясь на занятость. Хотя истинная причина его отказа была Марковне хорошо известна: он терпеть не мог торговаться и сбивать цену, как это обычно было принято между покупателями и продавцом, тем более он плохо представлял себе, сколько и чего нужно брать, и беспрекословно подчинялся супруге во всех домашних делах. Но ей хотелось просто пройтись с ним по базарной площади, поговорить не только о домашних делах, но и пообщаться с людьми, увидеть новые лица, прислушаться к новому для нее говору, обычаям местных жителей. А идти одной или даже с Маринкой стало настолько обыденным делом, что в преддверии наступающего праздника хотелось новых ощущений и, самое главное, радости, чего она давно не испытывала.

Вот и сейчас, сколько она ни старалась убедить мужа в необходимости его присутствия при сем важном деле, но он оставался непреклонен:

— Не пристало духовному лицу торговаться прилюдно, словно смерд какой. Будут потом мне в спину пальцами тыкать, говоря, а мы

вчера этого батюшку видели, когда он цену у знакомого мужика сбивал, видать, подают ему мало, коль каждую копеечку сбивает...

Марковна, поняв, что ничего у нее не выйдет, все расспросила у Аввакума:

— Ты мне главное скажи, сколько потратить можно, а то ведь наших запасов, что с собой брали, до весны все одно не хватит.

— Откуда я знаю, — вспыхнул тот, — чего нам хватит, а чего нет. Не пристало мне голову забивать заботами вашими, решай все сама, но и ума не теряй, чего попало не бери, обойдемся как-нибудь.

Марковна всплеснула руками, хотела возразить, что при денежной скудности, в которой они пребывали, ни одна хозяйка не возьмется накрыть праздничный стол. И тут она неожиданно вспомнила:

— А в сенках у нас поросенок освежеванный хранится, то ты приготовил? Что-то на тебя не похоже. Откуда он взялся?

— Тьфу на этого поросеночка, я с ним чуть впросак не попал, подсунул мне его помощничек один. Сказал, будто бы до утра, а утром стражники пожаловали, сказали, будто бы ворованный...

— Да как же это так, — не поверила ему Марковна, — чтоб в нашем доме и ворованный поросенок, который день лежит, чего ж ты его хозяину не вернешь?

— Да спрашивал я его уже, велел забрать, он обещал, а все не идет.

— Еще раз напхни, на дух мне его не надо, грех-то какой, — сокрушалась Марковна.

— Напоминал не раз, — вдруг сникнув и отвернувшись в сторону, отвечал Аввакум, а он, пройдя этакая, речи льстивые говорит, что это подношения его за мою службу. Видать, есть за ним какой-то грешок, который скрыть хочет. Вот и подмасливает, поросенок пожертвовал, видать, надеется, что не так строг буду, когда он на исповедь заявится.

— Ты уж давай доводи дело до конца, а то выбрасывать добро такое грешно, а хранить у себя ворованное — вдвойне грешнее. Как же ты так не углядел беды?

— Да пойдя их разбери, где правда, где кривда, — так ничего и не решив, ответил Аввакум и направился к детям, ждущим, когда он займется с ними повторением молитв...

Купец Самсонов, чей поросенок благополучно пребывал в закромах Аввакумова хозяйства, так и не пожелал забрать причину

случившегося раздора, сославшись на то, что он не уверен, его ли он будет. Да еще прислал вместе со своим дворовым человеком пару здорствующих нельм, сказавши, что то его бескорыстный дар для батюшки его семейства. Поэтому Аввакуму ничего другого не оставалось, как смириться и заявить жене, чтоб она садила пороса в печку и готовила к праздничному столу. Марковна к этой затее отнеслась с большой неохотой и, не сказавши о том мужу, попросила Устинью сбыть с рук этот нечаянный дар, а взамен найти для старших сыновей приличную одежонку, в чем бы они и могли пойти в храм. Соседка охотно согласилась, прикинув, что наверняка поимеет с этого выгоду, и уже на другой день принесла два шитых атласными нитками полукамзола, которые обоим сыновьям пришлось впору.

«Грех это или нет — то, как я поступила, — думала про себя Марковна, — но пусть этого свина другой кто к себе на стол ставит. А права я или нет — Господь рассудит...»

Жизнь научила ее быть осторожной в подобных делах, и хоть говорится, будто бы дареному коню в зубы не смотрят, но она знала, поступи она сегодня, не разобравшись во всем произошедшем, а завтра или когда там, такие дары могут большой бедой обернуться. И хоть не ее бабское это дело — мужу перечить, но случись что, припомнят ей этот грех коль не люди, то сама себе не простит и будет беспрестанно вспоминать, верно ли она поступила, а как учила ее мать: «Что Богу не угодно, то и нам непригодно».

Наконец, настали Святки, к чему все так долго готовились, деток накануне помыли в деревянном корыте, взятом все у той же сердобольной Устиньи. Сполоснулись и остальные члены семейства, недели свежее исподнее белье, сыновьям частым гребнем расчесали их пышные льняного цвета волосики и даже младшенького, Корнилия, замотали в расшитые пеленки. Ненадолго все расселись за столом, прочли общую молитву, и Аввакум вместе со старшими сыновьями отправился в свой храм, ведя их за руки. Марковна вышла на крыльцо и с умилением смотрела им в след, крестя широким крестом, и шептала тихонечко: «Помоги им, Господи, пошли судьбу нетяжкую, что нам выпала, а такую, чтоб жили достойно, без вражды и тяжких испытаний. Век за то молиться буду, лишь бы дитятки мои радость в этой жизни испытали и, как мы, по чужим углам не маялись...»

Маринка уже спешила накрывать на стол, выставляя заранее приготовленные кушанья, посередине стоял, украшенный зеленью,



запеченный гусь, обложенный солеными огурчиками, рядом моченые ягоды, пышные пирожки и сочиво, с которого должно было начаться праздничное угощение, отдельно были приготовлены праздники для нищих и гостей, если кто вдруг наведается в гости.

Марковна невольно залюбовалась делом рук своих, осталась довольна и велела Маринке начать собираться.

— Да я, тетенька, уже готова, надо только Тихона дожидаться, он очень просился с нами на службу пойти.

— Еще не жена, не невеста, а уже вместе гулять собрались, — ворчливо отвечала Марковна, — что люди-то скажут.

— А что хотят, пусть то и говорят, нам-то что до того, — ничуть не смутясь, отвечала та.

— Гляди, девка, как бы это все против тебя не обернулось, — пыталась образумить ее Марковна, — он казак, человек служивый, сегодня здесь, а завтра там, останешься одна, тогда уж точно никто на тебя не глянет, а станут порченой считать, вот тогда запоешь.

И словно услышав ее слова, распахнулась дверь, и в дом вошел принаряженный Тихон в новой белой папахе, припоясанный широким красным ушаком с серебряными бляшками на концах. Он, ни слова не говоря, стоял в дверях горницы и широко улыбался.

— И точно жених, — засмеялась Марковна, — легок на помине.

— Едва вырвался, — отвечал тот, — как-никак праздник, а меня хотели в караул поставить, но как сказал, что невеста ждет, так атаман подобрел, говорит, коль такое дело, то ступай до утра.

— Пусть только попробовал бы не отпустить, — с вызовом кричала Марина, прильнув к жениху, — я бы ему все высказала, никуда бы он не делся!

— Ой, горяча ты больно, не дойдет до добра горячка твоя, — покачала головой Марковна, — молиться надо, тогда все и сладится.

Они быстро одели Агриппину, подхватили спящего Корнилия и отправились на гору, где уже ударили церковные колокола, призывая народ на праздничную службу.

На другой день, когда все выспались после бессонной ночи и краешек солнца начал опускаться за кромку густого леса, на противоположном берегу реки, Аввакум сообщил детям, что поведет их кататься с ледяной горы, где, как ему говорили, были специально вморожены в дно реки высоченные столбы, обшитые плахами и залитые водой. Дети радостно запрыгали, спеша нарядиться в праздничную одежду,

но Марковна воспротивилась и велела брать что-нибудь из повседневной, старенькой одежки, поскольку знала, чем такие катания заканчиваются. А те и не возражали, насидевшись за зиму дома, они были рады любой возможности побегать, порезвиться, а уж скатиться с горы и вовсе казалось им чем-то необычайным и заманчивым.

— Смотри там за ними, я уж с вами не пойду, чтоб шишек на лоб не набили, горы, поди, крутые, побьются все.

— Ничего, я их к себе привяжу и отпускать не стану, так что особо не переживай, вернемся целехонькими.

— Как же, знаю я вас, береги их, батюшка, далеко не отпускай.

— Да уж знаю, знаю, а коль слушаться не станут, тут же обратно и вернемся.

Вернулись они поздно, раскрасневшиеся, но донельзя счастливые и, конечно, не без синяков, но Марковна не стала выговаривать им за это, а тут же посадила к столу, сама стояла у печки и с радостью смотрела, как они подросли за короткий срок, возмужали, а скоро и совсем станут взрослыми.

«Господи, сделай так, чтоб хотя бы раз в году было у нас на душе и в доме радостно и никаких других забот, кроме этих, не было. Господи, все в твоей воле, сохрани и помилуй чад наших...»

А чада Аввакумовы тем временем уминали за обе щеки праздничные угощения и ни о чем дурном не думали, считая, что и дальше жизнь их будет состоять из сплошных праздников и веселья.

А Божий ангел, не видимый для людей, радовался вместе с ними, ему-то было известно, что радости этого семейства скоро закончатся, и будут новые тяготы, и сам он изменить что-либо не в силах, а может лишь сопровождать их, оберегать в меру сил и печалиться, прося заступничества у небесных сил за неразумных людей, ничего не подозревающих о своих дальнейших судьбах...

\* \* \*

...На другой день он побывал у владыки Симеона, который принял его радушно, сообщил, что готовится сразу после Рождества отбыть в Москву на созванный патриархом собор и посоветовал Аввакуму в его отсутствие вести себя более осмотрительно и сдержанно.

— Мне уже доложили, что произошло у вас с отцом Андроником, — сказал он, пристально глядя на Аввакума. — Не мог сдержаться? Он как-никак благочинный и к нему уважение проявлять

следует. Да и тебе в отцы годится. А ты его... частил, как свинопаса какого... Не дело это, ох не дело...

Аввакум этому известию ничуть не удивился, понимая, утаить от владыки что-либо трудно. Донесут мигом, да еще и приукрасят на семь рядов. Однако чувствовал, пока что владыка находится на его стороне, хотя бы потому, что тоже не в восторге от нововведений патриарха и ждет, чем закончится спор в церковных верхах.

— Виноват, ваше высокопреосвященство, — покорно склонил он голову, — но и благочинный ваш хорош, даже слушать меня не захотел, а обвинил чуть ли не во всех грехах смертных. Как с ним говорить после того? Оттого наша ссора и вышла.

— Ой, гляди, не кончишь добром, если вот так со всеми лаяться начнешь, — покрутил головой владыка, мысли которого были явно заняты предстоящими сборами к отъезду. — Ты уж, голубь мой, веди себя осторожней, не зарывайся. Мне и своих бед хватает, а коль еще и ты начнешь свой норов по каждому случаю проявлять, то много мне лишних хлопот создашь. Слышал, у воеводы успел побывать? И правильно, он человек разумный, в обиду не даст, если чего не так пойдет. Чуть чего, ищи у него заступничества, пока что я далеко отсюда буду. Ну, прощай покуда...

— Благословите, владыка. — Протопоп опустил на колени и чуть прикрыл глаза, не зная, что преподнесет ему судьба после отъезда архиепископа, понимая, что здесь без надежного покровителя выжить будет трудно, если держаться той правды, которая вела его по жизни и пока что доставляла лишь одни неприятности...

## Часть третья

### НЕУТОЛИМЫЕ ПЕЧАЛИ...

И удаляй печаль от сердца твоего,  
и уклоняй злое от тела твоего.

*Еккл. 10, 11*

Сразу после рождественских праздников владыка Симеон стал собираться в Москву на очередной собор, созываемый патриархом Никоном. Распоряжаться хозяйственными делами он оставил приказного Григория Черткова, а вся переписка с приходами, как и ранее, оставалась в ведении архиерейского дьяка Ивана Васильевича Струны. Им двоим и предстояло вершить дела обширнейшей Сибирской епархии во время отсутствия архиепископа.

Аввакум, улучив момент, когда в покоях у владыки Симеона никого из посторонних не было, заглянул к нему с просьбой передать письменные послания своим знакомцам в Москву. Тот принял, хотя и погрозил ему пальцем со словами:

— Надеюсь, ничего крамольного в них нет?

— Так как на то посмотреть... Один крамолой живет и дышит, но скрывает, а другой от грехов своих избавиться норовит, вон их от себя гонит. Кому из них больше веры?

— О том Бог на небесах рассудит, — отмахнулся владыка, который вовсе не испытывал желания вступать в споры с языкастым протопопом, умевшим повернуть любую фразу, как скорая в своем деле баба любимое веретено, так что и не разобрать, в какую сторону оно крутится.

Аввакум хотел было уходить, но был остановлен вопросом архиепископа:

— Поди, уже слышал, весть пришла, напали на след тех крамольников, поубивавших переписчиков патриарших...

— Неужто поймали? — встрепнулся тот.

— Пока нет, но теперь уже доподлинно известно, кто они есть. Воевода тюменский правильно сыск повел и всю правду о них узнал...

— Кто ж такие будут?

— Казаки откуда-то пришлые. То ли с Волги, то ли с Дона. Хотя, думается мне, могут и с Яика заявиться. Кто их разберет... Откуда они взялись, пока что никто толком не знает. Но приметы их срисовали точнехонько. Те еще вертлюги, эти станишные, вечно чем-то недовольны. Очень уж знать желали, где при монастыре присланные от патриарха переписчики находились. Они же и напоили караульных монастырских, а потом после кровавого дела своего и поджога той келейки исчезли, словно на крыльях куда улетели.

Аввакуму тут же вспомнил двух казаков в больших мохнатых шапках, появившихся вдруг накануне тех трагических событий возле ворот Троицкого монастыря, на которых он еще тогда обратил внимание. Но сообщить о том архиепископу он не решился, а лишь предположил:

— Поди, затаились где. Дороги-то, как мне известно, все давно перекрыты. Куда им деваться? Заперлись у знакомцев кого, а то и родни по домам и сидят себе тихонечко...

— А может, и не казаки совсем, а слух пустили, чтоб на них вину свалить. Не верю я местным мужикам, доброго кого среди них редко сыщешь. Но все одно, кто б они не были, а такие вряд ли надолго успокоятся. Есть у меня опасения, что продолжат они свое черное дело, а отвечать за все не кому-нибудь, а мне придется. Если, конечно, не сыщем их... Хотя воеводские приставы уже по ближним деревням сыск провели, всех старост местных в съезжую избу посвоили да с пристрастием их там допросили. Но толку от того никакого. Старосты в голос, будто не знают, кто бы это мог быть. Божатся, что не из их деревень мужики на такое пошли, мол, наверняка кто из приезжих.

— А коль они замазаны одной кровью? Такие молчать будут, словно языка их лишили. Знают, чего их ждет, коль признаются.

— То пусть приставы решают. Тебе же о том говорю, чтоб приглядывал тут за чужаками, коль в твоём приходе кто объявится. Уразумел?

— Понял, как не понять, — согласно тряхнул головой Аввакум. — Только человек я здесь новый, мало кого знаю. Может, оставите до весны отца Аверкия? Ему тут каждый, словно сын родной, мигом чужаков отличит...

— Не дело говоришь, двоих вас на одном приходе оставлять резону нет. Так что сам управляйся, привыкай...

Аввакум поклонился, подошел под благословение и на том простился с владыкой, пытаясь переварить и осознать все услышанное.

За дверью ему встретился келейник Спиридон, что робко стоял, прислонясь к стене и опустив голову с видом провинившегося человека.

— Чего, Спиридонушка, не весел, добру голову повесил? — пошутил протопоп. — Поди, в Москву вместе с владыкой поедешь? Радуйся, на мир поглядишь, себя как есть изобразишь... Гляди веселей!

— Не берет меня владыка с собой, — не поднимая головы, ответил Спиридон.

— Чего же так? Аль провинился в чем? Ну-ка, признавайся. — И он ткнул келейника пальцем под ребро.

Тот от неожиданности ойкнул, скривился, но ничего не ответил. В этот момент мимо шла главная кухарка Дарья, что слышала отрывок из их короткой беседы и не преминула вставить:

— Опростоволосился наш Спиридончик, застал его владыка за блудным делом, потому и не берет с собой.

— Да ничего такого и не было, — вспыхнул не знающий, куда деваться, бедный келейник, и щеки у него тут же густо покрылись алым цветом.

— Было не было, поди теперь докажи, — хихикнула Дарья и подмигнула протопопу. — Зажал бедную Лушку нашу в темном уголке, и целоваться к ней лез, — сообщила она интересные подробности, — а тут, откуда не возьмись, Семушка наш собственной персоной пожаловал да и изловил их. Вот и не захотел после того с собой на Москву брать. Мне, говорит, такой келейник, что баб щупает, не нужен. Ладно, совсем со двора не прогнал...

— Не может быть! — не в силах скрыть улыбки воскликнул Аввакум. — Чтоб наш тихоня — и вдруг...

— Вот-вот, и я о том же, — подхватила Дарья, — владыка едва чувств не лишился, когда увидел, как келейник кухарку мою за титьки тискает! Стыдоба то какая! Ежели дальше так пойдет, так он всех баб в околотке перещупает...

— И вовсе я ее за ти... за те места, — поправился Спиридон, едва не произнеся стыдное слово, — показалось владыке все. Вот вам истинный крест!

— За те, за те самые места и щупал, — не унималась Дарья, — знаем мы вашего брата, только допусти, мигом своего добьются, а потом и узнавать перестанут, словно так и положено.

— О ком это ты, матушка? — Протопоп не упустил случая подколоть бойкую кухарку. — Кто ж это с тобой после того случая вдруг да здороваться перестал? О ком таком гуторишь?

Теперь уже настала Дарьяна очередь вспыхнуть пунцовым светом, она отмахнулась от Аввакума висящим на руке полотенцем и хитро сощурилась:

— Может быть, и о вас, батюшка. Как знать... Вы ведь тоже все норовите мимо прошмыгнуть, доброго здоровья бедной вдове сроду не пожелаете.

— Это кто у нас тут такая бедная и несчастная? — подступил к ней поближе протопоп и попытался ущипнуть за бок. — А ну, признавайся, когда это я тебя добрым словом не одарил?

Но та, словно ожидала от него нечто подобное, ловко увернулась, огрела его по лицу полотенцем и заспешила в свои кухонные покои, бросив через плечо на ходу:

— Все вы кобели одинаковые, хоть в рясе, хоть без нее, лишь бы дорваться до бесплатного. А толку с вас никакого, одни пустые слова да побасенки...

Аввакум громко расхохотался, чем привел в полнейшее смущение продолжавшего стоять неподвижно Спиридона.

— Видал, какая?! Огонь, а не баба. Вот подпадешь под такую, житья не даст, во всем верховодить начнет. Берегись, сын мой, а то добром дело не кончится...

— Да я чего... — проямлил тот, — я поговорить с Лукерьей хотел. Просил ее, чтоб рубаху мне заштопала, а то изорвалась вся уже. — С этими словами он потянул на себе рубаху и показал на здоровущую дыру под мышкой.

— А сам-то, что ли, не можешь? — улыбнулся Аввакум, хотя для него такая задача была тоже трудновыполнима. — Так и есть, сперва рубаху тебе зашьет, а потом и к себе пришьет. Намертво! Истинно говорю, берегись пуще всего баб тихих да покладистых. А что за Лукерья? Кажись, не знаю ее. Покажешь? Я их насквозь вижу, сразу скажу, стоящая или нет. Так что, покажешь? — заговорщицки подмигнул ему протопоп.

— Зачем вам, батюшка, глядеть на нее? — удивился тот. — Ничего в ней особенного нет, вместе с Дарьей обеды готовит.

— Это прыщавая, что ли, такая? Волосья рыжие и нос приплюснутый? — с улыбкой поинтересовался Аввакум.

— И совсем она не такая, — обиделся не на шутку Спиридон. — Красивая она, — вздернул он подбородок вверх, — меня жалеет... — И направился в сторону выхода, не желая продолжать дальше разговор о своей избраннице.

— Ой, братец, попал ты. ох, попал! — вновь рассмеялся Аввакум вслед ему. — Бывает, что сова лучше ясна сокола. А венчаться надумаете, милости прошу, окручу как у людей, честь по чести...

Но Спиридон уже не слышал этих слов, а, выскочив на улицу, помчался в свою кладовую, где перво-наперво закрыл дверь на засов и, забившись в угол, не сдерживаясь, зарыдал, размазывая по лицу обильно капающие из глаз слезы.

— Ну, почему люди такие злые? Что я им сделал? Худо мне одному-одинешенькому жить, ох как худо! Где вы есть мои матушка и папенька? Слышите ли меня?

А за стенами его каморки жизнь шла своим чередом: владыка спешно готовился к отъезду, на кухне готовили хлеба ему в дорогу, истопник Пантелеймон сговаривался с дворовым Иваном Смирным как бы потихоньку выпить по махонькой за отъезд своего начальника, а Иван Струна сладостно мечтал, какие порядки заведет, оставшись за главного. И только девка Лукерья со страхом думала, чтоб владыка не передумал и не забрал Спиридона с собой в Москву, а то обратно он вполне может и не вернуться, найдя там себе кого и побойчее, нежели она.

...Собирался в дальний путь и отец Аверкий, которого владыка, как и обещал, отправил в Березов. Отлежавшись и обретя способность двигаться, хотя и опираясь на трость, он несколько раз просился на прием к владыке, но тот, сославшись на занятость, так и не допустил иерея до своей высокой персоны. Он хорошо знал, о чем тот будет его просить, и, чтоб не тратить время даром, велел не принимать несчастного старика.

И хотя архиепископа Симеона нельзя было назвать жестокосердным и к чужой боли бесчувственным, но в последнее время он стал все меньше замечать беды и заботы близких ему людей. Годы сделали свое, и он теперь больше думал о том, как ему прожить день завтрашний, выстоять очередную службу, отписать вовремя в Москву и в многочисленные приходы, проследить за своенравной



и нерасторопной дворней, вовремя прочесть положенные перед сном молитвы и не показать вида, что устал. А усталость эта с каждым днем накапливалась, тянула вниз, в бездну и конца тому не было видно.

Владыка понимал, пора проситься на покой, тем более что новый патриарх отнюдь не жаловал его и отказывал во многих самых малых просьбах. Но ставший уже привычным высокий пост сибирского владыки не отпускал, а затягивал все глубже и глубже. Все вокруг ждали его слова, скорого решения, но бывших, прежних сил уже не стало. Они ушли куда-то, сгорели, словно подожженная сухая лучина. Поэтому зимнюю поездку в Москву он воспринял как отдых от каждодневных забот и все нерешенные дела оставлял своим приказным, надеясь, что они без него справятся со всем, до чего у него не дошли руки.

\* \* \*

Церковный причт храма Вознесения Господня, куда был направлен протопоп Аввакум, состоял из диакона Антона Чечурилова и пономаря Данилы Артемьева. Они безропотно восприняли смену настоятеля, ни единым словом не выразив к тому своего отношения, разумно полагая, то не их ума дело, и лишь по их настороженным взглядам можно было угадать опасение за свою собственную судьбу, которая теперь полностью зависела от воли и расположения к ним протопопа Аввакума.

Архиепископ Симеон заранее объявил всем своим ближним людям, что 22 января на День памяти Филиппа Святителя Московского он еще затемно выезжает в Москву. Узнавший об этом протопоп Аввакум собрался было пойти на двор архиепископа, чтоб отговорить того от поездки именно в этот день.

«Святитель Филипп был злодейски лишен жизни лютым слугой царевым Малютой Скуратовым. Негоже в такой день важное дело затевать, а тем более на Москву выезжать, где злодеев таких до сих пор осталось столько, хоть пруд пруди», — думал он.

Но, уже собравшись, вдруг передумал, решив, вряд ли владыка послушает доводы его, изготовившись к поездке и предупредивши всех провожающих.

«Да и потом, у нас что не святой, то мученик. Коль не каждый, то через одного уж точно. Начиная с самих Бориса и Глеба. Может, наоборот, защитой станут владыке нашему, на то они и святые заступники», — решил он и отложил свой визит.

«Есть у него и без меня советчики, а я для него кто? Протопоп горемычный, под его надзор сосланный...»

Но все одно, тяжкие мысли и сомнения еще долго не оставляли его, так до конца и не решившего, верно ли он поступил, не предостерегши владыку...

...Когда пришел день отъезда епископа, пономарь Данила несколько раз бегал на архиерейский двор узнать, когда нужно будет ударить в колокола на небольшой церковной звоннице, известив тем самым горожан о знаменательном событии.

Храм, отстроенный и обустроенный стараниями именитых тоболяков, выгодно отличался от остальных городских церквей богатым убранством, привезенными из-за Урала иконами письма знатных мастеров, позолоченным резным иконостасом. Стоял он в нескольких шагах от воеводского двора, а потому и прихожанами его были люди солидные, несшие государеву службу при сибирских правителях, которые не скупились на богатые подаяния, а многие после отъезда из Тобольска оставляли настоятелям его кто церковные книги, а кто иконы с окладами, украшенными драгоценными камнями.

Аввакум понимал, что он хотя и являлся человеком ссыльным и поднадзорным, но определен был благодаря заступничеству за него владыки Симеона на службу в храм, второй в городе по значению после кафедрального собора, что придавало ему в собственных глазах уверенности в себе и осознания своего положения.

При этом он не переставал надеяться, что постепенно, со временем, сумеет склонить владыку к неприятию патриарших нововведений. И временами ему уже виделось, как вся Сибирь вслед за тем поднимется против московских новшеств. А он сам по благословению преосвященного будет разъезжать по большим и малым селениям с проповедями, призывая паству сибирскую не отказываться от дедовых заветов в церковной службе.

А там, неровен час, и вся страна поднимется на защиту старой веры. А когда о том узнает царь, он поймет, на чьей стороне правда, изгонит зарвавшегося в своих стараниях Никона и призовет его, Аввакума, обратно к себе. И тогда... Что будет тогда, он представлял себе плохо, но твердо знал, что ссылкой его дело не закончится и борьба за души православных прихожан лишь только начинается. А пока... Пока нужно набраться сил и терпения, выстоять, не сдаться, обрести

как можно больше сторонников, кто бы разделял его взгляды и воззрения и пошел с ним до самого конца, до смертного часа.

...Для своих далеко идущих планов он решил обзавестись знакомствами среди местного духовенства и начал в свободное время наведываться в городские приходские храмы, где в службе не участвовал, а вел себя как рядовой прихожанин, больше наблюдая и слушая. Начал он с ближайшего к нему храма Спаса Нерукотворного, находящегося на верхнем посаде сразу близ острожных крепостных ворот. Настоятелем в нем был Мирон Терентьев, присланный сюда не так давно из Вологды. От роду ему было, как и Аввакуму, три десятка лет с небольшим. Тонкий хрящеватый нос и русые волосы выдавали в нем выходца с северных российских окраин, где народ не знал кабальной зависимости, ни боярского, ни ордынского гнета. Как-то раз, дождавшись окончания службы, Аввакум подошел к нему и попросил благословения. Отец Мирон, смущаясь, но, не показавши вида, благословил, и они троекратно поцеловались.

— Рад, что почтили наш храм своим присутствием, — проговорил он, пристально глядя в глаза Аввакуму. — Не откажетесь ли разделить нашу трапезу, отведать, что Бог послал?

— С превеликим удовольствием потрапезничаю с вами, хотя и ждет меня дома протопопица моя, — согласился Аввакум и направился вслед за настоятелем в южный придел храма, где находился небольшой деревянный пристрой и посередине него стоял длинный деревянный стол с лавками по бокам.

На столе их ждало заранее приготовленное церковным старостой угощение, который, увидев входящего Аввакума, тут же подошел к нему под благословение.

— То староста наш Ларион Обрядов, торговый человек и первый мой помощник, — представил того отец Мирон, — прошу любить и жаловать.

— Стараемся как можем, — поклонился староста и широким жестом пригласил всех садиться.

Вслед за ними, несколько смущаясь, в трапезную вошли еще несколько человек из числа церковнослужителей и двое дородных мужиков с окладистыми седыми бородами едва ли не до самого пояса.

— А то братья мои, Кузьма и Фотий, а по отцу все мы Григорьевичи, — показал на них староста Ларион. — Без малого как десять годков в Сибирь разные товары возим.

Оба брата степенно поклонились и заняли свои места на противоположном от Аввакума конце стола, не забыв перекреститься на висящие в углу образа.

— И как торговля? — поинтересовался Аввакум, чтоб поддержать разговор.

— Какая тут торговля, — сочным басом ответил за всех один из братьев, — все больше себе в убыток, а прибыли никакой.

— Отчего же так? — спросил Аввакум.

— Да все потому, — вступил в разговор второй брат, — пока везешь товар, потратишься изрядно, да и не всякую вещь довезешь в целости, какая побьется, иную возчики украдут, за всем не уследишь. А платить из своего кармана приходится, вот по тому и цены здесь, в Сибири, в несколько раз больше, чем на Святой Руси. А людишки тутошные привыкли своими самоделками обходиться, не хотят давать за добрый товар цену, которую мы просим. И сколько им ни объясняй, почему цена такая, не верят. Мироеды мы, и все тут. Вот и приходится отдавать подешевле, чтоб хотя бы вложенное вернуть. Помышляем уезжать отсюда, коль дело и дальше так пойдет.

Аввакум понимал, что купцы лукавят. Знал их привычку скрывать свой недостаток, жалобиться, выставляя себя чуть ли не нищими, но спорить с ними не стал, а терпеливо выслушал сетования и постарался перевести разговор на близкую ему тему, ради чего и пришел сюда.

— Вижу, вы тут службу по-новому ведете... — неопределенно высказался он, ожидая, что ему на это ответят.

— А то как же, — пожал плечами отец Мирон, — нас еще прошлым летом владыка собирал, объяснял, какие изменения вводить, согласно указу патриаршему, и прихожан своих к тому приучать.

— И что же? — спросил жестко Аввакум. — Никто и не поинтересовался, отчего сызнова службе Божьей учиться надо? Сразу все и приняли как есть?

— По-разному, — ответил со вздохом отец Мирон, — кто-то и слова не сказал, а иные и в храм ходить перестали, говорят, что дома молитвы читают, а иные из монастыря монахов к себе зовут, которые к ним со Святыми Дарами приходят, причащают.

— И много таких? — заинтересованно спросил Аввакум.

— Почти половина, — сокрушенно кивнул головой настоятель.

— А вы как же, — посмотрел на братьев Обрядовых Аввакум, — никак щепотью креститься начали?

— Когда как, — ответил за всех староста Ларион, — когда щепотью, а когда и двуперстием, по-старому. Все никак не привыкнем, как нужно по нынешним временам, на старинку тянет. Кто его разберет, где она, правда. Против патриарха не попрешь. И владыка наш им же поставлен. А ты сам-то, батюшка, что об этом скажешь?

— А я, други мои, думаю, что дьявольское наущение все это, — горячо начал Аввакум, успевая притом откусывать от лежащего перед ним рыбного пирога и сплевывая на стол небольшие косточки, — известно вам, что антихрист скоро явится в мир этот, и конец света не за горами. Вот он через слуг своих и вводит нас в искушение, заставляя молитвы по-иному читать и отказаться от главного оружия нашего — креста Господня.

— Вроде от креста мы не отказываемся, — заметил отец Мирон и для пушей убедительности перекрестился.

— Как же не отказываетесь?! — схватил его за руку сидящий рядом протопоп и указал на три сложенных вместе пальца. — Как же не отказываешься, — повторил он, — когда кукишем крестишься? Кукиш этот и есть признание лукавого, печать антихристовая...

— Так как же это, — зашумели сидящие за столом, и все дружно, как по команде, перекрестились, — не может такого быть... крест он крест и есть, хоть двумя, хоть тремя перстами, хоть всей ладонью крестись...

— А вот и нет! — горячо крикнул протопоп. — Антихрист не так прост, как иные думают. Он с того и начал, что поначалу хочет отучить нас креститься как должно, а потом и души наши к рукам своим поганым приберет и гореть нам всем в геенне огненной, и никто нас отмолить не сможет, поскольку праведников на земле после того почти совсем не останется.

— А как же сам царь крестится? — подал голос с дальнего конца стола совсем еще юный дьячок, у которого борода только начала давать знать о себе едва заметными коротенькими волосками.

— Что царь? — не задумываясь, ответил протопоп. — Царь он помазанник Божий и до нас не касаются дела его. Мы о своей душе ежечасно думать должны, а потому, братья мои, заклиная вас, не принимайте обычаев новых, живите, как деды и отцы нам завещали.

На некоторое время в приделе воцарилось молчание, и все взгляды присутствующих были обращены на Аввакума, словно все ожидали каких-то откровений, которые помогут им осознать и разобраться

в сложившейся ситуации. Понимал это и сам Аввакум, добившись главного, посеяв среди сотрапезников сомнение, которое, как он видел по лицам, овладело всеми. Поэтому он начал издалека, решив не касаться пока вопросов, связанных с церковными нововведениями.

— Что есть церковь Божия? — спросил он, обводя всех взглядом и подолгу задерживаясь на их лицах. — А я вам скажу, церковь наша — это собрание людей с чистыми помыслами, желающих, прежде всего, душу свою спасти и не попасть в сети дьявольские. Вера наша идет от Господа, от Иисуса Христа, который завещал почитать имя Его и вкушать тело и кровь Его. Кто что возразить против этого может? — Он вновь быстро оглядел внимательно слушающих его людей, заметив, что интерес их все больше нарастал. — А потому, выполняя заповеди Божьи, остаемся мы верными слугами и почитателями Господа нашего. Но если кто согрешил, а без греха человек не волен жить, то должен он в скором времени покаяться и прощение получить. Но один грех другому не ровня. Есть грехи малые, а есть и великие, которые смертными зовутся. За них мы ответ особый нести должны. Поддавшись бесовскому наущению, все вы, миленькие мои, приняли обряды новые, стали кукишем креститься, а то грех великий, как есть смертный грех. За него должны вы все теперь просить батюшку вашего, чтоб наложил он епитимью на каждого, и отмаливать тот великий грех в неустанной молитве.

— За что же на нас епитимью накладывать, коль то не наше прегрешенье, а самим патриархом приказано: и как креститься, и как молитву совершать, — осторожно поинтересовался староста Ларион.

— Как же в других церквях народу поступать, кто не осознает правды вашей? — спросил сидящий подле него брат.

— Выходит, батюшка наш Мирон должен собственноручно на всех прихожан своих епитимью наложить и известить о том владыку, — вновь заговорил молодой диакон, — а мне вот думается, что архиепископ наш на самого отца Мирона епитимью за своеволие и наложит, да еще и служить запретит.

— Похоже, так оно и будет, — усмехнулся отец Мирон. — Владыка наш хоть обличьем мягок, а в обхождении крут, как есть снимет с меня крест и от прихода вашей погонит за такое дело.

— И что с того? — махнул рукой Аввакум. — Когда мне в Москве служить в Казанской церкви запретили, то все прихожане мои в храм ходить и перестали.

— Это как же? — изумился староста. — В другой, что ли, перешли?

— Зачем в другой? Ко мне и ходили, туда, где я службу вел.

— Это куда же?

— В пустой овин, рядом с домом моим, — широко улыбнулся Аввакум, — вам ли не знать, что служить и в чистом поле можно. Или как первые христиане в подземельях служили, лишь бы служба та действительно святой была, без лукавства. А церкви наши испоганены теперь происками антихристовыми.

— И долго ли служили в овине своем? — хитро поинтересовался неугомонный дьячок, который, как понял протопоп, больше всех был с ним не согласен.

— Сколько мог, столько и служил, — сердито ответил он, — пока слуги антихристовы не заковали меня в железа да сюда не сослали.

— Вот-вот, — засмеялся диакон, — вас сослали, а там, глядишь, и нас всех по медвежьим углам разгонят и иных, согласных, на наши места поставят. Нет, вы как хотите, а мне ваши речи не по нраву, с властью ссориться себе дороже выйдет.

— Да и мне не гоже, — развел руками отец Мирон, — о детках своих подумать надо, да еще теща моя с нами в дому живет... Как их без куска хлеба оставишь... Вы, батюшка Аввакум, может, и правы, что времена нехорошие наступают, но пока человек жив, у него мысли о земном, и ничего с этим не поделаешь. Коль, как вы говорите, конец света грядет, то помешать тому мы вряд ли сумеем. Будем на Бога милостивого уповать, авось да пощадит, помилует нас, грешных. Есть и посильнее нас Божьи заступники: не стоит город без святого, а селение без праведника. Станем молиться за спасение душ наших, чтоб не наступило время то...

— Грош цена словам вашим, — вскочил со своего места Аввакум и, не удержавшись, со всего маха брякнул о стол стоявшую перед ним большую глиняную кружку с квасом, отчего квас из нее расплескался и окропил сидящих поблизости. Те испуганно отшатнулись, принялись стряхивать с одежды квасные капли, с удивлением смотря на разгневанного, казалось бы, без особой причины протопопа, а тот продолжал: — Известно вам, что случилось с Содомом и Гоморрой, которые, в грехах погрязнув, по гневу Божьему, обращены были в прах и только один лишь Лот с семейством своим спасся. Так и вы ждать будете появления антихристово беззаботно, пока не падет на

вас кара небесная. Только поздно будет! Все сгорите и не видать вам спасения, как ушей своих! Не хотите меня слушать, думая о животах своих, живите как есть! Но, вижу, поднимется народ против супостата и сметет прочь и церкви ваши и вас самих вряд ли минует кара сия.

С этими словами он выскочил из-за стола и, отойдя на несколько шагов, протер в сторону изумленных слушателей свою правую руку с поднятыми двумя перстами и, словно клеймя, перекрестил их, дополнив свой жест громкими словами:

— Проклинаю всех вас за дела ваши несправедливые! И пусть гнев Божий падет на вас самих, дома и семейства ваши!

С этими словами, не помня себя, он буквально побежал к выходу, сбив на ходу стоявший подсвечник, свеча из которого упала на пол и, крутясь, покатилась к стене, грозя пожаром, о котором только что предвещал Аввакум.

\* \* \*

Горе тем, которые думают скрыться в глубину,  
чтобы замысл свой утаить от Господа...

*Исаия 29, 15*

Раздосадованный столь неудачной беседой, Аввакум долго не мог уснуть, соображая, где и в ком ему найти поддержку сторонников в борьбе за старую веру. Он перебирал в уме знакомых ему тобольских пастырей, прикидывая, к кому из них стоит обратиться, кто не боится гнева владыки, сможет вступить в противостояние с властями и пойти до конца. Дело это, понимал он, затянется не на один год, а потому единомышленники нужны крепкие и негибкие, готовые за веру не пощадить не только самих себя, но и жен и детей своих, чтоб добиться цели, ради которой и стоит жить на этом свете.

В Москве, где народ не был так подвержен влиянию и зависимости от верховной власти и всегда можно сменить один приход на другой, найти духовника, близкого тебе по взглядам и убеждениям, всегда была возможность выбора. Там он быстро собрал вокруг себя таких же, как он, непримиримых борцов за старую веру. Потянулись к нему люди со всей Москвы, возбужденные недоверием ко всему, что в последние годы вводил патриарх Никон. Конечно, большинство москвичей остались равнодушны к переменам, посчитав, что так и должно быть, коль приказано сверху. Но немало оказалось



и таких, которые не приняли новые обряды и крещение шепотью, разумно полагая, что коль вера едина и несокрушима, то и должна она оставаться такой испокон века.

Не кривя душой, Аввакум лишь самому себе признавался, что не раз переживал сомненья в правильности своих действий, подолгу размышляя, а не принять ли все как есть и начать вести себя, как покорная овца, гонимая в общем стаде. Но что-то мешало ему поступить именно так. А потому чем дальше, тем больше нарастала в нем уверенность и убежденность в собственной правоте...

Если подумать, то может случиться так, что завтра тот же патриарх прикажет брить бороды всем православным или читать «Отче наш» сзади наперед, а там недалеко и до латинства, до папы римского, который только и мечтает, как бы подмять под себя православную церковь и управлять всем миром. Пример тому — земли Малороссии, где давно идет распря между православными и католиками не столько за веру, сколько за главенство над местной паствой. И к чему это привело? К смертоубийству и войнам, которые начинались с малых селений, а заканчивались долгими сражениями с тысячами смертей и невиданным кровопролитием.

«Если они не хотят признать правоту нашу, то почему мы должны воспринять инородную веру? — думал Аввакум, сосредоточенно глядя на мерцающую под образами лампадку, в тусклом пламени которой виднелся лик Спасителя. — Скажи мне, Господи, как быть? Прав ли я в деяниях своих, подай знак...»

Но не было ответа на его вопросы, и лишь ветер уныло нес за окном крупинки снега, срываемого сильными порывами с соседних домов и уносимого куда-то вдаль, где они должны будут найти свой приют. И Аввакуму представилось, что его так же вот по чей-то высшей воле несет, словно снежинку по Русской земле... Но не просто так, а с великой целью проповедовать истинную веру, призывать заблудших вернуться в лоно истинной церкви, идти следом за ним, пробуждая других людей.

Подобные сомнения овладевали им почти каждый вечер, и видел он в том дьявольское наущение, к которому часто прибегает искушитель рода человеческого, дабы поколебать человека в убеждениях его, отвратить от истины и ввергнуть в пучину страстей, попав в которую он уже не волен принадлежать Богу и самому себе, а лишь думает о том, как остаться живому и готов отдать за это что угодно.

Но утром, едва лишь он просыпался, видел огонек растопленной печи, свою Анастасию, которая доставала свежее испеченный, пышущий жаром ароматный каравай хлеба с хрустящей корочкой, смотрел на мирно сопящих носами детей, а через окно мелькал первый лучик утренней зари, сомнения исчезали. Он тут же забывал о ночных своих размышлениях, видя себя главой семейства. И не только своего, но и тех, пастырем которых являлся по долгу службы. И им тут же овладевала тревога за судьбы и будущее тех, кто свято верил в него, поскольку именно он и должен указывать путь тем, кто не обладает священным саном.

Разве не сам Господь направил его, Аввакума, бороться с напастьями, которым подвергнуты его прихожане, и защищать их? Разве не он на исповеди узнает о самом сокровенном и дает им советы в правильности пути? Отвернись он от их страждущих душ, оставь хоть на малое время, и к кому же им тогда обратиться? У кого искать заступничества? Потому и должен он быть тверд как камень, несокрушим, как скала, во время бурь житейских, не дать сомнениям овладеть им, и как кормчий на челне, привести их к долгожданному спасительному райскому берегу. Может ли рулевой судна, не зная пути своего, рыскать по водной глади, направляясь то в один, то в другой конец? Так недолго потерять не только веру, но и себя самого. Нет, не должно быть сомнений в душе идущего к раз и на всегда намеченной цели. А цель у него одна — Царство Небесное.

Избегал Аввакум делиться сомнениями своими и с ближним к нему человеком, Анастасией Марковной, которая могла изначально промолчать, тем самым выразив сомнения словам его, а потом и вовсе усомниться в правильности мужниных слов и поступков. А кончится тем, что и совсем откажет в доверии и распадется одно целое, единая их семья, на две половинки, став навеки чужими, а то и вовсе врагами друг дружке. Если муж не может сам решить, как он должен жить и поступать, то можно ли считать его главой и достоин ли он носить это звание? Потому он даже вида не показывал, как нелегко порой приходилось ему, и вел себя, как ни в чем не бывало, словно и не было жарких споров с теми, кто не разделял его призывов и считал едва ли не крамольником.

...И только ангел небесный, бессрочно подле него пребывающий, знал о тех сомнениях и пытался всеми силами помочь, вразумить его, призвать к покаянию и извечной Божьей милости, чтоб понять:

все, что происходит в мире этом, делается по воле Господа. И будь то великий грех или богоспасительное благодеяние, не подлежит суду людскому. Наступит великий час, когда все дела людские будут взвешены и оценены Великим Судией. Он и только Он даст им Свою оценку. А человек смертный, что былинка степная, то расцветает под лучами яркими, то засыхает, потеряв прежнее обличье, потому как нет в мире ничего вечного, неизменного. Так и дела людские, а тем более помыслы их, тленны и не вечны, и не смертным людям решать, как они оценены будут Творцом всего сущего.

Но глух был раб Божий Аввакум к тихим почти неслышным речам ангела своего, хотя и понимал порой: кто-то пытается заговорить с ним, направить по иному пути. Но поди, разберись, чей то шепоток слышится: небесный ангельский или, не приведи господь, дьявольский?! Потому и пер он свой воз с поклажей сомнений и раздумий долгих, порой совсем из сил выбиваясь, душу вон из себя вытряхивая, по непроторенной целине, без дороги, наугад... Не веря никому, кроме себя самого, надеясь, как и любой русский мужик, на извечное авось и... чудо...

\* \* \*

...Несмотря на неудачу с отцом Мироном Терентьевым, Аввакум не оставил попыток найти единомышленников среди батюшек других приходов. Он несколько раз побывал во всех городских храмах, стараясь не особо привлекать к себе внимание, для чего облачался в мирскую одежду и оставался в притворе храма, издали наблюдая, как идет служба. Но, к его глубокому разочарованию, везде, где бы он ни побывал, служили по новым канонам, а прихожане крестились ненавистным ему трехперстием.

Аввакума так и подмывало пройти к амвону и зычно закричать оттуда, призвать всех не верить лукавому Никону, который, по его мнению, давно продал душу свою за власть, которая испортила его и сделала сторонником антихриста. Но он сдерживал себя, понимая, что добром это не кончится и его не только выгонят вон, но еще и придадут суду по закону о нарушениях церковной службы. А потому он лишь пытался поделить по еле заметным признакам, кто из батюшек так же, как и он, лишь терпит новые обряды и готов будет по первому же призыву вернуться к прежней службе и отринуть от себя то, чего не должно быть в храме Христовом.

Более других приглянулся ему властный седобородый иерей Григорий Никитин, служивший в храме Богоявления Господня, находящемся на нижнем посаде, где стояли торговые ряды, а потому храм охотно посещали все приезжающие по торговым делам на городские ярмарки. По тому, как тот вел службу и, по мнению протопопа, заставлял себя читать скороговоркой новоявленные слова в обрядах, не проговаривая их как должно, Аввакум решил, что и он не согласен с нововведениями. И, выбрав время, когда тот, закончив, службу выходил из храма, подошел к нему. Облаченный в мирское, он смиренно попросил благословения, а затем с тяжким вздохом спросил:

— Каково служится, отец Григорий?

Тот пристально взглянул на него и, судя по всему, узнал, но не подал виду, ответил:

— Служим как должно. А что не так?

— Все так, если не считать, что скоро ничего от службы нашей не останется и на обряды латинские перейдем, а там и креститься по-ихнему заставят.

Мимо них проходили задержавшиеся после службы две степенные старушки, поддерживающие одна другую под руку, в темных шалях, которыми они закрывались от пронизывающего ветра. Они поклонились настоятелю, одна из них задержала свой взгляд на Аввакуме, словно намереваясь что-то спросить, но потом все так же степенно проковыляли меж снежных сугробов к стоящим поблизости домишкам. Отец Григорий посмотрел им вслед и будто вспомнил что, хмыкнул, и, прочистив голос, осторожно спросил:

— Откуда то известно? Неужто веру нашу изначальную захочет кто на латинскую поменять? Хотя имеются у меня сомнения, все ли правильно делаем...

— Так и я о том же, — подхватил Аввакум. — Видится мне, что это лишь начало, а дальше может и худшее случиться, и не миновать нам тогда латинства. Точно говорю...

— Зайдемте в дом, а то негоже на ветру стоять, там и поговорим спокойно, если ты, мил-человек, за этим пришел. — И он повел Аввакума к небольшой сторожке у входа в храм, где жил отставленный от службы казак, исполняющий обязанности сторожа.

Сторожка оказалась тесной, с низким потолком и тусклым оконцам. Сторож вскочил навстречу настоятелю, и тот, чтоб избежать лишних ушей, отправил его наносить дров для церковных печей,

а сам опустился на лавку у стены, предложив Аввакуму устроиться напротив. Когда сторож, торопливо собравшись, ушел, то отец Григорий спросил Аввакума:

— Что-то обличье мне твое знакомо, вроде как встречались. Давно ли в Тобольске?

Аввакум хотел было назваться приезжим, но тут же передумал, решив, что это не только ничего не даст, но и приведет к недоверию, а потому без всякого смущения заявил:

— Да, я приезжий, но перед тем побывал в избе съезжей. Вот за веру свою, за убеждения здесь и оказался.

— Ты никак тот самый протопоп, что с Москвы прислан?

— Он и есть. Тот самый...

— Не думал, что заглянешь в наш храм. Говорят о тебе всякое, будто народ склоняешь к непослушанию и сам все никак не уймешься.

— Такой уж, видно, неумный уродился, — со смехом отозвался Аввакум, хотя слова настоятеля больно задели его самолюбие, и хотелось ответить дерзко, но из прошлых своих бесед хорошо знал, чем это для него закончится.

— Тогда рассказывай, с чем пришел, я послушаю, а потом уж и свое суждение вынесу.

— А чего говорить, когда Русь нашу матушку окаянный Никон захомотал, словно девку блудную, и пытается самого святого всех нас лишить, заставить молиться по-новому, а это и глупый поймет, к чему приведет. У вас в Тобольске, как погляжу, тишь да гладь, но только благодати Божьей как есть не видно. Признали патриаршие указы?

— Как же не признать, он патриарх, а мы кто в сравнении с ним? С теми, кто не признает, сам знаешь, что бывает. Ты говори, говори, чего сказать хотел, чую, не только с этим пришел.

— И скажу. — Аввакум свел брови на переносье и не мигая смотрел в глаза собеседнику, который, не выдержав его взгляда, слегка смутился и отвел взгляд, словно признал себя в чем-то виновным. — Известно ли тебе, что на Москве не все подчинились указкам Никоновым, есть и такие, кто не пожелал веру менять...

— И где же они теперь? — лукаво поинтересовался отец Григорий. — Мы хоть и в Сибири живем, далековато от Москвы, но кое-что о делах тех наслышаны. Знаю, что особо не согласных разослали кого куда. Кто-то и мимо нас проезжал, сказывали мне о том.

— Страшно, небось? — с усмешкой спросил его Аввакум. Он все так же не сводил глаз с лица настоятеля, отчего тому было как-то не по себе, и он начал ерзать на лавке, словно взгляд протопопа обжигал его.

— Чего нам бояться? Мы люди маленькие, против власти зла не держим, живем смиренно, на нас обижаться нечего.

— Власть-то она власть, но и ты не карась! — перешел на скомороший тон Аввакум. — Ты, как погляжу, норовишь всем угодить, а так в жизни не бывает. Всё одно когда-то выбирать придется, с кем ты есть на самом деле. Так что решай, будешь ли и дальше по чьим-то указкам жить или своим умом обойдешься. Знаю я, что многие твои прихожане совсем на службу ходить перестали, затаились по домам и там молятся. Негоже это. Вот если бы ты всенародно объявил, что ничего в старинных обрядах менять не собираешься, то, думается, все бы они обратно возвратились. А так недолго и весь приход развалить, разбегутся людишки кто куда.

— До этого дело не дойдет, — отмахнулся, как от назойливой мухи, отец Григорий. — Куда им деваться-то? Они с рождения все к моему храму приписаны, в другой приход их не примут, а коль на исповедь ходить не станут, то только неприятностей себе наживут. Покочевряжатся малость да и вернутся.

— Не верится мне, что так будет, — не сдавался Аввакум. — Русский человек, он хоть и в великом терпении привык жить безропотно, но и у него когда-то терпение это кончится. А тогда, сам знаешь, что начнется. Не довести бы до греха народ православный, большая беда из всего этого выйти может.

— Ты мне, батюшка Аввакум, вот что скажи, тебе-то какое дело до прихода моего? Или тебе своих хлопот мало? И без этого, как погляжу, натерпелся. Вместо Москвы тебя вон куда на службу определили. У нас тут хоть и не край земли, но все одно далековато от царских хором. И, думается мне, милость царская на том к тебе кончилась.

Отец Григорий внимательно посмотрел на протопопа, которого, если не обидели, то наверняка задели его слова, потому тот весь напрягся, набычился, но пока что молчал, обдумывая ответ.

— А ты вместо того, чтоб покаяться да ладом прощение испросить, этакие слова говоришь, — продолжил горячо спор отец Григорий. — И меня к тому же склоняешь. Объясни, к чему клонишь? Ты ведь меня зовешь супротив властей подняться, на бунт подбиваешь, не

по-божески это. Раз патриарх повелел церковную службу поменять, то так тому и быть.

Настоятель казалось, обрел былую уверенность и смело вступил в спор с Аввакумом, и теперь уже он пытался переубедить его, приводя один за другим веские доводы в свою пользу.

— Вера наша православная к смирению призывает, — говорил он, оглаживая одной рукой пушистую русую бородку, — к покорности. В Писании как сказано: не создай кумира себе, а поклоняйся единому Богу. Разве не по этому закону мы живем? И что такого нового патриарх предложил? Троеперстие, которым братья наши, греки, себя осеняют? Или как идти правильно: посолонь или наоборот? А то и совсем смешно: сколько раз «аллилуйя» кричать?! Да я хоть сто раз крикну, коль на пользу! Что изменится? Аллилуйя, она аллилуйя и есть. И скажи мне теперь, мил-человек, почему ты новые эти правила в обрядах наших признать не хочешь? Вот если бы патриарх заменил крест на полумесяц, скажем, или триединство Божье отверг, тогда другое дело, отвернулись бы все от него, решили, что он умом тронулся. А тут какие поправки? Самые что ни на есть малые. К тому же, как мне известно, не один он решение то принимал, а все архиереи православные и два патриарха, на собор приезжавшие, его поддержали. Получается, ты не только супротив патриарха зуб имеешь, но и всем владыкам нашим противишься. Не по-божески это, не по-людски, не по-христиански...

Чем дальше Аввакум слушал настоятеля, тем больше понимал, что не удастся ему обрести в нем своего сторонника. К тому же, если разобраться, тот был по-своему прав. Действительно, патриаршские нововведения были утверждены архиерейским собором, и только новый собор мог отменить это решение. Но вряд ли такое случится, пока на патриаршем престоле находится ненавистный Никон, а как раз против него и собирал своих сторонников Аввакум.

Он твердо верил, что если доказать царю греховность и неправомерность перемен, «новин», как он их называл, то тот найдет способ сменить Никона на другого, более уступчивого.

Но пока что Аввакуму оставалось лишь раз за разом выслушивать упреки в своем неповиновении патриаршей власти. И будь на его месте кто другой, то давно бы уже смирился со своей участью, покаялся и наверняка его вернули бы обратно в Москву, о чем он более всего желал. Но не таков был протопоп Аввакум, который видел себя,

если не предтечей, объявившем о скором приходе антихристове, то бичом Божиим, для которого все равны: и царь, и патриарх. И, тем более, простое духовенство, если они противились его словам. Раз и навсегда решил он идти наперекор новинам тем, пока не докажет правоту свою и не разубедит всех и вся в истинности и правильности своих воззрений.

— Хорошо говоришь, батюшка, — негромко выдохнул он, — так бы и слушал речи твои сладкие. Но только не понимаешь ты того, что, поступившись малым, лишишься большего. Знаешь, как в народе говорят: хватилась Настя, когда ворота настезь. Да поздно было. Лисица к курочке исподволь крадется, а та и не замечает, что жить ей совсем чуть осталось. И Никон, я тебе говорю, такой же хитрец, подманивает вас, успокаивает, собором пугает, а там, в скором времени, сбудется все, о чем ты сказал только что: и крест православный с церковью снимут, и молитвенники поменяют, а самое главное, святость наша пропадет. Тогда, как ты говоришь, хоть тысячу раз аллилуйя прокричи, а не поможет, не спасешься.

Аввакум на какое-то время прервался и, тяжело дыша, утер ладонью покрывшийся испариной лоб. В маленькой сторожке было сильно натоплено, и спертый воздух расслаблял, вызывая вялость и истому. Чуть передохнув, он продолжил:

— Знаешь, как татары раньше нашего брата в полон брали? Вижу, не догадываешься. Это они поначалу на Русь налетели всем скопом, кого поубивали, кого к себе угнали, а потом они совсем иначе себя вести стали. Вроде бы живи как хочешь, но каждый год главный наш князь должен был в Орду за грамотой приезжать, покорность свою им выказать, власть их поганую признать. А потом уже не они, а он с народа дань собирал и к татарам отправлял. И что из всего этого вышло? Вроде как не под татарами жили, а дань им платили. Чуешь? Вот и антихрист не сам по себе явился, а нашел людей, которые над нами поставлены и потихоньку-помаленьку начали они нас к нему приманивать, приваживать. А народ темный того не понимает, ему любой поп — батюшка, лишь бы пел складно. Потому и веду с тобой речь, что должен ты понять все и воспротивиться тому, что ныне творится в земле Русской. Но вижу не по плечу тебе такое дело, а потому прости покорно, что время отнял, пойду, однако.

Отец Григорий, казалось, только и ждал этого и согласно закивал головой.



— Пойди, пойди, батюшка Аввакум, вижу, уморился от беседы нашей. Правильно сказал, не по плечу мне этакая ноша, супротив патриарха голос свой поднять. Мы люди маленькие, живем, как можем, помаленьку-полегоньку. Ты уж на меня зла не держи, если что. Знаешь, батюшка мой покойный говаривал: кабы знал, так бы ведал. Вот и мне неведомо, кто прав. Может, и ты, а может, и другой кто. Твои речи слушать приятно и верить хочется. Но как подумаю, что нужно супротив самого патриарха выступить, то мороз по коже идет, мурашки по коже так и бегут. — И он, прижав обе ладони к животу, несколько раз зябко вздрогнул, словно и впрямь оказался на лютном холоде, а не в жарко натопленной сторожке. — Про беседу нашу никому и полсловечка не скажу, язык на запоре держать буду. Коль кто про то узнает, то тебя, может, и помилуют, а мне худо придется. Прощай покуда...

Но Аввакум не спешил уходить. Не привык он заканчивать спор, не добившись своего, не высказавшись до конца. Потому он приподнялся с лавки и, перегнувшись через стол, схватил рукой крест, висевший на груди у отца Григория, потянул его на себя. Тот не на шутку перепугался и завопил что есть мочи:

— Не трогай своими лапами крест святой, не тобой даденный! Кыш, кыш от меня! Сгинь, нечистая сила!

— Это точно, не я на тебя крест надевал, но снять запросто могу. Зачем тебе крест, на котором Спаситель наш распят был?! Продался ты с потрохами за краюху хлеба ситного и забыл, кому служишь. Если бы ты Христу служил, то не побоялся бы за веру православную грудью встать, а так грош тебе цена в базарный день. Чего с тобой говорить, когда молебен пет, а толку нет. — С этими словами он с силой рванул крест, отчего цепочка лопнула на шее настоятеля, и, подойдя к печи, осторожно положил его на тлеющие в загнетке красные угли. — Пушай полежит, в огне очистится от неправды твоей. Скажи спасибо, что тебя самого в печь не засунул. Противно мне вяканье твое слушать. Тьфу! Живи, как хочешь, авось когда и поймешь что, да поздно будет. — И с этими словами вышел из сторожки, оставив дверь открытой настежь.

Когда отец Григорий остался один, то он тут же кинулся к печи, схватился за крест, но тот успел нагреться и обжег ему пальцы. Он закрутился на одной ноге, размахивая обожженной рукой, выскочил на улицу, сунул пальцы в снег и стоял так, пока их темноты к нему не подошел сторож.

— Потеряли чего? — спросил он, в изумлении глядя на склонившегося над сугробом настоятеля.

— А и сам не пойму, — ответил тот. — Знаешь, как бывает, бежал от волка, а попал под медведя, не приведи господи.

— Где это вы медведя-то видели? — недоверчиво закрутил головой по сторонам сторож. — Медведи спят еще, рано им вставать, срок не пришел.

— Нашелся такой, что и сам покою не знает и других тревожит. Но и на него управа сыщется, упрячут его в такую берлогу, откуда ему выхода долго не будет.

\* \* \*

Вот, вы умышляли против меня  
зло; но Бог обратил это в добро,  
чтобы сделать то, что теперь есть...

*Быт. 50, 20*

Как и предполагал Аввакум, слухи о его стычках с местными батюшками быстро разнеслись по городу, что не замедлило сказаться на отношении к нему тобольских жителей. Если раньше он беспрепятственно шел по городу на службу или по иным надобностям и на него мало кто обращал внимание, то теперь встречные еще издали, едва завидев его, переходили на другую сторону улицы, а то вовсе поворачивались спиной и так стояли, дожидаясь, когда он пройдет мимо.

По испуганным, а иногда и насупленным лицам он понимал, что молва о нем достигла едва ли не каждого дома, и почитателей ему это отнюдь не прибавило. Но он, давно привыкший к подобному, подбадривал себя тем, что далеко не каждый смертный способен познать истину и отличить праведника от грешника, и принимал подобное отношение к своей особе как должное. А потому, когда ощущал на себе чей-то неприязненный взгляд, то лишь выше поднимал голову и, не прибавляя шага, проходил мимо, постукивая резным посохом, словно предупреждая всех стуком этим о чем-то важном, но не для всех понятном.

В любом случае в короткий срок Аввакум стал для всех фигурой загадочной, крамольной, едва ли не еретиком. И потому заводить с ним дружбу и даже подходить под благословение считалось опас-

ным, словно от него, как от прокаженного, исходила страшная угроза неминуемой смерти.

Лишь нищие, которые, то ли по незнанию, то ли от вселенской безысходности, притупляющей боязнь греха и смерти, льнули к нему в надежде на щедрое подаяние. Если в Москве, где у протопопа водились лишние денюжки, он обычно щедро одаривал калек и убогих, то здесь, в Тобольске, не имел среди прихожан солидной паствы, и по скудности своих доходов не мог одаривать всех и каждого. Потому он нашел способ, как не ударить в грязь лицом и не нарушать извечный завет безотказного подаяния алчущим милостыни. И когда к нему по выходу из храма после службы бросалось сразу несколько человек, то он доставал заранее припасенные мелкие монеты и швырял их в снег под ноги просящим. Те, сбивая друг друга, сшибаясь лбами, разрывали посиневшими руками снежный покров и, пока продолжались поиски, Аввакум был уже далеко от них и шел с гордо поднятой головой, не оборачиваясь на крики об очередном подаянии.

...Незадолго до Крещения Господня, закончив службу, он, как обычно, сошел с церковной паперти и уже было миновал привычное скопление закутанных в дерюги бездомных бродяг, растянувшихся редкой цепью вдоль плохо почищенной дорожки, ведущей к выходу за церковную ограду, как вдруг у самых ворот его остановило чье-то причитание. Глянув в ту сторону, он увидел сидящего прямо на снегу полуголого человека с перекинутыми крест-накрест поперек обнаженных плеч цепями.

На голове у него не было даже шапки, а вместо нее он был закутан в бабский платок, из-под которого выбивались пряди спутанных жиденьких волос. Он, казалось, не ощущал холода и широко улыбался, глядя снизу вверх на остановившегося перед ним протопопа, продолжая бессвязно что-то бормотать посиневшими от холода, бескровными губами. Более всего Аввакума поразили его глаза, в которых, казалось бы, отражалось затянутое тучами небо, отчего нельзя было разобрать не только их цвет, но и понять, куда и на кого они направлены.

Завороженный этим, Аввакум склонился чуть ниже, пытаясь разглядеть того повнимательнее, и, только взглядевшись, понял, что перед ним слепой: из широко открытых глазниц на него уставились отталкивающего вида бельма. Он испуганно отшатнулся, но, оглянувшись, увидел, что неожиданно его обступила непонятно откуда

взявшаяся толпа из нескольких десятков человек. Они словно ждали, как поведет себя протопоп, и тот, не зная, стоит ли пройти мимо или завести разговор с калекой, вынул из кошелька мелкую монетку и вложил ее в ладонь слепого. Но тот вместо благодарности отдернул свою руку, замахал ею и, раскрыв беззубый рот, громко запричитал:

— Не надо, не надо, батюшка Аввакум! Не трогай меня, несчастного! Жжет твоя монетка, ой как жжет, горяча больно!

Протопопа поразило уже одно то, что слепой признал его и даже назвал по имени. Он глянул вокруг, прикидывая, кто мог сообщить тому о его приближении. Но калека сидел в снегу отдельно от толпы, собравшейся за спиной Аввакума и, выходило, каким-то непонятным образом сам понял, кто находится перед ним. Но более всего на протопопа подействовало обвинение в том, что монета оказалась якобы горячей. Ему вспомнился крест отца Григория, который он бросил на раскаленные угли... Но как слепец мог узнать и про это?!

И тут протопопа осенило: «Юродивый...» Ему сделалось как-то не по себе, поскольку он не ожидал, что и здесь, в далекой Сибири, могут оказаться люди, осененные Божьим вдохновением древнего провидчества. Не сразу поверив в это, он в очередной раз глянул назад и увидел, что мужики и женщины истово крестились и низко кланялись в сторону слепого и все, как один, негромко просили:

— Помолись за нас, святой человек Илья!

К слепому подошла поближе опирающаяся на кривую палку старуха и дала тому медный грош, а потом, с трудом наклонившись, поцеловала его в голову.

— Хорошая монетка, хорошая, не горячая, — нараспев заговорил тот, пряча подавание за пазуху, — а вот батюшка Аввакум не хочет, чтоб я его денежку у себя держал, потому горячую дал. Ой, больно мне, ой как больно слепому Ильюше. — И он начал изо всех сил дуть на якобы обожженную руку.

— Почему ты так говоришь? — Аввакум наконец обрел дар речи и решил принародно пристыдить слепого. — Другие берут — и ничего, а ты вот решил меня обвинить непонятно в чем. Нехорошо, братец, напраслину возводить на невиновного. Скажи, что пошутил.

— Это ты, батюшка, с людьми шутки шутишь, зовешь нас в пламень огненную, в печь дьявольскую. А народ-то не желает туда лезть, не желает. Ты уж сам в нее запрыгни да и грейся, сколько пожелаешь, а нас за собой не зови.

— О какой печи ты говоришь? — взвился Аввакум. — Где ты ее видел... — И тут же осекся, поняв, что сказал лишнее.

— Правильно сказал, видел Ильюша печь, а в ней огонь горит неугасимый. И сейчас ее вижу. А вот тебя нет, потому что ты как есть черный, и лучше, чтоб тебя никто не видел.

— Да как ты можешь что-то видеть? — не выдержал протопоп, уже догадавшись, чем закончится их спор с калекой, которого местные жители почитали, словно святого. — Ты и света божьего не видишь, а сидишь тут, придуриваешься, будто чего-то там тебе мерещится, — решил он стоять на своем и разоблачить калеку, выдававшего себя за юродивого.

— То в храме свет от свечи, а в душе от молитвы. Молюсь истово, а потому Господь сподобил меня видеть без глаз то, что другим не дано. Всех вижу, а тебя нет, мертвый ты поскольку. Как есть — мертвый... — И он тихо заплакал. — Жалко мне тебя, бедненького. И деток всех твоих жалко и матушку, которая претерпит муки великие за тебя, окаянного. Плачьте, люди, — громко обратился он ко всем, словно и вправду видел собравшуюся вокруг них толпу.

И люди, откликнувшись на его призыв, громко зарыдали, а старуха, только что подходившая к слепому, протяжно завывала, словно по покойнику. Аввакум вгляделся в их лица и с удивлением отметил, что плачут они и голосят всерьез, не придуриваясь и не для видимости. У многих по щекам катились слезы, а какой-то плохо одетый мужик и вовсе рвал на себе волосы, а потом рванул ворот рубахи, обнажил впалую грудь и начал царапать ее грязными, потрескавшимися во многих местах ногтями. Это зрелище было для Аввакума так отвратительно, что ему захотелось убежать, спрятаться и никого вокруг себя не видеть.

«Что же это, — подумал он, — никак они обо мне плачут... Хоронят... Живого хоронят! Да что же они делают?! Разве можно так поступать? Не по закону это, не по-людски, не по-божески. Срам-то какой! Живого отпевать!»

— Замолчите!!! — закричал он в толпу. — Не гневите Бога!!! Кого вы слушаете? Это не он говорит, а бес в него вселился и глаголет устами несчастного! Изыди! Изыди, нечистая сила!!! Свят, свят, свят!

Но его никто не слушал, а, задрав головы кверху, смотрели куда-то в небо, будто бы душа его уже отлетела и витала над ними.

Тогда Аввакум наклонился к самому уху слепого и закричал, чтоб пересилить доносящиеся отовсюду рыдания:

— Прекрати это, а то отлучу тебя, несчастного, от храма Божьего. Прямо сейчас и отлучу, если не остановишь народ.

— От какого храма ты меня отлучить хочешь, батюшка? — смиренно спросил тот, вращая бельмами.

— Сам знаешь, от какого. От Святой Церкви отлучу за лукавство твое.

— То ты у нас — самый лукавый дух и есть. Людей на погибель зовешь, в геенну огненную. Ты сам-то когда в храме был? — задал он совсем неожиданный вопрос.

— Прямо сейчас из храма вышел, — растерявшись, отвечал ему Аввакум, словно перед ним находился не слепой калека, а кто-то, значительно выше и сильнее его. — И службу там служил, — зачем-то добавил он.

— То тебе только кажется, что ты был в храме Божьем. Может, телеса твои и были там, но душа в ином мире витает, заблудилась совсем, и уже не видать ее, не вернется обратно. И то, что ты службой называешь, совсем не служба Господня, а игрище бесовское. От тебя и сейчас еще серой воняет, а не ладаном, как ты думаешь. Ой, как несет! Мочи нет никакой терпеть, отойди от меня, а то задохнусь от бесовской вони! Уйди! Уйди! — начал он отмахиваться обеими руками от протопопы.

— Ах, вот ты как! — закричал Аввакум. — Да я тебя сейчас на чистую воду выведу, айда со мной, проверю, кто ты есть такой! — И он схватил слепого за шиворот, силясь поднять того и поставить на ноги. Но вдруг увидел, что на месте ног у того были лишь короткие култышки, замотанные в опущенное снегом тряпье.

— Не трожь святого человека! — послышался сзади грубый голос, и чья-то сильная рука треснула его по затылку. Он обернулся и увидел мужика, что только что рвал на себе рубаху и громко рыдал. Теперь же на протопопы смотрели налитые кровью, ненавидящие его глаза. Не на шутку испугавшись, он отскочил в сторону, и кто-то тут же больно ткнул его кулаком под ребра, а вслед за тем на него посыпались крепкие затрешины.

— Бей оборотня! Бей мертвяка! — закричала толпа и поперла на него, норовя уронить и затоптать, выбить из него живой дух, чтоб он действительно стал мертвым, каким они его мгновение назад и считали.

Аввакуму не оставалось ничего другого, как броситься наутек в сторону недавно оставленного им храма и там закрыться. Но толпа не успокоилась и долго еще ломилась в дверь, выкрикивала угрозы, грозила поджечь церковь. Не желая искушать судьбу, он прошел в ризницу и лег там на лавку, принялся тихо про себя молиться и так уснул. Но среди ночи он несколько раз просыпался, вздрагивал, натыкаясь руками на незнакомые предметы, и ему порой начинало казаться, что, может, он и впрямь умер, но потом успокаивался и вновь засыпал, тяжело дыша и постанывая.

\* \* \*

Прошел без малого месяц, и за это время Аввакум со своим причтом участвовал в крестном ходе «на Иордань», проводимом на Иртыше, где он первым из присутствующих опустил на престольный крест в студеную речную воду. Во время трапезы в архиерейском доме, куда наместники владыки созвали все городское духовенство, протопопа посадили по правую руку от Григория Черткова, который и возглавлял застолье. Они быстро нашли общих московских знакомых, вспомнили, как проходили праздники в кремлевских палатах, где Чертков не единожды присутствовал, находясь в свите прежнего патриарха. Но долго поговорить им не удалось ввиду того, что приказной был вынужден вскоре уйти, сославшись на свои срочные дела. Вслед за ним покинул застолье и Аввакум, стремясь быстрее попасть домой, где его дожидалось за праздничным столом все семейство.

Через несколько дней Аввакум обратился к Ивану Струне с просьбой дать ему подводу для поездки в село Абалак, куда он давно уже хотел свозить жену и детей, помолиться у чудотворной иконы, не так давно явленной жителям этого местечка. Струна, выслушав просьбу, пожевал рыжий ус, хитро прищурился и спросил у Аввакума:

— На долго ль поедешь?

Аввакум прикинул, что если до Абалака больше двадцати верст, то день уйдет на поездку туда и столько же в обратную сторону, а возможно, еще заночевать где придется, о чем и сообщил дьяку. Тот некоторое время молчал, словно ожидал еще каких-то объяснений, а потом решительно ответил:

— Не могу. Кони как есть все в работе, ищи для поездки кого со стороны.

Аввакум, конечно, ожидал подобного оборота, но сейчас, глядя на тщедушного приказного, который, развалившись в кресле, смотрел на протопопа с видимым превосходством, не скрывая того, в нем закипела злоба, и, не особо сдерживая себя, заявил:

— Ты, сукин сын, поостерегся бы так со мной разговаривать, а то не ровен час...

Он не договорил, понимая, что и без того сказанул лишнего, и готовился встать, чтоб уйти, но Иван Струна, словно какой силой подброшенный с кресла, вскочил, кинулся протопопу наперерез и, злобно шипя, выкрикнул:

— Чего, а то?! Договаривай, коль начал.

— А то худо тебе будет, — ответил протопоп с высоты своего роста, глядя на Струну, — укорочу власть твою, не посмотрю, что владыка тебя за главного оставил. Ты мне не указчик, меня люди и поглавней тебя слушали и не перечили, ишь, пожалел лошаденку дать для благого дела. Обращусь к воеводе, у него кони подобрей ваших, архиерейских, будут, тот не откажет.

— Больно ты воеводе нужен, у него и без тебя дел хватает. А мне не смей грозить. Не думай, что коль владыка тебя милостиво принял, то тебе все позволено. Шалишь, я на тебя управу мигом найду. Видали мы таких...

— Ищи, коль сыщешь чего, — с этими словами Аввакум одним движением отодвинул стоящего перед ним приказного и вышел.

\* \* \*

...На улице густо валил снег, несмотря на это, тоболяки все так же, не обращая никакого внимания на непролазные сугробы, спешили каждый по своим делам, и им не было никакого дела до идущего навстречу батюшки. А Аввакум брел посреди дороги, не слыша окриков обгонявших его возниц, и с горечью думал, что в очередной раз совершенно зря ввязался в ссору, которой вполне можно было избежать.

Ему вспомнилось, как много лет назад у себя на родине он не поладил с прихожанами, отказавшимися собирать деньги на ремонт сельского приходского храма. В результате ссора эта закончилась для него печально, и он вынужден был, оставив жену с сыном, тайно бежать в Москву. Обрато в родные места он уже не вернулся и написал в столицу Марковну вместе со своим первенцем.



Жизнь, словно в насмешку, сталкивала его с людьми, поладить с которыми он никак не мог: не дослушав до конца, начинал спорить, возражать, потом все больше распалялся, забыв о христианском смирении, к которому сам же и призывал. В иные минуты он был готов вступить в единоборство со всем белым светом, если считал, что правда на его стороне. При этом ему было неважно, кто перед ним, простой ли мужик или сам патриарх, стоило лишь услышать слово, направленное против его собственных убеждений. Тут же внутри него все вскипало, словно захлестывало горячей волной, забывались уроки прошлого, и сколько бы потом он ни каялся, ни винил себя, но в самый что ни на есть критический момент не мог совладать с собой и поступить разумно.

Вот и сейчас из-за отказа Струны нужно было ему всего-то смириться, спокойно уйти, не показывая своего несогласия, а затем выбрать подходящий момент и обратиться вновь, когда тот будет в лучшем расположении духа. И все бы, глядишь, решилось миром и согласием. Но, видно, не дано ему от природы жить по Христовым заповедям и подставлять обидчику другую щеку. Вместо этого он ввязывался в склоку, в которой победителей не бывает.

И сейчас он, вышагивая по широким улицам сибирского городка, уже мог представить, как назавтра разнесутся слухи о его стычке с наместником владыки и вряд ли кто заступится за него, поддержит и скажет утешительное слово. Наоборот, большинство из них будут с радостью судачить о случившемся, даже не попытавшись понять, на чьей стороне правда.

Сам же Аввакум не мог и не желал изжить в себе извечно живущее в нем чувство несправедливости, считая неправым каждого не согласного с ним человек. Вместо того, чтоб смириться, принять точку зрения своих противников, он принимался обличать их, гвоздить памятными выдержками из Святого Писания, словно он один на всем белом свете был бичом Божиим, которому открыта суть вещей и явлений.

Правда, изредка и у него случались сомнения, особенно, когда он откровенно признавался своей Анастасии Марковне в произошедших ссорах. Та, терпеливо выслушав его рассказ, не начинала сразу винить мужа, чем бы могла лишь еще больше распалять его неумную натуру. При этом она обычно поначалу лишь согласно кивала головой, поощряя к рассказу, а лишь потом через какой-то срок тихонько интересовалась, как он дальше собирается вести себя. На что протопоп неизменно отвечал: «Как Бог направит». Тогда Анастасия Марковна

садилась напротив него и вспоминала какой-нибудь случай, произошедший с кем-то из ее знакомых, вроде бы не имевший прямого отношения к услышанному. Аввакум не перебивал ее, давал договорить до конца, порой не понимая, зачем она рассказывает ему все это, но постепенно до него начинал доходить скрытый смысл слов жены, и он со смехом спрашивал ее:

— Говоришь прямо как по писаному. Откуда знаешь все это?

— А ты оглядись вокруг, — отвечала она, — и сам, приглядевшись, увидишь и поймешь, отчего тот или иной человек так живет. Не мое дело — тебя учить, но не грех напомнить, что с иными людьми случается. Твое дело священствовать, а мое — детей рожать да обихаживать. Только Бог повелел нам вместе жить, а потому твои заботы и на мои плечи ложатся. Порой бывает: нет тебя долго, жду не дождусь, а сердцем чую, неладное что-то с тобой приключилось. Придешь, расскажешь — и точно, все, как я думала...

— Да, нелегко тебе со мной, но ты уж потерпи, авось да наладится все, и поймут люди, на чьей стороне правда, еще и спасибо скажут...

На эти слова Марковна редко отвечала, понимая, что вряд ли изменится что в их жизни, пока муж ее сам не поймет, отчего всяческие беды и напасти стали так часто посещать их дом. Но никогда она не винила его за горячность и буйный нрав, принимая таким, каков он есть. И втайне от мужа, молилась за ниспослание ему смирения, надеясь, что с возрастом он утихомирится, и, может быть, тогда действительно заживут они тихо и мирно, как все прочие люди, не имеющие привычки идти всегда против ветра, а старающиеся переждать, переждать, когда буря минует их.

Аввакум же, наоборот, словно искал столкновения с иными неодолимыми силами, выстоять против которых зачастую оказывался неспособен. И вряд ли он когда думал о том, что вместе с ним ураган тот может смести не только его самого, но и семью, связанную с ним узами родственными и душевными.

И сейчас, после ссоры с Иваном Струной, Аввакуму хотелось быстрее вернуться в свой необжитый еще дом, почувствовать щекой тепло Анастасии Марковны, рассказать ей обо всем и услышать нехитрые слова утешения, которые подействуют на него благодатно и смогут заглушить ту боль, с которой он жил, если не всегда, то, по крайней мере, последние годы поселившуюся в нем после безобидной, казалось бы, ссоры с прихожанами у себя на родине.

Ближе к Сретенью Аввакум стал замечать, что с диаконом Антоном творится что-то неладное: тот стал часто опаздывать, забывал вовремя развести кадило, приготовить ему, протопопу, облачение для службы, а во время литургии подпевал не в такт и часто путался. Он несколько раз отчитывал диакона, на что тот, потупя глаза, ничего не отвечал, и его веснушчатые щеки еще заметнее бледнели, и верхнее веко глаза начинало подрагивать и дрожать.

Аввакум знал, что диакон был женат, имел двух детей и давно ждал рукоположения в иерейский чин, которое владыка по какой-то причине откладывал. Происходил он из крестьян, читать выучился с малолетства, подпевал на клиросе по благословию деревенского батюшки, где и начал свою службу вначале причетником, а через какой-то срок был произведен в диаконы. Каким-то непонятным образом он попал в Тобольск, где и был принят на службу в Вознесенский храм прежним настоятелем — отцом Аверкием.

Особым рвением в исполнении своих обязанностей он не отличался, книжными познаниями не блистал, но имел способность оказаться в нужный момент в нужном месте, знал в лицо и по именам всех городских клириков и со многими из них водил дружбу. Поначалу Аввакум решил, будто Антон попивает, а потому и запаздывает к началу службы и ведет себя подобным образом. Он пытался принохиваться к диакону, но ничего похожего на синюшный перегар уловить ему не удавалось.

Чтоб разобраться, что такое творится с диаконом, он навести о нем справки через пономаря Данилу Артемьева, которого и попросил разузнать, что происходит с Антоном Чучериловым. Через пару дней пономарь, когда они остались наедине, поведал протопопу о том, что диакон взял в долг значительную сумму денег у одного из воеводских приказных, будто бы на покупку дома, но в назначенный срок их не отдал. Получалось, Чучерилова могли привлечь к суду и лишить всего имущества, поскольку сумма была нешуточной. После этого Аввакум, уже не скрывая, спросил о том самого Антона, который все подтвердил, мол, так все и было. А под конец признался, что не знает, как ему теперь быть, поскольку долг отдавать нечем.

— Куда ж ты, дурья башка, деньги те дел, если и дом не купил и отдавать тебе нечего?

— В избе своей за божницу положил, а уж куда они оттуда подевались, и ума не приложу, — отвечал, как всегда, не глядя в глаза, диакон.

— Жена или дети взять не могли?

— Да что вы, батюшка, не в жизнь! Они о том и не знали, хотел их обрадовать и к Пасхе в новый дом ввести...

— А как же отдавать думал? Коль срок тому уже наступил? — настойчиво выпрашивал его Аввакум, пытаясь выяснить все до конца.

— Отец мой, у себя в деревне хотел коровку продать, да и ему должны были кое-какой долг вернуть, а не вышло...

— Отчего ж не вышло? Передумал, что ли?

— Помер батюшка перед самым Рождеством, и матушка с братьями и сестрами моими одни остались, а им самим теперь коровка ох как нужна.

— Понятно, — неопределенно произнес Аввакум. — И что теперь делать думаешь? Где деньги брать станешь?

— Ума не приложу, хоть в прорубь головой, не знаю как и быть, — по-детски всхлипнул диакон, и из-под его пушистых ресниц по щеке покатилась едва заметная слеза, которую он тут же поспешно утер испачканным в саже кулаком.

— Почему же мне сразу обо всем не сказал? — спросил Аввакум, понимая, что это мало чем поможет.

— Боюсь я вас, батюшка, строги больно...

— Как же иначе с вами быть, — усмехнулся Аввакум, — только толку в том мало.

Он день или два обдумывал, чем можно помочь диакону, и решил переговорить с тем приказным, у которого Антон Чучерилов занял деньги, а потому ранним утром следующего дня отправился на воеводский двор. Но разговор оказался мало утешительным, поскольку приказной, как оказалось, уже обратился со своим иском не к кому-нибудь, а к архиерейскому дьяку Ивану Васильевичу Струне, говорить с которым Аввакум счел для себя унижительным. С тем он и отправился на службу, которая прошла довольно обыденно, мало чем отличаясь от прочих. Правда, диакон Антон был на этот раз более расторопен, явился без опоздания и признательно поглядывал на протопопа, когда подавал ему кадило или святую воду для окропления. Когда служба закончилась и Аввакум, пройдя в ризницу,

принялся снимать с себя облачение, то вбежал испуганный пономарь Данила со словами:

— Иван Васильевич Струна пожаловали, диакона Антона просят.

Аввакум глянул на диакона, который весь сжался и напрягся, готовый, казалось бы, в любой момент расплакаться от свалившегося несчастья, и решил, что настало самое время отплатить Струне той же монетой, что и он ему. Он велел диакону не выходить одному, неторопливо переоделся, подпоясав себя широким кожаным ремнем, взял в руки свой неизменный посох и вышел навстречу неожиданному посетителю. Тот стоял посреди храма подбоченившись, а в дверях теснились пришедшие с ним еще несколько человек. Ни слова ни говоря, Аввакум прошел мимо Струны к церковному входу и велел пришедшим с ним людям покинуть храм. Те не посмели ослушаться и с великой неохотой вышли вон. Тогда Аввакум для верности прикрыл дверь на большой кованный крюк. Потом вернулся обратно и без обиняков поинтересовался:

— Под благословение мое, стало быть, не считаешь нужным подойти?

Дьяк, не ожидавший подобного обращения, с удивлением воззрился на протопopa и огрызнулся:

— Без тебя знаю, у кого благословения просить. Да и не за этим я пришел. Диякон ваш мне требуется, взыскание на него пришло. Ты, протопop, видать, и не знаешь, что диякон твой вор, взял у доброго человека деньги немалые, а отдавать не желает. Потому и пришел за ним.

— Поостерегся бы такие слова в Божьем храме говорить, чай, не на ярмарке, где каждый волен нести чушь разную, что ему на ум взбредет.

— В храм люди для того и ходят, чтоб душу свою Господу открыть и заповеди Божьи блюсти. Вот мы затем и пришли, чтоб, согласно христианским законам, сыск произвести.

— Вот и искали бы, где положено, а здесь делать тебе нечего. Пошел вон отсюда! — И протопop для верности ударил посохом о пол, ожидая, что Струна пойдет на попятную, одумается и покинет храм.

Но тот и не думал отступать, а набычась снизу вверх, глядел на протопopa, потемнев лицом и наливаясь яростью. Видимо, за все время своего служения ему не приходилось встречать подобного

отпора, и он решил, что и на сей раз сила и власть на его стороне. Но вот только не учел, что помощники его остались снаружи храма, а Аввакум был на голову выше него и шире в плечах. Да он, судя по всему, не ожидал, что Аввакум посмеет против него, архиерейского служителя, применить силу. Зато Аввакум, которому уже не раз приходилось отстаивать свою правоту перед прихожанами с помощью кулаков и всего, что попадалось под руку, наоборот, был настроен решительно и только ждал момента обуздать зарвавшегося дьяка.

— Так где диакон твой? — спросил Струна, не желая отступать от своего, решив довести начатое до конца.

— Где ему должно быть, там он и находится, — ответил протопоп, поигрывая посохом. — Ты, песий сын, должен был поначалу меня пригласить, рассказать, в чем вина его, доказательства представить, а уж я бы решил, как поступить с ним, поскольку и есть главный его начальник.

— Ишь ты, начальник выискался! Дома у себя над своей попадьей командуй, а тут повыше тебя начальники найдутся. Зови диакона, а то придется мне силу применить. — И Струна оглянулся в сторону закрытых дверей и сделал шаг по направлению к ним.

Аввакум же зашел с другой стороны и, выставив грудь, стал напротив, не давая тому прохода.

— Давай показывай силу свою. — И слегка двинул посохом в лоб дьяка. Тот взвизгнул, ухватился за посох, пытаясь вырвать его из рук протопопа. Но Аввакум держал его крепко, а потом и вовсе ловким движением освободил свой жезл из рук Струны и, размахнувшись, хотел побольнее ударить приказного.

Струна, поняв, что одному с протопопом не совладать, кинулся в глубь храма, намереваясь выскочить наружу через другую дверь, но навстречу ему вышел Антон Чучерилов с на престольным крестом в руках и угрожающе взмахнул им.

— Изыди прочь, нечистая сила, — закричал сзади почти догнавший приказного Аввакум. — Будешь знать, как со мной связываться!

Дьяк метнулся в противоположную сторону, но, запутавшись в полах своего кафтана, упал навзничь, чем и воспользовался протопоп, мигом оседлавший его, навалившись всем телом и для верности схватив приказного за косицу.

— Поди сюда, — позвал он Антона, — попридержи его чуть, а я сейчас покажу ему, как в моем храме вести себя подобает. — С этими

словами он снял с себя широкий сыромятный ремень, стянул с дьяка кафтан, а потом чуть приспустил подвязанные кушаком штаны и изо всех сил хлестнул того по голым ягодицам.

Дьяк взвыл, принялся выкрикивать угрозы, в ответ на которые Аввакум лишь еще яростнее стал нахлестывать беспомощного приказного, лежащего лицом вниз на холодных досках пола. Вскоре угрозы сменились мольбой, а потом из горла наказуемого вырывались лишь злобный рык и тонкие всхлипывания. Его помощники, оставшиеся на улице, слыша крики своего начальника, принялись беспорядочно колотить в дверь, безуспешно пытаясь открыть ее. Но толстенные створки выдержали напор, и вскоре стук прекратился, и лишь чьи-то зычные голоса слышались снаружи. Однако Аввакум никак на них не реагировал и закончил порку, лишь когда изрядно устал и взмок. Он глянул на дело своих рук и убедился, что ягодицы приказного, испещренные длинными багровыми рубцами, являли собой весьма неприглядное зрелище. Тогда он удовлетворенно хмыкнул, надел ремень обратно на себя, подобрал посох, прошел к дверям и скинул крючок. Тут же навстречу ему с улицы ворвалось несколько человек, но, увидев лежащего на полу своего заголенного начальника, в недоумении остановились, и кто-то шепотом произнес:

— Это что же такое? Неужто убили Ивана Васильевича?! — И они в смятении посмотрели на протопопа, стоявшего с победным видом у стены под образами.

— Заберите падаль эту, — указал он им на тихо постанывающего Струну, — и чтоб впредь ни одного из вас здесь не видел, а то каждого таким же способом вразумлять стану.

Антон Чучерилов, от греха подальше, скрылся в ризнице, а может быть, и сбежал уже через черный ход, а потому Аввакум остался в храме совсем один, но ни малейшей боязни не испытывал. Да и мужики, пришедшие со Струной, оставшись без начальника, и не помышляли о расправе над ним, а торопливо подхватили того с пола, оправили одежду и потащили к выходу. Аввакум же со вздохом перекрестился и, обратясь к иконе Спаса, негромко спросил:

— Неужто, Господи, не по заветам твоим поступил я? Не так ли Ты отхлестал и выгнал торговцев из храма? И я, верный слуга Твой, достойно наказал того, кто с мирским несправедливым делом под покров сей явился. Кто осудит меня за это?

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

Он чуть постоял, словно ждал ответа на свой вопрос, потом накинул на плечи полушубок и через главный вход вышел во двор. Чуть постоял и, ничуть не опасаясь за последствия произведенного им наказания, отправился домой, находясь в душевном равновесии с самим собой и со всеми окружающими, думая про себя, что бич Божий иногда должен быть таковым в полном смысле этого слова.

\* \* \*

А они ненавидят обличающего в воротах  
и гнушаются тем, кто говорит правду.

*Ам. 5, 10*

Монастырское предместье в вечернюю пору представляло собой довольно унылое зрелище, поскольку низенькие домишки обывателей уже после Рождества оказывались почти наполовину занесены снегом и лишь остроконечные крыши выглядывали меж сугробов, словно перевернутые на берегу лодки. Ближе к вечеру по улице прекращалось всяческое движение, жизнь замирала и даже скотина в хлеву не подавала голоса и, лишь иногда, по улице со стороны реки проносился редкий возок, и воздух оглашался истошными криками возницы, спешившего добраться до ночлега. Аввакум не любил ночную пору, когда со всех углов надвигались тени, словно густой черный деготь, покрывая неосвещенную часть комнаты. Свет шел только от углей, теплившихся в глубине печи, да от коптящей лучины, сгорающей быстро и с треском, озаряющей неровным пламенем сидящих поблизости людей.

Дети их к этому времени уже лежали на теплой печи, дружно, посапывая носами, и никто не мешал мужу и жене заниматься своими делами. Анастасия Марковна к вечеру обычно заканчивала работу по дому, ставила на завтра квашню, а потом бралась прясть, пристроившись к стене на лавке возле окна, и молча наблюдала за мужем, сосредоточенно читающим какую-нибудь из церковных книг.

Смотреть за Аввакумом было интересно уже потому, что при чтении он запускал левую руку в густую бороду, а правой водил по строчкам и вполголоса произносил каждое прочтенное слово. При этом морщины у него на лбу обозначались еще резче, и пламя от лучины делало его похожим на библейских пророков, какими их часто изображают на иконах. Иногда он отрывался от чтения и, задумавшись, смотрел в тем-



ный угол. Так он мог просидеть, погруженный в собственные мысли, довольно долго, пока Анастасия Марковна не окликала его:

— Где ты есть, Аввакумушка? Не улетел ли куда часом?

Он не слышал ее вопроса или делал вид, что не слышит, и продолжал сидеть в той же позе, пока вдруг не вздрагивал и, спохватившись, обводил горницу бессмысленным, отсутствующим взглядом, а потом опять принимался читать, словно и не улетал минуту назад в мыслях своих неведомо куда.

Аввакум не стал рассказывать супруге о сотворенной им порке Ивана Струны, считая, что лучше ей о том вовсе не знать, поскольку она и без этого, помня о прежних его ссорах с властями и прихожанами, каждый раз с опаской вслушивалась в долетающие с улицы звуки, стоило лишь кому-то пройти мимо их дома. Поэтому, когда возле ворот остановились розвальни, на которых сидело несколько человек, и один из них держал зажженный фонарь, то она тут же переменялась в лице, испуганно глянула на мужа, спросила:

— Неужто к нам кто приехал? Ждешь кого?

Аввакум неторопливо поднялся с лавки, приоткрыл дверь и внимательно взгляделся в людские силуэты, среди которых не признал никого из знакомых, тихо ответил:

— Да вроде никто не обещал быть, пойду узнаю...

— Не ходи, — бросилась к нему Анастасия Марковна, — чует мое сердце, недобрые то люди. Кто в ночную пору может явиться незваными? Ты лучше скажи, случилось что? Ты ведь как давеча пришел, сразу все поняла, неладно с тобой что-то, хоть ты и не сказал ни словечка. Да я и так сама все вижу. Расскажи, добром прошу.

Аввакум тоже понял, не к добру эти ночные гости, и ему не стоило большого труда связать их приезд с поркой Ивана Струны, о чем он ничуть не жалел, и случись это в другой раз, то поступил бы точно так же.

Меж тем приезжие легко открыли калитку и, судя по шагам, взошли на крыльцо, постучали. Аввакум метнулся было к двери, чтоб выйти, но Марковна встала у него на пути и, раскинув руки, зашептала:

— Не пущу! И не проси, помню, как в Юрьеве так же вот явились за тобой, а я тебя пстом едва живого почти месяц выхаживала. А могли и до смерти забить, ладно, что добрые люди заступились, не дошло до смертоубийства.

— Там толпа была огромнейшая, а тут всего несколько человек, не дамся им, — так же шепотом отвечал он ей, поглядывая на дверь, в которую уже несколько раз снаружи ударили кулаком.

— Нет! И не проси! Иди на другую половину, а я сама с ними потолкую, узнаю, зачем приехали и чего хотят.

Проснувшись и спящая на лавке возле стены Маринка и испуганно слушала их разговор.

— Кто там, дяденька? — спросила она.

— Не бойся, пошумят и уйдут, — ответил ей Аввакум, но та села, запахнувшись шалью, и успокаиваться, судя по всему, не собиралась.

Видя, что Аввакум колеблется, супруга схватила его за рубаху и потянула в неосвещенную половину дома. Аввакум подчинился, но не столько из страха, как из боязни разбудить детей, которые могли тоже испугаться. Он понимал, что и на этот раз Марковна права и не стоит искушать Господа, который и так спас его от неминуемой смерти, когда взбунтовавшиеся жители Юрьева устроили над ним самосуд. Поэтому он зашел за печку и остался там стоять, хорошо слыша каждое слово, доносившееся до него.

Марковна открыла дверь, и в избу с ругательствами ввалилось несколько человек, рассмотреть которых из своего закутка Аввакум не мог.

— Ты, что ли, жена протопопова будешь? — спросил один из них, обладавший сиплым голосом.

— Я и есть, — спокойно ответила та, — а вы кто будете? Чего добрых людей посреди ночи тревожите?

— Это где ты добрых людей видишь, карга старая? — зло выкрикнул обладатель петушиного тенорка, в котором Аввакум по голосу признал архиерейского подьячего Захария Михайлова, ближайшего помощника Ивана Струны. Захарка тот отличался дурным нравом, часто появлялся в архиерейских покоях полупьяным, но все ему прощалось за то, что он мог лучше других выправить долг со всякого, кто не спешил тот долг возвращать. Для него было все равно, вдова ли это или немощный калека, и стоило лишь Захарке узнать о недоимке, то он по собственному разумению отправлялся к тому во двор и тащил оттуда все, что представляло хоть какую-то ценность. Иван Струна неизменно пользовался его услугами и сам не раз участвовать в подобных вылазках. Верно, и теперь он отправил этих двоих за Аввакумом.

— Ты, мил-человек, чуть поостынь и голос сбавь, а то у меня детки спят, разбудишь еще, — спокойно пыталась урезонить их Марковна. — Объясните лучше, зачем среди ночи явились?

— Не твоего бабьего ума дела, — заговорил первый, голос которого Аввакум никак не мог узнать, — зови мужика своего, он нам нужен. Дома ли он? Пусть выходит по-хорошему, а то мигом перевернем все, вам же хуже будет.

— Нет его, — невозмутимо отвечала Марковна, — со службы еще не пришел, а может, зашел к кому, мне то неведомо.

— Не врешь? — с недоверием спросил Захарка.

— Слушайте, добром говорю, не вводите во грех, а то сейчас ухват возьму и так вас попотчую, сами не рады будете.

Тут подала голос Маринка, молчавшая до этого:

— Где это видано, чтоб посреди ночи к добрым людям вламываться?! Я вот сейчас добегу до казачьего атамана, обскажу ему все, а он казаков отправит, те вас так нагайками отхлещут, своих не узнаете...

Вряд ли на вломившихся мужиков особо подействовала угроза молодой девушки, но вести себя они стали тише и о чем-то зашептались меж собой, потом послышался скрип открываемой двери, и все стихло.

Аввакум вышел из своего убежища, проходя мимо Маринки, погладил ее по голове, чуть улыбнулся и на цыпочках прокрался к не закрытой до конца двери, посмотрел в щель на улицу. Сани все так же стояли подле ворот, а рядом собрались в кучку четверо мужиков, совещаясь меж собой. Они явно не торопились уезжать, собираясь дожждаться его возвращения. В доме оставаться было опасно, потому как в любой момент они могли вернуться, а выйти на улицу и пробраться мимо них тоже не было никакой возможности. Правда, можно было попытаться, если получится, пройти огородами и спрятаться у кого-то из соседей...

Или же отсидеться дома в надежде, что эти четверо вскоре уедут. Но и тот и другой план не вызывали у него воодушевления, поскольку если даже он незамеченным сумеет выбраться из дома, то придется пробираться через сугробы по пояс в снегу; а если остаться дома, то те рано или поздно обыщут избу, и тогда не миновать расправы.

То, что расправа будет жестокой, Аввакум знал по рассказам знакомых, которые говорили ему, что в Тобольске частенько исче-

зают люди, которые не угодили кому-то из сильных мира сего. Иван Струна при помощи своих подручных, не гнушавшихся выполнить любое его порученье, мог расправиться практически с любым рядовым жителем, если у того не найдется заступников. А заступников у Аввакума, как раз и не было. Единственный, кто мог взять его под свое покровительство, владыка Симеон, отбыл в Москву и неизвестно когда вернется оттуда.

«Значит, сейчас нужно искать кого-то другого... Такого, чтоб Струна с дружками прижал хвост. А кто это может быть? И тут Аввакум вспомнил про воеводу Хилкова, что милостиво принял его. К тому же он был его прихожанином, хотя пока что не спешил подойти к нему на исповедь. Точно! Воевода! Князь Василий Иванович. Он не даст меня в обиду», — твердо решил для себя Аввакум. Повеселев от пришедшей ему на ум спасительной мысли, он шепотом подозвал жену:

— Поддай мне одежду.

— Это куда же ты собрался?! Не пущу! Чует мое сердце, убьют они тебя там, лучше дома отсидись. Бог милостив, авось да пронесет беду стороной.

— Сиди не сиди, а куда-то подаваться надо. Знаю я их, они от своего не отступят. Попробую через огороды в дом к воеводе пробраться, авось он не откажет, укроет до поры.

— Может, мне и впрямь до казаков податься? — спросила Маринка. — Я мигом...

— Сиди уж, не бабское это дело — ночью по темноте бегать. Мало ли что у этих на уме, — осадил ее Аввакум. — Сам разберусь.

В это время на печке заворочался один из их сыновей и тяжело закашлялся, «видимо, дальняя дорога все еще давала о себе знать», — на ходу подумал протопоп, натягивая впопыхах одежду. Ему вдруг вспомнилось, что каждый раз, когда кто-то из детей болел, то у него всегда находились неотложные дела и ему было не до их болезней. А вспоминал он о том, лишь когда благодаря хлопотам любезной его Марковны, они выздоравливали и продолжали как ни в чем не бывало заниматься своими детскими играми.

\* \* \*

Почему-то именно в этот момент Аввакуму вспомнилось и его детство, промелькнувшее, словно тень ястреба, тенью прочертившего небесную синеву, и в памяти всплыли отнюдь не радостные

воспоминанья: о том, как их родной батюшка по большим и малым праздникам зачастую приходил после совершения мирских треб навеселе. И, увидев их с братом, принимался бранить за какие-то давнишние проступки, отчего они тут же прятались от него кто на чердак, кто в подполье, страшась отцовского гнева.

Может, уже тогда развилась в Аввакуме непокорность, неуступчивость и желание делать все по-своему, наперекор. Проживи отец чуть дольше, то наверняка смог бы переломить характер сына, выправить каким-то образом, объяснить, к чему ведет подобное противостояние.

Но этого не случилось. Аввакум остался после смерти отца в семье за старшего, когда ему едва минуло двенадцать лет. С тех самых пор он стал еще задиристей, упрямей и все делал так, как считал нужным. Соседи лишь посмеивались, видя, как попович до хрипоты спорит со своими сверстниками, убеждая их во время мальчишеских игр выполнять все его приказы. Но каждый из сверстников видел сам себя атаманом и не желал подчиняться чьим-то там приказам. Не раз Аввакуму случалось доказывать свою правоту с помощью кулаков, хотя этим он мало чего мог добиться. Кроме угроз и озлобления. А потом, повзрослев и став диаконом в той же церкви, где когда-то служил отец, он уже одним этим возвысился над бывшими друзьями и соперниками и теперь уже мог поучать их с полным правом, ощущая за собой негласную поддержку старших.

Уже в ту пору он не только трудно сходилась с людьми, но так и не обзавелся настоящими друзьями, с кем можно было бы поговорить по душам, спросить совета, ожидая поддержки и понимания. Потому он невольно тянулся к старшим, но и те не желали признавать его равным себе, и постепенно он обособился, как бы затаился и даже озлобился. Стал искать ответ на мучившие его вопросы в чтении церковных книг, где праведники всегда побеждали. Со временем именно они и стали его друзьями, с которыми он вел незримую беседу, спрашивал совета, рассказывал обо всем, что с ним случалось.

Любимым его библейским героем стал царь Давид, которого он боготворил за ум и настойчивость в исполнении задуманного. Он неоднократно перечитывал описание его подвигов, представлял себя на его месте и даже не заметил, как походка его сделалась более ровной, а поступь стала тверже, речь весомее. Теперь, когда он начинал говорить, то собравшиеся невольно прислушивались к произносимым им выдержкам из Святого Писания, начинали задумываться и верить,

что это и есть истина, которая через уста молодого диакона ниспослана им свыше. И мало кто решался усомниться не только в речах, но и поступках Аввакума.

Так было, пока он оставался в родном селе Лопатище. Но когда он был рукоположен в священнический сан и перебрался в злосчастный город Юрьев, то почему-то все переменялось. С первых дней он ощутил холодок со стороны прихожан. Мало кто становился к нему на исповедь, а старались обратиться за отпущением грехов к старому батюшке, под началом которого и служил Аввакум.

Такое положение дел невольно задевало Аввакума, и вместо того, чтоб разобраться в происходящем и найти общий язык с прихожанами, он стал напускать на себя еще большую строгость, отчитывать за малейшие проступки всех, кто признавался ему в своих грехах. А как-то раз даже наложил епитимью на целую семью одного состоятельного человека за то, что вместе с ними в доме проживал чужестранец, приехавший в город по торговым делам. Глава семьи не пожелал смириться с наказанием и пожаловался настоятелю. Епитимью сняли, и как Аввакум ни старался доказать, что действовал во благо, но настоятель лишь сурово отчитал его и пригрозил более строгим взысканием.

Но это не помогло. Молодой священник продолжал обличать и даже преследовать всех тех, кто, по его мнению, недостаточно истово каялся в своих прегрешениях. Мало того, по своему усмотрению Аввакум ходил по домам, где пытался беседовать на богословские темы с теми, кто не посещал службу хотя бы в раз неделю. А таких среди торговых людей, прибывающих беспрестанно в отлучке по разным делам, насчитывалось великое множество.

Не помогали уже и жалобы тех настоятелю, поскольку тот к тому времени тяжело заболел и сил продолжать борьбу с молодым и энергичным соперником у него с каждым днем становилось все меньше. К тому же Аввакум заручился поддержкой архимандрита из соседнего монастыря, водившего дружбу с московским духовенством. Он тоже был сторонник жестких мер и держал монастырскую братию в строгости, загружая работой и ночным бдением.

Но однажды терпению жителей Юрьева пришел конец, когда Аввакум отказался венчать молодую пару лишь за то, что они состояли меж собой в дальнем духовном родстве. Может быть, другие и поискали бы иной приход с менее строгим священником, но отец

невесты не пожелал поступить подобным образом и прямо возле храма, дождавшись, когда Аввакум выйдет вон, ухватил его за бороду и пообещал достойно наказать за несговорчивость.

Думая, что правда на его стороне, Аввакум хотел было за подобное действие принародно отлучить мужика от церкви и уже взялся за наперсный крест и высоко поднял его над головой, но тут кто-то толкнул его сзади, и он упал, вскочив, кинулся в драку, сбежались все, кто находился рядом, и били его до тех пор, пока он подавал признаки жизни.

Сердобольные соседи сообщили о том Анастасии Марковне, и она, громко причитая, подобрала мужа, притащила в дом, а потом... Потом он, отлежавшись, ушел в Москву, хорошо понимая, что жить дальше спокойно в этом городе ему просто не дадут.

В Москве его приняли, пригласил Иван Вонифатьев и определил на службу в старинный Казанский собор, находящийся при въезде в Московский кремль. Вскоре к нему перебралась и вся семья. На новом месте зажили, казалось бы, вполне благополучно и без помех, если бы не случись патриарху Никону заняться переустройством исконно Русской православной церкви.

Но подумать об этом Аввакум не успел, поскольку в дверь опять постучали, и он мигом юркнул обратно в темноту и стал прислушиваться, о чем жена говорила с вошедшими. Те, судя по всему, решили перехватить Аввакума по дороге и велели Марковне не выходить из дому, чтоб та не смогла предупредить мужа. Она покорно согласилась, дверь вновь скрипнула, и в доме наступила тишина, лишь фитилек лампадки тихо потрескивал, да слышно было, как за окном раздался скрип санных полозьев.

— Что делать станешь? — спросила Анастасия Марковна мужа. — Может, пересидишь, и мне спокойнее от того будет?

— Нет, как решил, так и сделаю. Пойду, куда они не вернулись обратно.

— Береги себя, — перекрестила та его на прощанье и на этом они расстались.

\* \* \*

Едва Аввакум вышел за ворота, как увидел, что преследователи его, доехав до конца улицы, развернулись и повернули обратно. Нужно было или возвращаться в дом, или бежать от них в противо-

положном направлении, что он и сделал. Однако едва он отбежал на незначительное расстояние, как понял, что скрыться ему не удастся, и, недолго думая, нырнул в первые попавшиеся ворота, вскочил на крыльцо и забарабанил в закрытую дверь. Хозяева, видно, спали, потому что на стук никто не ответил. Он постучал более настойчиво, и женский голос из-за двери осторожно спросил:

— Кого там нелегкая за полночь принесла?

— Сосед ваш... протопоп... — так же негромко ответил он ей.

— Что случилось, батюшка? Заходите в дом, а я сейчас мужа разбужу, если надо чего. Да вы заходите, темно, правда, порожек тут, осторожней...

Голос показался ему знакомым, и он сообразил, что попал в дом Кузьмы Степанова, добывавшего себе пропитание сапожным делом. Правда, стачать хорошие сапоги у него вряд ли бы вышло, но поставить на старую обувку заплатку он мог. А голос принадлежал не иначе, как жене сапожника, который, скорее всего, сладко спал и не ожидал к себе никаких гостей.

Меж тем хозяйка слегка отодвинулась, и Аввакум вошел внутрь, осторожно вытянув руки впереди себя, чтоб не наткнуться на что-то в темноте.

— Сюда пройдите, — потянула она его за собой и скрылась в глубине дома. Послышался звук скребущей о дно печи кочерги, которой хозяйка разгребала едва тлеющие угли, в результате чего горница озарилась слабым светом. Затем она зажгла от углей лучину, закрепила ее в поставец и отправилась будить мужа. Тот вскоре вышел, щурясь и позевывая со сна, поспешил под благословение и, не скрывая удивления, спросил:

— Ко мне никак, батюшка? — Словно находился не у себя дома, а в гостях, где его и разыскали.

— Да вот зашел... — неопределенно ответил Аввакум, не зная, как объяснить причину своего появления. Правду говорить не хотелось, а врать — тем более. Потому он спросил первое, что пришло на ум:

— Как жена, дети?

— Слава богу, живы, здоровы, — не скрывая удивления, ответил Кузьма. — Может, надо чего срочно подшить? Вы, батюшка, только скажите, все исполню.

— Кушать будете? — поинтересовалась его жена. — У меня щи со вчерашнего дня стоят, от ужина остались, хлебушек есть...



— Благодарствую, — отвечал Аввакум, — усаживаясь на лавку и давая тем самым понять, что зашел надолго и скоро уходить не собирается.

На какое-то время в горнице воцарилось молчание. Муж и жена в недоумении смотрели на протопопу, не зная, чего бы еще можно ему предложить, а сам хозяин стоял, словно вкопанный, время от времени позевывал, не забывая при этом быстро крестить рот, что он считал необходимым делать в присутствии батюшки. Аввакум же, сознавая неловкость своего положения, напряженно думал, о чем повести разговор, чтоб появление его не сочли чем-то предосудительным или необычным. Не зная, как начать разговор, он спросил:

— В храме давно были?

— Намедни, — в голос ответили хозяева настороженно.

— Я вот и исповедовалась и до причастия батюшка допустил, а Кузьму моего так нет, — тут же открыла семейные секреты хозяйка дома.

— От чего же так? — напуская на себя строгость, глянул в мужнину сторону Аввакум.

— Пил поскольку на прошлой неделе, — торопливо сообщила его супруга, видно, ожидая поддержки со стороны протопопы.

— В праздник пил или по иной причине? — привычно вошел в свои обязанности тот.

— В праздник, а то как же. — Кузьма даже перекрестился для верности. — У ямщика Митьки дочка родилась, вот меня крестным и позвали.

— Как нарекли? — спросил у него Аввакум, хотя, по правде сказать, ему совершенно не было никакого дела до дочери какого-то Митьки, а тем более — пил ли с ним Кузьма. Но и промолчать он не мог, поскольку привык всегда и везде вникать во все тонкости происходящего, пусть даже они его и вовсе не касались. Так и сейчас он решил преподать Кузьме урок, да так, чтоб тот запомнил его надолго, коль тому подвернулся случай.

— Батюшка нарек Пелагеей, — чистосердечно признался тот, бесстрашно вытаращив глаза на Аввакума и не ожидая никакого подвоха с его стороны.

— Это в честь мученицы Пелагеи, которую собственная мать сожгла? Или в честь преподобной отшельницы? — поинтересовался Аввакум, чем озадачил и без того сбитого с толку стоящего посреди горницы Кузьму.

— Да я и не спросил, в честь кого имя младенцу дадено, — смущенно ответил тот. — Не все ли одно, главное, что теперь будет с именем жить.

— А молитвенной помощи родители у кого просить будут? У двух сразу, или как?

— Мне они о том ничего не говорили...

— Да как же ты, крестный отец называется, не уразумел, кому сам молиться станешь! Грех, грех наипервейший, когда забываешь, кому молитву творишь. Так можно Гоге и Могоге молиться, а думать, будто бы к святому угоднику обращаешься. Узнай непременно...

— Прямо сейчас пойти узнать? — поскреб в затылке Кузьма, который, судя по всему, и впрямь почувствовал себя великим грешником и, по своему обычаю, не смел перечить кому бы то ни было, а уж батюшке — тем более.

— Утром узнаешь и мне расскажешь, — остановил его Аввакум, когда тот уже рванулся, чтоб одеться и под удобным предлогом сбежать из дому, пока Аввакум совсем его не застращал.

— А пьянствовал зачем? — продолжил допекать того вполне освоившийся в чужом доме гость. — Разве не знаешь, что ждет тебя на том свете за неумеренное возлияние?

— Да мы и выпили всего чуток, с полведра браги, — откровенно признался Кузьма. — Митька еще предлагал, только за мной баба моя пришла, домой увела. Да я обо всем том на исповеди отцу Вадиму покался, — вспомнил вдруг он радостно, — а он велел дома пять раз «Отче наш прочесть».

— Прочел? — строго сдвинул брови Аввакум.

— Не успел, батюшка... работы много было, а как в дом зашел, так и спать бухнулся, не до молитв...

— Ах ты, песий сын! — всерьез вспылil Аввакум. — Не до молитв ему! Нет, ты слышала? — обратился к хозяйке. — Сам согрешил, а каяться не желает.

— Я же уже батюшке нашему, Вадиму, покался, — канючил со своего места Кузьма, который уже был не рад незваному гостю и чувствовал себя, словно грешник в аду.

— Грош цена такому покаению, когда возложенный на тебя обет не исполнил. Становись на колени и читай пять раз по десять молитву. Да читай вразумительно и гласно, чтоб каждое слово слышно было, а я считать стану.

Хозяйка всплеснула руками и тихо попятилась, не смея заступиться за мужа. А Кузьма, как овца перед закланием, покорно опустил на колени, перекрестился и принялся что-то бубнить себе под нос. Аввакум некоторое время слушал его, потом, не выдержав, вскочил, подошел ближе и изо всех сил дернул того за волосы.

— Не годится так, ни словечка не понятно! Ты кому молишься?!

— Господу Богу, — глянул на него с колен Кузьма.

— Думаешь, Богу мурлыканье твое легко разобрать будет? Истово читай, как положено, а то не полсотни раз, а пять сотен читать придется!

— За что, батюшка? — взмолился кающийся, который не смел перечить возвышавшемуся над ним протопопу. — Мне всего-то сказано было пять разочков молитву прочесть, а тут вон сколько, легко и со счету сбиться. Я же не дальше дюжины счесть могу...

— Ничего, а я зачем? Не впервой, не собьюсь, а ты читай, читай, покудова не остановлю.

Аввакум так сосредоточился на покорно стоявшем на коленях Кузьме, что не заметил, как хозяйка, накинув на себя верхнюю одежду, выскользнула из дома и пошла в хлев к скотине, опасаясь, как бы ее не поставили рядом с мужем за какие-то там грехи. Она пробыла там почти до самого утра, а когда решилась вернуться обратно, то, едва открыв дверь, услышала зычный протопопов голос:

— ... еще, еще читай, пока сам не почувешь, как грех весь без остатка из тебя вышел...

Кузьма осипшим голосом чего-то отвечал, но разобрать его бормотание было невозможно, и жена его, минуя горницу, пробралась на вторую половину дома, где не спали разбуженные громкими криками ночного гостя дети. Увидев мать, они испуганно потянулись к ней, а она поднесла палец к губам и прошептала:

— Не шумите, не мешайте отцу молитву творить, а то батюшка и вас рядом поставит, не посмотрит, что малы еще...

Дети и не думали шуметь и сидели, замерев, словно понимали, какая угроза исходит из соседней комнаты, где незнакомый человек за что-то громко кричал на их отца.

Аввакум покинул дом Кузьмы Степанова, лишь когда совсем рассвело. Не удовлетворенный его вынужденным покаянием, он на прощанье произнес:

— В следующий раз, как снова выпивать вздумаешь, так и знай, тут же к тебе заявлюсь. И с вечера до утра слушать стану молитвы твои. Все понял?

Кузьма обессиленно кивнул и со вздохом облегчения проводил взглядом протопопа. Затем, тяжело пыхтя, с трудом поднялся с колен, на которых простоял чуть не всю ночь, растер их ладонями и полез за печку. Вынул оттуда большую глиняную корчагу, в которой у него стояла припасенная на всякий случай брага, нацедил полную кружку, шумно опрокинул ее в себя и произнес, ни к кому не обращаясь:

— Накось, выкуси! Придешь ты снова, так я тебя на порог не пущу, а тем более не в жизнь не признаюсь, пил или нет! Мой грех, мне его и отмаливать. А ты, батюшка, лучше свои грехи посчитай, у тебя их небось не меньше моего будет. — И он погрозил кулаком в окно, но, испугавшись, словно Аввакум мог его увидеть с улицы, спрятал руку за спину, вздохнул и зачем-то развел руками, а потом, недолго постояв на месте, поплелся досыпать, резонно решив, что в этот день он уже не работник.

\* \* \*

Нет человека праведного на земле,  
который делал бы добро и не грешил бы...

*Екк. 7, 20*

Утром заснеженная улочка показалась Аввакуму совсем иной и более приветливой, нежели ночью. Возле его дома на снегу виднелись многочисленные следы сапог и конских копыт. Он понял, что ожидавшие его люди пробыли возле ворот достаточно долго и уехали только под утро. Осторожно ступая, он вошел в дом, где его встретила заплаканная Анастасия Марковна и сходу бросилась на шею, всхлипывая и непрерывно повторяя:

— Живой, голубь ты мой! Живой...

— Да живехонек, живехонек, — отстраняясь от жены, ответил Аввакум и поинтересовался: — Долго ждали эти-то?

— Тарабанили, почитай, до самого утра. Ох уж страху-то я натерпелась, думала, что схватили тебя и с собой увезли. Они же кричали, будто хотят тебя на реку свести и в проруби утопить.

— Бог на мой стороне, в обиду не даст. Ничего, поживем еще, Марковна...

— Голодный, поди? На стол накрывать?

— Да уж не сыт, и всю ночь глаз не сомкнул, грешника к истине приводил, Божьей премудрости учил.

— Это кого же ты опять учить взялся? — всплеснула руками Анастасия Марковна, торопливо накрывая на стол.

— Соседа нашего, Кузьму, что обувку разную в ремонт берет. Вот у него в доме неподалече от тебя и провел всю ночь. — И он хитро подмигнул ей.

— Неугомонный ты мой. — Супруга с улыбкой посмотрела на него и, едва коснувшись губами, чмокнула в щеку.

Из-за печки выглянула Маринка, улыбнулась ему и, ничего не сказав, снова занялась своими хозяйственными делами. Да Аввакуму было не до нее. Он не сводил глаз с Марковны и, тронутый ее переживанием и нескрываемой радостью, слегка расслабился, ночные кошмары отодвинулись куда-то в сторону, и мир стал казаться ему вновь прекрасным и радужным. Проснулись дети, любимая дочь Агриппина залезла к отцу на колени и чуть сиплым спросонья голосом спросила:

— Кто так сильно кричал ночью? Мне страшно было.

— Испугалась? — спросил ее Аввакум, оглаживая по русой головке. — Ничего не бойся, я вас никому в обиду не дам...

— Молчал бы уж, горе ты мое, — усмехнулась жена, ставя на стол большую глиняную миску с кашей, — тебя бы самого кто защитил, а то, неровен час, заявятся опять, куда деваться будешь?

Сыновья его, Иван и Прокопий, хоть и не понимали об угрозе, нависшей над отцом, но тоже прижались к нему, словно чувствуя напряженность, витавшую в доме после злополучных ночных визитов.

— Вон, какие богатыри растут, — притянул их к себе Аввакум, — как станут большими, да еще младшенький подрастет, мы тогда еще всем покажем, ого-го-го! Так говорю?

Мальчики дружно заулыбались и, позевывая, уселись за стол, принялись за еду. Аввакум внимательно смотрел на них и думал, за какие такие грехи выпали испытания на его детей. Жена, оно понятно, к мужу прилеплена, повенчана, одно целое с ним. Ей сам Бог велел совместно все тяготы с супругом делить. А деткам-то за что? Прокопий, чистый, как ангел, еще не исповедовался ни разу, у него и грехов-то никаких нет, а вместе со всеми страдать должен. Нет, чего-то не понимал Аввакум во всем происходящем. Пусть сам он за веру, за убеждения свои несет тяжкий крест мученика и изгнанника,

но как оградить от этого близких своих, выдернуть их из порочного круга, в который они вовлечены благодаря кровному родству с гонимым людьми отцом.

В то же время он понимал, стоит ему смириться со всем происходящим, нацепить на себя маску шута горохового, которому все нипочем и любая одежда впору, и враз забудут о несогласиях его, посадят рядом с собой сильные мира сего, и народ станет почитать и кланяться. Может, тогда закончатся беды, и жизнь начнет сытая, спокойная, радостная?

Но не о такой радости мечтал он, когда за твое молчание тебе дают кусок пожирней и разрешают жить, как ты того пожелаешь, лишь бы это не выходило за рамки общих традиций и устоев, придуманных и обозначенных кем-то там наверху.

Аввакум сам порой не понимал, что заставляет его идти против всех, принимать побои, изгнания, терпеть нужду и не знать, доживет ли он до завтрашнего дня.

Верно, так ведет себя лесной пожар, который то выбрасывает вверх буйные языки пламени, то, сбитый ветром, падает ниц, делает вид, будто угас и близок его смертный час, но потом от малой искры разгорается вначале слабый огонек, который становится все заметнее, растет и ширится на глазах и вот уже он вновь набрал силу и бушует, заглатывая и круша все вокруг.

Бесполезно бороться с ним, сбивать веткой или чем иным огонь с кустов, деревьев, хоть тысяча человек выйдут навстречу лесному пожару. Ни за что не одолеть человеку стихию, которая во много крат сильнее него. Пусть даже пропадет огонь на какое-то время, и останутся лишь зола и обгорелые стволы деревьев, но сам огонь, малая искра, притаившись, дождется ухода людей, стерегущих его, а потом вновь займется и безудержно попреет напрямик и станет бушевать до тех пор, пока не потеряет всю свою силу и не иссякнет, оставив после себя шипящие уголья и головни.

Так и Аввакум, неоднократно битый, затравленный недругами, делал вид, будто сдался, обессилел, но, отлежавшись, набравшись сил, невзирая на причитания своей многострадальной Марковны, через какое-то время был опять готов к схватке и противостоянию.

Казалось, родила его не обычная женщина, а некая языческая богиня, наделившая сына своего неимоверной силой и стойкостью.

И, не только родила, но оберегала и хранила все эти годы, не давая ненароком погибнуть, каждодневно храня и заслоняя.

Будь на месте Аввакума другой человек, давно бы сдался или погиб от выпавших на его долю злоключений, пережить которые дано далеко не каждому. Но Аввакум, как булатный клинок, не только не погнулся, не покривился от тягот своих, но день ото дня становился крепче и жестче. Он и сам не мог порой объяснить, как ему хватало сил противостоять чуть ли не всему миру, не сломаться, не пойти на попятную. Он верил, что Спаситель протягивает ему свою руку и ведет за собой по тернистому пути изгнанника. Но настанет час — и все вокруг, взглянув по-новому, увидят и поймут его правоту, покаются, признаются в своей неправде, и тогда он скажет им:

«Трепещите, ибо буду карать вас, наказывать за все прегрешения, которые вижу вокруг себя. И если не я, то кто же?»

\* \* \*

...Он провел весь день дома, играл с детьми, вырезал для сыновей из полена кораблики, какие сам когда-то в детстве пускал. И обещал им, что как только побегут первые ручейки, то они вместе отправят эти суденышки в плавание по талой воде, а сами будут бежать рядом и смотреть, чей же кораблик приплывет первым. И от всего сердца верил, что близкая весна смоеет прежние заботы и что-то переменится в его жизни и Господь-заступник направит его туда, где нет злых людей, не ведающих, что творят.

Ему вспомнились рассказы старика-соседа, который жил в их деревне и вечерами, сидя на бревнышке, часто рассказывал о далекой стране, зовущийся в народе Беловодьем, где нет никакой иной власти, кроме Божьей. И люди живут там вольно, в любви и покое. Там не бывает сор, никто не чинит друг другу обид, поскольку хлеб в той стране растет прямо на деревьях, а реки наполнены чистым молоком и по ночам слышно ангельское пение с небес, и умиленные жители той страны растроганно слушают их и не помышляют ни о чем, кроме как любить друг друга.

«Где же та страна находится?» — интересовались мальчишки.

«Ой, далече, на самом краю земли, куда идти надо целых двенадцать годков через горы, леса, и лишь тот, кто полон веры, достоин попасть в ту страну».

«А ты покажи нам дорогу туда», — спрашивали старика ребята.

«Коли бы знал, то давно бы ушел», — отвечал тот со вздохом.

И потом многократно слышал Аввакум в разных местах рассказы о таинственной стране, где царит мир да любовь, но не особо верил подобным рассказам, считая это всего лишь выдумкой, сказкой, сложенной кем-то. А вот сейчас ему подумалось, наверняка существует эта страна, поскольку, если есть мир, где царствует зло, то обязательно должен быть и другой, куда попадает лишь человек праведный, несущий в душе своей свет Господень.

Он и не заметил, как солнышко склонилось к кромке темного леса, опоясывающего город, и близился вечер, а вслед за тем вспыхнула тревога, что вчерашние люди могут вновь заявиться за ним и потащить на расправу к приказному, а то и впрямь исполнят свою угрозу и отправят его в прорубь, как то обещали. От таких дум ему сделалось вдруг не по себе. Он несколько раз прошелся по дому, соображая, как лучше поступить, и решил, не испытывая больше судьбу и пока светло, пойти под защиту воеводы и там заручиться его поддержкой. Он быстро собрался, сообщил жене о своем решении, которое та одобрила, перекрестив его, и отправился в сторону видневшихся на вершине городского холма княжеских хором.

\* \* \*

Василий Иванович Хилков, узнав о приходе протопопа, велел провести его в свои покои, где они с женой обычно принимали гостей. Аввакум рассказал о том, как расправился с приказным владыки, который посмел прийти в храм и там командовать. Когда Аввакум начал рассказывать, как хлестал того ремнем по обнаженным ягодицам, то воевода громко захохотал, а княгиня прикрыла лицо ладошкой, пытаясь удержать смех.

— Тебя бы, батюшка, ко мне в съезжую избу дознания и правезж проводить, а то мой заплечных дел мастер робок больно. Никак не пойму, то ли ему посулы обещают, чтоб строго не наказывал, то ли стар совсем стал, но только толку с него в последнее время совсем мало. Может, пойдешь под мое начало?

— Побойся Бога, Василий Иванович, — махнула в сторону мужа тонкой ручкой супруга. — Грех-то какой — предлагать этакое... Неужто у тебя и в самом деле в людях нехватка?

— Людишки есть, да толковых мало. А протопоп наш в самый раз подошел бы. На него только глянешь — и уже во всем сознаться хочется. — И воевода в очередной раз громко захохотал.



Аввакум молчал, не зная что ответить, и, хотя не по душе ему были подобные слова, но спорить с воеводой совсем не входило в его планы, а потому он ответил неопределенно:

— Господь знает, кого наказать, а кого миловать. На каждого грешника плеть не припасешь. Решается все в мире этом не нашим умом, а Божьим судом. Истинно говорю! Вот случай был такой у нас в селе, когда я там еще диаконом служил. Баба одна вместе с любовником своим решила мужа своего извести. Знала она отравы разные и зелья да и подсыпала в еду ему чего-то такое, этакое. Ждет его вечером с отравой своей наготове. А тот долго с поля не возвращался, а когда в дом зашел, то застал в гостях соседа своего, с которым женушка его любовь водила...

Воевода и княгиня внимательно, с полуулыбкой на лицах слушали рассказ и заинтересованно ждали продолжения, ожидая, что их поздний гость наверняка расскажет им что-то необычное. Слуга внес восковые свечи, поставил их на стол и, зорко глянув на Аввакума, вышел. Протопопу показалось, что он где-то видел его, не иначе как в толпе, которая на прошлой неделе набросилась на него во время ссоры со слепым. Но Аввакум решил, что здесь, в княжеских покоях, он находится в полной безопасности, и спокойно продолжил рассказ:

— Вот, значит, баба та, как мужа увидела, так испугалась, извиняться начала перед ним, объяснять, будто сосед просто зашел по делу какому-то там. Муж ее выслушал, сел за стол и как ни в чем не бывало велел ужин подавать. Та с испугу еду с зельем намешанным им и поставила.

Только вдруг слышит мужик, как со двора его зовет кто-то. Он из-за стола встал, на улицу вышел. Смотрит, странник какой-то незнакомый, весь из себя седой, опершись на палку, стоит и его спрашивает: «Ты такой-то есть?»

Мужик отвечает, мол, да я и есть. Тогда странник и говорит, что идет он из соседней деревни, где брат мужика живет, который звал его приехать на крестины сына новорожденного.

Ну, мужик, знамо дело, поблагодарил и в дом старика-странника приглашает. А тот отнекивается, что идти ему дальше надо. Сколько мужик его ни звал, только зря все. Ушел тот, несмотря на уговоры.

Мужик обратно в дом вернулся, а там сосед его на полу лежит, и у него пена изо рта так и валит. Хрипит из последних сил и ногами

сучит, бормочет чего-то. Хозяин наклонился и слышит, как тот шепчет, что баба его отравить хотела, а миски с дуру перепутала и другому поставила. Тот и съел, не подумав, а теперь вот окочурился от рук полюбовницы своей. Так он у мужика на руках и умер. Баба в слезы, мужу призналась во всем. Узнали об этом власти местные, забрали ее в приказ, осудили. Мужик один остался.

Аввакум заметил, что князь с княгиней слушают его с огромным вниманием, а княгиня даже чуть приоткрыла рот, и по ее лицу волной пробежал страх от услышанного — она порой слегка вздрагивала всем телом и закрывала в испуге глаза и быстро крестилась, и вновь застыла в напряженной позе. Воевода же, наоборот, слушал с чуть заметной ухмылкой, время от времени поглядывал на жену, словно хотел у нее что-то спросить, но не желал это делать при постороннем.

— И что же? — спросил он, когда Аввакум закончил свой рассказ. — Так мужик и остался один жить?

— Сколько-то пожил, а потом иную жену нашел. Но дело-то вот в чем! Когда он к брату своему после всего случившегося приехал, рассказал про странника, который к нему приходил, то тот удивился донельзя. Мол, никому он ничего не наказывал, и в доме у него никаких странников давным-давно не бывало, а жена у него родить должна не раньше как через месяц.

Думали они, гадали и решили, не иначе как то ангел-покровитель в обличье странника явился к мужику и от верной смерти его спас. Такое вот дело вышло. Истину говорю, Господь знает, когда кого и за что наказать.

Аввакум на какое-то время замолчал, а воевода усмехнулся и, глядя на княгиню, спросил:

— Что скажешь, душа моя, занятная история?

— Жену жалко, — чуть подумав, отвечала та, — сама себя от вечного блаженства отстранила. Грех великий на душу приняла, человека жизни лишив.

— А я бы всех прелюбодеев вместе собрал, одной веревкой связал и утопил бы. От них много бед на свете происходит, — высказал свое мнение Василий Иванович Хилков. — Только мне и без этого забот хватает.

— Вы, воевода-князь, судите обо всем как обычный мирянин. Оно и понятно. У вас своих хлопот полон рот, про иные вам и думать некогда. Но наказание прелюбодеев есть в первую голову забота и обя-

занность Церкви Святой. На то она и поставлена. И я как смиренный служитель ее скажу, сколь бы вы ни искореняли зло мечом ли, огнем ли, плетью ли, а ничего у вас не выйдет. Поскольку зло то в душе человеческой живет, а до нее ни один кнут, кроме Божьего слова, не доберется. Заповедовано Господом еще Моисею и на скрижалях то записано, с каким злом прежде всего бороться и выводить его следует. А мирская власть, она на этот счет свои земные законы имеет, которые по примеру Божьих писаны. Так что, князь-воевода, церковь наша поперед земной власти на земле закрепила, и ей первой решать, как с теми же прелюбодеями поступать, а коль не поможет, то и вам в мир передать можно дело до конца довести.

— Старая песня, — отмахнулся Хилков, — слышал не раз об этом: кто в державе нашей первой, а кто последыш. Спорить не стану, да и не время сейчас пустой спор вести, в котором спорь не спорь, а до истины все одно не доберешься. Так-то вот...

Он тяжело приподнялся, прошелся по горнице, словно нарочитый хозяин, заглядывая в темные углы, где стояли окованные железом сундуки, и подошел к Аввакуму.

— Ты мне, батюшка, вот что скажи, по делу пришел али как? Человек я, как ты сам понимаешь, занятой, но из уважения к тебе время на разговор всегда выкрою. Добавлю, коли не станем праздные речи меж собой вести. Вижу, таишь что-то на сердце, а сказать никак не можешь. Не таись, говори все как есть.

Аввакум не знал, что ответить на прямой вопрос воеводы, а потому попытался отговориться очередной прибауткой, как он умел это делать сызмальства:

— Да как тут сказать, воевода-князь, и не знаю, сколько сам себя ни спрашиваю. Пошел, как говорится, по шерсть, а вернулся стриженным. Так и я, когда сюда в Сибирь ехал, то думал почет и уважение от прихожан встречу, а они вишь как, слухам разным да росказням больше верят, чем слову моему. Помнится, батюшка мой иной раз так сказывал: искал поп маму, а попал в яму. Вот и я угодил в колодезь, из которого не знаю, как и выбраться...

— Мудрено говоришь, — хмыкнул воевода, — ты мне по-простому объясни — от меня чего желаешь? Коль помощи ждешь, то скажи, какой. А то я в ваших поповских делах мало чего смыслю.

— Да какие же это поповские дела, когда меня поначалу возле храма, где служу, чуть до смерти не убили, а нынешней ночью из-

верги в дом ко мне вломились, грозились в прорубь бросить рыбам на съедение! Это же прямое душегубство, и дело как раз касательно вашей власти, князь-воевода. Вы уж оградите меня от напастей этих, накажите супостатов-душителей, не дайте в обиду молитвенника вашего. А я за то обещаю молиться истово и за вас, воевода-князь, и за княгиню, и за деток ваших, покуда сил у меня на то хватит. Вовек не забуду милостей ваших...

Просьба Аввакума прозвучала столь жалостливо, что княгиня даже приложила платочек к глазам и с выжидательным выражением на лице посмотрела на мужа, порываясь дать ему совет, но так и не решилась сделать это и вновь застыла восковым изваянием. Но зато на лице у воеводы не проявилось никаких чувств, и он, тяжело дыша, продолжал вышагивать размеренным шагом по горнице, словно и не расслышал просьбу протопоп. Потом вдруг его широкий лоб прорезала глубокая морщина, он глубоко вздохнул, втянув мясистым носом изрядную порцию воздуха, и остановился напротив протопоп, который выжидающе смотрел на него, скрестив обе руки на груди, словно готовился принять святое причастие:

— Я так понимаю, ты, батюшка, ко мне пожаловал защиты просить? — негромко спросил воевода. — Значит, требуется к тебе караул приставить, который бы возле тебя денно и ночью службу нес. Так говорю?

— Истинно так, — согласно закивал протопоп. — А как же иначе? Боюсь, иначе и до утра не доживу, укокошат меня слуги дьявольские...

— Ты дьявола к ночи не шибко-то поминай. Сам знаешь, лукавый все наши слова слышит и улавливает, а потом диву даемся, откуда разные напасти берутся. Что, княгинюшка, скажешь по этому поводу? — обратился он к жене, все так же молчаливо сидящей на своем месте и вслушивающейся в разговор мужчин.

Та на вопрос мужа лишь молча покачала головой из стороны в сторону, давая понять, что у нее нет готового ответа на этот вопрос. Воевода, видимо, предполагал, что жена ему в подобных делах не советчица, а потому вновь принялся как бы сам с собой размышлять вслух:

— Это что же получается? Сейчас я тебе, батюшка, охрану выделю, а завтра ко мне кто-нибудь иной явится и того же потребует? А там все пойдут! Кого сосед или недруг какой обидел, застрашал,

и всем им тоже охрану подавай? Э-э-э... эдак у меня для других дел и людей не останется. Кто будет государеву службу нести? Ответь мне, батюшка?

Аввакум, потупясь, молчал, прислушиваясь, как где-то за перегородкой пел сверчок, не обращавший внимания на людские заботы и причуды, а спокойно себе жил рядом с людьми, против их воли не особо досаждая им своим присутствием. Но и эта божья тварь, малое создание, тянулась к людям, укрыться от зимней стужи в теплом жилье. Может, кого и раздражает, выводит из себя его заунывная песня, но большинство мирится с ней, иные даже и радуются, считая сверчка непреложной данностью своего проживания. Так и существуют рядом человек и незримые для него нахлебники, не создавая друг другу особых неудобств, но стоит человеку захотеть выжить назойливого квартиранта, и он найдет как сделать это одному ему известным способом. Но без божьей твари осиротеет дом, и непривычная тишина будет лишь напоминать его хозяину о приближении смертного часа.

Аввакум вспомнил, как не так давно, когда содержался он в подвале Андроникова монастыря, где поначалу гнал от себя юрких мышей, что ближе к ночи непременно навещали его. Но потом одиночество взяло свое, и он стал оставлять им кусочки хлеба и смотреть издали, как они торопливо поглощают, совсем не ссорясь друг с другом, нехитрое человеческое угощение. Постепенно мыши перестали бояться его и, когда он делал неловкое движение, не бросались в норки свои, а лишь настороженно смотрели на него блестящими глазками, усиленно шевеля усами. Вскоре Аввакум различал их по едва заметным признакам и даже попробовал дать имена, но подумал, не годится нарекать христианскими именами тех, кто того не заслуживает, и стал звать их на свой манер: Шустрик Первый, Шустрик Второй и так далее. Когда он негромко произносил эти имена, то они поворачивали к нему свои мордочки, словно отзывались на зов, и он тихо смеялся сам над собой, что сумел приручить даже извечных врагов человеческих, получая от того великое удовольствие.

Он вновь прислушался к пению сверчка, не умолкающего ни на мгновение, словно хотел о чем-то предупредить его или дать совет, который он ждал от людей, но те гнали его от себя, не желая вникнуть и понять причины, по которым он не мог с ними ужиться.

Аввакум вдруг представил себя беззащитным и крошечным человеком, почти что насекомым, явившимся под строгие очи сибирского

воеводы, который волен был его помиловать, защитить, а мог и выбросить вон щелчком пальца, раздавить каблуком, приложив лишь малое к тому усилие. Или сделать вид, что не заметил невзрачного человечешку, и продолжать жить дальше, поглощенный своими более важными заботами.

От этого Аввакуму сделалось нескончаемо грустно, и в который раз за день непонятная безысходность, печаль и чувство вины овладели им. Он уже было смирился с тем, что суждено ему погибнуть в этом глухом и печальном краю, где, скорее всего, не останется от него и могильного холмика, и супруга с детьми, безутешные в своем горе, не будут знать, куда прийти оплакать своего кормильца.

Если бы он мог, то прямо сейчас убежал бы из Тобольска, как делал это и прежде, но совсем в иных краях, где все ближе и доступнее и можно добраться до той же Москвы в несколько дней, не рискуя жизнью. Но он даже не мог себе представить, как с женой и детьми посреди зимы тайно пустится в обратный путь на свой страх и риск без теплой одежды и гроша в кармане.

И от этих тяжких дум и полной безысходности ему захотелось сжаться, забиться под лавку и превратиться хоть в мышь, хоть в насекомое, лишь бы все окружающие оставили его в покое на любой малый срок.

— Что скажешь, любезнейший протопоп? — услышал он обращенный к нему вопрос, который воевода, судя по всему, повторил не единожды.

— А что говорить? — подавленно ответил он. — Уже все мной сказано: пришел защиты просить и иного ничего сказать больше не могу.

— Плоха та ворона, что вокруг гнезда не держит оборону, — тоже перешел на иносказательный лад князь. — Вряд ли смогу чем помочь в твоём деле. Разве что с обидчиками твоими поговорю, когда время выдастся. А сейчас прощай, дело вечернее, нам с княгинюшкой на покой пора. Надо и честь знать. — И он широко развел руками, приглашая протопопа к выходу.

В это время за перегородкой послышались чьи-то громкие и настойчивые голоса. Князь нахмурил брови и вышел за дверь, где увидел нескольких пришедших с улицы человек, возле которых крутился и его слуга, что недавно вносил в покои зажженные свечи. Он исподлобья глянул на воеводу и указал рукой на дверь, откуда тот только что вышел.

— Там он, там! Только что сам видел, — проговорил он свистящим шепотом.

— Кто такие? И чего вам надобно? — надменно произнес князь, уперев руку в бок.

— Нам бы протопопа Аввакума заполучить, — сказал вышедший вперед Иван Струна, которого воевода тут же узнал.

— Для какой надобности? — чуть помедлив, спросил князь, подумав про себя, что нужно позвать стражников, которые непонятно почему пропустили в его покои этих людей. Но потом вдруг подумал, что не стоит связываться с озлобленными приказными, которые, будучи грамотными, мигом пошлют в Москву жалобу, что он, воевода, вмешивается в дела патриарших людей, а, зная нрав Никона, лучше с ними не связываться, и потому легко согласился:

— Будь по-вашему, берите своего протопопа, то в вашей воле.

— Пошли, — скомандовал Струна, и они ввалились в воеводские покои, не обратив ни малейшего внимания на уступившего им дорогу и оставшегося за дверью князя, не желавшего видеть, как будут забирать протопопа, и лишний раз встретиться с ним взглядом.

Какое-то время в покоях, откуда он только что вышел, стояла полная тишина, но потом слышались обескураженные голоса вошедших:

— Где он?!

— Куда делся?!

— Сам видел, как он на этом вот месте сидел, — словно оправдываясь, произнес слуга воеводы. — Здесь он где-то, уйти не мог...

Воевода чуть помедлил и вошел внутрь, глянул по сторонам и тоже нигде не обнаружил протопопа. Он внимательно посмотрел на княгиню, которая почему-то пересела с кресла на стоящий у печи сундук и держала в руке какое-то шитье. Вдруг Ивана Васильевича осенило, что Аввакум не иначе как и спрятался в том самом сундуке, по-другому и быть не могло. Он улыбнулся и чуть заметно подмигнул жене, которая в тот самый момент глянула на него.

«Что ж, — решил он, — коль моя покорная женушка воспротивилась выдаче этого дерзкого мужика, то так тому и быть. Не пристало мне при этих ярыжках устраивать семейный скандал и извлекать попа из сундука, где он сейчас затаился. Но какова княгиня! Орлица! Такая и за меня и за себя постоять сумеет, коль случится что...»

— Видать, опоздали вы, ушел батюшка через другую дверь, как только вас слышал, — нарочито громко и небрежно сказал воевода и указал на маленькую дверь, ведущую в людскую, — может, успеете догнать его, поспешайте.

— Дьявол, а не поп, — выругался Иван Струна и ринулся вперед, а за ним, толкаясь в узком проходе, выбежали и все остальные.

Когда все стихло, князь Хилков осторожно выглянул за дверь, затем прикрыл ее и задвинул на засов. Потом прошел в прихожую, глянул, нет ли там кого, и вскоре возвратился обратно. Княгиня все так же сидела на сундуке, и только по ее дрожащим пальцам можно было догадаться, в каком напряжении она находится.

— Все, душа моя, — ласково обратился князь к ней, — выпускай несчастного из узилища его, а то, не приведи господь, задохнется там и на тебя, голубицу, грех великий в смерти его падет.

Княгиня встала, воевода одним движением поднял крышку, и оттуда показалась всклокоченная голова протопопа, смотревшего на них диким взглядом.

— Я же говорил, — только и произнес он, тяжело дыша, — смерти моей они хотят. Спасибо княгине, что спрятала надежно, век не забуду.

— Ладно, — примеряюще проговорил князь, — не познавши горя, не узнаешь и радости. Жив, и ладно. Значит, батюшка, еще сколько-нибудь поживешь.

\* \* \*

Лучше видеть глазами, нежели бродить душою.

*Екк. 6, 9*

Выбравшись черным ходом из княжеских покоев, Аввакум направился в храм, где служил, благо он находился совсем рядом. Там он наказал сторожу, чтоб тот молчал, если кто вдруг начнет им интересоваться, и закрылся изнутри, готовясь оставаться там до утра. Расположившись на лавке возле жарко натопленной печи, он предался размышлениям о своей незавидной доле. Почему же вдруг в очередной раз жизни его угрожает опасность, и он не знает, как тому воспротивиться. Неужели никто не заступится за него, если сильные мира сего отвернулись? Быть такого не может, чтоб Господь не помог и не послал свою незримую помощь.



С этими мыслями он и уснул, а утром был разбужен осторожным стуком в окно. Прислушавшись, он разобрал, что его зовет до боли знакомый голос какой-то девушки, но кто это, он со сна сразу сообщить не мог.

— Дяденька, — разобрал наконец он. — То я, Маринка, к вам пришла, откройте дверь, озябла я тут...

Кого-кого, а вот ее он никак не ожидал. Открыл дверь — и точно, на пороге стояла его племянница собственной персоной с раскрасневшимся лицом и опущенными инеем ресницами.

— Что случилось? Неужто с Марковной что? Или с детьми? — спросил он, подозревая неладное и запуская ту в храм.

— Да что нам станется, все в порядке. Я вам, дяденька, охрану привела, — указала она рукой в сторону двери.

— Кто такие? — удивился протопоп. — Неужто воевода кого прислал? Значит, дошли до Всевышнего мои молитвы, слава те, Господи!

— Эка куда хватили, воевода о себе лишь и печется, то каждый знает, а я вот Тихона привела своего. При сабле и при нагайке. Никого к тебе, дяденька, не подпустит.

— То он тебе так сказал? — усмехнулся Аввакум. — И давно он твоим стал? Когда это ты успела такого парня захомутать?

Но Маринка от слов его ничуть не смутилась, а бойко ответила:

— Наш век короток, сами знаете, не успеешь оглянуться, а уж всех добрых женихов расхватают. Мы еще хотели у вас, батюшка, благословения испросить...

— Это какое еще благословение? — нахмурился протопоп. — Неужто венчаться замыслили?

— Ну, коль вы согласия не дадите, то не знаю, что и делать. А так хотели сразу после Пасхи и обвенчаться. Чего время-то зря тянуть...

Аввакума не удивило ее сообщение, ждал, что рано или поздно бойкая девка найдет себе жениха. Но вот казак... он казак и есть: сегодня здесь, завтра там. Вся служба на посылках, а бабе придется ждать его, детей одной нянчить. Он тайно надеялся, что Маринка познакомится с кем-то из духовенства и будет, как Марковна, постоянно при муже доброй советчицей. Но при своем незавидном положении понимал, вряд ли кто из местных батюшек согласится породниться с ним, потому и выбора, как ни крути, особого не было. Но для острастки спросил:

— А добрый ли он человек, Тихон твой? Я в дороге, пока сюда добирался, особенно на него не глядел, других забот хватало. Надо бы теперь поближе знакомство свести, а так сразу благословлять, то негоже...

— Так он тоже хочет с вами дружбу свести, только сказать боится, там за оградой стоит, ждет, когда позовем — выдала своего жениха с головой так вся и светившаяся радостью Маринка.

— Чего ж меня бояться-то? Поди не съем, пущай заходит...

— Да нет, лучше вы домой собирайтесь, а то тетка Настя заждалась... А мы вас на улочке вместеждемся. — И с этими словами она выпорхнула за двери, на прощание одарив протопопа лучистой улыбкой.

Тихон с Маринкой проводили Аввакума до дома, но разговор на ходу как-то не клеился. То ли потому, что мысли Аввакума были заняты вчерашним происшествием, и он сейчас постоянно поглядывал по сторонам, ожидая, как бы подручные Струны не подкараулили его где. И Тихон полностью соответствовал своему имени, почти не словечка не проронил за всю дорогу. А Маринке было неловко начинать первый разговор, потому так и дошли до слободы, перебросившись несколькими ничего не значащими фразами. Лишь на пороге Аввакум в раздумье остановился, не зная, то ли зазвать казака в дом, то ли перенести разговор на другое время.

Так и не решив, как лучше поступить, он сдержанно попрощался и пригласил Тихона заходить, когда у того будет свободное от службы время. Тот низко поклонился и быстро ушел, отчего Маринка сквасила обиженную физиономию, дав понять, что ожидала решения своей судьбы прямо сейчас.

«Эка девку приперло», — ухмыльнулся Аввакум, но промолчал, решив, что время все расставит на свои места.

\* \* \*

...На другой день, возвращаясь домой после службы, Аввакум увидел возле соседских ворот двух коней под седлами, стоящих у конюязи. Рядом с ними сутились два приземистых мужичка в мохнатых казачьих шапках, снимая какую-то поклажу. Им помогал Устынин сожитель Фома, который, увидев Аввакума, поспешно спрятал глаза, сделав вид, что он чрезвычайно занят своей работой. Аввакум приостановился, хотел было поздороваться, начать разговор, но оба приезжих

мужика едва лишь зыркнули в его сторону и отвернулись, давая понять, что вести беседы они не намерены. Слегка обескураженный таким невниманием к собственной персоне, Аввакум отправился дальше, но вдруг вспомнил, что где-то уже видел этих мужичков. Но возвращаться не стал, решив, что рано или поздно узнает, что за гости пожаловали к гостеприимной Устинье, которая была с ним всегда словоохотлива и делилась всеми последними городскими новостями.

Анастасия Марковна вместе с Маринкой были заняты приборкой по дому, а дети залезли на печку, чтоб не мешать им. Увидев отца, хотели было соскочить на пол, броситься к нему, но мать строго кышкнула на них, и они с неохотой остались на своем месте.

— Какие-то приезжие в дом к Устинье пожаловали, — ни к кому не обращаясь, сообщил Аввакум, снимая заледеневшую одежду.

— Да кто ж их знает, кто они такие, — отвечала Марковна, не разгибая спины и не выпуская из рук здоровущую лыковую мочаку, которой она протирала пол. — К ней вечно кто-нибудь да заглядывает. То ли Фомы знакомцы, то ли соседи к ней на постой странников разных отправляют... Да нам-то какое до них дело, сегодня одни, завтра другие...

— Может, никакого дела и нет до них, а может, и есть, — неопределенно отвечал Аввакум, проходя в комнату и присаживаясь на лавку.

Неожиданно их разговор поддержала Маринка, заявившая:

— Зато мой Тихон знает, кто они такие, но только велел пока никому не говорить о том...

Поняв, что сказанула лишнего, она с испугу прикрыла рот ладошкой, но было поздно.

— Тогда бы и молчала, коль нельзя о том рассказывать, — ответил Аввакум, — А то ты как та сорока, быстро по всей слободе любую сплетню разнесешь.

— Так я же не всем, только вам, батюшка, — обиженно поджала та губы. — Если не желаете знать, то буду и дальше молчать.

— Нет уж, миленькая, рассказывай, что тебе твой Тихон этакое о них сообщил.

Маринке не оставалось ничего другого, как выложить все, что ей сообщил ее дружок, и она робко, словно бы нехотя, проговорила:

— Он сказал, будто казаки те ездят по разным городам и какую-то грамоту народу читают...

— И что в той грамоте сказано? — насторожился Аввакум, и тут вспомнил, где ему довелось встречаться с теми мужиками в косматых

казачьих шапках. Это были те самые казаки, что стояли возле ворот Тюменского монастыря, где на другой день и случилось убийство патриарших переписчиков. Ему сразу стало понятно их недружелюбное отношение к нему как к священнику, и он даже предположил, что грамота, о которой идет речь, наверняка составлена против принятия патриарших новин кем-то из людей, не желающих отходить от старой веры.

«Но одно дело — читать грамоту, а совсем другое — лишать жизни людей, неповинных в этих новшествах, — думал он, не зная, как поступить в данном случае. — Если пойти и сообщить о них кому-то из городских властей, то они, не задумываясь, схватят тех и под пытками выведдают все без остатка. Но, с другой стороны, вначале нужно самому убедиться, те ли это казаки, на чьей совести лежит смерть переписчиков. Как же мне поступить? — пытался он решить нелегкую для себя задачу. — Но если они такие лихие и отчаянные, то и меня не пожалеют», — тут же пронеслось у него в мозгу.

Едва ли не впервые перед ним встала неразрешимая задача, как поступить в столь непростом случае...

— А что еще твой Тихон рассказывал? — спросил он Маринку. — Зачем они к нам в Тобольск пожаловали?

— Он и сам толком не знает, от других людей слышал... — Или не хотела выдавать своего друга, или на самом деле не знала его племянница.

— А нельзя ли мне с ними поближе познакомиться? — осторожно спросил он Маринку. — Не может ли Тихон твой меня с ними свести?

— Не знаю, батюшка, не знаю, надо его самого спросить о том.

— Так чего ждешь, одевайся да беги, узнай все ладом, это дело до завтра откладывать никак нельзя, — по-хозяйски приказал ей протопоп. — А ты, Марковна, найди какой-никакой повод, загляни к Устинье, может, она чего интересного тебе рассказывает о постояльцах своих.

Марковна вопросительно глянула на мужа, засунула мочало под лавку и, подойдя ближе, спросила напрямую:

— Выходит, в соглядайки меня отправляешь? Сроду такими делами не занималась и сейчас не пойду. Надо тебе — иди сам. Чует мое сердце, опять ты очередную катавасию затеваешь, а расхлебывать мне придется. На кой они тебе сдались, мужики эти? Приехали и что с того? Мало ли их туда-сюда ездит. Переночуют, а на завтра, глядишь, и след их простыл, все и забудется. Вечно тебя не своим

делом заниматься тянет, будто бы больше других на тебя Господь забот разных возложил... Своих-то, видать, мало тебе еще...

Аввакума озадачил подобный ответ супруги, хотя он и предполагал, что она начнет его останавливать, будто знает наперед, чем заканчивались подобные его вмешательства в чужие дела. Но он просто не мог оставить все как есть, встретив тех самых казаков, что были каким-то образом замешаны в кровавом происшествии, случившемся в Тюменском монастыре. Именно про них говорил ему владыка Семен перед отъездом. И вот они оказались здесь, в Тобольске. Да еще не где-нибудь, а прямехонько рядом с его домом.

Не это ли есть Божий промысел, согласно которому именно ему должно незамедлительно вмешаться в происходящее? И что может понимать женщина в делах божественных, если у нее на уме только одно — как сохранить его и семью от неприятностей и не подвергнуть всех очередной опасности. Так думал Аввакум, не слыша, что продолжает втолковывать ему Анастасия Марковна.

— ... другие батюшки, как батюшки: на службу сходят и обратно домой спешат, — наконец разобрал он ее слова, — а тебя словно нечистая сила к себе влечет, не одно, так другое...

Меж тем Маринка уже собралась и, ничего не сказав, выскочила из дому, оставив протопопа и его супругу объясняться меж собой без ее участия.

— Ну, коль не желаешь сама идти, мне придется. — Аввакум решительно поднялся с лавки и начал одеваться.

— Ой, горе ты мое луковое, куда ж я тебя одного отпущу, уж лучше сиди дома, так и быть, в первый и последний раз дойду до Устиньи, может, чего и узнаю. А ты пока сам за стол садись, и детишки с тобой пушай садятся, все уже сготовлено. А я мигом вернусь, хотя и не думаю, что вызнаю что этакое...

Аввакум подошел к ней, слегка обнял, чмокнул в щеку и растроганно проговорил:

— Голубка ты моя верная, знал ведь, что не ослушаешься мужа. Поверь моему слову и на этот раз — важное то дело, о чем дознаться хочу. Всего тебе открывать пока не стану, но скажу лишь, непростые это казачки, и неизвестно зачем они сюда пожаловали. Как бы после их отъезда не случилось чего нехорошего...

— Да о чем это ты? — встрепенулась Марковна. — Коль начал говорить, рассказывай, а то мне уже не по себе стало...

— Сейчас тебе об этом знать ни к чему, а вот как все выясню, то непременно и расскажу. И не пристало тебе бояться чего, все мы под Богом ходим, и все помыслы наши в руках его...

Первой вернулась Маринка, приведя с собой своего ухажера, который, войдя в дом и перекрестившись на образа, низко поклонился Аввакуму, когда тот благословлял его. Прошли в дом, осторожно сели рядышком на лавку, и Маринка, сидевшая рядом с Тихоном, легонько подтолкнула его в бок кулачком и сказала:

— Ну, рассказывай, чего давеча о тех казаках говорил...

Тихон смутился, отвел глаза в сторону и негромко произнес:

— Лучше бы я тебе ни о чем не сказывал, а то теперь вишь как вышло, уже и батюшке доложила, а от него дальше разнесется.

— Что разнесется, милоч? — со строгостью в голосе спросил Аввакум. — Чего ты такое ведаешь, о чем другим знать не следует? Давай кайся, будто на исповеди, а там я сам решу как быть.

Тихон сбивчиво начал рассказывать, что у них в казачьей избе прошел слух, будто бы должны приехать в город два каких-то казака, имеющих на руках грамоту, в которой писано, что православным людям не пристало отказываться от веры отцов и не следует ходить в храмы, где служба ведется по новым правилам.

Аввакум внимательно слушал его рассказ, покручивая ус, и ничего не говорил, соображая меж тем, как ему отнестись к этому известию. Получалось, не он один воспротивился Никоновым новинам, есть еще люди, что будут стоять до конца, но от старой веры не отойдут. Только уж больно круто взялись они за дело, предав смерти монастырских переписчиков, да еще и сбросив их в прорубь. И вот сейчас он должен был решить для себя непростую задачу, то ли привлечь их на свою сторону и, объединившись, начать здесь, в Сибири, бороться за праведную веру, или предать их анафеме за смертоубийство.

Что-что, а убийство, по сути дела, ни в чем неповинных людей он принять не мог. Иначе и он будет причастен к содеянному. Но с другой стороны, он не мог потерять патриарших противников, открыто выступивших против Никона, коль представился такой случай. Выходит, нужно с теми казаками срочно встречаться, чтоб узнать, что они замыслили делать дальше, попытаться урезонить их, чтоб те не губили человеческие жизни, а каким-то иным способом поднимали народ, перетягивая сибиряков на свою сторону.

Хотя... вряд ли они послушают его и подчинятся, аки агнецы Божьи, коль уже вступили на кровавую дорожку. Но другого пути у него не было... Если вдруг они завтра скроются из города, то вряд ли он сможет узнать, где они объявятся в следующий раз, а может, и здесь, в Тобольске, уже замыслили очередную расправу с переписчиками, что, как он слышал, были заняты этим делом где-то на Софийском дворе.

Аввакум несколько раз порывался выяснить, где те писцы помещаются, потолковать с ними по душам, авось да удастся переубедить их, что заняты они совсем несправедливым делом, и, глядишь, послушаются они его. Но за извечной своей занятостью он так и не исполнил задуманное, откладывая со дня на день, а теперь, когда нужно их хотя бы предупредить о грозящей опасности, он не знал, где их искать.

Обращаться к Ивану Струне или Григорию Черткову, он и в мыслях не держал, поскольку истолкуют они его известие обязательно по-своему и самого обвинят в связи с теми казаками. А очередной раз попадать в подвал, где для верности его наверняка еще и на цепь прикуют, он никак не желал.

Поэтому он осторожно спросил Тихона:

— А ты, сынок, сам-то их видел, али как? Слух, он всего лишь слух, а где их найти, знаешь ли?

Тихон ответил, что свидеться с теми казаками ему пока не довелось, но старики шушукались меж собой, будто бы те остановились как раз в монастырской слободе. А будучи знакомы с кем-то из местных служилых людей, через них и связь держат с остальными.

Получалось, ведут они себя осторожно, боясь ненароком быть узванными, и вряд ли заявятся в казачью избу для совместной открытой беседы со всеми. Скорее всего, они ищут себе помощников, чтоб не открыться властям, а потом потихоньку исчезнут.

В это время открылась дверь, и вошла Анастасия Марковна, неся под мышкой какой-то сверток.

— Вот, — заявила она. — Устинья гостинцев деткам прислала. — И она подала сверток детям, которые тут же устроили галдеж, выхватывая друг у дружки кусочки принесенного матерью пирога с брусничкой.

— Гостинцы — это хорошо, — усмехнулся в бороду Аввакум, — а что про гостей ее узнать удалось?

Марковна не спеша сняла с себя тулупчик, разматала вязаную шаль и со вздохом ответила:

— Как я тебе говорила, так все и вышло: сидят в горнице двое мужичков нездешних и Фома с ними, о чем-то меж собой тихими голосами разговаривают, а о чем, то мне неизвестно... Как я вошла, они за занавеску зашли, схоронились, значит. Но потом ничего, потом поняли, что у нас бабьи разговоры, за стол вернулись обратно.

— Понятно, понятно, — кивнул протопоп. — А неужто Устинья ничего не сказала, что это за люди? — с недоверием поинтересовался он. — Совсем на нее непохоже, чтоб она не поделилась новостями своими.

— Да нет, несколько словечек молвила... Но только, похоже, она и сама не знает, откуда они взялись и зачем в город к нам пожаловали. Фома их с собой с базара, что ли, привел, сказал, будто обещают расплатиться за ночлег. Все и новости.

— И что же, она не знает, что ли, надолго ли они прибыли? — не унимался Аввакум. — Этого она тебе не сообщила?

— Обещали за несколько дней вперед заплатить, — безразличным тоном отвечала Марковна, давая понять, что разговор этот ей наскучил, и тут же переключилась на Тихона:

— Ты, поди, голоднехонек сидишь, а Маринка и не догадается поподчевать тебя чем, сейчас я тебе щи подам. Извини, что постные, другие готовить батюшка не велит, пост как-никак. — И она загремела горшками, собираясь кормить молодого казака.

Тот попытался было отнекиваться, что сыт, но по всему видно было, уходить он не спешит, а потому рад предложу побыть подольше подле Маринки, и уж коль придется хлебать постные щи, то согласен и на это.

Маринка тут же расцвела, кинулась помогать Марковне. И как раз в это время у ворот раздался храп коней, и с улицы донеслись чьи-то зычные мужские голоса. Судя по всему, то в очередной раз пожаловали нежданные гости, желающие довести расправу над Аввакумом до конца, и коль прошлой ночью это у них не вышло, то сегодня вряд ли они от своего отступятся.

\* \* \*

Маринка, услышав шум за окном, от страха взвизгнула и непроизвольно схватилась за руку Тихона, а Марковна едва не пролила щи из миски, которую чуть не донесла до стола. Дети на печке замерли, понимая, что происходит что-то нехорошее, страшное.



Аввакум кинулся к двери, приоткрыл ее и увидел, как по двору идут двое дюжих мужиков по направлению к крыльцу. Он мигом закрыл дверь и воззрился на Марковну, не зная, что делать. Та, недолго думая, выхватила из печи не успевший остыть ухват и встала напротив двери, приготовившись отразить нападение. Тихон встряхнул с себя руку Маринки и вытащил из-за пояса казачий кинжал, с которым никогда не расставался.

Дверь распахнулась, и через порог переступил старый знакомый, Захарка Михайлов, один из подручных Ивана Струны, что ломился к ним в дом прошлой ночью. Увидев направленный на него ухват, он было удивился, а потом недолго думая схватился за него рукой и взвыл от боли, обжегши руку. Да Марковна еще умудрилась поддать ему в грудь так, что он повалился обратно через порог и сбил с ног идущего следом за ним налетчика. Дверь закрылась, и Аввакум, схватив жену за пояс, оттащил ее в горницу, опасаясь, как бы она не выскочила на улицу. Та, распарившись от произошедшего, не хотела сдаваться и выбивалась из мужниных рук, пока он не усадил ее на лавку. На этот раз Тихон подошел к двери, грозно держа перед собой кинжал, но по всем его движениям было видно, что обращаться с оружием раньше ему вряд ли приходилось, а потому Аввакум остановил его:

— Ты хоть на рожон не лезь, а то поранишь кого, мигом в застенке окажешься и нескоро оттуда выберешься.

— Смотреть мне, что ли, как женщина одна за двоих мужиков управляется, нет, я им сейчас покажу!

Тут со своего места прыгнула к нему на шею Маринка с криком:

— Не пущу! И не думай даже...

Аввакум решил взять ситуацию в свои руки и повелительно произнес:

— Самим за порог ни шагу, не ровен час пырнут сзади ножичком, и виноватого потом не найдешь. А тебя, старая, куда понесло? Тоже мне Аника-воин в юбке, воительница нашлась! Может, они просто поговорить хотели...

— Вот и поговорили, больше не сунутся, — тяжело дыша, отвечала та.

Все смолкли, прислушались. Со двора доносилась ругань разозленных мужиков, раззадоренных неудавшейся вылазкой. Они явно не собирались сдаваться и замыслили новый штурм жилища протопопа.

Аввакум осторожно вынул раму из затянутого бычьим пузырем оконца и глянул наружу, пытаюсь узнать, что они там затевают.

— Бревно во двор тянут, — сообщил он шепотом, — видать, собираются дверь вышибать.

— Худо дело, — покачал головой Тихон, — их там человек пять, не меньше, нам с ними не справиться, надо подмогу призвать...

— Как же ты ее позовешь, они тебя мимо себя никак не пропустят. Может, и не убьют, но покалечат точно, — возразил Аввакум. — Надо как-то наружу всем нам выбираться, а вот как — не знаю...

Тут подала голос Марковна:

— Я днем смотрела, там к сенцам кладовочка пристроена. Она на задний двор выходит. Из тонких досок сбитая, если их поддеть, то сорвать легко можно.

Понявший все с полуслова Тихон осторожно выбрался в сени и через некоторое время слышался треск выломанных досок, а вскоре он, радостный, сверкая глазами, вернулся в дом.

— Все, путь свободен, можно попробовать выбраться...

— Как же мы с детишками-то пойдем, они крик устроят, перехватят нас, надо одному кому-то.

— Давайте, тетенька, я выберусь и до казачьей избы доберусь, — предложила Маринка.

— Ты хоть куда, сиди, без тебя мужики есть, — осадил ее Аввакум.

— Там щелка узенькая, мне не пролезть, — извиняющимся голосом сообщил Тихон. — И тетка Анастасия тоже вряд ли протиснется, а вам, батюшка, как-то не с руки огородами от людей, прячься, пробираться. Вот и остается только, что Маринку отправить. Она девка шустрая, ее никто не заметит...

Обрадованная Маринка быстро собралась и юркнула в сени. Все замерли, прислушиваясь, не раздадутся ли голоса нападающих, если они увидят сбежавшую девушку. Но те совещались меж собой, не догадываясь, что кто-то может выбраться наружу из дома.

— Надо дверь чем-то укрепить, чтоб сходу не вышибли, — предложил Тихон и притащил лавку, уперев ее одним концом в дверной проем, а другой прижал к основанию печи.

Едва он успел это сделать, как снаружи раздался сильный удар в дверь. Та подпрыгнула на петлях, но не поддалась.

— Надо еще чем-то укреплять! — закричал Тихон и стал стаскивать всяческую утварь, заваливая дверь.

Сделав несколько пробных ударов и поняв, что так им дверь не выбить, осаждающие прекратили свои попытки и отошли в глубь двора. О чем они там говорили, было неслышно, но через какое-то время снаружи раздался зычный голос:

— Если добром не откроете, избу подожжем, и всем вам карачун придет, сами как миленькие наружу полезете. А так, нам одного попа надобно, остальных не тронем. Пусть выходит, пока мы добрые.

Марковна не выдержала и истошно закричала:

— Что ж вы, изверги, делаете, дети же у нас! И чем он вам не угодил, что вы на него так взъелись?

— Об этом, тетка, ты своего батьку спроси, пусть сам все расскажет, а нам его подлые деяния и без того известны! — злобно крикнул в ответ Захарка Михайлов.

— Да как вы смеее про батюшку такое сказывать? — не унималась Марковна. — Он в Божьем храме служит, пытается вас, неразумных, уму-разуму сподобить. Управы на вас нет...

— Кричи не кричи, а будет по-нашему, — отвечал ей уже другой голос. — Мы от своего не отступимся, выкурим его, как барсука из норы. — После чего раздался дружный хохот.

— Ну, чего вы там, надумали открывать или ждете, когда мы вам огненную баню устроим? — вновь подал голос Захарка.

— Может, мне и впрямь лучше выйти, — ни к кому не обращаясь, проговорил Аввакум. Но Марковна повисла у него на шее и громко запричитала:

— Одного я тебя никуда не пущу, даже не думай. Как вместе жили, так вместе и сгинем, коль то Богу удобно.

— О детишках подумай...

Аввакум отстранил ее от себя и попытался освободить дверь, чтоб выйти наружу. Но тут уже Тихон встал у него на пути и свистящим шепотом сказал ему в самое ухо:

— Правильно тетка Анастасия говорит, негоже вам, батюшка, к ним в руки самому идти. Может, побоятся дом запалить, тогда ведь, глядишь, и соседи прибегут на выручку...

— Жди, прибегут они, — плача, отвечала ему Марковна. — Не таковский здесь народ, чтоб за других заступаться. Даже если и прибегут, то поглазеть, как мы гореть станем, а помощи от них вряд ли дожدهшься, да и душегубы эти близехонько их не подпустят.

— Тогда мы вместе пойдем, — вновь взялся за свой кинжал Тихон. — Одного-другого уложу, а другие сами разбегутся.

— Гляди, как бы тебя первым не уложили, — фыркнул на него Аввакум. — Им не впервой человеческие жизни губить, а ты зеленый еще, вон, материнское молоко на губах не обсохло. Многих, скажи мне, убить пытался, и что с того вышло?

Тихон смущенно потупился, пожевал губами, вздохнул и тихо ответил:

— Да нет, не было еще такого, а теперь, видать, придется.

Марковна вытерла слезы и обратилась к обоим:

— Надо время тянуть, унять их чем-то, пужнуть, мол, скоро подмога поспеет. Вы стойте здесь, а я через оконце с ними побалакаю.

Не тратя времени, она подошла к открытому оконцу и крикнула:

— Эй, вы там, вояки, с кем воевать-то собрались, с батюшкой да с матушкой его, да с детьми малыми? Или вы не из православных будете? Все, что ли, бусурмане подобрались? Поди, крест на груди каждый носит, подумайте, как перед Господом предстанете, да он спросит с вас. Чего отвечать-то станете?

В ответ ей опять раздался дружный хохот, и чей-то сиплый голос зло крикнул:

— А мы покаемся перед нашим батюшкой, он нам грехи и отпустит. Не по своей воле мы сюда заявились, а начальством нашим посланы, вот пушай они перед Господом Богом и ответ держат. А наше дело маленькое: попа взять да свести куда следует.

— Точно креста на вас нет! А своя башка у вас на что? Неужто не понимаете, чем это ему грозит? — пыталась вразумить их Марковна. Но все ее попытки успеха не имели, и все тот же Захарка ответил:

— Если мы указания начальственные не исполним, то, глядишь, и нам не поздоровится. Ты, тетка, нам зубы не заговаривай, а лучше отправляй мужика своего долгогривого во двор, а потом спать ложись, да помолись перед этим, может, и отпустят его...

— Ага, отпустят, да еще и гостинец дадут весом в пуд, чтоб со дна не всплыл, зато будешь знать, где искать! — зло прокричал кто-то из других, невидимых ей, мужиков.

Аввакум не знал, как поступить, и бегал от двери к оконцу, пытаясь рассмотреть в темноте, чем заняты налетчики, то кидался натягивать сапоги, но Марковна не давала ему это сделать. Дети тихонько

плакали на печи, напуганные всем происходящим, и лишь Тихон, не выпуская из рук кинжал, продолжал стоять возле дверей в случае, если опять начнется штурм.

Наконец, нападающие, решив, что Аввакум сам к ним не явится, притащили откуда-то солому и начали ее поджигать. Дым тут же затянуло в оконце, его вновь закрыли, понимая, что надолго это не спасет... И тогда Аввакум встал на колени перед иконами и начал громко молиться, призывая Божьих заступников прийти к ним на помощь. Меж тем пламя разгоралось, послышался треск бревен, дым пошел в избу, Марковна громко взвыла, бросилась укрывать детей овчинами, поняв, что спасение вряд ли скоро подоспеет, в то время как Аввакум продолжал, не обращая внимания на дым, громко и отчетливо произносить каждое слово, прося помощи у сил небесных.

И вдруг с улицы послышались громкие мужские голоса, а потом раздался звон стали, чьи-то крики, ругань. Потом раздались шаги возле угла горящего дома, и кто-то стал затапывать разгоревшуюся кучу соломы. Вдруг все стихло, раздался скрип саней, лошадиный всхрап, и незнакомый голос громко закричал:

— Эй, хозяйева, живы, нет ли, выходите к нам, не бойтесь ничего, разбойники те бежали без оглядки.

Тимофей быстро разобрал заваленную дверь и распахнул ее, после чего, все громко кашляя, кинулись наружу, где, глотнув свежего воздуха, с удивлением увидели двух тех самых казаков с саблями в руках, что собирались ночевать у Устиньи.

— Благослови нас, батюшка, — подошел сперва один, а потом другой к Аввакуму. Тот их перекрестил, и к ним тут же кинулась Марковна, держащая за руки детей, опустилась на колени, принялась благодарить:

— Спасибо вам, люди добрые, что спасли от смерти неминучей. Без вас нам бы и в живых не бывать. Спаси вас Господи!

— Ничего, поживете еще, ваш век долог, — проговорил один из них. — Ваше счастье, что мы вышли коней проведать, глянули, а тут такое творится, вот и прибежали...

— Эти воры на нас с дубинами было кинулись, — стал объяснять второй. — Так мы их саблями тихонько рубанули, чтоб не махали чем не надо, они и в бега сразу ударились.

— Чем не угодили им так, что они решились вас вместе с детишками со свету свести? — спросил первый. — Или задолжали чего? Эти

тати ночные совсем ничего не боятся и на добрых людей при всем честном народе кидаться начали.

Аввакум, пришедший в себя, протер глаза, которые до сих пор щипало от едкого дыма, и со вздохом отвечал:

— То мой грех, местному начальству не угодил. Они уж вторую ночь сповадились в дом к нам ломиться. Вчера сбежал от них, а сегодня не успел чуток... — отвечал Аввакум.

— Это зачем так-то? — удивился один из казаков.

— Хотят меня в полон взять да в прорубь на реке засунуть, отправить рыб кормить.

— Видать, батюшка, крепко вы досадили тому человечку, коль он так на вас взъелся. Теперь, как нам думается, он вас точнехонько в покое не оставит... Что делать-то станете? Как дальше оборону держать?

Аввакум не успел ответить, как послышались шаги и во двор вбежали человек пять казаков во главе с неугомонной Маринкой.

— Живы, тетушка? — со слезами бросилась она на грудь к Анастасии Марковне. Потом подхватила детей и начала целовать их по одному, приговаривая: — Ой, детушки вы мои горемычные, вам-то за что страдания этикие? Натерпелись, родненькие! Страшно, поди, было?

— Страшно, — ответил, слегка смущаясь, Иван, не отпуская Маринину руку из своей.

Прибежавшие на подмогу казаки подошли к Тихону и о чем-то тихо перешептывались с ним, поводя головами вокруг.

— Чего на улице мерзнуть? Заходите в избу, — пригласила своих освободителей Марковна. — Большого угощения не обещаю, но хоть погреетесь.

— Да мы вроде и замерзнуть не успели. Вы сами давайте заходите, а мы тут поговорим меж собой, — отозвался один из приезжих казаков.

Дети с радостью кинулись в дом, а Аввакум с Тихоном пошли проверить, нет ли где тлеющих возле стены углей, опасаясь, как бы от них посреди ночи не занялся огонь. Маринка шла чуть позади них, пытаясь не отставать от своего возлюбленного. Аввакум, заметив это, оставил молодых наедине и тоже пошел в дом.

— Доколь такие дела твориться будут? — тут же бросилась к нему Марковна. — Если раньше хоть нас не касались неурядицы твои, то

сейчас в самый дом беда пришла. Еще немного, совсем чуть — и по-лыхнуло бы все. Тогда поминай, как звали, все бы погорели! Как дальше-то жить будем, батюшка?

— Как Бог повелит, так и будем, — спокойно отвечал ей Аввакум, хотя у самого на сердце кошки скребли от пережитого. Он понимал опасение Марковны, не имеет он права подвергать опасности ее и детей. Но иного выхода, как противостоять архиерейскому дьяку, не находил. Его обращение к воеводе закончилось ничем. Спрятаться в городе тоже не удастся, оставалось одно — продолжать жить, как ни в чем не бывало... И молиться, надеясь на милость Божию.

Он только было хотел успокоить супругу, как дверь открылась, вошли Тихон с Маринкой, а за ними осторожно протиснулись в дверь оба приезжих казака и, сняв шапки, перекрестились на икону.

— Мы тут подумали, — высказал более старший по возрасту казак, — сегодня тати ночные вряд ли обратно сунутся, двоим из них точно хорошо досталось, нескоро оклемаются, сабельки-то у нас острые, добрую память им оставили. Не впервой раз... А вот что потом будет, сказать трудно... Могут и подкараулить вас, батюшка, тогда уж не поможем, не взыщи.

— Думается, охрана вам нужна, хотя бы на первое время, — подхватил второй, что помоложе.

— Мы тут со станичниками, что следом явились, словечком перемолвились, они обещались помочь, — продолжил старший. — Рассказали они про дьяка этого, что супротив тебя великое зло имеет. Говорят, ты его посередь храма ремешком хорошо похлестал. — И он тихо хихикнул в бороду. — Видать, за дело? То тебе видней. Но мы на твоей стороне. И еще добавлю, разговор у нас к тебе по одному делу имеется...

— Так присаживайтесь, поведем беседу, — предложил Аввакум.

— Да нет, на ночь глядя такие беседы вести негоже, мы лучше завтра заглянем. Видать, наши дорожки не зря пересеклись. Местные казачки обсказали нам, что ты тоже супротив патриарха нашего пошел, потому и здесь очутился.

Аввакум согласно кивнул головой, понимая, куда они клонят.

— Хорошо, будь по-вашему, завтра приходите в храм ко мне, там и побеседуем.

— Добре, — ответили те. Затем низко поклонились и ушли.

— Ну и мне пора, — сказал Тихон, — казаки меня ждут. А завтра, как на службу соберетесь, двое наших подойдут, проводить чтобы...

— Спасибо тебе, Тишенька, — прижавшись к нему, поблагодарила Маринка, — спаситель ты наш.

— Ты уж скажешь тоже, — смутился он и вышел вслед за остальными.

\* \* \*

...Казаки не подвели, и утром Аввакума ожидали усталанные коврами розвальни, в которых сидели два бравых молодца, и они мигом домчали протопопа напрямик до Вознесенского храма.

— Дождаться вас, батюшка, или скажите, когда подъехать? — спросил один из них.

— Да, поди, сам доберусь, тем более есть кому меня проводить, — кивнул он в сторону вчерашних спасителей.

И точно, у входа в храм стояли двое приезжих казаков, что прошлым вечером отбили его от подручных Ивана Струны.

— Благословите, батюшка, — подошли они к нему, снимая шапки.

— Бог благословит, — перекрестил он их. — Дождетесь меня после службы или спешите куда?

— Да особо нам спешить некуда, на службе поприствуем, а потом и потолкуем. Тем более поговорить хотим о своих делах без посторонних ушей. Так что ведите службу и на нас внимания не обращайтесь.

— А как насчет того, чтобы исповедоваться? — осторожно спросил их Аввакум, надеясь хоть таким способом узнать, участвовали они или нет в недавних событиях, случившихся в Тюменском Троицком монастыре.

— Вы уж нас не невольте, но мы как-то к своему духовнику привыкли, недавно каялись...

— Что ж он вас и до причастия допустил? — со строгостью в голосе выпытывал Аввакум.

— Всяко было, — неопределенно ответил тот, что был постарше, и только сейчас Аввакум рассмотрел, что в левом ухе у него виднелось серебряное кольцо, что обычно дозволялось носить бывалым казакам, служившим не первый год и побывавших в разных сражениях.

— Ну, не хотите говорить, то ваше право, — обиженно поджал он губы и прошествовал в храм.

...Служба уже подходила к концу, когда открылись церковные двери и внутрь ввалились трое мужиков, в которых протопоп



безошибочно признал Захария Михайлова и других подручных Ивана Струны. У одного из них правая рука была обмотана пропитанной кровью тряпицей, что подтверждало его участие во вчерашнем неудавшемся налете на его дом. Они хищно огляделись вокруг, словно высматривали кого, а когда их взгляды наткнулись на стоявших чуть в стороне и усердно молившихся казаков, они явно признали их и, пошептавшись меж собой, вышли вон, осторожно прикрыв дверь.

У Аввакума стало нехорошо на душе от предчувствия, что просто так те не отступятся и не сегодня, так завтра подкараулят его где-нибудь в неурочном месте. Поэтому оставалась одна надежда, что Тихон и его сослуживцы заступятся и не дадут разделаться с ним. Но и жить вот так в постоянном преддверии беды ему совсем не хотелось...

Дождавшись, когда прихожане покинут храм, он велел диакону Антону закрыть центральный вход и подождать его в алтаре, а сам провел казаков в трапезную, где они уселись за общий стол для предстоящего разговора. Аввакум внимательно вглядывался в лица этих людей, словно пытался узнать, с чем они к нему пожаловали. Но оба казака держались уверенно, смотрели открыто, будто бы юные отроки, у которых никаких прегрешений за душой отродясь не бывало, и ждали, когда же Аввакум, на правах хозяина, начнет беседу. Потому не оставалось ничего другого, как спросить их:

— Назовите хоть имена свои, что ли, мое-то вам известно, а вот я про вас ничегошеньки не знаю.

— А может, вам ни к чему лишнее знать? — ответил тот, что постарше. — Как в Писании сказано: «Лишнее знание лишь скорбь несет и томление душевное...»

— Ты, братец, гляжу, говорить складно умеешь. Писания чтишь. То добре... Ну, тогда без обиняков рассказывайте, зачем к нам в город пожаловали? А звать вас буду, коль имена свои скрываете, как апостолов Христовых: Петром и Павлом.

— То можно, — согласился старший, — наши крестные имена Богу известны, а уж тут, как ни назови, то для нас не в обиду. Пусть так и будет: я Петром зваться стану, а брат мой названный — Павлом. Тем более, что времена настали воистину апостольские.

— Это в чем же вы усмотрели сходство такое? — с удивлением спросил Аввакум, понимая, что разговор с казачками выйдет далеко

непростой, а потому было даже интересно, как они ловко подводят основу под все происходящее. — Может, в чем с вами соглашусь, то зависит, как обрисуете эти самые новые времена.

— Так вы, батюшка, — подал голос молодой казак, которого протопоп окрестил Павлом, — то не хуже нашего знаете. Чего вокруг да около ходить, словно кони на привязи. Нам уж добрые люди обсказали, за какие такие грехи вы в Сибири очутились...

— Коль так и вам обо мне доподлинно все известно, — перебил его Аввакум. — Теперь пришла пора вам открыться, с каких краев вы сюда пожаловали.

— Про Яик реку слышали? — посмотрев по сторонам, осторожно спросил старший. — Вот оттуда мы и есть. Как в нашей Христовой церкви перемены пошли, да начали нас учить шепотью по-новому креститься, так наши казаки круг собрали. Что же это получается: с одной стороны, на нас басурмане разные наускаивают, а с другой, из Москвы, вместо того чтобы нас в вере укрепить, шлют нам указы поменять веру отцовскую и по-новому начинать в Бога верить. Где ж тут правда?

— О какой ты правде, сын мой, спрашиваешь? — улыбнулся ему Аввакум. — О Божьей или о людской? Божьи заповеди, как они были, таковыми и остались, а вот люди горазды толковать их каждый по-своему. То всем известно. Патриарх Никон, с которым мы когда-то в друзьях были, возомнил себя едва ли не вселенским патриархом. Мол, негоже нам свою веру иметь, от греческой отличную, и повелел много чего поменять в обрядах церковных.

— А вы тому воспротивились, отец Аввакум, — хитро прищурился старший казак.

— Да и вы, как погляжу, тоже не на его стороне, — нашелся с ответом протопоп.

— А у казаков вера единая была и есть. И другой не бывать. На том и стоим, — твердо ответил тот.

— Правда ваша. Вера, она не девка блудная, чтоб каждый, попользовав ее, прочь откинул. А уж коль родился ты с этой верой, с ней и живи и в сторону не сворачивай. Иначе...

— А что иначе будет? — осторожно спросил молодой казак.

— Будто сами не знаете, геенна огненная всех отступников ждет, — пояснил Аввакум.

— И патриарха тоже? — задал непростой вопрос тот.

— Вот его-то в числе первых, когда он перед Божьим судом предстанет, — выпалил Аввакум и для верности пристукнул ладошкой по столу, — иначе и быть не может.

— Ну, о том не нам судить, — задумчиво ответил старший, — мы на круге постановили: народ нужно поднимать, супротив перемен этих. С тем и ездим по сибирским городам, грамоту читаем, в которой все мы подпись свою поставили, руку приложили и крест целовали.

— И что народ ответствует? — с интересом спросил Аввакум. — Все с вами согласны? Али есть и такие, что не желают против патриарха идти?

— Что скажешь на это, брат мой, названный Павел, — с усмешкой спросил своего младшего спутника другой казак.

Аввакум понял, что согласия между ними нет, и сейчас, скорее всего, они вызвали его на разговор, чтоб прийти к единому решению, а попросту говоря, ждут поддержки. Эта мысль укрепила его в том, что он наконец-то нашел тех, кто готов выступить с ним против никоновских новин. Причем эти побывавшие в сражениях казаки будут стоять твердо и в беде не бросят. Потому он оживился и, не дожидаясь ответа молодого казака, горячо заговорил:

— Коль желаете знать, как я о том думаю, скрывать не стану. Никону не сегодня завтра конец придет, погонит его царь от себя, но вряд ли то, что сделанное, менять станет, поскольку все митрополиты и архиереи под патриархом ходят. И не всем они, как то известно, довольны. А вот как вам, казакам, быть, о том думать надо, причем хорошо и не один день...

— Да мы уж думали, — в голос ответили те, — выход один видим: гнать тех батюшек, что старой веры придерживаться не желают.

— И как же вы это делать станете? — поинтересовался Аввакум.

— А по-разному, где как придется...

— То, что по-разному, то мне понятно. Но ведь так и до смертоубийства недалеко. Есть наверняка и такие, что против вас подымутся. Тогда как? Убивать их станете? Или, как меня вчерашние мужики хотели, в прорубь кинете с камнем на шее?

Казаки помолчали, что-то обдумывая, не решаясь до конца быть откровенными. Но иного выхода у них не было, и они это понимали, а потому старший, тяжело вздохнув, промолвил:

— От смерти не убежишь, за всеми нами она ходит и вольна в любой момент жизнь человеческую прервать...

— Нет, ты, братец, прямо мне скажи, не отговаривайся: убивать станете?! Вон, в Тюменском монастыре чуть ли не на моих глазах двоих безвинных монахов жизни лишили. И за что, спрашивается? За то, что они волю патриарха исполняли, книги на новый лад переписывали? Не ваших ли это рук дело? Я же вас еще тогда приметил, а тут Бог свел, свиделись...

— Богу видней, — усмехнулся младший, — не подоспей мы вчера, тогда и не беседовали бы, как сейчас. Или, получается, тем можно, как им вздумается, с человеком поступать, а другие должны стоять, руки смежив?

Аввакум растерялся, не зная что ответить на прямой вопрос. Действительно, обвиняя их в смерти других людей, он забыл, что сам находится на волосок от гибели, и как разрешить эту заданную кем-то свыше загадку, он не знал.

— Я вам так скажу, казачки дорогие, Бог вам судья, но законы Божьи нарушать — то никому из людей не пристало. Смертоубийство ни Божьим, ни людским законам не позволено. Ну, одного побьете, другого, а дальше что?

— Другие побоятся, присмирят, задумаются...

— О чем задумаются?! — вскричал Аввакум, вскакивая с лавки. — Да вы не хуже моего знаете, вас воеводские люди в розыск объявили, а как узнают, где вы есть, несдобровать вам, в пыташную потащат, а там и до плахи недалеко...

— Пушай они нас поначалу изловят да взять попробуют, — столь же горячо ответил молодой казак. — У нас в каждом селе свои люди имеются, упреждают, схоронимся, коль нужда будет. А схватят нас, есть другие не хуже, чтоб дело наше продолжить...

— Плохо вы, батюшка, видать, нашего брата-казака знаете. Мы все, как братья единоутробные, единой клятвой повязаны. И супротив нас выстоять никому еще не удавалось. Если все подымутся, перевернем матушку-Русь, с ног на голову поставим, ни себя, ни других не пожалеем ради святого дела.

— Это если дело святое, супротив врага, тогда оно понятно, — спокойно отвечал Аввакум. Он вдруг успокоился, взял себя в руки, понял: что бы он ни втолковывал станичникам, твердо решившим бороться с патриаршими нововведениями любым путем, они его слушать не станут. Для них, людей военных, жизнь человеческая ничего не стоит... Эти точно на своем будут стоять, и ничем их не проймешь. Поэтому проговорил примирительно:

— Поймите меня верно, я же хочу того же самого, за что и пострадал. Теперь вот в Сибири сижу и не знаю, выберусь ли когда отсюда... Но смертоубийство есть грех наипервейший, и на Страшном суде с вас за это спросится.

Казаки переглянулись меж собой, было видно, что и они не знают, что возразить протопопу, но и отмалчиваться они не хотели.

— Вы, батюшка, как тот бирюк, что обиделся на соседа: дверь к себе в хату закрыл и здороваться с ним перестал, а соседу от того ни жарко, ни холодно, меньше хлопот. Нет, не по-нашенски это. Если бы мы со степняками, что на наши станицы налетают, так себя вели, то нас бы давно в живых не было и ни жен и ни детей наших. Гнили бы наши косточки в степи, и никто бы нам за это спасибо не сказал. Может, кто и помянул добрым словом, а, скорее всего, лишь посмеялись: мол, здоровые мужики, а за себя постоять не могли. Мы воинским обычаям сызмальства обучены. Вы от недругов крестом да молитвой оборону держите, а мы копьём да сабелькой. Разве мы не за веру православную стоим?

— Так то, когда вы с басурманами схватку ведете, а тут такие же, как вы, люди православные.

— Иуда тоже Христа целовал, а потом предал его, — запальчиво выпалил молодой казак, — только мы другой породы и, коль крест целовали, то веры своей менять не будем, лучше смерть примем.

Аввакум решил, что этот спор может затянуться и в результате все одно ни к чему не приведет, поэтому он решительно встал, заявив:

— Не знаю я, что ответить. Мои мысли вам известны, душой с вами, но на смерть безвинных людей благословить вас не могу. Иуду вы правильно помянули, не мой то путь, доносить не кинусь. Что дальше делать думаете?

— Вам то известно, — отвечал старший, и оба казака тоже поднялись, понимая, что пришла пора прощаться. — Благословите, батюшка, на доброе дело?

Аввакум заколебался. Эту просьбу можно было понять двояко: не благословить, будучи священником, он их не мог; но если они замыслили очередное смертоубийство, то стать их невольным покровителем он просто не имел права. Ему вспомнился Понтий Пилат, который так же находился перед дилеммой, когда народ приступил к нему с требованием распять Христа. И чтоб не возбудить людей против себя, он вынужден был отдать Спасителя на волю народа,

жаждавшего крови. Сейчас он сам мало чем отличался от него, когда любое его решение может быть истолковано по-разному. Поэтому он ответил так, как пришло ему в голову:

— Благословляю все воинство русское в борьбе за праведную веру. Но помните, не судья я вам, а всего лишь посредник, а потому призываю к смирению и послушанию. Идите с Богом и решайте сами, как вам жить дальше. — После этого он перекрестил их и удалился в алтарь, где его поджидал диакон Антон, занятый своими мирными делами по наведению порядка в церковных покаях.

«Легко ему жить, когда не нужно выбирать, на чьей ты стороне: как повелят, так и делай. А мне кто подскажет, как поступать, с кем быть...»

— Вы что-то спросили, батюшка? — повернул голову в его сторону Антон.

— Спросил, спросил, — раздраженно ответил Аввакум, — почему свечи в храме не все погасил, я, что ли, за тебя гасить их стану?

— Не извольте беспокоиться, боялся вас потревожить, — ответил тот и выпорхнул из алтаря.

Оставшись один, Аввакум опустился на лавку и надолго задумался. Ему пришла в голову простая мысль, что он не волен в своих действиях и поступках, и кто-то свыше ежечасно направляет его по заранее уготовленному пути, а куда этот путь приведет, знать ему не дозволено. Но то, что добром все это не закончится и страдания его будут продолжаться еще неизвестно сколько, об этом он знал совершенно точно...

\* \* \*

Все идет в одно место;  
все произошло из праха,  
и все возвратится в прах.

*Екк. 3, 20*

Архиерейский двор за время отсутствия владыки Симеона незаметно утратил свой некогда бравый вид и постепенно превратился не сказать, чтоб в отхожее место, но являл собой картину печальную и далекую от совершенства: никто не вывозил накопившиеся за время снегопадов сугробы, не прочищал подходы к архиерейским покаям, подле дверей лежали сваленные как попало дрова, и никто, казалось

бы, этого не замечал. Все быстро свыклись с тем, что происходило вокруг них, и жили дальше, будто так все и положено.

Лишь хозяйственная Дарья, привыкшая вникать во всяческие мелочи, уже несколько раз пыталась вразумить Ивана Струну, что по возвращении владыки, с него, архиерейского дьяка, за весь этот бедлам, обязательно взыщется, но тот лишь отмахивался или отдельвался фразой: «К приезду владыки, глядишь, и снег растает, а сейчас, сколько его ни чисти, он опять сыплет да сыплет, никакого сладу с ним нет». Дарья не сдавалась, указуя на то, что дворник, Иван Смирный вместе с истопником Пантелеем давным-давно на двор свой нос не кажут и беспробудно пьянствуют. Иван Струна, услышав это, потребовал доставить их себе для принятия мер, на что Дарья, гордо подбоченясь, отвечала:

— Мое дело всех вас едой обеспечить, а разыскивать пьяниц убогоньких ты, батюшка, найди кого помоложе. — И с тем гордо удалялась в кухонные свои владения, где, не стесняясь в выражениях, высказывала подручным теткам, не отходящим от печей ни на шаг, дабы вдруг чего не сбежало, не пригорело, свое мнение о чубатом хохле, которому она, будь на то ее воля, она бы и свиней пасти не доверила.

— Присосался, как клещ, к Семушке нашему, а у того смелости не хватает схватить его за чуб и вон выгнать. Поручил бы мне, давно бы разобралась и с Ванькой Смирным, и с Пантелейкой-калмыком косоглазым: свела бы их на конюшню и кнутом так попотчевала, чтоб неделю сесть не могли.

Кухонные тетки громко хихикали от ее слов, а одна, не удержавшись, вставила:

— Так самого Ивана Васильевича, рассказывают, давеча приезжий батюшка прямо посередь храма, где служит, хоть не кнутом, а ремешком сыромятным, по голой заднице отходил.

— Да мало ли что там рассказывают, — отмахивалась Дарья, не переставая мешать угли в печи, — не нашего то ума дело: паны дерутся, а у хлопцев чубы трещат, и нам соваться туда недосуг. Ты вон лучше проверь, не пригорела ли каша, а то, чую, попахивать начинает...

Тетки ненадолго смолкали, а через какое-то время вновь начинали перемывать косточки высокому начальству, не доступному им в обращении, а потому вдвойне приятно было припоминать разные их огрехи и каверзы, оставшиеся по недогляду владыки безнаказанными.

— Я бы на месте Семушки лучше батюшку Аввакума за делами и хозяйством всем глядеть оставила. Он бы спуску не дал всей этой дворне приبلудной, — высказала свое мнение на этот счет Дарья, чем тут же вызвала шуточки от своих зубастых помощниц.

— Знаю я тебя, ты бы его еще подле себя посадила...

— А то и рядышком положила, — слышался чей-то голос из кухонных глубин, и тетки дружно начали хохотать, радуясь, что могут, страха не боясь, посмеяться над управителями своими.

— Хватит ржать, как кобылы на лугу, а то услышит кто, мне ж в первую голову нагорит, а от меня и вам достанется, — пыталась урезонить их Дарья, хотя сама была, если не полностью, то хотя бы отчасти согласна с ними. Но, занимая должность главной кухарки, показать того не могла и вынуждена была мнение свое держать за крепким запором, дабы оставаться поваренной начальницей и дальше.

Какое-то время кухонный народ молча суетился вокруг печей, пока кто-нибудь не менял тему их пересудов.

— А Лукерья-то наша на глазах вширь растет, — шепнула на ухо Дарье одна из ее помощниц. — Так, глядишь, к Пасхе совсем раздастся, ни к какой работе годна не будет.

— Помолчи, без тебя то мне ведомо, — отвечала ей так же негромко Дарья, давно заметившая, что скромница Лушка, словно на дрожжах, наливается живительными соками материнства, но всячески пытается это скрыть, утягивая растущий живот намотанными под одеждой платками. — Самой, поди, завидно, вот и наговариваешь на девку.

— Да уж какие там завидки... Я вон, небось, замужем, а она все еще в девках ходит. Вот как наш Семушка вернется да глянет на нее, то-то скандал будет, призовет Спиридона и запрет в дальний монастырь, а ее — в другой.

— Не имеет он на то никакого права, — заступалась за своего любимца Дарья. — Может, то вовсе не Спиридонова работа. Тебе, остроглазая, откуда сие знать?

— О том не только мне, но и всем другим известно. Сколь раз их сообща видели. Ручками друг за дружку уцепятся и стоят, лыбятся, будто блинов объелись. Срам-то какой, а им ничего. Всяческий стыд потеряли...

— Мало ли кого где видели, всех теперь слушать, что ли...

Дарью и впрямь беспокоило, как сложится судьба одинокой Лукерьи, которая, как ни крути, нагуляла дитяtko, носимое ею сейчас



в чреве, ни от кого другого, а именно от келейника Спиридона. При этом оба, будучи сиротами, словно дети малые, не знали, как им быть, и речи о венчании пока не заводили.

«Нет, нельзя это дело на самотек пускать, — думала про себя Дарья. — Эдак все добром не кончится, владыка наш, хоть он человек души добрейший, но сгоряча может и впрямь разослать их в разные монастыри, а дитятку, коль здоровеньким родится, отдать кому из бездетных богатеев на воспитание. Надо с кем из батюшек пошептаться, а потом привести к нему молодых, чтоб обвенчал быстрехонько, пока Семушка обратно не вернулся. Неужто он не поймет? Должен понять...»

...Иван Струна, которому в один прекрасный день не столько надоели Дарьины жалобы на дворника и истопника, сколько захотелось показать власть и призвать тех к ответу за безделье. Мало того, что дорожки в архиерейском дворе оставались нечищенными, чуть ли не со дня отъезда архиепископа, но еще и печи исправно истопник Пантелей топить перестал, а потому в покоях стало промозгло и сыро, и, чтоб не застудиться, приходилось не снимать верхнюю одежду.

Сам Иван Струна появлялся здесь редко, больше занятый делами с торговым людом, выискивал привозимые на продажу товары и скупал их по дешевке, чтоб потом переправить родственникам и знакомым в Москву или Малороссию, где те продавали их с тройной выгодой. На все это уходила масса сил и времени. Но в один прекрасный день он все же твердо решил навести порядок и вызвал к себе келейника владыки Спиридона, повелев тому во что бы то ни стало доставить под его светлые очи истопника и дворника.

Спиридон, чьи мысли, как всегда, были заняты чем-то никому неведомым, молча выслушал дяково приказание, повернулся и отправился на поиски. Его не было час, а то и больше. Тут уже не выдержал Струна и тогда сам отправился на розыски. Он обошел весь двор, но поиски его не увенчались успехом. И лишь когда он направился в сторону конюшни, то наткнулся на Ивана Смирного и истопника Пантелея, шествующих в обнимку, слегка покачиваясь и бормочущих при этом какую-то немудреную песню.

— Где вы, мать вашу, пропадаете, что найти вас нет никакой возможности? — грозно спросил их Иван Васильевич. Но те, видно, не разобрав, кто перед ними находится, обошли его сторонкой и поплелись дальше. Струна не стал с ними связываться и бросился обратно к себе, где наткнулся на Спиридона, дремлющего возле двери.

Дьяк со всей мочи отвесил ему оплеуху, хотел схватить за волосы, но у него это не вышло, а Спиридон со страху завизжал, подхватил оброненную шапку и кинулся напрямик на кухню. Там он наскочил на младшую кухарку, несущую горшок с каким-то варевом, и та со страху брякнула свою ношу об пол. Горшок разлетелся вдребезги, варево густо разлилось по полу и все застыли в страхе, ожидая от Спиридона хоть какого-то объяснения. Но тут следом влетел Струна, пытаясь догнать сбежавшего от него келейника, но поскользнулся на пролитом, и бухнулся об пол, больно ударившись головой о край печи. Кухонные тетki тут же заголосили, Лукерья, по давней своей привычке начала со страху икать, а Спиридон спрятался за Дарью, искренно надеясь, что там его никто не найдет.

На шум прибежали архиерейские приставы и ближние дьяковы помощники, подхватили его и понесли наверх, гадая меж собой, что такое могло случиться с их начальником.

Вскоре потребовали, чтоб Дарья принесла крепкого уксусу для приведения в чувство пострадавшего дьяка, что она незамедлительно и исполнила. Тем временем Спиридон, пользуясь всеобщим замешательством, успел шепнуть Лукерье, чтоб она заглянула в его кладовую для серьезного разговора, и исчез от греха подальше. Та немножко выждала и отпросилась у Дарьи ненадолго отлучиться, на что та, грозно сведя брови, великодушно дала согласие. Едва Лушка вошла в не приметную для посторонних глаз кладовочку, ожидавший ее там Спиридон, притянул девушку к себе и зашептал, словно рядом кто-то был и мог услышать все их разговоры:

— Ненаглядная ты моя, красавица, не чаял, свидимся ли с тобой сегодня. Вишь, как Струна наш расходился, потребовал Пантелея вместе с Ванькой-истопником к нему доставить. Я их кинулся искать, а они оба хмельные, меня и слушать не хотят. Вот... А вышло, что я во всем и виноват, Струна мне оплеуху закатил, до сих пор щека горит, будто ошпаренная. — И он указал на свою покрасневшую щеку, неловко при том улыбаясь.

— Поди, сильно досталось? — ласково спросила его Лукерья, прикладывая маленькую свою ладошку к больному месту. — Гляди, зашибет он тебя когда-нибудь, как же я совсем одна-одинешенька останусь?

— А я не поддамся, я же верткий, отец покойный как меня потчевал, и все ничего. Иногда так расходится, насмерть зашибить мог,

а я вывернусь да убегу. Потом по три дня нос домой не казал, ждал, пока успокоится.

— Бедненький ты мой, как хоть ты жив остался... — сочувственно, смотря на него во все глаза, спросила девушка. — Скорей бы владыка вернулся, все бы наладилось, а то эти, что вместо него остались, гостей назовут и пируют до утра, а мы им только готовь да таскай наверх. А мне сейчас ничего тяжеленького поднимать нельзя. Так ведь? — И она провела ладошкой по своему выступающему под одеждой животу.

— Вот того и боюсь, владыка вернется, ему тут же все донесут, выгонит тебя со двора и меня зашлет куда-нибудь подале.

— Что ж делать-то станем, Спиридонушка? — заплакала Лукерья и прижалась к нему.

— Надо совет у кого спросить, авось хорошие люди подскажут.

— У кого спрашивать, коль у нас с тобой родни ни одного самого дальнего человечка нет, как ни ищи. К кому голову прислонить не знаешь. Если б тебя не встретила, не знаю, как жила бы дальше. А так, с тобой поговорю, и все легче...

Спиридон ненадолго задумался, а потом сообщил, как ему казалось, спасительную мысль:

— Бежать надо, пока владыки нет.

— Куда бежать-то? В лес, что ли? Чего там делать станем? Пропадём, или звери задерут, — покачала головой Лукерья. — С батюшкой каким посоветоваться надо, — рассудительно предложила она. И тут же спохватилась: — Только вот на исповеди я сколько времени не была, боюсь признаваться в грехе своем.

— И я не был давненько, — тяжело вздохнул Спиридон, — тоже боюсь идти.

— Ты лучше скажи, когда в баню пойдешь? — с усмешкой спросила Лукерья. — Раньше тебя хоть владыка спроваживал, а теперь ты дорогу туда совсем забыл.

Спиридон от этих ее слов смутился, испытывая неловкость, что никак не может себя пересилить и ходить враз со всеми в парную. А с отъездом владыки и впрямь никто его не понуждал поменять заношенную одежду и омыть заскорузлое тело, к тому же он и сам начал чувствовать неприятный запах, исходящий от него, но переломить себя никак не мог.

— Схожу, милая моя, обязательно, как только Пантелей пить перестанет и баню топить начнет, а так, в холодную баню, зачем зря идти?

— На все-то у тебя причины, — с улыбкой отвечала Лукерья. — Хитрющий ты парень, погляжу, голыми руками тебя не возьмешь. — И она громко рассмеялась.

— Ага, тебе смешно, а ты сама попробуй вытерпеть, когда горячим веником охаживать начнут, хуже, чем отец вожжами меня потчевал...

Лукерья еще громче захохотала, отчего ее невзрачное личико расцвело и озарилось незримым внутренним светом, чмокнула его на прощание в щеку и уже на ходу обронила:

— Все, пора обратно возвращаться, а то Дарья схватится, достанется тогда. А ты мне и такой люб, а вот ежели помоешься да исподнее поменяешь, то вдвойне любить стану. — И с этими словами выпорхнула на улицу, оставив Спиридона в горьком раздумье.

...Дарья сдержала свое слово и как-то вечером зашла в храм Николая Чудотворца, где переговорила с батюшкой Андроником о венчании неразумных чад: Спиридона и Лукерьи. Тот ее выслушал, пряча в бороду улыбку, и степенно ответил:

— Как же я без благословения владыки могу обвенчать келейника его, да меня за это дело в такую Тмутаракань сошлют, где ночь от дня мало чем отличается. Ты мне этого, что ли, желаешь?

— Да что вы, батюшка, — подобострастно перекрестилась Дарья, — Я с владыкой сама переговорю, он меня послушает, всю вину на себя возьму. А так ведь девка родит, все одно к вам крестить принесут. И что тогда писать станете? Или ей подкинуть его кому, чтоб чужие люди растили? На такой грех направить хотите?

Отец Андроник никак не ожидал подобного поворота и слегка растерялся. Потом потерев крест на груди, покрутил головой и спросил:

— Кого ж в дружки себе жених с невестой призовут? Найдутся ли такие, а то ведь без этого венчать никак нельзя.

— О том не думайте, — отвечала ему Дарья. — Все будет как должно: и сватов зашлем, и дружков приставим, главное, чтоб вы свое согласие дали. — С этими словами она извлекла из принесенного с собой свертка здорового осетра и положила на стол перед батюшкой.

Тот хмыкнул, покрутил головой, не зная что ответить, но Дарья уже подошла к нему под благословение, и он со вздохом перекрестил ее, а вслед проговорил:

— Не знал бы тебя, Дарьюшка, столько лет, никогда бы не взял грех такой на душу. Смотри, надеюсь, владыка выслушает речи твои и меня в том винить не будет. А то ведь сама знаешь...

Но Дарья лишь махнула рукой, давая понять, что бояться ему нечего, и, довольная, отправилась напрямиком на поиски Спиридона, где, найдя его все в той же кладовой, долго с ним о чем-то беседовала и вышла оттуда с сияющим лицом, словно ее кто рублем одарил.

Через неделю отец Андроник, как и обещал, обвенчал молодых. Свадьбу гуляли в доме у Дарьи, после чего чуть ли не целую неделю кухонные тетки подшучивали над Лукерьей, как та неожиданно-негаданно вышла замуж за остяка, который по-настоящему и заповеди христианские не соблюдает. Худо пришлось бы той, если бы не заступница ее, сладившая эту свадьбу, продолжавшая опекать теперь ее и Спиридона и никому не дававшая их в обиду. Постепенно все успокоилось, улеглось, лишь Иван Струна, узнавший о том едва ли не последним, при встрече со Спиридоном злобно сверкал глазами в его сторону, неизменно ронял одну и ту же фразу:

— Ужо поглядим, чего тебе владыка скажет, как с Москвы вернется... Тогда у тебя точно новая жизнь начнется, сам знаешь, какая...

Спиридон ничего не отвечал, а про себя думал: его бы воля, он теперь, будучи человеком женатым, а вскорости и отцом станет, может и сам начать новую жизнь, если бы знал, как это сделать...

\* \* \*

Нет памяти о прежнем;  
да и о том, что будет,  
не останется памяти у тех,  
которые будут после.

*Екк. 1, 11*

...Прошедшая свадьба Спиридона и Лукерьи не на шутку взбудоражила все архиерейское подворье, и день, а то и два местный народец обсуждал, что последует после возвращения владыки, без благословения которого молодые венчаться никак не могли. Просто права такого не имели! Но Дарья в ответ на все причитания и бабские оханья-аханья, держа голову на отлете, отвечала обещанием умиловить архиепископа. А чем? То, мол, ее секрет.

И мало того, говорила она не таясь, коль захочет, то сумеет праведный гнев владыки отвести от молодых, а обрушить его совсем в другую сторону. И при этом красноречиво посматривала наверх. Не на небо, само собой, а на кухонный потолок, над которым помещались тесные комнатки владыческих ярыжек, без остановки водивших перьями по разложенным на столах, покрытых зеленым сукном, бумагам.

Но сколько ни спрашивали ее, как это ей такой оборот удастся, отмалчивалась, лишь намекала о кой-каких провинностях тех ярыжек, что покаместо грозный архиепископ Симеон пребывал в столице, без стеснения заправляли всеми делами и делишками в не имевшей ни конца, ни края епархии Сибирской.

Потому за пересудами своими кухонный народ далеко не сразу хватился долгого отсутствия на своем посту истопника Пантелея. И то лишь о нем вспомнили благодаря небывалому холоду, исходящему из не обихоженных печей, с укором глядящих на мир из углов своих.

Отправили к нему домой посыльных, где заплаканная жена, раньше всех почуявшая беду, лишь руками развела, сказавши, что не видела мужа с самого дня свадьбы Спиридоновой. И пояснила, Пантелей, со свадьбы вернувшись не особо трезвый, чуть с ней посидел за столом, а потом вдруг отправился посреди ночи заниматься возложенными на него обязанностями, чего она за ним ранее сроду не замечала. И все. Домой после того он уже не возвращался.

Кинулись искать Пантелея по всем комнаткам и строениям, но нигде найти его, сколько ни заглядывали во все углы, так и не смогли. Допросили с пристрастием не успевшего еще протрезветь Ивана Смирного. И тот, громко икая, сообщил, мол, видел он Пантелея последний раз в архиерейской бане, где они ради обретения трезвости собрались омыть свои греховные тела.

Народ тут же ломанулся в ту самую баню, стоявшую на отшибе, подальше от посторонних глаз. Зашли внутрь... И там увидели сидящего на лавке с веником в руках, покрытого тонким ледком несчастного истопника. Видать, замерзшего в таком положении уже несколько дней тому назад.

Дворник Иван, о том узнавший, громко рыдал, говоря, что вины его в том никакой нет. Сам он, помывшись, ушел, друга своего не дождавшись. А что потом было, не помнит, потому как память отказала.

Какая ж в том его вина, когда голова его с юных лет нездорова и сам он калека горемычный? Ему на это никто и слова дурного не сказал, пусть сам решает, виниться ему перед Богом или дальше с тем жить до самой смерти...

Посокрушались все несуразной смертью той. Вот ведь, сколько лет человек с огнем дружбу водил, всех обогревал, в тепле этикие хоромы поддерживал, а смерть принял от холода. Это ж кому скажи, так не поверят... Не должно было так выйти, а оно на тебе, случилось...

Ну, Пантелея, само собой, схоронили, погоревали, сколь положено. А кому от того легче? Печи все одно, горюй не горюй, а топить требуется. Стали вместо него искать кого, способного для исполнения важной истопнической должности. Да где ж такого зараз найдешь, чтоб этакую ношу себе на плечи взвалил? Шуточное ли дело, два десятка печей обогреть и в исправности содержать. Тут всякого на это дело не направишь, опыт нужен. А где его взять? Опять же без благословения владыки кто решится?

Кого ни звали, не хотят местные мужики этаким нешуточным делом заниматься! Нет храбрецов таких, хоть ты тресни! А пока поиски вели, пришлось кухонным теткам на себе дрова таскать и самим же печи топить. Худо-бедно, но тепла нагнали, кухонные печи зашумели, заурчали, можно было и дальше еду на всю ораву бумажными делами занятую готовить. А уж как при том кухонный народ добрым словом бывшего казака Пантелея поминал, слышал бы он те речи, может, и жизнь у него иначе пошла. Доброе слово, оно и греет, и лечит, и к жизни возвращает, если его вовремя говорить станут... Но и после смерти слово то, как ни крути, лишним не будет... И на том свете, глядишь, сгодится...

— Вот ведь какая она, смерть, бывает, — изрекла, обращаясь непонятно к кому, опечаленная не меньше других Дарья. — Всех нас обогревал и сам же от холода окочурился...

— Видно, так ему на роду написано: сколь с морозом сибирским ни борись, а он все одно свое возьмет, — отвечали ей.

— Да уж, да уж, — соглашалась Дарья, — не хотела бы я такой кончины...

— Кто ж его знает, откуда она подкрадется, — подавала голос другая ее помощница. — Огонь да мороз — главные враги людские: или сгоришь, или замерзнешь, выбор невелик.

— Ладно вам, рано еще о смерти говорить, поживем, девоньки, — бодрилась Дарья, хотя у самой на душе было ох как беспокойно,

поскольку нечаянную смерть Пантелея она, никому не желая открываться в том, напрямую связывала с женитьбой Спиридона и Лукерьи, проведенной супротив воли владыки. Но теперь желей не желей, а надо дальше служить и угождать всем архиерейским служителям, чей аппетит от случившегося никак не убавился.

Те же самые мысли посещали и Спиридона с Лукерьей, когда они оставались один на один и могли вдоволь наговориться обо всем без посторонних ушей. Лукерья, хоть и пыталась скрыть непонятно откуда бравшиеся слезы и не расставалась с платочком, непрерывно держа его возле глаз. Но Спиридон видел ее постоянную опечаленность и старался как мог отвлечь от грустных дум, пытался шутить, гладил ее, ласкал, но проходило какое-то время, и та вновь всхлипывала и отворачивала свой покрасневший носик в сторону.

Ей не раз приходилось слышать от кухонных теток, будто бы, если сразу после свадьбы умирает гулявший на ней человек, то это самая дурная примета из всех, какие только есть на свете. Угнетало ее и то, что жилья своего у них не было, а ночевали они все в той же кладовочке, облюбованной когда-то Спиридоном. А куда-то пойти, попроситься на жилье к незнакомым людям, поскольку мало с кем были в городе знакомы, молодожены по неопытности своей решиться на такой шаг никак не могли.

Выручила их, опять же, Дарья, знавшая едва ли не всех тобольских жителей. А потому по прошествии нескольких дней она через знакомых кумушек мигом нашла для молодых жилье все в той же монастырской слободке у одинокой казачьей вдовы Варвары. Та посоветовалась со своими подружками, Устиньей и Глашкой. Те сразу согласия своего не дали, но каждая высказалась на этот счет:

— Я уж не знаю, как они тебе платить станут, доходы их велики ли, но зато втроем, что там ни говори, веселее жить станет. А ежели девка еще и ребеночка родит, без тебя им и вовсе не обойтись. Они же оба сироты, кого на помощь звать? Так что дело это благое, и нечего тебе думу думать, соглашайся сразу, — рассудила Устинья.

Но вот Глафира приняла это известие почему-то без особой радости, и, скривившись, заметила:

— Знаешь, как говорят: не было забот, да завела баба порося. По мне так никого не надо, одной оно как-то сподручней. А тут девка на сносях, и мужик непонятно какого рода, то ли остяк, то ли татарин, сразу не разберешь, на него гляючи...



— Тебе понятно, поповича подавай, да еще хорошо, чтоб на тройке ездил и с тебя пылинки сдувал. Только ты забываешь, что при попovichах иные жены живут. С твоим норовом туда и соваться нечего. Ты, словно дочь боярская, никак успокоиться не можешь, своего царевича ждешь. А наша Варенька девка совсем другого замесу. Она, как мужа своего лишилась, места себе не находит, мучится одиночеством своим. Только глянь на нее, как она сохнет на глазах. Так что молодые ей в радость будут, — горячо возражала подруге Устинья.

При этом она, особо того не стесняясь, кривила душой. Варвара, что при живом муже, что после его пропажи мало внешне изменилась, словно годы проходили мимо нее, не оставляя следов своих на ее лице и теле. А вот Глафира, та сильно сдала и, будучи моложе их обоих, стала мало чем отличима от подруг своих. Устинья, хотя и знала о Глашкином нездоровье, но не верила, будто всегда задорная и острая на язык их подруга поддастся неведомому недугу и не справится с ним.

«То все от того, что мужика настоящего найти себе не может, вот и извелась вся. Бабье счастье без любви не живет, его смешками да подковырками к себе не приманишь. Тут надо душой открыться, словно цветок весной. Тогда и придет оно само неожиданно-негаданно», — думала про себя Устинья, но сказать о том Глафире не решалась, заранее зная, что та ей ответит.

И, действительно, Глафира за последнее время совсем осунулась, кожа у нее пожелтела, начала шелушиться. Девка буквально увядала на глазах. Нездоровье ее явственно читалось по запавшим щекам и день ото дня неожиданно прибавлявшимся седым волоскам, предательски пробивавшимся в некогда пышной ее косе. И вся она за последние месяцы как-то сникла, утратила свой былой задор и дерзость, редко вступала в споры, а все больше сидела молча, кутаясь в старенькую, протертую до дыр доставшуюся ей еще от матери шаль.

Устинья неоднократно пыталась вывести у Варвары, может, она знает причину недуга их общей подруги, но та лишь отмалчивалась, ссылаясь на свое незнание. А с кем еще посоветоваться, к кому обратиться за помощью, Устинья даже предположить не могла. Потому ей оставалось единственное: верить, что Глафира по теплу оклемается, повеселеет, найдет в себе силы стать прежней неуспокоенной бабенкой, грозой простоватых поповичей, до которых она когда-то была так охоча.

Варвара, опасаясь, как бы Устинья не наговорила чего лишнего, поспешила заступиться за безучастно сидевшую, втянувшую голову

в плечи Глафиру, мол, ей хлопот с больным отцом предостаточно, да еще надо о пропитании думать, но о ее нездоровье не промолвила и словечка, а перевела разговор на будущих своих жильцов:

— Только я так думаю, поначалу погляжу, что они за люди такие, молодые эти, ежели по сердцу придутся, пускай живут, места хватит, а если что не так, сразу и на дверь покажу...

Хотя в душе она была рада-радехонька, что Господь, будто бы услышав ее мечты о ребеночке после разговора с Глафирой, когда она предложила той родить, а потом передать дитятку ей на воспитание. И вот желание ее, можно сказать, сбылось: посылает Он ей молодоженов, ждущих прибавки в семье.

Она уже представляла себе, как будет помогать нянчиться и пеленать ребеночка, баюкать и всячески обихаживать. От того она неожиданно для самой себя повеселела и однажды, придя в храм, упала на колени перед образом Богородицы и долго слезно просила Ее, чтоб роды у Лукерьи прошли успешно и дите родилось здоровым и горластым. А больше всего хотелось ей, чтоб то был мальчик, который бы, как подрастет, будет носиться по двору с прутиком в руках. А когда вырастет, то непременно запишется, как и ее пропавший без вести муженек, на государеву службу, в казачье войско. Уже одним этим она будет вновь ощущать собственную нужность и причастность к делам государственным, что ее более всего и радовало...

«Казачи, — думала она, — первые царю-батюшке заступники и защитники. Потому, если стану его крестной матерью, со временем сошью ему казачью форму, заведем жеребеночка, вырастим, а как время придет, Андрюшу (она уже и имя придумала не родившемуся малышу) провожу, как некогда своего казачка, держась за стремя до городской черты...»

Вскоре Спиридон с Лукерьей без лишних хлопот и разговоров заселились в дом к Варваре, где для них уже был отгорожен цветастой занавеской свой уголок, и зажили, как это и положено среди молодых, не о каких прочих заботах и хлопотах, кроме как о своей любви, особо не помышляя.

\* \* \*

Иван Струна, когда ему передали о том, что келейник владыки вместе с поварской девкой Лукерьей поселились в монастырской слободе, лишь хмыкнул, решив, что от него они никуда не денутся, и коль понадобятся, то он найдет на них управу. Про свое унижение

после порки, посреди храма, опальным протопопом, он тоже не забыл, но на время затаился, узнав о заступничестве местных казаков за его главного недруга.

«Ничего не вышло с этой стороны, попробуем с другой. Вот как владыка вернется да обо всем узнает, снимет с него крест и отправит звонарем на колокольню, вот тогда-то все мои обиды я ему и припомню...»

Меж тем тоболяки по-своему восприняли расправу над архиерейским дьяком, которого все недолюбливали, и поменяли свое отношение к Аввакуму. Народ сибирский, он все иначе решает, и власть местная для него, словно ярмо на шее, особенно, если ни в чем особо от нее не зависит. А кто был Иван Струна для местных жителей? Залетная птица с чужих краев, приехавший поживиться чем может, а потом исчезнуть, словно его здесь никогда и не было.

Только вот архиерейскому дьяку дела не было до того, что о нем говорят местные жители. Что ему до них? То воеводские люди за порядком следят, а его дело — попов да игуменов в узде держать, вот пусть они его и боятся. В отсутствие архиепископа он считал себя едва ли не вторым человеком во всех сибирских пределах. Само собой, после воеводы. Потому продолжал потихоньку скупать у заезжих купцов по бросовой цене редкие товары, что те неохотно уступали ему в ответ за обещание беспошлинной торговли во всех сибирских приходах.

Прознавший о том князь Василий Иванович Хилков собрался было прищучить зарвавшегося архиерейского дьяка, но как-то все откладывал, прикидывая, как бы самому поиметь с того собственную выгоду. Да и отвлекали князя более срочные дела: сбор налогов, ответы на разные царские грамоты, тревожные вести со стороны степей, где немирные кочующие племена неожиданно налетали на сибирских хлебопашцев, уводили их в полон, вытапывали пашни. То была главная его забота, за которую могли спросить строго, узнай о том царь Алексей Михайлович или кто из его ближних людей. Потому делишки архиерейского дьяка хоть и вызывали брезгливые недовольства у князя, но он считал, что эту вошь он без особого труда прихлопнет, как только выдастся случай.

Зато Аввакум явственно почувствовал перемену к себе как со стороны прихожан, число которых в храме росло с каждым днем, так и прочего местного люда, что теперь шагу не давали ему сделать без того, чтоб не подойти под благословение и не поинтересоваться здоровьем.

Как-то, выходя из ворот храма, он наткнулся, все на того же слепого калеку, который в свое время отказался принять от него монетку, закричав во весь голос, что она якобы жжет ему руки. После того случая Аввакум старался обходить его стороной, дабы вновь не нарваться на скандал. А тут, забывшись, чуть не прошел мимо него, когда, задумавшись о чем-то своем, спеша быстрее добраться домой.

— Батюшка Аввакум идет, — услышал он писклявый голос откуда-то сбоку. Повернул голову и увидел юродивого, усиленно кланяющегося ему. Он было вздрогнул, хотел ускорить шаг, но тот неожиданно запричитал:

— Помолись, батюшка Аввакум, за бедного Ильюшеньку, а я уж тебя в своих молитвах не оставляю.

— Будь здоров, божий человек, спасибо за слова такие. Хорошо ли подают?

— Худо, батюшка, подают, худо, — пропищал тот. — Серебряных монеток совсем нет, одни лишь медные. А медь, она лжива, словно девка блудлива: сегодня есть, а завтра и сбежала...

— Так ты держи ее крепче, не отпускай от себя.

— Да зачем они мне, все одно хором себе не выстрою, мне и запечного угла хватит. А вот добрые люди пущай себе берут, им нужнее.

— Худо, мил-человек, когда своего угла нет, — посочувствовал ему Аввакум.

— Да я-то что, я обойдусь, а вот патриарха нашего царь-батюшка скоро покоев его лишит и вон выгонит. Вот тогда он поскачет, попрыгает, власть свою потерявши, — смело отвечал калека.

— Откуда тебе такое известно? — вздрогнул Аввакум. — Патриарх на Москве, а ты вон где.

— Ангелы мне о том весточку принесли. Обидел патриарх царя нашего, и тот скоро проучит его, чтоб не тянул свои руки к трону царскому. Пойдет он, как и я, горемычный, по Руси подаяния собирать.

— Ты особо о том речи крамольной не веди, а то патриарх наш и до тебя дотянется, пока еще в силах...

— Так недолго ждать осталось, — не сдавался Илья. — Скоро все и решится.

Аввакум достал из кошелька полтину и положил подле юродивого рядом с медными полушками. Тот услышал, как звякнула монета, и радостно засмеялся.

— Зря ты мне ее положил, серебряная, слышу, скоро она тебе самому понадобится, когда в дальнюю дорогу соберешься.

Аввакум озадаченно спросил его:

— Это куда ж я соберусь, в Москву, что ли?

— Нет, в другую сторону, батюшка, повезут тебя, навстречу солнцу, где православной веры почти что совсем нет и нескоро будет. Но ты не переживай, Бог тебя хранит, только крепче станешь.

— И когда же это случится? — с дрожью в голосе спросил Аввакум юродивого.

— Совсем недолго ждать осталось, как наш Семушка вернется, вы с ним и попрощаетесь. Тогда и повезут тебя, любезного, по реке и по суше, веру православную устраивать в заповедных краях.

Аввакум стоял молча, слегка ошарашенный такими словами, словно его неожиданно ударили по голове чем-то тяжелым. Такого известия он никак не ожидал и не знал, верить ли словам юродивого или махнуть рукой, отшутиться. С тяжелым сердцем он благословил его и, тяжело ступая, стал спускаться под гору, вглядываясь в россыпь домов, меж которыми мелькали, едва различимые сверху фигурки людей, похожие на муравьев, спешивших каждый в свою норку. Он не знал, стоит ли сообщать об этом разговоре Марковне или лучше оставить это в себе, чтоб не расстраивать в очередной раз супругу. Однако стоило ему лишь переступить порог дома, как та, глянув на него, всплеснула руками и спросила:

— Что случилось, батюшка? Или опять недруги какие супротив тебя что замыслили.

— Да как тебе сказать, иногда не разобрать, где друзья, где недруги, а может, и еще кто нелюдского племени супротив меня войну ведет, но ничем тебя порадовать не могу. Время придет — сама все узнаешь.

— Ну и ладно, я и не спешу, вот, увидела тебя живого и здорового, и уже мне радостно. А коль беда придет, будем вместе думать, как ее пережить. Уж так нам, видать, на роду написано, до самой смерти вместе переживать и доброе и худое, куда ж оттого денешься...

\* \* \*

Архиепископ Симеон отсутствовал в Тобольске почти год и вернулся лишь зимой накануне празднования Рождества. Выслушав доклады Григория Черткова и Ивана Струны, сразу уловил, что занимались они без него всем, чем угодно, но только не порученными

им делами. Еще будучи в столице, он получал из отдаленных приходов жалостливые письма от тамошних благочинных и батюшек и даже от нескольких именитых прихожан о бесчинствах, творимых в его отсутствие.

Поначалу он было порывался уехать пораньше, но патриарх Никон был неумолим и требовал его присутствия на архиерейском соборе, где решалась не только судьба самого патриарха, но и всей Русской православной церкви. И лишь по осени ему удалось всеми правдами и неправдами убедить патриарха отпустить его обратно. Ехал он с тяжелым сердцем, в предчувствии беды и тяжелым осадком на душе, оставшимся от проявления к себе патриаршей немилости, которую он явственно ощутил и от самого преосвященного и от окружающих его владык. Впрочем, он догадывался о причине немилости. Она шла от многих недоброжелателей, что донесли Никону о дружеских отношениях архиепископа Симеона с опальным Аввакумом, что было воспринято тем не иначе как измена ему, «главному молитвеннику земли Русской».

Да и на самом соборе нескончаемой чередой шли споры между собравшимися архиереями и митрополитами о новых церковных правилах, а единого решения так и не нашли, сколько ни старались. И теперь, прибыв в Тобольск, стоило владыке осмотреть, занесенный снегом Софийский двор, тощих, давно не кормленных досыта коней, на которых встречали его при подъезде к городу, новых конюхов и подобострастно улыбающихся служителей, нехорошее предчувствие закралось к нему в душу.

В поездку с собой, вместо провинившегося Спиридона, он, неожиданно для всех, велел прислать ему расторопного монаха из местного монастыря. И игумен Павлиний не нашел ничего лучше, как отправить к нему Аниську, прозванного Гвоздем, который и впрямь был весьма расторопен, пронырлив и, когда ему было нужно, услужлив перед начальством.

Первое время он радовал всеми этими качествами владыку, но со временем, особенно когда они прибыли в Москву, архиепископ стал замечать, что новый келейник его куда-то вдруг по ночам исчезает, а возвращается обратно едва ли не под утро, неся под мышкой какие-то свертки, узлы, чем по службе ему заниматься совсем не полагалось. Он устроил ему допрос с пристрастием, и тот, как на духу, признался в немощах своих и давнишней слабости к сытости, о чем приличный монах даже и думать не должен.

— А что же я могу с собой поделаться, владыка милостивый, — канючил Анисим, — когда желудок мой непрерывно пищи требует, и совладать с ним никаких моих сил нет?

— Молись, песий сын! — пробовал вразумить его владыка. — Молитва, она грешные мысли прочь гонит, на божественный разум настраивает...

— Молюсь, батюшка, молюсь, но если не поем досыта, то и молитвы на ум не идут, — вздыхал Анисим. Но при этом истинного раскаяния в голосе его владыка не улавливал и понимал, ничего путного из этого монаха не выйдет и по возвращении в Тобольск собирался устроить настоятелю Павлинию такую выволочку, чтоб он ее на всю жизнь запомнил.

— Что ж мне теперь с тобой делать, детинушка? В местный монастырь спровадить, то можно, я и приплатить готов, чтоб только тебя с глаз долой сбыть. Но где мне другого келейника взять? Не один игумен доброго инока от себя не отдаст, а подсунут какого-нибудь, что похуже тебя окажется. То ли дело — Спиридон мой, тот от меня ни на шаг не отходил, ночевал подле постельки моей, любое указание исполнял с радостью.

А тут, бывало, проснусь, тебя кликну, лежу, поджидаю, когда отзовешься, а келейника моего черти под руки подхватили да и утащили непонятно куда. Что ж мне с тобой делать, иродом?! Пороть? Так сам я стар уже, рука не та, а кого со стороны просить — засмеют, скажут, привез с собой сибирский владыка непонятно кого, к вечеру вся Москва о том знать будет.

Там, в Москве, владыка вспоминал о Спиридоне, оставленном по его же прихоти в Тобольске, как о самом чудном и исполнительном прислужнике, коих у него побывало за время его служения великое множество. И все чем-то не угождали: один храпел громко, другой ни одной девки не пропускал, а бывали и такие, что приворовывали из епархиальной казны.

Со всеми ними он расставался безжалостно, даже не надеясь на их исправление, благо выбор был велик. Так случилось и со Спиридоном, которого он подобрал возле сторевшего дома, скорее, из жалости, чем по необходимости. А тот оказался парнем исполнительным, послушным, сносил беспрекословно все его капризы, а самое главное, оказывался всегда рядышком, когда владыке требовалось сорвать на ком-то гнев свой. Он уже подумывал, не написать

ли ему в Тобольск, чтоб Спиридона срочно направили вслед за ним, но с удивлением узнал, прочтя одно из посланий, пришедших из Сибири, что тот самовольно обвенчался с кухонной работницей его, не спросив на то благословения архиепископского. Это известие нагнало еще большую печаль на владыку, словно его обокрали среди бела дня, и как тут поступить, какой отыскать выход, сколько он ни думал, решить не мог.

Однако постепенно он свылся с причудами Анисима и даже жалел своего нового келейника, полагая, что искушение едой рано или поздно пройдет, если его кормить досыта и не обращать внимания на его частые исчезновения. Так и вышло. Через какой-то срок Анисим из тощего, как щепка, паренька, превратился в дородного молодца с румянцем во всю щеку, перестал бегать мелкой рысью, а начал ходить степенно, вразвалочку и все реже и реже пропадал из кельи Чудова монастыря, где для сибирского владыки были отведены специальные покои.

Во время обратного пути Анисим ехал в одной повозке с владыкой Симеоном и забавлял того смешными рассказами о монастырских служителях, о причудах и выходках которых он знал предостаточно такого, о чем сам владыка вряд ли когда мог догадаться. Возвратившись в Тобольск, Анисим уже к вечеру доложил архиепископу обо всех слухах, касающихся управлявших вместо него епархией — Ивана Струны и Григория Черткова. С особым пристрастием и самым подробным образом, будто сам присутствовал, Анисим описал и порку епархиального дьяка посреди Вознесенского храма, произведенную руками доблестного протопопа Аввакума. Из его рассказа выходило, что праведный протопоп предстал чуть ли не в образе Георгия Победоносца, повергшего злого змея, досаждавшего несчастным горожанам.

Выслушав его, владыка от удивления вытаращил глаза и переспросил:

— Верно все? Или от себя присочинил чего?

— Что мне сказывали, так и передаю, — истово перекрестился Анисим.

— Как же стерпел такое Иван Васильевич? Неужто никто за него не заступился? Не верится что-то...

— Дак они потом батюшку Аввакума из дома выкурить пытались, сжечь со всем семейством, да народ не дал, казаки подоспели.



— Да, неисповедимы дела твои, Господи, — только и нашел что ответить владыка и решил при случае доподлинно расспросить обо всем произошедшем самого Аввакума.

Меж тем Иван Струна почувствовал нерасположение к себе вернувшегося владыки и потому не спешил идти к нему с докладом, а, закрывшись у себя, вместе с Григорием Чертковым совещались, чем бы им умиловить владыку и оправдаться за все огрехи свои. Они понимали, не похвалит их архиепископ, коль узнает обо всем, что случилось за время его отсутствия, но и большой беды в том не видели. Гнев владыки, что майская гроза: пробежит, погрохочет, да и опять небо чистехонько, словно ничего и не было. Все зависело от того, что он вызнает от доброхотов своих, а потому решено было с каждым, кто имеет к владыке доступ, быстrehонько помириться, наобещать золотых гор, надарить подарками, лишь бы они подали все в лучшем свете.

С местными батюшками у Струны были доверительные отношения. Он им позволял оставлять кое-что из церковных сборов на личные нужды и строгостей больших, проглядывая их росписи, не проявлял. Но каждую неучтенную копеечку держал в голове, уж так он был устроен: умел помнить, причем долго, все, что мимо его рук проходило. Батюшки этим пользовались, поднося ему на престольные праздники, а то и просто по случаю, богатые дары, кои он, поднакопив, старался побыстрее отправить с надежными купеческими обозами родственникам своим. И ничего из даров тех при себе не держал, понимая, рано или поздно найдется добрый человек и сообщит о том владыке, а то и в Сибирский приказ отпишет или самому патриарху. Меж тем и на патриаршем дворе имелись у него свои люди, готовые в нужный момент замолвить за сибирского дьяка словечко, ежели что вдруг не так пойдет. Но и батюшки, молчавшие до поры до времени, особого доверия у него не вызывали, поскольку не раз обращался он к ним с разными делами, знать о которых положено было далеко не каждому.

Больше других он опасался за кухонную начальницу Дарью, имевшую прямой доступ к владыке, на язык и речь неудержимую, но как ни умащивал он ее разными подарками, особой цены для него не имевшими, та оставалась в речах своих непреклонна. Стоило сказать ей слово поперек, как она припоминала архиерейскому дьяку все грехи его, о которых он и сам-то давно позабыл, а она вот, глядишь, помнила и забывать, оказывается, не собиралась.

Но хуже всего обстояло дело с неукротимым протопопом, что нанес ему несказанные оскорбления, о чем теперь в городе не знал разве что грудной младенец. И хотя Струна несколько раз подсылал к протопопу своих людей, чтоб те проучили его, а если повезет, то и совсем сжили со света, но какая-то неведомая сила каждый раз мешала его планам, и тот ускользал, как пойманная щука из рук нерасторопного рыбака. А со временем его и вовсе взяли под защиту местные казачки и никого к нему не подпускали, красноречиво кладя руку на весящие сбоку сабельки и даже поранили двоих его помощников.

Идти же самому на поклон к протопопу и заключить полное перемирие с ним Ивану Васильевичу не позволяла собственная гордость. Вместо этого он подговорил нескольких уважаемых в городе людей написать в Москву доносы на неистового протопопа, в которых он обвинялся во всех смертных грехах. Но и с этого конца дело не вышло, князь-воевода, какими-то неведомыми путями прознавший о тех грамотах, позабирал их и хода не дал.

А ссориться с князем — себе дороже, уж об этом-то архиерейский дьяк знал хорошо, чем та ссора могла закончиться. И поэтому решил пока не обращать внимания на Аввакума, резонно полагая, что тот и без его помощи шею себе сломает, когда в очередной раз начнет принародно обличать патриарха Никона, о чем тому рано или поздно донесут.

Вот если бы еще владыку Симеона вразумить, чтоб он не водил дружбу с противником самого патриарха, и спровадить его подальше из города, тогда бы Иван Васильевич мог спать спокойно и чувствовать себя полновластным хозяином всех сибирских приходов, которые хоть и находились в подчинении архиепископа, но истинная власть была в руках тех, кто слал им наказные грамоты от имени архиепископа и вкладывал кое-какие приписочки от себя лично. А все это находилось в ведении Ивана Васильевича Струны, о чем сам владыка вряд ли догадывался...

Прошел день, другой, но владыка не приглашал дьяка к себе на личную беседу, что приводило Струну в неистовство, и он мерил свою небольшую комнатку мелкими шажками из угла в угол, гадая, почему так происходит. Наконец, на третий день новый келейник Антон степенно зашел к нему, огляделся и, как бы нехотя, спросил:

— Не изволите ли к его высокопреосвященству пожаловать?

— То он тебя отправил, или сам додумался зайти? — с ехидством поинтересовался Струна.

— А вам-то, не все равно? — все так же нехотя, растягивая слова, отвечал тот.

— Ну, ты, паря, далече пойдешь, как я погляжу, — только и нашелся что ответить Струна, доставая на ходу гребень и привычно расчесывая свой пышный чуб, направляясь вслед за келейником в покои владыки Симеона.

Сколько времени оставались наедине владыка Симеон и его дьяк и о чем они вели беседу, никто того не знал. Но поздно вечером пронеслась весть среди кухонного народа, узнававшего все первым, что разговор у них был серьезный, поскольку после того Иван Васильевич Струна закрылся в своем кабинетике, чего за ним раньше никогда не водилось, и допоздна оттуда не выходил.

Затем настал черед получить свою порцию нареканий Григорию Черткову. Но его владыка на удивление долго не задержал и тот в скорости выскочил от него весь краснехонек с всклокоченными волосами и широко разинутым ртом. Отведя, таким образом, душу на своих ближайших подручных, архиепископ слегка успокоился и потребовал к себе бывшего келейника Спиридона, который за время его отсутствия занимался всем, что ему поручалось местным начальством.

\* \* \*

Когда Спиридон вошел в кабинет архиепископа и склонился в поклоне, ожидая благословения, тот, не вставая из-за стола, неожиданно заявил:

— Не получишь ты от меня благословения на сей раз. Даже добрым словом и то не одарю. И сам ты знаешь, почему. А о своеволиях твоих мне стало известно, еще когда я в Москве, в Чудовом монастыре, пребывал...

— Простите великодушно, ваше высокопреосвященство... Виноват, но иначе никак нельзя поступить было...

— Как грешить, так оно, значит, можно, а благословение испросить у отца своего духовного, на то умишка твоего не хватило. Ты, дурья башка, хоть понимаешь, что я венец ваш могу не признать и батюшку, что без разрешения моего втихомолку вас обвенчал, сана лишить? И все из-за твоей жеребьячьей прыти! На кой девку соблаз-

нил, если знал, чем дело кончится? Или не ведал, от чего на свет дети появляются? — Владыка ненадолго замолчал и хитро прищурился, взглядываясь в стоящего перед ним Спиридона, не знавшего, куда деть свои руки, а потому спрятавшего их за спину. Чуть помолчав, владыка спросил:

— И как оно с молодой женой живет? Говорят, уже и дите у вас на свет явилось. Какое имя дали?

— Андреем нарекли, — широко улыбнулся бывший келейник.

— Имя хорошее, чего тут скажешь... А живете на что, коль ты у меня больше на службе не состоишь? Дитятку, поди, кормить надо, да и самому питаться...

Спиридон не знал, как отвечать на прямые вопросы владыки, и лишь громко засопел, не поднимая глаз. Да и что он мог ответить? Добрые люди помогали, кто чем мог. Летом по ночам разгружал торговые суда, да и здесь, на архиерейском дворе, работа разная для него находилась. Опять же Дарья потихоньку подкармливала его с Лукерьей. Одним словом, жили тем, что Бог пошлет. Нельзя сказать, чтоб сытно, но и от голода не пухли. Понимал это и владыка, и ему стало жаль парня, да и его непутевую жену, давшую соблазнить себя, не подумав о том, что их ждет впереди. Но взять обратно к себе женатого человека келейником владыка при всем своем желании не мог, а потому спросил с жалостью в голосе:

— Ну, в кого ты такой уродился? Неужто худо тебе было при моей персоне состоять? Если когда и задавал тебе встрепку, то по делу, чтоб на пользу шло. Зато катался как сыр в масле. Вспомни, каким заморышем подобрал тебя, а ты вон, гляди-кася, вымахал, мужиком стал и забыл о моих заботах, своим скудным умишком жить решил... И как теперь поступить с тобой прикажешь?

— Простите, владыка, не хотел...

— Хотел — не хотел, а обратно жизнь не повернешь. Могу тебя конюхом определить или еще кем на черную работу. Так ведь не пойдешь?

Спиридон покачал головой, давая понять, что не согласен.

— Тогда тебе мой добрый совет — иди-ка ты лучше послушником в Знаменский монастырь. И кайся там, сколь сил хватит. Ты и так-то, как я замечал, в вере православной не шибко устойчив был, а теперь и вовсе не вижу раскаянья никакого. Так что иди в монастырь и замаливай там свои грехи, пока Господь тебя не простит...

Грех, он в человеке долго держится, сразу его вон не выгонишь, не замолишь...

— Как же я о том знать буду? — с удивлением спросил Спиридон.

— О чем знать? — удивился архиепископ.

— Так о том, что безгрешен стал? — чистосердечно пояснил свой вопрос бывший келейник.

От такого вопроса владыка громко рассмеялся. А поскольку смеялся он редко, считая, что человеку его сана делать это не положено, потому как грешно, то смех его больше походил на гусиное гоготание, словно он собирается сказать чего, но слова не находит, а лишь одно гыканье несется.

— Значит, желаешь знать, когда совсем безгрешным станешь? — спросил он. — Будто ангел небесный. Да? — добавил он с улыбочкой.

— Не знаю, — ответил вконец растерявшийся Спиридон, — ангелом стать у меня, верно, не выйдет...

И тут же добавил, поняв, что ляпнул несуразицу:

— Вы же сами говорили, мол, замаливать все грехи в монастыре следует...

— Говорил, — охотно согласился владыка, — без этого никак нельзя, для того и в монастырь идут, чтоб грехи людские замаливать.

— Это еще и за другого кого, что ли, молиться заставят? — вновь не понял слов своего наставника тот.

— Ну и темен ты, братец! Ой, темен! Откуда такие только берутся. А ты думал, в монастыре иноки только тем и заняты, что едят да спят? В молитве всё время свое проводят. И не только за себя, грешных, молитву Господу возносят, но и за весь мир людской. Так-то вон...

— Выходит, там жить постоянно следует? И за порог ни ногой?

— Само собой, ежели только игумен не благословит и не направит куда по делу важному. А потом мигом обратно. И сызнова на молитву.

— И так каждый божий день, что ли? А в воскресные дни как? К семье отпускают?

— В праздничные и воскресные дни самая долгая молитва бывает. Забудь о семье, коль в Божьей обители оказался.

От таких слов Спиридон и вовсе растерялся. Он ожидал чего угодно, но только не отправки в монастырь, а потому с удивлением посмотрел на владыку и как-то по-детски спросил:

— А Лукерью с дитем мне куда девать? Бабу без мужика как можно оставлять? Да и мне без нее непривычно будет... Муж теперь как-никак...

Владыка не выдержал и вновь расхохотался:

— Гы-гы, я как погляжу, умишка у тебя совсем не прибавилось, последний, что имел, и того скоро лишишься. Проживет твоя баба как-нибудь и без тебя. И ты без нее не помрешь. А через годик-другой игумен Павлиний тебя вразумит по-отечески, научит кое-чему, в вере укрепит, а там, глядишь, в дьяконы поставит, ежели грамоту осилишь...

Видать, Спиридон не сразу сообразил, что ему предлагает владыка, потому как широко открыл глаза и переспросил:

— Это кого же в дьяконы? Меня, что ли?!

— А ты хотел сразу в архиереи, или как? Еще выше? В митрополиты? — еще громче загоготал владыка. — Да, как погляжу у тебя губа не дура. Я тебе дело говорю, а ты упираешься, как бычок, которого от мамки тянут. Рано тебе жениться было. Рано! Пора еще не пришла. Вот ежели бы ты с самого начала подошел ко мне да и рассказал все, как на духу, я бы тебе добрый совет дал, как тебя быть дальше. Нечужой, чай, вон, сколько вместе прожили, всякое видел, пообтесался чуть, глядишь, дальше бы пошел служить по церковному делу. А ты что? Ребеночка родил и успокоился?! Вот те как... Тут особого ума не надо, чтоб ребеночка зачать. А потом что? Как растить его станешь? На какие шиши-коврижки? Поди, и сам не ведаешь?

— Так еще научусь, — горячо возразил Спиридон, — чем других хуже?

— Дураком ты был, дураком, как погляжу, и останешься, — махнул рукой в его сторону владыка. — А с дурной головы какой спрос? Пока все шишки на башку свою не соберешь да соплей на кулак не намотаешь, ничемушеньки не научишься. Так и быть, иди живи, как тебе душа велит. Считаю, простил я тебя. Уж больно Дарья за тебя заступалась, умоляла не отрывать от молодой жены и оставить все как есть. А Дарья, она в жизни многое повидала, горяшка хлебнула, зря не присоветует. Вот ей и скажи спасибо, в ножки поклонись, как матери родной. А то... — владыка погрозил пальцем, — отправил бы тебя туда, где Макар телят не пас.

Какое-то время владыка молчал, думая о чем-то своем, Спиридону неведомом. Судя по всему, он все еще колебался: то ли примерно на-

казать бывшего келейника за ослушание, то ли отпустить с миром. Но потом доброе начало все же взяло верх, и он, подняв глаза на Спиридона, заговорил укоризненно:

— Ты, братец, пока в келейниках ходил, чуть ли не самым ближним человеком был для меня. До всяческих дел допущен, обо всем понятие имел. Откуда мне знать, что не начнешь болтать где ни попадя всячину всяческую обо мне?

Спиридон хотел было что-то возразить, но владыка не дал ему и слова сказать, продолжил:

— Знай на будущее, ежели кто тебя к себе приблизил да все самое сокровенное тебе доверил, негоже от того человека сломя голову бежать. Нанес ты мне тем самым великую обиду. — Он обиженно пожевал сухими старческими губами, будто боясь расчувствоваться, но сдержался и закончил такими словами: — Пойми, глупая твоя голова, не принято этак вот за добро худом платить...

Спиридон продолжал все так же стоять, молча, не поднимая глаз, ожидая, что же все же решит владыка. Зная его переменчивый нрав, ждал самого худшего. Но тот неожиданно поднялся из-за стола, подошел к нему, и, широко перекрестив, чуть подтолкнул к двери.

— Иди, иди... И чтоб глаза мои тебя больше не видели, а как подумаешь что, скажешь или передашь через ту же Дарью, тогда, может, и определимся, как быть с тобой.

Спиридон попытался поймать руку владыки и облобызать ее, но тот уже отвернулся и пошел обратно. И Спиридону не осталось ничего другого, как попятиться и так выйти вон. Владыка же с улыбкой посмотрел ему вслед, так и не зная, правильно ли он поступил, оставив за парнем выбор... Или нужно было все же не слушать Дарьины уговоры и наказать того в назидание другим. Но дело было сделано, а потому он, перекрестившись на икону Спасителя, тихо прошептал, хотя рядом с ним никого и не было:

— Вверяю Тебе, Господи, отрока сего, не оставляй его в заботах своих, защити и вразуми...

\* \* \*

С приближением весны постоялец Устиньин, которого она звала не иначе как Фома-бегунок, после зимнего безделья и беспробудного сна окончательно ожил и начал готовиться к дальнему путешествию в еще не изведенные им края. С зимы у него был припасен мешок

сухарей, хранившийся на чердаке подальше от хозяйских глаз, припрятан изрядный шмат сала, острый нож, с которым он никогда не расставался, запасные подошвы для сапог, шило, дратва, игла, огниво и разная мелочь, что могла стодиться в дальней дороге.

Устинья, конечно, не пропустила мимо глаз то, как он засуетится: несколько раз на дню бегал к реке, проверяя, тронулся ли лед, подолгу сидел во дворе, принимаясь, словно дикий зверь, к пьянящему весеннему воздуху, и бабское ее сердце подсказывало — утекет скоро Фома, причем тайно, по-воровски, не попрощавшись, даже спасибо напоследок и то не скажет, не поблагодарит, что она его столько времени кормила и обихаживала. Другая могла бы устроить скандал, накричать, пригрозить, что пойдет к местным властям и заявит на него, а она молчала, все на что-то надеясь... Да никакие ее ухищрения не могли остановить изготавившегося к побегу Фому и удержать его подле себя.

Он, как его ни держи, ни уговаривай, словно талая вода, устремившаяся к обрыву, размочит все на своем пути, обойдет любой затор и исчезнет в сибирских даях, смешавшись с такими же неуживчивыми странниками-ходаками, идущими на поиски лишь им одним ведомую землю. И вряд ли кто из них задумывался, что не в ней, не в потаенной от чужих глаз земле, дело. Она, земля, повсюду одинакова и схожа с прочими, где обитается русский человек. И все одно, веря в свою удачу, тянулись вереницы путников, а то и цельные людские ватаги, прозванные в народе «людьми гулящими», подальше от больших городов и селений, вдоль обрывистых берегов сибирских рек в ту сторону, откуда встает по утрам солнышко; дойти до самого краешка этой нескончаемой страны и найти в конце концов саму солнечную обитель...

Устинья уже не раз тайком, чтоб Фома не заметил, всплакнула, представляя, как нелегко ей будет остаться вновь одной и длинными зимними ночами слушать свист ветра за окном, вздрагивать от каждого звука в ожидании, что вдруг сейчас распахнется дверь и он ввалится в избу, весь облепленный снегом, исхудавший и, опустив глаза, подойдет к ней. Вот тогда она выговорит ему все, что накопилось в ее исстрадавшейся душе, может, даже отвесит затрещину, а потом все одно кинется на грудь и будет гладить его, пока он с усмешкой не оттолкнет ее и сядет рядом на то самое место, где она изо дня в день привыкла видеть его.



Фома же на этот счет не испытывал никаких угрызений совести или чего-то подобного, полагая, что свой срок он давно отбыл, прожив сколь сил хватило на одном месте. А теперь все, шалишь, пришла пора идти дальше, где его никто не ждет, но зато там он будет свободен и ни от кого независим, сам себе полновластный господин и хозяин.

Хотя если припомнить, то уходил он от очередной сожительницы не в первый раз, но именно сейчас ему почему-то впервые было боязно вновь срываться с насиженного места. Может, годы висли гирями на ногах или иное что. Но, казалось ему, будто бы кто-то нашептывает ему, мол, опомнись, остепенись, пришел срок осесть на одном месте, не рыскать волком по свету; все одно, сколько ни ищи место свое на этом свете, а нет такого, хоть всю жизнь, день и ночь без остановки, идти будешь, вряд ли где найдешь упокоение душе своей...

Так прошла неделя, а то и две... Река очистилась ото льда, и лишь отдельные запоздалые льдинки проплывали близехонько от их дома, торопя и маня его за собой. И тогда он решился: «Пора уходить, пока не поднялось комарье, не начались дожди и не стали раскисать дороги».

В тот вечер, как обычно, он прилег, но сон не шел. Фома несколько раз вставал, выходил во двор, намереваясь подхватить заранее собранный мешок с припасами, и, не скрипнув дверью, навсегда уйти из так и не ставшего ему родным дома. Но он все тянул, чего-то ждал, не решаясь на решительный шаг. И, лишь когда уже запели пробудившиеся ранние птицы, послышался вдалеке плеск весел, то первые рыбаки выехали проверять свои снасти, он зло выругался на самого себя и ушел, нарочно или по забывчивости не прикрыв до конца дверь за собой. А Устинья всю ночь тоже не спала, хотя и лежала с закрытыми глазами, и, как только услышала, что скрипнула калитка, ей все стало понятно, она дико вскрикнула, словно в грудь ей ударило что-то острое, схватила за сердце и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, солнце уже вовсю светило. Тут она увидела, что над ней склонилась обеспокоенная Варвара и тихо спрашивала:

— Что с тобой? Устинька? Случилось чего? Приди в себя, отведи...

— Принесла тебя нелегкая! Чего хотела? — в сердцах отвечала та, срывая зло на подруге и не желая признаваться, что осталась одна на всем белом свете.

— Не хочешь говорить, и не надо, — миролюбиво ответила Варвара. — Все равно потом расскажешь, да я и сама знаю, не слепая...

— А раз знаешь, нечего и с вопросами лезть. Говори, чего пришла.

— С недоброй вестью, — ответила та, — Глафира который день во двор не выходит и дверь закрыта у них изнутри... Не то что у тебя — нараспашку болтается...

— Не твоего ума дело, — огрызнулась Устинья, накинув на голову платок. Но потом спохватилась и уже миролюбиво предположила: — Может, ушла куда, а то и совсем уехала, как мой бегунок, сорвалась куда глаза глядят, — невольно проговорилась Устинья, злясь на себя и подругу, а еще больше на Фому, что тот исчез, так и не сказав ей на прощанье ни одного доброго словечка.

— Да она, как я заметила, в последнее время ходить совсем плохо стала, — отвечала Варвара. — Я ей чего из еды носила, а она и есть отказывается. Чем помочь, и не знаю...

— А отец ее как?

— Тоже не встает, она его с ложечки кормила, он уж, почитай, второй год лежит, если б не Глашка, так давно бы окочурился.

— Ему, может, и пора, а Глафиру мы с тобой рано хороним, не таковская она бабенка, чтоб смертушке поддаться с первого раза. Пошли к ней вместе, там и проверим, чего без толку рядить...

Устинья даже обрадовалась, что ее отвлекли от безутешного горя, которое неожиданно обрушилось на нее, хотя она уже давно ждала этого. А вот ведь все одно вышло как-то неожиданно, словно крыша в избе рухнула ей на голову и лишила той малости бабского счастья, которое хоть короткий срок, но жило в ней, пока рядом находился Фома. А теперь, успев свыкнуться с привычным укладом, она готова была побежать вслед за ним, остановить любым способом, вернуть его обратно, но только знала, не помогут ее уговоры, а тем более слезы, поскольку ушел он навсегда, и вряд ли они когда снова свидятся...

Дом Глафиры находился на соседней улице, и по тому, что на дворе не было свежих следов на раскисшей после растаявшего снега земле, стало понятно, хозяева давно наружу не выходили, а по какой причине, то им и предстояло выяснить. Устинья подошла к двери, толкнула ее несколько раз, дверь чуть подалась, но не открылась.

— Давай вместе, — предложила она Варваре. — Авось справимся.

— А может, позвать кого? — ответила та.

— Ну, коль у нас не получится, приведем Яшку Плотникова, он дверь с петель легко снимет.

Но вдруг они услышали какое-то шуршание, что-то заскрипело, брякнула щеколда, и они увидели стоящую на пороге Глафиру с всклокоченными волосами и горящим взглядом.

— Глашенька, милая, что с тобой? — кинулись они к ней. — Почему не открываешь?

— Батюшка помер, — прошептала та бескровными губами.

— Да когда же это? Когда? Почему нас не кликнула?

— Не помню... Сама в беспамятстве лежала не знаю сколько...

— То-то я приду, постучусь, а ты не открываешь, — сокрушалась Варвара.

— Так схоронить надо покойника, — спохватилась хозяйственная Устинья, у которой собственная беда сразу отступила и она уже готова была кинуться на помощь подруге. — Гроб заказывать надо, опять же кого-то искать могилу копать... Да мало ли хлопот...

— Сил моих на то нет, — отвечала Глафира и, не удержавшись на ногах, осела на холодный пол прямо у дверей.

Подруги подхватили ее, ввели в дом, где уже стоял стойкий запах, какой обычно исходит от мертвого тела, с брезгливой осторожностью подошли к покойнику, накрыли лежавшей на печи холстиной и, торопливо шепча молитвы, крестясь, попятились обратно. Видно, их приход немного взбудрил Глашку, и она, чертыхнувшись непонятно на кого, придерживаясь за стену, пошла за ними, переступила за порог и вышла на крыльцо.

— Господи, неужели весна пришла? — вымолвила она, едва шевеля губами. — Нет, не хочу в холодную землю рядом с отцом ложиться, хватит и одного покойника. Жить хочу! Жить!!! Нет, шалишь, не пожила я еще свое, рано на тот свет собираться, вот им всем. — И она показала сияющему радостной голубизной небу, по которому мирно плыли одинокие полупрозрачные облачка, свой маленький кулачок.

Тут они все неожиданно обнялись и, стучаясь лбами, начали ни с того ни с сего целовать друг друга, орошая свои лица слезами, а плыли и вовсе дружно заревели, не обращая внимания, что из соседних дворов за ними с удивлением наблюдают соседи, не понимая, то ли тетки эти напилась в неурочный час, то ли случилось у них горе какое, но вмешиваться в соседские дела у жителей монастырской

слободки было не принято, а потому скоро все быстрехонько попрятались, словно ничего и не было...

\* \* \*

Фома уже третий день отмерял версту за верстой, изредка останавливаясь на ночевки, сооружая себе шалаш из подобранных на земле ветвей, разводил костерок и возле него мирно засыпал. Когда вставал продрогший от холодных еще утренних заморозков, то прыгал на одной ноге, что-то напевал, не переставая радоваться свободе, которую он наконец-то заполучил, потом быстренько собирался и шагал дальше. Но мыслями он все равно по несколько раз на дню возвращался к оставленной им Устине.

Жалел, что не сказал ни единого доброго слова, не хватило смелости проститься. Да и она наверняка сейчас вспоминала о нем. От этого утренняя радость постепенно угасла, на душе становилось как-то погано и неуютно. Он пытался гнать от себя воспоминания о совместно прожитом времени, но исправить что-то было уже невозможно. А потому он лишь крепче стискивал зубы и старался думать о чем-то другом, но только не о прошлом, которое никак не оставляло его и с непонятной силой тянуло обратно.

С каждым днем изнежившееся за зиму тело и ноги, не привычные к долгой ходьбе, наливались тяжестью, начинала болеть спина, слезились глаза от встречного ветра. Да к тому же он умудрился простыть, ночуя на голой земле, начал кашлять и стал замечать, что с каждым днем путь его укорачивался. Вскоре он понял, что долго так не протянет, если и дальше пойдет пешком, а потому стал соображать, нельзя ли где-нибудь стянуть лодку или сделать небольшой плот. Но лодки, как назло, местные рыбаки утягивали почти к самым домам, видимо, наученные горьким опытом заимствования их такими же, как Фома, подуставшими странниками. А не имея опыта и нужных инструментов, соорудить плот оказалось не так-то просто.

И все же он не оставлял мысли присмотреть где-нибудь несколько бревен, связать их таловыми прутьями и пуститься вниз по течению, которое весной было особенно бурным, и за день вполне можно будет преодолеть изрядное расстояние. И вот однажды ему повезло: в небольшом ложке он наткнулся на несколько ошкуренных и подсохших бревен, явно приготовленных для каких-то строительных дел. Фома воровато осмотрелся, не идет ли хозяин, заготовивший,

видать, с осени те бревна, но никого не увидел и принялся торопливо скатывать их к воде и связывать нарезанными тут же прутьями.

Сооружение получилось довольно хлипкое, неустойчивое, но человека вполне выдерживало. Тогда он выломал средней величины жердь, которую собирался использовать вместо рулевого весла, оттолкнул плот от берега и с разбегу заскочил на него. Плот наклонился, наполовину ушел под воду, но не перевернулся. Фома возликовал и несколько раз помог ему набрать скорость, упираясь в дно реки шестом и направляя его на середину реки, где течение, казалось, было побыстрее, и в случае погони можно было спрятаться на каком-нибудь острове, что встречались то там, то сям, особенно на поворотах реки.

Полдня он плыл, блаженствуя и ни о чем не думая, кроме того, как бы не налететь на плывущие по реке подмытые талой водой вместе с корнями кусты тальника или не угодить на плохо различимую в мутной воде отмель. При этом он любовался широким речным разливом, затопившим ближайшие луга, перелески. Возле его плотика плавали небольшие рыбешки, которых он пытался подцепить снятой с головы шапкой, но дело это оказалось безнадежным, и он решил, что надо разжиться где-то сетью, благо колья, к которым привязывали рыбаки свои снасти, виднелись повсюду.

К вечеру он причалил свой плотик недалеко от пригорка, воткнул в ил шест и прочно привязал свой плот к нему. И все было ничего, если б не влажная одежда, что волей-неволей намокала, как только начинал дуть встречный ветер или большие волны перекатывались через плотик. Как на грех запасных штанов или кафтана у него не было, а потому пришлось снимать с себя мокрую одежду и сушить ее на костре, отчего он сильно продрог и боялся, как бы окончательно не расхвораться.

Но радость его длилась недолго. Утром, на большой гребной лодке его нагнали несколько мужиков, видимо, хозяева украденных им бревен, и стали нещадно бить. Он боялся, что они сейчас свяжут его и бросят в реку, а потому умудрился извернуться, вырвал у одного весло, которым тот несколько раз треснул его по спине, и бросился бежать без оглядки. Те, видать, посчитав наказание вполне достаточным, не погнались за ним, а лишь долго улюлюкали и свистели вслед.

Впопыхах Фома не заметил, как споткнулся о корень растущей у самого обрыва громадной ели, и полетел вниз. Несколько раз кувыр-

кнувшись в воздухе, он упал спиной на полузамытое песком бревно. Внутри у него что-то хрустнуло, от нестерпимой боли он потерял сознание, а когда пришел в себя и попытался встать, то у него ничего не получилось. Видимо, он повредил какой-то жизненно важный орган, а потому обезножил и остался лежать на берегу, словно огромная рыба. Слезы сами собой покатались у него по щекам, и непроизвольно он начал читать молитву, до чего был сроду не склонен и редко когда в своей жизни обращался к Богу. Но тут, поняв, что его жизнь висит на волоске, слова молитвы сами шли на ум, и он взывал ко всем, что приходили ему на память, святым и особенно к Николаю Угоднику, слывшему покровителем всех страждущих и путешествующих. Он не мог точно сказать, сколько провел в таком положении, как вдруг услышал плеск весел, чьи-то голоса и, с трудом повернув голову, увидел, что к нему подплывает та самая лодка с мужиками, что не так давно бутузили его.

«Ну все, конец мой пришел, — подумал он, — сейчас добьют меня и труп в воду толкнут. Ведь чуяло мое сердце, нужно было остаться в доме вместе с Устиньей и жить потихоньку... Кто ж не велел? А теперь, видать, смертный час мой пришел...»

Руки его работали, он несколько раз перекрестился, а потом, все же пересилив страх, жалобно крикнул:

— Братцы, помогите, убится я, встать не могу!

Поначалу ему показалось, что голос его не услышали и лодка проплывет мимо. Но потом он понял, хлюпанье весел затихло, и до него донеслось, как гребцы о чем-то переговорили меж собой. Он с трудом повернул голову в сторону реки и увидел, что нос лодки ткнулся в пологий песчаный берег и из нее выскочили два мужика в сапогах с расправленными длинными голяшками и осторожно, словно крадучись, направились к нему.

«А может, и лучше, если убьют, — решил он, — хоть отмучаюсь. Вот и походил по земле, нашел себе заветное местечко, где никто ко мне не придет и добрым словом не помянет...»

Потом у него в голове наступило какое-то помутнение... Он слышал голоса склонившихся над ним людей, но смысл, о чем они говорили, никак не мог понять. Вдруг ему почудилось, что два ангела, спустившиеся с небес, подхватили его и понесли куда-то, и в затухающем его сознании билась одна-единственная мысль: «Неужто в ад попаду? Но тогда почему ангелы, а не бесы?»

В себя он пришел, уже лежа на лавке, в какой-то избушке, где, потрескивая, горела лучина, а напротив него сидел старик с короткой бородкой и ловко латал порванную сеть, что-то напевая себе под нос. Увидев, что Фома открыл глаза, он с усмешкой спросил:

— Ну что, голубок, долетался? Крылышки слабые оказались? Вот так-то оно, на чужое добро позарился, а Господь тебя тут же и наказал. Говори спасибо, что совсем вусмерть не разбился, жизнь себе сохранил. С того яра многие летали, и все по-разному... Кому ничего, повезло, а кому-то и нет...

— А мне как, думаешь, повезло? — с трудом произнося слова, спросил Фома.

— Это уж тебе, летуну, решать: рад, что живехонек остался или не очень...

— Да я еще не знаю, ежели ноги отойдут и я сызнова ходить смогу, тогда, конечно, оно в радость. А ежели бревном лежать останусь, как сейчас, то какое в том счастье...

Старик усмехнулся, пожевал усы беззубым ртом и, хитро улыбаясь, спросил:

— А ты, поди, голубок, за счастьем куда направлялся? Много вас таких через нас проходит... И всё идут, и идут непонятно куда... Чего ищут — сами того не знают. А ты, как погляжу, нашел счастье свое. Вот теперь лежи и радуйся.

— Ты меня, старый, не подначивай, отлежусь и дальше пойду.

— Да, искал поп маму, а нашел яму. Так и ты нашел, что искал. Только я тебе вот что скажу, видел я таких, что, спиной ударившись долгонько встать не могли, а иногда и на всю жизнь, хоть при ногах, да неходячими оставались. Вот, думается мне, уж не обессудь, что и ты из этих будешь...

От этих слов Фома покрылся холодным потом и попробовал возразить:

— Ты, старик, говори-говори, да не заговаривайся, раньше смерти не хоронят, отлежусь у вас, спасибо, что пригрели, да и дальше пойду...

— А ты попробуй, коль не веришь, встань с лавки сам да сделай шажок.

Фома напрягся, пытаясь опустить ноги на пол, но не почувствовал их. Тогда он попробовал сесть, опираясь на локти и держась за стену избушки, и правой рукой начал ощупывать свои ноги. И тут

его взял страх: ни та, ни другая нога не чувствовали его прикосновений, и сколько он не пытался ими пошевелить, ничего у него не получалось.

— Да как же я теперь жить стану, коль с лавки подняться не могу?! Кому буду нужен такой? Уж лучше бросили бы меня там, на берегу, и то бы лучше! А теперь... — Он не договорил, потому как жгучие слезы душили его.

— Ну вот что, голубь сизокрылый, теперь ты сам о смертушке заговорил, а то хорохорился, как петух на насесте. Ладно, не гневи Бога, может, и найдется человек, возьмет тебя к себе. А ну, подумай, есть такие?

— Не знаю что и сказать, — укладываясь обратно на лавку, отвечал Фома. — Жил с одной бабой, да вот решил убегнуть, а оно вот как обернулось.

— Издалека бежишь-то? С Тобольска, поди? Весь бродяжий народ через Тобольск валом валит, а потом уж мимо нас вниз по реке. А куда дальше девается, не могу знать.

— Точно сказал, из него, из Тобольска. И двух недель не прошло как ушел.

— Надо как-то тебе обратно возвратиться, авось примет обратно баба та. Как сам-то думаешь? — спросил старик, не прерывая работы.

— Не хочу, зачем я ей такой...

— Э-э-э, братец, ты, как погляжу, совсем не знаешь, как русская баба устроена. Ей же своих страданий мало, она готова любому душу свою распахнуть настежь и внутрь запустить, ежели видит, что тому худо. Нет, точно ты бабьева нутра не чувствуешь. Думаешь, они зря нас пият и попрекают? Не зря, милоч, не зря. Им больно на нас смотреть, особенно, ежели человек ей неприкаянный на пути встретится. Да что там душу, жизнь свою отдать готова, лишь помочь ему хоть чуток. Она и поплачет, и поругает, может, и приструнить, а потом все одно прильнет к нему — и айда жалеть, ласкать, слова разные говорить... Вот, сам подумай, ежели мужик жив-здоров, то чего его жалеть-то? А русская баба — она такая, без жалости жить не может, ей подавай горемыку разнесчастного, она над ним век дрожать будет, пылинки сдувать, себя не пожалеет, лишь бы ему добро какое донести.

— Да совсем они не такие, — возразил Фома, — уж я-то их знаю.



— Молчи, коль не понимаешь. Вот поживешь с моё, умишком обзаведешься, тогда, может, и поговорим. А сейчас что ты супротив меня, да еще хворый? Молчал бы в тряпочку, да старых людей слушал, которые всякого повидали и горя по самый краешек хлебнули. Пропали бы давно, не будь рядом баб наших...

Старик покрутил головой, вздыхая, что Фома не желает воспринимать его наставления, а потом, отложив починенную сеть, повернулся к нему и сказал:

— Ты послушай еще, чего тебе вот что скажу... Дня через два наши мужики новые барки, что зимой сработали, в Тобольск на продажу потянут бичевой. Вот ты и просись с ними. Не откажут. Да и я свое словечко замолвлю, меня тут уважают. Глядишь с ними и доберешься до зазнобы своей, а уж там гляди, примет она тебя или обратно выставит.

Фома долго молчал, понимая, что старик прав и податься ему больше некуда, но гордость не позволяла вернуться обратно к Устине в таком вот виде. Вспомнилось, как ушел, не попрощавшись. Но другого выхода у него не было.

Незадолго до праздника Святой Троицы к городской пристани причалили две новенькие барки и несколько мужиков снесли на берег недвижимого Фому, переговорили с одним из возчиков, поджидавших попутчиков, заплатили ему и водрузили на телегу несостоявшегося странника, из глаз которого тонкой струйкой текли слезы. Он умиленно протягивал к своим спасителям руки, благодарил и все повторял:

«Простите, братцы, за грех, что совершил, за него, видать, и заплатился».

«Ладно уж, — отвечали те, — с кем ни бывает... И ты на нас зла не держи, что отходили тебя, а то, глядишь, ничего бы и не случилось...»

«Да что теперь говорить, — сокрушался Фома, — былого не вернуть. Прощайте, авось свидимся».

Мужики ничего не ответили и направились к своим корабликам, а скоро и совсем забыли о том человеке, что случайно попал к ним и едва остался жив. Они и сами, занимаясь опасным промыслом, ходили близ самой смертушки, и не случалось года, чтоб кто-то не утонул, выпав из лодки, а то и замерз зимой на реке. Такая у них рыбацкая доля, потому к случившемуся отнеслись они спокойно

и о Фоме больше не вспоминали, жив мужик, и ладно. А там как сложится...

Когда перед Устиньиным домом остановилась телега и кто-то постучал ей в ворота, то сердце у нее ёкнуло, и, еще ничего не зная, она поняла: с Фомой что-то случилось. И что есть мочи бросилась бежать на стук, распахнула калитку, увидела его лежащим на телеге и, ни слова не говоря, начала открывать обе створки тяжелых ворот, приказав конюху подъезжать ближе к крыльцу. Вдвоем они втащили Фому в дом, уложили на ту самую лежанку, с которой он совсем недавно встал и ушел ранним весенним утром под пение птиц. А когда возчик ушел, то Устинья опустилась на колени перед иконами и, перекрестившись, с едва заметной улыбкой проговорила:

— Видать, услышал Господь молитвы мои. Вернул тебя... Видать, судьба наша такая. Значит, и дальше жить будем...

\* \* \*

Похоронив отца, Глафира еще долго не могла прийти в себя после пережитого, а потом вдруг словно стряхнула с себя опутавшую ее смертельными щупальцами болезнь и неожиданно пошла на поправку. Он стала чаще выбираться во двор, где садилась на лежащую на двух чурбаках дощечку и блаженно подставляла свое исхудавшее лицо солнечным лучикам. Но вот улыбнуться у нее все равно не получалось, видимо, слишком близко прошла смерть рядом с ней, опалив душу своим холодным прикосновением, и не давала ей до конца оттаять, стать прежней.

После долгих раздумий она решила, что станет, как и отец, заниматься рыбной ловлей, да и грех было бросать этот промысел, коль во дворе стоит рыбацкий челнок, а рядом легонькие весла, на чердаке развешаны самодельные сети — бери и рыбачь. Тем более отец постоянно брал ее с собой, и она знала, где и в какое время года лучше всего ставить сети. Единственное, что она не умела делать — это смолить лодку, чем всегда занимался сам отец. Пришлось опять приглашать Якова, который хоть и дал зарок не заниматься поделкой гробов, но для ее отца по старой памяти сделал, а также крест, да и помогал могилу копать вместе с другими слободскими мужиками. Она с трудом дошла до его дома, где он в задумчивости сидел на березовой чурке и разглядывал принесенную откуда-то корягу, словно пытался увидеть там что-то, не доступное понимания для других.

Глафира поздоровалась, но он лишь кивнул в ответ, видимо, недовольный ее приходом, спросил сквозь зубы:

— Чего заглянула, по делам али так просто?

— А ты угадай, зачем заявила, ты ж наперед всегда все знаешь, вот и ответь.

— Только осталось, что гадать, чего ко мне во двор чужая баба пришла. Не иначе как опять поделку какую требовать станешь.

— Считай, что так, — ответила Глафира, — решила рыбки половить. Что скажешь?

Яков повернулся к ней лицом и удивленно взглянул, словно не поверил ее словам:

— Впервые слышу, чтобы баба рыбу ловила, это тебе не горшки в печь сажать, тут особая сметка нужна, да и... — Он покрутил головой. — Опасное это дело на воде одной оставаться.

Глафира подошла к нему поближе и тряхнула Яшку за плечо, развернув с силой к себе. Потом, глядя прямо ему в глаза, медленно произнесла:

— Знаешь, после того, что я в эту зиму пережила, смерть поджидаячи, мне теперь ничего не страшно. Могло бы ведь так случиться, что пришлось тебе, Яшенька, два гроба делать под одну могилку. А вот ведь, выкарабкалась как-то, значит, надо дальше жить, заниматься чем-то. А что я умею? Ну, приготовить, ну, сварить что, в доме прибрать, пока отец жив был, занятие какое-никакое всегда ждало, а теперь... А теперь тоска грызет. Да и питаться чем-то надо, как без того. Так что прямая мне дорога на реку. Я на ней выросла, с отцом вместе на утреннюю зорьку вставала, всякого насмотрелась... Да и чего мне теперь бояться, коль так на роду написано? Будь, что будет... Не все ли равно, где деньки свои доживать: на земле или на реке...

— Да, лихая ты баба, других таких наверняка не сыщешь, — отвечал Яков, вставая. — Чем я тебе подсобить-то могу? Сказывай... Только на реку не зови, я воды с детства боюсь, ни разочка даже не купался. Страшно...

— Да на реке я сама управлюсь, не бойсь. А пока что есть заделье небольшое, вот там твоя помощь нужна. Лодку просмолить поможешь?

Яков запустил пятерню под шапку, почесал голову, посмотрел зачем-то на небо, потом по сторонам и, не глядя в глаза Глафире, ответил:

— Не, за такую работу браться не стану. Одно дело — покойнику домовину сколотить, ежели в чем ошибусь, он не обидится. А вот ежели лодку худо просмолю, а ты потом потонешь, то совсем другое дело... Не-е-е, не возьмусь...

Глафира громко захохотала, Яков даже отодвинулся от нее на шаг, не понимая причины неожиданного веселья.

— Так ежели я утону, тоже никак свою обиду тебе не передам, чего ж тут бояться? И даже гроб ладить не понадобится, тебе же проще!

— Как не бояться, — не согласился с ней Яков. — Покойники, они, говорят, по ночам снятся, а то и в гости пожаловать могут. Боюсь я утопленников, они к себе манят, а мне еще пожить хочется.

Глафира решительно повела плечами, запахнула свою шубейку и направилась к калитке, обронив на ходу:

— Не станешь, и ладно, спущу лодку такой, как она есть. А вот ежели при этом потону, то вся вина на тебя как раз и ляжет. Сейчас еще к подружкам своим загляну и расскажу, как ты взъерепенился и отказал мне в такой малости.

Она уже было открыла калитку, но на Яшку, видно, подействовали ее слова, и он кинулся за ней вслед, остановил:

— Да погодь ты, дай подумать. Скажи лучше, от отца осталось что, чем он свой баркас по весне смолил?

— Да что-то стоит в сених, в кадушке: то ли дёготь, а может, и смола... Точно знаю. А как ее в дело пустить, то мне неизвестно...

— Ладно, пошли, однако, гляну, что там у тебя. Но учти, если что не так, на меня обиду не держи, я тебе сразу говорил, не мое это занятие.

— Да больно ты мне нужен, обиду держать, — фыркнула Глашка. — Исполни все как надо, на том и все дела...

Вернувшись обратно, Глафира указала на стоящий в сених весь покрытый каплями смолы бочонок, и Яшка одобрительно хмыкнул, сбив с него крышку:

— Вроде то, что требуется, глядишь, справлюсь с твоей бедой.

Он выкатил бочонок на полянку и принялся разводить небольшой костерок, а Глафиру отправил сходить к нему на двор, набрать лежащей под навесом пакли и захватить стоящий на крыльце плотницкий топорик. Когда она все это принесла, Яшка уже суетился

вокруг лодки, проверяя тонкой щепкой пазы и щели в корпусе, об-  
разовавшиеся за зиму.

— Да, поусохла лодченка за зиму, ну ничего, дело поправимое, исправим все.

И точно, к вечеру он закончил свою работу и зашел в дом, где Глафира отлеживалась от не привычных ей забот, неокрепший еще до конца организм давал себя знать, она побледнела, на лбу выступил пот, но Яшка, словно не замечая ее усталости, весело заявил:

— Все, хозяйюшка, принимай работу и расчет сразу давай.

— А что мне ее смотреть, ты, Яша, свое дело знаешь, а я все равно мало чего понимаю. А вот насчет расчета извини великодушно, пока что нечем тебя отблагодарить...

— Как это нечем, поди, с отцовских поминок чего осталось.

— Может, и осталось, — отвечала Глафира, поднимаясь с лавки, — только боюсь, как бы твоя Капка мне глаза не выцарапала за угощение это.

— Да не бойсь ты, она ничегошеньки о том не узнает, не таковский я человек, чтоб обо всех своих делах рассказывать.

Допив остатки перестоявшей браги, Яшка простился с Глафирой и, слегка покачиваясь, побрел домой, радуясь, что провел очередной день не в безделье, как это теперь с ним часто случалось, а хоть в какой, да работе. Он был из той породы русских мужиков, которых работа молодит, а безделье старит. А самое главное, душа требует применения сил своих, без чего жизнь становится скучной, и извечная спутница рода человеческого, печаль, незаметно подкрадывается и подолгу не отпускает. Потому и есть единственное средство от нее — работа всласть, до пота, а чаще всего — до полного изнеможения. Вот тогда мужик словно заново рождается, начинает чувствовать себя чуть ли не Богом на грешной земле и живет дальше, веря, что, пока не перевелась работа и нужны его мастеровые руки, Бог его не оставит, не позволит сгнить и пропасть от безделья...

Видать, Яков хорошо отремонтировал лодку, потому как, когда Глафира с помощью других мужиков спустила ее на воду, залезла внутрь, оттолкнулась веслом и поплыла, то ни единой речной капельки не просочилось через днище. И она смело погребла против течения, нашла тихую заводь, выметала сеть, привязала ее к свисающим над водой кустам тальника, а сама, сделав круг, выбралась на берег и стала ждать.

Трава только пробивалась на верхушках болотных кочек, рядом летал толстый шмель, выискивая себе капельки нектара, чуть выше сновали ласточки, не замечая лежащую в траве женщину, и от этой тишины, суеты живых существ по телу у нее разлилась такая животительная сила, словно она заново родилась и к ней вернулись ее молодые годы.

Пролежав так до захода солнца, она опять спустила лодку на воду, в несколько гребков добралась до своей снасти и начала ее выбирать. Первый ее улов, словно Бог благоволил ей и в этом деле, оказался на редкость богатым: в сетке застряли два здоровенных язя, несколько молодых щучек и с десятков ершей. Дрожащими руками она выбрала их, кинула на дно лодки и вновь опустила сеть в воду. Плыть обратно по течению было легко и свободно, и она быстрехонько добралась до того места, где все рыбаки крепили свои лодки. Спрыгнув на землю, слегка подтащила свою лодочку к берегу, на большее не хватило сил, и, быстренько собрав еще трепещущую в руках рыбу в корзинку, помчалась домой. Там она растопила очаг, почистила ершей, а что осталось, присыпала толстым слоем соли. После чего, уставшая и не перестающая улыбаться, присела возле разгоревшейся печи и, смотря на огонь, думала: «Неужели это и есть моя жизнь, которой я раньше не знала? Почему до того совсем не ценила ее, искала счастья где-то на стороне, а оно, оказывается, вот здесь, рядом, стоит лишь протянуть руку».

Впервые в эту ночь она уснула легко и быстро, и ей почему-то приснились белые лебеди, летящие над рекой, и, пролетая над ней, они кричали: «Гла-гла-фира, Гла-гла-летим». И она во сне почувствовала, как поднимается вверх, пристраивается к стае и парит над землей, словно птица небесная, а все ее несчастья и беды остались где-то далеко позади.

\* \* \*

Яков Плотников, помогший направить лодку для Глафиры, придя домой, заявил жене, что дальнейших заработков у него не предвидится, поскольку местный народец совсем обезденежил, а потому он не знает, как вести свое небольшое хозяйство дальше. Капитолина молча выслушала его и, ни слова не ответив, ушла на кухню, чему Яков оказался несказанно рад, и пошел в свою мастерскую, где он втайне от нее начал резать очередного истукана. Его давно одолевало

желание вернуться к своему любимому занятию и вырезать людские лики, запрещенные православной церковью, поскольку все они напоминали языческих истуканов, когда-то давным-давно сброшенных князем Владимиром в бурные воды Днепра.

Вряд ли Яков знал о тех давних событиях и не видел в своей задумке большого греха. Он мечтал вытесать из толстого кедрового ствола фигуру старика, смотрящего на мир отрешенно и недоверчиво, как это делал сам Яков последнее время. К нему вновь вернулся разлад со всеми, кто жил рядом с ним. Он перестал здороваться с соседями, ни к кому не заходил в гости, хотя, бывало, кто-то и приглашал его на крестины или очередную свадьбу, справляемую в слободке. Обиженные таким невниманием слободчане отплатили ему той же монетой и перестали обращаться с небольшими заказами, на выручку от которых он раньше и жил.

Но Якова перестало волновать охлаждение к нему окружающих, он весь был поглощен мыслью о том, как вырежет из цельного ствола что-то такое, чего раньше никто в жизни не видел, и тем несказанно удивит всех. Пока же ему хватало общения с покойной матерью, которая вновь стала являлась к нему, когда он в полном одиночестве закрывался в своей мастерской.

— Скажи, матушка, почему мир так несправедливо устроен? — спрашивал он ее.

— То, Яшенька, Господь Бог так распорядился, за грехи наши, за дурные дела и мысли. Ты вот сошелся со своей Капитолиной, а венчаться не захотел, вот Господь и отвернулся от тебя.

— Не верю я ни попам, ни венчанию, обман все это...

— Ну как же, миленький, обман, заведено так. Коль женщину ввел в дом, то женись, иначе нельзя... — слышался ему тихий голос матери.

— Придумки это все, вон, сколько людей живут то с одной, то с другой бабой, и все им ничего за то не делается. Почему их тогда Господь не наказывает?

— То нам, Яшенька, знать не дано. Жизнь она долгая, не на них, так на детках их скажется, проверено уже. Ты вот в церковь ходить перестал, ото всех отвернулся, потому и опечалился. Зачем опять Бога гневишь, непонятно какого черта резать начал? — вкрадчиво спрашивала его мать, на что Яков начинал сердиться и со злобой отвечал:

— И ты меня понять не хочешь! Совсем я один теперича остался... Не черта я режу, а человека, хочу чтобы он у меня будто бы живой получился. А ты все портишь речами своими. Уходи, не хочу больше говорить!

Образ матери тут же исчезал, и Яшка с остервенением брался за стамеску, начинал рубить дальше, обрисовывая контур головы, кустистой бороды до пояса и узловатые пальцы рук, прижатые к груди. При этом он начинал беседовать со стариком, выпытывал, как того зовут, смеялся, поскольку тот не отвечал, и все спрашивал его:

— Ну, чего, дедуся, помалкиваешь? Признавайся, как тебя наречем? Вакулой? Нилом? Или Николой?

Обрамяв контуры лица, он первым делом принялся вырезать глаза, после того — нос, плотно сжатые губы, и постепенно из куска дерева и впрямь стало проглядывать суровое старческое лицо, кого-то напоминавшее Якову. Своего родного деда он не помнил, поскольку умер тот, когда Яшка был совсем маленький. А когда он чуть подрос, то отец, как ушел на заработки, так и не вернулся... И лицо его в Яшкиной памяти со временем размылось... И встретить он его сейчас, будь тот живой, вряд ли бы узнал, прошел мимо, и ничего внутри у него не дрогнуло, сердце не подало весточку об их родстве...

Но это его ничуть не тяготило, поскольку материнская любовь грела его с достатком, и, проживи мать чуть дольше, не уйди на старости лет в монастырь, может, Яшка и впрямь по ее желанию выбрал бы себе невесту, и нарожали бы они детей и жили, как все. А оставшись один, он вдруг растерялся и, не зная, к кому преклониться, все ждал, что рано или поздно встретит свою суженую, чем-то похожую на мать. Пусть не лицом, то своей заботой и лаской. Но сколько женщин он ни встречал, с кем ни начинал заводить разговор, натывался на отчужденность, непонимание, а то и вовсе насмешки, отчего сердце его каменело, и он уже перестал ждать ту, кто будет ему мила и станет опорой в жизни

Здесь, в Сибири, жившая какое-то время с ним шустрая бабенка не выдержала его молчаливой угрюмости, ушла, и он какое-то время искренне радовался, обретая свободу. Но прошло какое-то время, и одиночество стало разъедать его, словно ржа железо. И тогда он обращался к матери, разговаривал с ней, как с живой, просил у ней совета, помощи. Но, случалось, как в этот раз, что она не понимала его. Тогда он злобился, не слушал ее советы и уходил в свой мир, где



жили какие-то неведомые ему существа, не дающие ему успокоиться, заняться каким-то делом, а все шепчущие: «Ты, Яшенька, великий умелец, только люди того не ценят. Ну и плюнь на них, живи как есть, занимайся чем хочешь...»

Такие речи были Яшке приятны. Он оживал на какое-то время, кидался чего-то вырезать, а то и принимал небольшой заказ, но выполнял его с неохотой, стараясь побыстрее отделаться. А потом опять пытался резать лица, фигуры, зверюшек, но людям показывать боялся, знал, засмеют, начнут на улице пальцами показывать и скрывал от них свои поделки.

Поначалу он уносил их в лес, подальше от людных троп, где развешивал по деревьям, а потом и вовсе стал отпускать по реке, словно птицу выпускал из клетки, и долго смотрел, как изделия рук его колышутся на волне и уплывают от своего хозяина, обретая свободу.

Только вот он сам обрести свою собственную свободу никак не мог, сколько ни пытался отгородиться от людей. И в последний раз чуть не помер, когда, забыв о еде и сне, спал в обнимку со своим истуканом. Тогда случайно зашедшая к нему Капитолина спасла его, выходила, и они стали жить, без особой любви, словно посаженные рядом два дерева, что не могут ветками своими дотянуться одно до другого. То была не любовь, а совсем что-то на нее не похожее, поскольку радости меж них от совместной жизни совсем никакой не рождалось. Зато зимними вечерами, когда город заносило снегом и где-то близехонько, возле крайних изб, начинали выть волки, они могли подолгу лежать друг возле друга, не обмолвясь ни единым словечком. И каждый думал о чем-то своем, боясь открыть думы свои другому.

Яшка знал, Капитолина не одобряет его поделки, считая их пустой тратой времени. Сама она вязала сети для местных рыбаков, продавала, на что они и жили. Она ни разу не обвинила его хоть в чем-то, но уж лучше бы накричала, выбранила, чем вот так, молчаливо осуждать, не говоря ни словечка.

«Видать, никогда мне не встретить такой, как моя мать, — думал он. — Она принимала все, чем бы я ни занимался, и никогда не ругала меня. А если что не так, то просто садилась и тихо плакала. И тогда я все понимал, садился рядом и плакал вместе с ней, давал слово исправиться, а потом опять брался за свое. Видимо, она так любила меня, что боялась обидеть плохим словом, а потом и вовсе упростила

отпустить ее в монастырь. А я, дурак, согласился. Вот теперь великий грех лег на меня за мое неуважение к ней, а как его теперь исправить, и не знаю...»

От того, что никто его не понимал, Яшке становилось совсем грустно. Ему стыдно было жить на заработки Капитолины, но он не мог пересилить себя и начать опять делать гробы, сколачивать лавки, выправлять чужие двери или, тем более, рубить срубы, где работали артелью и мужики непрестанно подсмеивались над ним из-за его молчаливой сосредоточенности. Уже не раз пробовал он наняться в артель, куда его звали на заработки. Но обычно на второй день сбегал и больше уже там не показывался.

Он ждал, что рано или поздно Капитолина не выдержит и уйдет от него. Но она оставалась рядом, словно его тень, от которой никуда не денешься. При этом он не испытывал к ней ни злобы, ни любви, потому что она была из другого, чуждого для него, мира, где все думают о чем-то мирском, суетном. А вот его мысли витали среди туманных образов, которые ему так хотелось запечатлеть в дереве, да так, чтоб они стояли, словно живые, и каждого назвать своим именем.

Но даже если у него получится вырезать старика и он будет смотреться как живой, почти как человек, то кому он сможет показать свою работу? Где найти место для нее? Где поставить? Возле храма? Да владыка тут же предаст его анафеме и повелит уничтожить все, что напоминает ему языческих идолов. И никто не заступится, лишь опять посмеются и назовут его ненормальным, а то и хуже — крамольником. Единственный выход — снова унести в лес и там спрятать. Или пустить по реке...

И тут Яков представил могучий сибирский лес, начинавшийся сразу за городом. Там нет людей, которые потешаются над ним. Там полно старых сухих стволов, из которых он может резать свои фигуры. А что некому будет показать, то неважно. Он сам будет любоваться ими, и большего ему не надо. И потому однажды, сложив в мешок свои инструменты и взяв свежее испеченный каравай хлеба, он низко поклонился, смотревшей на его сборы Капитолине и ушел в лес. Там он знал все дорожки, поскольку добывал в тех местах заготовки для своих поделок, а потому шел смело, забираясь все глубже и глубже в чащу. Когда краяха закончилась, он стал собирать ягоды, выкапывал коренья, чему еще в детстве научила его мать, а потому голода не ис-

пытывал. Наконец он вышел на большую поляну, где увидел засохший кедр невероятной толщины и остановился. Он долго вглядывался в корявый ствол умершего дерева и видел в нем женскую фигуру, чем-то напоминающую его мать.

— Вот здесь я и останусь и буду жить один и работать, зная, что никто мне не помешает, не станет насмехаться, и, пока не закончу то, о чем я столько мечтал, обратно не вернусь, — словно клятву проговорил он и начал вынимать инструменты...

\* \* \*

Когда прошла неделя, а Яков все не возвращался, то Капитолина поняла, что он ушел надолго, если не навсегда... То, что он ушел не к женщине, а она бы простила ему такой поступок, поскольку все одно любви меж ними не было, можно было бы понять. На заработки? Тоже вряд ли. Оставалось одно, пошел странствовать, а куда эти странствия могли его завести, гадать можно было сколько угодно, все одно ничего толком не угадаешь. Тогда она пошла в дом к Варваре, потому что с ней они сошлись больше, чем с кем-то из других соседок, и рассказала той о своей горе. Хотя горе-то случилось давно, еще когда она схоронила мужа, а потом из жалости начала жить с Яковом. Но с самого начала знала, вряд ли что у них получится. Так оно и вышло. Уйти первой она тоже не могла, поскольку без нее Яков не протянул бы и месяца. Эта бабья жалость и держала ее рядом с ним, отчего тягостно было обоим. А как изжить, превозмочь эту боль, не знал ни тот, ни другой.

Варвара встретила ее приветливо, пригласила за стол и шепотом сказала:

— Громко говорить нельзя, маленький спит.

Капитолина согласно кивнула и спросила тихонько:

— Растет карапуз? Не балуете хоть его, а то вырастет буян при двух мамках-то.

Варвара широко улыбнулась, вся расцвела и ответила:

— У нас не забалуешь. Там, где Лушка не доглядит, я его перехвачу. Такой бегун стал наш Андрюшенька, все норовит убежать куда-нибудь.

— Это хорошо, парни, они все бежать готовы. Вот и мой сбег... — бесцветным голосом, как-то даже равнодушно, сообщила она об исчезновении Якова.

— Это Яшка, что ли? — вскинула брови Варвара. — Да не может такого быть! Куда ему, бедолаге, идти? Кто ждет? Сгинет один не за медный грош, и поминай как звали.

Капитолина ничего не ответила и продолжала сидеть за столом молча, словно никого рядом с ней не было. Эту свою привычку молчать переломить она никак не могла и порой, начав с кем-то из местных баб разговор, вдруг замолкала на полуслове, словно забыла, что она хотела сказать. Все знали об этом, перемигивались одна с другой, но сказать о том вслух самой Капке, как ее звали в слободке, не решались, боясь обидеть.

Из-за занавески показалась Лукерья, поклонилась, подошла и села рядом:

— Едва уgomонила Андрюшеньку нашего, никак засыпать не хотел, все ему бежать да бежать надо.

— Казак растет, — расплылась в улыбке Варвара, — не иначе казак.

— Скоро Спиридон придет, ужинать сядем, — сообщила Варвара, — оставайся с нами, — глянула она на Капитолину. Но та промолчала, ничего не ответив, и трудно было понять, надумали ли она остаться или, наоборот, собирается уходить.

...Лукерья родила ребенка почти сразу, как они со Спиридоном перебрались на жительство к Варваре. Мальчик родился здоровый, и она до года кормила его грудью, а Варвара где-то доставала молоко, поила ее. Приносила и другие продукты, выменянные на старые припасы, доставшиеся ей от сгинувшего казачка. По ее настоянию мальчика и окрестили Андреем в церкви Андрея Первозванного, срубленной местными казаками неподалеку от монастырской слободы.

У Варвары прибавилось разных хлопот, но она их не замечала, а все делала с радостью, словно жильцы ее были родными и близкими людьми. Спиридон подрабатывал где и как мог, лишь бы накормить жену, чтоб у ней не пропало молоко. Владыка несколько раз передавал ему через игумена Павлиния, чтоб он шел послушником и определялся в дьяконы. Но тот по своей обычной привычке все выслушивал, соглашался, а делал по-своему. Однако владыка не забывал о нем, порой сердился и обещал, что в покое не оставит, пока он не исполнит его желание.

Знавшая об этом Лукерья советовала мужу не перечить владыке, послушаться его и пожить какое-то время в монастыре, а с ребенком она справится сама, да и Варвара в беде не оставит. Спиридон выслушивал ее и тоже соглашался, утром куда-то уходил, а вечером возвращался уставший, с натруженными руками, и ясно было, что не в монастыре поклоны бил, а где-то опять трудился, то ли разгружая рыбные барки, то ли таскал бревна на сплав, но деньги в доме не переводились.

Об одном боялась сказать ему Лукерья, что после родов она никак не могла прийти в себя. Внутри постоянно что-то жгло, горело, и какие только травы она ни пила, ничего не помогало. Пока кормила ребеночка грудью, боль была терпима, а как начала отучать, то боль разыгралась с новой силой, и она боялась, как бы не случилось чего худого и как бы Спиридонушка ее не остался вдвоем с сыном.

Спиридон вроде бы догадывался о ее болезни, но заговорить стеснялся по извечной своей скромности, ждал, когда она скажет сама. Лишь Варвара, которой Лукерья рассказывала обо всем, переживала и за того, и за другого. Сказала о том Устинье, и та пригласила знакомую знахарку лечить больную. Но, видать, знахарка была неопытная, или не по ее части болезнь, и лучше больной не становилось. Лукерья часто думала, зря они не дождались возвращения владыки, не получили его благословения, а отсюда и все беды. Может, потому и Спиридон не шел в монастырь, желая оставаться поближе к жене и в случае чего помочь, поддержать, но сам понимал, помощь его вряд ли пойдет на пользу. Поэтому все жили в тягостном ожидании, но как могли скрывали это как от других, так и от самих себя, стараясь не думать о страшном.

Капитолина, немного посидев и ничего не сказав, даже не простившись, ушла. Она брела по тихой слободской улочке, поглядывая на светящиеся оконца соседских домов, и думала: «Худо-бедно, а у всех жизнь как-то сложилась. Отчего у меня одной она наперекосяк легла? За какие такие мои грехи?»

Если бы она знала, то почти все слободские бабы, включая начавшую оживать Глафиру, думали примерно так же, что их всех и объединяло. И не желая показывать горе свое перед другими, все старались держаться теснее друг к другу, как бредут в поисках подаяния слепые калеки, держась друг за дружку, чтоб не уйти в сторону или не упасть в канаву, которых на жизненном пути встречается немеряно...

\* \* \*

Ибо Я знаю,  
как многочисленны преступления ваши  
и как тяжки грехи ваши: вы враги правого,  
берете взятки и извращаете в суде дела бедных.

*Ам. 5, 12*

Если монастырская слобода жила своей внешне незаметной, напряженной жизнью, где в каждом доме приютились свое собственное горе и редко посещавшая жильцов радость, то архиерейский двор был единым организмом, и любой его служитель зависел от настроения, в котором пребывал непосредственный их начальник и господин — архиепископ Симеон. А настроение его после возвращения из столицы не предвещало ничего хорошего не только ближним людям, подле него обитавшим, но и мелким служителям, поскольку за каждым он находил вины большие или малые. Да и как не найти, если тот же сад фруктовый, прежде ухоженный и опрятный, останься он хоть на недельку без пригляда садовника, зарастает сорной травой, тут же налетят на него разные насекомые: тля, гусеницы зловредные, после чего перестает он плодоносить и все прежние труды людские пойдут прахом.

Так и хозяйство епархиальное пришло в великий упадок и запустение. Ладно хозяйство, то дело поправимое, а вот народец, интересно всякой работе потерявший, привыкший бездельем маяться и абы как дело делать, то беда великая. И владыка, понимавший, откуда то нерадение пошло, в который раз пожалел, что когда-то послушался своих знакомцев, присоветовавших ему взять на место епархиального дьяка Ивана Струну. Вот уж за кем нужен был глаз да глаз и днем и ночью. Привыкший ужом вертеться и втайне делишки грязные вершить, оказался он для владыки если не врагом, то первым вредителем. Через него и раздрай пошел, людей распустил, писцы и приставы от рук отбились, а в результате встала вся переписка с дальними и ближними приходами, бумаги и грамоты не разобранные по углам кипами лежат, паутиной поросли, плесенью подернулись. Куда ни глянь, а везде непорядок!

Но главней всех прочих бед было великое воровство, обнаруженное владыкой едва ли не в первый день после возвращения. И ведь Струна, подлец этакий, о чем его ни спросишь, всему объяснение

находил: то на корма для скотины ушло, это — на жалование писцам и прочим ярыжкам, а все остальное будто бы на прокорм прислуги и служителей. Мол, цены поднялись, приходилось все втридорога покупать. И на все у него расписочки от торговых людей имеются, в одну стопу суровой ниткой подшитые и печатью скрепленные. Не подкопаться! Да на эти деньги можно полк стрелецкий прокормить, а не то что десяток трудников, непонятно чем все это время заня-тых...

— Ладно, — спрашивает владыка своего дьяка, — а куда из-под замка собранные с доброхотов подношения подевались, что на постройку монастыря Ивановского пойти должны были?

— Не могу знать, ваше высокопреосвященство, — не моргнув глазом тот отвечает, — ключ у эконома от кладовой, с него и требуйте.

Вызвали эконома, а тот морду в сторону воротит, в глаза не глядит, божится, что обронил ключ от кладовой, а кто-то, видать, подобрал его и вынес все...

— Когда же это он вынес все, злодей тот? Ночью: так стража кругом стоит. А днем народ ходит... Не ты ли ему помогал?

— Как можно такое думать?! Да чтоб я копеечку для себя взял... — чуть не дурным голосом кричит эконом на обвинение такое, ухвати его медведь за холку, все одно вывернется.

— А куда мое дорогое облачение ушло? На какие такие нужды понадобилось? — опять владыка их двоих пытается. — Хватился, а ни фелони бархатной, на которой золотом райские цветы искусной работы шиты, ни епитрахили из камки заморской, ни пояса с набедренником, отороченных шитьем серебряным нет на месте. Лишь грязная в дырах туника, откуда-то принесенная, висит, словно в насмешку мне. Где все?!

Молчат оба, не знают, чего ответить. Владыка забыл про митру спросить, на которой, как ему показалось, драгоценные камни подменены на стекляшки барахляные. Жаль, особо глядеть не стал, а то бы вконец в оторопь впал...

Потому, узнавши обо всем этом, архиепископ начал вынашивать мысль, как бы наказать примерно дьяка своего и спровадить куда подальше. Но разгоряченный обидой, ему нанесенной, решить сразу ничего не мог. Думал и так и эдак, но до конца ничего так и не решил.

А как-то вечером вернулся из города Анисим, келейник его, с новым известием о прегрешениях Ивана Струны, выслушав которое,

владыка весь гневом налил. Хотел было потребовать того сразу к себе, да поостыл, решил переждать чуть. А переждав, пригласить верного человека в помощники себе для разговора с дьяком и, на том отпустив Анисима, повелел молчать. Оставшись один, он долго думал, кого звать в помощники себе. Куда ни глянь, а верных людей и нет вокруг. Все только на страхе и держится...

А ошибиться тут никак нельзя было, уж больно дело щекотливое, можно и так и этак повернуть. Ежели дашь промашку, то ведь опять вывернется Струна, уйдет из его рук без наказания. И в конце концов решил владыка призвать протопопа Аввакума, который, как он знал, за подобные прегрешения никому спуска не давал и будет и на своем до конца стоять. К тому же, после того как он собственноручно выпорол Струну прямо посереде храма, то протопопу подручные Струны крепко за то отомстить хотели. Да не вышло у них дело то. Потому и остановился владыка именно на Аввакуме, призвав его в помощники в серьезном деле судить церковным судом своего дьяка, ставшего ему с некоторых пор ненавистным.

\* \* \*

Аввакум, как и многие, был в курсе тех дел, что происходили после возвращения архиепископа Симеона обратно в город. Как он и ожидал, владыка опытным глазом заметил все нелады, что творились в его отсутствие, и теперь выискивал виновных, пытаясь навести порядок в запущенных делах. Зная по своему опыту, что сейчас лучше к нему не показываться, он выжидал, когда владыка позовет его сам, и старался не попасться ему на глаза. К тому же прошел слух, будто бы за Иваном Васильевичем Струной вскрылось страшное прегрешение, совершенное им за немалые деньги, взятые с одного тобольского торгового человека. И даже называли имя того. Аввакуму он был известен. То был купец Самсонов, чей украденный поросенок в канун Рождества оказался непонятно откуда у него в сенях.

«Вот уж точно, Бог шельму метит, — усмехался Аввакум, — нечистый знает, куда заявиться, кого к себе подманить. И ведь неслучайно именно ко мне этот поросенок попал, хорошо сделал, что избавился от него, а то греха не оберешься».

...Как-то на Софийском дворе Аввакум встретился с Устиньей, и хотя она его особо не жаловала, считая, что все, кто прибыл из Мо-



сквы, люди не их склада, но нет-нет да решалась обмолвиться с ним словечком, так и сейчас, встретив его, она подошла под благословение, а потом, тяжело дыша, видать, кухонная работа давала себя знать, да и годков ей уже перевалило за полсотни, негромко спросила:

— Слыхали, батюшка, какие дела у нас творятся?

— А что за дела? Архиерейская кобыла родила? — попытался он отделаться шуткой. — Так опять же прибыль в хозяйстве владыки нашего.

Но Устинья шутку не приняла, а, облизнув сухие губы, назидательно заявила:

— Вот когда-нибудь точно, батюшка, за шутки свои лукавые пострадаешь. И знать не будешь, откуда на тебя беда навалится. Я вам хотела открыться, будто на исповеди, вы же лицо священное, умеете тайны хранить, а теперь вот передумала... — И она было повернулась, сделав вид, что уходит.

Но Аввакум обошел ее с другой стороны, положил руку на плечо, остановил и примирительно сказал:

— Ладно тебе, матушка, обижаться на меня, грешного. Не могу без шутки да прибаутки разговора начинать. И так кругом печаль да кручина, как не пошутить?

— Говорю тебя, не доведут до добра шутки эти, да и не понимаю я их, а дело-то у нас вышло как раз нешутейное. И чем оно закончится, никому не известно...

— Это ты про купца Самсонова, что ли? — спросил Аввакум. — Так он с дяком архиерейским в больших ладах состоит, поскольку вместе торговые дела ведут. И что с того? За руку его никто не поймал, побоятся супротив идти. Знаешь, поди, как я от удалцов его пострадал.

— Слышала, батюшка, слышала... Так Бог милостив, отстояли тебя казаки, вот Струна и присмирел. А тут такое открылось, ему и вовсе не до тебя стало, — таинственно сообщила она.

— Слушай, матушка, не томи: или говори как есть, или пойдем каждый своей дорогой.

— Хорошо, так и быть, расскажу то, что сама слышала. Говорили мне знающие люди, будто бы жена того купчины, Самсонова, к самому Семушке нашему заявила и там горько рыдала, волосы на себе рвала, едва ее успокоили. Я потом еще ее отварами разными отпаивала.

— Что ж у нее за горе такое? — заинтересованно спросил Аввакум. — Вроде никто среди них не помер, в остроге не сидит. С чего же она так сокрушается?

— А как тут не сокрушаться, когда отец на родную дочь покусился и блуд с ней творит, о чем всем сразу известно стало.

— Не может такого быть, — отпрянул от нее Аввакум, — ни за что не поверю. Ему уж годков, поди, как тебе, седой весь, неужто его на старости лет на этакий страшный грех потянуло?

— Видать, нечистый попутал. Среди мужиков такое водится, мне ли не знать. — И она жеманно повела плечами, глаза у нее умаслились, то ли от сожалений, то ли от воспоминаний о былых собственных грехах. Но Аввакум сделал вид, что ужимок ее не заметил, и широко перекрестился на кресты ближайшего храма. А в голове у него молоточками, словно выстукивал кто, звучало: «Грех-то какой, великий грех...»

— И что владыка? — спросил он, — призывал негодника к ответу?

— А как его призовешь, когда он нашему Ивану Васильевичу, видать, немалое подношение сделал. А тот повелел батюшке Григорию исповедь у него принять и причастить. Получается, греховодник этот покался и чист перед Богом. Такие вот дела, батюшка...

— Так надо Струну этого за жабры брать и судом судить за дела его пакостные. Он и есть виновник содеянного, пускай ответ держит.

Сказав все это, он изучающе посмотрел на Устинью, которая как-то странно отзывалась на его слова.

— Что не так говорю? Владыка чего решил, как обо всем том узнал?

— Откуда ж мне знать! Я пирогами да щами заведу, владыка со мной по делам таким не советуется, не докладывается, — скорчив гримасу, с издевкой в голосе отвечала она. — Думала, может, ты, батюшка, расскажешь чего. А ты вон сам, словно вчера родился, ни о чем не слыхивал, ничего не ведаешь, да и знать не желаешь... Чего тут скажешь?

— Да не был я покамест у владыки, — отвечал ей Аввакум. — Чего наобум идти, коль не приглашают. — Потом, чуть подумав, добавил: — Говорят, грозен нынче владыка не в меру... Будто бы хватился казны своей архиерейской, которую в ризнице соборной под запором оставлял, а там пусто. Исчезли денежки непонятно куда, словно

мыши или моль их начисто подъели. Да в келье у него были дары, собранные на монастырь Ивановский. Были да куда-то сплыли. Вот сама и посуди, до меня ли ему? Потому и не спешу, а как понадобится, сам призовет...

Устинья дослушала его, ничего не ответила, в душе сожалея, что ничего нового для себя не узнала. Потом поправила прядку выбившихся из-под платка волос, уже начавших сесть, аккуратно упрятала их обратно, кивнула, прощаясь, и, как бы нехотя, проговорила:

— Ну, пойду я, однако... Как будешь у нас, загляни ко мне на кухню, угощу чем вкусным, пирогами попотчую... А мне уже пора, обеденный час скоро...

С этими словами она, тяжело ступая, неторопливо пошла дальше. Аввакум же так и остался стоять, глядя на кресты Святой Софии, которые будто бы упирались в затянутое тучами небо, не давая ему до конца опуститься на землю

\* \* \*

...И действительно, не прошло и недели, как архиепископ, разобравшись с первоочередными делами, нагнал страху и выместил свой скопившийся гнев на тех, кто случайно попадал ему под руку. Все приказные и приставы попрятались или разбежались по якобы срочным делам, боясь в очередной раз попасться на глаза мечущего гром и молнии начальника. Лишь тогда, слегка успокоившись, архиепископ Симеон решил, пришла пора вершить правый суд над главным виновником всех постигших его бед, архиерейским дьяком, но, не полагаясь в сем сложном деле лишь на свои собственные силы, велел призвать в помощники опытного в подобных делах протопопа Аввакума. Уж кто-то, а он-то умел самую малую вину людскую обратить в грех наипервейший и так все повернуть, что провинившемуся одна дорога после того останется: или каяться всенародно и слезно или из города вон бежать безоглядно.

Когда протопоп явился под грозные очи архиепископа, тот сидел нахохлившись на своем резном с высоким подголовником кресле и медленно перебирал в руках сделанные из рыбьего зуба четки. Он изучающе глянул из-под седых бровей на Аввакума и глазами указал ему на стоящую у стены скамью.

— С возвращением вас, ваше высокопреосвященство, — низко поклонился тот, не спеша присаживаться, ожидая, что владыка под-

нимется навстречу ему. Но Симеон вместо этого, так и не поднявшись с кресла, спросил:

— Ну, рассказывай, как тут без меня суд вершил над людьми моими?

Но Аввакум не растерялся, поскольку ждал этого вопроса, а потому довольно дерзко ответил:

— Если хозяин в отъезде, то слуга его должен порядок в доме блюсти неукоснительно. Как без этого? Знаю, донесли уже обо всем... Да я оправдания себе не ищу, судите, коль виновен. — И он низко склонил голову, словно подставлял ее для удара.

— Да сядь ты, не засти свет и без тебя в глазах рябит, — махнул в его сторону владыка, после чего Аввакум все же уселся на лавку, понимая, что отчитывать его архиепископ не собирается, а позвал по какому-то другому, более важному, делу.

— Как же не знать о деяниях твоих, — продолжил тот, — когда сам патриарх меня к себе призвал и зачитал челобитные от разных людей с жалобами на тебя, батюшка Аввакум, любезный ты мой, — с ехидцей сообщил он. — Так что мне еще с самой Москвы все о твоих похождениях известно. Так-то вот...

У Аввакума стало как-то нехорошо на душе, он догадался, что не привез владыка долгожданного прощения, чего он так ждал. А, значит, куковать ему в этом распроклятом городе еще неизвестно сколько. К тому же он никак не ожидал, что местный народец столь злопамятен: и мало того, что чуть не лишили его жизни, а еще и извед самому Никону направили.

— И что же еще патриарх наш рассказывал? — спросил он осторожно.

— Святейший патриарх велел держать тебе в строгости, воли не давать и следить, чтоб ты здесь какой распри не учинил.

— Учинишь тут, как же, — горестно хмыкнул Аввакум. — Везде одни доносчики и недруги, словно сговорились со света меня сжить.

— Ты, сын мой, напраслину на людей не возводи. Народец этот мне это хорошо известен. Они хоть и держат себя дерзко, но лишнего на человека говорить не станут. А уж коль дело до челобитных дошло, видать, больно насолил ты им. Так что пеняй на себя и сибирский народ к тому не приплетай. Глас народа... сам знаешь, как дальше...

Пока владыка говорил все это, Аввакум внимательно смотрел на него и дивился той перемене, которая произошла с архиепископом. Это был уже не прежний человек, относящийся с сочувствием к изгнаннику и во многом соглашавшийся с его взглядами. Видно, был он обласкан патриархом, а потому держался по отношению к Аввакуму свысока и даже снисходительно, словно с нашкодившим пастушком, загнавшим коров на чужое пастбище. Не было прежней теплоты в его голосе, а скорее, наоборот, сквозили холодность и желание поскорее закончить разговор.

«Куда же мне теперь деваться? К кому обратиться? — сокрушенно подумал Аввакум. — Воевода меня видеть не желает, владыка разговаривает сквозь зубы, а народец местный только и мечтает, как бы побольнее донять. В самом деле, хоть головой в прорубь. Нет, не дождетесь этого! Не поддамся! Правда на моей стороне!»

И он яростно сверкнул глазами и спросил владыку:

— Чем же, ваше преосвященство, патриарх вас так умаслил, что вы все простить ему изволили? Может, пообещал к себе приблизить? Так не верьте ему, не таков он. Люди для него, что грибы в лесу — как проголодается, так собирать идет, а коль сыт, то мигом забудет о посулах своих. Верить ему никак нельзя, то по себе знаю.

Владыка никак не ожидал подобных речей и даже чуть растерялся от брошенного ему в глаза обвинения, но потом вдруг широко улыбнулся и успокаивающе произнес:

— Не горячись, остынь, сын мой. Тебе ли меня учить. Я поболее твоего на свете пожил и повидал всякое. Потому знаю цену обещаниям. В одном ты прав, на редкость любезен патриарх наш святейший со мной был, задабривал всячески поначалу, но потом, после челобитных этих, он меня к ответу призвал за то, что попустительствую тебе...

— И что же? — с удивлением спросил Аввакум.

— Обещал от службы отрешить, если вновь жалобы получать от прихожан наших станет

— Вот оно, значит, как? — хмыкнул Аввакум. — Выходит, обещал и на вас, ваше преосвященство, Никон опалу наложить?

— Именно так, — усмехнулся владыка.

— Видит Бог, не хотел эдак удружить вам. Что сказать тут, даже не знаю...

— А ничего говорить и не надо, — спокойно произнес владыка, — и так все ясно. Будем жить дальше, словно ничего и не случилось.

Я тебе вот что поведать хочу: в Москве язва моровая началась летом. Мрут люди, словно мухи. Сам я укрылся в одной заимке монастырской за городом. Царь с царицей с Москвы съехали и тоже в дальние имения отбыли.

— А Никон что? — поинтересовался Аввакум. — Так в Москве и остался? Неужто не убоился кары Божьей?

— Да нет, тоже куда-то в северные монастыри подался... Говорили мне, что кое-кого из царских детей с собой взял. Для чего только, не пойму.

— Вот она, кара небесная! — запальчиво воскликнул Аввакум. — За все новины никоновские на народ пала. Только людишки, видать, не поняли еще что к чему, не разобрались, отчего смерть к ним совсем близехонько подступила. Эх, жаль, нет меня там, я бы им все разъяснил, и полетел бы тогда патриарх наш разлюбезный со своего тепленького места вверх тормашками. Эх, жаль!

Архиепископ Симеон не сводил глаз с оживившегося протопопа, представив его во главе толпы, громящей патриаршие покои.

«А ведь он может, — подумал он, — народ на приступ повести. Не знаю, кто из них двоих прав, но будь я на месте патриарха, то поступил точно так же, сослал бы этого протопопа куда подальше. Но пока что мое дело — сторона. Не известно, как еще все обернется и кто кого одолеет. Сегодня царь наш к Никону особо не перечит, а как дальше все повернется, то одному Богу известно. Не зря он Аввакума привлекает, интересуется, как он здесь обитается. Может, вскоре изменится все, и вновь призовут Аввакума в царский дворец, тогда, глядишь, он и обо мне вспомнит, поможет в чем. А пока пусть себе поступает как хочет, лишь бы здесь смуту великую не завел».

Аввакум же не знал, то ли ему побыстрее уйти, найдя предлог, то ли подождать, когда владыка отпустит, а потому с нетерпением ждал окончания разговора. Архиепископ тоже находился в растерянности, поскольку хотел посоветоваться с Аввакумом насчет прегрешений архиерейского дьяка, а вместо этого пришлось защищать патриарха, к которому, если честно, он большой любви и уважения не испытывал. Уж больно круто взялся тот за дела. И сам Симеон, будучи в Москве, слышал от разных знакомцев своих, будто бы царь дуже Никоном не доволен за властный характер его, но пока что терпит, ожидая, может, тот одумается, и все обрзается. Но то дела московские, а тут надо свои решать...

Владыка поднялся с кресла и с четками в одной руке, а посохом в другой, слегка им постукивая в такт шагам, прошел туда и обратно по своей светлице. Потом, будто что надумав, вернулся обратно к столу, уютно уселся в кресло, пристроив посох возле себя, и, слегка покашляв, настраиваясь тем самым на другой разговор, неожиданно спросил Аввакума:

— Скажи, батюшка, что б ты сделал с подчиненным своим, ежели тот тяжкий греховный проступок совершил?

Аввакум растерялся, поскольку не ждал такого поворота, но, не задумываясь, тут же ответил:

— То от самого проступка зависит. Ежели небольшой грех, епитимью наложил бы, а ежели чересчур тяжкий, то к вам бы отправил дело решать.

Симеон сразу ничего не сказал, а потом, поняв, что откладывать дело не имеет смысла, рассказал, что ему стало известно о совращении купцом Самсоновым собственной дочери. Аввакум внимательно слушал, а когда владыка закончил, то сообщил:

— И мне о том известно, люди сказывали. Многие не верят, что столь почтенный человек на честь собственного дитяти покусился. Если честно, я тому поначалу не поверил. Но коль и до вас дошло, то дело серьезное, не отмахнешься. Народ вашего решения ждет, иначе роптать начнут. Судить надо его по законам веры православной, уж больно грех тяжек...

— С купцом — ладно, разберемся, никуда он от нас не денется. А вот то, что дьяк мой разлюбезный велел простить ему прегрешение это, а батюшка церковный по его приказу все и выполнил, на это что скажешь?

— Так ведь Струна отопрется от всего, ответит, мол, поклеп на него возвели. Еще и вас обвинит, что зря поклеп на него возводите. Как у нас в народе говорят: мал клоп, да вонюч...

— И я о том же, — кивнул головой владыка, — вот от него главная вонь по всей Сибири и ползет. Только вот, откроюсь тебе, батюшка, потому и не знаю, как за дело взяться, с чего начать и чем закончить. Только уж больно хочется мне так наказать дьявола верткого, чтоб он получил по заслугам, и от службы при особе моей навсегда отрешить.

— Все в ваших силах, владыка. Сказано о том: господин властен осадить слугу своего согласно закону, ни с кем в совет при том не вступая. Вам ли о том не знать?

— Да как не знать, известно мне правило это, но вот что-то не решусь никак, — развел руками владыка, — стар, что ли, стал. Когда помоложе был, то и не задумался бы, а теперь вот решил с тобой совет держать...

— А где сейчас тот Струна находится, не в отъезде случаем? — осторожно поинтересовался протопоп.

— Да где ж ему быть, засадил его грамоты готовить о прошедшем соборе, чтоб разослать по всей епархии. Тем, поди, и занят.

— Так зовите его сюда, чего ж откладывать? — предложил Аввакум.

Архиепископ чуть помолчал, видимо, обдумывая предложение Аввакума, а потом решительно хлопнул рукой по столу и громко крикнул:

— Анисим, иди сюда, нужен мне.

Тут же открылась дверь, и в нее осторожно заглянул келейник владыки. Узнав, что требуется позвать Ивана Струну, кивнул и, оставив дверь полуоткрытой, тут же исчез. Прошло несколько минут и в покои владыки, поскрипывая новыми сафьяновыми сапожками, вошел Иван Струна, тревожно поглядывая по сторонам. Увидев Аввакума, он хищно прищурился, хотел что-то сказать, но сдержался. В дверь просунулась голова все того же Анисима, который словно знал, что последует еще какое-то приказание. Так оно и вышло, владыка велел призвать писаря, и когда тот явился, молча указал ему на стоявший у окна небольшой столик, подождал, пока тот уселся, ни о чем не спрашивая положил перед собой лист чистой бумаги, взял в руки очиненное перо, осторожно макнул в глиняную чернильницу и с готовностью воззрился на владыку.

— Пиши, — приказал тот, — сего числа архиепископ Сибирский и Тобольский Симеон совместно с протопопом Вознесенского храма Аввакумом сыном Петровым сняли допрос с дьяка Ивана Струны о преступлении, им свершенным...

Услышав это, дьяк вздрогнул, хотел было возразить, но владыка тут же схватился за посох и погрозил им:

— Молчи! Тебе слово не давали, а воровство твое я терпеть больше не намерен.

Затем владыка вновь призвал к себе Анисима, при этом велел тому наклониться поближе к себе, и что-то тихо прошептал тому на ухо, после чего келейник, как-то странно глянув на Струну, быстро



исчез из покоев владыки, на сей раз плотно прикрыв за собой дверь. Струна, поняв, что дело серьезно, дернулся было к владыке, хотел что-то объяснить, но тот зычно гаркнул:

— Стой и слушай мой приговор, наговориться еще успеешь...

После чего он продиктовал писарю свой указ, в котором говорилось, что за все злодеяния, совершенные архиерейским дьяком, повелевает он заключить того под стражу и содержать под строгим надзором, пока будет вестись следствие. В это время в дверь вошли два пристава, которым владыка приказал увести Ивана Струну в подвал и там приковать к цепи. Тут Струна наконец не выдержал, упал на колени, простер руки в сторону владыки и запричитал:

— Владыко, отец родной, виноват я во многих грехах, отпираться не буду: дела запустил, за дворовыми людьми худо следил, попы меня слушать не хотели, но за что на цепь сажать? Я же ваши приказы все до единого исполнить готов! Вам вернее человека, нежели чем я, никогда не найти. Простите, помилуйте грешного, только не в подвал, не заслужил я этого!

Владыка ничего не ответил, взгляд его как-то угас, словно после совершения сложной работы, и отвернулся к слюдяному оконцу, не желая смотреть, как приставы уводят его дьяка. Судя по всему, ему нелегко было решиться на такое наказание. Но с другой стороны, он понимал, иного выхода нет. Оставь он Струну на воле, и тот тут же напишет на него извет самому патриарху. А тот только и ждет, как бы проявить свою власть и тогда ему, сибирскому владыке, точно не поздоровится. А этот хохол опять вывернется и будет ходить щеголем, победоносно поглядывая на него, в очередных новых сапожках. Он дождался, когда приставы увели дьяка, и лишь после этого повернулся и посмотрел на Аввакума. Они пристально смотрели друг на друга, и каждый ждал, когда другой скажет слово. Первым решился Аввакум. Он, поднявшись с лавки, низко поклонился и проговорил:

— Да, вижу, тяжело далось вам решение это, ваше высокопреосвященство, но иначе нельзя. Как в Писании сказано: одна дурная овца может все стадо в пропасть увести.

Владыка выслушал его, но ничего не ответил, а потом, тяжело поднявшись, подошел к иконе Спаса, которую он привез с собой из Москвы, поправил фитиль лампы и начал тихо читать молитву. Аввакум решил, что лучше будет оставить владыку одного, и тихонько удалился.

...Уже на другой день слух о том, что архиерейского дьяка посадили в подвал, облетел весь город. Аввакум ждал, что к владыке потянутся просители, желающие заступиться за осужденного, но вышло все наоборот: чуть ли не все приходские батюшки подали владыке жалобы на дьяка, в которых подробно рассказывали о его вымогательствах и иных прегрешениях. Теперь оставалось лишь ждать суда над Иваном Струной. Но суда не случилось. Просидев в подвале несколько дней, тот вдруг исчез из подвала, каким-то образом освободившись от оков.

Узнавшего о том владыку чуть удар не хватил, и он вызвал к себе сторожей, чтоб узнать причину случившегося. Они в один голос заявили, что, кроме келейника Анисима, в подвал никого не пускали, а тот хаживал туда по нескольку раз на дню, якобы по распоряжению самого же владыки. Кинулись искать Анисима, но и он исчез, а вскоре поступило известие, что дьяк Иван Струна и келейник Анисим укрылись на воеводском дворе и оттуда забрать их обратно к себе владыка вряд ли сумеет, поскольку он объявил там принародно «слово и дело государево».

Вот тогда тоболяки, повивавшие в своей жизни всякое, чутьем своим поняли, — назревает нечто, чего им раньше и присниться не могло. Где ж это видано, чтоб против владыки да кто-то голос подал? Воспротивился вдруг словам и действию его!! Ого-го! Ну и времена наступают, не зря старцы о Страшном суде речь ведут, точно, грядут темные силы, никто суда того не минует...

Да и сам архиепископ безошибочно углядел в случившемся неизбежный скандал между ним, пастырем духовным, за души людские пекущимся, и теми, кто на воеводском дворе царскую власть блюдет. А тягаться с царскими слугами не каждый решится. Да и вовсе не сыскать никого желающего кнут на своей спине испробовать. Правда, ему, лицу духовному, монаху и молитвеннику за весь край сибирский, ничего такого бояться не следует, но и противиться слугам государевым себе дороже станет. Одна надежда оставалась у него — на слово Божье, сильнее и могучей которого ничего на свете пока что не имеется. Вот на это и уповал архиепископ Сибирский, проводя длинные бессонные ночи в тяжких раздумьях.

И в конце концов, перебравши в голове и то и это, решил не торопить события. Пусть все идет своим чередом... горожане успокоятся,

приходские батюшки определятся, с кем и как им дальше службу служить и Бога славить. И воевода возрадуется, что доказал владыке первенство свое. Пусть. Это лишь начало великого раскола, и конца края тому не видно. На чьей стороне Господь, за тем и правда. Только все одно, Бог на небе, а царь на земле управляется всем, что ему, помазаннику Божьему, под начало вручено.

Потому перво-наперво, решил владыка, к их величеству царю и великому князю всей державы Московской следует челобитную слать... О всех обидах, что ему воевода чинит и людей его на свою сторону сманивает. Что он на другой день и велел писцу своему исполнить. А уже вечером выехал из Тобольска на московскую сторону гонец с челобитной той, самому государю всея Руси предназначенной.

\* \* \*

До Аввакума весть о бегстве архиерейского дьяка совместно с келейником владыки дошла не сразу. Когда же он узнал о том от диакона Антона, то лишь хмыкнул в ответ, а после службы, выйдя во двор, глянул в сторону воеводского двора и тихо проговорил:

— Вот оно, значит, как, князь-воевода, меня, опального, от убийц сокрыть не схотел, а хитрого хохла и воришку с ним принял охотно. Нет, князюшка, помани мое слово, даром тебе это не сойдет, силы небесные и тебя покарают, еще помянешь, как гнал меня со своего двора.

А потом он направился напрямиком в архиепископские покои и застал там владыку за чтением какой-то грамоты. Еще не остыв от скорой ходьбы, Аввакум, словно забыл, что следовало бы ему поначалу подойти под благословение, прямо с порога заявил:

— Владыка милостивый, вам подлые люди в глаза наплевали, а вы, как вижу, утерлись и ждете, какую еще каверзу они удумают!

— С чем пришел, говори сразу, не до того мне сейчас, чтоб еще и твои речи выслушивать. Без того тошно, — не поднимая глаз от грамоты, отвечал владыка. — Он не только, как оказалось, меня пограбил, но требовал деньги присылать ему и с березовского, тавдинского, казымского и прочих приходов ежемесячно. И никакой росписи им в ответ не давал за то. Вот они теперь спохватились, пишут мне, верно ли поступили. А ты как думаешь?

Аввакум в ответ лишь хихикнул, потом, спохватившись, что может тем самым обидеть владыку, убрал улыбку с лица и серьезно ответил:

— Видно молодца по походке, с какой он сторонки. Я этого хохла сразу приметил, как только привезли меня сюда, он, как на грех, в воротах мне попался...

— И что? — поинтересовался владыка.

— А то, как моя покойная матушка сказывала: не слушай, где курицы кудахчут, а слушай, где Богу молятся. Вот! Я как раз ни разочка его, Струну этого, в храме не видывал, а уж чтоб он святую молитву творил, и подавно.

— Точно подметил, батюшка. И я ведь тоже могу сказать: не ходил Струна в храм, а когда спросил его о том, отнекивался, мол, под горой в куда-то там ходит, к дому поближе. Только спрашивал всех подгорных попов, ни один его у себя не видел. Такое вот дело...

— Вот и я о том же, — согласился с ним Аввакум, — никак нельзя спускать ему и воровство. И то, что он купца Самсонова от наказания покрыв, деньгу с него поимев. Все вместе собрать, любой суд, хоть церковный, хоть воеводский, виновным его посчитают. Что скажете на это, ваше высокопреосвященство?

Владыка, слушая слова протопопа, думал про себя, что без него сам давно понял, не место дяку при нем состоять, и давно пора к порядку его призвать. То, что суд над ним учредить требуется, оно само собой разумеется. Но как его от воеводы забрать, вот в чем вопрос. К тому же, если разобраться, то, кроме корыстных денег, с купца взятых, ничего иного в вину ему не поставишь: за истраченные деньги у него расписки собраны. А то, что батюшки с приходов пишут, будто бы они ему деньги слали, вместе с нарочными — где их теперь и искать? А без свидетелей какой же суд? К тому же сам Струна, доведись ему предстать ответчиком на суде, наверняка заявит: «Я купеческой дочери не совращал, а потому спросить с меня не за что. Вот с купца и спросите, как то в церковном уставе прописано».

Обо всем этом он и заявил Аввакуму, ожидая, что тот ответит.

— А что тут думать, надо князю воеводе послание отправить и потребовать, дабы он того Струну и келейника Аниську под охраной отправили к вам на двор, владыка, а уж здесь найдете как совладать с ним.

— Э-э-э, — отмахнулся тот, — пустая затея, даже и не думай. Воевода и бровью не поведет, прочитавши грамотку мою. Не впервой, знаем мы их. Они на нашего брата, как на нищих побирушек, глядят, еще и посмеиваются при том тихонько... Тут надо что-то такое вернуть, чтоб воевода поступил именно так, как нам требуется, только ничего эдакого, чем делу пособить, на ум не идет...

Аввакум, успевший за время разговора присесть на лавку, вскочил на ноги и зачастил, давясь словами:

— Да как же такое быть может?! Будь он хоть князь или еще кто, а духовника слова понимать должен, поскольку нет ничего сильнее во всем свете, нежели слово пастырское. Он, поди, человек крещеный, ему ли не знать, как оно бывает, коль зачнешь в колодец плевать. А приспичит, и напиться никто не подаст. От него после того народ отвернется, как же он дальше править будет, коль такую шельму у себя под крылом пригрел?! Да как он о том на исповеди говорить-виниться станет!

Владыка с удивлением воззрился на кипевшего праведным негодованием Аввакума, понимая, что имеет дело с человеком, который может легко впасть в неистовство. Он в очередной раз отметил, насколько трудно иметь дело со вспыльчивым до неистовства протопопом. Если бы не его безвыходное теперешнее положение, он ни за что бы не призвал того в союзники. Но именно сейчас, не имея никого для поддержки в противостоянии с недоброжелателями своими, особого выбора у него попросту не было. А потому Аввакума нужно было использовать как главного обличителя и искоренителя свершившегося зла. Здесь он будет незаменим. Чуть подождав, когда тот немного успокоится, архиепископ широко перекрестился и сказал, словно изрек:

— Блажен тот муж, что не идет на пир нечестивых. Но... делать нечего. Надо от воеводы потребовать, что отправил обратно перебежчиков этих. Мало ли что они там заявили. Они под мою руку приписаны, и мне над ними расправу или прощение творить. Знаю, воспротивится князь-воевода тому, но потребовать он него обратной отправки келейника и дьяка, слуг моих, должно сделать. Так что благословляю тебя, батюшка, без промедления отправляться на воеводский двор и передать ему мою грамотку. Возьми в помощь себе двух приставов и требуй выдачи тех голубчиков. Покаместо подожди чуток за дверью, а я писаря кликну, он мигом

набросает слова мои и тебе вскоре вынесет грамоту для воеводы за росписью моей.

Аввакум слегка опешил от такого поворота дел, чего он, честно признаться, никак не ожидал. Но, коль сам влез в свару, теперь идти на попятную поздно. Как там говорится, сам кашу заварил, сам и хлебывай. Он со вздохом, ничего не сказав владыке, понимая, что любые слова сейчас неуместны, вышел за дверь и принялся ждать, когда ему вынесут грамоту владыки.

Чтоб как-то убить время, он вспомнил предложение Дарьи заходить, как появится возможность, и смело прошествовал в ее кухонные покои, где несколько теток суестились возле огромной печи, доставая оттуда горшки с готовым угощением для служителей архиерейского двора. Увидев Аввакума, Дарья обрадовалась и бросилась к нему под благословение.

— Благослови, батюшка, — скороговоркой произнесла она, — не ждала так быстро, потому ничем особым угостить не получится, ты уж прости меня, старую, за недогляд. — И она полушутя поклонилась.

— Да я и не думал об угощении, просто посоветоваться с тобой хотел, — ответил Аввакум. Хотя, когда он шел сюда, у него и в мыслях не было держать совет с кем бы то ни было, а тем более с Дарьей, о чем наверняка уже этим вечером станет известно половине горожан. Но потом, чуть подумав, он решил, не грех узнать ее мнение о всем произошедшем за последнее время.

— Слушаю тебя, батюшка, — не переставая поглядывать на горящую печь и отдавать команды своим подопечным, отвечала та.

— Я вот чего спросить хотел, — осторожно начал Аввакум, — скажи как на духу, сама как считаешь: Иван Струна виновен во всем, что ему владыка в вину ставит?

Дарья внимательно посмотрела на него, вытерла руки о передник, подошла к остывавшей на большом деревянном столе корчаге, зачерпнула что-то оттуда деревянной ложкой, дунула на нее несколько раз и попробовала на вкус.

— Соли мало, киньте пару щепотей, — велела она одной из подручных кухарок и вновь вернулась к Аввакуму.

— Я вот что тебе скажу, батюшка... Видел, как кушанья пробовала и сразу определила, что не так. На то я и на кухне хозяйка. А вот с людьми — иное дело, их на зуб не возьмешь, не попробуешь —

солоно или нет. То, скорее, твоего ума дело, — ловко ушла она от ответа. — Потому как ты с людскими душами дело имеешь, а я все больше с пирогами да квашеной капустой. Уж извини меня, коли чего не так сказала.

— За что ж извинять? — улыбнулся Аввакум. — Все правильно говоришь. Только ты и с людьми дело имеешь, а не с одними пирогами. Так что ты, кумушка моя, задом-то не крути, не пьтсья, а лучше скажи, что думаешь.

Дарья громко крякнула, засмеялась и ответила:

— Трудно с тобой дело иметь, батюшка, все ты наперед знаешь, всему объяснение найдешь. Ладно, скажу тебе, что обо всем том думаю... А думаю я вот что, уж не знаю, будешь ли обижаться на мои слова или нет, но ты здесь человек сторонний, надолго не удержишься... Не перебивай, коль говорить велел, — подняла она руку, видя, что Аввакум пытается что-то возразить. — Точно говорю, скоро тебя либо обратно в Москву затребуют, либо куда дальше пошлют...

— Откуда тебе сие известно? — не вытерпел он, с удивлением смотря на Дарью.

— А то мое дело, не хочешь — не верь. А вот так оно и будет, что я сказала. Потому как Семушка наш пока что под патриархом ходит, с которым ты свару великую затеял, и виниться в том не собираешься, как я посмотрю. Не сегодня завтра дойдет до патриарха нашего, чего здесь творится, то он непременно за тебя первого и возьмется. Точно говорю... Тебе здесь он вряд ли оставит. А как ты, мил-человек, с владыкой нашим распрощаешься, то ему-то придется дальше править всем хозяйством, как и раньше, пока смену не пришлют. И не только по собственному разумению, но и как из Москвы укажут. Потому никакого резона ссориться с дьяком у него не было. Другое дело — Аниська, о его похождениях всем известно. Вот если бы он у воеводы одного его затребовал, другое дело. А дьяк наш — птица высокого полета, коли из самой Москвы прибыл, то там наверняка своих людей имеет, что с ним повязаны разными затеями...

— Что это за затеи этикие? Откуда тебе о них известно? — с удивлением спросил Аввакум, не ожидавший от обычной кухарки подобного ответа.

— Тебе-то зачем о том знать? Долго рассказывать. Ты меня о другом спросил, потому дай досказать. Так вот, воевода дьяка ни за что

не выдаст, поскольку тоже с Москвой связь имеет. Я тебе так скажу, концы от узелка, что здесь завязался, в Москву тянутся. Там и искать надо, а то ни тебе, батюшка, ни Семушке нашему, не по силам. Руки, как говорится, коротки. А начнете шибко на себя тянуть, то и вовсе оборвется все. Тогда совсем вам худо придется.

— Мудрено как-то говоришь ты, Дарьюшка, не пойму, о чем пояснить хочешь. Или за дьяка шибко переживаешь, или в самом деле знаешь чего-то этакое, о чем мне не известно.

Дарья в ответ только хмыкнула и снисходительно глянула на протопопа.

— Недаром говорят, что бабий ум вам, мужикам, ни за что не понять. Так что, как просил, о том все и сказала. А дальше сам решишь, как поступать, в какую сторону бежать, под каким кустом укрыться. Думай, батюшка, думай.

Она опять отошла к другой корчаге, подняла крышку, глянула внутрь и вновь вернулась к протопопу.

— А владыке так и скажи, только в мою сторону не указывай, мол, пустая эта затея — воевать с дьяком сбежавшим. Когда он под боком был у владыки да его за нос водил, то будто бы не понимал Семушка наш, с кем дело имеет. А вот теперь, как жарко стало, спохватился. Да поздно, коль молоко сплыло, обратно его никак не вернешь, лишь людей насмешишь или еще чего похуже наделаешь. Боюсь, зная вас обоих, как бы все супротив вас и не обернулось. Все, батюшка, иди, а то девки мои не то слотуют, а виноватой мне быть. На меня обиды в душе не держи, я тебе от чистого сердца, как есть сказала. Жалко мне вас обоих, а помочь ничем не могу...

— Это за что же тебе нас жалко? — с удивлением вытаращил на нее глаза Аввакум, окончательно сбитый с толку всем услышанным.

— А что мне остается? Такая бабская доля — только и жалеть вас, несчастненьких.

— Ну, знаешь, — выдохнул Аввакум, — не тебе о том судить. Тоже мне, нашлась весталка! Все-то она знает, обо всем-то она ведает. Лучше следи за стряпней своей, а то такого мне наговорила, словно на тебя божественное откровение нашло.

Но Дарья уже не слушала его, а кинулась с веселкой в руках на другой конец своих владений, где две кухонные девки о чем-то громко спорили. Аввакум немного постоял и пошел обратно, так и не решив, правильно ли он сделал, обратившись к ней. Но при этом в душу его



закрались сомнения: а может, в самом деле права эта женщина, и все ею сказанное вскоре исполнится... Но сейчас ему нужно было исполнить то, что они задумали с владыкой, и от этого ему стало совсем горестно и как-то не по себе...

\* \* \*

...Домой Аввакум вернулся уже затемно, и Марковна сразу поняла, что муж не в духе, а потому никаких вопросов задавать не стала, ожидая, когда он не утерпит и расскажет все сам. Она сейчас разрывалась на два дома, поскольку Маринка сразу после сыгранной прошлой весной свадьбы начала жить с Тихоном отдельно, а вскоре забеременела и должна была разродиться где-то во время Великого поста. Потому Марковне приходилось едва ли не каждый день навещать ее, тем более что Тихона заслали еще по осени вместе с отрядом других таких же казаков куда-то на Север для сбора ясака, и теперь возвращения его ждали со дня на день. Маринка хоть и отнекивалась, что пока в силах сама управляться по хозяйству, но давалось ей это с трудом, и Марковна отправляла ей в помощь старших сыновей истопить печь, привести воды с реки, что те с радостью исполняли. Сама она еще успевала вечерами посидеть за шитьем, готовя пеленки для будущего младенца.

Аввакум же, хоть время от времени интересовался, как там здоровье у племянницы, но сам к Маринке почти не навещался, а все пропадал по своим извечным церковным делам, благо народ потянулся к нему, несмотря на его чрезмерную строгость, многие шли к нему на крестины и венчание. Он и потом не оставлял без внимания ни молодых, ни окрещенных им прихожан своих и старался при каждом удобном случае заглянуть к ним, что-то посоветовать, наставить на молитвенный путь. И непременно, как передавали Марковне с улыбкой некоторые из прихожан, напомнить, чтоб стояли на старой, истинной, вере и никакие патриаршие новины на дух не принимали. Она понимала, говорить ему об этом не имеет смысла, все одно не послушает, а то еще и приструнит ее, рассердится, а в завершение потребует чтения совместно с детьми нескольких десятков молитв едва ли не до самой утренней зари.

Марковна пробовала отнекиваться, что и так читает по памяти молитвы во время занятия рукоделием, но он и слушать не хотел. И она подчинялась, вставала рядом с ним на колени перед иконами

и повторяла вслед за ним и «Царю Небесный...», и «Владычица Богородица...», и псалмы Давидовы. Все, что помнила с детства и многократно вычитывала после замужества. На молитву вместе с ними вставали и дети с той лишь разницей, что им разрешалось молиться стоя, потому как пол в доме в морозные дни был холодный, и, не приведи господь, застудиться мог каждый из них, а лечение опять же легло бы на ее женские плечи.

Сейчас, поглядывая в мужнину сторону, она пыталась предположить, в чем причина его недовольства, и ей почему-то подумалось, что он наверняка ввязался в историю с побегом с архиерейского двора дьяка Струны, доставившего им столько неприятностей. Не таков был Аввакум, чтоб спускать обидчикам своим, хоть сам и учил о любви к ближнему. Но тут, что называется, нашла коса на камень, и чем вся эта история закончится, она могла только гадать.

Та же Устинья, что по-соседски изредка заглядывала к ней, не смотря на то что взвалила на себя непосильную ношу ухаживать за обезноженным Фомой, была в курсе всего происходящего в городе благодаря тому, что часто навещала разных своих знакомых, откуда и несла к Марковне городские новости.

К архиепископу Симеону Устинья относилась снисходительно, не считая его истинным управителем сибирскими церковными делами, а вот дьяка Струну побаивалась. Она же рассказала Марковне, что не так давно в город прибыл известный человек — казачий сотник Петр Бекетов, начальствующий долгое время где-то в Забайкальской стороне, состоящий то ли в дружбе, то ли в родстве со Струной и принятый им на должность архиерейского пристава. Марковна плохо разбиралась в хитросплетениях церковной власти, да и муж никогда не откровенничал с ней на этот счет, но, со слов Устиньи, тоже прониклась уважением к заслугам нового в городе человека. Она не спрашивала, откуда соседке известно обо всем этом, и понимала, что всему, что та говорит, верить особо нельзя, но прислушивалась, запоминала, чтоб хотя бы знать, с какой стороны ждать беды, случись вдруг ее мужу вступить в очередной спор с кем-то из начальствующих людей. Уж коль он самого патриарха не испугался и всенародно порочил его, то что говорить об остальных...

Вот и сейчас, ставя на стол ужин, она ждала, когда он скажет первое слово и рассеет ее сомнения насчет очередной ссоры с кем-то.

Так оно и случилось. Встав из-за стола и прочтя молитву, Аввакум спросил:

— Чего отмалчиваешься, словно воды в рот набрала?

— Так жду, батюшка, когда первым заговоришь. Не престало жене трещать, словно сорока, и мешать размышлениям твоим. Вижу, умаялся за день, зачем лишний раз досаждать тебе нашими бабскими делами.

— Ладно уж, своего все одно не упустишь, выскажешься еще, — со вздохом ответил он, — а что намаялся, это ты верно заметила. К воеводе на двор ходил... — начал он и замолчал, видно, вспомнив что-то неприятное, поморщился и подошел к протопленной печи, протянул к ней ладони, пытаюсь поймать остатки тепла.

— Так что воевода? — спросила Марковна. — Сам тебя пригласил, или иное что? Отчего хмурый такой? Разговор тяжелый был? Может, поведаешь мне, если нужда в том есть?

— А что говорить? Не было никакого разговора, и весь сказ.

Аввакум неожиданно весь набычился, сжал кулаки, что ей редко приходилось видеть. Потому она поспешила упредить его прорывавшийся наружу гнев и миролюбиво сказала:

— Остынь, батюшка, остынь, не бреди душу, пригодится еще. Не первое и не последнее испытание нам Господь посылает. Как без этого... Не стоят все недруги волнений твоих непрестанных. Побереги себя. Ты бы лучше с детьми поговорил, они так тебя ждали, да видишь, уснули уже...

Аввакум покосился на печь, где мирно похрапывали сыновья, подошел к кровати со спавшей Агриппиной, потерял ее льняные волосы и повернулся к супруге.

— Может, мне царю написать? — неожиданно спросил он ее.

Она ждала чего угодно, но только не такого вопроса, а потому растерялась и переспросила:

— Царю? А зачем вдруг? И чего ты ему напишешь? Чтоб обратно в Москву вернул? Не надо. Только тут вроде прижились, народ к тебе потянулся, ты опять за свое. Знаю, чего ты там делать станешь, знаю...

— Ага, ну, скажи, чего? По девкам, что ли, бегать начну? — хитро прищурился он.

— Тьфу на тебя! — только и нашлась что ответить Марковна. — С Никоном опять сцепишься — и угодишь еще подале, чем Тобольск.

Нет уж, давай здесь будем спокойно доживать свои дни, не нужна мне никакая Москва. От греха подальше...

— Не дадут нам с тобой здесь долго жить. Все одно Никон проклятуший не успокоится, пока не сгину навек...

— Это тебе воевода, что ли, сказал сегодня? — осторожно поинтересовалась Марковна. — Ему что за дело до тебя?

— Вот именно, что никого дела ему до меня нет, даже не принял меня с приставами и сам не вышел. Занят, говорят, и все тут...

— А приставы тут при чем? — подняла брови Анастасия Марковна. — Для охраны, что ли, взял с собой?

— Меня-то зачем им охранять? Меня Господь Бог и без них хранит, — перекрестился Аввакум и оправил начавшую сесть уже здесь, в Тобольске, бороду, — а хотели мы от воеводы забрать дьяка Ивана Струну, что к нему ушел, а нет, не выдали подлеца.

— Дался тебе этот дьяк, забудь о нем, сразу легче станет. — Марковна, поняв причину дурного настроения супруга, вроде чуть успокоилась, взяла в руки рукоделье и принялась сноровисто обметывать небольшую простынку, давая понять, что начавшийся разговор ее особо не интересует.

Но теперь уже Аввакум не мог остановиться и продолжил:

— Нет, Настенька, ты послушай, чего дальше было. Когда от воеводы человек вышел, объявивши, мол, не может тот нас принять, я ему от владыки грамотку передал, он повернулся и ушел. Ну, мы постояли чуть и хотели было обратно идти. Тут вдруг откуда ни возьмись этот самый Струна бежит, а с ним новый человек, недавно в город прибывший, Петр Бекетов, как мне потом пояснили. Я его до того ни разочка не видел, но собой солидный такой, степенный, прямо боярин, да и только. Струна ко мне близехонько не идет, помнит, поди, как отхлестал его ремешком по заднице, а издали так кричит: «Ты, мать-перемать, какого дьявола на воеводский двор притащился? Твое место в подвале на цепи сидеть. Знаю, то ты владыку против меня настроил и оговорил...» Я, значит, не вытерпел и ему заявляю: «В подвал разбойников и воров сажают, а ты среди них и есть наипервейший...» — Аввакум усмехнулся, видно, вспомнив недавнюю стычку со своим врагом: — Только тут этот приезжий, как его, Бекетов, вперед выходит и спокойно так говорит: «Ваше степенство, чего это вы, как два петуха, сцепились? Негоже добрым людям такие речи вести...» Я ему, а вы, мил-человек, уймите хохла этого, а то добром

наша беседа не кончится. Со мной два пристава как раз стоят, чтоб его взять... А тот сабельку свою наполовину так вытащил и отвечает: «Я этой саблей столько лихих голов попортил, что и со счету сбился. Пусть еще двое ее испробуют, мне не впервой...» Гляжу, а мои приставы присмирели, стоят, как вкопанные. Ну, поговорили мы так сколько-то... Да и разошлись ни с чем. Такие вот дела...

— И об этом ты, батюшка, собрался царю писать? Чем недоволен-то? Иного чего, что ль, ждал? Ой, лучше бы не сказывал всего этого мне, знать ни о чем больше не хочу, — отчитала мужа Марковна, не отрываясь от шитья.

Но он словно не слышал ее слов, а, вспомнив что-то еще, продолжил:

— Да, главного не сказал, спасибо, напомнила. Струна мне и кричит напоследок: «Я обо всех твоих бесчинствах, попишка ты этакий, самому патриарху грамоту направил. И о том, как ты на меня, архиерейского дьяка, руку поднять посмел. И о том, что не по чину с посохом епископским вызолоченным ходишь, на котором два рога изображены и яблоки поверх тоже имеются. Жди, когда с тебя крест снимут и на допрос поволокут...» Вот так, значит... — закончил он.

— И зачем тебе этот посох сдался? — тут же подала голос Марковна. — Я тебе о нем сколь раз толковала, не ходи с ним по городу. У людей глаза завидующие, наговорят тут же... Вот так оно и вышло...

— Да не хожу я с ним давно, — отмахнулся Аввакум, — куда-то он подевался, а куда, и не знаю. Может, ты видела?

— Дома его точно нет, значит, в храме оставил, там и гляди, — ответила Марковна. — Ой, точно говорю, чует мое сердце, добром все это не кончится. И кто в этом виноват будет? Не сам ли, что такую вещицу завел и напоказ с ней везде шествуешь? Ой, говорила тебе... Сколь раз говорила... — продолжала она сокрушаться, острым женским чутьем поняв, что не зря дьяк помянул о злосчастном посохе, символе епископской власти, который Аввакуму, как на грех, подарили в Москве его богатые почитатели.

— Понял я, однако, куда мой посох делся. То-то думаю, чего это вдруг в наш храм еще до побега к воеводе зачастил Аниська-келейник. Про него дурная слава идет, будто бы он тянет все, чего рука достанет. Наверняка стянул мой посох и Струне отнес. Вот ведь паразит этакий, кто б мог подумать, — стукнул себя ладошкой по лбу Аввакум, — как

я сразу не догадался... Если посох у Струны, то он точнехонько к Никону его переправит, и ничего тут не поделаешь...

— Давай-ка спать укладываться, — предложила Марковна. — Теперь словами делу не поможешь. Вот всегда ты так — сотворишь что, а потом каешься и во всем винишь кого ни попадя, а своей вины в том не видишь.

— Ложись сама, а я посижу чуть, с мыслями собраться надо, — ответил он ей, устраиваясь на своем обычном месте под образами.

Так он просидел довольно долго, раздумывая, как поступить, когда, судя по всему, его главный здешний недруг взял верх и помешать ему в том он не в силах.

«Почему же так мир устроен, — думал он, — что люди разнятся не по вере своей и даже не по делам, ни по помыслам добрым, а по тому, какой чин занимают? А чины им даются не от Бога, а от людей, таких же смертных и корыстных. Неужели так дьявол силен, что Господь с ним совладать никак не может? Тогда что можем мы, твари земные и телесные, поделать? Как злу и корысти противостоять? Почему Господь не слышит мои молитвы, не заступится, не поможет?»

С этими мыслями он задремал и не помнил, как Анастасия Марковна встала и осторожно отвела его на постель, раздела и укрыла теплым, ее руками сшитым, цветастым с меховой подкладкой одеялом.

А ангел Божий, знавший все его помыслы и мечтания, витал здесь же и тоже не знал, чем может помочь этому сильному человеку, задумавшему исправить мир и сделать его другим.

«Уж если нам, силам небесным, не по плечу такая задача, тогда что может человек, единственное оружие которого — слово?» — размышлял он сам с собой. А мысли его неслись наверх, к небу и достигали божественных чертогов, где смешивались в единый поток, состоящий из земных чаяний и помыслов. И Господь, знавший обо всем, что творится в созданном им когда-то мире, направлял помощников своих в помощь тем, кто в том нуждался.

Но кто мог знать помыслы Его? Лишь те, кто отрекся от всего земного и вел жизнь святую и безгрешную. Но если и были такие, то держали свои уста сомкнутыми, поскольку, даже заговори они, вряд ли кто уверует словам их. Ибо сказано: нет пророков в отечестве своем. И жизнь шла дальше такой, какой каждый видел ее по силе веры своей...

Когда на другой день Аввакум подробно пересказал архиепископу, чем закончился его поход на воеводский двор, тот встретил это известие спокойно, будто бы знал наперед, что воевода, желая показать свою власть, вряд ли пойдет ему навстречу.

Аввакум же без обиняков предложил:

— А не организовать ли нам крестный ход с иконами и хоругвями на воеводский двор? Тогда ему деваться некуда будет, выйдет навстречу и пусть только попробует отказать в выдаче беглецов, народ отвернется от начальника такого...

Но архиепископ с ходу отверг предложение Аввакума, посчитав неуместным вести народ без видимой на то причины в покои воеводские. И добавил:

— Еще и засмеют, коль в Москве о том прознают. И всячески ославят и перед царем и патриархом. Ничего, есть у меня способ, как этого негодника к ответу призвать, — успокоил он не в меру горячившегося Аввакума, — а сейчас надо к Рождеству готовиться, а там и Крещение не за горами...

На том и расстались. Зима стояла снежная, и многие сибирские города, а вместе с ними и епархии оказались отрезанными друг от друга. На рождественские праздники вдруг потеплело, снег вдоль дорог мигом осел, а на Иртыше во многих местах возникли вытаявшие промоины. В одну из них, возле самого города, поздним вечером как раз накануне Рождества и угодил обоз с рыбой, шедший из низовий, как обычно, по замерзшему льду. В полынью провалились несколько лошадей, потянув за собой груженные сани. И сколько ни старались, вытащить на лед их не смогли. Ладно, что сами возчики уцелели, хотя и вымокли с головы до ног, пытаюсь спасти хотя бы часть поклажи.

Горожане посчитали это плохим предзнаменованием и упростили владыку совершить крестный ход с чудотворной Абалакской иконой по всем приходским храмам. Тот долго раздумывал, но потом все же дал свое благословение. Город оживился в преддверии столь важного события, несколько доброхотов наняли молодых парней выложить из замерзшего снега напротив Софийского подворья украшенные крестом ворота, через которые и должны были пронести чудотворную икону Матери Божьей. Позже к ним присоединились сидевшие по домам без дела мальчишки. Когда работу закончили, то арки ворот

увили разноцветными лентами, украсили еловым лапником, отчего ворота стали смотреться празднично и торжественно. Владыка отправил соборного диакона окропить ворота святой водой, и в сочельник икону Богородицы пронесли через них в кафедральный собор, установили в центре и начали службу.

Народу собралось столько, что все не вместились в храм и оставались до конца службы у входа. Когда на городских звонницах раздался колокольный звон, сообщивший о появлении на свет божественного Младенца, то с воеводского двора неожиданно ударили пушки, салютуя знаменательному событию. Но народ, стоявший возле храма, не привыкший к подобному, с испуга кинулся прочь, толпа налетела на ничем не укрепленные снеговые ворота, и они под напором толпы рухнули, покалечив нескольких человек. Донесли владыке, но он не позволил остановить службу и довел ее до конца. Лишь после этого вышел вместе со всем соборным причтом на крыльцо, но, увидев творящуюся сумятицу, растерялся и тут же вернулся обратно в храм, так и не совершив обязательный крестный ход вокруг собора. И это тоже было воспринято горожанами как дурное предзнаменование едва начавшегося года...

Великое водосвятие прошло без особых происшествий, разве что владыка Симеон решил, как принято по древней русской традиции окунуться в ледяную иртышскую купель и на другой день тяжело захворал, лишившись голоса. Поскольку волею судеб он остался без келейника, то выхаживала его все та же вездесущая Дарья и никогошеньки больше к нему не подпускала.

Но ей одной было не разорваться между своей поварней, которую никак нельзя было оставлять без присмотра, и болящим. Тогда она снарядила человека за Спиридоном, надеясь определить его на прежнее место при архипастыре. Но гонец вернулся с известием, что бывший келейник, польстившись на хороший заработок, ушел с тем самым рыбным обозом, что недавно пострадал, нарвавшись на речную полынью под городом.

Дарья по привычке чертыхнулась на этот счет, но при этом не забыла тут же перекреститься, прошептав: «Прости меня, Господи, грешницу старую» и продолжала одна ухаживать за мечущемся в горячке владыкой. Через неделю жар спал, и он пришел в себя, с аппетитом поел и прошествовал в свой кабинет. Потом вызвал к себе Григория Черткова, что перенял все дела и обязанности ушедшего Струны,



и потребовал отчета за время его болезни. Тот обстоятельно обсказал, чем был занят все эти дни, чем окончательно привел архиепископа в доброе расположение духа, и он первым делом поинтересовался:

— Много еще воровства вскрылось по делам денежным?

— Да есть по мелочи, но сразу не разберешься, куда что потрачено. Может, позже что еще вскроется, тогда и доложу.

— От патриарха или еще откуда грамоты были? — пытливо глянул на него владыка, словно подозревая в чем.

— Не было, ваше высокопреосвященство, — с готовностью ответил тот, — если бы что прислали, первым делом сообщил...

— Гляди у меня, узнаю, скрываешь что или за моей спиной затеваешь чего недоброе, семь шкур спущу и место Струны в подвале мигом займешь, — пристукнул посохом для острастки владыка и на этом отпустил Черткова.

После витиеватых речей Струны, умевшего все объяснить, обосновать, замазывать свои огрехи, а на деле выходило совсем иначе, архиепископ опасался верить кому-либо, а потому нагонял строгости, надеясь тем самым предотвратить очередной подлог. В то же время он понимал, при желании, обладая доступом ко всем финансовым делам, его помощники могут легко скрыть тайные сделки с торговыми людьми, зависить цены, а проверить их он был просто не в силах...

Раньше, когда он был игуменом Боровского Пафнутьева монастыря, то следить за всем успевал сам, а потому подозревать и перепроверять кого-то просто не было нужды. А сейчас в обширных епархиальных делах он вынужден был полагаться то на одного, то на другого. И пойдя угляди за всеми...

Он уже многократно пожалел о том, что согласился стать владыкой этого полудикого края, где каждый жил так, словно над ним не существовало никакой власти. По собственному разумению и хотению. Воевода и в грош не ставил его, духовного пастыря, и тайно строил церковным служителям всяческие козни: выживал монастырских крестьян с плодородных земель, не пускал на богатые рыбные ловли, перехватывал строителей, ехавших в Сибирь из-за Урала, отказывался отправлять со своими курьерами грамоты владыки в Москву, не унимал осаждавших церковные паперти попрошайек и сам, проезжая мимо соборного храма, бывало не удосуживался даже перекреститься на святые кресты. Что ж говорить о стрельцах и иных служителях, находящихся у него в подчинении. Если кто из

них по престольным праздникам и заявлялся в храм на службу, то опускали в церковную кружку лишь мелкие монетки, а то и вообще уходили вон, чуть постояв.

От этого всего владыка Симеон все более впадал в тоску и уныние, и печаль стала вечной его спутницей. Когда ему сообщили о явлении святых мощей Василия Мангазейского, то тамошний воевода отказывался подпускать к нему местного батюшку, и владыке пришлось писать о бесчинствах воеводы патриарху, но и тот оказался не в силах чем-то помочь, пока не вмешался сам Алексей Михайлович.

«Что же здесь за народец такой подобрался, — вопрошал он, — вроде в церкви святой окрещены, а ведут себя хуже остяков и самоедов? Нас, лиц духовных, открыто называют нахлебниками и дармоедами, словно мы их последнего куска хлеба лишаем. Но стоит кому занемочь, то тут же бегут к святым образам прикладываться, слезно о помощи просят, вот тогда денег своих не жалеют, лишь бы Господь их молитвы услышал и здоровье вернул. Нет, нескоро Сибирь станет землей православной, ой нескоро...» — сокрушался он, но сказать вслух о мыслях своих, с кем поделиться, не смел, зная, донесут, и он же виноват останется.

«Много я городов повидал и больших и малых, но большей печали, чем здесь, на Сибирской земле, испытать мне не приходилось...» — рассуждал он, мечтая побыстрее уехать обратно в родные края, где любой обращался к нему с почетом и уважением, отчего на душе становилось радостно и спокойно.

...Вспомнив о своем беглом дьяке, владыка поморщился, словно от зубной боли, и стал думать, как ему следует поступить, не имея возможности заполучить того к себе обратно и судить по всей строгости. А сделать это надо как можно скорее, поскольку, как стало известно, он бахвалился, будто бы отправил к патриарху очередной извет, где обвинял владыку во всех смертных грехах, а еще приплел туда же свое столкновение с протопопом Аввакумом, зная, как Никон к тому относится.

Симеон долго думал, как наказать непокорного дьяка, и решил, что самое лучшее будет всенародно отлучить того от православной церкви и тогда любой и каждый должен будет отшатнуться от Струны, как от прокаженного. На этом он и остановился, после чего надолго засел за составление текста грамоты, который собирался прочесть в начале Великого поста с архиерейской кафедры.

Дарья, принеся ему обед, не решилась отрывать его от дела и торопливо ушла обратно к себе, радуясь, что ее Семушка ожил. А, значит, сумеет навести порядок и у себя на Софийском дворе и призвать к ответу всех охальников, которых с каждым днем становилось в городе все больше, словно где плотину прорвало и пестрый не стойкий в вере народишка кинулся бежать в дальние края, спеша укрыться от властной руки московской власти, которая все жестче брала за горло весь этот гуляющий люд, садила его на землю и требовала ежегодной уплаты податей, к чему русский мужик никак привыкнуть не мог...

\* \* \*

Кто находится между живыми,  
тому есть еще надежда, так как и псу  
живому лучше, нежели мертвому льву.

*Екк. 9, 4*

Вскоре архиепископ, собрав у себя все приходское духовенство, объявил, что намерен в первую неделю Великого поста провести в кафедральном соборе обряд отлучения от Святой Церкви бывшего дьяка Ивана сына Васильева Мильзина, по прозванию Струна. Батюшки, выслушав это известие, внутренне напряглись и нахмурились. На их памяти ничего подобного ранее в городе не случалось, а тут — вот оно как... Более других погрузтел отец Григорий Никитин, что по прямому распоряжению архиерейского дьяка отпустил тяжкий грех сластолюбцу Самсонову, польстившемуся на собственную дочь. И даже епитимью на него не наложил.

А ведь известно, что, согласно правилу, принятому еще в давние времена отцами церкви, следует: «Кто кровь смесит отец со дщерью или матери с сыном, да примут епитимью на 30 лет...» Какие там тридцать лет! И трех дней не прошло, как великий грешник стоял в храме в ближнем к алтарю ряду и во всю истово молился. И к кресту подошел. И причастился... Знавший об этом владыка по какой-то причине не стал строить препятствий ни ему, ни отцу Григорию. А теперь, по словам владыки, получается, что главный грех лег на архиерейского дьяка, за что тот и должен быть примерно наказан.

...И вот в начале марта месяца кафедральный собор наполнился пропевавшим о том народом, и началась служба. Она шла своим

чередом, и владыка уже перечислил все грехи, за которые бывший дьяк должен понести тяжкое наказание. Как вдруг неожиданно двери храма широко распахнулись, и на порог вступил не так давно прибывший в город боярский сын и казачий сотник Петр Бекетов. Его сразу узнали и расступились, давая ему возможность пройти вперед, что он и сделал. Дойдя до самого амвона, где стоял прервавший службу архиепископ Симеон, а по бокам от него на солее располагался весь городской клир, он круто повернулся лицом к заполнившему храм народу. Дождавшись, когда всеобщий ропот чуть поутих, громко и раскатисто, голосом, каким он привык отдавать команды во время многочисленных схваток с иноверцами на далеких рубежах отчизны, отчетливо произнес:

— Народ православный, вам известно, кто я есть... Потому имени своего называть не стану. Одно скажу, шрамы мои боевые. — При этом он поднял вверх руку, на которой не хватало несколько пальцев. — Как и служба моя честная, кровь за государя нашего пролитая, дают мне право сказать вам слово. А вы уж думайте, на чьей стороне правда...

Владыка, стоявший до этого молча, переменялся в лице и, направив на него свой посох, громко, раскатистым басом произнес:

— Никто и ничто не дает права любому прерывать службу церковную, а потому одумайся и выйди вон...

Бекетов через плечо лишь глянул в его сторону, но ничего ему не ответил и продолжил:

— Я такой же православный, как и вы все, а потому сказано, если пастырь говорит слова лживые, то не место ему в храме среди добрых людей, и прогнать его следует и другого призвать...

Договорить ему не дали. С разных концов храма слышались выкрики:

— Кто ты такой, чтоб нашего владыку порочить?

— Знать тебя не хотим!

— Гоните его самого!!!

И толпа тут же прихлынула к нему, прижимая его к кромке амвона, где в шаге от него стоял владыка Симеон, торжествующе глядя на происходящее. Он решил не вмешиваться и дожидаться, чем закончится неприглядная сцена, понимая, что народ на его стороне и опасаться ему нечего.

Бекетов, хоть и был возраста преклонного, но все еще имел немалую силу, а потому не испугался напирающих на него прихожан

и, разведя руки, отодвинул нескольких наиболее рьяных человек от себя и выкрикнул:

— Послушайте! Не виновен Иван Струна в том поклепе, что на него возвели... Патриарх во всем разберется и отменит анафему вашу... Прекратите...

Но ему не дали договорить, а, схватив за руки, поволокли к выходу и вытолкали вон, после чего закрыли двери изнутри на засов.

Владыка, оправившись далеко не сразу, наконец пришел в себя и растерянно огляделся по сторонам, покосился на диакона, а тот вдруг ни с того ни с сего громко пропел:

— Многие ле-та-а-а...

И все остальные тут же подхватили:

— Многие лета-а-а...

Владыка воспринял это как хороший знак и продолжил исполнение обряда, закончив его словами:

— Анафеме придается раб Божий Иван и отлучается от Святой Церкви во веки веков...

Прихожане замерли от этих слов, поскольку никогда раньше никому из них слышать ничего подобного не приходилось. Неожиданно в запертую дверь кто-то громко постучал снаружи. Владыка подал знак, чтоб дверь открыли, и, когда приоткрылась тяжелая, окованная железом створка, на пороге показался нищий Никитка, что обычно сидел на паперти храма. Он выглядел испуганным и растерянно вглядывался в глубь храма, словно хотел найти там знакомое лицо.

— Чего стучал, Никитка? Или случилось чего? — спросили его.

— Там... — начал он и показал рукой в направлении ворот храма, — человек...

— Что, человек? Говори, — пытались помочь ему сердобольные прихожане. — Что за человек?

— Упал и не встает, — ответил нищий, и слезы потекли по его лицу.

Те, кто стоял ближе к выходу, рванулись наружу, а потом и вся толпа повалила вслед за ними, словно предчувствуя нехорошее известие. И действительно, сразу за соборной оградой лежал, уткнувшись лицом в талый снег, Петр Бекетов. Одна его рука, на которой не хватало нескольких пальцев, была выкинута вперед, а другую он прижал к груди, богатая соболя шапка скатилась с его головы во время падения и лежала рядом.

— Батюшки святы, — визгливо выкрикнула какая-то прихожанка, — никак помер, сердешный!

К Бекетову подбежали несколько человек, перевернули его на спину, расстегнули кафтан, и кто-то приложил ухо к его груди, послушал, бьется ли сердце, а потом, встав на колени, снял шапку и перекрестился:

— Точно, не дышит... — сказал он негромко, после чего тут же толпа отхлынула от покойника.

Один из батюшек, бывший здесь же, побежал в храм, чтоб сообщить о том владыке. Тот, выслушав его, тоже перекрестился на ближайшую к нему икону и назидательно проговорил:

— Вот ведь как свершилась кара небесная, все тому свидетели. Слышите?! — возвысил он голос. — Бог за нас, и смерть того, кто посмел святой обряд прервать, пусть всем уроком станет... — После этого он снял митру, опустил на колени и принялся горячо молиться.

Когда он поднялся и направился к алтарю, то диакон негромко спросил архиепископа:

— Что с покойником делать станем? Может, в храм занести и молитвенное чтение начать?

Но архимандрит сердито тряхнул седой головой, отчего его жиденькие волосы рассыпались по плечам, и он стал похож на пророка, предрекающего ослушникам веры тяжкое наказание за грехи их.

— Не смейте и приближаться к тому, кого Бог покарал! — визгливо выкрикнул он. — Пусть лежит так на виду, и лишь бродячие псы подходить к нему могут! И охрану рядом поставьте, чтоб приказ мой никто не смел нарушить.

После этого он степенно прошел в алтарь, и диакон поспешно прикрыл за ним дверь, не решившись войти следом.

Но народ с Софийского двора еще долго не расходился, обсуждая случившееся. Аввакум тоже чуть постоял, прислушиваясь к разговорам, а потом вдруг услышал, что кто-то негромко зовет его. Он покрутил головой по сторонам, но так и не понял, чей это был голос, решил, показалось, и совсем уже было собрался идти, когда взгляд его упал на сидящего, как обычно, невдалеке от входа юродивого калеку Илью.

— Чего хотел, Ильюша? — спросил он, наклоняясь. — Денежку подать иль хлебца свежего прислать тебе?

Но тот отрицательно закрутил головой и проговорил негромко:

— Ой, батюшка, скоро тебе самому придется хлебушка у добрых людей Христа ради просить... Прибереги его, он тебе еще понадобится...

— Отчего же так? — опешил Аввакум.

— Неправедно живешь, батюшка, вот Господь и будет тебя уму-разуму учить. И тебя и деток твоих, всем поровну достанется.

— За что же мне участь такая грозит? — с усмешкой спросил Аввакум, особо не поверив словам калеки.

— Как за что? — удивился тот. — Вон покойник лежит, умер без покаяния, без святого причастия. Не твой ли грех в том?

— Кто ж знал, что так оно все обернется, — попытался оправдаться неожиданно покрывшийся холодной испариной протопоп, на которого вдруг непостижимым образом подействовали слова юродивого.

— То Господь тебе сигнал подает, а ты и не понял ничего, — прошамкал тот и неожиданно заплакал. — Молись за него, молись, может, Господь и отведет от тебя кару Свою, кайся, батюшка...

Аввакум не дослушал его, резко повернулся, пробился через толпу, сгрудившуюся вокруг тела Бекетова, к которому никто не решался приблизиться, вышел к спуску в подгорную часть города и остановился.

«Ой, и впрямь что-то муторно на душе, — подумал он, — может, и прав Ильюша-юродивый, не следовало мне участвовать во всем этом? Невинный человек из-за этого пострадал...»

Но потом вспомнил, как в дом к нему ломились люди Струны, желающее ему смерти, и от этого у него потемнело в глазах, и, ни к кому не обращаясь, он произнес:

— Не по нашему хотению, а по Божьему изволению все происходит. Ему решать, кто чего заслужил. — И медленно побрел вниз туда, где его ждала родная семья и хоть недолгий покой.

А небесный ангел, летевший следом, чьих слов и помыслов ему знать было не дано, повторил слова юродивого:

— То Господь тебе сигнал подает... Почему же ты глух к нему?

\* \* \*

...Прошел Великий пост, справили Пасху Христову. Иртыш необычайно рано очистился ото льда, и на север потянулись косяки птичьих стай, зацвели первые ранние цветочки на Софийском дворе.

Петра Бекетова давно схоронили, но не в Тобольске, а по приказу воеводы увезли в закрытом гробу в Москву, где в одном из монастырских кладбищ он и был погребен. И, казалось бы, давно забылась случившаяся с ним смерть прямо рядом с кафедральным собором.

Может, кто и забыл о том, мало ли их, смертей, случается, едва ли не каждый день и молодых и престарелых, всех не упомнить. Но вот Аввакума тяготили воспоминания о том случае... И, стоило ему пройти мимо соборной ограды, как беспомощный труп боярского сына, прошедшего пешком и на стругах весь Забайкальский край, добравшегося до далекой реки Амур, основавшего там множество православных поселений, а потому человека уважаемого и чтимого всеми, раз за разом вспоминался ему. Навязчивые воспоминания не только не оставляли его, но в сопоставлении со словами юродивого Ильи заставляли непрестанно думать о случившемся. Ведь нет ничего случайного, все, что происходит вокруг, несет в себе тайный смысл, который далеко не каждый способен разгадать. А разгадка была где-то близко и не давала ему покоя...

Когда о трагической кончине Бекетова узнала Анастасия Марковна, она горячо заплакала, хотя и в глаза ни разочка не видела прославленного казачьего сотника.

— Такого человека загубили, — только и сказала она, утирая глаза краешком платка. — И за что? Только лишь за то, что он правду в глаза владыке вашему сказал? Мало того, не могли даже по-христиански с ним обойтись, в храм занести, так еще не подпускали к нему никого сколько дней-то... И как вас называть после этого?

— Кого это нас? — набычился Аввакум. — Говори, коль начала...

— И тебя и владыку твоего, что на старости лет совсем умишка лишился...

— Это почему вдруг? Чего такое говоришь, мать, одумайся. Он владыка над нами, и не тебе судить дела его...

— И слава богу, что не мне, а то я бы точно присудила ему все, что положено, не побоялась бы в глаза сказать, кто он таков и чего заслуживает.

— Охолонись, матушка, одумайся, против кого голос свой бабий возвысила? А вдруг да услышит кто? Тогда как быть?

— Хуже все одно не будет, — распаляясь, отвечала Марковна. — Опостылел мне и Тобольск ваш и обычаи здешние. Кругом неправда одна...



— Не ты ли недавно мне говорила, что в Тобольске спокойнее жить? — напомнил ей Аввакум. — Что ж от своих слов теперь от-рекаешься?

— На кладбище тоже спокойно, да не все туда стремятся по своей воле. Глянь, что вокруг творится. Ужель не видишь?

— И что ж такое творится? — не уступал ей супруг. — На всей Руси так живут и дальше жить будут. Чем тебе город этот не угодил?

— Божьей воли и святости здесь нет, вот что я тебе отвечу, — выпалила она и хотела уйти, но протопоп загородил ей дорогу, желая закончить миром вспыхнувшую вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего ссору.

— Нет, ты скажи, какой такой святости ты не увидела? Да ее простым глазом и не различишь, она только лишь душой ощутима, и то далеко не всем. А ты туда же, расходилась! Святость ей подавай!

Марковна стояла напротив него и не мигая смотрела прямо мужу в глаза, словно увидела там что-то ранее незнакомое, и теперь удивлялась, как же не распознала это все раньше.

— Святость в каждом человеке живет, тебе ли не знать, — сдержанно ответила она и неожиданно отвернулась. — А здесь что не человек, то и пройда. Ты, словно в другом мире живешь, ничего не видишь, что вокруг творится. Не знаешь даже, куда Яшка Плотников делся, что у Спиридона, бывшего келейника, жена умирает, а владыка твой ничего слышать не желает и требует, чтоб он обратно к нему вернулся, грозитя сослать в тартарары, если ослушается... И никто ведь не заступится, не поинтересуется, что да как... Только о себе народ местный печется, а до других дела нет...

Теперь уже Аввакум озадаченно посмотрел на жену, будто тоже, как и она, мгновение назад увидел в ней то, что до сих пор она от него скрывала. Он осторожно взял ее за ладонь правой руки и поднес к своей груди, спросил:

— Слышишь, как бьется? Думаешь, просто мне дается все? Порой кажется, вот не выдержу, как тот боярский сын, и рухну на землю... Ан нет! Постою чуть, отдышусь и дальше иду... Через силу! Молитву ежеминутно шепчу, часами на коленях перед образами стою, чтоб Господь сил дал... А на завтра опять все сначала...

— Вот-вот, на колу молчало, начинай сначала, — улыбнулась Марковна, — за молитвами своими и о людях забываешь, только о себе и думаешь... Совсем таким же стал, как все тутошные...

Услышав такой ответ, Аввакум хотел было достойно ответить супруге о силе молитвы, о ее важности, но... вдруг осекся, поняв, что Марковна слышала все это десятки, а то и сотни раз, а сейчас речь идет совсем не о молитве, а о нем самом. И пустыми словами тут не отделаешься, а потому лучше пойти ей навстречу и поинтересоваться тем, о чем она только что сказала.

— Ты... это... — начал он нерешительно, не зная, о чем спросить, — про Якова чего-то говорила, про Спиридона и жену его. Что там у них? Может, помощь какая требуется?

Марковна с усмешкой глянула на мужа, вернулась обратно на свое излюбленное место возле печки и не торопясь начала рассказывать про Якова, которого местные охотники видели в лесу, где он режет идолов для остяков, а те его за это кормят и почитают чуть ли не за главного своего шамана.

— Быть того не может! — воскликнул Аввакум. — Он что же, веру православную поменял, что ли? Поганым язычником стал? Совсем о спасении души не думает, паразит этакий. Отправить бы за ним приставов и к ответу призвать.

— У тебя одно на уме: призвать, на цепь посадить! — отвечала Марковна. — А он веры своей и не менял вовсе. У него никакой веры сроду и не было. Жил, и все тут. Думаешь, здесь мало таких? Да половина горожан так живут.

Аввакум не нашелся что ответить. Понимал, все его доводы не имеют смысла, если Анастасия Марковна что-то решила, то вряд ли изменит свое мнение. Да в чем-то он был с ней согласен, если судить по прихожанам, что ходили в храм, где он служил. Наверняка и другие были ничем не лучше. Сибирь, что тут еще скажешь...

— А у Спиридона, что и впрямь жена больно плоха? Чем больна, скажи хоть. Мне обо всем том откуда знать, — повернул он разговор в другую сторону.

— Кто ж скажет, чем она больна. Сохнет на глазах, и все тут. Сокрушается, что без благословения владыки обвенчались, оттого, дескать, и болезнь ее. Я к ней нет-нет, да загляну. Дите, правда, здоровеньким растет, а на Спиридоне лица нет, любит Лукерью свою и к владыке идти сызнова в келейники ни за что не желает. А тот, словно взбесился, подайте ему Спиридона, будто других людей в городе нет...

Об этом Аввакум слышал неоднократно и от Дарьи и от других людей. Зная упрямый нрав владыки, говорить с ним на эту тему было бесполезно.

— Дурень твой Спиридон, иначе и не скажешь. Где он другое место найдет? Никто его к себе не примет. Так и будет до старости лет с обозами ходить да мешки грузить. А так, послужил бы год-другой, владыку, глядишь, время придет в Москву отзовут, и он с ним туда перебрался бы... Кто он есть, Спиридон этот? А туда же, супротив самого архиепископа пошел. Плохо кончит. И весь сказ.

— Ты вон супротив самого патриарха пошел, и ни за что тебя в сторону не свернешь. А чем тот же Спиридон плох? — поддела его Марковна за больное место.

— Ну, ты и сравнила! — окончательно разозлился Аввакум и, не желая продолжать спор, выскочил на улицу.

Ярко светило солнце, по небесному небосклону шустро сновали ласточки, предвещая скорый дождь. Аввакум вышел со двора на улицу и увидел, что возле дома Устиньи стоит пара оседланных лошадей, показавшихся ему знакомыми. И точно, вскоре к ним вышел один из казаков, что зимой бросился на защиту протопопа и его семьи от подручных Ивана Струны. Он нес охапку сена и кинул ее под ноги лошадям, которые тут же склонили морды и принялись мягкими губами подбирать с земли высохшую траву, смачно при том хрумкая своей жвачкой. Увидев Аввакума, казак низко поклонился и пошел к нему навстречу.

— Так и думал, непременно с вами, батюшка, свидимся, — проговорил он на ходу и наклонил голову под благословение.

— Бог благословит. — Аввакум привычно перекрестил его и увидел, что у казака на левой щеке розовеет полоска свежего шрама. — И кто тебя так, станишник, полоснул знатно? — указал он на шрам. — Еще бы чуть — и головы лишился начисто...

— Оно, может, и проще было бы, без головы-то, — улыбнулся тот в ответ, — а то всякие печали и заботы в нее лезут, покоя не дают, — отшутился он.

— Видать, забот много, коль в поездках все. Откуда прибыли на сей раз?

— Дальше Сибири-матушки никуда не уезжали, — неопределенно ответил казак, — здесь все тропки-дорожки знаем, куда надо, всегда доберемся. Главное, чтоб конь не подвел.

— Кони, как погляжу, у вас добрые, ухоженные, — похвалил Аввакум мирно щиплющих сено коней, — чего не расседываете? Спарились, поди, после дальней дороги, пусть отдохнут, да и седла посушить надо.

— Успеется, — отвечал его собеседник, бросив взгляд в сторону своих верных спутников, — чуть передохнем сами у знакомой нашей, оглядимся, а потом уж решим, как и что.

— Значит, не оставили своей затеи?

— О чем речь? — сделал тот вид, будто бы не понял вопроса и хитро прищурился, топорща пшеничные усы.

— Сам знаешь, о чем, — тоже улыбнулся протопоп, — слышан о ваших похождениях, людская молва наперед вас бежит. Даже знаю, где побывали и как стрельцы в Таре вас чуть в полон не взяли...

При этих словах казак напрягся, шрам на щеке у него порозовел, улыбка мигом слетела с лица, и он стал похож на нахохлившегося коршуна, тем более что нос с горбинкой придавал ему сходство с хищной птицей.

— Ну, коль знаете, о чем тогда речь, нечего друг дружке загадки загадывать. Но и нам про ваши потешки тоже кое-что известно. Молва людская, она что в одну, что в другую сторону летит. Кто уши имеет, тот услышит. Зря вот только почтенного человека, умершего возле самого храма, без отпевания оставили и даже подходить к нему запретили. Жаль, нас тут с братом моим названным не было, мы бы иначе дело обставили...

— Вон оно что, — удивился его осведомленности Аввакум, — а что, знакомы были с покойным, коль разговор о нем повели?

— Кто ж Петра Ивановича не знал. — При этих словах казак снял шапку и перекрестился. — Царство ему небесное. Добрый атаман был, многих наших братьев от смерти спас и сам жизни своей не жалел. Среди царевых слуг мало таких встречать приходилось. Он в походах всем заместо отца был. Больного не бросит, из полону завсегда вызволит, если беда такая приключится, потому и любил его народ. Эх, жаль, нас тут не было...

Аввакум понял, что смерть Бекетова провела полосу отчуждения и с этими казаками, что не так давно были на его стороне и тоже по-своему боролись с новинами Никона. Это больно задело его, и он уже пожалел об этой случайной встрече.

— Я тебе так скажу, мил-человек, Господь рассудит, кто прав, а кто виновен. Коль все так, как ты говоришь, то душа его сейчас упокоение в раю нашла и до наших дел не касается. А вот людей жизни лишать, так за то с кое-кого обязательно спросится. Так говорю?

— А мы готовы ответ держать, — не задумываясь, отвечал казак. — Мы люди вольные и понапрасну кровь не проливаем, по дедовским законам живем. И с теми, кто старую веру порочить решил, поступаем так, как сердце велит. И пред Богом предстанем с чистым сердцем... Нам ли суда бояться? Хоть Божьего, хоть людского...

— Ладно, я вам не приказчик, живите, как хотите. Но здесь, в Тобольске, долго не задерживайтесь. Владыке уже доложили, что настороже надо быть, так что к переписчикам охрана приставлена, нечего вам туда и соваться.

— Эвон, батюшка, какие песни запел, — ощерился казак, — коротка же у тебя память, коль нашу выручку забыть успел. А насчет охраны, нам то и без твоих слов известно, не хуже твоего знаем обо всем. Ладно, прощевай, некогда мне. — И даже не испросив на этот раз благословения, казак резко повернулся и зашагал обратно к дому Устины.

Аввакум же, задумчиво посмотрев ему в след, в очередной раз задумался, правильно ли он поступает, скрывая от властей, что в городе появились люди, сеющие смерть, а потому подлежащие поимке и суду.

«Но, — подумал он, — может, это и есть Божий суд отступникам от веры, который вершат эти казаки? И разве я, хоть и протопоп, но все одно — простой смертный, вправе идти наперекор Божьей воле?»

А ангел небесный, слышавший каждое из произнесенных слов, тоже не мог решить, чью принять сторону. И он надеялся, что там, на небесах, станет известно обо всем, что здесь происходит, и окончательное решение будут принимать те, кому это положено. Его же дело — наставлять своего подопечного, и помешать или что-то изменить в происходящем не в его силах.

Несомненно, что и Господу Богу было известно и о замыслах борющихся за старую веру казаков и о колебаниях опального протопопа... Но, коль Он попустил свершение дел этих, значит, так оно и должно быть, у каждого свой путь, свои деяния, и ничто, бесследно минуя Око Всевидящее, не происходит...

Что было, то и теперь есть,  
и что будет, то уже было...

*Екк. 3, 15*

На Троицу был душный день, и службу в храме пришлось вести при открытых настежь дверях, тем более что народа набилось столько, что иные не могли руку поднять для крестного знамения. Когда читали акафист Животворящей Пресвятой Троице, в проеме двери неожиданно появился Иван Струна, а из-за его плеча выглядывал другой беженец — Анисим, который хитро улыбался и даже поклонился, встретившись взглядом с протопопом Аввакумом. У того в груди что-то кольнуло, он почувствовал, что эти двое явились не зря и следует ждать от них какого-то подвоха.

Так и вышло. Когда он, закончив службу, выходил из храма, намереваясь отправиться домой вместе с двумя сыновьями, что прислуживали ему, то на выходе его поджидал воеводский подьячий Василий Уткин, который елейным голоском заявил, шагнув к нему навстречу:

— Ваше преподобие, извольте заглянуть к нам в съезжую избу. — При этом он широко улыбался, будто бы готовился сообщить ему приятнейшее известие.

— Чего я там не видел? — удивился протопоп. — Зачем мне туда?

— Грамотка на вас прислана из самого Сибирского приказа за высочайшей подписью самого царя-батюшки. Должен буду огласить ее вам и расписочку от вас получить. Извольте заглянуть. Я долго вас не задержу, — все так же ласково уговаривал его тот.

— Нашли время! В самый престольный праздник. Завтра нельзя, что ли, зайти? Потерпит ваша грамотка...

— Никак нельзя, время не терпит. Пойдемте, чтоб не пришлось людей за вами отправлять.

Аввакум все понял и велел сыновьям самим добираться до дома и передать Анастасии Марковне, что он скоро будет.

Пройдя мимо палат воеводы, они зашли в обветшалое здание съезжей избы, где помещались дьяки и подьячие, ведавшие всеми деловыми бумагами, касающимися распоряжений тобольского воеводы. Там в полутемной комнате стоял заляпанный чернилами щербатый

стол с чернильным прибором и песочницей. Рядом лежал свиток, увенчанный печатью красного сургуча. Уткин ловко подхватил его, развернул и, чуть повернув к окну, начал читать, не предложив Аввакуму даже сесть. Да ему и не хотелось задерживаться здесь надолго. Сердце внутри бешено колотилось в преддверии услышанного, от чего, как он понимал, зависела его дальнейшая судьба.

«Неужели царь в Москву меня возвращает? — думал он. — Но тогда бы грамоту отправили архиепископу, а не сюда, на воеводский двор. Что же тогда?»

А подьячий меж тем тоненьким тенорком читал:

*«По указу отца вашего государева и богомольца великого государя святейшего Никона патриарха Московского и всея Великия и Малыя России, велено тобольского вознесенского протопопа Аввакума с женою и с детьми послать из Тобольска с приставом, с кем пригоже, и с провожатыми на Лену в Якуцкой острог к стольнику и воеводе к Михаилу Лодыженскому да к дьяку к Федору Тонкову. И о том от себя к ним отписать. А велети б ему, протопопу Аввакуму, быти в Якуцком. А божественные службы, по указу отца вашего государева и богомольца великого государя святейшего Никона, тому протопопу служить не велети».*

Закончив чтение, он воззрился на протопопа, а потом, не дожидаясь, пока тот придет в себя, пододвинул ему чистый лист и попросил:

— Сделайте милость, ваше степенство, рукой своей напишите, что распоряжение государя заслушали и... и все на этом.

— Где подпись самого государя? Алексея Михайловича?! Ты мне от Никона грамоту прочел, а государь, государь, где руку свою приложил?! — взревел Аввакум. — Врешь, собака! Не мог он таков указ подписать! Не верю!!!

— Правильно, не мог, — спокойно ответил подьячий, — потому как он в походе, о чем нам ранее отписано было. Под Смоленском с ляхами бьется. А потому за него наследник оставлен, сын его царского величества Алексей Алексеевич...

— Наследнику и полгода от роду не исполнилось, — продолжал неистовствовать протопоп, — а он уже на трон посажен? Ты чего мне здесь сказки плетешь? — Аввакум не удержался и схватил за горло

попятившегося от него подьячего, прижал к стене и едва не задушил, если бы на крик того в комнату не ворвались люди и не оттащили его. Уткин с красным лицом, растирая рукой горло и тяжело кашляя, писклявым голосом выкрикнул:

— Тебя мало сослать, а надо в пыташную и на дыбу!

— Да я сейчас сам тебе такую дыбу устрою, век помнить будешь! — рвался из рук удерживающих его приказных Аввакум.

Но постепенно он остыл, пришел в себя и как-то сник, проговорил тихо:

— Отпустите, пойду я отсюда...

— Бумагу подпиши, — взвизгнул ему вслед подьячий, на что протопоп обернулся и показал тому здоровенную фигу и вышел, громко хлопнув дверью...

Дома он застал Анастасию Марковну, которая собирала в узел вещи, а присмиревшие дети, прижавшись друг к другу, молча сидели на лавке.

— Куда собираешься? — спросил он удивленно жену.

— А куда надо, туда и собираюсь, чтоб потом впопыхах не сбиться. Мне все одно куда. Да хоть на край света, коль нужда в том есть...

— Так и есть, — удрученно вздохнул Аввакум, — в Якутск нас гонят. Такие вот дела... Поедете со мной али здесь дожидаться будете?

— Ишь, чего решил, чтоб мы здесь одни остались? Да не в жизнь! — зло отвечала Марковна. — Не дождутся, изверги эти. Судьбу не обманешь, коль она в окно постучалась. Я тебе о том, когда еще выговаривала? А ты что? Ждал, царь-батюшка тебя обратно призовет? Дождался?! Вот и жди дальше, авось да вспомнит...

Аввакум тяжело вздохнул, не зная, что ответить супруге в ответ.

— А вы детки как? Поедете со мной на край света? — обратился он к ним, пытаясь выдавить из себя улыбку, но это у него получалось плохо, а потому вышла гримаса, и Агриппина, не сдержавшись, рассмеелась.

— На лошадке? — спросила она.

— Да кто его знает, сперва, видать, на струге повезут, а потом, может, и лошадку дадут. А нет, так ножками пойдем. Ты же любишь ножками бегать? — И он подхватил дочь на руки, прижал к себе.



— На струге лучше, — ответил старший Иван, — рыбу ловить будем...

— Да мы сами, как рыбы на кукане, — вставила свое слово Марковна, — куда потащат, туда и поплывем. Чего ж теперь делать...

— Зря я царю письмо не написал, — проговорил, думая о чем-то своем, Аввакум, — может, иначе бы все вышло.

— А ты напиши, напиши, может, еще дальше пошлют, — усмехнулась, не прекращая своих сборов, Марковна, — или дальше уже некуда? Край земли? Ничего, он найдет куда — напрямиком на небо, и вся беда...

— Так у нас крыльев нет, — хихикнула Агриппина, — без крыльев на небо не попасть.

— Ничего, батюшка царя попросит, он нам и крылышки пришлет, и полетим, словно ангелы небесные.

— Царь, он добрый, — серьезно проговорил молчавший до того Прохор.

— А других царей и не бывает, — согласилась с ним Марковна, — мы от него столько добра получили, не знаем, что с ним и делать, — кивнула она на свои жалкие пожитки.

— Хватит, матушка, — взмолился Аввакум, у которого на душе кошки скребли, — и так тошно, а ты еще добавляешь.

— А я чего, я и замолчать могу. Ты же у нас говорун великий, наговорил нам дорогу вон куда, а мне молчать следовало, кто ж меня слушать станет.

На этот раз Аввакум ничего не ответил, и вдруг в наступившей тишине он услышал чей-то тихий голос:

— То лишь начало пути, а конца ему и не видно... Крепись, раб Божий, Господь испытывает тебя, а ты сам думай, как жить дальше...

Аввакум посмотрел вокруг, глянул на жену, на детей, хотел спросить, слышали они чего, но не стал. Он наконец понял, чей это был голос... Но легче от того ему не стало...

\* \* \*

...Лето добралось до самой своей макушки и скоро должно было начать спускаться обратно, уступая место августовской прохладе, тихой сентябрьской печали и плакучему дождливому октябрю. А потом осторожно, украдкой наползут холодные ноябрьские утренники, остудят иртышские воды, скуют непокорную реку первым ледяным

замком, загонят людей под тесовые крыши к жарким натопленным печам, которые до следующей весны станут обогревать своих хозяев, храня их от лютых сибирских холодов, изгоняя прочь печаль оторванности и одиночества от остального мира.

Но в тот день по синему до рези в глазах небу наперегонки неслись неумные облачка, а по Иртышу плыли караваны больших и малых суденышек, наполненных спешащими куда-то стрельцами в красных кафтанах с заломленными на макушке суконными шапками с поблескивающими на солнце медными значками, казаками в черных бешметах, а следом на широких барках плыл простой люд в армяках и зипунах. Среди них юрко рыскали рыбацкие челноки и остяцкие обласки-душегубки ловко направляемые загорелыми до черноты гребцами в тихие заводи и тенистые ерики. А река, поигрывая легкой волной, покорно несла их на себе, подставляя свое могучее тело и особо не противясь десяткам весел, дружно вспенивающих ее свинцовую гладь.

Аввакум стоял на берегу, дожидаясь, пока причаленный к легкому деревянному настилу струг нагрузят их пожитками, рассадят детей, гребцы укрепят на мачте небольшой парус и возьмутся за весла. Он смотрел на кручу холма, на вершине которого из-за потемневших от дождей стен выглядывали кресты церквушек, и искал глазами купол Вознесенской церкви, под крышей которой он провел более года.

Анастасия Марковна прощалась на берегу с Маринкой и стоявшим рядом с той Тихоном, вытирала украдкой слезы и по-матерински наставляла племянницу. Наконец они расцеловались, после чего она, не оборачиваясь, спустилась вниз, осторожно ступая по скользкому настилу, потянула за рукав мужа, и они сели в струг. Двое гребцов столкнули его в воду, запрыгнули внутрь, вставили весла в уключины и, поплевав на ладони, начали широко загребать, направляя судно на середину реки.

Аввакум смотрел на проплывавший мимо них высокий иртышский берег и думал о чем-то своем. Сибирь уже не казалась ему той дикой и нелюдимой страной, как было в самом начале, когда он только ступил на ее землю. И Тобольск, приютивший его, стал почти родным и привычным, как и люди, жившие рядом с ним.

Ему жаль было расставаться со своими прихожанами, с владыкой Симеоном, и даже дьяка Струну, доставившего ему столько неприятностей, он готов был простить. Неожиданно для себя он вдруг понял,

что, проведя здесь столько времени, сам стал в чем-то другим и страдания, выпавшие на его долю, не прошли даром. Оказалось, Сибирь таит в себе не только печаль и тревогу, но и что-то целебное, дает покалеченным душам возможность излечиться и обрести уверенность, обратиться к Богу за помощью и поддержкой. И он прошептал, не боясь, что сидящая рядом Анастасия Марковна услышит его:

— Господи, храни эту землю такой, какая она есть. Пусть все остается так, как было. И пусть все, кто сюда попадет, найдут здесь то, что они искали...

А рядом летел небесный ангел и радовался его помыслам. Он знал и верил, этот человек пройдет через все испытания и вернется обратно с новыми силами для того, что он задумал. И вся Русская земля узнает о нем, услышит его слова и всколыхнется в едином порыве, как горные снега, лежащие без движения много лет, а то и столетий вдруг неожиданно устремляются вниз от одного-единственного произнесенного неосторожно человеческого слова, обрушившись снежной лавиной, сметающей все на своем пути...

## СОДЕРЖАНИЕ

И ЛЕТЕЛ АНГЕЛ ПО НЕБУ СИНЕМУ... ..... 5

Часть первая

АВВАКУМ НЕПОГРЕШИМЫЙ ..... 12

Часть вторая

НЕПРИКАЯННАЯ СЛОБОДКА ..... 169

Часть третья

НЕУТОЛИМЫЕ ПЕЧАЛИ..... 319